

Славянский АЛЬМАНАХ

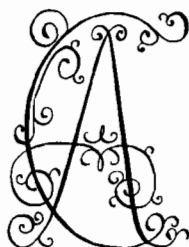


2006

Министерство культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Российская академия наук
Институт славяноведения

Славянский АЛЬМАНАХ

2006



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНДРИК»
Москва 2007

УДК 94(367)

ББК 63.3(4)

С 47

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Т. И. Вендина, профессор, доктор филологических наук

К. В. Никифоров, доктор исторических наук, директор Института славяноведения РАН

М. А. Робинсон, доктор исторических наук (отв. редактор)

В. А. Хорев, профессор, доктор филологических наук

А. Л. Шемякин, доктор исторических наук

Ученый секретарь:

Е. П. Аксенова, кандидат исторических наук

Славянский альманах 2006. — М.: «Индрик», 2007. — 496 с.
ISBN 978-5-85759-417-9

Десятый выпуск альманаха предлагает вниманию читателей материалы научной конференции, прошедшей в 2006 г. в Ханты-Мансийске, а также круглых столов и симпозиумов, проводившихся в Ханты-Мансийске и Москве. Содержание разделов альманаха составляют статьи по актуальным проблемам истории, литературы, культуры и языка славянских народов от эпохи Средневековья до современности. Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей.

© Институт славяноведения РАН, 2007

© Коллектив авторов, 2007

© Издательство «Индрик», 2007

ISBN 978-5-85759-417-9

От редколлегии

День славянской письменности и культуры ежегодно отмечается в России 24 мая разнообразными мероприятиями. К этому национальному празднику приурочено и проведение ежегодной научной конференции «Славянский мир: общность и многообразие» и соответствующих ей круглых столов.

В 1996–2005 годах такие конференции проводились в Костроме, Орле, Ярославле, Пскове, Рязани, Калуге, Новосибирске, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону. Их материалы составили основное содержание десяти выпусков «Славянского альманаха», выходящего в свет раз в год к очередной конференции в мае. Нынешний, одиннадцатый выпуск альманаха предлагает вниманию читателей материалы научной конференции, прошедшей в 2006 году в Ханты-Мансийске, а также Круглых столов и симпозиумов, проводившихся в Ханты-Мансийске и Москве, на которых обсуждались актуальные проблемы истории, литературы, культуры и языка славянских народов. В альманахе помещены также статьи, близкие по проблематике к проводившимся научным мероприятиям.

Альманах имеет в целом сложившуюся структуру, которая состоит из следующих разделов: «Пленарное заседание», «История», «История культуры», «Языкознание», «Публикации», «Хроника». Структура отдельных выпусков может варьироваться в зависимости от поступивших материалов. Мы надеемся, что ежегодное издание «Славянского альманаха» будет способствовать не только дальнейшему изучению, но и распространению знаний о славянском мире.

Т. И. Вендина
(Москва)

В начале было Слово

Искони бѣаше слово ꙗ слово бѣаше отъ бога ꙗ богъ бѣаше слово. Этой фразой начинается Евангелие от Иоанна. Нетрудно заметить, что в этой евангельской формуле Слово употребляется три раза. Чем объяснить эту лексическую избыточность? Отсутствием соответствующих синонимов в старославянском языке или особой установкой евангелиста?

Обратившись к старославянскому языку, мы поймем, что такое построение этой фразы было исполнено особого смысла.

Материал старославянского языка свидетельствует о том, что понятие «слово» могло быть передано целым рядом лексем, среди которых, помимо слова, были глаголь 'слово, речь' СС: 170; гласъ 'речь, слово' // 'звук' СС: 170; рѣчь 'слово' СС: 587; вѣсѣда 'слово, речь, разговор' // 'речь, манера речи' СС: 83.

Такой богатый синонимический ряд говорит о том, что это понятие было актуально для языкового сознания средневекового человека, ибо слово для него «обладало той же мерой реальности, что и предметный мир» (Гуревич 1999: 28). Более того, слово для средневекового человека было полно особого — магического значения, поскольку оно не просто называло то или иное явление, но составляло его сущность. Вспомним знаменитые слова Исидора Севильского — «назвать вещь — значит, ее объяснить», которые помогают понять расцвет средневековой этимологии как фундаментальной науки. Отсюда ощущение авторитетности слова, его ответственности.

Представляется также, что такое обилие слов, передающих одно и то же понятие, можно объяснить и тем, что в языковом сознании средневекового человека эти лексемы в смысловом отношении были не однозначными.

А так как весь лексикон старославянского языка был пронизан идеей противопоставленности «горнего» и «дольнего», т. е. божественного и земного (подробнее см.: Вендина 2002), то можно предположить, что Кирилл и Мефодий сознательно ввели эти лексемы, пытаясь дифференцировать и по-разному передать понятие «истинного, божественного Логоса» и «слова земного, человеческого», т. е. в старославянском языке представления о слове формировались как дуальная оппозиция слова земного и слова небесное.

Евангельская формула подсказывает нам, что горнее было связано с лексемой слово¹. Иоанн сознательно начинает свое Евангелие именно с этих слов. Стремясь подчеркнуть божественное происхождение Хри-

ста (и в этом он видит одно из отличий своего Евангелия от Евангелий от Матфея, Марка и Луки), он говорит о том, что воплотившийся Христос есть Слово изначальное, то самое, которое «в начале было у Бога и само было Бог», т. е. он делает акцент на том, что Христос есть Сын Божий, который существовал предвечно в Боге и который сам был Бог².

Поэтому в трехкратном повторении Слова проявляется установка Иоанна сохранить имя Бога в памяти потомков, более того, таким образом он решал задачу сакрализации Слова Божиего, укрепления веры в его истинность.

На соотносительность *слова* с божественной идеей указывает и семантическая структура этой лексемы (ср. слово 'о Христе' СС: 611), а также тот факт, что *слово* в языке Кирилла и Мефодия — это и Священное писание, и божественные заповеди, и проповедь, и поучение (ср. слово 1) 'проповедь' // 'Священное писание'; 2) 'заповедь, поучение' СС: 611; *словесънь* 'относящийся к проповедям' СС: 611). Если «иудаизм и вслед за ним ислам разрабатывали доктрину о предвечном бытии сакрального текста — как довременной нормы для еще не сотворенного мира, то в христианстве место этой доктрины занимает учение о таком же предвечном, о довременном бытии Логоса, притом понятого как личность („ипостась“)... И все же само имя „Логоса“, или „Слова“, очень естественно ассоциировалось с понятием *слова* как текста — с понятием книги» (Аверинцев 1997: 212)³.

Об этой соотносительности Слова с идеей Бога говорят и грамматические факты церковнославянского языка, а именно то, что лексема *слово* в этом значении по своим грамматическим признакам отличалась от существительного *слово* со значением единица языка, ибо в церковнославянском языке эта лексема относилась к существительным мужского, а не среднего рода, изменялась по типу склонения на *о и, что особенно важно, не имела форм множественного и двойственного числа, тогда как существительное *слово* в значении 'единица языка' склонялось по типу склонения основ на согласный, имело формы множественного и двойственного числа и всегда принадлежало к среднему роду⁴.

Таким образом, Слово в старославянском языке было понятием персонифицированным, ибо оно соотносилось прежде всего с идеей Бога. Говоря об этом божественном атрибуте слова, Дионисий Ареопагит замечает: «Как „Слово“ же Бог воспевается священными Речениями не только потому, что Он податель и слова, и ума, и премудрости, но и потому, что Он... прообъемлет в Себе причины всего сущего» (Дионисий Ареопагит 1994: 247).

Слово рассматривалось как божественный дар человеку, который получил от Бога не только дар речи, но и разум (ср. слово 'дар речи' // 'разум' СС: 611), ибо «слово — это ум, — говорит Максим Исповедник, —

благодаря которому душа называется разумной» (Дионисий Ареопагит 1994: 255). Так, окормляя словом, этим истинным хлебом, Бог укреплял в человеке разум и веру.

Понятие «слово» в средневековом сознании оказывалось, таким образом, связанным с ментальностью человека (ср. *словесьнь* 'обладающий разумом' СС: 611), с его способностью мыслить, ибо только обладая этой способностью человек мог прикоснуться к постижению глубин божественного Логоса и через его познание обрести спасение⁵. Отрицание же этой способности унижало человека, переводило его в разряд бессловесных тварей (ср. *бессловесьнь* перен. 'неразумный' СС: 81; *бессловьнь* 'неразумный' СС: 81; *несловесьнь* 'неразумный' СС: 375; *отъци ваши акы бесловесънаи животъна оу прѣльсти бѣдохъ* СС: 81).

Вот почему Слово, по замыслу Константина Философа (в схиме Кирилла), было призвано «*вса чловѣкы отължчити отъ жития скотьска*». Так Слово становится символом просвещения славян. Вдохновенным гимном Слову звучат строки «Прогласа к Евангелию», автором которого в настоящее время признается Константин Философ (Георгиев 1956: 154; Топоров 1988: 1; Флоря 2000: 10):

Слушайте ныне, народы славянские,
Слушайте Слово, от Бога пришедшее:
Слово же кормит души человеческие,
Слово же крепит сердца и умы,
Слово же готовит к познанию Бога.

Перевод Л. В. Савельевой (1997: 132)

Кирилл задает в «Прогласе» три значения Слова: 1) «приход Слова к „словенам“, сопоставляемый с приходом Христа»; 2) «софийность Слова...»; 3) «письменное (*боукъвьное*) воплощение Слова, снова отсылающее к теме „словенского“ слова, „своего“, а не „чужого“. Без слова („своего“) — греховная тьма, тление плоти, отпадение души» (Топоров 1995: 53). «Слово *боукъвьное*, т. е. слово, воплощенное в буквы, в письмо, книгу, как и мифологема *словен* как народа Слова, образует важный мотив... потому что именно для славян свет веры и свет книг, принятие христианства и обретение письменности совпали во времени» (Топоров 1995: 54). Таким образом, книжное слово для славян стало словом христианским.

Знаменательно, что и само наименование первой славянской азбуки — *глаголицы* — тоже связано со словом (ср. *глаголь* 'слово, речь', *глаголати* 'говорить, проповедовать' СС: 170, т. е. это азбука «проповедующая», в самом названии букв которой были сформулированы «азбучные истины нового христианского учения» (Савельева 2005: 329)⁶.

Старославянское Слово получало, таким образом, «доктринальное обоснование», ибо древнегреческий Логос обретал в Слове плоть Бога. Так сформировалась «словоцентричность» (В. Н. Топоров) славянской культуры Средневековья, которая ставила «в своем начале Слово» как высшую реальность⁷.

Словом возносили хвалу Богу (ср. *благословесити* 'вознести хвалу' СС: 88; *благословесити* 'восхвалять' СС: 89), славили и прославляли (ср. *славословити* 'славить, прославлять' СС: 609), обращались к кому-либо с речью (ср. *прострѣти слово* 'обратить речь к кому-либо, произнести речь' СС: 527), наставляли и поучали (ср. *слово* 'проповедь'; *слово разоумно* 'поучение' СС: 611).

Однако *словом* и злословили (ср. *злословити* 'злословить, поносить' СС: 240), вступали в словопрения, ссорились (ср. *словопрѣпирати сѧ* 'вступать в словопрения, спорить' СС: 612; *слово противно* 'ссора, спор' СС: 611), сводили счеты (ср. *свьѣщати слово* 'свести счеты' СС: 645), держали ответ (ср. *слово въздати* СС: 611), заключали торговые сделки (ср. *сътъзати сѧ о словеси* 'расплачиваться, рассчитываться (согласно договоренности)' СС: 673), т. е. старославянское *слово* было амбивалентно, ибо оно было обращено и к Богу, и к человеку одновременно.

Все остальные лексемы, входящие в семантическое поле *слова*, были связаны в основном с земным, «дольним» миром, при этом каждая из них была нагружена своими культурными смыслами.

Так, в частности, лексемы с корнем *рѣк-/рѣч-/риц-* в значении 'слово' развили вторичные значения, относящиеся к социально-правовой адаптации человека в обществе. Этим словом *обвиняли* (ср. *рѣчь 1*) 'слово'; 2) 'обвинение' СС: 587; *реци* 'обвинять, оговаривать' СС: 580), *выносили приговор* (ср. *отъреченик* 'приговор' СС: 433), *принимали решение о назначении, постановлении* (ср. *нареченик* 'решение, назначение, постановление' СС: 352), *приказывали и запрещали* (ср. *реци* 'приказывать' СС: 580; *заречи* 'запретить, приказать' СС: 231; *отъречи* 'запретить' СС: 433), *обещали что-либо* (ср. *издречи* 'обещать' СС: 253), *клеветали* (ср. *оурицати* 'поносить, чернить' СС: 744), *искупали свою вину* (ср. *издрѣшеник* 'искупление' СС: 254), *оправдывались и извинялись* (ср. *отърицати сѧ* 'извиняться, оправдываться' СС: 434).

К социально-правовой сфере отсылали и производные с корнем глагол- (ср. *оглаголати* 'обвинить' СС: 404; *оглаголаник* 'обвинение' СС: 404; *възглаголати* 'обвинить кого-л.' СС: 113).

Лексемы с корнем *глас-/глаш-* нагружались религиозно-этическими смыслами (ср. *огласити* 'наставить (перед крещением или принятием монашеских обетов)' СС: 404; *оглашатн* 'наставлять' СС: 404; *оглашеник* 'наставление (перед крещением)' СС: 404).

Кроме того, все эти лексемы указывали и на собственно лингвистические функции *слова* как единицы языка, в частности:

— на **номинативную** функцию (ср. глаголати ‘называть’ СС: 169; проглаголати ‘называть’ СС: 519; глашати ‘называть’ СС: 170; речи ‘называть’ СС: 580; нареченик ‘наименование’ СС: 352);

— **апеллятивную** (ср. глашати ‘звать’ СС: 170; гласовати ‘звать’ СС: 170; гласити ‘звать’ СС: 170);

— **коммуникативную** (ср. глаголати ‘говорить, проповедовать’ СС: 169; изглаголати ‘рассказать’ СС: 252; бесѣдованик ‘разговор’ СС: 83; бесѣдовати 1) ‘беседовать, разговаривать, говорить’; 2) ‘общаться, встречаться с кем-л.’ СС: 83; бесѣда ‘слово, речь, разговор’ // ‘речь, манера речи’ СС: 83);

— **магическую** (ср. речи ‘предсказывать’ СС: 580; прореченик ‘предсказание, пророчество’ СС: 524; прорицаник ‘пророчество, прорицание’ СС: 524; прогласити ‘предсказать’ СС: 519; възглашеная ‘предсказание’ СС: 133).

Таким образом, *слово* в старославянском языке предстает и как чисто лингвистическое понятие, являя собой единицу языка и речи, которой свойственны определенные функции (ср. слово 1) ‘слово, речь’ // ‘звук речи’; 2) ‘беседа, рассказ’ // ‘молва, весть’ // ‘проповедь’ // ‘изречение’; 3) ‘заповедь, поучение’ СС: 611; гласъ ‘речь, слово’ // ‘звук’ СС: 170; глаголь ‘слово, речь’ СС: 170; рѣчь ‘речь, слово, беседа’ СС: 587; бесѣда 1) ‘слово, речь, разговор’; 2) ‘проповедь’ СС: 83).

При этом следует отметить, что в отличие от современного языка это была совершенно особая синкретическая единица, в которой были объединены в единое целое процесс говорения — слушания — говорения. В результате возникал своеобразный «круговорот общения» (Степанов 2001: 355: этимологически *слово* связывается с и.-е. корнем *k¹leu- (*k¹lou), *k¹leǵ «слышать», лат. архаич. cluere «слышать, слушать»; греч. χλέος «молва», «слух», см. также: Красухин 2000: 28; Черных II: 176 и др.), так как слово описывало целую коммуникативную ситуацию, связанную с его порождением и восприятием, ср.: звук (гласъ, слово) — произношение (нарицати, издречи) — слово (слово, гласъ, глаголь, рѣчь, бесѣда) — высказывание (слово, реченок) — речь (гласъ, глаголь, глаголанник, слово, реченок, бесѣда) — ответ (отъречи) — разговор (бесѣдованик, бесѣда, слово, рѣчь). Таким образом, старославянское *слово* «выступает как порождение двух основных актов речевого общения: говорения и слушания, слово — это нечто высказанное, звучащее и при этом требующее адресата» (Красухин 2000: 26).

Если же привлечь к анализу этимологически родственные лексеме *слово* корни слы- (слышати, слыти), слу- (слоушати), сла- (слава, славити), также входящие в это семантическое поле, то выявятся новые

смыслы, раскрывающие иные функции *слова* в старославянском языке, а именно:

— **гносеологическую** (ср. *оуслышати* ‘узнать’ СС: 745);

— **конативную** (т. е. функцию усвоения информации адресатом, ср. *послоушати* ‘выслушать’ // ‘внять’ СС: 482; *оуслышати* ‘услышать, внять’ СС: 745);

— **этическую** (ср. *послоушати* ‘слушаться, повиноваться’ СС: 482; *послоушание* ‘послушание, повиновение’; *оуслышати* ‘услышать, исполнить’ СС: 745; *прѣслоушати* ‘ослушаться’; *прѣслоушаник* ‘ослушание, неповиновение’; *слава* ‘честь’ СС: 609; *славити* ‘восхвалять, славить, прославлять (обычно Бога)’ СС: 609).

Таким образом, в старославянском языке был представлен редкий речевой образец, который можно охарактеризовать как положительно-онтологический диалог. Это не просто коммуникативный акт, а возбуждение в слушателе его собственного внутреннего слова, своеобразного душевного отклика на изреченное слово (не случайно культуру Средневековья характеризуют как *культуру слуха*).

Характерно, что все эти функции раскрываются лексемами, этимологически родственными *слову*, т. е. если порождение слова описывается лексемами из «дольнего» мира, апеллирующими к конкретно-чувственному восприятию слова (ср. *глась* ‘звук’, *нарцати* ‘произносить’), то его восприятие «духовным слухом» передается лексемами, производными от *слова*, т. е. принадлежащими «горнему» миру, ибо это *слово* не просто слышат, ему внимают, ему слушаются и ему повинуются (ср. *послоушати* ‘слушаться, повиноваться’ СС: 482), и в этом проявляется убеждающая сила *слова*.

Эту идею св. апостол Павел выразил следующими словами: «Вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10: 17). Отсюда становится понятной и идея *послушничества* как стремления соблюсти себя и созидать свою жизнь по Слову Божию, т. е. это Слово имело над человеком власть.

Духовная сущность *слова* раскрывается и в Первом послании св. апостола Павла к коринфянам, в котором Павел утверждает, что каждый человек — храм Божий, и Дух Божий, его Слово живут в нем, при этом каждый имеет свое дарование от Бога: «...Каждому дается проявление Духа на пользу: одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом... иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12: 7–11).

Таким образом, с принятием славянской письменности *слово* стало тем религиозным символом, который во многом определил развитие всей русской культуры.

* * *

В языке средневековой Руси звучат те же мотивы в концептуализации *слова*. При этом творческая разработка этого понятия идет по линии его дальнейшего углубления и детализации.

Уже в ранних памятниках древнерусской письменности «слово» предстает как чрезвычайно полисемантическая лексема. Его семантика в истории русского языка развивалась в следующих основных направлениях (помимо значений, восходящих к греческому языку). Первое из них представляет исконную семантику корня ('слух', 'молва', 'слава' и др.). Второе направление, отправной точкой которого стало 'то, что сказано, то, что услышано', получило наибольшее развитие: через *слово* были обозначены многочисленные конкретные реализации сказанного... В третьем направлении в семантике *слова* исходной точкой явилось значение 'повествование, рассказ', на основе которого *слово* стало обозначать особое цельное произведение или его часть... Для четвертого направления в семантике *слова*, также развивавшегося из значения 'то, что сказано, то, что услышано', актуальным стал количественный параметр, когда из некоего множества вычленялась единица — *слово* и *буква*» (Дегтев, Макеева 2000: 157).

При этом «после второго южнославянского влияния употребление вариантов *слова* и *словеси* регламентируется — они оказываются семантически дифференцированными. В обычном случае норма церковнославянского языка предполагает, вообще говоря, склонение лексемы *слово* с основой на *-ес-*. Вместе с тем предписывается особое склонение лексемы *слово* как обозначение Бога (второй ипостаси троицы — Бога Слова), отличное от склонения той же лексемы в иных значениях: основа косвенных падежей совпадает здесь с основой им. падежа. *Слово* выступает в данном случае как собственное имя, и на него не распространяются закономерности, относящиеся к имени нарицательному, т. е. здесь проявляется тенденция формально противопоставить собственное и нарицательное имя. Соответствующее правило фиксируется в грамматике Смотрицкого 1619 г.» (Успенский 2002: 338).

Как свидетельствует материал, в истории семантического развития *слова* решающую роль сыграло сакральное значение, которое наделило его не просто особой значимостью, но и силой. В результате понятие «слово» нашло свою реализацию не только в этическом, но и социальном аспекте.

Так, в частности, об использовании *слова* как социального термина свидетельствует наличие у него таких значений, как 'показание, свидетельство' (ср. в Русской правде: привесть кмоу видокъ слово противоу слова), 'обвинение', 'постановление' (ср. Се слово соборное есть всякому человекъству), 'приказ, повеление' (Оже смердъ моучить смерда безъ

княжа слова, то 'Г' грви продаже), 'договор, соглашение' (Рига взята за таким словом, что волности им иметь прежнее), 'закон' (ср. I словъ, даже Гъ гла къ намъ), 'удостоверение' (ср. Речи правое слово, а рѹка дать по крестному цѣлованью), 'поручение' (ср. Явило и Андрѣи попъ правиша слово Псковское), 'причина' (ср. Къто оставить женоу развѣ словесе блондѣна), 'согласие, разрешение' (ср. А без Новгородского ти слова, княже, вонны не замышлати) и др. (подробнее см.: Дегтев, Макеева 2000: 158).

В XVII в. закрепляется даже термин Слово и дѣло как формула объявления о государственном преступлении, т. е. своеобразного политического доноса: «Этим словом означалось, что произносящий его имеет доказать важное дело, касающееся до государевой особы, такое, которое при всех объявить нельзя» (Дьяченко ПЦСС II: 617).

Эта формула «представляла и некоторую опасность для произносившего ее, так как допрос доносчика производился „с пристрастием“, в том числе с применением пыток во избежание ложных доносов, изветов, отсюда и поговорка: „Доносчику первый кнут“. В 1762 г. произнесение „Слово и дело“ было запрещено под страхом телесных наказаний и были приняты некоторые меры для ограждения от неосновательных доносов» (РИБС 1999: 424).

«Слово и дело выступали также как две ипостаси одного и того же действия (истиннѹ словом и дѣлом проповеда)... Слово как заповедь, словесно выраженная воля Бога могло воплотиться в дело... Дѣло употреблялось как параллель к слову в составе словосочетания государево дѣло, обозначая действие, собственно преступление» (Дегтев, Макеева 2000: 169–170).

Таким образом, слово оказалось связано с определенной социально-правовой ситуацией в русском средневековом обществе.

В этом значении слово составляло конкуренцию лексеме рѣчь, отличавшейся также достаточно широким семантическим объемом. Развитие этой лексемы шло, с одной стороны, по пути выработки значений, закрепляющих юридические нормы государства, необходимые для его самосохранения (ср. рѣчь. 1) 'переговоры'; 2) 'решение'; 3) 'вопрос, дело'; 4) 'обвинение'; 5) 'донос'; 6) 'спор, несогласие'; 7) 'свидетельское показание'; 8) 'имущество' Срезн. III: 223; СРЯ XI–XVII 22: 154)⁸, а с другой — в сфере собственно лингвистической (ср. рѣчь. 1) 'слово'; 2) 'речь'; 3) 'язык, наречие'; 4) 'рассказ, повествование'; 5) 'беседа, разговор'; 6) 'глагол' Срезн. III: 223; СРЯ XI–XVII 22: 154).

Сакральный компонент значения слова значительно расширил и его этическую семантику, в связи с чем у слова появляются такие значения, как 'заповедь как воля Бога' (словесемь г(ѣ)нимь нѣса ѹтвердишася), 'клятва' (аще хощещи живъ быти и изыти о(т) бѣды сея даждь ми слово), 'поучение' (ср. слово нѣкокого оца къ снѹ своему), 'совет' (ср.

Псковичемъ не помогаше ни словомъ, ни дѣломъ), 'обещание' (ср. прошу, да ми даси слово) и даже 'попрек' (ср. Не годится мiръномъ попа ни судити, ни казнити, ни слова на него не молвити).

Будучи божественным по своему происхождению, *слово* представлялось как атрибут разумной деятельности человека. «Слияние идей разума и способности говорить в представлении о словесной природе человека было столь велико, что разделить их чаще всего не представлялось возможным. Производные прилагательные *словеснь* и *безсловеснь*, существительное *безсловне* соединяли представления о речевом и разумном началах с преобладанием последнего, знача соответственно 'разумный', 'неразумный', 'неразумие' (ср. И пребывает в человецех ум, яко отец слову, слово же исходит от него, яко сын посылаемо — Дегтев, Макеева 2000: 163).

Характерно, что эти новые этические и ментальные смыслы развиваются именно у лексемы *слово*, что касается других синонимичных ей лексем, отмеченных также и в старославянском языке, а именно *гласъ*, *глаголь*, *бесѣда*, то они каких-либо серьезных семантических изменений не претерпевают (ср. др.-рус.: *гласъ* 1) 'голос, звук'; 2) 'изречения, слова'; 3) 'язык и речь'; 4) 'напев, лад в церковном пении' СРЯ XI–XVII 4: 30; *глаголь* 'слово, речь' СРЯ XI–XVII 4: 25; *бесѣда* 1) 'беседа, разговор' // 'речь, сказанное' // 'поучение, наставление' // 'предание' // 'весть, известие'; 2) 'объединение, собрание людей определенного мировоззрения' СДЯ XI–XIV I: 155; *бесѣда* 1) 'разговор, беседа'; 2) 'язык, наречие' 3) 'собрание, общество'; 4) 'палатка, беседка, шатер'; 5) 'скамья' СРЯ XI–XVII 1: 148), т. е. совершенно очевидно, что именно *слово* как философско-богословский термин становится основным культурным символом Средневековой Руси (история всех этих лексем исчерпывающе описана в статье И. И. Макеевой «Языковые концепты в истории русского языка», см.: Макеева 2000: 63).

Об этом свидетельствует и тот факт, что искусство слова входит в контакт с изобразительным искусством Древней Руси. Иисус Христос изображается часто с Евангелием в руках, а апостолы предстают как «служители Слова», т. е. Христа. Христианская иконопись черпает свое содержание из памятников словесности, из Святого Писания и из отцов и учителей церкви. Академик Д. С. Лихачев так пишет об этом в статье «Слово и изображение в Древней Руси»: «Искусство живописи как бы тяготилось своей молчаливостью, стремилось „заговорить“, и оно „говорило“, но говорило особым языком... Христос в композиции деисус держит Евангелие с обращением к судьям и судимым: „Не судите на лица сынове человечести, но праведный суд судите“, в композиции „Спас в Силах“ у Андрея Рублева и Дионисия Христос держит Евангелие с другим текстом: „Приндите ко мне вси тружающиеся и обремененные“.

Изображения святых обращаются к молящимся, показывая им раскрытые книги, развернутые свитки, на которых содержатся либо пророчества, либо наставления, либо обращения к Богу. И здесь достойно быть отмеченным особое отношение к произнесенному слову вообще. Оно не мимолетно, оно не исчезает во времени... Представление о персонаже становится неотделимым от тех слов, которые были им произнесены в наиболее важный момент жизни. Это „речения“, которые живут в памяти многих поколений и которые даже в живописи в изображении того или иного персонажа не могут быть от него отделены... Будучи изображенным, слово как бы останавливается и останавливает изображение. Слово выступает не только в своей звуковой сущности, но и в зрительном образе... Это порождало особое отношение к слову как к чему-то драгоценному, священному» (Лихачев 2001: 111–116).

В литературе развивается особый жанр *слова-поучения* с характерной для него назидательной функцией, так как основная культурная задача древнерусской книжности — соединить Слово и Жизнь (вспомним «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, «Слово о терпении и любви» Феодосия Печерского, «Слова» Кирилла Туровского, «Слово» Даниила Заточника и др.).

Таким образом, древнерусское понятие «слово» было многоаспектным. Семантическая нагруженность имен, передающих это понятие, свидетельствует о том, что *слово* реализовывалось в языке в самых разных формах — сакральной, этической, социальной, коммуникативной. Средневековая культура предлагала довольно широкое поле выбора, противопоставляя житейское, земное — духовному, небесному, однако главной идеологической установкой древнерусской культуры была духовно-нравственная, ибо все, что связывало человека со Словом, делало его со-Словным Богу.

* * *

В современном русском литературном языке выявленные лексические линии в концептуализации *слова* заметно осеклись сменой и типа культуры, и типов государственности, однако следы былой рефлексии над *словом* сохранились.

В процессе секуляризации русской культуры произошло сужение семантической структуры лексемы *слово*. В академических словарях русского литературного языка уже не фиксируется значение ‘о Христе’ (хотя в «Словаре Академии Российской» (1789–1794), а также в «Словаре церковно-славянского и русского языка» (1847) это толкование дается), а указываются такие значения *слова*, которые характеризуют его прежде всего как единицу языка и речи, ср.: *слово* 1) ‘единица речи, представляющая собой звуковое выражение понятия о предмете или яв-

лении объективного мира»; 2) 'речь, язык'; 3) 'высказывание, словесное выражение мысли, чувства'; 4) 'публичное выступление, речь, устное официальное заявление'; 5) устар. 'литературное произведение в форме ораторской речи, проповеди или послания, а также повествование, рассказ вообще'; 6) 'литературный текст, на который написана музыка' (МАС IV: 139). И лишь в единичных случаях — как феномен этики (ср. слово 'обязательство сделать, выполнить что-л., обещание').

В новой, секулярной культуре рождается и новая литература. В отличие от древнерусской *словесности*, призванной «открывать в человеке его Первообраз, который есть образ Божий», она ставила «своей задачей открывать человека в человеке» (Лихачев 1987: 15). Характерно, что во внутренней форме появившегося в XVIII в. нового слова *литература*, заимствованного из французского языка, актуализируется идея «буквы» (лат. *littera* 'буква'), а это значит, что человеческое слово стало мыслиться не как вдохновенное Богом-Словом, а как земное, составленное из литер (букв), изобретенных человеком.

Таким образом, сакральный смысл *слова*, а также многие этические и правовые смыслы, которые были актуальны для него в древнерусскую эпоху, в современном литературном языке оказываются не востребуемыми.

Вместе с тем следует отметить, что если социально-правовые смыслы (например, такие, как 'показание', 'свидетельство', 'закон, заповедь', 'постановление' и др.) у слова оказались действительно утрачены (слабый отблеск их присутствует, например, в слове *сословие*, во внутренней форме которого актуализируется идея сопричастности людей единому *слову*, т. е. их со-словность Богу⁹, в отличие от лексемы *народ*, в которой на первом плане — мысль о биологической связанности людей самим актом их рождения на данной земле, т. е. то, что *народилось* на земле), то этические смыслы, хотя и в скрытой форме, продолжают свою жизнь в культурно-языковой памяти.

Эти потаенные смыслы *слова* помогает раскрыть его синтагматика, ибо в семантической структуре многих устойчивых сочетаний, содержащих лексему *слово*, до сих пор сохраняются следы его социально-этической значимости, ср., например, такие значения, как '**мнение, решение**' (ср. *последнее слово, окончательное, решающее, авторитетное, веское слово* и т. д.), '**обещание**' (ср. *сдержать свое слово, связать себя словом, дать или взять с кого-л. слово* и др. МАС IV: 139).

Устойчивые обороты говорят о том, что *слово* в языке русской культуры нагружено этическими смыслами, ибо оно сопряжено с *истиной*, а также *честью* человека, ср., например, выражение *честное слово* 'ручательство в истинности, правдивости чего-л.' или *право слово* 'честное слово' (МАС III: 354).

Поскольку *слово* апеллирует к чести, достоинству человека, то *дать слово* — это не просто 'пообещать что-л.' (МАС I: 366), но, заручившись своей честью, *быть хозяином слова* 'о лице, выполняющем обещания' (МАС III: 140), поэтому человек и без письменных доказательств *верит на слово*, т. е. 'считает истинными слова' другого человека (МАС I: 151), что говорит о том, что в нашей культуре еще жива *вера в слово*.

Более того, оно обладает высокой ценностью, ибо может повлиять и даже изменить судьбу человека, о чем говорят устойчивые сочетания *замолвить слово* 'походатайствовать, сказать что-л. в пользу кого-л.' (МАС I: 546); *зависеть от чьего-л. слова*, поэтому человек не одобряет необдуманных слов (ср. *бросать слова на ветер* 'говорить необдуманно, зря' МАС I: 158; *бросаться словами* 'говорить безответственно' МАС I: 118), а также неискренних слов (ср. *играть словами* 'стараться скрыть за словами истинную сущность дела' МАС I: 629).

Наделяя *слово* ценностью, культура накладывает запрет на «разбазаривание» этой ценности, поэтому язык относится отрицательно к многословию, к пустым, бессодержательным разговорам (ср. *пустословить* 'говорить пустое, вздор' МАС III: 561 или *тратить слова понапрасну* 'говорить попусту, зря' МАС IV: 56), которые воспринимаются как *празднословие* 'пустословие' (МАС III: 357) и *словоблудие*, т. е. как 'пустая, бессодержательная речь, болтовня, преподносимая как серьезное рассуждение' (МАС III: 140). Не случайно русская пословица говорит: *Лишнее слово во грех вводит*.

Косвенным выражением этого культурного запрета является и тот факт, что при сочетании *слова* с такими корнями, как *зло-*, *скверн-*, *блуд-*, рождаются отрицательные коннотации (ср. *злословить*, *сквернословить*, *словоблудие*).

Слово в языке русской культуры является синонимом дела, поэтому *сказать (свое) слово* значит 'проявить себя в чем-л.' (МАС IV: 56). Не случайно в русском языке существует присказка *сказано-сделано*, отражающая древнюю семантическую связь значений 'делать' и 'говорить' в глаголе *дѣлати* (ср. др.-рус. *дѣлати* 1) 'делать, действовать, поступать'; 2) 'работать, трудиться'; 3) 'создавать что-л.'; 4) 'совершать, осуществлять'; 5) 'говорить' СДЯ XI–XIV III: 172 (следы этого семантического синкретизма до сих сохраняются в частицах *дескать* (< др.-рус. *дѣть* 'говорит' + *сказати*) и *де* (< др.-рус. *дѣть* 'говорит')). Ощущение же разрыва между словом и делом приводит к девальвации слова (ср. выражение: *это всего лишь слова*).

Об этих сокрытых, потаенных смыслах *слова* свидетельствуют и факты морфологии, в частности то, что формы обоих чисел имеет *слово* в собственно метаязыковом значении 'единица языка', в остальных значениях формы ед. ч. и мн. ч. не коррелируют друг с другом (ср. *дать*

слово, но не слова, свобода слова, но не слов, честное слово, но не слова, замолвить слово, но не слова и т. д.). Интересно, что слова обычно противопоставляются делам (ср. *судят не по словам, а по делам, все это только слова, он добр лишь на словах, а не на деле* и т. д.), тогда как слово не противостоит делу, а является его контекстуальным синонимом, особенно в предикативном употреблении (ср. *сказать свое слово* в искусстве, в науке и т. д.). «Человеком слова мы обычно называем человека дела, такого, у которого слово не расходится с делом. Слово приравнивается к особому словесному акту — обещанию, которое становится действительным, если оно подкреплено соответствующим действием... Во многих случаях слово отождествляется с вербальным действием, с коммуникативной деятельностью, которая может быть санкционирована и на которую может быть наложен запрет, поэтому можно *дать слово*, но можно и *лишить кого-либо слова*, мы говорим о *свободе слова*. Слово как действие, поступок, осуществляемый в коммуникативной сфере, может иметь далеко идущие последствия... *словом*, как известно, *можно убить*, но можно и *исцелить*» (Лебедева 2003: 366–367), т. е. форма ед. ч. предстает как нечто более значительное, весомое и важное, чем форма мн. ч., за которой часто закрепляются отрицательные коннотации (ср. *играть словами, бросаться словами, бросать слова на ветер, тратить слова понапрасну, взять свои слова обратно*, т. е. 'отказаться от своего слова' МАС 4: 139 и т. д.). Эта форма говорит о том, что слово «самодостаточно, в нем есть почти все, что вообще есть в речи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что слово часто понимается обобщенно» (Левонтина 2000: 300)¹⁰, не случайно выражение *одним словом* имеет обобщающий, итоговый характер, тогда как выражение *в двух словах* нуждается в своей конкретизации.

Думается, что в этом противопоставлении грамматических форм слова сохраняются следы его былого осмысления в двух регистрах — в сакральном и профанном.

Что касается остальных имен, передававших понятие «слова» в старославянском языке, то среди них, пожалуй, самой интересной является судьба лексемы *речь*.

В именах, вовлеченных в семантическое поле *речи* в современном языке, присутствует прежде всего указание на номинативную функцию слова, хотя следует признать, что многие из этих имен имеют оттенок устарелости (ср. *нарекать, наречь* устар. 'назвать, дать имя' МАС II: 388; *наречься* устар. 'принять имя, назваться' МАС II: 388; *нареченный* 1) 'официально объявленный, названный'; 2) устар. 'жених или невеста' МАС II: 388).

Устойчивым оказалось и магическое осмысление слова *речь*, наделение его такой силой, которая способна предопределять судьбу человека. Особенно ярко магическая функция слова проявляется в этимологии-

чески родственных словах, связанных с лексемой *речь* древними отношениями чередования в корнях *rok-/rěk-/ric- (ср. *рок* высок. 'судьба (обычно злая, грозящая бедами, несчастьями)' МАС III: 728; *роковой* 'предопределяющий судьбу, неотвратимый неизбежный' МАС III: 728; *пророк* 1) 'по воззрениям различных религий — провозвестник и истолкователь воли бога'; 2) 'предсказатель будущего' МАС III: 516; *зарок* 'клятва, обет, обещание не делать чего-л.' МАС I: 567; *прорицать* 'предсказывать' МАС III: 516; *прорицание* 'предсказание' МАС III: 516). Эти архаичные представления о магической способности слова предопределять судьбу человека существовали и в языке Средневековья (ср. др.-рус. *рокъ* 'судьба, предопределение' СРЯ XI–XVII 22: 209), ср. также *нарокъ* 'проклятие' СРЯ XI–XVII 10: 218–219, *нарокъ* 'то, что суждено, предопределено' СДЯ XI–XIV V: 85, в котором *роком* называлось предсказание будущего (ср. *пророчество*, *проречение*), изрекаемое каким-либо авторитетным лицом, жрецом, а затем и само будущее, судьба человека. «Предполагаемая фигура жреца, колдуна являлась посредником между богами и людьми и передавала в устной форме божественную волю, толковала знаки, посылаемые богами, переводя непонятные, невнятные послания божественных сил на язык, доступный пониманию простых людей» (Урбанович 2006: 36).

Таким образом, *рок* (так же как и *судьба*) обозначает такую силу, от которой зависит ход и исход жизни человека и которой он волей-неволей должен подчиниться. Причем если слово *судьба* аксиологически не окрашено и имеет как бы нейтральную оценку (характер которой выявляется лишь в контексте, ср. *несчастливая* или *счастливая судьба*), то *рок* имеет ярко выраженную отрицательную коннотацию, ср. *роковые слова*, *роковая встреча*, *роковая ошибка*, *обречен на смерть*, но не на *жизнь*, поэтому невозможны сочетания типа *счастливый рок* и др. Объяснить это можно тем, что в *роке* присутствует некая неумолимость приговора времени, неизбежность воздаяния за грехи (что хорошо передают пословицы, ср.: *никто от своего року не уйдет*; *так рок судил*; *рок головы ищет*; *бойся не бойся, а року не миновать*; *бойся не бойся без року смерти не будет* и др. Даль. Пословицы). И эта невозможность противостоять силе *рока* во многом обусловила развитие у этого слова отрицательных оттенков значения. Их формированию, по мнению Э. Бенвениста, способствовал также и тот факт, что перед нами «неиндивидуализированный, безличный акт речи», «...и благодаря своему над-человеческому происхождению он содержит в себе нечто таинственное, роковое и непререкаемое» (Бенвенист 1995: 323). И в этом изреченном слове судьбы проявлялась такая сила, которая вызывала страх в душе человека.

Магическая сила *слова* наделяла его властью над человеком, вовлекая в сферу социальных отношений. Уже в старославянском языке лек-

сема *рѣчь* имела выход в сферу социальных действий и обладала значением 'обвинение'. В древнерусских памятниках письменности социальная функция слова *рѣчь* была выражена еще ярче, ибо в его семантической структуре были представлены такие значения, как 'переговоры', 'решение', 'вопрос, дело', 'обвинение', 'донос', 'спор, несогласие', 'свидетельское показание', 'имуущество'. В современном русском языке все эти значения отсутствуют, однако отчетливо прослеживается социальная окрашенность имен с корнями *рек-* и *реч-* (ср. *обречь, обрекать* книжн. 'предназначить к какой-л. неизбежной участи (обычно тяжелой)' (...их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам — А. С. Пушкин. «Песнь о вешем Олеге», МАС II: 564; *обреченный* 'такой, которому суждена гибель' МАС II: 564; *отрекаться, отречься* 'не признать своим, объявить кого-л. близкого чужим' (*отречься от престола* 'отказаться от своего права на престол' МАС II: 706). Эти имена говорят о том, что слово по-прежнему имеет власть над человеком.

Все остальные синонимы слова (отмеченные в старославянском языке) находятся явно на периферии его семантического поля. Так, в частности, ст.-сл. глаголь является стилистически маркированным и устаревшим словом (МАС I: 312), имеющим довольно бедное словообразовательное гнездо (ср. *глаголица*, устаревшее книжное *многоглаголанье* 'многословие' МАС II: 281 и разговорное *разглагольствование* 'многословное рассуждение, часто бессодержательное и высокопарное', *разглагольствовать* 'заниматься разглагольствованиями' МАС III: 598).

Немногочисленные дериваты, входящие в словообразовательное гнездо лексемы *беседа* (у которой уже в древнерусскую эпоху значение 'слово' словарями не фиксируется), обозначают либо процесс (ср. *беседовать, собеседование*), либо его исполнителя, т. е. лицо, участвующее в беседе (*собеседник*).

Сужение значения произошло и в слове *глас*: в ходе исторического развития в этой лексеме было актуализировано главным образом значение 'голос', причем употребление его в этом значении стилистически маркировано и квалифицируется словарями как устаревшее или традиционно-поэтическое (ср. *Раздался звучный глас Петра: — За дело, с Богом — А. С. Пушкин. «Полтава»*), ср. также старославянизм *Глас вопиющего в пустыне* 'о призыве, остающемся без ответа' (МАС I: 314). В производных с этим корнем реализуется либо идея *звучания* (здесь прежде всего вспоминается *гласный* как звук максимально звучный, ср. также *возглас* 'громкое восклицание, выкрик', *возгласить* 'громко произнести' МАС I: 198; *огласиться* 'наполниться звуками' МАС II: 584), либо идея *сообщения, объявления* о чем-либо (ср. *гласить* книжн. 'содержать в себе какое-л. сообщение, утверждение' МАС I: 315, *провозгласить* 'объявить о чем-л.' МАС III: 472; *огласить* 1) 'объявить'; 2) ус-

тар. 'разгласить, сделать всем известным' МАС II: 584; *разгласить* 'сделать известным что-л. всем, многим' МАС III: 753), отрицание же этого признака ведет к появлению значения 'тайный, не подлежащий огласке' (ср. *негласный, негласность* МАС II: 431), т. е. это слово из средства коммуникации превратилось в средство познания.

Вместе с тем нельзя не отметить, что в русском языке прижились старославянские лексемы *къдногласник* и *съгласник*, в которых актуализируется идея *едино-словия* или *единодушия* (ср. *единогласие* 'полное согласие по какому-л. вопросу, единодушие' МАС I: 462; *согласие* одно из значений этого слова 'единодушие, единомыслие, общее, единое мнение' МАС IV: 178), т. е. сопряжения души и слова (*глас-*) говорящего и собеседника.

Итак, оказавшись на перепутье языка и новой секуляризованной культуры, слово не утратило своей нравственно-этической семантической ауры, сформировавшейся в недрах старославянского языка и укрепившейся в древнерусских памятниках письменности, а сохранило ее в нашей культурно-языковой памяти, ибо «...религиозные символы <...> сообщают нам значения, когда мы не спрашиваем, помогают слышать, когда мы не слушаем, помогают видеть, когда не смотрим. Именно эта способность религиозных символов формировать значение и чувство на относительно высоком уровне обобщения, выходящего за пределы конкретных контекстов опыта, придает им такое могущество в человеческой жизни» (Белла 1972: 268).

* * *

Еще ярче нравственно-ценностная нагруженность слова проявляется в языке русской традиционной духовной культуры. В языковом сознании крестьянина слово как христианская этическая ценность не только не умерло (ср. *божье слово* 'молитва' Перм., Оренб., Сиб., СРНГ 3: 63; *боговы слова* 'молитва' Иркут., СРНГ 3: 67; слово *божье* 'проповедь'; Свердлов., СРНГ 38: 295; отсюда и пословица *молитва — полпути к Богу; аминь слово* 'не во вред будет сказано' Арх., СРНГ I: 252), но и, пережив своеобразные трансформации, обогатилось новыми смыслами.

На сакральный смысл слова указывает прежде всего тот факт, что оно соотносится с Истиной (ср. слово 'истина, премудрость' Даль IV: 222), являющейся, как известно, символом Бога. О связи Слова с идеей Бога говорят и русские пословицы, ср. *Одно слово аминь, а святые дела вершит; Живи по Слову, да спасешься Словом; Слово свято, нерушимо* и др. Даль. Пословицы), свидетельствующие о том, что приобщение к вечной жизни в Боге приходит через Слово Бога.

Духовно-христианская направленность в восприятии слова проявляется и в том, что оно осмысливается как категория этики, формирующая

нравственные основы человеческих отношений, и прежде всего **сострадания** (ср. *дать ласковое слово* 'утешить' Калуж., Жиздр., СРНГ 38: 294; *словом принять кого-л.* 'пожалеть кого-л.' Свердлов., СРНГ 38: 295; *легкосердное слово* 'утешение' Даль // 'приветливое слово' Костром., СРНГ 16: 313), т. е. *слово* в языке крестьянской культуры предстает как этический императив, которым определяются нравственные устои жизни общества (ср. *по доброму слову* 'по-хорошему' Рост., СРНГ 38: 294; *засловить* 'дать слово' Арх., СРНГ 11: 42; *дать словом* 'согласиться' Карел.; *заложить слово* 'дать слово' Арх., СРНГ 10: 216; *отобразить слово* 'заручиться согласием' Смол.; *сказать слово* 'обещать что-л.' Карел., СРНГ 38: 295; *класться на слово* 'заключать договор устно на словах' Арх., СРНГ 38: 294; *положиться на слове* 'договориться' Арх., СРНГ 29: 103).

Эти христианские смыслы *слова* особенно характерны для текстов, представляющих так называемое народное православие (духовных стихов, молитв, быличек, народной агиографии, житийных повестей и проч.), в которых Слово — это и Христос, и учение Христа — Писание, Евангелие, и пророчество, и молитва (подробнее см.: Никитина 2000: 570).

Слово в языке русской традиционной культуры пережило своеобразную социализацию, ибо оно воспринимается и как **категория социальная** (ср. *словутный* 1) 'известный в каком-л. отношении (человек)' Олон., Карел., Арх., Волхов., Ильмень., Яросл., Свердлов. // 'авторитетный' Кемер.: *Отец-то был словутный*; 2) 'богатый, зажиточный' Север., Олон.: *То ведь жирушка-то наша небогатая, а житье-то не словутное* СРНГ 38: 296; *словопутник* 'знатный, богатый человек' Твер., Арх., СРНГ 38: 296), в которой слово тесно связано с делом (ср. *Словом-делом* 'слово не расходится с делом, сказано — сделано' Новосибир., Тюмен.: *Ну и словом-делом, сел он и уехал* СРНГ 38: 295). Эта сопряженность *слова* и *дела* ярко проявляется в его синтагматике, ибо «слово спасает, ведет, оправдывает, исполняется» (Никитина 2000: 573)¹¹.

Человек, владеющий *словом*, оценивается как человек знающий, умный (ср. *словутный* 'умный' Том.: *словутный мужик* СРНГ 38: 296).

Слово в русских диалектах вовлечено не только в сферу социальных действий, но и магических, ибо оно наделено **магической функцией**, благодаря которой вершится заговор, произносится заклинание¹² (ср. *словинка* 'заговор' *Хозяин словинку каку-то знал, приворожить умел* Свердлов., Тобол., Урал., СРНГ 38: 292; *Тайная словечка* 'заговор' Рост., СРНГ 38: 292; *слово* 'заговор, заклинание' Перм., Моск., Карел., Арх., Сев.-Двин.: *В байне помоют со словами и проходит; лечить словами* Арх.: *А вот грыжу наш брат словами лечит*; ср. также *слова пила* и *слова принимала* 'пила воду, на которую шептали заговор' Перм.; *слово на ветер мой* 'заклятие от чего-л.' Омск., Том.: *Живем хорошо, слово на*

ветер мой; СРНГ 38: 295; *неприятельское слово* ‘по суеверным представлениям злое слово, которое может вызвать порчу’ Пск.: ср. просьбу к св. Егорию: *попасти стадо от неприятельского слова* СРНГ 21: 129). В традиционной духовной культуре со словом связано множество различных ритуалов, поверий, суеверий.

Эта магическая функция слова говорит о том, что в глубинах языкового сознания человека традиционной культуры религиозное восприятие слова слилось с тем ощущением его «волшебства», которое существовало в дописьменной магии и ритуале. Таким образом, «в народной культуре языческая вера в магическую силу слов „знающих людей“ соединилась с молитвенным почитанием христианского слова Божия» (Никитина 2000: 567). Особенно ярко, по наблюдениям С. Е. Никитиной, оно проявляется в духовных стихах, псалмах и духовных песнях, в которых «большинство терминов „фольклорной лингвистики“ своей семантикой и употреблением в той или иной степени погружено в сферу сакрального, т. е. в ту сферу, где действуют силы „иного мира“, будь то силы божественные или демонические, христианские святые или одушевленные стихии. И это понятно, ибо способность говорить оценивается как *божественный дар*, а слово как *творящее начало*» (Никитина 2000: 561).

Интересно, что в языке традиционной духовной культуры также присутствует то противопоставление форм единственного и множественного числа слова, которое указывает на сакральный и профанный характер его значений. «В текстах *заговоров* термин *слово* встречается преимущественно во множественном числе (ср., например, такие клише, как: *словам моим ключ и замок, словесам моим утверждение, будьте слова мои крепки и липки* и т. д.), тогда как в *духовных стихах* оно употребляется только в единственном числе: *непорочное, чистое, истинное слово* Господне противопоставлено *нечистым, лукавым скверным, темным, дурным, грубым словесам лукавствия и ненависти*, которые исходят от дьявола... При этом если сакральное слово в значении ‘Христово учение’ не имеет морфологических вариантов, то слово в профанных значениях предстает как *словечко, словечико, словечушко*» (Никитина 2000: 567, 574, 579).

Коммуникативная ситуация, которая описывается словом, в диалектах предстает как своеобразный круговорот речи (ср. *слово выговаривать* ‘говорить’ Арх., Печор.; *говорить, чтобы слово слово родило* ‘говорить складно, связно’ Беломор.; *слово до слова рассказать* ‘рассказать подробно, ничего не пропуская’ Среднеобск.; *слово принять* ‘выслушать’ Смол., СРНГ 38: 295; *слушать* ‘понимать (чужой язык)’ Камч., Сиб., Якут.: *Якуты-то по-русски хорошо слушают* СРНГ 38: 321, 325; *обернуть слово* ‘ответить’ Смол., СРНГ 38: 294).

Слово в языке крестьянской культуры осмысливается и как категория аксиологическая, обладающая высокой ценностью, отсюда так много

русских народных пословиц, в которых определяется ценность слова, ср. *добрым словом и бездомный богат, ласковое слово, что великий день, слово закон, держись за него, как за кон, не дав слово — крепись, а дав слово — держись* и др. (Даль. Пословицы).

Не случайно для окружающих так значимы последние слова, сказанные человеком перед смертью (ср. *заповедывать* 'сказать последнее слово перед смертью' Олон., СРНГ 10: 333). Именно поэтому слово, как и всякая ценность, должно быть бережно хранимо, не растрачиваться попусту, поэтому болтовня — это *дарово слово* (Пинеж., Арх., СРНГ 7: 177), отсюда и пословицы: *слово — серебро, молчание — золото; большое глаголение — малое спасение* СРНГ 6: 177; *хвастливое слово гнило* Волог., СРНГ 6: 246 и др.), а ругательное слово — это *черное слово* (Новг., НОС 12: 52) и ругаться — значит *словоблудить* (Карел., СРГК 6: 156)¹³.

В отличие от литературного языка, в русских диалектах продолжают свою жизнь и те лексемы, которые образовывали синонимический ряд в старославянском языке, при этом в концептуализации ими понятия «слова» прочерчиваются те же смысловые линии.

В этом отношении чрезвычайно интересна судьба лексемы *глагол*, которая реализуется в многочисленных дериватах (ср., например, *глаголение* 'речь, слово' Смол., СРНГ 6: 177; *глаголать* 'говорить' Том., СРНГ 6: 177; *глаголить* 'говорить' Моск., Орл., Смол., СРНГ 6: 177; *глаголовать* 'говорить' Перм., Влад., СРНГ 6: 177; *проглаголить* 'сказать что-л.' Олон., Волог., Арх.: *Анике же смерть проглаголила* СРНГ 32: 108; *возглаголить* 'заговорить' Арх., СРНГ 5: 17; *разглаголить* 'рассказать, сделать известным' Урал., СРНГ 33: 302; *разглаголиться* 'завязать беседу, разговориться' Зауралье, СРНГ 33: 302; *сглаголить* 'сказать' Том., Свердлов., СРНГ 37: 18 и др.).

Характерно, что в производных с этим корнем звучит идея божественного происхождения слова (ср. *проглаголение* 'способность говорить, дар слова' Смол.: *Безъязыким бог давал проглаголение* СРНГ 32: 108). Особенно четко она выражена в духовных стихах, в которых слово *глагол* используется для того, чтобы различить Отца и Сына (ср. «*Кто у Бога сын? У Бога сын — Бог Богам, слово — Отец, а Сын — глагол*», Никитина 2000: 576).

Отсюда и этические смыслы, связанные с лексемой *глагол* (ср. *жить по глаголу* 'жить в дружбе, согласии, в мире' Арх., СРНГ 6: 177, т. е. в соответствии с Божьими заповедями).

Вместе с тем слово *глагол* может употребляться и в профанном значении, это так называемые *пустые глаголы*, т. е. пустые слова (ср. *проглаголить* 'сказать что-л. пустое, несерьезное' Ряз.: *Он пьяный, думаем — черт с тобой, проглаголит, спяну болтает* СРНГ 32: 108; *сглаголить* 'распустить слухи' Том., СРНГ 37: 18).

У лексемы *глас* значение ‘слово’ диалектными словарями не фиксируется (ср. *глас* 1) ‘голос’ Перм., Олон.; 2) ‘звук колокола’ Вят., СРНГ 6: 193), однако оно представлено «в духоборских псалмах... Так же, как и от слова, „от гласа Бога создана вся вселенная“, а потому *глас* Господь спускает, как и слово, глас Бога исходит от престола и идет по всей земле (ср. *Взыдет глас Господень от престола, глаголет глас радость ко спасению*)» (Никитина 2000: 591).

Отзвук этого значения слышится и в диалектных глаголах *гласить*, *прогласить* (ср. *гласить* 1) ‘говорить’ Арх.; 2) ‘звать’ Сев.-Двин.; 3) ‘подавать голос’ Смол.; 4) ‘звучать’ Заурал., СРНГ 6: 193; *гласти* ‘говорить’ Пенз., СРНГ 6: 193; *прогласить* ‘сказать что-л.’ Север., Олон., Арх., Смол.: *Сизый голуб прогласил ему: — Семен Семёныч не бей мне, сизова голуба* СРНГ 32: 108), а также в глаголе *гласиться*, имеющем значение ‘мыслиться, иметься в думах’ (Орл., СРНГ 6: 193).

При этом в именах с корнем *глас-/глаш-* отчетливо прослеживается духовно-христианская направленность в концептуализации слова (ср. *пригласительный* ‘гостеприимный, радушный’ Том., Новосиб., Алт., Краснояр., СРНГ 31: 158; *пригласье* ‘приветливость, ласка’ Краснояр., СРНГ 31: 158; *приглашенье* ‘приветливость, радушие, ласка’ Омск.: *А это приглашенье мое к скотине, приглашенья всему надо и уваженье ко всему надо* СРНГ 31: 158).

Производные с этим корнем отсылают и к социально-этическому аспекту осмысления слова (ср. *гласный человек* ‘известная, знаменитая личность’ Том., СРНГ 6: 193; *нагласить, наглашить* ‘распускать о ком-л. дурную славу’ СРНГ без указ. места 19: 1984; *оглашать* 1) ‘оговорить, осрамить кого-л.’ Вят.; 2) ‘обвинить кого-л.’ Волог., СРНГ 22: 317).

Эти имена говорят о том, что отношения между людьми строятся прежде всего на *едино-словии* (ср. *соглас* ‘дружба, дружественные взаимоотношения’ Костром., Киров., Вят., СРНГ 39: 197; *согласивый* ‘мирный, дружный, согласный’ Пск., Твер., СРНГ 39: 197; *единогласно* ‘дружно, в согласии’ Арх.: *Опять живут с год времени с ней единогласно и прижили третье брюхо* СРНГ 8: 319).

Словом определяются и отношения между мужчиной и женщиной (ср. *соглашаться* 1) ‘вступать в сожителство, интимную связь’; 2) ‘ласкаться, миловаться’ Смол., Печор.: *Иде мы с тобой, милый друг, соглашались, а в чистеньком полюшке, под белой березой* Свердл., СРНГ 39: 198; *пригласить по-настоящему* ‘вступить в брачные отношения, сойтись с кем-л.’ Север., СРНГ 31: 158; *пригласить дать* ‘дать согласие’ Перм., СРНГ 31: 158).

Интересна и судьба в диалектах лексемы *речь*. В ее семантической структуре присутствует не только значение ‘слово’, но и указание на его связь с мыслительной деятельностью человека (ср. *речь* 1) ‘слово’ Урал.,

Омск., Печор.; *не речь говорить* 'говорить неправду' Смол.; 2) 'мысль, дума' Олон., Смол.: *В мое сердце пала такая речь* СРНГ 35: 84).

В производных с этим корнем устойчивым является и коммуникативный компонент значения слова (ср. *речать* 'говорить, рассказывать' Вят., Смол.: *Слушай, что речают* СРНГ 35: 81; *речевать* 'говорить, рассказывать' Арх., СРНГ 35: 81; *речеть* 'говорить, рассказывать' Вят., СРНГ 35: 82; *речи* 'говорить, рассказывать' Смол., Арх., СРНГ 35: 82; *речить* 'говорить' Смол., Симб., Арх., Самар., СРНГ 35: 82; *рекать* 'говорить' Сиб., СРНГ 35: 45), его способность быть средством общения (ср. *нарекать* 'говорить, сказать' Смол., СРНГ 20: 124; *оречать* 'отвечать' Смол., СРНГ 23: 337; *проречать* 'проговорить, сказать' Вят., СРНГ 32: 218; *проречение* 'речь' Вят., СРНГ 32: 219; *проречье* 'речь, разговор' Арх., Олон., Онеж., СРНГ 32: 219; *речушка* 'высказывание' Олон., СРНГ 35: 84), а также указание на его номинативную функцию (ср. *нарекать* 'называть, именовать' Ряз., СРНГ 20: 124; *нареканье* 'имя, прозвище' Ряз., СРНГ 20: 124; *нарековать* 'давать имя' Пск., Твер., СРНГ 20: 124).

Язык русской традиционной культуры говорит о том, что жизнь человека, в том числе и семейная начинается со слова (ср. *наречься на свет* 'родиться' Обь, Том.: *Я двенадцатого именинница, петров день как раз, я в тот день и нарекалась на свет* СРНГ 20: 124; *нарекатся* 'обручаться с кем-л.' Пск., Ворон., СРНГ 20: 124). В этом сочетании *наречься на свет* как бы в свернутом виде присутствует идея Слова как жизнетворящего начала.

В именах с корнем *рек-/реч-* просматривается и апелляция слова к социально-правовой сфере деятельности человека (ср. *нарекаемость* 'обвинение' Влад.: *Сотрите вы это пятно — нарекаемость, а то вас и потомки-то будут проклинать* СРНГ 20: 124; *зарекать* 'давать поручение, наказ' Твер., СРНГ 10: 382).

В этой связи обращает на себя внимание связь слова и дела, на которую указывает корень *рек-* (ср. *нарекатся* 'начинать делать что-л.' Ворон.: *Ты только еще жить нарекаешься, а берешься учить меня старика* СРНГ 20: 124; *нарекнуться* 'обещать сделать что-л.' Пск., СРНГ 20: 124).

Словом утверждается и красота выполняемой человеком работы (ср. *речистый* 'яркий, красивый (об узоре)' Новг.: *У меня узор — речистый завсегда* СРНГ 35: 82).

В именах с корнем *рек-/реч-* содержится и этический компонент осмысления слова (ср. *нарекать* 1) 'роптать, осуждать' Смол., Пск.: *Делай так, чтобы на тебя не нарекали*; 2) 'клеветать, оговаривать' Моск.: *Что ж ты меня нарекаешь, и не было этого совсем* СРНГ 20: 124; *нарекатся* 'давать обет, обещать' Пск., Твер., СРНГ 20: 124).

Однако, пожалуй, ярче всего у этого корня выражена магическая функция слова (ср. *речить* 'заговаривать, колдовать' Пск., СРНГ 35: 82;

пророковать ‘предсказывать’ Смол., СРНГ 32: 219; *рок* ‘несчастливая судьба, участь’ Ряз., СРНГ 35: 168; *нарекать* ‘наделять судьбой’ Пск., Новг., Смол., Курск., Орл., Ряз., Казаки-некрасовцы: *В девках сына родила, горькой долей нарекла* СРНГ 20: 124; *роковой* 1) ‘горемычный, несчастный’ Ряз.: *Сестра немая, так уж родилась, такая-то роковая, уж ей годов семьдесят*; 2) ‘предопределенный судьбой’ Терск., Сиб., Иркут., СРНГ 35: 169; *зарёк* ‘обет не делать чего-л., зарок’ Петерб., СРНГ 10: 381; *зарекасть* ‘принуждать к зароку, обещанию не делать что-л.’ Нижегород.: *Что ты меня зарекаешь? Уж и одной рюмки выпить нельзя*; СРНГ 10: 382; *зарекичься* ‘дать зарок не делать что-л.’ Перм., СРНГ 10: 382).

В этой магической функции просматривается то восприятие слова, которое было свойственно дохристианской мифопоэтической традиции, когда оно наделялось особой магической силой, позволяющей регулировать отношения человека с окружающим его миром.

Наконец, последнее слово из того синонимического ряда, который существовал в старославянском языке, — *беседа*. О значимости этого слова в языке русской традиционной культуры красноречиво свидетельствует тот факт, что оно активно используется в коммуникативном регистре как форма приветствия или приглашения (ср. *беседа вам* ‘приветствие, с которым обращается вошедший к присутствующим’ Новг., Олон.; *мир на беседе* ‘приветствие разговаривающим’ Перм., СРНГ 2: 261; *беседуйте* 1) ‘форма приветствия’ Костром., Ярослав., Новг., Вят.: *Беседуй, Иван Иванович! Куды это ты собираешься?* 2) ‘приглашение заходить в гости’ Олон., СРНГ 2: 266).

Итак, слово в языке русской традиционной духовной культуры нагружено самыми разными смыслами — сакральным, социальным, этическим, аксиологическим, магическим и даже эстетическим. Несмотря на то что слова, входящие в это семантическое поле, многозначны и их семантика часто имеет диффузный характер, в концептуализации ими понятия «слово» прослеживаются общие моменты, которые говорят о том, что слово не утратило своей значимости в языке русской духовной культуры, ибо им определяется религиозно-этическая, нравственная, духовная, социально-правовая жизнь человека¹⁴.

В связи с этим невозможно не сказать об эстетическом воздействии религиозного слова, на которое обратили внимание и русские писатели, и ученые, отмечавшие «чувство притягивающей красоты этого слова, желание повторять его, вчитываться, вслушиваться в текст, как бы вбирая его в себя или растворяясь в нем, сопереживая самому его звучанию и переливам смысла...» (Мечковская 1998: 44). Достаточно вспомнить чтение и восприятие Евангелия героями чеховского рассказа «Мужики», которых «святые слова трогали до слез» (Чехов. Соч. 9: 289)¹⁵.

* * *

Итак, рассматривая *слово* «в границах большого времени» (М. М. Бахтин), следует признать, что, несмотря на секуляризацию русской культуры, христианская традиция в его осмыслении не оборвалась.

Специфика семантического развития *слова* в языке русской культуры была обусловлена, с одной стороны, влиянием старославянского (церковнославянского) языка и, шире, византийской богословской традиции, в которой *слово* как философско-религиозный термин (эквивалентный греч. λόγος) имело сакральное значение, а с другой — смешением книжной и традиционной духовной культуры, соотношения которых в истории русского языка принимало разные формы. В результате в концептуализации *слова* отразились разновременные языковые восприятия.

Будучи «первоначально связанным со звуком и слухом, *слово* постепенно становилось концентратом понятия, символом обширного смыслового поля» (Арутюнова 2000: 14), в формировании которого важная роль принадлежала христианской этике Средневековья.

Обозначая разные типы речевых актов (в частности, недостоверные слухи, молву, личные мнения и проч.), *слово* не утратило связь и с тем сакральным значением, которое во многом предопределило развитие у него этических смыслов.

Благодаря сакральному элементу в восприятии *слова*, заложенному еще в Евангелии от Иоанна, *слово* было включено в общественно-культурную языковую память и приобрело в русской культуре высокий надязыковой статус. Наряду с другими именами Бога, такими, например, как Истина, Добро, Красота Любовь, Слово стало ценностным ориентиром человека. Это восприятие *слова* вошло в плоть и кровь русской культуры, превратилось в ее повседневный компонент, определяющий ее жизнь.

Детальная смысловая проработанность лексико-семантического поля *слова*, наличие обширной идиоматики, реализующей это понятие, а также богатый синонимический ряд свидетельствуют о том, что понятие «слово» стало тем смысловым центром, который порождает новые смыслы, наполняющие информационное пространство культуры. Все это дает основания сказать, что русская культура — это культура Слова¹⁶. Отсюда и «литературоцентричность» нашей культуры (Софронова 2004: 9), ее глубокий пиетет к слову (ср. в связи с этим слова Н. В. Гоголя: «Обращаться со словом нужно честно: оно есть высший подарок от Бога человеку» (Выбранные места из переписки с друзьями. Т. VI: 202). Слово является «первозлементом» литературы, назначение которой утверждать бытие посредством слова. «Мир — это словарь, — писал А. М. Ремизов. — Весь мир для меня выражается словом» (Цивьян 1999: 246). Будучи предметом вечных поисков писателей, художественное слово стало

своеобразным инструментом воздействия на сознание читателя (ср., например, слова А. А. Блока: «Я интеллигент, литератор, и оружие мое — слово» МАС IV: 139), его духовного преображения (достаточно вспомнить поэзию Пушкина, который видел в поэте Пророка, призванного «Глаголом жечь сердца людей», ибо Пророк — это тот, кто прорекает Божие глаголы, кто с помощью своего слова пытается выразить слово божественное¹⁷). Эта пророческая тема, освященная именем Пушкина, становится одной из ответственных тем русской поэзии.

В этом отношении к Слово проявляется не просто философия языка, но воля к памяти русской культуры, ее установка на сохранение Слова и передачу его из поколения в поколение¹⁸.

В связи с этим хотелось бы привести слова академика В. Н. Топорова, который, говоря о ситуации в русском языке в последние десятилетия, писал незадолго до смерти в статье «Имя как фактор культуры»: «Трудно припомнить, когда бы была развернута такая тотальная агрессия против имени-смысла, имени-памяти, имени-совести, имени соприродного и соразмерного человеку, как в нашей стране в прошедшие десятилетия. Помня о трагических потерях и перед лицом будущего, нужно со всей ответственностью сказать: „ономатетическая инженерия“, ставшая основной частью языковой политики, принесла нашей культуре великие потери (ложное имя стало делом лжи), в руках злых сил, осознавших ситуацию, эта „ономатетическая инженерия“ может превратиться в еще более страшное оружие, направленное сначала против культуры, а через нее и после нее и против человека... Создавая в чудовищных масштабах и темпах ядро „ню-спика“, она преследовала свои задачи — ошеломить человека, заставить его усомниться в добрых основах старого именованного, забыть себя не только через зачеркивание, стирание, изъятие, уничтожение людей и материальных воплощений духовной культуры, но и через „порчу“ языка — не через отмену его материи, но через включение в нее механизмов „анти-смысла“, разлагающих — и явно, и тайно — прежние смыслы, самое веру в осмысленность языка, жизни, в тот высший Смысл, который и делает жизнь бесценным даром.

Чтобы найти исчезающие тропинки к родникам жизни, нужно восстановить эти утраченные, полузабытые... смыслы. Сделать это трудно, как трудно и представить все препятствия на этом пути... Никакой демиург не может сотворить и даровать нам в готовом виде новый именованное... Поэтому всему тому, что было направлено против человека, жизни, духа языка, смысла имени, надо, помня великую традицию Слова, Имени, Мудрости — от славянских первоучителей до Вл. Соловьева, Булгакова, Флоренского и имяславцев начала прошлого века, — сказать свое твердое „Отрицаюсь!“» (Топоров 2004: 383).

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Источником этого символического осмысления слова стал греческий язык (см.: Трубецкой 1906, Верещагин 1982, Красухин 2000, Дегтев, Макеева 2000 и др.). «Слав. Слово было эквивалентом греч. λόγος, в котором воплощены многовековые размышления греческой и древнееврейской мысли. Это был итог развития религиозного самосознания от Гераклита и библейских пророков до неоплатоников и Филона Александрийского» (Дегтев, Макеева 2000: 161). Учение Филона было воспринято христианами. «Логос стал отождествляться с сыном Божьим. Поэтому в Евангелии прямо упоминается, что известия об Иисусе распространились среди „слуг Слова“. Особенно показателен первый стих: „В начале было Слово...“ Следует, впрочем, заметить, что на развитие христианского термина мог оказать влияние возможный древнееврейский или арамейский оригинал. Ср. перевод этого предложения на древнееврейский: Berešit haiaħ hadebar vo hadebar haiaħ 'at hi'ulahaim haiaħ hadebar. Др.-евр. *debar* означает не только „слово“, но и „дело“. Евангельское λόγος обозначает единство слова и дела. Тем самым уже здесь решена антиномия, обозначенная в „Фаусте“ Гёте: „В начале было Слово“ vs. „В начале было Дело“... В этой связи надо подчеркнуть, что общепринятый перевод евангельского текста „В начале было Слово...“ не вполне точен. Возможно, наиболее адекватная интерпретация была бы таковой: В начале была Идея» (Красухин 2000: 28).
- 2 При повествовании о Христе, пришедшем во плоти, «Иоанн считал необходимым говорить прежде всего о Его Божестве, так как иначе люди с течением времени начнут судить и думать о Христе лишь по тому, каким он являлся в земной жизни. Поэтому Евангелие от Иоанна начинается не с изложения человеческой стороны жизни Христа, а именно с божественной стороны, с указания на то, что воплотившийся Христос есть Слово изначальное. Такое указание на Божество и предвечное бытие Христа необходимо было также ввиду распространявшихся Керинфом лжеучений касательно Иисуса, которого он считал лишь простым человеком, принявшим на себя божество только временно, в период от крещения до страданий, а также ввиду александрийского умозрения о разуме и Слове (Логосе) в их приложении к отношениям между Богом и Его Словом изначальным. Если в Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки выставляется более человеческая сторона в Христе, изображение его как Сына человеческого, сына Давидова, то Иоанн, напротив, выдвигает более божественную сторону и выставляет его как Сына Божия... поэтому в отличие от трех евангелистов, повествующих о чудесах, притчах и внешних событиях жизни Христа, Иоанн ведет рассуждение о глубочайшем ее смысле» (ЭСБЕ 21: 405).
- 3 «Мы имеем любопытное тому подтверждение, — пишет С. С. Аверинцев. — Некий христианин по имени Муселий на свои деньги выстроил библиотеку, и вот анонимная эпиграмма ранневизантийской эпохи так восхваляет его поступок: „Эту обитель для слов доброхотно воздвигнул Муселий, ибо уверовал он свято, что Слово есть Бог“» (Аверинцев 1997: 212).
- 4 «В м. р. слово употребляется преимущественно в зват. падеже: сѣиѣ и слове сѣга живаги, но встречается и в вин. падеже: едино безаѣтнаго сѣа и слова сѣа въ лѣто

рождши (*Служ Усп Утр ст бер*), или же м. р. выражен прилагательным: чертогъ, въ немже слово оуневѣстивый плоть (гл 1 сб Веч мал стх ГВ сл н)» — Седакова 2005: 10.

- 5 Преп. Исаак Сирин так пишет об этом: «И совершил Он творение по благодати своей, удостоив также и нас, людей, которые суть прах от земли, естество немощствующее, благодаря творческому искусству Его возвыситься до состояния словесности, дабы могли мы предстать перед Ним и разговаривать с Ним в молитве...» (Исаак Сирин 2003: 45).
- 6 Так, в частности, в азбучном именованном провозглашалась «идея Добра в качестве абсолютного Блага, главной этической ценности жизни (Глаголи: Добро Есть Живѣте Слово Земля), ... обозначались полусы мироздания (Земля Он Покон) как основы философской доктрины христианства..., обозначались два противоположных направления душевных устремлений человека (Укъ Фертъ Хѣр(овим)ъ Ци Чьрь — учение избирательно: херувим или червь» (подробнее см.: Савельева 2005: 329).
- 7 Разбирая Марииинское Евангелие, в частности смысловую нагрузку различных метатекстовых компонентов, среди которых опорными являются *имя, слово, выражение*, Т. М. Николаева приходит к выводу, что перед нами «культура с повышенным вниманием к вербальному воплощению бытия... Эта установка на *слово* как действие высшего плана, на *слово-имя* как особую суть» (Николаева 2000: 566–567). Бог творит мир словом, и вещи получают свое бытие в соответствии с волею Его мысли, которая предопределяет и образ, и истину вещи. Поэтому мир есть откровение Слова, Книга, читая которую человек познает Бога. «Мы познаем Бога не из Его природы, ибо она непознаваема, — говорит мудрый Дионисий Ареопагит, — но из устройства всего сущего, ибо это Его произведение, хранящее некие образы и подобия Его божественных прообразов» (Дионисий Ареопагит 1994: 462). Образ мира как божественной книги присутствует и в других сочинениях отцов церкви, ср., например, рассказ Аввы Евагрия: «К праведному Антонию пришел некто из тогдашних мудрецов и сказал: „Как выдержишь ты, отче, лишенный утешения, получаемого от книг?“ Тот же отвечал: „Книга моя, философ, есть природа сотворенных вещей, и она всегда под рукой, когда хочу я прочесть словеса Божии“» (Авва Евагрий 1994: 110). Характерно, что этот образ использует и М. В. Ломоносов в статье «Явление Венеры на Солнце»: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал Свое величество, в другой — свою волю. Первая видимый сей мир. Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая книга Священное Писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спасению» (Ломоносов 1980: 176).
- 8 «Слово *рѣчь* в истории русского языка использовалось не только для передачи того, что сказано, но и самого того социального события, когда устная речь играла ведущую роль: показания (в судопроизводстве) > тяжба, судебное дело, устное послание, речь посла (в дипломатической деятельности) > переговоры... Если конкретизация того, что произнесено ('устное послание в дипломатической деятельности', 'показания' и др.), представлена у *слова* и

- у рѣчи, то обозначение социально значимого события является особенностью последнего слова» (Макеева 2000: 119).
- 9 Примечательна синтагматика этого слова, появляющегося в древнерусских памятниках с XVI в. (ср. в «Житии Сергия Радонежского» (XVI в.): *Приидѣте честное и святое постникъ сословие*; в «Великих Минях-Четиях» (XVI в.): *...все мученическое съсловие...*; в «Повести о святых и богопроходных местах святого града Иерусалима» (XVII в.): *...облачится патриарх и все священное сословие во всю священную одежду...*; в «Врачевальных молитвах» (сп. XV–XVIII вв.): *...молю и сословие святых праведных богоотець...*), его причастность к религиозному дискурсу (подробнее см.: Виноградов 1999: 651).
- 10 Интересно, что эта дифференциация значений слова в формах ед. и мн. ч. наблюдается и в древнерусских памятниках письменности, где форма ед. ч. закрепляется за такими значениями, как ‘клятва, обещание’, ‘волсизъявление, приказ’ и т. д., тогда как *слово* в значении ‘единица языка и речи’ обозначается формой мн. ч. (подробнее см.: Дегтев, Макеева 2000: 166).
- 11 Ср. в связи с этим следующие примеры, которые приводит О. А. Черепанова из житийной повести о старце Николае, записанной в этнолингвистической экспедиции на Русском Севере: «Николай любил ходить к реке. Однажды он стоял и размышлял: „Неправильно деревню Заречье построили, надо бы в два ряда“. И через неделю – пожар, сгорело тридцать пять домов» (Черепанова 2005: 280).
- 12 Говоря о магической функции слова, его преобразующем воздействии на мир, А. Белый писал в статье «Магия слов»: «Стремясь назвать все, что входит в поле моего зрения, я, в сущности, защищаюсь от враждебного мне и непонятного мира, напирającego на меня со всех сторон. Процесс наименования... явлений словами есть процесс заклинания... Звуком слова я укрощаю стихии. Всякое слово есть заговор, заговаривая явление, я, в сущности, покоряю его» (Белый 1910: 431).
- 13 И даже бытующее в русской культуре *матерное слово* «подтверждает существование культурного предписания уважения к матери, своей и чужой» (Бартмицкий 2005: 196). Кроме того, запрет на матерную брань (если она не ритуализована, например, в семейных, календарных и земледельческих обрядах) «связан с представлением о том, что она оскорбляет Мать сыру землю, Богородицу и родную мать человека» (Славянская мифология: 56; Славянские древности I: 250). Ср. в связи с этим следующий текст, записанный в вологодских говорах: «Народ больно матюкливый стал, да какой-то шальной. Пошто бы это? Пошто бы мать-то тревожить, да всё её поминать недобрым словом? Ведь земля каждый раз дрогнёт. Грех ведь...!» (Тутунджан 2005: 73).
- 14 В связи с этим интересно привести этнографические данные, свидетельствующие об особом отношении народа к слову: «Всякий порядочный крестьянин старается держать данное им слово: нарушить его он считает нечестным... Умение держать слово особенно проявлялось в сделках, которые крестьяне заключали между собой без письменных документов. Не случайно о договоре, заключенном на словах, говорили, что он заключен „на совесть“. Не исполнять данного слова, обещания крестьянами считается и за грех, и за стыд» (Громыко, Буганов 2000: 334–335).

- 15 Не могу в связи с этим не привести отрывок из «Откровенных рассказов странника духовному своему отцу» (Париж, 1989), в которых раскрывается не только удивительная личность, но и трепетное отношение к Божиему слову: «Родился я в деревне Орловской губернии. После отца и матери осталось нас двое, я да старший брат мой. Ему было десять, а мне два года — третий. Вот и взял нас дедушка к себе на прокормление. А был он старик зажиточный и честный, держал постоянный двор на большой дороге, и по доброте его много стаивало у него приезжих. Стали мы у него жить. Брат мой был резв и все бегал по деревне, а я все больше вертелся около дедушки. По праздникам ходили мы с ним в церковь, а дома он часто читывал Библию, вот эту самую, которая у меня. Брат мой вырос и испортился — научился пить. Мне было уже семь лет, однажды я лежал с братом на печи, и он толкнул меня оттуда, и повредил левую руку. С тех пор и по сие время ею не владею — вся высохла.

Дедушка, видя, что я к сельским работам буду не способен, начал учить меня грамоте, и как азбуки у нас не было, то он учил меня по сей же Библии, как-то: указывая азы, заставляя складывать слова да примечать буквы. Так и сам не понимаю, каким образом, твердя за ним, я в продолжение времени научился читать. И, наконец, когда дедушка стал худо видеть, то часто меня уже заставлял читать Библию, а сам слушал да поправлял. У нас нередко стаивал земский писарь, который писал прекрасно, я смотрел, и мне нравилось, как он пишет. Вот я и сам по его примеру начал выводить слова, он мне указывал, давал бумаги и чернил и чинил мне перья. Так я и писать научился. Дедушка был сему рад и наставлял меня так: вот теперь тебе Бог открыл грамоту, будешь человеком, а потому благодари за сие Господа и чаще молись. Итак, мы ко всем службам ходили в церковь и дома очень часто молились. Меня заставляли читать: Помилуй нас, Боже, а дедушка с бабушкой клали поклоны.

Наконец, мне уже стало семнадцать лет, и бабушка умерла. Дедушка стал говорить мне: вот у нас нет хозяйки в дому, а как без бабы? Старший брат твой заматался, хочу тебя женить. Я отказывался, представляя свое увечье, а дедушка стоял на своем, и меня женили, выбрали степенную и добрую, двадцати лет. Прошел год, и дедушка мой сделался при смерти болен. Призвав меня, начал прощаться и говорит: вот тебе дом и все наследство, живи по совести, никого не обманывай, да молись больше всего Богу, все от Него. Ни на что не надейся, кроме Бога, ходи в церковь, читай Библию, да нас со старухой поминай. Вот тебе и денег тысяча рублей, береги, попусту не трать, но и скуп не будь, нищим и церквам Божиим подавай.

Так он и умер, и я похоронил его. Брату стало завидно, что двор и имение отданы одному мне. Он начал на меня злиться, и до того враг в сем помогал ему, что даже намеревался убить меня. Наконец вот что он сделал ночью: когда мы спали и постояльцев никого не было, подломал чулан, где хранились деньги, вытащил их из сундука, да и зажег чулан. Мы услышали уже тогда, когда вся изба и двор занялись огнем. Едва выскочили из окошка, в том только, в чем спали.

Библия лежала у нас под головами, и мы ее схватили с собой. Смотревши, как горел наш дом, мы между собой говорили: слава Богу, хотя Биб-

лия-то уцелела, хоть есть в чем утешиться нам в горе. Итак, все имущество наше сгорело, и брат от нас ушел без вести. Уже позже узнали, когда он начал пьянствовать и хвалиться, что он деньги унес и двор зажег.

Остались мы наги и босы, совершенно нищие, кое-как в долг поставили маленькую хижину, да и стали жить бобылями. Жена моя была рукодельница: ткать, прясть, шить, брала у людей работу, да день и ночь трудилась, и меня кормила. Я же по безрукости моей даже и лаптей плести не мог. Она бывало ткет или прядет, а я сижу около нее, да читаю Библию, а она слушает, да иногда и заплачет. Когда я спрошу: о чем ты плачешь, ведь слава Богу, живем? То она и ответит: то мне умилительно, что в Библии-то очень хорошо написано...» (цит. по: *Лурье С. В.* Историческая этнология. М., 1997. С. 311).

- 16 Этот вывод, однако, не исключает того, что и другие языки, и прежде всего славянские, под влиянием культурно-религиозной традиции могли развить такое же отношение к *слову*. Этот вопрос нуждается в специальном исследовании. Вместе с тем нельзя не учитывать тот факт, что русский литературный язык, «будучи модернизированной и обрусевшей формой церковнославянского языка, является *единственным прямым преемником* общеславянской литературно-языковой традиции, ведущей свое начало от святых первоучителей славянских, т. е. от конца эпохи праславянского единства» (Трубецкой 1995: 207). И это обстоятельство, по мнению Н. С. Трубецкого, выделяет русский язык среди других славянских языков с точки зрения богатства его словарного фонда, особенно при передаче многочисленных оттенков значения слова с помощью старославянизмов. Кроме того, следует иметь в виду и тот факт, что практически во всех славянских языках семантическое поле лексики, описывающей речевую деятельность человека (так называемые *nomina dicendi*), устроено по-разному, так как в этом поле представлены разные лексемы, распределение значений которыми не одинаково: русское *слово*, в отличие от его переводных эквивалентов в других славянских языках, не связывается с каким-либо актуальным речевым глаголом, как, например, в сербскохорватском (ср. *реч* 'слово' и *рећи* 'говорить, сказать') или в македонском (ср. *збор* 'слово' и *зборува* 'говорить, сказать'), подробнее см.: Толстая 2000: 172. И это обстоятельство также определяет особенности его концептуализации в русском языке. В этой связи не могу не привести слова священника А. Ельчанинова, который, говоря об ограниченности познания человека, пишет: «Полная истина есть нечто абсолютное и потому несовместимое с миром; мир и человек по существу своему ограничены, и потому ограниченно принимают истину христианства, а так как у каждого народа и человека своя ограниченность, то и христианство в их восприятии выходит особым, оставаясь по существу тем же. И дары Духа также различны, как в отдельных людях, так и в народах» (Ельчанинов 2001: 141), поэтому каждый язык передает свое знание божественных истин, свой собственный духовный опыт. О своеобразии концептуализации слова в немецком языке см., например: Левонтина 2000: 301.

- 17 Не случайно среди различных духовных даров, посылаемых ученикам Христа, один из важнейших — пророческий дар: «Достигайте любви; ревнуйте

о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать», — говорит в своем Послании к коринфянам ап. Павел (1 Кор. 14: 1), ибо «кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение» (1 Кор. 14: 3).

- 18 Достаточно вспомнить такие хрестоматийные примеры, как стихотворение И. А. Бунина «Слово» («Молчат гробницы, мумии и кости — лишь Слову жизнь дана: из древней тьмы, на мировой погосте, звучат лишь Письмена. И нет у нас иного достоянья! Умейте же беречь хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, наш дар бесценный — речь») или стихотворение А. А. Ахматовой «Мужество» («Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, — и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки!»).

ЛИТЕРАТУРА

- Авва Евагрий 1994 — *Авва Евагрий*. Творения. Аскетические и богословские трактаты. М., 1994.
- Аверинцев 1997 — *Аверинцев С. С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.
- Арутюнова 2000 — *Арутюнова Н. Д.* Наивные размышления о наивной картине языка // Язык о языке. М., 2000.
- Бартминьский 2005 — *Бартминьский Е.* Принципы лингвистических исследований стереотипов на примере стереотипа «мать» // *Бартминьский Е.* Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М., 2005.
- Белла 1972 — *Белла Р. Н.* Социология религии // *Американская социология: перспективы, проблемы, методы*. М., 1972.
- Белый 1910 — *Белый А.* Магия слов // *Символизм*. Пг., 1910.
- Бенвенист 1995 — *Бенвенист Э.* Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.
- Вендина 2002 — *Вендина Т. И.* Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002.
- Верещагин 1982 — *Верещагин Е. М.* У истоков славянской философской терминологии: ментализация как прием терминовтворачества // *Вопросы языкознания*. 1982. № 6.
- Виноградов 1999 — *Виноградов В. В.* История слов. М., 1999.
- Георгиев 1956 — *Георгиев Е.* Кирилл и Методий, основоположники на славянските литературы. София, 1956.
- Громыко, Буганов 2000 — *Громыко М. М., Буганов А. В.* О воззрениях русского народа. М., 2000.
- Гуревич 1999 — *Гуревич А. Я.* Категории средневековой культуры // *Гуревич А. Я.* Избранные труды. М., 1999. Т. 2.
- Даль — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978–1980. Т. I–IV.
- Даль. Пословицы — *Даль В. И.* Пословицы русского народа. М., 2004.
- Дегтев, Максеева 2000 — *Дегтев С. В., Макеева И. И.* Концепт слово в истории русского языка // *Язык о языке*. М., 2000.
- Дионисий Ареопажит 1994 — *Дионисий Ареопажит*. О божественных именах. О мистическом богословии. СПб., 1994.

- Дьяченко ПЦСС — Полный церковно-славянский словарь / Составитель прот. Г. Дьяченко). М., 1998. Т. I–II.
- Ельчанинов 2001 — *Ельчанинов А.* Записи. М., 2001.
- Исаак Сирин 2003 — *Исаак Сирин.* О божественных тайнах и о духовной жизни. СПб., 2003.
- Красухин 2000 — *Красухин К. Г.* Слово, речь, язык, смысл: индоевропейские истоки // *Язык о языке.* М., 2000.
- Лебедева 2003 — *Лебедева Л. Б.* Слово и слова // *Логический анализ языка. Избранное.* М., 2003.
- Левонтина 2000 — *Левонтина И. Б.* Понятие слова в современном русском языке // *Язык о языке.* М., 2000.
- Лихачев 1987 — *Лихачев Д. С.* Человек в литературе Древней Руси // *Лихачев Д. С. Избранные работы.* Л., 1987. Т. 3.
- Лихачев 2001 — *Лихачев Д. С.* Слово и изображение в Древней Руси // *Лихачев Д. С. Раздумья о России.* В 3 т. СПб., 2001.
- Ломоносов 1980 — *Ломоносов М. В.* Явление Венеры на Солнце // *Ломоносов М. В. Избранные произведения.* Архангельск, 1980.
- Макеева 2000 — *Макеева И. И.* Языковые концепты в истории русского языка // *Язык о языке.* М., 2000.
- МАС — *Словарь русского языка.* М., 1957–1961. Т. I–IV.
- Мечковская 1998 — *Мечковская Н. Б.* Язык и религия. М., 1998.
- Никитина 2000 — *Никитина С. Е.* Лингвистика фольклорного социума // *Язык о языке.* М., 2000.
- Николаева 2000 — *Николаева Т. М.* От звука к тексту. М., 2000.
- НОС — Новгородский областной словарь. Новгород, 1992–2000. Вып. 1–13.
- РИБС 1999 — *Российский историко-бытовой словарь.* М., 1999.
- Савельева 1997 — *Савельева Л. В.* Языковая экология. Петрозаводск, 1997.
- Савельева 2005 — *Савельева Л. В.* Оппозиция «сакральное — светское» в истории азбуки и проблемы современной графики // *Межрегиональная конференция славистов.* М., 2005.
- Седакова 2005 — *Седакова О. А.* Церковно-славянорусские паронимы. М., 2005.
- СДЯ XI–XIV вв. — *Словарь древнерусского языка XI–XIV вв.* М., 1988. Т. I–.
- Славянская мифология — *Славянская мифология.* М., 2002.
- Славянские древности — *Славянские древности.* М., 1995. Т. I–.
- Софронова 2004 — *Софронова Л. А.* Оппозиция сакральное/светское в славянской культуре. Введение. М., 2004.
- Срезн. — *Срезневский И. И.* Словарь древнерусского языка. М., 2003. Т. I–III.
- СРГК — *Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей.* СПб., 1994–2005. Т. 1–6.
- СРНГ — *Словарь русских народных говоров.* М.; Л., 1965. Т. 1–.
- СРЯ XI–XVII вв. — *Словарь русского языка XI–XVII вв.* М., 1975–. Т. 1–.
- СС — *Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) /* Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. М., 1994.
- Степанов 2001 — *Степанов Ю. С.* Константы: словарь русской культуры. Изд. 2-е. М., 2001.
- Толстая 2000 — *Толстая С. М.* Славянские параллели к русским *verba* и *nomina dicendi* // *Язык о языке.* М., 2000.

- Топоров 1988 — *Топоров В. Н.* Слово и премудрость («логосная структура»): «Проглас» Константина Философа // *Russian Literature*. 1988. Vol. XXIII.
- Топоров 1995 — *Топоров В. Н.* Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства на Руси. М., 1995.
- Топоров 2004 — *Топоров В. Н.* Имя как фактор культуры // *Топоров В. Н.* Исследования по этимологии и семантике. Т. 1. Теория и некоторые частные ее приложения. М., 2004.
- Трубецкой 1906 — *Трубецкой Н. С.* Учение о Логосе в его истории. М., 1906.
- Трубецкой 1995 — *Трубецкой Н. С.* Общеславянский элемент в русской культуре // *Трубецкой Н. С.* История. Культура. Язык. М., 1995.
- Тутунджан 2005 — *Тутунджан Д.* Разговоры по правде, по совести. Вологда, 2005.
- Урбанович 2006 — *Урбанович Г. И.* Генетическая характеристика лексико-семантического поля «судьба, счастье, удача» в русском языке. Дисс. ... канд. филол. наук. М., 2006.
- Успенский 2002 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка XI–XVII вв. М., 2002.
- Флоря 2000 — *Флоря Б. Н., Турилов А. А., Иванов С. А.* Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. СПб., 2000.
- Цивьян 1999 — *Цивьян Т. В.* О концепте слова у позднего Ремизова // *Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии и семантики. Слово в контексте культуры.* М., 1999.
- Черепанова 2005 — *Черепанова О. А.* Культурная память в древнем и новом слове. СПб., 2005.
- Черных — *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1994. Т. I–II.
- Чехов. Соч. — *Чехов А. П.* Собрание сочинений. М., 1983–1987.
- ЭСБЕ — *Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон.* СПб., 1890–1907.

Югра: начало взаимодействия славянского и финно-угорского миров

Югра или *угра* в Зауралье располагается в географических пределах прямо противоположных тем, где формировалась славянская письменность — в Моравии на дунайской границе Византии. Показательно, что именно это пространство и оказывается предметом описания Начальной русской летописи — Повести временных лет (ПВЛ): более того, бросается в глаза некая «симметрия» в этом описании, ибо славянская письменность первоначально стала распространяться в той земле, которая стала называться *Угорской* после переселения в Центральную Европу, за *Угорские горы* венгров, пришедших туда в конце IX в. из Восточной Европы, согласно ПВЛ — из-под Киева.

Это описание начальной летописи самым непосредственным образом связано с темой происхождения славянской письменности, так как одним из источников космографического введения к ПВЛ и перечня народов Европы было «Сказание о преложении книг на словенский язык», основанное на моравской кирилло-мефодиевской традиции¹. Но «Сказанию» были известны народы Центральной и Западной Европы — летописца же интересовала в первую очередь Русская земля, ее происхождение и место среди народов Европы Восточной, равно как и то, каким образом Русская земля стала наследником словенской письменности — моравской традиции: ведь язык, на котором составлялась летопись, был языком, созданным Константином-Кириллом и Мефодием. Летописец должен был сопоставлять данные о происхождении Руси, которые он черпал из княжеского киевского предания, с данными своих источников о дунайской истории славян, поэтому списки народов, в контекст которых включалась начальная *русь* и *угра*, имели сложный характер. Это демонстрирует уже первый летописный список восточноевропейских народов: «В Афетове же части седять русь, чюдь и вси языци, меря мурома, весь, мордъва, заволочская чюдь, пермь, печера, ямь, *угра*, литва, земигола, корсь, летьгола, любь»². Очевидна тенденция, объединяющая народы этого перечня: описание идет с запада — Балтики — на восток, к Зауралью, ибо *русь* в этом перечне — еще та доисторическая *русь*, которая сидит, по летописи, на Варяжском, Балтийском, море среди других варягов. Чудь — предки эстонцев, прибалтийские финны: так славяне в процессе колонизации Восточной Европы называли «чужие» им, в отличие от родственных балтов, финские народы. Показательно, что

именно *угра* оказывается порубежным в этом списке, между финнами и балтами: при этом явь, упомянутая перед угрой, это Хяме — племенное объединение прибалтийских финнов; летописец в соответствии с картографическим принципом возвращается туда, откуда он начал описание группы финских народов, — к Варяжскому морю. За упоминанием угры следует перечень балтских народов, литвы и латышей, к которым при-мыкает прибалтийско-финская либь — ливы, действительно живущие по соседству с латышами.

В это перечне нет славянских народов — ведь они, в соответствии с концепцией летописца и «Сказания о преложении книг», пребывают еще на дунайской прародине. Отсюда лагуна в списке: летописец «перескакивает» от прибалтийской чуди прямо к верхневолжской мере, опуская живущих между ними словен и кривичей. Об их расселении говорится ниже: словене с Дуная достигают земель чуди, Ильмена и Волхова, основывают на Ильмене Новгород. Соответственно, приводимый вслед за рассказом о расселении славян список неславянских народов — «иных языков», которые дань дают Руси, под каковой подразумевается уже государство в Восточной Европе, практически идентичен первому, за важным для нас исключением — в нем отсутствует *угра*. Начальная летопись составлялась в Киеве на рубеже XI и XII вв. Один из ее редакторов, которому приписывается обычно последняя, третья редакция ПВЛ, записал знаменитый рассказ, помещенный под 1096 г. и услышанный им в Ладого от новгородца Гюряты Роговича, который послал своего отрока — дружинника, собирающего дань, в Печеру — к людям, платящим дань Новгороду. Этот не вполне определенно идентифицируемый по современным данным финский народ на р. Печоре (?) в Приуралье жил на пути отрока в Югру. Характеристика Югры выглядит несколько противоречивой в этом летописном рассказе: «Югра же людье есть язык нем, и соседят с Самоядью на полунощных странах»³. Из текста очевидно, что Югра располагается за Печорой и простирается до самодийской тундры⁴. Присутствие там отрока-данщика свидетельствует о том, что и она платит дань Руси (Новгороду). Продолжение же рассказа свидетельствует о том, что язык Югры уже не был нем (непонятен) отроку, ибо Югра рассказала ему о некоем чуде, виденном в горах, доходящих до океана и достигающих неба. В них слышен «клик великий и говор», заключенные в горах стремятся «высечься» из заточения; им удалось даже прорубить малое оконце, и они говорят что-то оттуда, но языка их понять нельзя. Тогда они показывают на железные изделия и знаками просят железа, если кто подает им секиру или нож, взамен они дают меха. Путь к ним непроходим из-за пропастей, снегов и лесов, и не все из Югры могут добраться до загадочного народа, хотя путь к ним и ведет дальше на север (полночь)⁵.

Русский книжник, слышавший это рассказ новгородца, сразу понял, о каком народе идет речь. На Руси популярно было «Откровение», приписываемое Мефодию Патарскому, о диких и нечистых народах Севера, которых запер в горах на краю мира Александр Македонский. Эти народы Гога и Магога вырвутся из заточения перед концом света. Правда, для библейской традиции окраинными северными горами был Кавказский хребет⁶, а с Гогом и Магогом ассоциировались воинственные степняки — гунны и др. Рассказы о «людях неизвестных» в «восточной стране» за Полярным кругом были характерны и для русской традиции вплоть до средневековой эпохи (XVI в.)⁷ и увязывались с сюжетами «Александрии». Распространены были и рассказы о «немой» меновой торговле.

Испано-арабский путешественник XII в. ал-Гарнати рассказывает, что он слышал о земле, расположенной за страной веси (Вису): «А за Вису на море Мраков есть область, известная под названием Йура. Летом день у них бывает очень длинным. Так что, как говорят купцы, солнце не заходит сорок дней, а зимой ночь бывает такой же длинной. Купцы говорят, что Мраки недалеко от них и что люди Йура ходят к этому Мраку, и входят в него с факелами, и находят там огромное дерево вроде большого селения, а на нем — большое животное — говорят, что это птица. И приносят с собой товары, и кладет каждый купец свое имущество отдельно, и делает на нем знак, и уходит; затем после этого возвращаются и находят товар, который нужен в их стране. И каждый человек находит около своего товара что-нибудь из тех вещей; если он согласен, то берет это, а если нет, забирает свои вещи и оставляет другие, и не бывает обмана. И не знают, кто такие те, у кого они покупают эти товары»⁸. Речь у ал-Гарнати идет уже о болгарских купцах, а вису-весь — платит дань Волжской Болгарии. Действительно, Русь и Волжская Болгария соперничали из-за пушных рынков. Недаром в Начальной русской летописи говорится, что «весь, мурома, черемись, морьдва, пермь, печера» — народы, обитающие между Болгарией и новгородской Русью, дань дают Руси. Югра летописи и Йура ал-Гарнати и других восточных авторов⁹ означают пограничные области податных территорий, еще овеянные легендами, связанными с краем ойкумены.

Когда начались контакты Руси и Югры, засвидетельствованные ПВЛ на рубеже XI и XII вв.? Характерно, что летописный рассказ о народе с «немым языком» был передан в Ладоге: этот древнейший городской центр на Северо-Западе Руси был и центром контактов славянского (русского) и финно-угорского миров. В самой Ладоге обнаружены вещи как славянского, так и скандинавского, балтского и, естественно, финно-угорского происхождения, включая находки из Прикамья и Приуралья, в том числе датированные уже концом I тыс. н. э.¹⁰.

Особыми памятниками, хранящими свидетельства контактов Руси с населением угро-самодийской зоны, являются святилища на острове Вайгач и Югорском полуострове, содержащие вещи древнерусского происхождения, в том числе христианские амулеты — нательные кресты, привески в виде архангела Михаила и святого всадника, равно как и иные амулеты — топорики, антропоморфные привески, без особых оснований атрибутируемые как изображения Перуна¹¹. Находки датируются XI–XII вв. и могут свидетельствовать не только о торговых и культурных контактах, но и о миссионерских усилиях в этом регионе. Считается, что святилища, содержащие эти жертвенные предметы, функционировали до появления в регионе самодийского населения, т. е. принадлежали летописной Югре¹².

Однако наиболее яркой серией археологических находок, очевидно характеризующих даннические отношения Руси с народами финно-угорского Севера, является серия трапециевидных привесок с княжескими знаками, датирующаяся в целом XI в. Они могли принадлежать княжеским данщикам — собирателям дани. Замечательна топография этих находок. Они найдены в основных столичных центрах Руси — Киеве и Новгороде, в одном из узловых центров государственности X в. — Гнёздове на Верхнем Днепре, в Прикамье (Рождественский могильник на р. Обва, Пермская область), у ливов, у мордвы, в Приладожье и других пунктах¹³. Находки отмечают крайние пункты, где обитали народы, «иже дань дают Руси». Ранней привеской оказывается как раз пермская из Прикамья: на одной стороне изображен трезубец — княжеский знак, на другой — скандинавский молот Тора, свидетельствующий о принадлежности привески еще к архаической варяжской руси¹⁴. Исследователи спорят о принадлежности погребения, в которой найдена привеска русскому или болгарскому купцу¹⁵. Заметим, что другие, в частности ливские привески, явно принадлежат представителям местного населения, видимо участвовавшего в сборе дани. Подобные отношения были установлены между новгородцами и Югрой к концу XII в.: когда в 1193 г. новгородская рать воеводы Ядрея осадила Югру в одном из ее приуральских городков, та выслала своих мужей для переговоров, обещая собрать серебро¹⁶ и соболей («и иное узорчье»), если новгородцы не погубят «своих смердов и своей дани». Сама же Югра собирала войско и перебила новгородцев, чему способствовал новгородский изменник, призывавший югорского князя к этой расправе¹⁷.

Эпохе обычных для даннических отношений конфликтов¹⁸ предшествовала эпоха этноязыковых контактов, о которых мы можем судить по самому имени *Югра*: очевидно, что первоначальным посредником в этих контактах была летописная *пермь*, коми, ибо русское наименование восходит к коми *jegra*, обозначению манси¹⁹. Характерно предполагаемое присутствие групп манси в Приуралье, в контактной зоне²⁰.

Показательно в связи с этим и омонимичное (?) древнерусское и праславянское обозначение венгров — *угра*, *угры*: оно восходит к тюркско-болгарскому обозначению союза племен *оногур* («десять стрел») ²¹. Замечательно, что совпадают не только названия Югры, Угры и угров, данные им «извне» славянами, но и самоназвания этих народов ²²: самоназвание венгров *мадьяр* родственно самоназванию обских угров — *манси* ²³. Угры-венгры в IX в. еще кочевали в причерноморских степях, будучи вассалами хазар и собирая дань со славян; их культура была схожа с хазарской, недаром греки (Константин Багрянородный) именовали их турками. Памятники восточноевропейских венгров в степи выделяются по преимуществу по их связям с архаичной культурой венгров на новой дунайской Родине и предполагаемой культурой прародины в Прикамье — регионе, примыкающем к летописной Югре (металлические погребальные маски и шумящие коньковые привески) ²⁴.

Миграция и походы венгров на запад во многом предопределяли продвижение варяжской руси по рекам Восточной Европы в IX в., прежде всего — по Днепру (через пороги). Это было известно летописцу, который прямо увязывал водворение Олега в Киеве в 882 г. с продвижением венгров-угров под Киевом, где их вежи стояли на урочище Угорском. Заметим, что венгры с союзными хазарскими племенами (каварами) совершили рейд в Центральную Европу к Вене тогда же, в 882 г. (Бертинские анналы). Летописец пристально интересовался событиями в Центральной Европе и описал под 898 г. вторжение туда угров, достигших Солуни-Фессалоник; это позволило ему хоть и анахронистически, но ввести в исторический контекст рассказ о миссии солунских братьев — Константина и Мефодия. Текстологическая загадка этого рассказа заключается в том, что летописец знал, когда жил Константин, умерший почти за 20 лет до обретения уграми новой Родины. Тем не менее он перенес рассказ о славянской миссии из времени призвания варяжских князей (860-е гг.) — во время княжения Олега. Для этого у него были вполне определенные документальные исторические основания: ему стал известен письменный договор, составленный после похода Олега на греков в 911 г. и заключенный «от рода русского» Карлом, Инегельдом, Фарлофом и другими дружинниками, носившими явно неславянские — варяжские имена. Но сам договор был составлен на русском языке, которым пользовался летописец и который был словенским — созданным Константином и Мефодием. Это заставило летописца прибегнуть к той исторической конструкции, которая увязывала историю Руси Олега с историей моравской миссии солунских братьев при посредстве миграции угров из Приднепровья в Моравию ²⁵.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ *Шахматов А. А.* Повесть временных лет и ее источники // Труды отдела древнерусской литературы. Л., 1940. Т. IV. С. 5–150; *Флоря Б. Н.* Сказание о преложении книг на славянский язык. Источники, время и место написания // *Byzantinoslavica*. 1985. Т. 46 (1). С. 121–130.
- ² Повесть временных лет. Изд. 2-е. СПб., 1996 (ПВЛ). С. 8.
- ³ ПВЛ. С. 107.
- ⁴ Об отношениях народов самодийской и угорской семей см.: *Хелимский Е. А.* Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели. М., 1982; *Напольских В. В.* «Угро-самодийцы в Восточной Европе // Археология, типология и антропология Евразии. № 1 (5). Новосибирск, 2001. С. 113–126.
- ⁵ Там же. С. 107–108.
- ⁶ Интересно, что в космографическом введении к ПВЛ Кавказские горы ассоциируются с Угорскими — т. е. Карпатами, «Венгерскими горами» (ПВЛ. С. 7).
- ⁷ *Белова О. В., Петрухин В. Я.* «Человек незнаемый в восточной стране»: Ориген за Полярным кругом в древнерусской традиции // «Индрик». 10 лет. М., 2003. С. 138–148.
- ⁸ Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати / Публикация О. Г. Большакова и А. Л. Монгайта. М., 1971. С. 32.
- ⁹ Ср. сходное описание немой торговли Йюгры у ал-Бируни: *Беговатов Е. А.* Абу Райхан ал-Бируни о Волжской Булгарии, стране ису и йура // *Finno-Ugrica*. 1999. № 1 (3). С. 31–32.
- ¹⁰ Ср.: *Петренко В. П.* Финно-угорские элементы в культуре средневековой Ладogi // Новое в археологии СССР и Финляндии. Л., 1984. С. 83–90; *Кирпичников А. Н., Сакса А. И.* Финское население в составе северорусских средневековых городов // Старая Ладога и проблемы археологии Северной Руси. СПб., 2002. С. 136.
- ¹¹ Показательно, что эти привески производились в Новгороде для финно-угорских окраин, судя по их находкам в Прикамье и Приобье.
- ¹² *Хлобыстин Л. П.* Святнища острова Вайгач // Древности славян и финно-угров. СПб., 1992. С. 164–169.
- ¹³ *Белецкий С. В.* Подвески с изображением древнерусских княжеских знаков // Ладога и Глеб Лебедев. Восьмые чтения памяти Анны Мачинской. СПб., 2004. С. 243–319.
- ¹⁴ В Салехарде на территории «самояди» хранится скандинавская овальная фибула середины X в.; правда, место ее находки неизвестно (*Маршак Б.* Сокровища Приобья. СПб., 1996. С. 164).
- ¹⁵ Ср.: *Крыласова Н. Б.* Привеска со знаком Рюриковичей из Рождественского могильника // Российская археология. 1995. № 4. С. 192–197; *Белецкий С. В.* Подвески...
- ¹⁶ Серебро действительно накапливалось в Югре, начиная с эпохи Великого переселения народов, благодаря традиционной торговле мехами (ср.: *Маршак Б.* Сокровища Приобья; *Бауло А. В.* Атрибутика и миф: металл в обрядах обских угров. Новосибирск, 2004).
- ¹⁷ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 323.

- 18 Ср.: *Насонов А. Н.* «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. Монголы и Русь. СПб., 2002. С. 102–103.
- 19 *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1987. Т. 4. С. 527.
- 20 *Хелимский Е. А.* Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели. С. 59; см. о Прикамье как контактной зоне: *Иванов В.* О роли прикамских племен в формировании древнебулгарского и древнемальярского этносов // *Finno-Ugrica 2003–2004. № 1 (7–8).* С. 17–26.
- 21 Ср.: *Агеева Р. А.* Страны и народы: происхождение названий. М., 1990. С. 65–66; *Фасмер М.* Этимологический словарь... С. 147.
- 22 Ср.: *Попов А. И.* Названия народов СССР. Л., 1973. С. 132–133.
- 23 Угорская общность (венгры, ханты и манси) существовала задолго до выделения венгров; ср. формулировку проблемы: *Хелимский Е. А.* Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели. С. 59–61; *Хайду П.* Уральские языки и народы. М., 1985. С. 191 и сл.
- 24 Ср.: *Михеев В. К.* Коньковые подвески из могильника Сухая Гомольша // Советская археология. 1982. № 2. С. 156–168; *Супруненко А., Кулатова И., Приймак В.* Венгерское погребение с юга Полтавщины // *Finno-Ugrica.* 1999. № 1 (3). С. 24–27.
- 25 *Петрухин В. Я.* Хронотоп «Сказания о преложении книг на словенский язык» // *Реката на времето. Сборник в памет на проф. Людмила Боева.* София, 2007 (в печати).

Л. Клима
(Будапешт)

Финно-угорские народы в России в Средние века, 859–1118 гг.: финно-угры и самоеды на страницах Повести временных лет

Финно-угорские народы России проживают не в суверенных государствах, как их родственники по языку: венгры, финны и эстонцы. Однако они тоже имеют свою историю. Их история является частью истории России. Изучать историю финно-угорских народов в Средние века возможно почти исключительно на основе источников на русском языке. В русских летописях сообщается о событиях, связанных с финно-угорскими и самоедскими народами в связи с завоеваниями, борьбой за власть, реже с повседневной жизнью отдельных княжеских центров. К данной группе источников добавляются отчеты некоторых дипломатов-путешественников об условиях в России.

Народы, говорящие на финно-угорских и самоедских языках, относящиеся к уральской языковой группе, больше тысячи лет назад вступили в контакты с восточнославянскими племенами, медленно проникавшими на их земли. Из формирующихся центров Новгород с самого начала имел контакты с финно-угорским коренным населением.

Проблема русско-финно-угорских отношений в средневековой России может казаться надуманной, ибо известно, что национальный вопрос приобретает значение в XIX столетии, во время формирования современных буржуазных государств. Данная статья не имеет целью отнести к Средним векам национальные чувства, проявившиеся в XIX в. и искать в древности то, что тогда еще не существовало: деяния финно-угорских народов, вытекающие из их национального сознания. Цель статьи — изучить совместную жизнь финно-угров и русских в средневековых русских княжествах свободно от поздних проблем и предрассудков.

Для русской историографии финно-угры не представляют отдельный круг тем. Данная тенденция имеет начало со времени работ историков-классиков (Карамзин, Татишев). Опираясь на Повесть временных лет (ПВЛ), Карамзин во II главе своего труда «История государства Российского» («О славянах и других народах, составивших государство Российское») перечисляет места, где живут финно-угры, и цитирует мнение Тацита о варварстве финнов. По его мнению, описание в его время

относилось к лопарям, но не относилось к другим финно-угорским народам, ведь, по летописи, весь, меря, мурома имели города (Белоозеро, Ростов, Муром). В IV главе («Рюрик, Синеус и Трувор. Г. 862–879») Карамзин продолжает описание формирования древнерусской государственности — Киев, Новгород, — не скрывая, что среди народов, призывавших Рюрика и его братьев, встречались и финно-угры. Но в последнем предложении главы уже наблюдается фальсификация: *«Память Рюрика, как первого Самодержца Российского, осталась бессмертною в нашей Истории, и главным действием его княжения было твердое присоединение некоторых Финских племен к народу Славянскому в России, так что Весь, Меря, Мурома, наконец обратились в Славян, приняв их обычаи, язык и Веру»*. Словам Карамзина противоречит текст ПВЛ, где пишется, что финно-угры (чудь) и восточные славяне (словены и кривичи) вместе призвали русов, чтобы они господствовали и судили над ними, и нигде не сообщается в летописи, что «Весь, Меря, Мурома наконец обратились в Славян, приняв их обычаи, язык и Веру».

Данная короткая статья не имеет целью проследить до наших дней отношение русской историографии к истории финно-угорских народов. Однако процитированное суждение Карамзина указывает на общее мнение, по которому финно-угорские народы мирно ассимилировались русскими и этот процесс продолжается и в настоящее время.

Во время существования СССР историки также относились к истории финно-угорских народов половинчато: писали историю отдельных финно-угорских автономий, но в них очень мало писалось о временах, предшествующих революции 1917 г. Одновременно активно проводились археологические раскопки, древняя история финно-угорских народов вырисовывалась все более достоверно организовались экспедиции к финно-угорским и самоедским народам, имевшие своей целью собирание этнографических материалов. Но история финно-угров в Средние века до наших дней считается малоизученной областью.

Сведения летописи, касающиеся финно-угров. Составители ПВЛ располагали большим объемом информации о финно-угорских народах. Во введении летописи дается точный перечень финно-угорских народов, и в погодных записях тоже часто упоминаются финно-угры как воины отдельных княжеских войск, включаются истории, основанные на личных рассказах и содержащие реальные и сказочные элементы.

Сведения, связанные с финно-уграми в ПВЛ, лет можно разделить на несколько хронологических периодов до первой четверти XII в., и они наглядно свидетельствуют о процессе проникновения русских на территории финно-угров.

Первая хронологическая группа: 859–980 гг. В первую группу входят погодные данные летописи, в которых финно-угорские народы появляются еще со своими этнонимами. В ПВЛ финно-угорские народы, впервые появляющиеся под 859 г., после 1030 г. исчезают со страниц летописи.

Из этой части выясняется, что в раннем периоде описания событий летописец еще не знал все финно-угорские народы. В соответствии с направлением проникновения русских в поле зрения власти впервые появились финно-угорские народы окрестностей Новгорода, Прибалтики и средней Европейской части современной России — окрестности Ростова. Народы, жившие здесь, в летописи появляются под этнонимами чудь, весь, меря и мурома. Как финно-угорский народ, живший по-дальше, встречается еще и ямь. Данный этноним может соответствовать названию финского племени *häme*. В части ПВЛ с погодным изложением событий со своими этнонимами фигурируют чудь, весь, ямь, меря и мурома у 6367 (859), 6370 (862), 6390 (882), 6415 (907), 6488 (980), 6496 (988), 6538 (1030), 6550 (1042) и 6579 (1071) гг.

Данный период является ранним этапом становления русской государственности, когда власть еще опирается на традиционную, вероятно племенную структуру народов. Когда власть нуждается во вспомогательных войсках, она обращается к народам, и те организуют эти войска. Это относится не только к финно-уграм. В это время русские этнические группы — племена — появляются тоже под своими этнонимами — кривичи, словены. Летопись не различает восточнославянские и финно-угорские племена или народы: иногда узнаём об этнических особенностях отдельных племен, но все они равные подданные властителя.

Данные 859 и 862 гг., свидетельствующие о мистическом основании государства Рюриком, показывают этнические отношения на землях, прилегающих к Новгороду: в 859 г. заморские варяги собирали дань с чуди, словен, кривичей и веси. Варяги, если они появились где-нибудь, то старались там и обосноваться. Однако, по свидетельству летописи, это долгое время не удавалось, в 863 г. их выгнали, чтобы призвать других варягов — Рюрика и его братьев. Последние относились к группе варягов, называемых русью.

В данных 859 г. называются финно-угорские народы и восточнославянские племена, достигаемые и облагаемые данью со стороны Балтийского моря, но информация 862 г. уже более объемна: в ней уже извещается о мере и муроме. Они стали достигаемыми вследствие того, что русы, с помощью трех братьев, уже обосновались в Новгороде и Изборске. Следовательно, информация 859 и 862 гг. указывает на экспансию в направлении финно-угорских земель со стороны Балтийского моря. Она, вероятно, произошла водным путем: до Белоозера можно доплыть

по Неве, дальше по большим озерам (Ладога, Онега, Белое озеро), а до Ростова и Мурома по Волге, по главному водному пути.

В летописи под 882 г. описывается, как Олег распространил свою власть на Киев. Ведомые им войска называются по этнически-племенному происхождению. Среди них встречаются те же финно-угры Прибалтики и Верхней Волги, которые появлялись в прежних свидетельствах, чудь, меря, мурома и весь.

Запись в летописи кончается тем, что Олег основал города. Это будет следующим этапом установления русской государственности, однако в летописи пока не прослеживаются начавшиеся изменения. Когда Олег отправляется дальше, уже в направлении Византии, он также приглашает на помощь народы и племена. К участникам нападения, упомянутым под 907 г., присоединяются и завоеванные племена: древляне, радимичи, поляне, северяне, вятичи, хорваты, дулебы, тиверцы. Из союзников финно-угров в походе против Византии участвуют чудь и меря.

После этих сведений об финно-уграх следует довольно значительный пробел. До 980 г. они не встречаются ни в одном известии. Тогда против полоцкого князя Рогволода вместе с Владимиром воюют варяги, словены, чудь и кривичи.

Переход: известия 1030 и 1042 гг. Известия 1030 и 1042 гг. с точки зрения финно-угров могут считаться переходными: в контактах финно-угров и русских происходят изменения, прослеживаемые и в летописи. Данные 1030 г. как будто не указывают на изменения: в них сообщается об одном финно-угорском народе, о чуди. Однако в этом году Ярослав отправился в поход против чуди. Ранее не было записей ни о каком конфликте чуди и русских: в 859 г. варяги завоевали чудь, и они позже стали верными вспомогательными войсками русских князей. Что могло случиться, что вопреки этому Ярослав напал на чудь? Предположительно, эта чудь не та, которая раньше была верным союзником князя. Ярослав начал завоевывать новые земли, пошел в поход против чуди, раньше не жившей в Новгороде. На это указывает то, что после победы над чудью Ярослав основал город Юрьев.

О новых завоеваниях свидетельствует и нападение на ямь в 1042 г.: очевидно, оба предприятия имели целью обеспечить пути торговли. Данные стремления к завоеванию одновременно указывают на изменение системы власти: на первый план выступает основание городов. Об основании городов можно прочесть и в других местах летописи. Слой городских ремесленников и торговцев одновременно производитель и потребитель товаров, города являются исходным и целевым пунктом торговли. Процветающие, развивающиеся города обещали больше дани дворам князей.

Вторая хронологическая группа: 1071–1103 гг. С основанием и укреплением городов контакты русских и финно-угров поднимаются на новый уровень. Первым знаком этого в летописи является известие 1071 г. о финно-уграх. В 862 г. узнаем о том, что коренные жители Белоозера — весь. Через два столетия жители города уже отождествляются не по этнониму: они уже не весь, а белоозерцы. В описании событий следующих лет в ПВЛ уже не упоминаются финно-угорские народы, говорится только о жителях разных городов. Неужели финно-угры исчезли и ассимилировались за такое короткое время? Конечно, они не исчезли, но их всё еще племенная общественная структура отошла на задний план, их руководители приспособляются к русской системе, как вассалы они частично сохраняют свою власть или теряют свое значение и опускаются в простой народ.

Людей с финно-угорским языком можно предполагать за каждым известием, описывающим события в городах, основанных на финно-угорских территориях. Таким образом, начиная с середины XI в. можно предполагать значительное русско-финно-угорском смешение между чудью окрестностей Новгорода, карельской весью, мерей в районе Ростова, муромой и весью, жившими вблизи города Муром, и поселявшимися на этих территориях русскими, прививавшими там новую культуру и насаждавшими новый образ жизни.

Смешение, очевидно, сопровождалось тем, что русские стали узнавать культуру коренных жителей, их традиции и обычаи. В летописи пишется и об этом: под 1071 г. существует запись о двух любопытных событиях. Оба свидетельствуют о том, что русские и финно-угры жили в тесном контакте. В первой информации от 1071 г. пишется о грабежах и убийствах двух волхвов и трехсот человек, шедших вместе с ними. Событие любопытное и с этнической точки зрения, и с точки зрения истории общества: кто были и чего хотели эти люди?

Шайка волхвов разграбила запасы богатых людей, как будто «укрывших» продукты: мед, зерно и т. д. Они грабили как раз в районе Белоозера, когда туда приехал собирать дань Янь Вышатичь. Он быстро покончил с акцией: *«Если не схватите этих волхвов, не уйду от вас весь год. Белоозерцы же пошли, захватили их и привели к Яню»*¹. О значении угрозы легко догадаться: Янь остается в местности, пока другие не покажут ущерб князю, т. е. пока они не предоставят добро, принадлежащее ему. Значение глагола «укрыли» трудно понимается в контексте, употреблением слова летописец как будто описывает события с точки зрения волхвов и их последователей. Укрытые продукты как будто принадлежат им, а не собирателю дани Яню Вышатичу.

С точки зрения истории общества события, о которых сообщается в известии, могут свидетельствовать о мятеже, вспыхнувшем на Волге и в

Белоозере из-за соби́рания сли́шком большо́й дани. Обыкновенное в другие годы количество дани из-за неурожая создало для людей большую трудность. Однако Янь восстановил мир. Наверно, он был самым подходящим лицом для этой цели: под 1106 г. сообщается о его смерти в 90-летнем возрасте. В летописи он называется выдающимся человеком святой жизни.

Изучая информацию с этнической точки зрения, наверняка можно утверждать, что в событиях приняли участие и финно-угры. На это обстоятельство указывает территория: *«коренное население... в Белоозере — весь»*², а на Волге может считаться коренным населением меря³.

Запись о следующем событии 1071 г. такова: *«В то же время, в те же годы, случилось некоему новгородцу прийти в землю Чудскую, и пришел к кудеснику, прося волхования его»*. Следовательно, летописец упоминает о волхве опять в связи с финно-уграми. Поэтому можно думать о том, что инициаторами, зачинщиками грабежей были также финно-угорские волхвы — меря или весь. В случае такой реконструкции фактов как параллель припоминается житие Стефана Пермского, в котором главным мотивом является конфликт местного волхва (Пама-сотника) со святителем-христианином (Стефаном). И на пермской земле волхвы пробовали организовать сопротивление⁴.

В записи 1071 г. содержится вторая история фольклорного характера о финно-уграх: новгородец посещает волхва. Из данного описания тоже трудно выяснить исходные события. На этот раз по той же причине, что и в летописи, история служит притчей, ее цель — подтверждение превосходства христианства: волхв чудин не может связаться со своими богами (они в действительности не боги, а черти) до тех пор, пока новгородец носит на теле крест. А из всего этого следует превосходство христианства над религией язычников чуди.

Летописец рассказывает историю следующим образом: сначала волхв призывает «чертей», которые потом «подбрасывают» его, т. е. волхв впадает в экстаз, теряет сознание, и в этом состоянии черти сообщают ему, «почему новгородец пришел к нему». В описании точно отражается суть шаманского ритуала финно-угорских народов: шаман вступает в связь с духами, на вершине церемонии теряет сознание и в это время от духов получает нужную информацию. Такие церемонии часто организовывались по заказу отдельных членов коллектива. «Заказчик», как правило, спрашивал духов о своих родных, отправившихся в далекий путь, об умерших близких, но волхв мог спрашивать и о способе лечения болезней.

На основе этой информации можно сделать вывод о том, что русские уже в это время располагали сведениями о культуре и обычаях коренных жителей.

При чтении известия правомерно возникает вопрос: почему христианин-новгородец просит предсказание у язычника, волхва чуди? Самый правдоподобный ответ, что он сам был чуждин по происхождению, относился к постоянному чудскому населению новгородского княжества, к тем, кто, по легенде, вместе со словенами, кривичами и весью призвал Рюрика и его братьев. Если бы этот новгородец происходил от какого-то восточнославянского племени, он обратился бы к словенскому или кривичскому волхву, может быть продолжавшему еще в тайне свою деятельность. Но он был новгородец, кто при своей христианской вере еще знал и почитал веру своих предков, поэтому он посетил волхва-чудина. Однако летописец не считал нужным писать о его происхождении, полагая, что он такой же новгородец, как все остальные.

В конце XI в. из летописи узнаем о нескольких вооруженных конфликтах, которые могут иметь связь с финно-уграми, но летописец уже не называет финно-угорские народы по этнониму. Можно думать, по разным причинам. Первое из сообщений такого характера датируется 1078 г. В это время в Заволочье убили Глеба, сына Святослава. Во введении летописи, о котором скоро будет речь и которая по хронологии является последней частью произведения, пишется о заволочской чуди. Введение могло писаться в 1110-е гг. Правомерный вопрос: убила ли Глеба заволочская чуждь? И по какой причине он находился в Заволочье? И вообще, где располагается это Заволочье?

Сочетание «заволочская чуждь» в русских летописях появляется один раз: во введении ПВЛ, в перечне народов, и во всех позднейших летописях, принявших это введение. Введение писалось в 1110-е гг. На основании этого можно сделать вывод, что, может быть, в 1078 г. еще не знали о заволочской чуди, даже в то время не жила чуждь в Заволочье. Однако вывод может быть неверным. Ведь в этом случае кто убил Глеба? Кто жил в Заволочье? Анализ топонима «Заволочье» может помочь в объяснении вопроса. Название происходит от сочетания «за волоком». В ПВЛ уже встречается топоним, образованный от него. Потом, кажется, топоним на определенное время забывается.

Из информации Первой новгородской летописи узнаём, где могло располагаться Заволочье, можно проследить и формирование названия. В известии 1178 г. читается, что убили людей из Печеры и Югры (собрателей дани, отправленных в Печеру и Югру) — одних в Печере, а других «за волоком». Значит, здесь еще не появляется название Заволочье, образованное от сочетания «за волоком». Его первое появление в Первой новгородской летописи наблюдается в записи 1324 г. Для Новгорода после этого становится действительно интересной территория за волоком, но ее название еще не укоренилось. Встречаются следующие формы: 1337 г. — *за Волокъ*, 1342 г. — *за Волокъ* и *Заволочкую*, 1388 г. —

за Волокъ, на Заволочкую землю и заволочанъ, 1419 г. — в земли Заволочкой и заволочанъ, 1445 г. — ратью заволочкою и за Волокъ.

Расположение территории, обозначаемой за *Волокъ* и *Заволочье*, можно определить: в летописи волоком называется система озер Ладога, Онега, Белое и прилегающие к ним реки. Итак, Заволочьем могла быть территория, находящаяся за ними. Литература отождествляет Заволочье с территорией Северной Двины. Как выше цитировалось, в 1178 г. «за волоком» убили выдающихся людей, вероятно военачальников, собирателей дани, значит, власть новгородского княжества на этой территории была еще довольно непрочная. Может быть, 100 лет назад, в 1078 г., Глеб посмел поехать на эту территорию? На территориях русских княжеств самую надежную связь предоставляли водные пути. Между отдельными водными системами существовало множество волоков. От сочетания «за волок(ом)» для обозначения территории за волоком легко образуется форма «Заволочье». Очевидно, что в употреблении слов в ПВЛ и Первой новгородской летописи существует хронологический пробел, даже можно предполагать, что в двух летописях под названием Заволочье подразумеваются не одни и те же территории. На это указывает то, что в Вологодско-Пермской летописи в информации 1078 г. о смерти Глеба в Заволочье читается добавление о том, что его похоронили в Чернигове⁵. Чернигов располагается на северо-востоке от Киева, приблизительно на расстоянии 100 километров. А от территории Северной Двины, которая впервые в 1178 г., потом в XIV столетии часто называлась Заволочьем, больше чем на 1000 километров. Может быть, тело Глеба везли на такое расстояние только ради того, чтобы похоронить в его стольном городе? Если бы он умер в Заволочье при Северной Двине, то в этом случае его увезли бы в Чернигов? На данные вопросы пока нет ответа.

Сравнивая ПВЛ с другими источниками, можно установить, что известие 1078 г. о смерти Глеба в Заволочье нельзя связывать с финно-угорским населением Заволочья, названного чудью, и территорией Северной Двины, названной позже Заволочьем.

В 1088 г. в летописи опять пишется об одном поселении, о городе Муроме, который раньше определялся как финно-угорское поселение⁶. В этом году волжские болгары напали на Муром. О болгарях известно, что они часто нападали на соседние народы. В действительности целью этих нападений было ежегодное подтверждение их господства. Добычу можно называть данью, собираемой военными методами. Волжские болгары часто похищали женщин у своих соседей, в большинстве случаев финно-угорских народов. За контактами волжских болгар и финно-угров можно следить и по археологическим находкам. Однако в данном случае речь могла идти не о захвате добычи, а, может быть, о хо-

рошо обдуманном предупредительном нападении. До этого времени в русских летописях не упоминаются набеги болгар. Но к концу XI в. у русских разведывательных отрядов могла начаться осторожная ориентация на восток. В ПВЛ об этом обстоятельстве свидетельствуют записи под 1096 г. о поездке отрока Гюряты Роговича в Югру и об экспедиции Ярослава против мордвы в 1103 г. С помощью нападения на Муром болгарское княжество безуспешно пыталось остановить продвижение русских князей на восток.

До Мурома русские дошли довольно рано, город на долгое время стал восточной пограничной крепостью русских княжеств. Поэтому город был укреплен больше других, и в нем стояли значительные войска. В этом могла быть одна из причин скорого обрусения коренного финно-угорского населения. К этому добавилось то обстоятельство, что мурома была одной из самых маленьких финно-угорских этнических групп: по данным археологических раскопок, вблизи города находилось не больше двух десятков поселений мурома⁷. Мурома не могла сопротивляться проникновению русских, если даже хотела бы. Таким образом, запись в летописи о нападении волжских болгар в 1088 г. только в малой мере можно назвать сообщением, относящимся к финно-уграм. Предположительно в городе Муроме еще жили люди, относящиеся к народу мурома, но к этому времени они уже сильно обрусели.

В 1090-е гг. с особенной силой вспыхивает усобица между Рюриковичами. Во время сыновей и внуков Святослава, нарушивших традиционный порядок наследования, почти вся княжеская семья включилась в борьбу. В битвах сталкивались княжеские войска, а не народы, как это бывало раньше. Борьба шла за княжества и их центральные города. Может быть, в этом причина, что среди участников битв не упоминаются финно-угорские народы. Другая причина — ассимиляция финно-угров на территориях, завоеванных русскими раньше: на Новгородской земле, на Верхней Волге и в междуречье Волги и Оки. Среди событий 1096 г. подробно описывается усобица в княжеской семье. События концентрируются вокруг борьбы за владение городами Ростов, Суздаль, Муром и Рязань. Кроме войск, вербовавшихся из местных жителей, в стычках участвовали и белозерцы. В рядах воинов могли быть и люди с финно-угорским языком: весь белозерская, ростовская и суздальская меря, муромская мурома и рязанская эрзя-мордва.

Третья хронологическая группа: от описания путешествия в Югру в 1096 г. до конца летописи. Общей особенностью описаний этой группы является то, что они сообщают о финно-угорских народах, до того не упоминавшихся, например самоедах. Сведения летописи указывают на то, что экспансия русских имела направление на северо-восток и восток.

Под 1096 г. встречается довольно длинное описание фольклорного характера о путешествии в Югру. Летописец сообщает о рассказе Гюряты Роговича: *«Теперь же хочу поведать, о чем слышал 4 года назад...»* В летописи под 1096 г. впервые появляются этнонимы югра и самоед. Узнаётся и о том, что до земли югры можно дойти со стороны Печоры. Также впервые встречается в летописи название «Печора» в качестве топонима и этнонима.

В Печоре живут люди, платящие дань Новгороду, извещает мимоходом Гюрята Рогович. Может быть, собиранье дани Новгородом на этой территории имело место недавно, ибо раньше таких сведений не встречалось. На основе этого факта можно сделать вывод, что ориентация новгородцев на северо-восток Европы началась в эти годы, тогда же возник их интерес к этой территории. Позже новгородцы часто будут ссылаться на свое первенство, когда новые поднимающиеся княжеские центры осмеливались подходить к этим территориям. Из-за упоминания о печоре, югре, самоедах можно отнести эти сведения к третьей хронологической фазе информации о финно-уграх. При установлении контактов с новыми народами повторяется общественная ситуация, наблюдавшаяся в случае знакомства с чудью, весью, мерей, муромой: при столкновении с нетронутой общественной системой финно-угорских общностей русские завоеватели считают эти племена или народы самостоятельными единицами и так о них и упоминают в летописи. Такой вывод можно сделать из рассказа Гюряты Роговича. Однако в рассказе имеются и другие сведения. Гюрята Рогович рассказывает летописцу о людях, закрытых в горах. В записи под 1071 г. — две истории, первая — дающая возможность узнать немного жизнь чуди, вторая — о верованиях другого финно-угорского народа. Летописец, будучи образованным, начитанным человеком, связывает югорскую легенду с романом об Александре Македонском. В романе фигурирует стена, за которой Александр закрывает варварские народы. Ассоциация правомерна. А. П. Ковалевский считал, что данный мотив Александрии восходит к легенде северного, может быть финно-угорского народа⁸. Возможно, история о людях, закрытых в горах, стала известной в кругу южных народов и попала в «Александрию» посредством торговых контактов.

В 1103 г. *«был Ярослав с мордвою, месяца марта в 4-й день, и побежден был Ярослав»*. С одной точки зрения, эта информация совпадает с предыдущей: в ней опять сообщается о финно-угорском народе, раньше не встречавшемся в летописи. Вместе с информацией, упоминавшейся выше, она тоже свидетельствует о распространении русских в конце XI столетия на северо-восток на территории ранее неизвестных финно-угорских народов. Может быть, русские еще в 1080 г. начали осторожно ориентироваться на восток, их экспансионистские планы стали

известны волжским болгарам, которые ответили нападением на город Муром. С точки зрения болгар, Муром действительно располагался на опасном месте, он служил исходной базой в сторону мордвы и более далеких болгарских территорий. В 1096 г. Ярослав завоевал Муромское княжество и господствовал там до 1129 г. Об его экспедициях, следующих после неудачного мордовского похода, ничего не известно.

Хронологический анализ информации ПВЛ о финно-уграх мы должны закончить рассмотрением введения к летописи. Известно, что введение присоединили к летописи во время составления ее первой редакции в 1113 г. Его автором традиционно считается Нестор. Во введении читаются часто цитируемые места: перечень стран Иафета и народов, платящих дань Руси.

Перечень сначала надо проанализировать с филологической точки зрения. В введении в трех местах встречаемся с названиями северных народов. Первое из них начинается так: «*В Иафетовой же части сидят русские...*» и т. д., а третье в конце перечисления содержит замечание, по которому упомянутые народы «*от колена Иафета и живут в северных странах*». Два перечня расходятся только в некоторых пунктах. В произведениях Средних веков частое явление, что авторы, пользующиеся произведениями других авторов, по невнимательности переписывают тексты — один под другим — с одним и тем же содержанием. Однако на этот раз дело в другом, так как видно, что текст редактировали.

Цель первого перечня — систематизация, и в ее основе библейская генеалогия. Список начинается с русских, народа летописца Нестора. Третий перечень писался по практическим представлениям: перечисляются народы, платящие дань Руси, поэтому там не встречаются русские. В основном оба перечисления продолжают одинаково: в первом «*чудь и всякие народы: меря...*» и т. д., в третьем «*чудь, меря...*» и т. д. После этого следуют «*мурома, весь...*» и народы «*весь, мурома...*». Значит, не считая обмена местами этнонимов, два перечня совпадают.

Если читать дальше, появляется первое расхождение в двух перечнях: в первом следуют мордва, а потом чудь заволочская, в параллельной части перед мордвой пишутся черемисы, но отсутствует чудь заволочская. Отсутствие этнонима черемиса в одном месте и упоминание его в другом кажется простым вопросом редакции. Во втором перечне, о котором скоро будет речь и в котором летописец называет местожительство отдельных финно-угорских народов, уже пишется и о черемисах, значит, по логике, их этноним надо было включить и в третью часть.

В первом перечне после упоминания о чуди заволочской, а в третьем после названия мордвы следует совершенно одинаковая часть: «*пермя, печера, ямь...*». Но в следующем за этой частью перечне прибалтийских народов уже имеются небольшие расхождения: в первом перечне пи-

шется о летголах, ляхах и пруссах, а в третьем вместо них пишутся этнонимы литва и нарова. На эти изменения повлияло, вероятно, появление новой информации. Может быть, введение писалось не сразу, но непременно с использованием нескольких источников, второй и третий перечни Нестор мог писать, опираясь на новые сведения.

Между двумя в основном совпадающими перечнями находится та часть, в которой находится описание местожительства отдельных финно-угорских народов: *«А на Белоозере сидит весь, а на Ростовском озере меря, а на Клецине озере также меря. А по реке Оке — там, где она впадает в Волгу, — мурома, говорящая на своем языке, и черемисы, говорящие на своем языке, и мордва, говорящая на своем языке»*. Чем могло объясняться включение этой части во введение? Описание географическое, его цель — определить расположение этнических единиц: племен, народов по территориям. В таких рамках, описывая северные и северо-восточные окраины русских земель, летописец упоминает весь, мерю и мордву, а также черемисов, за исключением введения не упомянутых в летописи. С точки зрения финно-угроведения данная короткая часть летописи особенно ценна.

Особенностью всех трех мест является, то что в них не пишется о югре и самоедах, хотя под 1096 г. в летописи о них есть сообщения. Противоречие мнимое, ибо югра и самоеды не соответствуют ни одному из требований перечисления. В первом они отсутствуют, потому что они проживают не в странах Иафета, это такие далекие народы, что летописец пока не мог включить их в свою картину мироздания, основанную на Библии. Во второй перечень они не входят, потому что живут не под властью русских, а в третий — потому что они не платят дань Руси. Но в истории создания летописи имеется более веский аргумент, почему югры и самоеды отсутствуют во введении ПВЛ.

С точки зрения финно-угроведения между введением летописи и ее хронологической частью имеется заметное противоречие: народ пермь во введении фигурирует, а в погодных известиях отсутствует. Сравнивая информацию, можно сделать вывод о том, что для летописца народ и область пермь могли стать известны тоже в конце XI столетия. О них можно было бы упомянуть под 1096 г., ибо отрок Гюряты Роговича со стороны Новгорода мог дойти до Печоры и Югры только через пермскую землю.

В связи с событиями 1078 г. уже упоминался круг вопросов, связанных с Заволочьем и заволочской чудью. Теперь в абзацах введения, имеющих отношение к финно-уграм, этноним «заволочская чудь» появляется только среди народов стран Иафета. Заволочская чудь отсутствует и в перечне, который кроме русских племен определяет и местожительство некоторых финно-угорских групп, также не появляется она в перечне народов, платящих дань Руси. Очевидно, территория заволоч-

ской чуди не была под властью русских. Поэтому они не появляются во втором перечне. Она отсутствует и в третьем, среди народов, платящих дань Руси. Может быть, потому что тогда она еще действительно не платила дань, но возможно, что просто, по редакторским представлениям, летописец причислил к чуди и заволочскую чудь?

Пермь и печора упоминаются и в более поздних летописях. Объяснение этнонима «пермь» не вызывает проблем, среди перми можно предполагать предков коми-зырян, проживающих на Вычегде, Выме и Сысоле. Позднейшие источники однозначно свидетельствуют об этом (например, житие Стефана Пермского, язык памятников пермской письменности и т. д.).

За этнонимом печера большинство исследователей предполагают тоже группу коми. Однако у водораздела Печоры и Сосьвы относительно легко перебраться на азиатскую сторону Урала, этот путь, по протекающей здесь реке Югре, называется Югринским переходом⁹. Югры, т. е. вогулы, много раз использовали эту возможность. По сведениям Устюжского летописного свода¹⁰, в 1455 г. вогульский князь Асыка и его сын Юмшан убили пермского епископа Питирима. А в 1481 г. Андрей Мышнева и его ушкуйники под Чердыном победили вогулов. Таким образом, имеются данные о присутствии на этой территории одной обско-угорской группы — вогулов. В то же время на нижней Печоре и в ее устье проживали северные самоедские ненцы.

Гюрята Рогович рассказывал летописцу, что его отрок в 1096 г. во время путешествия ехал на землю югры через Печору. Так, по всей вероятности, он ехал по верхней Печоре и через Югринский переход. Значит, река Печора служила важным путем, которым одинаково пользовались путешественники, ехавшие с запада и востока. Во введении к ПВЛ печера появляется среди народов, платящих дань Руси. Гюрята Рогович тоже рассказывает, что *«послал я отрока своего в Печору, к людям, которые дань дают Новгороду»*. Значит, в летописи народ печера в нескольких местах определенно отделяется от югры. Однако нельзя решать вопрос о том, что печера, фигурирующая в ПВЛ, принадлежат к пермской или обско-угорской группе финно-угров.

Народ ямь после введения появляется в летописи в известии 1142 г. Данный этноним появляется и в других летописях. Его отождествление с этнонимом финского племени *hämë* кажется оправданным, но остается вопрос: какую группу балтийских финнов именовали так в ПВЛ. Если смотреть на карту, видно, что со стороны России *Hämë* располагается за Карелией. Появление в ПВЛ народа ямь немного странно, скорее потому, что о карелах не упоминается. Но если посмотреть Первую новгородскую летопись, то можно увидеть, что этноним «корела» впервые появляется 1143 г. в трудно понимаемом контексте: в 1142 г. ямь напала на

новгородскую землю, но ладожане отбили ее. Через год за это нападение отомстят (?) карелы, напавшие на ямь. На основе данной информации можно сделать вывод, что ладожане тождественны карелам. Может быть, в ПВЛ этноним «корела» не встречается потому, что формирование народа карела начинается только в XII столетии. Данный вопрос можно проанализировать на основе информации Первой новгородской летописи. На основе ПВЛ о ями можно только предполагать, что это была общность с финским языком, которая стояла на пути экспансионистских устремлений Новгородского княжества.

Во введении, в третьем перечне, среди народов, платящих дань Руси, после ями следуют разные балтийские народы — литва, зимигола и корс — а потом опять финно-угры: нарова и ливон. Этноним «нарова» мог быть названием балтийско-финской и в ее рамках эстонской этнической группы. Слово «нарова» может иметь связь с названием реки Нарва, которая в летописи встречается в формах Норова, Нерова, Нерева и также именем района Новгорода, называемого Неревский конец. В то же время этноним «нарова» может иметь связь и с этнонимом «ерева»: по Первой новгородской летописи, в 1214 г. «иде князь Мьстиславъ с новгородци на Чюдь на Ереву...»¹¹. Впрочем, этноним «ерева» хорошо объясняется и на основе эстонской области *Järvamaa*. Возможная связь слов нарова/ерева тоже является проблемой, решение которой требует лингвистического, а не исторического подхода. На основе перечисленных возможностей нарова однозначно может быть причислена к балтийским, и, вероятно, ближе к эстонским этническим группам, говорящим на одном из финно-угорских языков.

Среди народов, проживающих в странах Иафета и платящих дань Руси, последним появляется ливский народ (ливон). Он встречается только в этих двух перечнях и на страницах летописи больше не упоминается.

Финно-угорские народы в летописных сводах 1037, 1073, 1093 (1095) гг. и в редакциях ПВЛ. При анализе информации о финно-угорских и самоедских народах в ПВЛ надо разбираться и в том, существует ли связь между ранними летописными сводами (1037, 1073, 1093 гг.), разными редакциями ПВЛ и хронологическими группами и характерными чертами сведений о финно-уграх.

Древнейший летописный свод. Составление Древнейшего летописного свода исследователи датируют 1037 г. Мы не компетентны подвергать критике это мнение. Можно считать достоверным, что в Киеве еще до 1060-х гг. шла работа по составлению летописи. Первая хронологическая группа сведений о финно-уграх, за исключением упоминаний в легенде о Рюрике (862 г.), содержит известия о финно-уграх, идущих в

поход в войсках князей. Эти известия отражают события 859–980 гг., подданные князей — русские и финно-угорские этнические единицы, живущие в племенной структуре, — выступают под своими племенными и народными этнонимами. Данная позиция в информации 1071 г. уже отсутствует, там уже пишется о белозерцах, хотя белозерцы могли бы называться и весью.

В 1030 и 1042 гг. в летописи пишется о чуди и ями, но в другой среде: в этих известиях речь идет не о тех финно-угорских группах, которые боролись в войсках князей, сохраняя свою этническую самостоятельность.

В середине XI в. — до информации о финно-уграх у 1071 г. — происходит изменение во взглядах на общественное положение финно-угров. Если в предыдущих главах статьи это объяснялось ассимиляцией финно-угров, то в данной главе можно предположить возможность изменения подхода к тексту нового редактора-составителя свода 1073 г.

Можно установить, что финно-угорские этнические группы появляются в ПВЛ в качестве вспомогательных войск княжеских вооруженных сил только на этапе создания Древнейшего летописного свода.

Летописный свод 1073 г. и информация Яня Вышатича о финно-уграх. Составление свода 1073 г. исследователи связывают с Киево-Печерским монастырем. По мнению А. А. Шахматова, составителем свода был Никон, один из руководителей монастыря.

Под 1071 г. в летописи можно читать две странные, интересные информации о финно-уграх. В первой излагается история о мятеже в Ростовской области, разжигаемом волхвами и распространившемся и на Белоозеро, другая о посещении новгородца земель чуди. Эти две информации и рассказ Гюряты Роговича (1096 г.) составляют группу известий анекдотического характера о финно-уграх.

Впервые в летописи появляется Янь Вышатичь, как усмиритель мятежа 1071 г. Его связь с составителями летописей продолжается долго, она прослеживается в нескольких сводах и редакциях, ведь о нем упоминается и после 1071 г.: в 1089, 1091 и 1093 гг., а под 1106 г. извещается о его смерти. В связи с его смертью составитель пишет о том, что он жил по божьим законам и слышали от него много рассказов, которые вошли в летописи. Главным местом связи с Богом Яня Вышатича мог быть Киево-Печерский монастырь: очевидно, он был тесно связан с руководителями и членами монашеского коллектива. Об этом свидетельствует то, что в 1016 г. его похоронили здесь же. В период между сводом 1073 г. и редакцией 1113 г. ПВЛ писалась именно в этом монастыре, этим обстоятельством объясняется частое появление в ней и Яня Вышатича.

Известные факты, связанные с Янем Вышатичем, считаем необходимым изложить здесь, потому что, по нашему мнению, на их основе можно сделать вывод, что другая информация под 1071 г. — о путешествии новгородца на земли чуди — тоже происходит от Яня Вышатича. Может быть, он слышал и эту историю во время своего путешествия на Белоозеро.

Летописный свод 1093 г. Информация о финно-уграх, встречаемая под 1071 г., излагалась в предыдущих частях статьи (первое известие 2-й хронологической группы). Сюда же относится упоминание Заволочья и также появление в летописи таких русских поселений, которые, вероятно, имели коренное финно-угорское население (1096 г.: Ростов, Суздаль, Муром, Рязань). Раньше 1093 г. извещается об убиении Глеба в Заволочье и о нападении болгар на город Муром в 1088 г. Составление летописи 1093 г. исследователи приписывают игумену Ивану, поэтому она и называется сводом Ивана.

Как свод 1073 г., так и свод 1093 г. характеризуются тем, что в них не наблюдается интереса к сведениям о финно-уграх, проживавших на завоеванных русскими князьями территориях. Данный подход наблюдается и после 1093 г.: под 1096 г. в связи с княжескими стычками пишется о Ростове, Суздале, Муроме и Рязани, в которых, наверно, проживало население с финно-угорским языком, но этот факт уже не считается достойным внимания. Во 2-й финно-угорской хронологической группе, может быть, только информация 1071 г. Яня Вышатича (о путешествии новгородца на землю чудь) содержит в себе конкретное указание на финно-угров.

Редакция ПВЛ 1113 г. К третьей хронологической группе сведений о финно-уграх причислялись известия, начинающиеся с рассказа о путешествии в Югру. Информация о поездке отрока Гюряты Роговича тесно связана с редакцией 1118 г., поэтому о ней пишется именно там. Кроме нее сюда входят сведения о финно-уграх, находящиеся под 1103 г. (нападение Ярослава на Мордву) и во введении летописи.

Редакция 1113-го года в отношении финно-угров не указывает на изменения в подходе. Однако составитель летописи считал нужным объяснить этнонимы, появившиеся во введении и в погодных записях летописи, поэтому перечисляет подданных русских княжеств и определяет их местожительство. Однако введение писалось не только с целью лучшего понимания произведения.

Третья редакция ПВЛ 1118 г. Этой редакции мы обязаны сведениями о финно-уграх, появляющимися в описании поездки отрока Гюряты Роговича. Его первая строка — *«теперь же хочу поведать, о чем слышал*

4 года назад...» — сыграла роль в точной датировке третьей редакции. Составитель летописи упоминает о своей поездке в Ладогу. Очевидно, тогда он мог побывать и в Новгороде и слышать историю Гюряты Роговича. И по его словам, через четыре года, т. е. в 1118 г. все это описал.

Среди сведений ПВЛ о финно-уграх данное известие для нас означает новую хронологическую фазу, третью потому, что оно свидетельствует о том, что в конце XI в. в кругозоре русских княжеств появились новые финно-угорские территории. Из информации выясняется и то, что первые экспедиции в направлении Югры отправлялись из Новгорода. Именно по этой причине о дальнейших русских походах против Югры, об их успехах, неудачах получаем сведения из новгородских летописей.

В ПВЛ это и является единственной информацией о югре и самоедах. Выше в ходе анализа содержания у нас не было возможности однозначно ответить на вопрос, почему во введении, где перечисляются и финно-угорские народы, не пишется о югре и самоедах. Сейчас уже видны причины: данная информация появилась в летописи в процессе последней редакции, позже времени написания введения.

В редакцию 1118 г. могла попасть в летопись и легенда о Рюрике. История, описанная под 862 г., имеет отношение и к финно-уграм, поэтому здесь надо писать об этом. По информации, «а коренное население в Новгороде — словене, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома». Среди сведений 1-й финно-угорской хронологической группы данная информация имеет индивидуальные черты: только в ней появляются финно-угорские народы по месту жительства. Этот перечень напоминает о втором перечне введения летописи: «А на Белоозере сидит весь, а на Ростовском озере меря, а на Клецино озере также меря. А по реке Оке — там, где она впадает в Волгу, — мурома...» Сходство двух мест внушает мысль о том, что при формулировании сведений 862 г. о финно-уграх опирались на введение летописи. Введение писалось к первой редакции летописи в 1113 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ В статье использовались 1-й и 2-й тома ПСРЛ издания 2001 г. (издательство «Языки русской культуры»). Отрывки из ПВЛ на современном русском языке цитируются в переводе Д. С. Лихачева (<http://www.hronos.km.ru/dokum/povest.html>).
- ² См. запись под 862 г.
- ³ Хотя летопись упоминает меря только на озерах Ростовском и Клецино, но археологические находки свидетельствуют о том, что поселения меря были и на верхней Волге: *Леонтьев А. Е. Меря // Финно-угры Поволжья и Приуралья в средние века. Ижевск, 1999. С. 28, 38–40.*

- 4 Святитель Стефан Пермский. К 600-летию со дня рождения преставления / Предисл. и ред. Г. М. Прохоров. СПб., 1995. С. 122–147.
- 5 Вологодско-Пермская летопись // ПСРЛ. М., 1950. Т. 26. С. 44.
- 6 См. запись под 862 г.: «коренное население... в Муроме — мурома».
- 7 Гришаков В. В., Зеленева Ю. А. Муром // Финно-угры Поволжья и Приуралья в средние века. Ижевск, 1999. С. 89–118.
- 8 Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922. Харьков, 1956. С. 58–61.
- 9 Zsirai M. Finnugor népnevek I. Jugria (Adalékok nyelvrokonaink történetéhez) Nyelvtudományi Közlemények 47. Budapest, 1928–30. Old. 252–295, 399–452.
- 10 Устьюжские и вологодские летописи XVI–XVIII вв. // ПСРЛ. Л., 1982. Т. 37.
- 11 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // ПСРЛ. М., 2000. Т. 3. Стб. 251.

Дискуссия о возможном месте погребения святого равноапостольного Мефодия

Сведения о смерти и погребении святого Мефодия сохранились в двух письменных источниках: «Житии Мефодия» и «Проложном житии Кирилла и Мефодия». Оба памятника были созданы в Моравии вскоре после смерти святителя (†885). Первый из них сообщает, что святой Мефодий скончался «на руках иерейских <...> в 3 день месяца апреля в 3 индикт в 6393 год от сотворения всего мира». Ученики, совершив «службу церковную по-латыни, по-гречески и по-славянски, <...> положили его в соборной церкви»¹. «Проложное житие» более точно определяет место погребения святого Мефодия: «лежит же в великой церкви моравской с левой стороны в стене за алтарем Святой Богородицы»².

Оба источника ясно говорят о том, что святитель был похоронен в своем кафедральном соборе. Однако в обоих текстах не назван город, в котором этот храм находился. Вполне естественно предположить, что соборная церковь должна была располагаться в столице Великой Моравии рядом с резиденцией князя.

Столь скудные письменные сведения о могиле святого Мефодия не позволяют однозначно установить это место. И неудивительно, что в науке еще со второй половины XIX в. ведется дискуссия о возможном месте погребения святителя. Долгое время считалось, что разрушенная венграми в начале X в. столица Великой Моравии располагалась в районе современного чешского города Угерске-Градиште. Начиная с 20-х гг. XX в. велись активные археологические раскопки в Старе Место близ Угерске-Градиште, а с 1959 г. — в местности Сады (неподалеку от Старе Место). Раскопки подтвердили наличие здесь крупного городского центра IX в.

Однако бурное развитие чешской археологии во второй половине XX в. привело к открытию целого ряда других великоморавских памятников. Так, с 1954 и до 1990 г. под руководством профессора Йозефа Поулика велись раскопки неподалеку от поселка Микульчице (близ Годонина). Здесь был обнаружен великоморавский центр, по своим размерам значительно превосходящий поселение близ Угерске-Градиште. Достаточно сказать, что в Микульчице был открыт фундамент трехнефной базилики византийского типа — на сегодняшний день самого большого известного нам великоморавского храма (его внешние разме-

ры составляют 36,5 на 12 м). Часть исследователей полагает, что именно в Микульчице находился политический и церковный центр Великой Моравии.

В ходе археологических раскопок ученые стремились отыскать и могилу святого Мефодия. Так, в 1970 г. руководитель раскопок близ Угерске-Градиште Вилем Грубы опубликовал статью, в которой попытался доказать, что святой Мефодий был погребен в местности Сады (в 4 км от Старе Место). Здесь ученому удалось обнаружить крупный комплекс церковных построек. В. Грубы интерпретировал свою находку как резиденцию святого Мефодия, в которой кроме храма был баптистерий, действовала школа, а также имелась монашеская община³. Однако доводы Грубого не были однозначно приняты его коллегами. Был высказан целый ряд критических замечаний по поводу его гипотезы. Одно из принципиальных возражений исходит из того, что, по свидетельству упомянутых выше письменных источников, святой Мефодий был погребен в кафедральном соборе, который вряд ли мог располагаться за городом. Обнаруженный же В. Грубым комплекс построек не связан с каким-либо значительным поселением. Все же некоторые исследователи и сегодня разделяют точку зрения В. Грубого.

В 1990-е гг. другой известный чешский археолог Зденек Кланица опубликовал ряд статей, в которых выдвинул другую гипотезу о месте захоронения святителя Мефодия. Свои суждения он обобщил в книге «Тайна гроба моравского архиепископа Мефодия», выдержавшей уже два издания (в 1994 и 2002 г.)⁴.

По мнению Кланицы, кафедральным собором Великоморавской архиепископии следует считать трехнефную базилику, фундамент которой был открыт в Микульчице (так называемая «церковь III»). И именно в этом храме следует искать гроб святого Мефодия. Надо сказать, что поиски могилы первого Моравского архиепископа велись здесь и ранее. Однако они не увенчались успехом⁵.

Кланица выдвинул предположение, что могилой святого Мефодия следует считать захоронение № 580, расположенное в центральном нефе базилики. Исследователи уже уделяли внимание этому захоронению. Общепринятым является мнение, что здесь покоился кто-то из высших слоев великоморавской знати⁶.

Что же представляет собой захоронение № 580? Прежде всего здесь были обнаружены остатки гроба, окованного железными пластинами. При этом в могиле отсутствовал скелет. Была обнаружена лишь одна локтевая кость. Специальный антропологический анализ этой кости, насколько нам известно, не проводился. Также здесь было найдено несколько предметов, интерпретация которых вызвала дискуссию. Упомянутая локтевая кость лежала на железном предмете длиной в 91 см,

который традиционно интерпретируют как меч. Однако в целом он имеет форму, нехарактерную для мечей, найденных в великоморавских памятниках. Также у этого предмета не сохранилась верхняя часть, что оставляет возможность для других интерпретаций. В захоронении также были найдены: золотой бубенчик византийского типа, остатки кожаного ремня с серебряными пряжкой и наконечником, остатки медной позолоченной пластины с коваными украшениями (возможно, деталь книжного оклада), металлический предмет, условно обозначенный как кинжал, остатки нескольких видов тканей (в том числе шелковой). То, что гроб был окован железом, а также наличие в могиле шелковой ткани однозначно свидетельствует о принадлежности погребенного к высшему слою общества.

3. Кланица обращает особое внимание на то, что на целом ряде найденных в захоронении № 580 предметов присутствует сходная символика. Главным элементом этой символики является лилиевидный крест (крест с окончаниями, подобными цветам лилии). Исследователь пытается увязать эту символику с личностью святого Мефодия. В частности, он указывает на фреску X–XI вв. в римском храме святого Климента, на которой изображен перенос солунскими братьями в Рим мощей этого святого. На фреске Мефодий изображен в епископском облачении. В процессии вслед за ним несут крест, верхнее окончание которого имеет лилиевидную форму. Кланица также указывает на икону святых братьев из Рильского монастыря (Болгария). На ней святитель Мефодий изображен в епископском облачении, украшенном крестами со все теми же лилиевидными окончаниями. Впрочем, судя по репродукции, опубликованной Кланицей, это довольно поздняя икона (не древнее XVII в.)⁷.

Особое внимание исследователь уделяет согласованию археологических находок с данными письменных источников. Как мы видели, в соответствии с «Проложным житием», святой Мефодий был погребен в соборной церкви «на левой стороне в стене за алтарем». Захоронение № 580 находится в северной стороне храма, т. е. слева от человека, обращенного лицом к апсиде. Здесь следует отметить, что в свое время В. Грубы полагал, что «левой стороной» следует считать южную часть храма, так как житие написано с точки зрения клирика, смотрящего в храм из алтаря. На наш взгляд, мнение З. Кланицы является более убедительным. Однако по отношению к захоронению № 580 возникает и еще один серьезный вопрос. Эта могила сильно выдвинута во внутреннее пространство центрального нефа (по отношению к апсиде). С точки зрения православной архитектурной традиции святой престол следует искать либо в самой апсиде, либо в непосредственной близости от нее. Если же рассматривать захоронение № 580 как возможную могилу святого Мефодия, то следует признать, что престол находился практически в центре трехнефной части базилики. Чтобы обосновать свою гипотезу,

Кланица указывает на ряд европейских памятников IX столетия, в которых зафиксировано подобное расположение центрального престола. Таковыми, в частности, являются монастырский храм в Сан-Галлене, храмы в Фульде, Герсфельде, Гильдешейме⁸. Он также отмечает, что подобное расположение престола иногда встречается в храмах Египта и Греции, т. е. в регионах, испытавших на себе византийское культурное влияние.

Напомним, что, по мнению профессора Й. Поулика, главная (трехнефная) часть микульчицкой базилики была построена в первой половине IX в., т. е. еще до прихода в Моравию византийской миссии. После прихода сюда святых братьев к храму были пристроены нартекс и атриум⁹. С этой точки зрения, гипотеза о расположении престола в центре храма, явно сближающая микульчицкую базилику с западноевропейскими памятниками, выглядит вполне обоснованной.

Отсутствие в захоронении № 580 скелета З. Кланица объясняет тем, что папа Стефан V (885–891) в своем послании к моравскому князю Святополку фактически подверг Мефодия церковному осуждению. В этом документе сообщалось о передаче управления Моравской церковью в руки епископа Вихинга (противника Мефодия). Папа также потребовал от Святополка принятия учения об исхождении Святого Духа от Отца и Сына и запретил употребление в богослужении славянского языка. Подвергнувшийся папскому осуждению покойный архиепископ был похоронен на самом почетном месте в главном храме Великой Моравии. С точки зрения Рима базилика не могла использоваться для богослужения до тех пор, пока не состоялось перезахоронение святителя Мефодия. Таким образом, по мнению Кланицы, первый моравский архиепископ был перезахоронен еще в годы существования Великой Моравии (т. е. на рубеже IX–X вв.)¹⁰.

Как свидетельствует сам З. Кланица, первое издание его книги было довольно быстро раскуплено, после чего в печати появилось несколько интересных отзывов. Мы обратим внимание лишь на один из них. В 1995 г. в журнале «Глас православия» (официальный орган Православной церкви в Чешских землях) появилась статья профессора протоиерея Павла Алеша «Где был похоронен святой Мефодий, архиепископ Великоморавский?»¹¹. В ней отец Павел анализирует гипотезу З. Кланицы и высказывает ряд принципиальных суждений.

Во-первых, протоиерей П. Алеш обращает особое внимание на интерпретацию металлических предметов, найденных в захоронении № 580. Он полагает ошибочным обозначение одного из них как «кинжала». От этого предмета сохранилась лишь часть рукоятки, украшенная все тем же лилевым мотивом. Отец Павел высказал предположение, что это вовсе не кинжал, а металлический наконечник деревянного (и потому несохранившегося) епископского посоха.

Во-вторых, он полагает, что так называемый «меч» можно интерпретировать как металлический епископский жезл. Отец Павел обращает внимание на то, что жезл на Востоке, как правило, вручался византийским императором патриархам и выдающимся епископам. В XIII главе «Жития Мефодия» сохранилось свидетельство о поездке Мефодия в Константинополь (в начале 80-х гг. IX в.), во время которой он был с честью принят императором Василием и отпущен с богатыми подарками¹². Профессор Алеш полагает, что во время этой встречи архиепископу Мефодию, как главе самостоятельной Моравской церкви, вполне мог быть вручен жезл — символ епископской власти, своеобразный «духовный меч».

Таким образом, отец Павел считает возможным интерпретировать два металлических предмета, традиционно считавшиеся частью военного снаряжения, как атрибуты епископского облачения. При этом он настаивает на том, что если все же будет однозначно доказано, что в могиле находились меч и кинжал, то гипотезу о захоронении здесь архиепископа следует отбросить. «Канонические правила Православной Церкви не только запрещают клирикам убивать, но даже поднимать руку на кого-либо», — напоминает протоиерей Павел. Он приводит тексты 27 апостольского правила, 9 правила Двукратного собора, 5 правила святого Григория Нисского, 55 правила святого Василия Великого, на основании которых показывает, что «церковные каноны запрещают клирикам даже естественную самооборону физическим способом». Вывод ясен: «Никто из учеников не мог положить ему (святому Мефодию. — В. Б.) в гроб меч, символ сражения и убийства».

В-третьих, профессор Алеш предлагает свою интерпретацию свидетельства «Проложного жития» о месте захоронения святого Мефодия. Прежде всего он старается преодолеть западный взгляд на церковную архитектуру, распространенный в чешской археологической науке. Отец Павел привлекает к исследованию данные восточно-христианской архитектурной традиции. Следует отметить, что, интерпретируя приведенный в начале статьи текст «Проложного жития», чешские археологи понимают слово «алтарь» как синоним слова «престол». Это, действительно, вполне западный подход. Профессор Алеш обращает внимание на то, что на Востоке под алтарем могли понимать не только престол, но и определенное пространство (алтарное пространство), которое уже в древности отделялось от остальной части храма особой преградой, постепенно эволюционировавшей в иконостас¹³. Отец Павел полагает, что в миккульчицкой базилике мог быть только один престол, располагавшийся в непосредственной близости к апсиде. При этом алтарная преграда отделяла значительное пространство внутри трехнефной части базилики. Он также считает, что в этой преграде находились как минимум две иконы — Христа Спасителя (справа от святых дверей) и Пресвятой Богородицы (слева от святых дверей). Таким образом, захоронение № 580

должно было располагаться внутри алтарной части храма, непосредственно за иконой Божией Матери. Это позволяет по-новому истолковать свидетельство «Проложного жития». Могила оказывается расположенной в левой части храма (с точки зрения верующего, стоящего лицом к алтарю) за алтарным образом Пресвятой Богородицы («за алтарем Святой Богородицы»). При этом алтарная преграда служила для захоронения стеной («лежит же в великой церкви моравской с левой стороны *в стене*»).

Свои выводы протоиерей Павел Алеш формулирует следующим образом: «Мнение доктора Кланицы о расположения гроба св. Мефодия в миккульчицкой базилике <...> на указанном месте вполне допустимо. Окончательное слово по отдельным проблемам должны будут сказать специалисты после нового, детального, ничего не замалчивающего и не затуманивающего исследования».

Во втором издании своей книги З. Кланицы отреагировал в том числе и на статью профессора Алеша. Он называет отца Павла «известным специалистом по древнехристианской археологии», а его статью считает «заслуживающей внимания»¹⁴. Кланица принимает гипотезу профессора Алеша о строении алтаря миккульчицкой базилики. Однако в отношении невозможности нахождения в могиле Моравского архиепископа оружия Кланица с отцом Павлом не соглашается. Он ссылается на «Хронографию» Михаила Пселла (написана во второй половине XI в., повествует о событиях с 976 по 1075 г.), в которой есть ряд упоминаний о том, что «монахами и церковными иерархами становились не только отказавшиеся от престола императоры, но даже и военные»¹⁵.

Чешский исследователь отсылает нас к нескольким местам из сочинения Пселла, в которых упоминается либо о монашеских постригах императоров перед смертью, либо о пострижении и рукоположении в священный сан бывших светских чиновников. Однако ни одно из этих мест, на наш взгляд, не может обосновать тезис Кланицы о возможности положения оружия в могилу клирика. Рассмотрим подробнее все его ссылки на «Хронографию»¹⁶.

Повествуя о восстании полководца Склира против императора Василия II, Михаил Пселл сообщает, что на борьбу с восставшими был отправлен Варда Фока. Однако, поскольку были опасения, что Фока сам попытается захватить власть, император и его приближенные «совлекли с него гражданское платье и все знаки власти, ввели его в церковный клир, взяли торжественное обещание не поднимать мятежа и не преступать клятвы и, только обезопасив себя таким образом, отправили его с войском» (Василий II. VI)¹⁷. Смысл этого места, по замечанию Я. Н. Любарского (выполнившего русский перевод «Хронографии»), не вполне ясен: «Непонятно, что имеет в виду Пселл под введением Варды Фоки в состав церковного клира. Священнослужителем Варда никогда не был»¹⁸.

Возможно, речь идет о какой-то особой процедуре произнесения клятвенного обещания, а не о поставлении в священный сан. Так что указанное место не может быть однозначно интерпретировано как свидетельство об участии клирика в военных действиях.

Следующие два места, на которые ссылается З. Кляница (Михаил IV. LII–LV; Исаак I Комнин. LXXXI–LXXXIII), повествуют о желании византийских императоров принять перед смертью монашеский постриг. Исаак I, видимо, так и не смог исполнить свое намерение, а Михаил IV действительно стал монахом. Однако если внимательно прочесть указанные главы «Хронографии», то скорее здесь можно видеть аргументы против гипотезы З. Кляницы. Монашеский постриг Михаила IV описывается Пселлом как отречение от царского престола и переселение в обитель Космидий у западных стен Константинополя. Более того, принявшего постриг и через несколько дней скончавшегося императора погребли в монастырском храме без традиционных царских почестей¹⁹.

В книге о правлении императрицы Зои и Феодоры и императора Константина IX Мономаха Михаил Пселл сообщает о насильственном пострижении в монашество Льва Торника. Постриг был совершен по приказу императора Константина с целью «отнять у Торника <...> возможность бунтовать» (Зоя и Феодора. Константин IX. CI)²⁰. Однако выходцы из Македонии, поднявшие мятеж против Константина, избрали Торника своим вождем, выкрали его и заставили возглавить восстание, несмотря на монашеский постриг. Вполне очевидно, что сам Пселл рассматривает поведение Торника как грубое нарушение общепринятого обычая. Планы восставших автор «Хронографии» прямо называет «нелепостью», а провозглашение Льва Торника императором — комедией, которую лучше было бы разыграть на сцене (Зоя и Феодора. Константин IX. CII–CIV)²¹.

Еще одно место из «Хронографии», которое упоминает З. Кляница, — это высказывания Пселла о его друге патриархе Константине Лихуде, который до восшествия на Константинопольский патриарший престол сделал удачную светскую карьеру, был «воин и гражданин» (Михаил VI. Исаак I Комнин. LXVI)²². Однако отзывы Пселла о Константине не дают оснований думать, что после вступления Лихуда в клир он мог участвовать в каких-либо военных действиях.

Далее З. Кляница ссылается на XVIII главу книги «О самодержавном правлении царицы Феодоры». Содержание этой главы он излагает следующим образом: «О монахах, которых Пселл узнал во время своего пребывания в монастыре на византийском Олимпе, он сообщает, что они ходили в полном вооружении подобно жителям древней Акарнании даже в мирное время»²³. Указанная глава представляет собой довольно резкое антимонашеское место. Пселл говорит здесь о «гнуснейших» монахах, которые «морочили царицу» Феодору, предсказывая ей дол-

гую жизнь. «Из-за этого она и сама чуть не погибла, и дела все едва не сгубила». В подтверждение своих пророчеств монахи, как пишет Пселл, ссылались «на то, что, подобно древним акарнанцам, постоянно носят доспехи, подолгу плавают по воздуху и сразу спускаются, как только чуют чад сжигаемых жертв»²⁴. Вполне очевидно, что эту фразу нельзя понимать буквально. Она конечно же носит аллегорический характер.

Таким образом, все ссылки З. Кляницы на «Хронографию» Михаила Пселла следует признать необубедительными. Они свидетельствуют лишь о том, что в Византии люди, несшие воинское служение, могли принимать монашеский постриг. Однако это было сопряжено с полным отказом от употребления оружия. Следует иметь в виду, что принятие пострига не тождественно рукоположению в священный сан. С канонической точки зрения рукоположение не может быть совершено над человеком, проливающим кровь в бою. И действительно, из всех ссылок на Пселла, которые приводит Кляница, лишь в одном месте говорится о поставлении в священную степень прежнего воина (Константина Лихуда). Однако вполне очевидно, что после принятия сана патриарх Константин не принимал участия в боевых действиях. Так что даже если в силу каких-либо обстоятельств (пусть даже и в обход канонов) бывший воин рукополагался в священники, его возвращение к военному ремеслу становилось невозможным. И потому класть ему в гроб оружие было бы, по меньшей мере, странно. Вполне очевидно, что не только канонические правила Православной церкви, но и общественное мнение в Византии считало священника с оружием в руках недопустимым отступлением от нормы.

В этом отношении восточно-христианские представления о клириках существенно отличались от западных. И когда в конце XI в. у стен Константинополя появились первые отряды крестоносцев, среди которых были в том числе и вооруженные священники, это сильно удивило греков. Об этом сохранилось свидетельство в «Алексиаде» Анны Комнины: «Представление о священнослужителях у нас совсем иное, чем у латинян. Мы руководствуемся канонами, законами и евангельской догмой: *не прикасайся, не кричи, не дотрагивайся*, ибо ты священнослужитель (ср. Кол 2, 21). Но варвар-латинянин совершает службу, держа щит в левой руке и потрясая копьём в правой, он причащает Телу и Крови Господней, взирая на убийство, и сам становится *мужем крови*, как в псалме Давида (Пс 25, 9). Таковы эти варвары, одинаково преданные и Богу и войне» (Алексиада. Кн. X, гл. 8)²⁵.

Поэтому нам представляется принципиально важным суждение профессора протоиерея Павла Алеша о невозможности положения в гроб святого Мефодия меча и кинжала. Возражения же З. Кляницы, по нашему мнению, не могут быть приняты.

Таким образом, дискуссия о возможном месте погребения первого Моравского архиепископа, инициированная публикациями Зденека Кла-

ницы, не завершена. Чешский археолог поставил ряд важных вопросов, которые все еще остаются открытыми.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Житие Мефодия, глава XVII. Цит. по: *Флоря Б. Н.* Сказания о начале славянской письменности. СПб., 2000. С. 194–195.
- 2 Цит. по: *Флоря Б. Н.* Сказания... С. 336. Перевод с церковнославянского наш.
- 3 *Hrubý V.* Hrob svätého Metoděje v Ugerském Hradišti-Sadech? // *Slovenská archeológia*. 1970. XVIII. S. 87–96.
- 4 *Klanica Z.* Taemství hrobu moravského arcibiskupa Metoděje. Praha, 1994. Мы пользуемся вторым изданием: Praha, 2002.
- 5 См.: *Поулик Й.* Вклад чехословацкой археологии в изучение истории Великой Моравии // Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. М., 1985. С. 41.
- 6 *Terénny výzkum v Mikulčicích. Mikulčice — průvodce. Svazek 1.* Brno, 2000. S. 6–7.
- 7 *Klanica Z.* Taemství hrobu... S. 31–32, 58.
- 8 *Ibid.* S. 60–61.
- 9 *Поулик Й.* Вклад чехословацкой археологии... С. 40–41.
- 10 *Klanica Z.* Taemství hrobu... S. 36.
- 11 *Aleš P., prot., dr.* Kde byl pohřben svatý Metoděj, arcibiskup Velkomoravský? В нашем распоряжении имеется только электронный вариант статьи, размещенный в сети Интернет по адресу: www.pravoslav.gts.cz/c_m/hrob_met.htm.
- 12 Подробнее см.: *Флоря Б. Н.* Сказания... С. 192–193, 321–325.
- 13 Ср.: *Беляев Л. А.* Алтарь // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. II. С. 54–55. *Высоцкий А. М., Казарян А. Ю., Сарабьянов В. Д., Этингоф О. Э.* Алтарная преграда // Там же. С. 51–53.
- 14 *Klanica Z.* Taemství hrobu... S. 25.
- 15 *Ibid.* S. 26.
- 16 З. Кланца ссылается на чешский перевод Пселла: *Psellos M.* Byzantské letopisy / *Přeložila R. Dostalová.* Praha, 1982. Мы пользуемся русским переводом: *Пселл Михаил.* Хронография / Пер. и прим. Я. Н. Любарского. М., 1978.
- 17 *Пселл Михаил.* Хронография. С. 8.
- 18 Там же. С. 265.
- 19 Там же. С. 50–51.
- 20 Там же. С. 99.
- 21 Там же. С. 99–100.
- 22 Там же. С. 160.
- 23 *Klanica Z.* Taemství hrobu... S. 26.
- 24 *Пселл Михаил.* Хронография. С. 135–136.
- 25 *Анна Комнина.* Алексиада / Вступ. статья, пер. и коммент. Я. Н. Любарского. М., 1965. С. 282. См. также: *Рансимен С.* Восточная схизма. Византийская теократия. М., 1998. С. 67, 126.

Б. Н. Флоря
(Москва)

Тема выбора правителя в хронике Винцента Кадлубки

В польской хронике Галла Анонима начала XII в., написанной по заказу князя Болеслава III, как справедливо констатировал Я. Адамус¹, смена власти в Древнепольском государстве изображается как наследование трона, как его простой переход от отца к сыну, даже там, где хронист был вынужден отступить от этой схемы и рассказать, как подданные были вынуждены делать выбор между боровавшимися за власть сыновьями Владислава Германа, он изображает дело таким образом, что сама возможность выбора была предоставлена подданным самим князем — отцом этих сыновей (Галл, II, 8).

Хронист начала XIII в. Винцент Кадлубек, для которого хроника Галла явилась главным (если не единственным) источником, в описании событий X — начала XII в. следовал за своим предшественником, но к повествованию об этих событиях он добавил вводную часть — описание древнейшей истории поляков. В этом описании картина совершенно другая. История Польского государства начинается с того, что некий Гракх убедил поляков избрать его своим королем (Кадлубек, I, 5). Затем читаем, что сын Гракха получил власть от отца, но когда стало известно, что он запятнал себя убийством брата, он был изгнан (Кадлубек, I, 7). Таким образом, поляки уже в самую древнюю пору своей истории могли избирать и изгонять своих правителей. После изгнания «сенат», знатные и народ передали власть дочери Гракха Ванде (Кадлубек, I, 8). В последующем изложении находим и описание выборов правителя: народ принимает решение избрать правителем того, кто во время конского бега первым достигнет цели. Соревнования эти выиграл «убогий, самого низкого происхождения юноша», который получил власть «по решению сената» (Кадлубек, I, 13).

Эту историю — плод собственного вымысла — хронист сопоставляет с аналогичными историями выбора правителя у разных народов древности, почерпнутыми у Юстина Трога². Тем самым читатель убеждается в том, что выбор правителя — обычная процедура, распространенная в мире.

Наконец, последний из образов, созданных Кадлубком в этой вступительной части его труда, — это образ Помпилия, жестокого тирана, отравившего своих родственников, так как он боялся их попыток отнять у него власть. Тирана загрызли мыши, вышедшие из тел умершвленных им родственников (Кадлубек, I, 19). Сведения о такой гибели Помпи-

лия-Попеля Винцент Кадлубек почерпнул из хроники Галла (Галл, I, 3). У Галла далее говорится, что на место, которое ранее занимал Попель, «царь царей и князь князей» (т. е. Бог) поставил Земовита, основателя династии Пястов. В отличие от этой специально неясной фразы у Кадлубка читается, что Земовит за свои заслуги сначала был избран главой войска (*magister militum*), а затем приобрел власть правителя (Кадлубек, I, 3).

Таким образом, в отличие от текста Галла, в сочинении Кадлубка — в той части, которая в огромной степени явилась продуктом его вымысла, тема выбора правителя и (соответственно) удаления правителя недостойного нашла самое широкое воплощение. Чем вызвано такое радикальное отличие в отношении обоих хронистов к вопросу о выборе правителя? Почему Кадлубек нашел нужным так выставить на первый план принадлежавшее полякам с глубокой древности право избирать своих правителей? Чтобы найти ответ на эти вопросы, следует обратиться к той части повествования Кадлубка, где речь идет о событиях середины XII — начала XIII в., чтобы выяснить, какое место занимает там выбор правителя и какими аргументами обосновывается его необходимость.

Описывая смерть Болеслава III Кривоустого (1138 г.), хронист говорит о написанном им завещании, которым определялись границы владений его сыновей и устанавливалось, что в руках старшего в роде должна находиться Краковская земля и верховная власть в стране, и далее кратко отмечается, что в соответствии с завещанием верховную власть и Краковскую землю получил его старший сын Владислав (Кадлубек, III, 26). О каком-либо участии «общества» в смене власти здесь не говорится. Вспыхнувшая затем борьба за власть рассматривается хронистом как семейный конфликт, вызванный тем, что Владислав хотел лишить младших братьев наследства. В этом конфликте архиепископ Якуб и «паны» становятся на сторону обиженных, но тема низложения недостойного правителя не акцентируется, он наказывается Богом за дурное отношение к братьям (Кадлубек, III, 26–28).

Как произошел приход к власти следующего правителя — Болеслава Кудрявого, в хронике не говорится. За правление этого князя неоднократно происходило перераспределение владений между членами княжеского рода, но это происходило или в соответствии с пожалованием старшего в роде или по завещанию умершего князя (Кадлубек, III, 30). После смерти Болеслава в 1173 г. краковский стол, как старший в роде, занял его брат Мешко III (Кадлубек, IV, 2). Таким образом, в этой части повествования какая-либо роль общества в сменах власти в Польше хронистом никак не акцентируется. Затем положение резко меняется.

Рассказ о правлении Мешко III в Кракове заполнен сообщениями о его многочисленных злоупотреблениях властью. Краковский епископ

Гедеон увещает его неправедных судей, а затем и самого монарха, но безуспешно. Тогда «первые паны» Краковской земли собираются и принимают решение возвести на краковский престол его младшего брата Казимира. Кадлубек излагает доводы, которые склонили их к этому решению. Участники совещания говорят, что они не желают, чтобы их считали бунтовщиками, что опасно покушаться на власть большого правителя, но «не годится, чтобы свободный был слугой». Таким образом, целью переворота провозглашается возвращение «свободы». Этот мотив повторяется и в дальнейшем тексте, где говорится, что заговорщики обращаются к Казимиру, чтобы приобрести «свободу». Наряду с этим употребляется и другой довод морального порядка: «Позорно, когда тебя считают бунтовщиком, но еще более позорно быть трусом». Это замечание, несколько неожиданное в устах высокопоставленного духовного лица, возможно, отражает те действительные высказывания, которые раздавались в кругу участников совещания — профессиональных воинов. Но главное — это благо страны, которую разоряют приближенные правителя. Кадлубек сравнивает их с пожирающими овец хищными волками. Обращаясь к Казимиру, заговорщики восклицают, что, если он не поможет, страна «должна погибнуть, так как у ней нет возможности перенестись в другое место». В речах, которые произносят у Кадлубка участники «совещания», жестокому и несправедливому Мешко противопоставляется пространная характеристика Казимира, обладающего всеми достоинствами идеального князя. В завершение рассказа, приступая к повествованию о самом перевороте, завершившемся изгнанием Мешко из Кракова, хронист подчеркивает, что Казимир прибыл в Краков с малой свитой, чтобы было ясно, что его вступление на краковский стол это не акт насилия, а результат добровольного его выбора жителями (Кадлубек, IV, 4–6).

Очевидно, что Кадлубек признает за подданными право низложить несправедливого правителя и предложить трон другому, справедливому члену княжеского рода. Однако обращает на себя внимание, что он очень подробно обосновывает необходимость такого выступления. Между тем, рассказывая о более ранних событиях 40-х гг. XII в., когда подданные поддержали младших братьев, выступивших против несправедливого старшего брата-правителя, он совсем не нашел нужным обосновывать справедливость и правомерность таких действий. Очевидно, такая ситуация, когда сами подданные выступают с инициативой смены правителя, в сознании верхов польского общества не воспринималась как обычная, и решения подданных нуждались в определенном оправдании.

Повествование Кадлубка позволяет выделить некоторые условия, при которых такое выступление, которое сам хронист оценивает явно

как нечто чрезвычайное, могло бы иметь место. Прежде всего это выступление становится возможным и необходимым, когда несправедливые действия правителя угрожают стране гибелью. Кроме того, к подобным действиям можно было прибегать лишь тогда, когда были исчерпаны другие средства воздействия. Не случайно Кадлубек подробно рассказывает о том, как краковский епископ увещевал сначала приближенных Мешко III, а затем и его самого. Можно отметить в тексте Кадлубка и еще одно условие, необходимое для такого выступления. Отклоняя первоначально предложения заговорщиков, Казимир заявил, что ему уже предлагали свергнуть с краковского трона его брата Болеслава, но он отклонил такое предложение. В ответ заговорщики обратили его внимание на то, что поведением Болеслава была недовольна лишь часть его подданных и без серьезных причин (Кадлубек, IV, 6). Таким образом, выступление против правителя, предложение трона другому кандидату было возможно лишь по общему, единодушному решению подданных. Не случайно Кадлубек подчеркивает бескровный приход Казимира ко власти, на его сторону переходят и те, кому Мешко поручил охрану краковского замка. Это лучше, чем что-либо другое, показывает единодушия принятого решения. Такого единодушия, возможно, в действительности не существовало. У самого хрониста в одном из последующих эпизодов читаем о выступлении против Казимира сторонников Мешко во главе с краковским каштеляном Генриком Кетличем (Кадлубек, IV, 16).

Заслуживает внимания и то, что заговорщики признавали, по словам Кадлубка, свое положение безвыходным, если Казимир не займет краковский стол. Очевидно, в Польше конца XII в. не представляли себе такого восстания против правителя, которое не возглавлял бы член княжеского рода.

К рассматриваемому вопросу имеет отношение еще один пассаж хроники, где речь идет о последовавших через некоторое время переговорах между Мешко и Казимиром. Во время этих переговоров Казимир, соглашаясь вернуть Мешко утраченную им «вотчину» — наследственное владение (Познанское княжество), отказывался возвратить ему «верховный» краковский стол. В уста Казимира Кадлубек вкладывает следующие высказывания о своем брате: он не может добиваться возвращения себе верховной власти, так как заслуживает утраты такого положения тот, кто злоупотребляет признанной за ним властью. «Ибо польза государства требует, чтобы никто не использовал своей власти во зло» (Кадлубек, IV, 11). Так еще раз устами самого князя Кадлубек утверждает право подданных сменять недостойного правителя. Не ограничившись этим, хронист позаботился сообщить читателю, что это право одобрил один из главных правителей христианского мира — император Фридрих Барбаросса. Когда Мешко III обратился к нему с жалобами на

несправедливое низложение, император якобы ответил ему, что «поляков нельзя лишить права выбирать себе князя» (Кадлубек, IV, 12).

Вместе с тем в рассказе Кадлубка таким правом обладают только жители главной Краковской земли. Став после занятия Кракова главой Польши — «монархом всей Лехии», Казимир перераспределяет земли между членами княжеского рода. О каких-либо желаниях подданных в этой связи не говорится (Кадлубек, IV, 8).

Вопрос о передаче власти снова возник в повествовании Кадлубека после неожиданной смерти в 1194 г. Казимира Справедливого. Здесь Кадлубек описывает и саму процедуру выборов. Краковский епископ Пелка, предварительно посоветовавшись с «панами», «созвал всех на собрание». К участникам собрания он обратился с речью, в которой предложил возвести на краковский стол старшего из двух малолетних сыновей Казимира — Лешко Белого. Для оценки помещенных далее в повествовании речей с соображениями за и против этого решения следует остановиться на некоторых важных аспектах сложившейся ситуации.

Краковский стол был главным княжеским столом в Польше, сидевший на нем князь, по выражению самого Кадлубка, был «монархом всей Лехии», по традиции поэтому на этом столе сидел старший из членов княжеского рода. Когда заговорщики решили свергнуть Мешко III, они предложили его трон следующему по старшинству члену княжеского рода. Решение о возведении Лешко на краковский стол грубо нарушало нормы наследования, установленные «завещанием» Болеслава Кривоустого, о чем хорошо было известно не только Кадлубку, но и главному герою его повествования краковскому епископу³. Однако в речи, вложенной в уста епископа хронистом, этот сюжет вовсе не затрагивается, не обращают на него внимания и другие участники совещания. По-видимому, хронисту хотелось бы обойти молчанием эту сторону дела. Но сделать этого ему не удалось, очевидно, потому, что вопрос все же обсуждался на собрании, и это было известно. Во всяком случае, в заключительной речи епископа читается утверждение, что «устав прадедов», по которому верховная власть должна всегда принадлежать старшему в роде, отменен папой Александром и императором Фридрихом, так как при жизни Мешко III они признали таким верховным правителем Казимира. Как главные авторитеты христианского мира, — пояснял епископ в изложении Кадлубка, — они имеют право устанавливать новые нормы права и упразднять старые. Скорее всего, мы имеем дело с расширительным толкованием соответствующих грамот, подтверждавших право Казимира II на обладание краковским столом⁴. Но ясно, что Кадлубек и те общественные круги, мнение которых он выражал, полагали, что старые нормы наследования краковского стола перестали действовать, и Кадлубек стремился внушить это читателю, не вдаваясь в обсуждение данного сюжета.

Другая необычная черта предложенного решения заключалась в том, что на главный княжеский стол Польши — краковский — предлагалось возвести маленького мальчика. Необходимость поступить именно так Кадлубек нашел нужным специально обосновать. В его повествовании в ответ на речь епископа один из присутствовавших на собрании «мужей» сказал, что, конечно, нужно скорее избрать нового правителя, но утверждал, что ребенку нельзя доверять управление взрослыми людьми.

Один из аргументов епископа, использованный им в ответе на это замечание, привлек к себе особое внимание исследователей. Епископ сказал, что монарх управляет государством не сам, а с помощью более низких носителей власти (*per administratorias potestates*). В этих высказываниях отражаются произошедшие к концу XII в. изменения взгляда на характер отношений между носителем верховной власти и социальной элитой. В модели раннефеодального государства монарх, от которого зависело распределение должностей и доходов и кто предводительствовал войском на войне, занимал ключевое место (неудачи и другие отрицательные явления жизни часто прямо и непосредственно связывались с физическим состоянием правителя). В новой модели отношений, когда с развитием феодального землевладения знать все более превращалась в самостоятельную силу, располагающую своими источниками доходов, исходящими не от государственной власти, монарх мог стать своеобразным символом государственного единства, а реальная власть сосредоточиться в руках окружавших его представителей знати⁵.

Привлек к себе внимание исследователей и другой, главный аргумент, который использовал епископ, добиваясь возведения Лешко на краковский стол. Епископ, в изложении Кадлубка, объяснял слушателям, что есть глубокая разница между правом выбора и наследованием. При праве выбора избиратели пользуются полной свободой, и здесь предпочтение действительно отдается взрослым людям, но когда речь идет о праве наследования, то здесь выбора нет и наследовать могут любые лица, даже дети грудного возраста, родившиеся после смерти отца. Таким образом, согласно аргументации епископа, у участников собрания не было иного выбора, как передать трон старшему сыну своего князя.

Предложенная в хронике Кадлубка аргументация, как справедливо отмечено в научной литературе⁶, отражала своеобразные переходные ситуации в развитии сознания верхов польского общества последних десятилетий XII в. Уже появилось представление о возможности выбора социальными верхами общества того кандидата, деятельность которого отвечает его интересам, и эти социальные верхи фактически используют такое право, возводя на трон Лешко и нарушая тем самым все установленные правила наследования краковского трона. Вместе с тем этот

круг людей еще не готов открыто признать за собой это право, и реальные выборы маскируются ссылками на необходимость соблюдать нормы наследственного права, которых в данном случае фактически не было, так как ни предшественники Казимира, ни он сам не были наследственными обладателями краковского стола.

Обращение к последующему повествованию Кадлубка показывает, что аналогичная попытка представить избрание правителя как нечто совсем иное, как следование нормам наследственного права, имеет место в его тексте при описании событий 1202 г., когда выросший Лешко отказался править краковским столом на предложенных ему условиях, и краковская знать решила предложить престол сыну Мешко III, Владиславу Ласкононому. В уста направленных к этому князю послов вкладываются слова, что речь не идет о каком-либо выборе и что князь приглашается на престол как наследник своего отца, ранее правившего в Кракове⁷ (Кадлубек, IV, 26).

Рассказывая о возведении на краковский стол Владислава Ласкононого (одно из последних известий хроники), Кадлубек записал: «И так перед лицом всей Польши с согласия князей и вельмож и всех воинов, от простого воина до обладателя высшей должности, правителем Кракова установили князя Владислава» (Кадлубек, IV, 26). Это свидетельство показывает, кто был участником собрания, возведшего на трон князя Лешко, и других подобных собраний. Это были «воины» — княжеские дружинники, постепенно превращавшиеся в феодалов-землевладельцев. По крайней мере, так должно было обстоять дело в представлении Кадлубка.

В какой мере взгляды краковской знати, выразителем которых был Кадлубек, можно считать характерными для сознания верхов общества в других польских землях второй половины XII в.? Какого-либо конкретного материала на эту тему в хронике Кадлубка, поглощенного событиями, происходившими в Кракове, мы не обнаруживаем. Можно опираться лишь на некоторые косвенные свидетельства.

Так, по свидетельству самого Кадлубка, которое находит подтверждение и в некоторых других источниках, переворот в Кракове, который привел к низложению Мешко III с краковского трона, сопровождался переворотом на территории родовых владений Мешко в Великой Польше, где князя сверг с престола его старший сын Одо. Мешко с тремя сыновьями от второго брака был вынужден искать приюта в городке Ратибор в Силезии⁸. Таким образом, и в Великой Польше появилась практика отстранения неугодного правителя, а следовательно, должны были иметь место и какие-то попытки такую практику обосновать. Дальше этих самых общих замечаний наши источники пойти не позволяют.

Говоря о сознании общества последних десятилетий XII в., закономерно поставить вопрос, какую реакцию вызывали происходившие пере-

мены в сознании приверженцев прежнего порядка, как они их воспринимали и осмысливали, как пытались этим переменам противостоять.

Прежде чем переходить к рассмотрению этого вопроса, следует остановиться на одном аспекте решений о возведении на краковский трон Лешко, сына Казимира, на котором Винцент Кадлубек не стремился концентрировать внимание читателя. Через текст хроники красной нитью проходит убеждение (характерное, конечно, не для одного Кадлубка) о тесной, неразрывной связи между краковским столом и верховной властью над польскими землями. Возводя на трон малолетнего Лешко, краковская знать тем самым выступала с претензиями на осуществление от его имени верховной власти над другими польскими землями и сидевшими в них на столах членами княжеского рода.

Произошедшие перемены наносили двойной ущерб интересам польских князей. Во-первых, они устранялись от наследования краковского стола; во-вторых, возникала неприятная перспектива подчинения членов рода малолетнему краковскому князю и стоявшей за его спиной знати; в-третьих, и это главное, утверждалась практика, при которой подданные начинали распоряжаться княжеским столом по своему усмотрению. Сохранился документальный источник, отражающий усилия членов княжеского рода, направленные на устранение происшедших перемен. Это текст буллы папы Иннокентия III от 9 июня 1210 г., адресованной польскому духовенству и выданной по просьбе одного из польских князей⁹. В этой булле папа напоминал о существовании завешания Болеслава Кривоустого, утвержденного святым престолом, по которому на краковском столе должен сидеть старший в княжеском роде и после его смерти его должен сменить следующий по старшинству. Папа напоминал, что нарушитель этих норм, согласно установлению, должен быть отлучен от церкви. Папа призывал епископов соблюдать это установление и карать их нарушителей церковными санкциями. Перед нами очевидный след усилий, направленных на восстановление традиционного института верховной власти, усилий, предпринятых польскими князьями.

Учитывая эти обстоятельства, следует перейти к рассмотрению тех высказываний Кадлубка, которые направлены против организаторов решения об избрании Лешко и содержат критику их действий. Высказывания эти хронист вкладывает в уста Мешко III. На страницах его хроники помещен целый ряд таких высказываний. С какой целью они были помещены хронистом? На этот счет можно высказать, разумеется, лишь предположения. Во-первых, поскольку Мешко III обрисован на страницах хроники как жестокий и несправедливый тиран, высказывания, вложенные в его уста, не могли быть авторитетными для читателя. Поэтому, помещая их, хронист не рисковал зародить у читателя сомнения в правильности собственной позиции. Во-вторых, такие высказыва-

ния были нужны хронисту, чтобы объяснить, почему Мешко III привлек на свою сторону других польских князей, почему затем Лешко и его мать добровольно уступили ему краковский стол. Первая речь Мешко в изложении Кадлубка обращена к польским князьям. В ней мы находим два разных положения. Одно из них перекликается с выступлением «мужа» на собрании. Избрав правителем малолетнего, страну подвергли опасности, так как паства, оказавшись без пастыря, легко становится добычей волков. Но гораздо интереснее другое. Мешко обвиняет организаторов решения об избрании Лешко в том, что они «избирают ребенка князем, чтобы таким образом они сами правили самими правящими». Но этим старый князь не ограничивается. Кадлубек вкладывает в его уста утверждение, что они стремятся к тому, чтобы, искоренив королевский род, могли свободно владеть, чтобы вместо «одного главы выросло среди них столько королей, сколько голов» (Кадлубек, IV, 22). Не исключено, что, вкладывая такие обвинения в уста Мешко III, магистр Винцент хотел тем самым показать их абсурдность. Однако независимо от его намерений подобные высказывания не могли не привлекать внимание читателя к вопросу о взаимоотношениях носителя власти и подданных. Следует отметить и само появление в сочинении, возникшем на польской почве и адресованном польскому читателю, представления (пусть самого общего) об олигархии, которая могла бы сменить упраздненную монархию.

Отношения власти и подданных выступают здесь как отношения не сотрудничества, а антагонизма: подданные хотят лишиться правителей их власти. Тема эта получает продолжение в обращении Мешко III к князю Лешко и его матери. Мешко убеждает племянника уступить ему краковский трон, а он сделает Лешко своим преемником и утвердит его как наследственное право Лешко и его потомков на этот трон. При этом Кадлубек вкладывает в уста князя слова, что прочно то, что установлено решением правителя, а не непостоянным народом, который часто меняет свои решения, а далее говорится о том, что положение правителя, зависящего от расположения народа, незавидно. «Так долго будешь ему подходить, — говорил Мешко III, обращаясь к племяннику, — как долго будешь полезен; будешь править до тех пор, пока будешь покоряться» (Кадлубек, IV, 25). И, по словам хрониста, его аргументы находили понимание у членов княжеского рода. Изложив первую речь Мешко, хронист отмечает, что князья, к которым Мешко обращался, перешли на его сторону (Кадлубек, IV, 22)¹⁰, а после второй речи вдова Казимира и его сыновья уступают краковский стол Мешко, так как «лучше править по милости дяди, чем всегда зависеть от расположения народа» (Кадлубек, IV, 25).

У читателя, знакомого и с рассказом Кадлубка о жестоком «тиране» Мешко, и с приведенными высказываниями, исходящими в хронике от

этого князя, должно было складываться совсем иное представление о взаимоотношениях князя и подданных, чем при чтении хроник, возникших в эпоху раннего Средневековья. На смену представлению о совпадении, взаимном переплетении интересов правителя и социальной элиты приходит представление об антагонизме между ними, о борьбе между ними за власть над обществом. В такой ситуации вопрос о праве подданных выбирать себе правителя должен был выдвинуться на первый план.

В свете сказанного становится понятной одна из главных целей работы Кадлубка по созданию вымышленной древней истории поляков. В условиях переходного периода, когда только складывалось представление о праве подданных избирать правителя, когда оно лишь постепенно прокладывало себе дорогу в борьбе с приверженцами иных воззрений, хронист стремился убедить читателя, что таким правом поляки обладали издревле, и в том, что нет ничего необычного, — так обстояло дело у многих народов еще в древности.

Необходимо отметить еще один важный нюанс. В научной литературе давно отмечено, что при описании современного ему общества Кадлубек систематически использовал терминологию, почерпнутую из текстов античных авторов¹¹. Не все такие заимствования объясняются эстетическими вкусами и пристрастиями автора. Как представляется, более глубокий смысл имело последовательное наименование совета из представителей знати при князе термином «сенат» (и даже «*sacer senatus*»)¹². Это давало возможность проводить параллели с текстами античных авторов, в которых «сенат» выступал как орган, управлявший государством совместно с монархом или даже в его отсутствие. Не случайно его члены для Кадлубка это — *viri consulares*. Такой «сенат», как Кадлубек стремился убедить читателя, существовал в польском обществе уже в древнейшую пору его истории, и уже тогда играл важную роль при выборах правителя и передаче ему власти¹³.

Наконец, еще одно соображение. Как представляется, описание древнейшей истории поляков у Кадлубка могло преследовать еще одну цель — «десакрализировать» саму процедуру избрания правителя, представив ее как обычай, сложившийся в языческие времена у самых разных народов и приводящий на трон людей самого низкого происхождения. Отсутствие в современной ему Польше процедуры помазания должно было существенно облегчить Кадлубку эту задачу.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Adamus J. O monarchii Gallowej. Warszawa, 1952. С. 97–105.

² См. комм. Б. Кюрбис к польскому переводу хроники — *Mistrza Wincentego kronika polska*. Warszawa, 1974. S. 88.

- ³ См. об этом: *Smolka S. Mieszko stary i jego wiek*. Warszawa, 1959. S. 363 i n. *Grodecki R. Dzieje wewnętrzne Polski XIII w. // Grodecki R. Polska piastowska*. Warszawa, 1969. S. 129–130.
- ⁴ См. соображения Р. Гродецкого: *Grodecki R. Zjazd łęczycki 1180 r. // Grodecki R. Polska piastowska...* S. 106–112.
- ⁵ См. об этом подробнее: *Lalik T. Społeczne gwarancje bytu. Państwo i Kościół // Kultura Polski średniowiecznej X–XIII ww. Warszawa etc.*, 1985. S. 141–142.
- ⁶ См. об этом подробнее: *Grodecki R. Dzieje wewnętrzne...* S. 179–180.
- ⁷ Тональность повествования Кадлубка показывает, что он не одобряет такие маневры: очевидно, краковская знать еще не готова была открыто разделять взгляды, пропагандируемые хронистом.
- ⁸ Об этом см. подробнее: *Smolka S. Mieszko stary...* S. 306–307. *Zientara B. Henryk Brodaty i jego czasy*. Warszawa, 1975. S. 120.
- ⁹ Текст буллы см.: *Kodeks dyplomatyczny Śląska*. Wrocław, 1959. Т. II. № 137.
- ¹⁰ Об этом выступлении см. подробнее: *Zientara B. Henryk Brodaty...* S. 153–155.
- ¹¹ Племянники Мешко III оказали ему военную помощь, когда он пытался силой вернуть себе краковский стол — *Smolka S. Mieszko Stary...* S. 369, 371.
- ¹² См. об этом подробнее: *Bogucki A. Terminologia polityczna w kronice polskiej Wincentego Kadlubka // Studia źródłoznawcze*. Warszawa; Poznań, 1976. Т. XX. *Ibid.* S. 61.
- ¹³ Об этой роли «римских» терминов у Кадлубка см.: *Smolka S. Mieszko stary...* S. 362; *Zientara B. Henryk Brodaty...* S. 100–101.

В. А. Нилова, Ю. И. Штакельберг
(С.-Петербург)

**«Извлечения из показаний политического преступника,
бывшего инженер-поручика Владислава Рудницкого
относительно участия в польском восстании
1863 и 1864 годов Юго-Западных губерний и Галиции»
(О несохранившейся книге)**

В 1866 г. в типографии штаба Варшавского военного округа были отпечатаны тиражом 30–40 экземпляров три книги: «Записки Оскара Авейде о польском восстании 1863 года», «Показания Карла Маевского» и «Извлечения из показаний политического преступника, бывшего инженер-поручика Владислава Рудницкого относительно участия в польском восстании 1863 и 1864 годов Юго-Западных губерний и Галиции». Представляя указанные издания царю и высшим сановникам Российской империи, наместник царства Польского Ф. Ф. Берг преследовал цель ознакомления с тем, что же было причиной происшедших событий и, одновременно, как бы подводил итоги деятельности следственных органов, благодаря стараниям которых подследственные руководители восстания написали эти книги.

Судьба книг сложилась по-разному. Если 4-томные «Записки Оскара Авейде» сохранились до наших дней (правда, всего в трех экземплярах, из которых один в Варшаве), то две остальные, несмотря на активные розыски, до сих пор в библиотеках России и Польши не обнаружены. Названия их известны только по библиографии¹. Высказывались даже сомнения — были ли они вообще изданы. Однако в отношении книги Рудницкого в библиографии Гонсеровского, кроме сведений о количестве страниц (93 стр.) и формате издания (23×16 см), имеется указание на то, что единственный известный библиографу экземпляр находился в то время (1923 г.) в Архиве древних актов в Варшаве. Предлагаемые же ниже обнаруженные ныне архивные материалы позволяют более определенно высказаться как о содержании книги Рудницкого, так и об истории ее создания.

Но прежде несколько слов о самом авторе. Владислав Викторович Рудницкий, сын помещика Радомысльского уезда Киевской губернии Виктора Рудницкого, родился 8 февраля * 1835 г., а в 18 лет, в марте 1854 г., поступил юнкером в 6-й саперный батальон. В феврале 1854 г. прибыл с

* Здесь и далее все даты указываются по старому стилю.

этим батальоном в город Севастополь и находился там по 15 июля того же года. Затем был отправлен в Инженерный департамент Санкт-Петербурга, где, выдержав экзамен, получил чин прапорщика и был приписан ко 2-му резервному саперному батальону. В составе этого батальона в июне 1855 г. вернулся в Севастополь и участвовал во всех оборонных работах и сражениях до окончания войны. В Севастополе переведен в 3-й саперный батальон. За работы во время бомбардировок и отбитие штурма 27 августа на 2-м бастионе, а также за саперные работы в северной части города награжден орденом Св. Анны 4-й степени и саблей с надписью «За храбрость», орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, серебряной медалью «За оборону Севастополя» и бронзовой медалью за участие в войне 1853–1856 гг. Младший брат Владислава Рудницкого, Мечислав, также участвовал в обороне Севастополя в составе 6-го саперного батальона и получил тяжелое ранение, от последствий которого умер в 1861 г.

После войны Рудницкий продолжил службу в 3-м саперном батальоне, а в июле 1857 г. поступил в Инженерную академию, по окончании которой в 1859 г. был произведен в инженер-поручики и сразу же поступил в Академию Генерального штаба, прямо в высший класс, где окончил курс по 2-му разряду в 1860 г. По личной просьбе был откомандирован в корпус военных инженеров и назначен в крепость Бендеры. Однако в 1861 г., после смерти отца, Владислав Рудницкий подал прошение о переводе по семейным обстоятельствам в Киевскую крепость, так как на его имя было переведено отцовское имение в деревне Калгановка. В апреле 1862 г. перевод был получен, и Рудницкий, назначенный в Киевскую инженерную команду, занимался съемкой Киевской крепости, а затем — составлением проекта ее перестройки. Во время пребывания в Киеве он был приказом по военному министерству от 17 апреля 1863 г. произведен в штабс-капитаны². Но, судя по тому, что показания свои он подписывал «инженер-поручик», Рудницкий так и не успел узнать о своем производстве, так как уже 26 апреля 1863 г. он выехал из Киева, чтобы принять команду над Радомысльским отрядом повстанцев. Начался повстанческий период его биографии.

Позже, во время допросов во Временной военно-следственной комиссии, Рудницкий утверждал, что к участию в восстании был привлечен насильственным, обманным путем: «Я совершенно неожиданно очутился в восстании, и все пути возвращения были уничтожены. Кроме имения с хозяйством, только что заведенным, остались у меня в городской квартире экипажи, вещи все, верховая лошадь. Кучер и лакей мой сами не знали, куда я делся, и никому на ум не приходило, чтобы я был в восстании. Потом, уж в Галиции, я узнал, что квартира моя была целую неделю не тронута, так как начальство даже не могло поверить, что я перешел к мятежникам.

По духовному завещанию отца моего <...> я, как старший сын, назначен был опекуном всего семейства и сирот от самой старшей сестры, я взял без согласия брата имение на свое имя, и Бог мне свидетель, что я хотел исполнить усердно волю отца, так неужели я и в этом был изменником, неужели я забрал имение, чтобы самому кинуться в мятеж, а им отнять состояние?»³.

Вооруженное восстание в Киевской губернии продержалось всего несколько дней. Уже 1 мая 1863 г. отряд Рудницкого был разбит у села Верховесье Овручского уезда. Сам Рудницкий на следующий день был взят в плен. При этом он назвался Иванским, очевидно желая скрыть свое офицерское звание и тем избежать немедленного расстрела, тем более что в нем заподозрили одного из предводителей восставших, действовавшего под псевдонимом Сава, что Рудницкий на следствии упорно отрицал: «По разбитии отряда... войска поймали более 30 человек мятежников, в том числе и меня. Нас привезли в сел. Верховесье, где накануне того дня отряд стоял несколько часов, и держали там 3 суток, пока крестьяне различных деревень не поприводили прочих мятежников, разбежавшихся в разные стороны. Оттуда повезли нас по Радомысльскому уезду через те же деревни...; крестьяне этих деревень везли нас на подводах, как в сел. Верховесье, так и в продолжение всей дороги, узнавали каждого отлично и указывали, кто на какой лошади ехал; солдаты постоянно спрашивали о Савве, неужели бы никто не узнал, что это я, если бы только видел меня прежде, как Савву. Крестьяне с таким неистовством ловили мятежников, что, узнав меня, наверное, сейчас же сказали бы хоть солдатам, по крайней мере»⁴. Помещенный вместе с другими ранеными в Радомысльской больнице, Рудницкий 11 июня, при содействии студентов Киевского университета Станислава Орловского и Бронислава Жуковского, бежал и после различных перипетий пробрался в Галицию. Здесь он занимался формированием и подготовкой отрядов, предназначенных для вторжения на территорию России (на Волынь) для помощи повстанцам. Эта его деятельность продолжалась до введения австрийскими властями военного положения. В начале марта 1864 г. Рудницкий выехал из Львова в Турцию, отсюда в Женеву и наконец в сентябре 1864 г. оказался в Париже.

После трех месяцев пребывания в Париже без всякой работы он устроился с 1 декабря 1864 г. чертежником в управление Западной железной дороги⁵. Сразу же по приезде в Париж Рудницкий окупился в политическую жизнь эмиграции. А там в это время происходила ожесточенная борьба между Кужиной, назначенным полномочным представителем Национального правительства, и его противниками. Ввязавшись в эту борьбу, Рудницкий оказался жертвой провокации, организованной царскими властями. Как известно, в начале января 1865 г., ими-

тировав существование в Варшаве нового тайного Национального правительства, царские власти при помощи агента-провокатора Александра Звехховского старались заманить в Польшу ведущих деятелей эмиграции. Рудницкий оказался в числе тех, кто поддался на провокацию: «...Мы начали толковать, кто бы мог поехать в Варшаву. Охотников было довольно, потому что каждый видел, что надо, во что бы то ни стало, раскрыть тайну. Я предложил свои услуги и говорил товарищам, что лучше всего будет, если я поеду именно потому, что я до восстания ни к каким партиям не принадлежал, во-вторых, период самого восстания прошел, скорее, как зритель, чем как лицо действующее, следовательно, скорее всех могу быть беспристрастным, а, в-третьих, как офицер, который был в войне и при этом теоретически достаточно хорошо подготовлен, я могу достаточно же верно оценить приготовительные работы, о которых пишут из Варшавы. Все согласилось, что мое мнение справедливо, и я решил ехать»⁶. Взяв четырехнедельный отпуск в Управлении железной дороги, Рудницкий выехал из Парижа. В эту же ловушку попали Владислав Даниловский, Здзислав Янчевский и Мечислав Улятовский⁷.

Прибыв в Варшаву с паспортом на имя Михаила Серватовского, имея целью проверить, действительно ли в Польше еще существует подпольный Жонд, Рудницкий в тот же день, 3 марта 1865 г., был арестован. Оказавшись в цитадели и тут же убедившись, что это не случайность, а результат хорошо задуманной и исполненной провокации, организаторы которой прекрасно осведомлены как о его личности, так и о его деятельности, Рудницкий не счел уместным запираяться и через несколько дней дал свое общее показание. Правда, в этом показании Рудницкий еще пытался как-то (весьма притом неловко и наивно) смягчить обстоятельства своего участия в вооруженных действиях против царских войск в апреле 1863 г. Это вполне понятно — для офицера российской службы, дезертировавшего и перешедшего на сторону повстанцев, военный суд предусматривал только один исход — расстрел. Поэтому естественно, что на дальнейшие вопросы следственной комиссии Рудницкий дает подробные и обстоятельные ответы. Но обстоятельность эта относительна. Большинство вопросов комиссии было посвящено восстанию на Правобережной Украине и деятельности Рудницкого по подготовке вторжения туда новых повстанческих отрядов из Галиции. С показаниями его знакомили генерал-губернатора Юго-Западного края Безака, которого (как, впрочем, и следственную комиссию) больше всего интересовал вопрос о максимальном выявлении всех участников национально-освободительного движения во вверенном его управлению крае. Оценивая показания с этой точки зрения, Безак с разочарованием пишет, что Рудницкий ограничился «поименованием таких лиц, принадлежность которых к мятежу слишком хорошо известна и которые

частью казнены, сосланы или же находятся за границей, вне преследования их законом»⁸.

Не исключено, что одной из побудительных причин словоохотливости Рудницкого было извечное желание подследственного сколь возможно оттянуть час приговора, особенно если ему, как это было в данном случае, угрожала смертная казнь. Это желание Рудницкого совпало с интересами следственной комиссии. Затягивая издание показаний Авейде и Маевского о восстании в Царстве Польском, они привлекли и Рудницкого для освещения событий в Юго-Западных губерниях и в Галиции, о которых он, конечно, был информирован более остальных. Не исключено также, что при этом Рудницкому было представлено соображение, что его подробные показания нужны не столько следственной комиссии (которая и так все знает), сколько для истории, для потомков, которые, дабы разобраться в происшедших событиях, должны будут иметь фактический материал во всей его полноте. Во всяком случае, подобные соображения выдвигались Авейде и Маевскому (для последнего они оказались, по-видимому, решающими)⁹.

Помимо показаний, Рудницкий в цитадели составляет также описание военных действий на территории Царства Польского. Оно создается на основе правительственного издания «Журнал военных действий в Царстве Польском», который (как, по-видимому, и некоторые повстанческие издания и материалы) был предоставлен в его распоряжение следственной комиссией. Кроме того, он использовал и те сведения, которые были известны ему лично. Первоначально эта работа была, очевидно, задумана как описание карательных действий правительственных войск, о чем свидетельствует изложение как бы от лица царского офицера, называющего карателей — «наши», «наши войска». Однако когда возник проект публикации еще и исторического очерка, составленного Янчевским, туда был включен и материал, подготовленный Рудницким (в виде глав XIV, XVI, XVIII и XXI)¹⁰. При этом везде «наши» исправлено на «русские». Следует отметить две характерные черты этого описания военных действий. Во-первых, следуя изложению их с точки зрения правительственной стороны, Рудницкий употребляет, соответственно, и терминологию «Журнала военных действий», что в его устах производит впечатление сознательного очернения повстанцев. В силу этого описание военных действий резко отличается от прочих его показаний, изложенных совсем в ином тоне. Во-вторых, Рудницкий не упускает случая для выражения критической, и часто весьма ядовитой, оценки действий царских военачальников.

Рудницкий был также привлечен следственной комиссией как для проверки показаний и исторических записок своих союзников (Авейде, Даниловского, Янчевского и Маевского), так и для критического рецен-

зирования «творчества» самих членов комиссии, в частности П.Г. Цугаловского. Но главное, что нас интересует, это его участие в издательской деятельности следственной комиссии.

Итак, выше сказано, что книга Рудницкого до наших дней не сохранилась ни в одном экземпляре. И тем не менее представляется возможным судить о ее содержании. Основанием для такого заключения может служить рукопись, хранящаяся в Российском государственном военно-историческом архиве, под названием: «Сведения относящиеся до участия в восстании 1863 и 1864 г. юго-западных губерний России и Галиции по показаниям бывшего инженер-поручика Владислава Рудницкого»¹¹. Заголовок этот повторен дважды: на обложке и на первой странице. На первой же странице в левом верхнем углу штамп: «Наместнику Его Императорского Царского Величества в Царстве Польском и Главнокомандующего войсками Варшавского военного округа. Доклад. ... 186 ... года. N ... в Варшаве». Каллиграфически выполненная писарем рукопись написана на сложенных вдвое листах с обеих сторон; на последней странице каждого листа проставлена заверяющая подпись Рудницкого. Его же подпись в конце текста (на стр. 332), ниже ее подписи: «Председатель Временной Военно-следственной комиссии полковник Тухолка; члены: подполковник Марианович, гвардии поручик Корольков, гвардии подпоручик Цугаловский». Далее помещен «Список фамилий, упоминаемых в настоящей тетради», содержащий 100 расположенных по алфавиту фамилий и имен, с указанием страниц текста и места нахождения каждого лица. Список переписан иным, чем текст, почерком. На последней странице под списком скрепляющая запись: «Верно. Младший член комиссии гвардии подпоручик Цугаловский». И наконец, на обороте окончательная заверка: «В сей тетради писанных, пронумерованных и печатью скрепленных триста двадцать девять страниц. Младший член комиссии гвардии подпоручик Цугаловский».

Рукопись изобилует пометками и исправлениями как в тексте, так и на полях, главным образом редакционного характера. В первую очередь нас интересуют две группы пометок, свидетельствующих о назначении рукописи. Во-первых, это пять пометок на полях: «Не печатать далее без предварительного от меня приказа. Д. Черницкий» (стр. 73), остальные идентичные: «Спросить Его Превосходительство» (стр. 120, 135, 152 и на стр. 308: «Спросить Его Превосходительство пред печатанием»). Поскольку они выполнены иным почерком, чем первая, можно предположить, что под «Его Превосходительством» подразумевается именно Дмитрий Иванович Черницкий 3-й, обер-квартирмейстер Варшавского военного округа. Во-вторых, пометки разным карандашом прямо в тексте с выноской на полях: «стр. 26», «стр. 33», «стр. 41», «стр. 49», «стр. 57», «стр. 73», «стр. 89» (соответственно на страницах 87, 118, 147,

169, 192, 248 и 311)¹². Такие пометы обыкновенно делают наборщики, когда прерывают работу. Такого же характера помета «До сих» (стр. 282). Из сказанного вытекает, что мы имеем дело с наборной рукописью, которая легла в основу издания. Отсутствие следов рук, перепачканных типографской краской, обычных для наборной рукописи, не противоречит сделанному выводу и может свидетельствовать только об аккуратности наборщиков типографии штаба Варшавского военного округа и отсутствии спешки.

Прежде чем перейти к анализу содержания данной рукописи, следует вспомнить об одной рукописи Рудницкого под названием: «Черновой экземпляр собственноручного исторического показания, состоявшего в 1865 г. под следствием во Временной Военно-следственной комиссии в Варшаве бывшего Киевской инженерной команды поручика Владислава Рудницкого». Этот автограф Рудницкого написан так же как и «Сведения», по-русски, как, впрочем, и вообще все его показания. Хранится рукопись в фонде П. Г. Цугаловского в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге и ныне опубликована¹³.

Сличение этих двух текстов показывает, что «Черновой экземпляр» предшествовал рукописи из РГВИА, в которую перенесены все исправления и дополнения, сделанные в нем. (Даже описка на стр. 255: «1864 г.» вместо «1863 г.» тоже перекочевала из «Чернового экземпляра» в «Сведения».) Следует, правда, отметить, что в двух местах наборной рукописи восстановлено вычеркнутое в «Черновом экземпляре». Это примечания в § 22 и последующий абзац § 28¹⁴. Добавлений в наборной рукописи по сравнению с «Черновым экземпляром» очень немного. Это уточнение состава Киевского, Житомирского и Каменец-Подольского комитетов (стр. 12, 13, 18), сведения об Исидоре Коперницком (стр. 6) и Голуховском (стр. 26), о предполагаемом маршруте Ружицкого в апреле 1863 г. (стр. 35), добавление, что помещики предполагали устраивать училища, «с помощью которых можно было, по их мнению, подготовить крестьян для революции» (стр. 5), и некоторые уточнения формулировок, имеющие характер редакционной правки. Таким образом, рукопись «Сведений» повторяет текст «Чернового экземпляра» во всем его объеме (пропусков, сделанных при переписке, нет), с некоторыми дополнениями. Вся дальнейшая редакторская работа велась уже над этой рукописью, в которой много исправлений, главным образом стилистических. Исправления эти сделаны рукой П. Г. Цугаловского карандашом, а затем повторены чернилами (чаще всего поверх карандашного текста). Надо отметить, что редактура не всегда была тщательной. Так, в тексте дважды повторяется один и тот же абзац о помощи повстанцам со стороны приверженцев Товянского (стр. 175 и 230)¹⁵. Но, как увидим далее, редактура имела совсем иное назначение.

Ряд мест текста Рудницкого перечеркнут карандашом и, следовательно, должен был быть опущен при наборе. Купюры эти, в общем, сводятся все к одному вопросу — отношение к повстанцам со стороны австрийских властей. Исключению подверглись места, где Рудницкий отмечает нейтралитет австрийских военных и гражданских органов по отношению к формированию повстанческих отрядов и их переходу через границу на территорию России (стр. 46–47, 76–78, 81–82, 135)¹⁶, а также где он пишет о «явном стремлении австрийских властей воспомоществовать восстанию» и о том, что «без помощи их трудно было бы там делать военные приготовления» (стр. 83, 281)¹⁷. Впрочем, вычеркнули и те места, где он говорит о небескорыстности этой помощи, прекратившейся с исчерпанием средств повстанцев (стр. 136, 319)¹⁸. И уж конечно, исключались утверждения Рудницкого, что все это делалось по указанию из Вены, что «благодаря политике Венского двора вся Галиция обратилась в военно-революционное депо», потому что «Австрия <...> убеждалась в пользе польского восстания, которое, ослабляя Россию, отвлекало из Галиции местный революционный элемент» (стр. 163, 203–204)¹⁹. Даже когда он говорит о «двуличной» политике Австрии, этот эпитет вычеркивается (стр. 317)²⁰. Вычеркнуто еще несколько подобных мест (стр. 114, 282, 310, 325)²¹. Опущена также характеристика, которую дал Рудницкий галицийским помещикам: «Эти равнодушные зрители в первое время существования мятежа, ревностные патриоты, когда австрийская полиция посоветовала им помогать восстанию, недовольные уже Австрией во время диктатуры Лянговича, ярые консерваторы против ее в блистательный период восстания» (стр. 329)²². Как видим, даже последний выпущенный кусок текста тоже в какой-то мере затрагивает австрийскую политику, и, по-видимому, это и послужило к его вычеркиванию. Такая узконаправленная редактура, явно старающаяся избежать острых нападок на австрийское правительство и его политику, может в известной мере свидетельствовать о том, что книга, возможно, предназначалась (хотя бы на начальном этапе ее подготовки) не только для внутреннего употребления.

Кроме вопросов, связанных с политикой Австрии, в рукописи Рудницкого еще ряд внешнеполитических моментов вызвал настороженность со стороны редактировавших текст, что отмечено отчеркиванием на полях. Это изложение предложений чехов и венгров о помощи повстанцам (стр. 172, 203)²³, сообщение о получении от швейцарских комитетов оружия и белья (стр. 175)²⁴ и, конечно же, изложение повстанческой интерпретации (а точнее, интерпретации лагеря Чарторьского) внешней политики Наполеона III по отношению к восставшим (стр. 190, 203–206, 308)²⁵. В последнем случае это сопровождалось пометкой на полях: «Спросить Его Превосходительство пред печатанием». Но, по-ви-

димому, «спрошенное превосходительство» ничего не имело против антифранцузских выпадов, поскольку эти места остались не перечеркнутыми. Точно так же требовалось предварительно спросить Черницкого, когда у Рудницкого шла речь о том, что Национальное правительство в Варшаве «действовало исключительно по внушениям из-за границы»²⁶. Вопросы редактора вызвали не только аспекты, имевшие отношение к другим державам, но и относящиеся непосредственно к положению в Царстве Польском. Так, отчеркнуты места, где Рудницкий писал, что в июле 1863 г. «в северной части Люблинской губернии в отряды ежедневно толпами являлись крестьяне» и что после победы Крука под Жиржином «умы простого народа были взволнованы до того, что (согласно уверениям лиц, близко знакомых с делом) можно было сделать немедленное поголовное восстание во всем Царстве Польском» (стр. 170–171)²⁷.

Еще одно сомнение было вызвано изложением обстоятельств, потребовавших от повстанцев создания системы пограничных постов для обеспечения переправки оружия и снаряжения на территорию Правобережной Украины из Галиции. Поскольку Рудницкий писал, что граница с Галицией охранялась со стороны Юго-Западного края лучше, чем со стороны Царства Польского, то на полях появилась помета: «Не понимаю. Спросить Его Превосходительство» (стр. 152). Однако, поскольку эта помета перечеркнута, следует полагать, что по обсуждению было решено текст оставить без изменений²⁸.

Вышеизложенным исчерпывается та редактура, которая была проделана с рукописью Рудницкого. Вопрос о том, кто персонально ее исполнял, остается открытым. Ряд карандашных пометок и исправлений, по которым затем вносились поправки писарем, несомненно, сделаны рукой П. Г. Цугаловского, как известно, редактировавшего и направлявшего работу Рудницкого и по составлению первоначального «Чернового экземпляра». Общее руководство, как уже отмечалось, очевидно, осуществлял Д. М. Черницкий²⁹.

Нет нужды давать подробную характеристику текста Рудницкого, поскольку ныне он доступен исследователям по опубликованной рукописи «Чернового экземпляра», который, как указано выше, идентичен окончательному. Представляется только необходимым отметить, что Рудницкий основную вину за все неудачи восстания на Правобережной Украине и плохую организацию помощи повстанцам из Галиции возлагает на партию белых, партию помещиков и магнатов, как в Галиции, так и на Украине. Одна из его оценок позиции этой партии приведена выше, в числе сделанных исключений.

Завершающий рукопись «Список фамилий, упоминаемых в настоящей тетради» был также составлен самим Рудницким, судя по экземпляру, написанному его рукой (заголовок написан рукой Цугаловско-

го)³⁰. Список этот является своего рода иллюстрацией к мнению Безака об обстоятельности показаний Рудницкого: из ста человек, упомянутых в нем, девять убиты или казнены, один уже на каторге и 80 скрылись за границу. Исходя из общего количества страниц, указанных в библиографии, и места последней пометки наборщика («стр. 89»), в печатное исполнение «Список» включен не был. Впрочем, это и понятно, так как он имел значение лишь для внутреннего употребления в следственной комиссии как в Варшаве, так и в Киеве.

Окончание работы Рудницкого над текстом может быть датировано по его замечаниям на «Очерк восстания в Юго-западных губерниях в 1863 году». «Очерк» этот, составленный П. Г. Цугаловским между 2 декабря 1865 г. и 26 января 1866 г., был затем включен во всеподданнейший отчет генерал-полицмейстера в Царстве Польском Ф. Ф. Трепова за 1865 г.³¹ Цугаловским была составлена вся политическая часть отчета (если не весь отчет)³², но Рудницкому он показывал для заметок и добавлений только раздел о восстании на Украине. Сделанные Рудницким замечания в окончательном тексте «Отчета» использованы не были. Даже явные ошибки и опiski (вроде Бесядович вместо Бесядовский, девять пограничных поясов вместо восьми, Винницкий уезд вместо Брацлавского) не исправлены. Возможно, что к моменту, когда Рудницкий написал свои замечания на черновик «Очерка», отчет уже был перебелен и ушел из рук Цугаловского. В замечаниях своих Рудницкий ссылается на текст «Чернового экземпляра» (называя его «Исторические заметки»), что свидетельствует о его завершенности ко времени, когда Цугаловский написал «Очерк». Иными словами, «Черновой экземпляр» был написан до 26 января 1866 г. Существенным моментом является внесение одного замечания Рудницкого на «Очерк» (правда, в переработанном виде) в «Сведения». Речь идет о пояснении к первому упоминанию Исидора Коперницкого (стр. 6) относительно его служебного положения. В «Черновом экземпляре» этого пояснения нет, следовательно, можно предположить, что «Сведения» перебеливались после 26 января 1866 г. Причем разрыв во времени, по-видимому, не мог быть очень значительным.

Все сказанное позволяет предположить, что начало редакторской работы над текстом «Сведений» относится к февралю-марту 1866 г. Работа эта продолжалась, вероятно, не менее чем до июля месяца, поскольку 20 июля 1866 г. наместник Царства Польского Ф. Ф. Берг, посылая шефу жандармов П. А. Шувалову уже напечатанную книгу Авейде, пишет, что «Извлечения из показаний Карла Маевского» находятся еще в печати, но совершенно не упоминает о книге Рудницкого³³. Следовательно, можно полагать, что в тот момент книгу Рудницкого еще не начинали печатать.

Выше уже отмечалось, что «Черновой экземпляр» имеет фактически два разных заголовка: на обложке — «Черновой экземпляр собственноручного исторического показания состоявшегося в 1865 г. под следствием во Временной военно-следственной комиссии в Варшаве бывшего Киевской инженерной команды поручика Владислава Рудницкого», а в начале текста — «Исторический очерк восстания в Юго-западных губерниях в 1863–1864 гг.»³⁴. Рукопись же из РГВИА озаглавлена — «Сведения относящиеся до участия в польском восстания 1863 и 1864 г. юго-западных губерний России и Галиции по показаниям бывшего инженер-поручика Владислава Рудницкого». В то же время, судя по описанию в биографии Гонсеровского, книга имела совершенно отличный заголовок — «Извлечение из показаний политического преступника, бывшего инженер-поручика Владислава Рудницкого, относительно участия в польском восстании 1863 и 1864 годов Юго-западных губерний и Галиции». Представляется наиболее вероятным, что рукопись, уже трижды изменившая свой заголовок, в окончательном, печатном виде получила новый, четвертый, уже в самый последний момент. Это тем более вероятно, что титульный лист обычно набирался и печатался в последнюю очередь. Не исключено также, что он мог быть забракован и, соответственно, заменен и после представления наместнику Ф. Ф. Бергу.

Этим, собственно, исчерпывается все, что известно нам, при сегодняшнем состоянии источников, об изданной в 1866 г. в Варшаве книге Рудницкого. Остается добавить еще несколько слов о судьбе ее автора.

Военный суд, как и следовало ожидать, приговорил Рудницкого «по лишении всех прав, к смертной казни чрез расстреляние». Приговор был представлен на утверждение наместнику. 1 февраля 1867 г., конфирмуя дело Рудницкого, Ф. Ф. Берг написал, что «приняв во внимание: во-первых, что подсудимый Рудницкий был в числе тех лиц, которые были привлечены в край действиями нашей полиции, при посредстве подосланного агента, чем самым были прекращены возникшие в начале 1865 года безумные попытки заграничных революционеров к возбуждению нового мятежа в Царстве Польском, во-вторых, что прибывшие вместе с Рудницким эмиссары Даниловский, Янчевский и Улятовский <...> освобождены от следовавшего им по закону наказания и только высланы на жительство в Империю, под строгий надзор полиции, и в-третьих, что Рудницкий, чисто-сердечно сознавшись и раскаявшись во всех своих преступлениях, сделал весьма важные показания <...>, а с другой стороны, имея в виду высочайшее повеление, последовавшее в 1864 году, которым предписывалось смертную казнь над виновными в мятеже, а равно конфискацию их имений назначать как можно реже, лишь в исключительных случаях, я признал возможным смертную казнь для Рудницкого заменить ссылкой на поселение в отдаленнейшие места Сибири». Ссылка сопровождалась

лишением чинов, орденов, дворянского достоинства и всех прав. Что же касается конфискации имущества, то в силу последовавших к тому времени положений и указов она вылилась в обязательную продажу лично Рудницкому принадлежавшего имения с обращением вырученных денег его наследникам, так как сам он лишен прав. Наследником был его брат Сигизмунд³⁵.

Выслан был Рудницкий в Иркутскую губернию. Там он около трех лет прослужил в Товариществе Амурского пароходства, участвовал (в 1872 г.) в экспедиции в Монголию, строил механический завод в Хабаровске. Наконец по манифесту 1874 г. 3 августа 1875 г. он выехал из Иркутска в Тамбовскую губернию. В сентябре того же года он уже был в назначенном ему местом жительства городе Кирсанове. Впрочем, в феврале 1876 г. надзор полиции с него был снят, но без права жительства в губерниях столичных и Западного края. После этого Рудницкий жил в Полтаве и Воронеже, где ставил опыты по устройству защиты железных дорог от снежных заносов³⁶. Последнее известие о нем относится к 1882 г., когда он жил уже в Варшаве. Дата смерти Рудницкого неизвестна.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 *Gąsiorowski J.* Bibliografia druków dotyczących powstania styczniowego. Warszawa, 1923. S. 233. № 2884.
- 2 Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА). Ф. 395. Оп. 300/860. 1863 г. Д. 47. Л. 234.
- 3 Следственные показания о восстании 1863 г. Вроцлав; Варшава, 1965. С. 150–151.
- 4 Там же. С. 170.
- 5 Там же. С. 148–162.
- 6 Там же. С. 158.
- 7 *Iwaszkiewicz J.* Wielka prowokacja. Warszawa, 1928.
- 8 Украинский государственный исторический архив. Киев. Ф. 473. Оп. 1. Д. 205. Л. 76. Показания Рудницкого в большинстве своем опубликованы: Общественно-политическое движение на Украине в 1863–1864 гг. Киев, 1964. С. 374–388; Следственные показания о восстании 1863 г. С. 107–109, 148–264, 273–322.
- 9 *Rudzka W.* Karol Majewski w latach 1859–1864. Warszawa, 1937. S. 148–149.
- 10 ОР РНБ. Ф. 1020. Тетр. XX.
- 11 РГВИА. Ф. 1859. Оп. 2. Д. 820. В архиве рукопись получила полистную фолиацию — л. 1–170, но для удобства далее прямо в тексте будут даваться ссылки на страницы.
- 12 Простой расчет показывает, что общее количество страниц, указанное в библиографии (93), соответствует объему рукописи без «Списка».
- 13 Следственные показания... С. 196–254. В издании он назван по заголовку над текстом: «Исторический очерк восстания в Юго-западных губерниях в

- 1863–1864 гг.». Заголовок «Черновой экземпляр...» помещен на обложке, что оговорено в текстологических комментариях издателями. Составителям тома рукопись из РГВИА в то время известна не была.
- 14 Соответственно: Следственные показания... С. 229 и 244; РГВИА. Ф. 1859. Оп. 2. Д. 820. С. 183 и 267. В дальнейшем ссылки на страницы рукописи из РГВИА будут даваться в тексте статьи. Идентичность текстов позволяет ссылаться на вариант, опубликованный в «Следственных показаниях». Случаи разночтения будут оговорены.
- 15 Следственные показания... С. 228, 238.
- 16 В последнем случае на полях помета «Спросить Его Превосходительство». Там же. С. 203, 209, 210, 219.
- 17 Там же. С. 210, 264.
- 18 Там же. С. 219, 252.
- 19 Там же. С. 225, 234.
- 20 Там же. С. 251.
- 21 Там же. С. 221, 246, 250, 253.
- 22 Там же. С. 253.
- 23 Там же. С. 227, 233.
- 24 Там же. С. 228.
- 25 Там же. С. 231, 233–234.
- 26 Там же. С. 217.
- 27 Там же. С. 227.
- 28 Там же. С. 223.
- 29 В том же 1866 г. Черницкий получил в награду за свои заслуги майорат в Царстве Польском с ежегодным доходом в 2000 рублей.
- 30 ОР РНБ. Ф. 1020. Тетр. XII. Л. 110–111.
- 31 Всеподданнейший отчет о действиях военно-полицейского управления в Царстве Польском за 1865 год. Варшава, 1866. С. 234. «Очерк восстания в Юго-западном крае» на с. 105–116. Черновик Цугаловского с замечаниями Рудницкого — ОР РНБ. Ф. 1020. Тетр. XIX. Л. 490–607.
- 32 ОР РНБ. Ф. 1020. Тетр. XIX. Л. 490–590 — черновик Цугаловского, соответствующий с. 20–35 и 89–116 «Отчета».
- 33 Показания и записки о польском восстании 1863 года Оскара Авейде. М., 1961. С. XXII–XXIII.
- 34 Несоответствие обоих этих заголовков описания в библиографии привело издательницу «Чернового экземпляра» Т. Н. Копрееву к мысли, что «Черновой экземпляр» не имеет отношения к тексту, опубликованному в книге (Следственные показания... С. VII–XI, XIX). Следует учитывать, что рукопись из РГВИА известна ей не была.
- 35 РГИА. Ф. 1286. Оп. 31. Д. 1375. Л. 14–17.
- 36 Там же. Л. 19–20, 27, 31.

Никола Пашич в Румынии (1885–1889)

Поражение в октябре 1883 г. Тимоцкого восстания нанесло сильнейший удар по сербской народной радикальной партии, которая со дня своего основания в январе 1881 г. вела бескомпромиссную борьбу против австрофильского курса и авторитарного правления сербского короля (до февраля 1882 г. — князя) Милана Обреновича. Подавив крестьянское движение в Восточной Сербии, монарх, казалось, получил долгожданную возможность расчитаться с ненавистными радикалами за их активную трехлетнюю оппозицию его политике. Он поспешил ею воспользоваться, и — жернова королевской мести завертелись. Срочно был учрежден военно-полевой суд, через который прошли сотни радикальных активистов и рядовых инсургентов. Не миновала чаша сия и большинства членов Центрального комитета партии, арестованных в Белграде вечером 25 октября. Мечь монарха была предельно жестокой, вполне адекватной степени его ненависти: двадцать одного обвиняемого расстреляли у подножия высоты Кралевица под Заечаром — центром Тимоцкого края; 516 человек было приговорено к каторжным работам; около сотни получило различные сроки тюремного заключения¹... Среди последних оказались и члены высшего партийного руководства: Пера Тодорович, Раша Милошевич, Коста Таушанович и Пайя Михайлович².

В этой компании закованных в железо радикальных лидеров явно не хватает центральной фигуры — председателя ЦК радикальной партии Николы Пашича. 25 октября в полдень он перебрался на венгерский берег Савы, в Земун, и кружным путем, через Венгрию, Румынию и Болгарию, поспешил в охваченный восстанием Заечарский округ. В Видин, городок вблизи болгаро-сербской границы, Пашич прибыл 29 октября. До родного Заечара* оставалось рукой подать, но перейти границу он так и не смог: повстанцы были уже разбиты королевскими войсками, в Заечаре заседал военно-полевой суд, на Кралевице звучали первые выстрелы, а в Видине появились беженцы, спасавшиеся от террора «победителей». «Подлинное несчастье нашего народа, — писал Пашич чуть позже, — помешало мне вовремя добраться до места и направить движение в более успешное русло»³. Дорога в Сербию была для него закрыта. Начинался долгий, шестилетний период эмиграции.

* В 1844 г. Н. Пашич родился в Заечаре; от этого же города в 1878 г. он был избран депутатом Народной скупщины (парламента) Сербии.

Исчезновение Пашича из Белграда было для него, по точной оценке А. Ивича, «единственной возможностью избежать неминуемой гибели, ибо, в отличие от других, он не мог надеяться на помилование»⁴. И действительно, Милан Обренович слишком рано опознал в лидере радикалов своего самого опасного противника, чтобы позволить ему выйти живым из Тимоцкого переплета, окажись он в руках властей. Пашич прекрасно понимал это, и его бегство и скорое появление на болгаро-сербской границе стали горькой пилюлей для коронованного гонителя радикалов. Тем более что сразу по прибытии в Видин беглец, по словам русского консула Н. Павлова, заявил, что «последние события — это только начало восстания, которое кончится лишь с удалением короля Милана»⁵. Через два месяца он же подчеркнул в известном меморандуме «О восстании в Сербии»: «Главной ошибкой радикальной партии было то, что она всегда уверяла народ, будто рыба с головы не гниет... то, что она всегда была против насилия; теперь эту ошибку исправил сам король Милан»⁶. Посланник России в Белграде А. И. Персиани не без оснований посчитал этот документ, растиражированный европейской печатью, «объявлением открытой войны эмигрантов сербскому престолу»⁷.

Здесь остановимся и поразмышляем о причинах столь жесткого антагонизма Н. Пашича и М. Обреновича.

* * *

Начало 1880-х гг. оказалось для новых независимых государств Балканского полуострова временем бурным. Элита освобожденных народов стояла перед выбором пути внутреннего развития: куда идти и с кем идти? Столкнулись, а кое-где буквально вошли в клинч два подхода — один на ускоренную модернизацию (или вестернизацию); другой на отстаивание традиционных ценностей в привычной системе аграрного мира. «Либеральная идея и традиция» — это сквозное противоречие определяло всю историю Балкан вплоть до Первой мировой войны.

Наиболее драматично оно проявилось в Сербии. После Берлинского конгресса, даровавшего ей независимость, Милан Обренович открыто перешел на австрофильские рельсы, связав судьбу страны и династии с Веней. Тем самым он четко обозначил свое намерение втянуть Сербию в Европу. Призванный в октябре 1880 г. к власти кабинет прогрессистов (напредняков) во главе с Миланом Пирочанцем — первым подлинным сербским *западником* — и попытался осуществить этот «прыжок из балканского мрака на европейский свет».

Понятно, что брошенный так явно вызов не мог остаться без ответа. Стремление властей «европеизировать» страну кавалерийским наскоком — т. е. буквально «насадить» в ней европейскую культуру», или «сейчас же втиснуть естественный строй сербского государства в нормы чисто евро-

пейские», как фиксировали русские очевидцы⁸, причем без всякого учета ее адаптивных способностей, вызвало протест со стороны оппозиции, принадлежавшей к радикальной партии. Отрицая универсальный характер пути Европы и ее образцов, радикалы с Пашичем во главе провозгласили в качестве главной задачи защиту сербской *самобытности*, каковую они отождествляли с только что обретенной свободой. «Мы совсем не бережем того, что серба делает сербом, — подчеркивал Пашич, — но, следуя моде, стремимся к тому, чем так кичатся иностранцы»⁹.

По своей внешнеполитической ориентации и цивилизационному настрою вождь и его соратники всегда оставались стойкими русофилами.

Острейший внутрисербский конфликт завершился лобовым столкновением — неудачным Тимокским восстанием. Пашич и несколько десятков радикалов бежали за границу. Но, как мы только что обнаружили, они и не собирались складывать оружия. Напротив, ожесточение против «внутренних изменников» только росло...

За годы вынужденного изгнания Никола Пашич предпринял по меньшей мере четыре попытки поднять в Сербии новое восстание и свергнуть Милана Обреновича с престола¹⁰. Две из них были напрямую связаны с Румынией, где он оказался в октябре 1885 г. И потому, всего лишь коснувшись болгарской фазы его эмиграции (1883–1885), мы тут же последуем за ним из Рушука на румынский берег Дуная.

* * *

Итак, первые два года изгнания Никола Пашич провел в Болгарии (в основном в Софии, Рушук и Видине). Не найдя союзников для реализации своих заговорщических планов как в лице официальной России, так и болгарского правительства, он обратился к представителям «революционных и патриотических организаций, которые могли бы предоставить ему известное количество оружия, что осталось после русской оккупации и в котором не нуждалась наша армия»¹¹. В 1884–1885 гг. беглец установил контакты с деятелями македонского движения, как и многими будущими участниками болгарского Объединения. В круг его близких друзей входили председатель Македонского комитета в Софии капитан Коста Паница и его заместитель Димитрие Ризов; глава Болгарского Тайного Центрального Революционного Комитета Захарий Стоянов и его члены Иван Андонов и Иван Стоянович¹². Они передали Пашичу пятьсот винтовок из собранного для подготовки восстания в Македонии оружия. Столько же стволов эмигранты купили в Румынии¹³.

Вторжение в Сербию с целью свержения короля Милана Пашич планировал на начало сентября 1885 г. Но... все карты заговорщикам спутал Пловдивский переворот и болгарское Объединение, в результате которого разразился новый Балканский кризис. В условиях же резкого

обострения отношений с Белградом кабинет Петко Каравелова посчитал нежелательным дальнейшее пребывание на территории Княжества сербских беженцев — часто неподконтрольных и склонных к авантюрам¹⁴.

Во исполнение решения правительства болгарские жандармы всех арестовали, собрали в Видине и погнали сначала на восток страны — в Тырново, а затем, изменив маршрут, к румынской границе — в Рушук. Многодневный путь их был усеян терниями: «В местах остановок заставляли их ночевать в тюрьмах, а где тюрем не было, — просто на голой земле, без огня и покрова. Пищу эмигранты выпрашивали как милостыню или снимали с себя платье и продавали, чтобы купить себе хлеба»¹⁵. Из Рушука несчастные были депортированы в Румынию.

В отличие от них Николу Пашича не гоняли по всей Болгарии, но 3 октября его все же настиг арест в Рушук¹⁶ — «за открытое выражение сочувствия России»¹⁷. После краткого пребывания под стражей и он был вынужден перебраться в соседнюю страну, дав письменное обязательство о непересечении болгарской границы все время, пока там действует военное положение, введенное в связи с Пловдивским переворотом. 7 октября он прибыл в Бухарест. Здесь судьба столкнула его с Земфирием Арборе-Ралли, человеком с большим революционным прошлым, который еще в 1872 г. по поручению М. А. Бакунина являлся секретарем Славянской секции I Интернационала в Цюрихе; ее членом, как известно, некоторое время состоял и сам Пашич¹⁸. Эта встреча с давним знакомым во многом облегчила ему эмигрантскую жизнь в Румынии... Все дело в том, что румынские власти под давлением Венского кабинета собирались (или делали вид, что собираются) выслать лидера сербских эмигрантов из страны. И тогда его выручили эмигранты русские. Ралли укрыл Пашича в Добрудже, в городишке Тулча, — у другого видного представителя русской революционной эмиграции в Румынии, бывшего члена петербургского «Кружка чайковцев» Василия Ивановского. Австро-венгерская миссия надолго потеряла его след.

Весь путь Пашича от гостиницы «Меркурий» в Бухаресте, буквально кишевшей агентами румынской полиции, до Добруджи был обставлен по законам классического детектива. Вместе с Ралли спасти эмигранта помогал старинный друг еще с цюрихских времен Владимир Летич. В этом «спасении» было все — тайный вывод Пашича из отеля с оставлением всех вещей на месте и ночная погоня по улице Виктории; счастливое для Летича и Пашича (т. е. не замеченное в темноте полицией) бегство на ходу из экипажа и изумленный вопрос комиссара Эпурхану на Северном вокзале: «Господин Арборе, а где же Пашич?» Затем — несколько дней нелегального пребывания в доме Летича на Strada Calarasilor, 95 и, наконец, путешествие по Дунаю до убежища в Тулче¹⁹.

Здесь, в глухой и сонной провинции — «вдали от шума городского», Пашич мог наконец на досуге обдумать недавно случившиеся бурные

события и поразмыслить о перспективах дальнейшей борьбы с ненавистным сербским монархом.

Именно здесь, в румынской глуши, его и застала весть об объявлении 2 ноября 1885 г. Миланом Обреновичем войны Болгарии. Именно отсюда наблюдал он за последовавшими затем событиями — наступлением сербской армии на ставший почти родным Видин, решающим сражением под деревушкой Сливница 5–6 ноября, отходом потерпевших неудачу сербов на Пирот и дальше, занятием его болгарскими... И именно сюда, в Тулчу, 19 ноября прибыл для встречи с ним его софийский приятель — Захарий Стоянов.

Поездка эта состоялась по инициативе Д. Ризова, который еще 10 ноября, сразу после сливницкой победы, телеграфировал находившемуся тогда в Рушук соратнику: «Срочно отправляйся в Бухарест. Отыщи Пашича и договорись с ним о немедленных действиях...»²⁰. Спустя три дня из Софии в Рушук уходит новая депеша — более точная и пространная: «Немедленно поезжай в Тулчу. Передай человеку (Пашичу. — *А. Ш.*), что сейчас самый благоприятный момент для решительных действий. Если он откажется, то скажи ему, что в этом случае вся ответственность за будущую вражду между обоими народами (сербским и болгарским. — *А. Ш.*) падет на него... Телеграфируй о результатах и срочно возвращайся. Наше военное положение блестяще»²¹.

О каких таких решительных действиях идет речь и за отказ от чего грозит Ризов Пашичу «судом истории»? Да и вообще, о чем это в течение двух дней (19 и 20 ноября) совещался его посланец с залегшим «на дно» теперь уже дважды беглецом?

Болгарский историк Т. Ташев (биограф Захария Стоянова) мог о том только догадываться, располагая всего лишь полудесятком телеграмм Ризова и Стоянова друг другу. И хотя его предположение, высказанное в общей форме, в принципе верно — чем явственнее понимали в Софии неизбежность войны с Белградом, тем более популярной становилась там идея использовать сербских эмигрантов против сербского же режима; ну, а после Сливницы многим показалось, что «наступил самый удобный момент для нанесения окончательного удара по врагу»²², — ничего более определенного прибавить к нему он не сумел... И это один-единственный автор, кто хоть как-то обозначил этот прелюбопытный поворот темы. Другие же (как болгарские, так и сербские) о «свидании в Тулче» вообще ничего никогда не упоминали *.

* Отсутствие упоминаний об этом сюжете в сербской историографии связано, по-видимому, с тем обстоятельством, что австро-венгерские дипломатические и секретные агенты действительно на какое-то время потеряли Пашича из вида. Дело в том, что венский кабинет, желая оказать помощь режиму в Белграде, предписал своим представителям в Болгарии и Румынии следить и доносить

А между тем в архиве Сербской академии наук хранятся (весьма разрозненные, правда) записки ближайшего соратника Пашича и его единственного друга, испившего с ним горькую чашу изгнания до дна и выполнявшего обязанности как бы начальника штаба эмиграции, Ацы Станоевича, которые проливают свет на подлинные мотивы сей секретной миссии²³. Беглые и сумбурные, сделанные карандашом, — а потому за 120 лет уже полустершиеся, они являются источником поистине бесценным, ибо представляют собой свидетельство человека, который не только присутствовал, но и непосредственно участвовал в переговорах посланца Софии с Николаем Пашичем о возможном будущем Болгарии и Сербии. Воспользуемся же ими.

План Д. Ризова, изложенный в общих чертах З. Стояновым Пашичу, сводился к следующему: в условиях военного разгрома, когда режим короля Милана Обреновича в Сербии зашатался, Болгария обязывалась оказать сербским эмигрантам помощь в деле подготовки срочного восстания в соседней стране с тем, дабы, свергнув монарха и взяв власть в свои руки, именно радикальная партия с Пашичем во главе смогла бы вести переговоры с Софией о мире и будущих сербо-болгарских отношениях. В таком случае, по мнению авторов проекта, Сербия и Болгария могли бы сами, т. е. без вмешательства великих держав, договорить-

в Вену о каждом шаге Пашича, чтобы раскрыть и по возможности нейтрализовать его антиправительственные замыслы. Отсюда и многочисленные демарши австро-венгерских дипломатов (часто — совместно с сербскими) в Софии и Бухаресте с требованием удалить эмигрантов с болгаро-сербской границы, в одном случае, и выслать Пашича из страны пребывания или выдать его сербскому правительству — в другом... С давних пор (если точнее, то с 1920-х гг.) сербские историки использовали и используют австрийские материалы для воссоздания заговорщической деятельности Пашича в эмиграции. Но если за период с конца 1883 г. и по октябрь 1885-го таких материалов в венских архивах сохранилось немало, то далее следует лакуна. Поток информации иссякает — Пашич пропал... В отличие от австрийских коллег, российские дипломаты Пашича из виду не теряли. И уже 22 ноября консул в Добрудже (с резиденцией в Тулче) А. А. Челебидаки отправил в Петербург исчерпывающую телеграмму: «Третьего дня прибыл сюда из Бухареста инкогнито Захарий Стоянов, главный зачинщик Филиппопольского восстания (Пловдивского переворота. — *А. III.*), и возвратился вчера обратно с сербским революционером Пашичем, который скрывается здесь от полиции у русского социалиста Петровского (один из псевдонимов В. Ивановского. — *А. III.*). Стоянову поручено собрать сербских эмигрантов, изгнанных из Болгарии до войны» (АВПРИ. Ф. СПб. Главный архив. Политотдел. 161/3. Оп. 233. Д. 1 (1885). Л. 107). В одном лишь допустил неточность усердный Аристарх Антонович — «переговоры» закончились не 21 ноября, а 20-го, и в тот же день их участники (З. Стоянов, Н. Пашич и А. Станоевич) отбыли из Тулчи в Бухарест.

ся обо всем. И далее в разговоре зазвучал мотив федерации. «Мы вряд ли будем в состоянии освободиться от влияния великих держав, — заметил З. Стоянов, — если нам не хватит ума договориться о солидарной деятельности и противодействии всякому иностранному проникновению. И вас, и нас могла бы спасти федерация. Без нее мы сломаемся под натиском русских, а вас проглотит Австрия».

Пашич согласился с этими доводами и поддержал идею федерации. «Нынешнее соглашение, — констатировал он, — могло бы заложить основу федерации двух наших стран...» В ответ на просьбу собеседника он высказал мнение и по поводу возможного содержания такового. Приведем его полностью: «Сербские войска оставляют занятую ими болгарскую территорию, болгарская армия поступает так же. С целью дальнейшей совместной деятельности заключается наступательно-оборонительный договор. Сербия признает воссоединение Восточной Румелии с Болгарией. Для того, чтобы придать ему необратимый характер, она обязуется помочь Софии — соответственно, оба государства должны действовать синхронно и вместе, дабы Румелия была окончательно признана за Болгарией, а Сербия получила компенсацию в Старой Сербии. Македонская проблема должна пока оставаться открытой, а к ее решению следовало приступить, когда придет время». И наконец, «необходимо решить таможенный вопрос»: «Таможенная политика, — резюмировал Пашич, — должна проводиться в интересах обоих государств...» Вот из этого-то соглашения, как он полагал, и могла впоследствии вырасти болгаро-сербская федерация.

Однако, чтобы брошенное семя уродилось добрым плодом, требовалась немалая подготовительная работа, и оба собеседника прекрасно отдавали себе в этом отчет. «По завершении нынешних событий, — размышлял о будущем З. Стоянов, — я предполагаю вместе с друзьями все-рвез заняться пропагандой мысли о федерации... И первым делом я займусь организацией выпуска своей газеты, которая будет называться „Балканская федерация“». Пашич вполне одобрил замысел приятеля, заметив, что в сравнении с Болгарией «у нас в этом отношении дела обстоят лучше, поскольку мы, представители молодого поколения (читай — соратники Светозара Марковича. — *А. Ш.*), агитировали за федерацию особенно активно, и потому ее идея нашему народу известна и неплохо им принята...». Но это все рассуждения о дне грядущем. А что же с конкретными заботами дня нынешнего? Шел в Тулче разговор и об этом.

Когда гость из Софии затронул вопрос о предоставлении помощи обретающимся в Румынии сербским эмигрантам, дабы, как он выразился, обращаясь к своему визави, «вы смогли бы так изменить положение в Сербии, что именно вам и никому другому довелось бы вести с нами переговоры о мире», последний развернул его в целый план действий,

состоявший из трех пунктов. Во-первых, «Болгария должна снабдить нас необходимым вооружением». Во-вторых, «было бы неплохо, если б нам передали тех попавших в плен сербов, которые выразили бы желание идти вместе с нами в Сербию». И наконец, «нам должно быть позволено переместиться ближе к сербским позициям, чтобы встретиться с некоторыми людьми (с „той“ стороны. — *А. Ш.*) и договориться с ними». Разделяя предложенный план и полагая цель своей «загранкомандировки» в принципе достигнутой (Пашич ведь не отказался от «решительных действий», чего так боялся Ризов), Стоянов предложил ему отправиться вместе с ним к князю Александру Баттенбергу, поскольку не имел полномочий для заключения с руководством эмиграции конкретного договора: «Было бы самым лучшим, если бы мы, не мешкая, отправились в Софию и там все устроили как следует». Но... его собеседник отклонил предложение, рассудив, что время для «ответного визита» еще не пришло.

Среди причин, которыми Пашич аргументировал свой отказ, выделим две. Во-первых, это необходимость консультаций с товарищами по изгнанию и соратниками в Сербии. «До тех пор, — заявил он, — пока я не услышу, что они думают обо всем этом, я не смогу предпринять никаких конкретных шагов»*. И во-вторых, серьезные сомнения в постоянстве намерений болгарского руководства — ведь «вполне вероятно, что сейчас (после победы при Сливнице и взятия Пирота. — *А. Ш.*) ваши военные круги не особенно заинтересованы в сотрудничестве с нами». Несмотря на все попытки Стоянова уверить его в обратном, Пашич

* Несмотря на нежелание говорить о какой-то конкретике без согласования с «коллегами», Пашич не преминул предостеречь софийские власти (через их представителя) от чрезмерной эйфории по случаю одержанной только что победы. «С территориальными потерями, — заявил он, — сербский народ никогда не согласится, равно как и с требованием значительной контрибуции. Он надеется, что братья-болгары признают то обстоятельство, что в эту войну, против собственной воли, его втянули правители Сербии и что он сражался ровно столько, сколько должен был делать это. Поэтому сербы и потерпели фиаско. Но если народ сербский увидит, что братья-болгары ничего такого признавать не желают, если почувствует, что они хотят воспользоваться его нежеланием воевать в своих целях, то, видит Бог, скрепя сердце, он будет биться не на жизнь, а на смерть. И будет ли тогда вообще возможен скорый выход из этого сербо-болгарского конфликта, сказать очень сложно». Как видим, Пашич четко обозначил жесткие границы, в рамках которых лишь и возможен переговорный процесс и выходить за которые он не имеет права, давая ясно понять, что с болгарской «партией войны» он не хочет иметь никакого дела. В случае ее торжества его место — в рядах тех, кто «будет биться не на жизнь, а на смерть». Эти «условия переговоров» — как бы «предисловие» для его же проекта возможного болгаро-сербского соглашения, о чем речь уже шла.

остался непреклонен: «Будет лучше, если вы поедете один и все раз узнаете сами... Я предполагаю отправиться завтра в Бухарест и на какое-то время там задержусь, а вы, между тем, сможете выяснить все, что нужно».

На том и порешили — Стоянов, полный радужных надежд, поспешил в Рушук; а Пашич, тайно остановившийся в столице, занялся своими делами (подготовкой к своей первой поездке в Россию). Верил ли он в успех миссии своего друга? До конца — вряд ли. Уже имевшийся опыт общения с болгарскими властями породил у него довольно стойкое недоверие к ним, что и проявилось во время встречи с Захарием. Может быть, он надеялся, что, вернувшись на родину, тот развеет его сомнения и скепсис. Весьма вероятно. Но когда 22 ноября Пашич и подоспевший из Журжи Станоевич получили из Рушука телеграмму: «До сих пор ответа из Софии нет», верный друг Аца зафиксировал в своих записках: «А мы серьезно на него и не рассчитывали...»

Тем временем по ту сторону Дуная события развивались стремительно. Прибыв в Рушук, З. Стоянов сообщил Д. Ризову о результатах бесед с Пашичем: «Они готовы действовать по предварительной договоренности с нами»²⁴. Получив телеграмму, Ризов помчался в Пирот, в ставку Баттенберга. Здесь-то и наступила развязка. В то время как князь и военный министр майор Константин Никифоров были согласны реализовывать достигнутые с Пашичем договоренности, премьер Каравелов пускаться в совместное с сербскими эмигрантами предприятие решительно отказался²⁵. Он предпочел синицу в руках (военную победу над сербами) журавлю в небе (призрачной сербско-болгарской федерации), иными словами — именно то, от чего предостерегал Пашич.

Узнав из депеши Ризова о столь резком повороте, Стоянов, лично им весьма уязвленный, послал в ответ полную негодования телеграмму: «Поведение Петко — это скандал. Чего он лезет, если Иван (А. Баттенберг. — *А. Ш.*) и Никифоров согласны. Зачем же я тогда побеспокоил несчастных. Ради всего святого, сделай все, что можешь»²⁶. Но негодование Стоянова и дополнительные усилия Ризова, увы, не помогли, и 29 ноября Пашич получил из Софии сообщение: «Дело закончилось неудачей, вследствие изменившейся обстановки. Действуйте по вашему усмотрению»²⁷. А в декабре Захарий в письме Пашичу констатировал и причину неудачи — «противодействие только одного человека, который ныне диктаторствует в Болгарии (П. Каравелова. — *А. Ш.*)». В том же духе высказался и Ризов²⁸.

Эти их письма Пашич получил уже после возвращения из России, где находился большую часть декабря уходящего года. Новый, 1886 год он встретил в Бухаресте: ему наконец разрешили проживать в румынской столице — в том же гостеприимном доме В. Летича... Кстати, а что было в России?

* * *

После провала болгарского плана и очередного отказа официально-го Петербурга оказать помощь сербским эмигрантам Никола Пашич напрямую обратился к русским славянофилам. И время для этого пришло — благодаря его выраженной антиавстрийской позиции, а равно и неустанной разъяснительной деятельности нашедшего политическое убежище в Киеве митрополита Михаила, образ вождя «страшных» радикалов (которых русские всегда сравнивали с *нигилистами*) постепенно терял в глазах славянофильских деятелей свою былую идеологическую непривлекательность. И когда в декабре 1885 г. он впервые побывал в России, посетив Петербург и Москву, его уже там принимали как соратника в борьбе за общеславянское дело*. Основой этого зародившегося взаимного доверия и начавшегося сотрудничества стало единое отношение к Милану Обреновичу, политике Австро-Венгрии на Балканах и Западу в целом.

В Северной столице Пашич близко сошелся с В.И. Аристовым, который надолго стал одним из ближайших его конфиденентов в России. Тот, в свою очередь, представил сербского гостя председателю Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества генералу П.П. Дурново, товарищам председателя генералу М.А. Домонтовичу и князю П.А. Васильчикову, а также будущему (с 1888 г.) главе Общества — графу Н.П. Игнатьеву. Познакомился Пашич и с другими влиятельными его членами — генералом А.А. Киреевым, профессором П.А. Кулаковским (с ним он состоял в переписке); а кроме того, восстановил прежние контакты с профессорами В.И. Ламанским и А.Л. Петровым, с которыми впервые встретился летом 1884 г. в Софии.

И здесь следует указать на одну особенность, характерную для петербургских единомышленников Пашича. Подобно тому, как позже в Сербии членов радикального кабинета Лазы Докича (1893 г.) было принято называть «придворными радикалами», их самих, без опасения впасть в преувеличение, можно было бы окрестить «придворными славянофи-

* Это изменение в восприятии Пашича славянофилами может быть наглядно проиллюстрировано на примере отношения к нему В.И. Ламанского. Летом 1884 г., находясь в Белграде, Ламанский в беседе с Владимиром Йовановичем высказался, что сербские радикалы — это «почти то же самое, что и нигилисты в России» (*Јовановић В. Успомене / Приредио В. Крстић. Београд, 1988. С. 469*). Через три года, в феврале 1887 г., когда Пашич находился в Петербурге, тот же Ламанский послал ему визитку с приглашением: «Что Вы, батюшка, ко мне не заглянете. Я не совсем здоров и четвертый день не выхожу. Очень бы хотел Вас видеть — не пожалуете ли ко мне завтра в четверг, 1 марта запросто пообедать, в 5-м часу. Ваш Вл.» (Архив Србије. Заоставштина Н. Пашића (несређена грађа). Фасцикла 8).

лами». Дело в том, что Славянское общество в Петербурге являлось как бы неофициальным филиалом российского МИД и, как таковое, не имело права в своей благотворительной деятельности выходить за рамки Устава, утвержденного министром внутренних дел. Именно поэтому генерал Дурново так никогда и не решился открыто вмешаться в сербские дела на стороне эмигрантов, хотя возглавляемая им организация — по ходатайству митрополита Михаила — и высылала ежегодно Пашичу определенную сумму денег (по 500–600 рублей) в качестве гуманитарной помощи²⁹.

Не найдя поддержки в том объеме, в каком он ее ожидал — Славянское общество ограничилось выдачей ему 400 рублей, — Пашич спустя некоторое время оказался в Москве. Причем с письмом Аристова, который в вопросе помощи сербским эмигрантам был настроен куда более решительно, чем его непосредственный начальник. В письме, датированном 10 декабря, он рекомендовал Пашича вождю московских славянофилов И. С. Аксакову, призвав того благосклонно отнестись к нуждам своего протеже³⁰.

Вечно фрондирующий и всегда готовый к действию, обладающий значительно большей (чем «питерцы») независимостью и немалыми финансовыми возможностями, Аксаков горячо взялся за дело — в Москве и состоялось заседание штаба заговорщиков в составе его самого, Пашича, митрополита Михаила и генерала М. Г. Черняева. На нем был окончательно согласован очередной план вторжения в Сербию, который, судя по всему, начал разрабатываться еще в октябре. Для начала по просьбе Аристова Аксаков выдал Пашичу еще 400 рублей³¹. Не остался в стороне и переехавший к тому времени в Москву владыка. Располагая оперативным фондом, предоставленным ему Обществом, он снабдил своего земляка такой же суммой³².

С самого начала дело было поставлено на широкую ногу — Аксаков держал свое слово. Как писал Пашич, вернувшийся в конце декабря в Румынию, Аристову, — «товар получил...»³³.

Однако удача и на сей раз отвернулась от заговорщиков. 1 января 1886 г. Милан Обренович объявил амнистию арестованным по делу о Тимокском восстании. Узнав об этом, многие эмигранты, особенно из крестьян, решили вернуться в Сербию, хотя на них Высочайшее прощение не распространялось. Пашичу с огромным трудом удалось отговорить их от такого шага. Но надолго ли? Тем более что и в отношении него начали распускаться «капитулянтские» слухи, которые докатились до Москвы. В связи с этим митрополит писал ему: «Господин, который дал обещание, спрашивает — правда ли, что вы послали письмо с выражением лояльности, как об этом сообщают газеты? Он сомневается... и желает, чтобы вы, или через меня, или каким-то иным способом ему поскорее ответили... Объясните же ему, что никаких колебаний с вашей стороны нет»³⁴.

Пашич отреагировал мгновенно. «Считаю излишним напоминать, — отвечивал он владыке, — что из Белграда и Софии обо мне совершенно ложные слухи распускают с целью осрамить меня и моих друзей». И теперь уже он торопит своих московских подельников: «Прошу вас уверить Ивана Сергеевича и Михаила Григорьевича, что новейшие явления в Сербии нисколько не могут переменить ничего от того, о чем мы с ними говорили. Новые явления утверждают то, что нужно скорее действовать и приготовить все то, что может обеспечить успех нашего предприятия»³⁵.

Аксаков мог быть доволен — ответ Пашича, переведенный владыкой на русский язык, он получил и даже успел прочесть. Но повороты судьбы часто непредсказуемы — через несколько дней Иван Сергеевич скончался. Удар был сокрушительным: человека, с которым, по словам Пашича, эмигранты связывали все свои надежды³⁶, не стало. Они потеряли самого верного, а главное — решительного союзника и покровителя. Это предопределило очередную неудачу. Однако складывать оружие никто не собирался. И митрополит пишет Пашичу из Москвы: «Друзья желают, чтобы вы их чаще извещали о ситуации»³⁷.

А ситуация складывалась критическая. Смерть Аксакова, державшего все нити помощи сербским беженцам в своих руках, прервала налаженные связи, в результате чего Пашич так и не смог получить обещанные 3000 рублей. Оказавшись в суровых зимних условиях практически без средств, многие эмигранты снова заколебались (а не вернуться ли в Сербию — и пусть будет, что будет), ведь все обещания их прибывшего из России предводителя на поверку оказались блефом. Осознавая грозящую опасность, Пашич 19 февраля писал митрополиту: «Нам необходима немедленная помощь. Ежели дело затянется, то будет поздно, пусть даже тогда бы и дали во сто крат больше, чем могут послать сейчас. Момент решающий: или-или»³⁸. Владыка принял меры, и уже 19 марта на имя российского консула в Русуке Б. П. Шатохина ушла бумага за подписью Аристова: «Препровождая при сем письмо за Райча (один из псевдонимов Н. Пашича. — *А. Ш.*) с вложением пятисот рублей по поручению Совета Слав. Общества, имею честь покорнейше просить Вас передать его по назначению»³⁹... Ситуация, таким образом, на время разрядилась, и неутомимые соратники стали тут же плести паутину нового заговора. Который на этот раз был связан с черногорским князем Николаем.

* * *

Здесь следует напомнить о весьма непростых отношениях между правителями Белграда и Цетинье, что было связано с их национальными амбициями. Князь Николай, как известно, и ранее претендовал на главенствующую роль в борьбе за объединение всех сербских земель под

эгидой династии Петровичей-Негошей. В новых же условиях, сложившихся на Балканах после Берлинского конгресса (который положил конец всем прежним надеждам на скорое «освобождение и объединение» сербства), претензии его лишь возросли, следствием чего стал всплеск соперничества сербской и черногорской династий и обострение отношений между двумя государствами. Этому способствовала и их различная внешнеполитическая ориентация.

Курс Милана Обреновича на союз с Веной был воспринят в Цетинье как отказ Белграда от активной деятельности на национальном поприще, что также подпитывало претензии князя Николая на роль единственного всесербского лидера. Как бы в противовес своему сербскому собрату он оставался последовательнейшим союзником России, считая, что только при содействии Петербурга маленькая Черногория сможет в будущем реализовать свои глобальные объединительные замыслы. При этом правитель страны, равной по территории и количеству жителей российскому уезду средней руки, отнюдь не собирался «слепо нам повиноваться»⁴⁰, как доносили и в чем не сомневались русские дипломаты. Напротив, он имел свою особую концепцию развития отношений с Петербургом, которая далеко не всегда совпадала с балканской политикой России. Что и проявилось наглядно в деле поддержки им сербских заговорщиков...

Свой шанс Петрович-Негош увидел после Сливницы; он злорадно потирал руки, радуясь унижению Милана Обреновича. По его разумению, благоприятный момент для вмешательства в сербские дела, давно им ожидаемый, наступил.

Будучи прекрасно осведомлен о глубине тупика, в который загнал себя король, Николай Черногорский активизировал связи с сербскими эмигрантами, готовившими, теперь уже в Румынии, очередной заговор против ненавистного монарха. Казалось, что достаточно самого слабого толчка, чтобы полностью дискредитировавший себя режим Обреновичей рухнул. Поэтому он и предложил «поборникам народной идеи», как писал посланник России в Белграде А. И. Персиани, «не только значительные суммы, но и две тысячи вооруженных людей, могущих в случае надобности прибыть в Сербию, чтобы принять участие в восстании»⁴¹.

Русский дипломат знал, о чем говорил. В июне — первой половине июля 1886 г. в Черногории находился Пашич, в беседе с которым князь подтвердил свою готовность прийти на помощь. Причем, по его выражению, он желает при этом «помогать Сербии, а не себе»⁴². 1 июля в стан заговорщиков в Румынии «на разведку» прибыл посланец князя Николая воевода Гавро Вукович. И наконец, 9 августа туда же с нарочным были доставлены 25 тыс. форинтов для закупки оружия⁴³. «Из государственной кассы», — уточняет в своих мемуарах Г. Вукович⁴⁴. В октябре теперь уже белградские радикалы, многие из которых лишь недавно

вышли из тюремных камер по амнистии, направили в Черногорию своего представителя Йована Джайю, который «неоднократно имел случай беседовать с князем». По его собственным словам, «на последнем свидании, на котором присутствовал и Петр Карагеоргиевич, князь Николай объявил, что в случае восстания в Сербии он готов отправить инсургентам в помощь от трех до четырех тысяч человек под командой воеводы Марко Милянова»⁴⁵. Как видим, объемы обещанной помощи росли.

Но самое интересное, однако, заключалось в другом — князь Николай прикрывал свои обещания именем России, пытаясь предстать в глазах сербских радикалов всего лишь исполнителем воли Петербурга. Разговор с Й. Джайей он заключил напутствием: «...что касается денежных средств для поддержания восстания, то можно рассчитывать не только на него, но даже на Россию»⁴⁶.

И уже в ноябре А. И. Персиани телеграфировал в Министерство иностранных дел: «Князь Черногорский дал знать радикальной партии, что время наступило произвести в Сербии переворот, который угоден будет России. Князь обещает поддержать восстание людьми и деньгами и уверяет, что и Россия не откажет в денежных пособиях»⁴⁷.

По прочтении этой телеграммы чиновников МИД охватила легкая оторопь. Сам государь начертал на полях документа: «Странно!» Еще бы не странно. В то время как российское правительство в условиях ухудшения отношений с Болгарией было крайне заинтересовано в сохранении спокойствия в сопредельной стране и неоднократно высказывалось против каких бы то ни было заговорщических акций, направленных на свержение белградского режима, его черногорский союзник — от его же имени — давал понять сербским оппозиционерам, что Россия будто бы поддерживает их сомнительное «предприятие». Налицо была явная, мягко говоря, нестыковка.

К чести российской дипломатии, она довольно быстро просчитала интригу князя Николая. В представленной на Высочайшее имя всеподданнейшей записке от 18 декабря 1886 г. министр иностранных дел России Н. К. Гирс констатировал, что «князь Николай Черногорский, действуя в этом случае несогласно с не раз преподанными ему нами советами и скрывая от нас свои замыслы, рассчитывает, конечно, что неизбежные в случае восстания в Сербии смуты на Балканском полуострове вынудят Россию принять деятельное участие в событиях и выступить на защиту как Черногории, так и противников короля Милана»⁴⁸. Иными словами, черногорский монарх всерьез полагал, что поставленная перед фактом очередного, спровоцированного не без его участия хаоса в Сербии, Россия будет вынуждена прийти на помощь антиобреновичевским элементам, во главе которых он видел, естественно, себя. Ну, а там — в мутной воде дипломатических осложнений — как он надеялся, рукой подать и до сербской короны. А почему нет — хотел же он чуть ранее занять болгар-

ский престол, опустевший в августе 1886 г. после отставки Александра Баттенберга⁴⁹, а после спал и видел себя князем всея Македонии⁵⁰...

Чтобы не дать втянуть себя в очередную балканскую авантюру, российскому правительству следовало строго одернуть своего зарвавшегося союзника, что и было сделано в дипломатически совершенной форме через его представителя в Цетинье К.М.Аргиропуло. После беседы с монархом тот отправил в МИД телеграмму, составленную собственноручно Николаем Черногорским. «Князь заявил, — подчеркнул Аргиропуло, — что не оказывал поддержки ни радикалам, ни иной партии, относясь сдержанно к тому, что там происходит. Пользовался даже своим влиянием, дабы удержать своего зятя от направленных против короля Милана предприятий. Он не думает, чтобы сербы были способны произвести переворот в существующем строе. Просит вас быть уверенным, что он ничего не предпримет, чего государь император не одобрил бы»⁵¹.

В Петербурге могли вздохнуть с облегчением — чреватую непредвиденными последствиями авантюру путем экстренного вмешательства удалось предотвратить. Однако, несмотря на столь миролюбивые и даже смиренные заверения черногорского князя, подлинная его роль во всей этой небезопасной для России интриге ни для кого в стенах здания на Певческом мосту не было секретом. Князь Николай откровенно лгал, заявляя о своем якобы сдержанном отношении к тому, что происходило в Сербии и вокруг нее. Это подтвердили и его недавние союзники — сербские радикалы. В январе 1887 г. Персиани писал Гирсу о своей встрече с ними: «Я поспешил сообщить вожакам радикальной партии взгляд императорского министерства на предпринимаемую в Сербии агитацию против короля Милана и... разочаровал их относительно ожидаемого ими содействия со стороны князя Черногорского. Последним сообщением, — заключал дипломат, — радикалы были крайне удивлены, так как оно идет вразрез с заявлениями как эмигранта Пашича, так и профессора Джайи, которые имели случай лично видеться с князем Николаем, поощрявшим их приступить как можно скорее к действию»⁵².

Кстати, сами Пашич и Джайя уже в декабре 1886 г. четко знали позицию России. Вторжение в Сербию — как из Румынии, так и из Черногории — было жестко обусловлено «разязкой болгарского спора»⁵³. То есть русские во время поездки Пашича в Москву и Петербург в ноябре советовали ему «подождать, пока ситуация полностью не определится, пока не станет ясным — начнется ли война, или Болгария сама выполнит то, что Россия от нее требует»⁵⁴. А большой войны тогда ждали многие, причем весной 1887 г. На это время лидер радикалов и ориентировался. «Все живое ожидает весны, — писал он, — и упоает на громогласное слово православного славянского царя, которое возвестит новую жизнь славянскому миру»⁵⁵.

Об этом Джайя информировал князя 11 декабря: «Действуя с осторожностью и посоветовавшись с известными личностями, я вынес убеждение, что России не желательно, чтобы в Сербии приступили бы к борьбе с иностранным влиянием и его органами, пока не будет решен болгарский вопрос». И далее — теперь уж не без тайного замысла уколоть монарха: «Мы убедились в том, что наше первоначальное намерение совершить переворот возможно скорее — намерение, на которое Вашему Высочеству угодно было изъявить мне не только свое согласие, но и выразить уверенность, что и Россия одобрит движение, не совпадает с полученными нами сведениями относительно согласия России на это. Согласившись не идти наперекор желаниям России, мы решились отложить принятие окончательных мер до того времени, когда убедимся, что Россия не будет противиться этому»⁵⁶.

Показателен комментарий императора на полях переведенного на русский язык послания: «Это письмо весьма дельное, и взгляд их совершенно правильный...»

Итак, князь Николай, уличенный русскими дипломатами в «подмене понятий», вынужден был дать «отбой» всем военным приготовлениям. Это привело к его ссоре с зятем — Петр Карагеоргиевич, активно участвовавший в заговорщическом движении⁵⁷, почувствовал себя обманутым. Именно тогда у него зародились подозрения в том, что в запутанных сербских делах тесть играет свою игру, несмотря на все уверения, будто помогает Сербии, ему и т. д. Нужно заметить, что люди Петра Карагеоргиевича в своем желании спровоцировать восстание в Сербии шли даже дальше князя Николая. Особой непримиримостью отличался видный радикальный деятель, бежавший после Сливницы в Цетинье, священник Милан Джурич. Уверенности в скорой победе ему добавляло, по всей вероятности, и то, что он был родом из Ужица — «пограничного» (за узкой полосой территории Санджака) с Черногорией края, куда инсургенты и планировали пробиться в первую очередь.

Поп Джурич — самый доверенный человек князя Петра в Черногории — состоял в переписке с сербскими эмигрантами в Румынии. Готовя переворот, они договорились о совместной акции. Но теперь Джурич не желал ждать, как к тому призывала Россия, а стремился как можно быстрее перейти границу и прорваться в Сербию, несмотря на риск оказаться в изоляции. По всей видимости, за идеей этого сепаратного выступления стоял обиженный и «отколовшийся» от тестя князь Петр⁵⁸. В отряде Джурича состояло две сотни эмигрантов и других сербов — приверженцев династии Карагеоргиевичей.

Вернувшийся из России Пашич с тревогой наблюдал, как его старый соратник и коллега по ЦК радикальной партии, практически не скрываясь, готовил свою авантюру. Он забил во все колокола, сообщив о том в Петербург — в Славянское благотворительное общество и в Москву —

митрополиту Михаилу⁵⁹. И наконец, послал весьма жесткое по содержанию письмо самому М. Джуричу, угрожая в случае отказа отложить «самовольное» вторжение, выйти из игры⁶⁰... В конце концов воинственный священник вынужден был подчиниться воле Петербурга. «Россия, Россия, — стонал он горько, — ты нам мешаешь»⁶¹. Перед своими же партийными товарищами в Сербии он оправдывался: «Братья! Действительно, осенью я был готов с двумя сотнями отличных сербов пробиться к вам, чтобы положить конец злу и наше милое отечество освободить от предателя. Однако сила разных обстоятельств помешала нам исполнить ваше и наше желание... Но уверяю вас, что дело наше лишь отложено, а потому готовьтесь далее — мудро и серьезно»⁶².

А как же с «развязкой болгарского спора», что и была столь желанной отмашкой для эмигрантов? В феврале 1887 г. в Рушук и Силистрии вспыхнул офицерский мятеж против режима Стефана Стамбулова, который готовился не без участия русских: по свидетельству хорошо информированного издателя А. С. Суворина, «на подготовку болгарского восстания дано по ходатайству Мих. Ник. (Каткова) болгарским офицерам 100.000 рублей»⁶³. Н. Пашич знал этих офицеров-русофилов. И, думается, далеко не случайно, что их лидеры П. Груев и А. Бендерев оказались в конце 1886 г. в Петербурге практически одновременно с ним⁶⁴. Поэтому можно предположить, что и он каким-то образом участвовал в движении. Но мятеж был Стамбуловым подавлен, соответственно, и вторжение в Сербию провалилось.

В конце февраля вождь эмигрантов бежал в Россию, где оставался до середины июня...

* * *

Очередная неудача не сломила его. Находясь в России, он пытался в очередной (Бог знает, какой по счету) раз заинтересовать русских проектами свержения Милана Обреновича. 21 марта Пашич направил послание директору Азиатского департамента МИД И. А. Зиновьеву, где теперь уже от имени «Объединенной сербской оппозиции» просил предоставить финансовую помощь в размере 100 тыс. рублей для подготовки нового широкого заговора⁶⁵. 5 апреля отрывок из этого послания — в виде отдельного документа — он передал редактору «Русского Вестника» и «Московских Ведомостей» М. Н. Каткову⁶⁶. Но — фиаско следует за фиаско. В июле того же года неожиданно умер Катков, а в МИД ему было заявлено, чтобы «он не обманывался в своих несбыточных надеждах»⁶⁷.

Вроде бы все предельно ясно. Но Пашич опять не унимается. 11 декабря 1887 г. он пишет из Бухареста своим друзьям в Петербург: «Мы просим, чтобы Россия помогла нам покончить с нынешним положением дел, которое угрожает нам гибелью и полным разрывом с нашей защит-

ницей. Мы просим ее поспешить, и тогда мы вернем Сербию сербскому и русскому народу»⁶⁸. Судя по всему, это была его последняя попытка найти союзников в деле свержения короля. К этому времени за границами Сербии он остался один — всех остальных эмигрантов амнистировали. Да и дома появились предвестники новых времен — летом 1887 г. напредняцкое правительство было отправлено в отставку, а к власти призван коалиционный либерально-радикальный кабинет во главе с Йованом Ристичем. Развязки и возвращения оставалось ждать совсем немного.

Никола Пашич наконец уговорился, проживая в основном в Бухаресте — в том самом доме на Strada Kalarasilor, 95 — и временами наезжая в Одессу и Петербург. Он консультировал Петербургское славянское благотворительное общество по балканским проблемам, а кроме того, занимался самообразованием и переводил «Россию и Европу» своего любимого Н.Я. Данилевского на сербский язык, желая опубликовать его труд⁶⁹. Но средств для издания найти не удалось, и следы перевода теряются в Румынии... Так и шло время. До тех пор, пока 22 февраля 1889 г. король Милан Обренович не отрекся от престола. Путь домой для изгнанника был открыт.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Тимочка Буна 1883. Грађа / Приредило М. Николић. Београд, 1955. Т. 2. С. 588–589.
- ² *Милошевић Р.* Тимочка буна. Успомене Р. Милошевића, члана Главног одбора Народне радикалне странке. Београд, 1923. С. 195.
- ³ Архив внешней политики Российской империи (далее — АВПРИ). Ф. «Личный фонд Р. Йовановича». Оп. 915. Д. 26. Л. 217 (Н. Пашић — С. Кокотовићу. Видин, 21 новембар 1883 г.).
- ⁴ *Ивић А.* Историја радикалне странке // Велика Србија. Август 1997. Бр. 403. С. 41.
- ⁵ АВПРИ. Ф. Главный архив, V-A2. Оп. 181. Д. 305. Л. 39 (Н. Павлов — А. С. Ионину. Видин, 30 октября 1883 г.).
- ⁶ Архив Српске Академије Наука и Уметности (далее — АСАНУ). Бр. 7885/2. Документ опубликован в: Тимочка Буна 1883. Грађа / Приредило Љ. Поповић. Београд, 1989. Т. 7. С. 43–61.
- ⁷ АВПРИ. Ф. Политархив. Д. 429 (1884 г.). Л. 11 об. (А. И. Персиани — А. Е. Влангали. Белград, 5 января 1884 г.).
- ⁸ *Овсяный Н. Р.* Сербия и сербы. 2-е изд. СПб., 1898. С. 90; *Кулаковский П. А.* Сербия в последние годы // Русский вестник. 1883. № 4. С. 762.
- ⁹ АСАНУ. Пашићеве хартије. Бр. 14615–1–27.
- ¹⁰ Подробнее о них см.: *Шемјакин А.* Никола Пашић у емиграцији (1883–1889). Бугарска, Румунија, Русија // *Никола Пашић. Живот и дело.* Београд, 1997. С. 215–226.
- ¹¹ *Стоянович И.* Из миналота. София, 1992. С. 42.
- ¹² Там же. С. 41–42; *Андонов И.* Съединението. София, 1995. С. 40–42.
- ¹³ *Лазаревић Ђ.* Сећања на Николу Пашића // Политика. 12 децембар 1926 г. Бр. 6694.

- 14 Подробнее о болгарских планах Пашича см.: *Шемякин А. Никола Пашић и Балканска криза 1885. године* // Историјски гласник. Београд, 1996. Бр. 1–2. С. 77–110.
- 15 «Обзор деятельности сербской оппозиции». Записка Н. Пашича директору Азиатского департамента МИД России И. А. Зиновьеву. 1887 г. // Исторический архив. М., 1994. № 5. С. 118.
- 16 АВПРИ. Ф. Вице-консульство в Софии. Оп. 782/2. Д. 48. Л. 403.
- 17 Там же. Л. 150.
- 18 См.: *Шемякин А. Л. Никола Пашич и русские социалисты в Цюрихе (1868–1872)* // Токови историје. Београд, 1997. Бр. 1–2. С. 5–32.
- 19 ГАРФ. Ф. 7026. Оп. 1. Д. 3 (Воспоминания З. К. Арборе-Ралли). Л. 25–27; *Љотић Љ. Мемоари*. Минхен, 1973. С. 181–184.
- 20 Народна Библиотека «Кирил и Методий» — Български Исторически Архив (далее — НБКМ-БИА). Ф. 100 (З. Стоянов). Арх. ед. II.A.9717; *Ташев Т. Животът на Летописец. Захарий*. Пловдив, 1989. Ч. 3. С. 23.
- 21 НБКМ-БИА. Ф. 100. Арх. ед. II.A.9714; *Ташев Т. Животът на Летописец. Захарий*. С. 24.
- 22 *Ташев Т. Животът на Летописец. Захарий*. С. 22–23.
- 23 АСАНУ. Бр. 11721 (Пашићеве бележнице).
- 24 НБКМ-БИА. Ф. 100. Арх. ед. II.A.9722.
- 25 НБКМ-БИА. Ф. 100. Арх. ед. II.A.9720; *Ташев Т. Животът на Летописец. Захарий*. С. 24.
- 26 НБКМ-БИА. Ф. 100. Арх. ед. II.A.9725; *Ташев Т. Животът на Летописец. Захарий*. С. 24.
- 27 АСАНУ. Бр. 11721 (Пашићеве бележнице).
- 28 Там же.
- 29 Центральный Государственный Исторический архив Санкт-Петербурга (далее — ЦГИА СПб). Ф. 400. Оп. 1. Д. 410. Л. 1; Д. 576. Л. 98; Д. 587. Л. 36, 42; Д. 632. Л. 1; *Слијепчевић Ђ. Михајло, архиепископ београдски и митрополит Србије*. Минхен, 1980. С. 324.
- 30 Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки (далее — ОР РНБ). Ф. 14. Д. 55. Л. 3–3 об.
- 31 Отдел рукописей Института Русской Литературы РАН — Пушкинского Дома. Ф. 3. Оп. 5. Д. 38. Л. 12.
- 32 ОР РНБ. Ф. 14. Д. 55. Л. 3–3 об.; Кратки поглед на борбу, стање и тежње народа српског у Краљевини Србији од Берлинског конгреса па до данашњег дана // *Никола П. Пашић*. Писма, чланци и говори / Приред. Л. Перовић и А. Шемякин. Београд, 1995. С. 246.
- 33 АСАНУ. Заоставштина Николе Пашића. Бр. 11762. Л. 1.
- 34 Там же. «Pasic Collection». Бр. 14924/160 (митрополит Михаил — Николи Пашићу. Москва, 12. јануара 1886.).
- 35 ОР РНБ. Ф. 14. Д. 219. Л. 11 об. (Никола Пашич — митрополиту Михаилу. Б/м., 19 јануара 1886 г. Рус. яз.).
- 36 Писмо Николе Пашића Митрополиту Михаилу. Б/м. 19. фебруара 1886 // *Никола П. Пашић*. Писма, чланци и говори... С. 211.
- 37 АСАНУ. «Pasic Collection». Бр. 14924/139 (митрополит Михаил — Николи Пашићу. Б/м (Москва), 22. јануара 1886).

- 38 Писмо Николе Пашића митрополиту Михаилу. Б/м, 19. фебруара 1886 // *Никола П. Пашић*. Писма, чланци и говори... С. 212.
- 39 ЦГИА СПб. Ф. 400. Оп. 1. Д. 587. Л. 42.
- 40 АВПРИ. Ф. Политархив. Д. 1530 (1884 г.). Л. 6.
- 41 Там же. Д. 434 (1886 г.). Л. 205.
- 42 АСАНУ. Бр. 11721 (Пашићеве бележнице).
- 43 *Вуковић Г.* Мемоари. Књ. 2. С. 179; Митрополит Михаило и Никола Пашић. Емигрантска преписка / Приред. А. Шемјакин. Београд, 2004. С. 224; АСАНУ. Бр. 11721 (Пашићеве белешке).
- 44 *Вуковић Г.* Мемоари... С. 179.
- 45 АВПРИ. Ф. Политархив. Д. 434 (1886 г.). Л. 265–265 об.
- 46 Там же. Л. 265 об.
- 47 Там же. Д. 22 (1886 г.). Л. 99.
- 48 Там же. Л. 111 об.–112.
- 49 Там же. Д. 1535 (1886 г.). Л. 3.
- 50 *Потанов Н. М.* Руски војни агент у Црној Гори. Т. II. Дневник. 1906–1907, 1912, 1914–1915 / Приред. Р. Распоповић. М.; Подгорица, 2003. С. 153.
- 51 АВПРИ. Ф. Политархив. Д. 1534 (1886 г.). Л. 100–101.
- 52 Там же. Д. 437 (1887 г.). Л. 2–2 об.
- 53 Митрополит Михаило и Никола Пашић. Емигрантска преписка. С. 216.
- 54 АСАНУ. «Pasic collection». Бр. 14924/85.
- 55 Митрополит Михаило и Никола Пашић. Емигрантска преписка. С. 216.
- 56 АВПРИ. Ф. Политархив. Д. 434 (1886 г.). Л. 273–273 об.
- 57 Подробнее об этом см.: *Раждатовић Н.* О раду радикалске опозиције, кнеза Петра Карађорђевића и књаза Николе против режима краља Милана у Србији 1883–1889. године // *Историјски записи*. Титоград, 1966. Св. 1. С. 58–109; *Живојиновић Д.* Краљ Петар I Карађорђевић. Београд, 1988. Књ. 1. С. 270–316.
- 58 Митрополит Михаило и Никола Пашић. Емигрантска преписка. С. 225.
- 59 Там же. С. 148–150, 221.
- 60 Там же. С. 223–227.
- 61 АСАНУ. Ф. Јована Ристића. Инв.бр. XXXII/19. Сигн. 32/637.
- 62 Цит. по: *Игњић С.* Народни трибун прота Милан Ђурић. Ужице, 1992. С. 82.
- 63 Дневник Алексея Сергеевича Суворина. М., 1999. С. 306.
- 64 См.: *История внешней политики России. Вторая половина XIX века*. М., 1997. С. 255.
- 65 «Обзор деятельности сербской оппозиции». Записка Н. Пашича И. А. Зиновьеву... С. 108–135.
- 66 АСАНУ. Бр. 11847.
- 67 *Раденић А.* Радикална странка и Тимочка буна. Зајечар, 1988. Т. 2. С. 969 (прилози).
- 68 АВПРИ. Ф. «Коллекция документальных материалов чиновников МИД» (Н. Г. Гартвиг). Оп. 584. Д. 29. Л. 52.
- 69 Писмо Николе Пашића В. И. Аристову. Букурешт, 12 маја 1888. године // *Никола П. Пашић*. Писма, чланци и говори... С. 274.

Славистика между пролетарским интернационализмом и славянской идеей (1917–1941)*

Славяноведение как наука зародилось на рубеже XVIII–XIX вв. и в славянских землях скоро стало выразителем и пропагандистом патриотических идей национального возрождения, а затем, после всеобщего воодушевления поэмой словацкого поэта и мыслителя Яна Коллара «Дочь Славы» и его трактатом о славянской взаимности, — и славянской идеей¹.

В России основание кафедр истории и литературы славянских наречий по новому университетскому уставу 1835 г. в четырех российских университетах также являлось своеобразным ответом властей на славянское возрождение. Министр народного просвещения граф С. С. Уваров стремился обратить новый предмет в русло пресловутой теории официальной народности². Однако первые университетские слависты в лице главы «скептической школы» М. Т. Каченовского, а затем О. М. Бодянского, И. И. Срезневского, В. И. Григоровича, которые во время своих продолжительных научных командировок в славянские земли в большей степени прониклись культурной и научной идеей славянской взаимности в западнославянском варианте, активно афишировали именно ее в своих публикациях, переписке и лекционных курсах (вначале достаточно свободно)³. Только раскрытие в 1847 г. в Киеве тайного Кирилло-Мефодиевского общества⁴, пропагандирующего идеи демократической славянской федерации, и революционные события 1848–1849 гг. в Европе привели российские власти к убеждению, что славянская идея представляет некую угрозу самодержавному режиму и побудили их репрессивно (по отношению к некоторым славянофилам) и путем циркуляров, посланных в университеты, направить понимание славянской идеи в русло охранительной доктрины: Православие, Самодержавие и Народность, предписывая трактовать ее, исходя «из начал русской народности»⁵.

Новое поколение российских славистов в восприятии славянской идеи разделилось на несколько направлений. А. Ф. Гильфердинг, В. И. Ламанский, Н. А. Попов, позднее А. С. Будилович, Т. Д. Флоринский и др. развивали славянскую идею в духе славянофильства и панславизма⁶. Склонный к идеям западного либерализма А. Н. Пыпин и другие позитивисты много сделали для анализа этой идеи, не будучи сами ее при-

* Вторая часть статьи опубликована в журнале «Славяноведение» (2007. № 2).

верженцами⁷. Революционные демократы и народники внесли в понимание славянской идеологии социальное содержание⁸.

Поскольку накануне Первой мировой войны наибольшую активность в славяноведении проявляли сторонники первого направления, то в глазах т. н. демократической общественности эта наука стала ассоциироваться только с неославянофилами и панславистами⁹. Пропагандирующее в основном либеральные идеи равноправного сотрудничества славян неославистское движение во внимание не принималось¹⁰.

После победы Октябрьской революции 1917 г. большевики, руководствуясь идеями классового пролетарского интернационализма и грезя о мировой пролетарской революции, объявили настоящую войну славяноведению, считая крупных специалистов в этой области исключительно сторонниками реакционной панславистской идеологии, и к тому же яркими монархистами, скрытыми и явными врагами Советской власти (чему давала повод массовая вынужденная эмиграция славистов за рубеж)¹¹. Активно проводимые реформы университетского и вузовского образования постепенно привели к началу 1930-х гг. к закрытию многочисленных кафедр славистики¹², а «советизация» Академии наук — к ликвидации ряда славистических центров (Комиссия по научному изданию текстов кирилло-мефодиевской традиции, Славянская научная комиссия и др.)¹³.

Особенно усердствовал в этом направлении главный идеолог исторической науки в СССР, насаждавший сугубо классовое, зачастую вульгаризированное понимание исторического процесса, академик М. Н. Покровский (1868–1932). В статье «Панславизм на службе империализма», опубликованной в «Правде» 26 июня 1927 г., он называл съезды неославистов 1908 г. в Праге и 1910 г. в Софии «сборищами реакционеро-панславистов», которые занимались «моральной подготовкой» Первой мировой войны. «Их панславистский характер, — утверждал он, — бьет в глаза», а «панславизм всегда был чисто политическим явлением». В связи с этим первый съезд «Федерации исторических обществ Восточной Европы», созданный в 1927 г. в Варшаве при деятельном участии российских эмигрантов (на котором побывал советский историк и по поводу которого написал статью) он уличил в панславистской направленности, которую нельзя скрыть «современными славянскими конгрессами, „научно“ рассуждающими о создании новых блоков»¹⁴. Тем самым М. Н. Покровский, в данном случае совершенно необоснованно, отождествлял науку с политическим феноменом — панславизмом, что в устах авторитетного советского историографа служило зловещим приговором славяноведению. Пренебрежительное отношение к данной научной дисциплине в это время зафиксировал в своих мемуарах и известный славист С. Б. Бернштейн, приведя типичное «умозаключение» своего сокурсни-

ка-«активиста» Кобецкого: «...славяноведение — это славянофильство, а славянофильство — это черносотенство»¹⁵.

В области филологии дискредитация славистики началась на почве внедрения «истинно марксистского» «нового учения о языке» академика Н. Я. Марра, отрицавшего сравнительно-историческое языкознание и положение о языковых семьях, на которых базировалась мировая славистика¹⁶.

Приход к власти нацистов в Германии дал повод утверждать, что славянская филология — расистская наука, «льющая воду на мельницу фашистской идеологии». Яркой иллюстрацией этой кампании стало выступление в конце 1934 г. на заседании марровского Института языка и мышления АН СССР слависта Д. Д. Димитрова с докладом «Славянская филология на путях фашизации», затем опубликованном в журнале «Язык и мышление» (М., 1935. Вып. 5)¹⁷. Вероятно, выполняя «социальный заказ» компетентных органов, он безосновательно утверждал, что славянская филология всегда органично была связана со славянофильством и как наука отстает «особую самобытную природу» и «вытекающую из нее мессианскую роль» «славянского типа» (вероятно, здесь подразумевалась теория культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского, к славянской филологии никакого отношения не имевшая), что теоретической базой славянской филологии является «идеализм фашистского толка», что она выродилась в «самую откровенную теологию». И это при всех выдающихся успехах, сделанных европейскими славистами в межвоенный период в области этимологии и лексикографии (словарь М. Фасмера), фонологии (И. А. Бодуэн де Куртенэ), структурной лингвистики (Пражский лингвистический кружок), диалектологии (Л. Милетич) и пр. Но все эти принципиально новые теоретические достижения пренебрежительно оценивались автором (а также академиком Н. С. Державиным) как формализм, эмпиризм и описательность, идеализм, иррационализм и даже поповщина (!). Общий вывод докладчика был обличающе-неутешительным: «Славянская филология на Западе плотно врастает в фашизм и этим самым теряет право на науку, ибо фашизм с его расовой теорией, как сказал... товарищ Сталин, так же далек от подлинной науки, как небо от земли»¹⁸. Верноподданнический доклад не спас Д. Д. Димитрова от репрессий. Его устами (ибо указанные обвинения многократно тиражировались в академической и внеакадемической среде) выносился приговор славянской филологии: она была сильно скомпрометирована в общественном мнении.

Линия на свертывание славистических исследований была кратковременно прервана в 1931 г. созданием Института славяноведения АН СССР в Ленинграде, возглавленного академиком Н. С. Державиным. Он выступал за комплексное понимание предмета этой науки, но на основе

классового марксистского подхода к ней, отречения от скомпрометированной славянской идеи (в облики славянофильства и панславизма) и новых «формальных» методов исследования. «Славянский мир, — утверждал Державин, — нас интересует не какую-либо своею специфической племенной изолированностью или отмежеванностью в своих культурно-исторических судьбах от прочих народов и племен мира», а общностью «процессов социального порядка» с другими народами мира, прежде всего таких, которые затрагивают «жизненные интересы трудовых масс и угнетенных национальных меньшинств»¹⁹. Игнорируя специфику славянской этнокультурной общности, Державин подвергал резкой критике в вульгарно-социологизированном ключе все без различия разновидности славянской идеи (славянская взаимность, славянофильство, панславизм), называя их «идеологическими пережитками феодализма» и относя к «враждебным пролетариату идеологиям», которые якобы служат буржуазии славянских стран в целях «мобилизации фашистских сил против рабочего класса»²⁰.

Несмотря на все заверения в верности марксистской методологии и классовому подходу в анализе истории славян, на многократное публичное разоблачение «реакционной сущности» славянской идеи во всех ее проявлениях, Н.С. Державину не удалось сохранить Институт. Он был ликвидирован в 1934 г.²¹

Жестокий маховик сталинских репрессий захватил и многих славистов. С осени 1933 г. разворачивалось т.н. «дело славистов» по сфабрикованному обвинению об их участии в мифической «Российской национальной партии». В 1934 г. следователи ОГПУ для сущей убедительности избрали на роль руководителей этой организации известных славистов Н.С. Трубецкого, Р.О. Якобсона и П.Г. Богатырева, проживавших тогда в Чехословакии. По данному делу проходили академики В.Н. Перетц, М.Н. Сперанский, члены-корреспонденты Н.Н. Дурново, Г.А. Ильинский, ученый секретарь Института В.Н. Кораблев²². Чудом избежал ареста сам Н.С. Державин, фамилия которого возглавляла список членов этой партии. Всем им инкриминировалась борьба «за сохранение самобытной культуры, нравов, быта и исторических традиций русского народа»²³.

Чтобы усугубить вину фигурантов по «делу славистов», репрессивные органы специально акцентировали внимание на самых страшных с точки зрения тогдашней власти преступлениях — борьбе за русскую национальную идею, за сохранение православной религии и панславизма, заключавшемся в пропаганде «исключительного исторического будущего славян как единого народа»²⁴.

Таким образом, дискредитация славяноведения путем подчеркивания его неразрывной связи с «реакционной» славянской идеей шла как

по линии исторических исследований (тогда прибегали к пугалу панславизма), так и по линии славянской филологии (тогда срабатывала «страшилка» расовой сущности фашизма и данной науки) и завершали работу всей этой слаженной идеологической машины «запечных дел мастера» репрессивных органов.

Неудивительно, что такой массивный нажим на славяноведение в 1934 г. завершился почти полной ликвидацией его организационных структур, что констатировал позднее Н. С. Державин.

Казалось бы, что эта наука, так негодная властям в силу этнонациональной специфики своего предмета, безвозвратно канула в Лету. Но в 1939 г. славяноведение неожиданно начинает возрождаться, словно «птица Феникс из пепла», правда, пока на исторической основе. Почти одновременно были созданы два центра: Сектор славяноведения в Институте истории АН СССР и кафедра истории южных и западных славян на историческом факультете МГУ, оба под руководством профессора В. И. Пичеты.

Какие же объективные и субъективные факторы способствовали возрождению отечественной славистики, постоянно вынужденной лавировать между Сциллой и Харибдой классовой идеологии пролетарского интернационализма и национально-патриотической славянской идеей?

Выделим и охарактеризуем каждый из них.

1. Угроза Второй мировой войны. Напряженный поиск союзников на международной арене.
2. Изменения в национальной политике в сторону государственного патриотизма.
3. Тенденция к подъему престижа исторического образования и науки вообще. Утверждение марксизма при отходе от вульгарного социологизирования.
4. Неоспоримые успехи зарубежной славистики при активном включении в нее российских ученых-эмигрантов.
5. Усилия ведущих советских славистов по возрождению славяноведения в СССР.

Приход к власти Гитлера в Германии создал реальную угрозу не только для возникновения Второй мировой войны, но и программного уничтожения всех «расово-неполноценных» народов — как евреев, цыган и пр., так и славян. А. Гитлер никогда не скрывал своих захватнических планов по отношению к России, и советскому руководству они были хорошо известны. Еще в 1925 г. в книге «Моя борьба» фашистский вождь откровенно писал: «Если мы сегодня говорим о новых землях и территориях в Европе, мы обращаем свой взор, в первую очередь, к России, а также к соседним с ней и зависимым от нее странам... Это

громадное государство на Востоке созрело для гибели... Мы избраны судьбой стать свидетелями катастрофы, которая явится самым веским подтверждением правильности расовой теории». В отношении к славянам наиболее ярко выявилась идеология нацизма: «Немцы — раса господ, славяне — масса рабов... Если мы хотим создать нашу великую Германскую империю, мы должны прежде всего вытеснить и истребить славянские народы: русских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белорусов... Главная цель: уничтожить массы славян, часть онемечить, а остатки превратить в рабов»²⁵. И далее: «Славянская человеческая масса, как расовый отброс, недостойна владеть своими землями, они должны отойти в руки германских солдат, а славяне — собственники земель — превращены в безземельных пролетариев». Более того, Гитлер планировал уничтожить генофонд славянских народов, остановить их рождаемость: «Всеми средствами я пресеку плодовитость славян..., размножающихся, как насекомые»²⁶.

Сталину, безусловно, хорошо было известно общее содержание «фашистской Библии» и ее антироссийская и антиславянская направленность, откровенно начавшая претворяться в жизнь в агрессивной внешней политике Германии, прежде всего в отношении к славянской стране — Чехословакии. (Не случайно, что и спровоцированное нападение на Польшу послужило началом новой мировой войны).

Определенным откликом на «откровения» Гитлера и его подручных можно рассматривать выступление И. В. Сталина на XVII съезде ВКП(б) в 1934 г. В отчетном докладе о работе ЦК он рассуждал о возможных вариантах будущей войны. Одним из таких вариантов была, по его мнению, выдвигавшаяся «западными политиками» (под которыми, безусловно, подразумевался Гитлер) идея развязывания войны «высшей расы» против «низшей расы» — «прежде всего против славян... только такая война может дать выход из положения, так как „высшая раса“ призвана оплодотворить „низшую“ и властвовать над ней»²⁷.

Сталин выразил глубокое убеждение в том, что «фашистско-литературных политиков в Берлине» в случае развязывания подобной войны «высшей германской» с «низшей славянской» расой ждет столь же печальный конец и жестокое поражение, какое некогда понес «старый Рим», высокомерно рассматривавший «предков нынешних германцев и французов» как «варваров». «Важно то, — говорил он, — что неримляне, т.е. все „варвары“ объединились против общего врага и с громом опрокинули Рим»²⁸.

Это высказывание Сталина можно считать определенным намеком на возможность объединения славянских народов перед лицом фашистской угрозы в некий союз как важным факторе международной политики в межвоенной Европе. Определенным шагом в этом направлении

стал заключенный в 1935 г. договор между СССР с Чехословакией о гарантиях безопасности, который можно воспринимать как одно из звеньев будущего союза. Однако с другими славянскими странами, в которых установились профашистские монархические (Болгария, Югославия) или авторитарные, враждебные СССР (Польша) режимы, заключать подобные соглашения оказалось невозможно.

Было бы упрощением забывать, что во внешней политике СССР первоначально руководствовался отнюдь не славянскими, национально-патриотическими, а коминтерновскими, интернационально-классовыми установками. Однако и здесь происходили серьезные метаморфозы. Как известно, Советское государство создавалось с перспективой на раздувание пожара мировой пролетарской революции. С этой целью в СССР был сформирован в 1919 г. Коммунистический интернационал, целью которого провозглашалось выполнение этой главной задачи коммунистического движения. Однако попытки установления Советской власти в ряде стран Европы окончились провалом. Коминтерн мог стать важным инструментом для создания широкого антифашистского фронта в Европе, однако грубые стратегические просчеты Сталина, отвергавшего союз с социал-демократами (упорно называемыми им социал-фашистами), в конечном итоге, способствовали победе Гитлера на выборах в Германии. Все же на VII съезде Коминтерна в 1937 г. такой курс (без социал-демократов) был провозглашен, прочно войдя в арсенал партпропаганды. Он продолжал муссироваться средствами массовой информации вплоть до заключения пакта Молотова–Риббентропа в августе 1939 г., приведшего к свертыванию антифашистской кампании и деятельности Коминтерна как международной организации²⁹.

Под патронатом Коминтерна работал ряд научных учреждений (например, Институт красной профессуры), коммунисты-политэмигранты активно включились и инициировали изучение рабочего и социалистического движения в том числе и в славянских странах, издавали сборники важных исторических документов по новейшей истории, внося определенный вклад в советское славяноведение³⁰. Однако жестокие сталинские репрессии и «чистки», обрушившиеся в 1937–1938 гг. и на компартии славянских стран (была распущена компартия Польши, большие потери понесли компартии Болгарии и Чехословакии)³¹, минимизировали их усилия.

По этой же причине Коминтерн не смог успешно взять на себя выполнение некоторых внешнеполитических функций, таких как, например, возбуждения симпатий к СССР, «первому государству победившего пролетариата» (путем влияния коммунистических партий на определенные слои населения и нажима на правительства своих стран), так как «буржуазные» правительства стран Европы не торопились заключать дипломатические отношения с опасным коммунистическим соседом.

Важное значение в прокоминтерновской трактовке международной обстановки в канун Второй мировой войны имел сборник статей «Против фашистской фальсификации истории», изданный Институтом истории АН СССР в 1939 г. (подписан к печати 20 февраля). В нем отразились многие идеологические постулаты того времени — идеи курса на мировую пролетарскую революцию, создания единого фронта борьбы с фашизмом, прямые предупреждения об устремлениях гитлеровской Германии развязать войну против СССР и о солидарности трудящихся с «самым передовым и прогрессивным государством» в мире.

Задачи сборника прямо определялись строками из резолюции VII Всемирного конгресса Коммунистического интернационала: «Коммунисты должны всемерно бороться с фальсификацией истории народа, делая все, чтобы исторически правильно, в подлинно ленинско-сталинском духе освещать перед трудящимися массами прошлое их собственного народа, чтобы увязать свою теперешнюю борьбу с революционными традициями прошлого»³².

В этом сугубо классовом подходе с позиций пролетарского интернационализма, разумеется, не нашлось места идее солидарности и объединения славянских народов перед угрозой фашизма, да и сам славянский материал был представлен в сборнике весьма скромно — в статьях Н. П. Грацианского «Немецкий „Drang nach Osten“ в фашистской историографии», У. А. Шустера и М. В. Джервиса «Германо-фашистские тенденции в современной польской историографии» и отчасти в статье Ф. И. Нотовича «Фашистская историография о „виновниках“ мировой войны». Абстрагируясь от общего содержания статей, рассмотрим весьма своеобразные упоминания о славянской идее.

Ф. И. Нотович в упомянутой статье выразил возмущение, что в целях организации и подготовки войны против СССР в Германии в пропагандистских целях используется «идейный багаж пангерманской и фашистской историографии о „невиновности“ Германии в мировой войне: ее критика Версальского договора, лживое и демагогическое уподобление русского большевизма панславизму, а последовательной советской политики мира — „красному империализму“»³³. В разъяснение этого вывода Нотович приводит высказывание немецкого историка Г. Ульмана, утверждавшего, что «советская политика поддержки малых народов и государств является политикой „красного империализма“ и... продолжением старой русской панславистской политики, которая сейчас, как и в прошлом, угрожает Германии и всей Европе»³⁴.

Автор не увидел здесь и намек на возможность антифашистской солидарности славянских народов, которым грозило повальное истребление в случае победы нацистской Германии. Он выразил сугубо отрицательное отношение к панславизму как таковому. Его возмущал сам

факт того, как мог осмелиться фашистский историк увидеть в «светлом» образе советской внешней политики большевиков проявления «красного империализма» и тем более панславизма. Он писал: «Руководители „Третьей империи“ прекрасно знают, что в Европе имеется одна реальная и непримиримая сила, которая не пойдет ни на какие уступки германскому фашизму и ни на какой сговор с ним за счет интересов других народов (выделено нами. — М. Д.). Они знают, что все демократические народы, свободе и независимости которых угрожает германский фашизм, смотрят на Советский Союз как на свою опору, как на организующую и объединяющую силу в борьбе против фашистской агрессии»³⁵. Заключение советско-германского пакта о ненападении через несколько месяцев после выхода книги показало, сколь зыбка была эта опора³⁶.

В статье У. А. Шустера и М. В. Джервиса выражалась озабоченность состоянием современной польской историографии, идущей, по мнению авторов, на сближение с фашистской ради оправдания заключенного между Польшей и Германией пакта о ненападении. Они обратили внимание на разительное отличие взглядов польских историков, высказанных на IV-м Общепольском конгрессе историков 1925 г. в Познани и VI-м — 1935 г. в Вильно (Вильнюсе). На первом из них, происходившем в период наибольшего обострения отношений между Веймарской Германией и «кулацко-капиталистической-пястовско-эндековской» Польшей, польские историки сознавали опасность ревизионистских стремлений послевоенной Германии для государственной неприкосновенности межвоенной Польши и не случайно созвали съезд на западной, некогда захваченной Пруссией окраине Польши, и посвятили его 900-летию со дня смерти Болеслава Храброго, прославившегося своим стойким отпором притязаниям немецких феодалов³⁷.

Напротив, устроители VI съезда в Вильно избрали символом своего форума Болеслава Кривоустого (по случаю 800-летия посещения им имперского города Марбурга), «который умел поддерживать со средневековыми германскими императорами видимость добрососедских отношений»³⁸. Об опасности, угрожающей западным границам Польши, по мнению авторов, было забыто. Наоборот, развивалась идея «благостности» унии для Польши и Литвы и правомерности «неурезанных притязаний Польши на принадлежащие некогда Литве украинские и белорусские земли, в границах даже не 1772, а так, примерно, 1643 г.»³⁹.

На основе анализа работ тогдашних польских историков авторы статьи пришли к неутешительному выводу о том, что стремление правящих кругов Польши к «унификации» польской научно-исторической мысли «вокруг реакционнейших лозунгов внутренней и внешней политики» властей Польши ведет к «моральному разоружению» польских историков перед фашистскими германскими⁴⁰.

В этом контексте от внимания Шустера и Джервиса не укрылся тот факт, что не все польские историки выступали тогда в фарватере прогерманской политики польских властей, некоторые из них искали ей разумную альтернативу. Так, авторитетный польский историк Сигизмунд Войцеховский (1900–1955) в книге «Мысли о национальной политике и национальном государстве» (Познань, 1935) предлагал противопоставить выдвигаемой фашистами идее «общенемецкого единства» — «славянскую идею». «Немецкую программу, — отмечал он, — можно, однако, опрокинуть самым эффективным образом, действуя тем же оружием, т. е. выдвигая славянскую программу»⁴¹.

Авторы статьи не нашли в этом предложении Войцеховского никакого антифашистского подтекста — с помощью испытанной временем «славянской идеи» попытаться объединить славянские народы (разумеется, без СССР) для отпора германской агрессии. Напротив, они стремились всячески дискредитировать эту идею, утверждая, что «реакционная утопичность и империалистическая сущность этого проекта совершенно очевидны». Более того, это свидетельствует, по их мнению, «о полной растерянности автора и тех кругов польского общества, которые готовы ухватиться за такую идею»⁴².

Итак, содержание этого принципиально важного в советской историографии прокоминтерновского сборника наглядно свидетельствовало о том, что славянский материал здесь преподносился в классовом ключе антифашистской пропаганды, в которой в то время не было и намека на самостоятельное значение в этом деле славянского фактора⁴³. Если бы подобная тенденция в исторической науке развивалась и далее, то у славяноведения практически не было бы шансов на возрождение и автономное развитие.

Если по линии Коминтерна «славянский вопрос» неизбежно заходил в тупик, то во внешней политике СССР намечались определенные подвижки. В 1935 г. был заключен договор с Чехословакией о гарантиях безопасности. СССР выступил в числе тех немногих государств, которые резко осудили (вплоть до готовности оказания военной помощи) предательский Мюнхенский договор 1938 г., ведущий к расчленению, потом и оккупации этого государства⁴⁴. Примерно в это же время в ЦК ВКП(б) серьезно обсуждалась записка некоего В. П. Золотова «О некоторых вопросах нашей внешней политики», в которой существовал специальный раздел «О славянском вопросе». Здесь впервые славянские народы рассматривались как потенциальные союзники СССР в неизбежной войне с империалистическими государствами, причем его главным врагом объявлялась не фашистская Германия, а Англия. Автор записки утверждал: «Большое заброшенное нами поле возможностей по выращиванию и добыванию себе союзников открывает наше обраще-

ние к славянам Европы» (здесь и далее подчеркнуто синим „сталинским“ карандашом в документе. — М.Д.). Необходимо «активно вмешиваться в борьбу империалистов на Балканах и, взяв на себя инициативу объединения славянских государств, создать преграду для германского и английского проникновения на Балканский полуостров»⁴⁵. Сама идея создания системы союзов славянских государств вокруг СССР при существующих в них враждебных ему режимах в то время была весьма проблематична, но перспективна с учетом неизбежной войны с фашистской Германией. Но В.П. Золотов не рассматривал ее как главного противника. К тому же осталось не ясным, в какой форме и на какой идейной основе такой союз мог возникнуть — он отвергал как «идеи панславизма и славянской федерации Михаила Бакунина», так и «православно-славянские идеи Константина Аксакова». Правящие круги тогдашних славянских стран явно не могли привлечь идеи пролетарского интернационализма. Вряд ли нашло бы у них сочувствие и понимание участие СССР в «имперских разборках» Англии и Германии на Балканах.

Таким образом, записка В.П. Золотова представляет интерес лишь тем, что обратила внимание советского руководства на славян как потенциальных союзников СССР в перспективе грядущей войны, однако, детализировка проблемы этой перспективе противоречила. Но она удивительным образом соответствовала курсу на заключение пакта Молотова–Риббентропа, и, возможно, если судить по статье А.А. Жданова в «Правде» 29 июня 1939 г., идея конфронтации с Великобританией, как полагала В.В. Марьина, была заимствована именно оттуда.

Записка В.П. Золотова косвенно свидетельствовала о том, что в СССР 1930-х гг. набирала силу национально-патриотическая тенденция, создававшая почву для принятия решения и по научному вопросу о возрождении славяноведения. Это связано с тем, что после краха идеи мировой революции был взят курс на построение социализма в одной отдельно взятой стране, который вынуждал партийные власти к скрытому до времени от общественности отступлению от идей «истинного интернационализма» на позиции государственного патриотизма и «национального большевизма». Сталинское руководство приступило к строительству традиционного государства со всеми его патриотическими атрибутами, что, несомненно, свидетельствовало о признании им значимости национального фактора и титульной нации — русского народа в истории. Именно тогда вспомнили о настоятельной необходимости «правильной» трактовки отечественной истории и важности для общественного сознания формирования положительных образов национальных героев⁴⁶.

Наиболее ярко это проявилось в полемике в середине 1930-х гг. «космополитов» бухаринских «Известий» с «патриотами» сталинской «Правды» по поводу трактовки отечественной истории и роли русского

народа⁴⁷. Опровергая Н. И. Бухарина, «Правда» от 30 января 1936 г. писала: «Только любители словесных выкрутасов, мало смыслящие в ленинизме, могут утверждать, что в нашей стране до революции „обломовщина была самой универсальной чертой характера“, а русский народ был „нацией Обломовых“. Народ, который дал таких гениев, как Ломоносов, Лобачевский, Попов, Пушкин, Чернышевский, Менделеев, таких гигантов человеческих, как Ленин и Сталин»⁴⁸. В результате начатой ранее кампании было принято принципиально важное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР», опубликованное в «Правде» 16 мая 1934 г. В нем говорилось: «Вместо преподавания гражданской истории в живой занимательной форме... учащимся преподносят абстрактные определения общественно-экономических формаций, подменяя таким образом связное изложение гражданской истории отвлеченными социологическими схемами»⁴⁹.

Для исправления ситуации предписывалось принятие ряда мер, прежде всего написания новых учебников, а также восстановления с 1 сентября 1934 г. исторических факультетов в МГУ и ЛГУ.

27 января 1936 г. в газетах было опубликовано другое постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о создании под руководством А. А. Жданова особой комиссии «для просмотра, улучшения, а в некоторых случаях для переделки уже написанных учебников по истории». 8 августа того же года советскую общественность ознакомили с «Замечаниями» Сталина, Жданова и Кирова по поводу конспекта учебников по истории СССР. В передовице «Правды» разъяснялось, что эти документы призваны нацелить историков на борьбу с «антиленинскими традициями школы Покровского и в методе и в конкретной картине русской истории», против присущих этой школе «полуменьшевистских, полуцентристских идей и троцкистской контрабанды»⁵⁰.

Школе М. Н. Покровского действительно были присущи признаки «детской болезни левизны» в марксистской трактовке истории: вульгарное социологизирование, курс на новейшую отечественную историю и пренебрежение к древней, нигилизм в отношении к русской культуре, роли личности в истории, абсолютизация роли классовой борьбы в историческом процессе, негативное отношение к дореволюционной историографии⁵¹. Кроме того, в трактовке национальных отношений бичевалось русское самодержавие, его колониальная политика и превозносились «национально-освободительные движения» окраин империи. Культивировалось отрицательное отношение к славяноведению.

Идейный разгром «школы Покровского» завершился в 1939 г. изданием двухтомного сборника: «Против исторической концепции М. Н. Покровского. Сборник статей (М.; Л., 1939. Ч. 1); «Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского» (М., 1940. Ч. 2). Примечательно, что к

участию в сборнике были привлечены крупные отечественные историки, ранее осуждавшиеся в «великорусском национализме» и патриотизме: С. В. Бахрушин, Ю. В. Готье, Б. Д. Греков, Е. В. Тарле, А. И. Яковлев и др. Одним из авторов этого сборника, отчасти освещающих славянский аспект представлений Покровского, являлся славист В. И. Пичета.

Если ликвидация школы М. Н. Покровского и курс на государственный патриотизм принесли свою пользу в деле возрождения славяноведения в стране, то другие мероприятия в сфере национальной политики явно его тормозили. Определенное возвеличивание роли русского народа как государствообразующей нации, проявленное в новых учебниках, не спасло его лучших представителей от массовых репрессий. Начались и этнические чистки. В СССР существовало довольно много национальных районов и школ, клубов, газет на национальных языках, представляющих интересы национальных меньшинств. Такой автономией пользовались и славянские народы, проживающие в СССР: болгары, поляки, чехи, сербы. Существовал Коммунистический университет национальных меньшинств. Эти учреждения по-своему подпитывали славистику — для подготовки преподавателей школ, издания газет, клубной работы нужны были специалисты-слависты. Все они, однако, были распущены постепенно к началу 1939 г.⁵² Ликвидация национальных центров сказалась на судьбе молодого тогда слависта С. Б. Бернштейна, вынужденного перебраться после закрытия руководимой им кафедры болгарского языка и литературы в Одесском пединституте в Москву.

Итак, внутренняя национальная и внешняя политика СССР противоречиво сочетала в себе элементы, которые могли способствовать возрождению и развитию отечественного славяноведения и в то же время имели много сопутствующих моментов, тормозящих этот процесс. Не хватало духовной силы, своего рода «живой воды», способной оживить по существу мертвое тело славистики. В качестве такой жизненной силы выступил субъективный фактор — усилия немногих авторитетных славистов, чудом избежавших репрессий или уже успевших побывать в тюрьмах и отбывших ссылку — Н. С. Державина, В. И. Пичеты, Б. Д. Грекова, А. Д. Удальцова, всегда сознававших научную важность и политическую актуальность своего предмета.

Но сначала необходимо кратко осветить успехи развития славяноведения за рубежом, которые подразумевали отечественные слависты, аргументируя необходимость возрождения славистики в нашей стране. Фактор «соревновательности» и престижа советской науки сыграл здесь верную службу.

После окончания Первой мировой войны и распада империй в Европе образовался ряд независимых славянских государств — Чехословакия, Польша, Болгария, Югославия. В каждом из них в приоритетном

порядке поощрялось развитие славяноведения, понимаемого как средоточие национально-культурных ценностей и исторической памяти предков. Славистические дисциплины преподавались в университетах Праги, Брно, Братиславы, Варшавы, Кракова, Белграда, Загреба, Любляны, Софии и др. В межвоенный период раскрылся творческий талант и были изданы труды выдающихся филологов и историков-славистов: Л. Нидерле, М. Мурко, Б. Гавранека, Я. Бидло, Й. Паты, М. Вейнгарта, Ф. Вольмана, А. Белича, В. Златарского, Л. Милетича, С. Романского, М. Фасмера, И. А. Бодуэна де Куртенэ, А. Брюкнера, В. Дорошевского, Е. Куриловича, Т. Лер-Сплавинского, М. Малецкого и др.⁵³ Успешное развитие славистики в этих странах, безусловно, стимулировал фактор существования и деятельности российской эмиграции. В начале 1920-х гг. многие русские слависты, не принявшие новые порядки в России, обосновались в европейских научных центрах. Преодолевая многие трудности, они сумели в короткий срок не только включиться в работу университетов славянских стран, выпускать научные труды, но и создать собственные научные и культурные учреждения. Были основаны особые Русские институты в Варшаве, Софии, Белграде, Берлине, но особенно много подобных центров появилось в Праге, при поддержке чехословацкого правительства, проводившего широкую «русскую акцию» помощи эмигрантам. Здесь успешно работали Русский народный (свободный) университет, Русский педагогический институт им. Я. А. Коменского, Русское историческое общество, Русский заграничный исторический архив и пр., а также аналогичные украинские учреждения. Особые заслуги в области славяноведения принадлежат известным российским ученым В. А. Францеву, А. В. Флоровскому, Н. П. Кондакову, В. А. Погорелову, Е. Ю. Перфецкому, А. Л. Бему, М. В. Шахматову, Н. С. Трубецкому, П. Н. Савицкому, Д. Н. Вергуну, Е. А. Ляцкому, С. Смаль-Стоцкому, Ф. Колессе, Р. О. Якобсону, Е. Ф. Шмурло, А. А. Кизеветтеру, Ю. А. Яворскому, С. И. Карцевскому, С. М. Кульбакину, А. Л. Погодину, В. А. Мошину и др.; большинство из названных ученых жило и работало в Чехословакии⁵⁴. Не случайно поэтому Прага претендовала тогда на лидерство в мировой славистике. Здесь начал работу в 1928 г. Славянский институт, привлекая к сотрудничеству и ученых-эмигрантов. Именно здесь был проведен первый съезд славянских филологов в 1929 г., давший старт последующим регулярным съездам славистов. (Второй состоялся в Варшаве в 1934 г.) Здесь проводились и другие славянские форумы: съезды русских ученых (1921, 1922, 1924), съезд славянских географов и этнографов (1924), второй съезд «Федерации исторических обществ Восточной Европы» (1932) (первый состоялся в Варшаве в 1927 г.) и пр.⁵⁵

Таким образом, в отличие от СССР, где славистика в 1920–1930-е гг. всячески подавлялась, в независимых славянских странах она явно была на подъеме. И это наглядно видели советские слависты по выходящей

литературе и личным контактам с коллегами во время немногочисленных служебных командировок и при редком участии в конференциях. (Такие командировки в Прагу имели, например, Е. Ф. Карский в 1924 г., В. И. Пичета в 1925 г., Н. С. Державин в 1929 и 1933 гг., В. И. Пичета во Львов в 1928 г. и пр.⁵⁶.) Не случайно аргументация о восстановлении престижа советской науки в области славяноведения стала доминирующей в борьбе за возрождение этой области знания в нашей стране.

Первым предпринял атаку на власти академик Н. С. Державин, и начал ее с самого верха. Уже через год после закрытия Института славяноведения он обратился прямо к Сталину (письмо от 14 ноября 1935 г.), подхалимски напомнив о славной революционной деятельности вождя в Закавказье. Он, видимо, побоялся тогда прямо поставить вопрос о необходимости возрождения славяноведения и постарался только создать впечатление у властей об опрометчивости такого шага, задев болезненную струну существования российской эмиграции: «Теперь белогвардейская сволочь на Западе может торжествовать свою победу: славяноведение в СССР не существует, Советская власть не интересуется славянскими народами, их жизнью, их культурой, историей, их революционной борьбой за свое раскрепощение!»⁵⁷ Далее можно было ожидать опровергающего пассажа с акцентацией на необходимость возобновления славистических исследований. Но Державин счел более безопасным обратиться к положительному прошлому опыту, к тому же подчеркивающему его заслуги, при этом он попутно разоблачал происки «врагов народа»: «Это, конечно, наглая ложь, но что так блестяще и неожиданно для Запада было опровергнуто академиком Державиным созданием академического Института славяноведения, было во всяком случае разрушено троцкистско-зиновьевской бандой»⁵⁸.

Следует отметить, что такая аргументация была избрана Державиным не случайно. Вопрос о научном престиже СССР и первенстве в науке, даже в постоянно дискредитируемом славяноведении, всегда чувствительно задевал и научное и партийное руководство, которое, например, в одном лице совмещал академик М. Н. Покровский. Побывав на VI конгрессе историков в Осло, он, главный «гонитель» славяноведения, писал: «Мы могли бы, несомненно, при немного большей бойкости и предприимчивости с нашей стороны организовать этих славянских историков около себя... Сейчас, несомненно, происходит борьба за центр славяноведения между Прагой, Варшавой и Москвой. И, несомненно, есть элементы в Югославии и Болгарии, которые больше тяготеют к Москве, нежели к Праге и Варшаве»⁵⁹. Об этом «соперничестве» также неоднократно писал и Н. С. Державин⁶⁰.

В 1937 г. Н. С. Державин обратился к вице-президенту АН СССР Г. М. Кржижановскому с предложением о рационализации структуры

учреждений Академии, подчеркивая необходимость воссоздания в ней славистических центров в институтах как исторического, так и филологического профиля⁶¹. При этом он по-прежнему исходил из комплексного понимания предмета славяноведения.

Не получив ожидаемого ответа, Н. С. Державин в 1938 г. повторил попытку, отправив письмо и докладную записку 23 мая 1938 г. к тогдашнему президенту Академии В. Л. Комарову. Он снова предлагал создать славистические центры в академических институтах, обращая внимание на то, что изучение зарубежных славян «находится буквально в пренебрежении и загоне и лишено элементарных условий для своего развития»⁶². Он фактически повторил аргументацию, высказанную в письме Сталину, выстроив ее теперь в логической перспективе и связав актуальность предложений с опровержением «клеветнических измышлений» эмиграции и угрозой фашизма: «Максимальной активизацией своих славяноведных изучений мы могли бы сыграть большую культурную роль в международном масштабе и оказать свое противодействие злостной агитации русских белоэмигрантских кругов, состоящих на службе фашизма, доказывающих, что Советский Союз не интересуется славянами, что представляет собою наглуемую клевету на Советский Союз и советскую науку»⁶³. Державин в духе времени утверждал, что фактическая ликвидация славяноведения — результат происков «врагов народа». Их разоблачение должно помочь реабилитации славистики. Ни панславизм, ни формализм, якобы присущие этой науке, здесь не акцентировались.

Не получив поддержки от академического начальства, неутомимый Державин снова обратился к партийному руководству страны. Он направил 23 июля 1938 г. докладную записку «О положении славяноведения в Советском Союзе» Председателю СНК СССР В. М. Молотову. В преддверии Мюнхенского сговора и нависшей угрозы потери независимости Чехословакии ученый несколько изменил аргументацию. Он указал, что советская наука может реально помочь СССР воздействовать на славянские страны и помочь их объединению вокруг Советского Союза для отпора фашистской агрессии, а упадок славяноведения объяснял в духе времени злонамеренными происками «врагов народа». Он, в частности, писал: «Непримиримый нажим на наше славяноведение со стороны врагов народа дело немецко-фашистской агентуры, с тем, чтобы убрать с дороги наступающего на славянские страны фашизма такую серьезную препону, как идеологическое влияние на широкую славянскую демократическую общественность, хотя бы и через науку, обаяния Советского Союза»⁶⁴.

Обращение Н. С. Державина к академическому и партийному руководству страны долго не приносило желаемого успеха. Он предлагал комплексное возрождение славяноведения в стране, но все же преиму-

щественно на филологической основе (хотя планировал организовать Кабинет славянских народов в Институте истории и сектор славянских древностей в Институте истории материальной культуры, кабинет славянской этнографии в Институте этнографии)⁶⁵.

Но все же лед тронулся. 23 января 1939 г. Н. С. Державин писал С. Б. Бернштейну: «Положение на нашем славяноведном фронте улучшается, и по окончании выборов новых академиков, чем у нас занят почти весь январь, мы будем иметь: Сектор истории славянских народов в Институте истории и Сектор истории славянских литератур в Институте литературы. Кроме того, как Вы наверное знаете, в Институте языка и мышления у нас работает группа славянских языков. В прошлом году я предпринял в этом смысле целый ряд шагов, вплоть до специального доклада В. М. Молотову о катастрофическом положении у нас славяноведения и о необходимости принятия энергичных и срочных мер к восстановлению славяноведения в СССР, разгромленного в Акад[емии] наук бандитами троцкистско-бухаринской банды при попустительстве непременных секретарей, Волгина и его преемника Горбунова. Преемственно их тактику по отношению к славяноведению продолжал вести до последнего времени Деборин, но и эту последнюю преграду мне удалось сломить. Написанное недавно на эту же тему мое письмо на имя редакции „Историка-марксиста“, в котором я настаиваю на возрождении у нас славяноведения и на его постановке до такой высоты, чтобы СССР стал мировым центром славяноведения, доведено редактором „Историка-марксиста“ тов. Ярославским до сведения тов. Сталина и Жданова. Таким образом, сейчас мы стоим перед открытием широчайших возможностей развития славяноведных изучений в СССР. Я не настаивал на восстановлении Института славяноведения, разгромленного, как сейчас уже выяснено с полной очевидностью, врагами народа, потому, что у нас нет сейчас для организации объединенного Института достаточного количества сил, и потому предпочел говорить о создании в соответствующих Институтах соответственных секторов. Я предполагаю, что в Инст[итуте] языка и мышления найдется место и для Вас, если не для постоянной работы, на первых порах, то, по крайней мере, для периодических наездов и докладов, оплачиваемых Институтом»⁶⁶.

В письме тому же адресату от 16 февраля 1939 г. он добавлял: «О восстановлении Института славяноведения сейчас не может быть и речи, ввиду отсутствия необходимых кадров. Сейчас идет речь о расширении Сектора славянских языков в ИЯМ'е; Сектор истории славянских народов в Инст[итуте] истории уже утвержден Президиумом⁶⁷. Сейчас мы ждем утверждения Сектора истории славянских литератур — в Инст[итуте] литературы. Если эти три организации получат в АН необходимое оформление, можно будет работать»⁶⁸.

Эти документы ясно свидетельствуют о том, что письмо к Молотову и другие усилия Державина, наконец, возымели отклик у партийных властей и затем получили одобрение в Президиуме АН СССР. Однако удалось реализовать возрождение только исторической славистики. Встает неизбежный вопрос — почему так произошло?

Причин здесь, видимо, несколько. Историческая наука к концу 1930-х гг. уже прочно встала на рельсы марксизма-ленинизма (большинство же филологов-славистов марризм как выражение истинного марксизма в языкознании не принимало) и всегда была более идеологически «управляема», охотно выполняла «социальный заказ» властей. Славянская филология носила клеймо «пособницы фашизма», и в период борьбы СССР за создание антифашистской коалиции возрождение такой науки было неоправданно. Не исключено также, что историки В. И. Пичета, Б. Д. Греков, А. Д. Удальцов, также боровшиеся за возрождение исторической части славяноведения, пользовались большим авторитетом и доверием у властей, чем Н. С. Державин.

К сожалению, наши усилия найти в архивах докладные записки историков в высшие инстанции не увенчались успехом. Многие фонды бывших партийных архивов оказались закрытыми для исследователей. Но такие документы, безусловно, были, и они попали в хорошо подготовленную Н. С. Державиным и В. П. Золотовым почву. Из неопубликованной статьи Б. М. Руколь, хранящейся в нашем личном архиве, известно только, что существовала составленная в 1939 г. «Записка о развитии славяноведения в СССР», написанная руководством Института истории, которая находилась в личном архиве А. К. Целовальниковой, ученого секретаря Сектора славяноведения названного института АН СССР. В ней указывалось на «целесообразность и необходимость поднять эту отрасль знания именно в нашей стране, в центре развития единственно научной исторической мысли, своей политикой привлекающей симпатии всех прогрессивных слоев славянских стран». К сожалению, Б. М. Руколь ограничилась в своей статье только небольшой выдержкой из этого важного документа. Но и она свидетельствует о том, что сугубо научный аргумент о том, что СССР должен иметь приоритет во всех областях знания по сравнению с «буржуазной» наукой и быть полпредом утверждения в ней марксистских идей, получал политическое звучание и мог задеть чувствительные струны сталинского патриотизма.

Таким образом, внешнеполитические и национально-патриотические факторы во всей их взаимоисключающей противоречивости, хотя и создавали необходимый фоновый контекст для принятия решений по возрождению славяноведения, но, несомненно, решающее слово было за субъективным фактором — поистине титаническими усилиями ведущих советских славистов, даже под угрозой репрессий пытавшихся убедить

партийное руководство страны в необходимости развития этой важной гуманитарной науки. И убедили их окончательно, видимо, не интересы внешней и внутренней политики, а патриотические соображения национального престижа науки.

Решения по возрождению историко-славистических центров были приняты в первую очередь, ибо именно здесь на марксистской основе могла вестись необходимая властям целенаправленная пропаганда. Что касается восстановления славянской филологии, то на реализацию этого шага, видимо, лишь немного тогда не хватило времени, ибо заключение пакта Молотова–Риббентропа в августе 1939 г. серьезно затормозило этот процесс. Ведь славянская филология несла мощный заряд славянской солидарности (сознания духовно-культурной общности), который теперь приглушался из-за возможных обвинений в панславизме. Думается, что и решения по возрождению исторической славистики после заключения пакта вряд ли бы состоялись, ибо договор беспринципно заключался с «исконным» врагом славян, к тому же обвиняющим их в «расовой неполноценности».

Не случайно, что одними из первых шагов «легализованных» отечественных историков-славистов стало решительное публичное отмежевание славяноведения от «реакционного» панславизма. На заседании Ученого совета Института истории АН СССР от 23 июня 1939 г. приняли решение о написании «программных» статей ведущими сотрудниками Сектора славяноведения З. Нееды и В. И. Пичетой с изложением позиции по этому вопросу советских историков⁶⁹. И такие статьи действительно были опубликованы в журнале «Историк-марксист».

Но еще ранее, не исключено, что при каком-то прямом или косвенном участии тех же авторов и, вероятнее всего, специалиста по истории славянской идеологии С. А. Никитина, в журнале «Большевик» в мае 1940 г. была опубликована историческая справка «О панславизме». Поводом для нее послужили события, связанные с присоединением к СССР западных украинских и белорусских земель по секретному протоколу, приложенному к пакту Молотова–Риббентропа. Эта «аннексия» спровоцировала политическую кампанию, поднятую в английской и французской прессе по обвинению большевиков в переходе «советской внешней политики на рельсы панславизма». 10 мая 1940 г. в центральных газетах было опубликовано сообщение ТАСС, опровергающее подобные «лживые слухи» «продажных» капиталистических репортеров⁷⁰.

Авторы справки проявили осведомленность в вопросе о развитии славянской идеи в Польше, Австрийской империи и России, начиная с XVIII в. Но панславизм, невзирая на все его модификации («славянская взаимность», славянофильство, австрославизм, неославизм и пр.)⁷¹, упрощенно трактовался здесь только как «политическое объединение славян под эгидой России» и, соответственно, представлялся в аспектах внешней и внут-

ренной политики как «течение насквозь реакционное». В области внешней политики «идеи русского панславизма», по категоричному мнению авторов справки, «служили интересам царизма и русской буржуазии в их захватнической политике на Балканах»⁷². Тем самым начисто игнорировалась национально-освободительная миссия России в этом регионе.

Совершенно неосновательно панславизм, всегда направленный на внешнее объединение славян, отождествлялся с политикой русификации окраин империи и панрусизмом. «В области внутренней политики, — говорилось в справке, — русский панславизм означал подавление и удушение таких национальностей, как украинцы, белорусы, поляки и т. д., свирепую русификацию»⁷³. Соответственно, «национальная политика СССР, обеспечивающая полное политическое, экономическое и культурное равенство и всестороннее развитие всех народов Советского Союза независимо от их расового происхождения, не имеет ни малейшего отношения к панславизму»⁷⁴.

Авторы справки всячески открещивались от отождествления приписываемой царскому правительству панславистской внешней политики от заграничных акций СССР. Они утверждали, что «завоевательные стремления русского царизма... совершенно несовместимы с политической задачей и принципами внешней политики социалистического государства, рассчитанной на укрепление мира и базирующейся на уважении независимости других народов и развитии добрососедских отношений со всеми странами, желающими жить в мире с Советским Союзом»⁷⁵.

«Поджигатели войны, — утверждалось в справке, — распространяя клеветнические слухи о переходе внешней политики Советского Союза на рельсы панславизма, пытаются посеять недоверие среди славянских народов балканских стран к миролюбивой политике СССР». Понятно, что такое яростное отмежевание от политики панславизма, выраженное в главном теоретическом органе партии, отвечало стремлению советского руководства не осложнять отношений не столько с балканскими странами, сколько с Германией после заключенного пакта о ненападении 1939 г. и его курсу на отсрочку начала войны.

В 1941 г. в журнале «Историк-марксист» (№ 2) была опубликована статья З. Неядлы «К истории славяноведения до XVIII века», в которой анализировались славистические исследования в Европе с древности до века Просвещения. В преамбуле статьи автор выразил свое понимание панславизма и его отношения к славяноведению. Он утверждал, что хотя «славянская филология» возникла как часть общей системы филологической науки», но сразу же «стала играть и политическую роль». И здесь эта научная дисциплина не была исключением: германистика «содействовала усилению самосознания немецкой пробуждающейся буржуазии», а ориенталистика использовалась в интересах «колониальной по-

литики» европейских держав. После такого упрощенного утрирования связи науки с политикой Неедлы приходил к заключению, что «идеями панславизма проникнуты работы русских славистов». Ради справедливости он указал на тесную связь со славянской идеологией и в зарубежной славистике: «Ту же программу в своей основе, правда с различными вариантами, имело и большинство славистов XIX в. Естественно, что славистика стала опорой, столпом реакции». Тем самым он как бы оправдывал негативное отношение к славяноведению после Октябрьской революции. Но чтобы показать необходимость ее возрождения, З. Неедлы утверждал, что в «реакционности» виновата не сама наука «изучения славянских народов», а ее ориентация на царскую Россию «как на самую могущественную самостоятельную политическую славянскую силу». И потому «отречение от старого мира» с падением царской России должно было «знаменовать и в славистике крупный революционный переворот». В том, что это сразу не произошло, он лукаво обвинил самих славистов, которые «на первых порах просто-напросто забросили эту область». Выход из этого трудного положения он видел в энергичной работе по направлению исторической славистики «по марксистскому пути»⁷⁶.

В третьем номере названного журнала за 1941 г. эта тема была продолжена в статье В. И. Пичеты «К истории славяноведения в СССР», обозревавшей основные труды дореволюционных российских славистов. Автор также заклеил связь старого славяноведения с «реакционной» панславистской и славянофильской идеологией. Он утверждал: «Представители дворянского и буржуазного славяноведения, находясь под влиянием реакционного славянофильского и панславистского учения, были сторонниками объединения славян под властью царской России. Исследователи затушевывали ту реакционную политику, которую проводило царское правительство на Балканах под предлогом освобождения славян от турецкой неволи. Славянофилы и панслависты, точнее, панруссисты, выступали в качестве глашатаев захватнической политики на Балканах»⁷⁷.

Досталось от него и славянской филологии. Он писал: «Филологи-слависты вслед за чешскими славистами выступали сторонниками теории о праславянской семье и первоначальном единстве древнеславянского языка. Исходя из теории славянской прародины, ими была создана теория расселения славян и образования вследствие колонизации трех ветвей славянства: южного, восточного и западного. Противопоставляя славянский мир западноевропейскому, филологи-слависты выступали сторонниками особого пути в историческом развитии славянских народов, они старались доказать необходимость самодержавия и православия в России как исконных начал славянства»⁷⁸.

Как видим, неосновательно приписывая филологам-славистам мысли, высказывавшиеся славянскими идеологами об особом пути развития

славянского мира, В.И.Пичета уже не обвинял славянскую филологию в пособничестве фашизму и расизму (что было бы политически некорректно в условиях действия советско-германского договора). Как и З. Недлы, В.И.Пичета пришел к выводу, что возрождение славяноведения в нашей стране возможно только путем резкого отмежевания от «реакционного» панславизма и всех проявлений славянской идеологии, от политики царской России, путем критического переосмысления «ценного по своему конкретному материалу» «буржуазного наследства». К успеху, по его мнению, приведет только «коренной пересмотр всех вопросов, связанных с историей славянства, и постановка новых проблем для научного исследования на основе марксистско-ленинской методологии»⁷⁹.

В канун Великой Отечественной войны делались некоторые послабления русскому патриотизму — был несколько умерен «антирелигиозный пыл партийных богоборцев», освобождены из тюрем и лагерей многие верующие и священники, поощрялся выпуск патриотических советских кинофильмов и произведений литературы и пр.)⁸⁰. Сам И.В.Сталин вознамерился по-новому разъяснить связь между национальными и интернациональными основами патриотизма. В беседе с генеральным секретарем Исполкома Коминтерна Г.М.Димитровым в мае 1941 г. он сказал: «Нужно развивать идеи сочетания здорового, правильно понятого национализма с пролетарским интернационализмом. Пролетарский интернационализм должен опираться на этот национализм». Между ними «нет и не может быть противоречия». В то же время «безродный космополитизм, отрицающий национальные чувства, идею родины, не имеет ничего общего с пролетарским интернационализмом. Этот космополитизм подготавливает почву для вербовки разведчиков, агентов врага»⁸¹. Еще ранее, на XVIII съезде партии в 1939 г. он обвинил в «космополитизме», «низкопоклонстве» и «пресмыкании» перед заграницей недавно разоблаченных «врагов народа» — «троцкистско-бухаринскую кучку шпионов, убийц и вредителей»⁸².

Таким образом, постепенный отказ от национального нигилизма и пролетарского «космополитизма» в политике и культуре СССР, тем не менее, не привел к существенному повороту в реабилитации славянской идеологии. Напротив, в условиях действия советско-германского договора 1939 г. и курса на всемерное оттягивание начала войны (из опасения хоть как-то спровоцировать агрессора) из пропаганды были исключены всякие упоминания о славянской солидарности в прошлом и настоящем, всячески разоблачалась «реакционная сущность» панславизма и любое посягательство на отождествление его с целями и задачами советской внешней политики. Что касается славяноведения, то само право на существование этой науки можно было отстоять только путем гневного отречения от дореволюционного, «насквозь пропитанного пансла-

вистскими идеями» славяноведения и декларированием его возрождения на «кристально-чистой», сугубо классовой основе марксистско-ленинской методологии.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ *Колейка Й.* Славянские программы и идея славянской солидарности в XIX и XX веках. Прага, 1961; *Дьяков В. А.* Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. М., 1993; *Рожина Г. В.* Ян Коллар и Россия: История славянской взаимности в российском обществе первой половины XIX в. Йошкар-Ола, 1998 и др.
- ² *Досталь М. Ю.* Всеславянский аспект теории официальной народности // Славяноведение. 1999. № 5. С. 52–59.
- ³ *Досталь М. Ю.* И. И. Срезневский и славянская идея // Берасцейскі хранограф. Зборнік науковых прац. Брэст, 2002. С. 14–20; *Она же.* И. И. Срезневский и его связи с чехами и словаками. М., 2003; Первая лекция О. М. Бодянского в Московском университете 24 сентября 1842 г. // Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1986. С. 275–303; *Она же.* Тенденции романтизма в славистическом творчестве В. И. Григоровича // Профессор Виктор Иванович Григорович. Тезисы докладов областных научных чтений, посвященных 175-летию со дня рождения ученого-слависта. Одесса, 1991. С. 34–36; *Она же.* Становление славистики в Московском университете в свете архивных находок. М., 2005. С. 36–37; *Лаптева Л. П.* История славяноведения в России в XIX в. М., 2005 и др.
- ⁴ *Зайончковский П. А.* Кирилло-Мефодиевское общество (1846–1847). М., 1958; Кирило-Мефодіївське товариство. Київ, 1993. Т. 3.
- ⁵ *Досталь М. Ю.* Всеславянский аспект... С. 57; *Она же.* «Славянский вопрос» в мировоззрении графа С. С. Уварова // Славянский альманах. 1997. М., 1998. С. 114–115.
- ⁶ *Никитин С. А.* Славянские комитеты в России в 1858–1875 гг. М., 1960.
- ⁷ А. Н. Пыпин и проблемы славяноведения. Москва; Ставрополь, 2005.
- ⁸ *Дьяков В. А.* Славянский вопрос в дореволюционной России. М., 1993.
- ⁹ *Неедлы З.* К истории славяноведения до XVIII века // Историк-марксист. 1941. № 2. С. 81; *Личета В. И.* К истории славяноведения в СССР // Историк-марксист. 1941. № 3. С. 62.
- ¹⁰ *Ненашева З. С.* Идеино-политическая борьба в Чехии и Словакии в начале XX в.: Чехи, словаки и неославизм. 1898–1914. М., 1984.
- ¹¹ Подробнее см.: *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 — начало 1930-х годов). М., 2004.
- ¹² *Бернштейн С. Б.* Трагическая страница из истории славянской филологии (30-е годы XX века) // Советское славяноведение. 1989. № 1. С. 77–82; *Горяинов А. Н.* Славяноведы — жертвы репрессий 1920–1940-х годов. Некоторые неизвестные страницы по истории советской науки // Советское славяноведение. 1990. № 2. С. 78–89; *Горяинов А. Н., Петровский Л. П.* Тоталитаризм и славяноведение: к изучению источников по истории советской науки 20-х — начала 50-х годов // Тоталитаризм. Исторический опыт Восточ-

- ной Европы. М., 1995. С. 255–280; *Горяинов А. Н.* В России и эмиграции: очерки о славяноведении и славистах первой половины XX века. М., 2006. С. 23 и др.
- 13 *Логачев К. И.* Советское славяноведение до середины 1930-х годов // Советское славяноведение. 1978. № 5. С. 91–105 и др.
- 14 Цит. по: *Горяинов А. Н.* «Славянская взаимность» в трактовке советской историографии 1920–1930-х годов // Славянская идея: история и современность. М., 1998. С. 149.
- 15 *Бернштейн С. Б.* Зигзаги памяти. Воспоминания. Дневниковые записи. М., 2002. С. 67.
- 16 *Алпатов В. М.* История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991; *Он же.* Что такое марксизм в языкознании // Общее и восточное языкознание. Сборник научных трудов, посвященных 70-летию члена-корреспондента РАН В. М. Солнцева. М., 1999. С. 8–19.
- 17 Первым обратил внимание на этот доклад С. Б. Бернштейн в статье: *Бернштейн С. Б.* Трагическая страница из истории славянской филологии (30-е годы XX века) // Советское славяноведение. 1989. № 1. С. 81–82.
- 18 *Димитров Д. Д.* Славянская филология на путях фашизации (К характеристике ее состояния на Западе) // Язык и мышление. 1935. № 5. С. 133. См. также: *Горяинов А. Н.* «Славянская взаимность» в трактовке советской историографии... С. 154–155.
- 19 *Державин Н. С.* От филологического формализма к марксистско-ленинской методологии // Вестник Академии наук СССР. 1931. № 10. Стлб. 42.
- 20 Там же. См. также: *Аксенова Е. П.* Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М., 2000. С. 63–64.
- 21 *Робинсон М. А.* К истории создания Института славяноведения в Ленинграде (1931–1934 гг.) // Славянский альманах. 2004. М., 2005. С. 210–239 и др.
- 22 *Робинсон М. А., Петровский Л. П.* Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой: проблема евразийства в контексте «дела славистов» (по материалам ОГПУ-НКВД) // Славяноведение. 1992. № 4. С. 68–82; *Ашинин Ф. Д., Алпатов В. М.* «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994.
- 23 *Ашинин Ф. Д., Алпатов В. М.* «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994. С. 70–71.
- 24 Там же.
- 25 Цит. по кн.: *Кикешев Н. И.* За други свои. М., 2005. С. 122–123. См. также: *Мировые войны XX века.* Кн. 3. Вторая мировая война. Исторический очерк. М., 2002. С. 27–28.
- 26 Цит. по: *Создадим единый фронт славян против гитлеризма* // Славяне. 1942. № 1. С. 11.
- 27 XVII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б) 26 января — 16 февраля 1934 г. М., 1934. С. 12. См. также: *Дубровский А. М.* «Весь славянский мир должен объединиться»: идея славянского единства в идеологии ВКП(б) в 1930–1940-х годах // Проблемы славяноведения. Сборник научных статей и материалов. Брянск, 2000. Вып. 1. С. 197.
- 28 Там же.
- 29 Подробнее см.: *Коминтерн и советско-германский договор о ненападении* // Известия ЦК КПСС. 1989. № 12; *Макдермотт К., Агню Д.* Комин-

- терн. История международного коммунизма от Ленина до Сталина. М., 2000. С. 176–196.
- 30 *Белявская И. М., Очак И. Д.* Некоторые проблемы истории зарубежных славянских народов // Славянская историография. М., 1966; *Горяинов А. Н.* Советская славистика 1920–1930-х годов // Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981. С. 5–21.
- 31 Подробнее см.: *Макдермотт К., Агню Д.* Коминтерн... С. 160–175.
- 32 Цит. по: Против фашистской фальсификации истории. М., 1939. С. 3.
- 33 *Нотович Ф. И.* Фашистская историография о «виновниках» мировой войны // Против фашистской фальсификации истории. С. 386.
- 34 Там же. С. 378.
- 35 Там же. С. 379.
- 36 Подробнее см.: Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. М., 1999.
- 37 *Шустер У. А., Джервис М. В.* Германо-фашистские тенденции в современной польской историографии // Против фашистской фальсификации истории. С. 433.
- 38 Там же. С. 434.
- 39 Там же. С. 435.
- 40 Там же. С. 445.
- 41 Там же. С. 442.
- 42 Там же.
- 43 Некоторое исключение в этом сборнике составляла статья Н. П. Грацианского, которая была направлена на развенчание фашистских утверждений о неполноценности «низшей» славянской расы по отношению с «высшей» германской. Он пришел к выводу, многократно повторенному в статьях периода Великой Отечественной войны, что «исконность германских поселений и мифические „остатки“ за Эльбой, мнимая „некультурность славян“, как представителей якобы „низшей“ расы по сравнению с „высшей“ германской расой, мнимая культурная миссия немцев, связанная с „искоренением“, т. е. истреблением и онемечиванием туземцев, фактическая „чистота“ немецкой крови на территории позднейшего Бранденбургско-прусского государства, идеализация хищнической деятельности Тевтонского ордена и пограничных князей, обвинение пап и римско-католической церкви в крушении восточной колонизации, — всё это фальшь и обман, всё это чистые проявления „воинствующей фашистской псевдо-науки“ как средства „политического воспитания“ масс в духе звериного шовинизма». См.: *Грацианский Н. П.* Немецкий «Drang nach Osten» в фашистской историографии // Против фашистской фальсификации истории. С. 155.
- 44 См., например, новейшее исследование: Чехия и Словакия в XX веке. Очерки истории. М., 2005. Кн. 1. С. 167–187.
- 45 *Марьина В. В.* Славянская идея в годы Второй мировой войны (К вопросу о политической функции) // Славянская идея: веки истории. М., 1997. С. 171.
- 46 Подробнее см.: *Вдовин А. В.* Эволюция национальной политики СССР. 1917–1941 гг. // Вестник Московского университета. Серия 8. История. М., 2002. № 3. С. 16 и др. Дошло до того, что русские патриоты К. Минин и князь Д. Пожарский, избавившие Россию от Смуты, пролетарским поэтом

Демьяном Бедным глумливо представлялись как «исторических два конокрада», их памятник он призывал «взорвать динамитом» и вместе с другим «историческим хламом» сметать с площадей и пр.

47 Там же. С. 22–25.

48 Там же. С. 23.

49 Историческая наука в Московском университете. 1755–2004. М., 2004. С. 18.

50 *Вдовин А. В.* Эволюция национальной политики СССР. 1917–1941 гг. С. 25.

51 Историческая наука... С. 18.

52 *Вдовин А. В.* Эволюция национальной политики СССР. 1917–1941 гг. С. 43–48.

53 См.: I. Sjezd slovanských filologů v Praze 1929. Bibliografie. Praha, 1968;

Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od roku 1760.

Biograficko-bibliografický slovník. Praha, 1972; *Kudělka V., Šimeček Z., Štásmý V.,*

Večerka R. Československá slavistika v letech 1918–1939. Praha, 1977; *Słowiano-*
znawstwo w okresie międzywojennym (1918–1939). Wrocław, 1988 и др.

54 Подробнее см.: *Досталь М. Ю.* Печатные источники для изучения истории

славистики русского зарубежья (Чехословацкий славистический центр) //

Славистика СССР и русского зарубежья 20–30-х годов XX века. М., 1992.

С. 38–52; *Паушто В. Т.* Русские историки эмигранты в Европе. М., 1992;

Серационова Е. П. Российская эмиграция в Чехословацкой республике (20–

30-е годы) М., 1995; Русская эмиграция в Югославии. М., 1996; Русское за-

рубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический

биографический словарь. М., 1997; *Бирман М. А., Горяинов А. Н.* Рос-

сийские интеллектуалы-эмигранты в Болгарии 1920–1930-х годов // Новая

и новейшая история. 2002. № 1. С. 173–193 и др.

55 Подробнее см.: *Досталь М. Ю.* Печатные источники для изучения истории

славистики русского зарубежья... С. 47–48.

56 *Досталь М. Ю.* Русские эмигранты и советские слависты: к проблеме взаи-

моотношений // Российские ученые-гуманитарии в межвоенной Чехослова-

кии. Сборник статей. (В печати).

57 Цит. по: *Аксенова Е. П.* «Изгнанное из Академии» (Н. С. Державин и академиче-

ское славяноведение в 30-е годы) // Советское славяноведение. 1990. № 5. С. 75.

58 Там же.

59 *Горяинов А. Н.* «Славянская взаимность» в трактовке советской историо-

графии... С. 150.

60 ПФ АРАН. Ф. 827. Оп. 3. Д. 134. Л. 18–22 и др.

61 *Аксенова Е. П.* Очерки из истории отечественного славяноведения... С. 134.

62 Там же.

63 Там же.

64 Там же. С. 137.

65 Там же. С. 134.

66 Письма Н. С. Державина С. Б. Бернштейну (1936–1950) с приложением письма

С. Б. Бернштейна Н. С. Державину (1948) / Вступ. ст. и примеч. М. Ю. Досталь //

Славянский альманах 2005. М., 2006. С. 503.

67 Подробнее см.: *Досталь М. Ю.* Сектор славяноведения Института истории

АН СССР // Славянский альманах 2002. М., 2003. С. 253–290. Постановле-

ние Президиума АН СССР об организации этого Сектора было принято в

- конец 1938 г. Он начал свою работу с 25 февраля 1939 г., см.: 50 лет советской исторической науки. 1917–1967. Хроника научной жизни. 1917–1967. М., 1971. С. 213.
- 68 Письма Н. С. Державина С. Б. Бернштейну... С. 506.
- 69 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 22. Л. 58–60 об.
- 70 Подробнее см.: *Дубровский А. М.* «Весь славянский мир должен объединиться»: идея славянского единства в идеологии ВКП(б) в 1930–1940-х гг. // Проблемы славяноведения. Брянск, 2000. Вып. 1. С. 198–199.
- 71 См.: *Рокина Г. В.* Ян Коллар и Россия...; *Она же.* Теория и практика славянской взаимности в истории словацко-русских связей XIX века. Казань, 2005; *Досталь М. Ю.* Славянский мир и славянская идея в философских построениях и «практике» ранних славянофилов // Славянский альманах. 2000. М., 2001. С. 85–95; *Ненашева З. С.* Идеино-политическая борьба в Чехии и Словакии в начале XX в.; *Дьяков В. А.* Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. М., 1993; *Павленко О. В.* Панславизм // Славяноведение. 1998. № 6. С. 43–60; Серия статей о югославизме, великохорватской идее, украинофильстве в журнале «Славяноведение» (1988. № 5 и др.).
- 72 О панславизме (Историческая справка) // Большевик. 1940. № 10 (май). С. 89.
- 73 Там же. С. 86.
- 74 Там же. С. 89.
- 75 Там же. С. 86.
- 76 *Неедлы З.* К истории славяноведения до XVIII века // Историк-марксист. 1941. № 2. С. 81.
- 77 *Пичета В. И.* К истории славяноведения в СССР // Историк-марксист. 1941. № 3. С. 62.
- 78 Там же.
- 79 Там же.
- 80 Подробнее см.: *Вдовин А. И.* Национальный вопрос и национальная политика СССР в годы Великой Отечественной войны: мифы и реалии // Вестник Московского университета. Серия 8. История. М., 2003. № 5. С. 27.
- 81 Цит. по: *Марьина В. В.* Дневник Г. Димитрова // Вопросы истории. 2000. № 7. С. 42.
- 82 XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М., 1939. С. 26.

**Греко-католическая церковь в Восточной Европе.
К вопросу о взаимосвязи национального
и конфессионального факторов в политике
(40–50-е гг. XX в.)***

Греко-католическая церковь не самый древний и не самый многочисленный вероисповедный институт в Восточной Европе. Его возникновение явилось результатом многовекового противостояния здесь древнейших религий — католицизма и православия. Такое геополитическое «размещение» конфликта двух христианских церквей вовсе не было исторической случайностью. Он зародился и развивался, как правило, на приграничных территориях королевской Венгрии, Австро-Венгерской и Российской монархий, где проживало многонациональное и по вере неоднородное население. Здесь национально-государственные интересы и внутренняя политика численно преобладавшей государственно-образующей (католической или православной) наций далеко не всегда соответствовали интересам национально и политически притесняемых меньших по численности, и главным образом православных, инонациональных этносов.

Борьба католической и православной церквей на указанных территориях была длительной и завершилась в XVI–XVII вв. переходом значительной части православных церковных приходов украинского, белорусского, словацкого, а на рубеже XVII–XVIII вв. румынского населения и малочисленных православных венгров под контроль Ватикана¹. Священнослужители и прихожане этих приходов приняли католическое вероучение, но по условиям соглашений со Святой столицей сохранили за собой православные храмы и некоторые обряды. Принципиально важным для «новообращенцев», показывающим их связь с верой предков было право проведения богослужения на церковнославянском и национальном языках, а не на латыни как в римско-католической церкви. Бывшие православные, принявшие унии с Ватиканом, стали именоваться униатами или греко-католиками, католиками восточного обряда.

По итогам Первой мировой войны и в результате появления на развалинах европейских империй ряда независимых государств в их составе оказалось, как правило, инонациональное греко-католическое население. Оно

* Статья подготовлена в рамках проекта «Власть и религиозные институты в Европе и России XIX–XX вв.» Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Власть и общество в истории».

теперь было рассечено новыми государственными границами и, за исключением Румынии, утратило компактную прежде территорию своего национального проживания. Наиболее крупные группы униатов оказались в межвоенное время в Польше и Румынии, а также в Чехословакии. Существенно меньшей была численность униатов в Венгрии и Югославии². Причем если в Румынии и в Венгрии к униатам принадлежала часть титульной нации (румынской православной — в одном случае и венгерской католической — в другом), то в католической Польше и в поликонфессиональной, но с политическим и численным преобладанием православия Югославии унию исповедовали главным образом украинцы. Немногочисленные униатские «колонии» украинцев существовали также в Румынии и Венгрии. В Чехословакии, точнее, в Словакии греко-католическим была заметная часть словацкого и венгерского населения. Униаты-украинцы заселяли здесь в основном территорию Подкарпатской Руси³.

Принципиальное изменение национально-государственной карты восточноевропейского района континента после Первой мировой войны и внутренняя политика господствующих наций в многонациональных «малых» странах породили, в качестве политической, проблему далеко не всегда малочисленных национальных меньшинств. Национальное неравноправие — в одних странах региона, прямое национальное подавление и политика национально-государственной ассимиляции — в других, привели в межвоенное время к резкому подъему национально-освободительных настроений, сепаратистских движений и националистических организаций, прямо угрожавших целостности «молодых» независимых государств. Греко-католическая церковь, будучи основной для представителей ряда национальных меньшинств, в разной, порой решающей мере поддерживала национально-освободительные настроения своих прихожан, а ее духовенство участвовало в сохранении национального облика народа, выступая его религиозным, духовным и национальным наставником.

Наиболее массовым и политически организованным в регионе уже с конца 20-х гг. стало зародившееся еще в XIX в. украинское национально-сепаратистское движение, движение самого крупного национального меньшинства, рассеченного границами целого ряда государств. Оно было представлено разными по степени радикализма политическими течениями: от либерально-соглашательского до радикального, идейно тяготевавшего к фашизму, а политически к Германии. Связующими факторами в движении выступали общность заявленной цели — создание независимой соборной Украины из всех территорий, населенных украинцами, и общность вероисповедания⁴.

Именно Украинская греко-католическая церковь являлась одним из главнейших институтов, поддерживавших национальную жизнь миллионов украинцев, проживавших в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румы-

нии, Югославии. Она представляла как хранительница национальной самобытности и обособленности существования украинцев среди представителей титульных славянских и неславянских наций — католиков или православных по вере. Но главное, эта церковь поддерживала сепаратистские устремления своих прихожан, морально и идейно вдохновляла национально-политические замыслы руководителей украинского национального движения и тем самым становилась уже в межвоенное время одной из политических составляющих этого движения.

Причем основным «полем» борьбы украинских сепаратистов за создание соборной Украины в межвоенный период была Польша, власти которой вели систематическую политику национального подавления нескольких миллионов украинцев, по вероисповеданию главным образом униатов, компактно проживавших на юго-востоке страны. Здесь же, во Львове, располагался и религиозный центр униатов — Галицко-Киевская митрополия. После создания в 1929 г. в Берлине Организации украинских националистов (ОУН), которая вскоре стала определять радикальный политический характер всего украинского национально-сепаратистского движения, сеть ее организационных структур покрыла юго-восточные воеводства страны. Тогда же были установлены контакты митрополии с руководством ОУН⁵. Произошедшее соединение национального и конфессионального факторов в достижении заявленной политической цели означало серьезную угрозу территориальной целостности Польши. Заметным влиянием ОУН было охвачено украинское население и Чехословакии, где епископом всех униатов, украинцев и словаков, был украинец (русин) М. Гойдич⁶.

Отметим, это были страны с разными политическими режимами и задача национального угнетения и ассимиляции украинцев в демократической Чехословакии, в отличие от авторитарной Польши, никогда не ставилась. Как показало ближайшее будущее, угроза целостности чехословацкого государства исходила от другой национальной «стороны» — словацкой. Тем не менее первая попытка приступить к созданию самостоятельного украинского государства была предпринята именно на территории Чехословакии. В условиях начавшегося в 1938 г. расчленения этой страны населенная украинцами Подкарпатская Русь стала рассматриваться украинскими националистами как плацдарм для осуществления своих национально-политических замыслов. В марте 1939 г. здесь было создано правительство во главе с униатским священником А. Волошиным, объявившее о независимой государственности Подкарпатской Руси⁷. Попытка оказалась крайне неудачной, так как не соответствовала планам гитлеровской Германии и интересам соседней Венгрии, не говоря уже о Словакии. «Развязка» создавшейся ситуации (венгерские войска заняли территорию Руси и распустили украинское прави-

тельство) наглядно показала, что «украинский вопрос» становился частью большой международной политики.

Вскоре последовало важнейшее тому подтверждение: одной из целей договоренностей Советского Союза и гитлеровской Германии в августе-сентябре 1939 г. современные исследователи с полным основанием считают заинтересованность сторон выгодно для себя решить этот «вопрос»⁸. Гитлер стремился на время избавиться от напрашивавшейся в партнеры и союзники ОУН. Сталин концентрировал украинскую нацию в пределах СССР. Исчезала проблема зарубежной украинской диаспоры и антисоветской эмиграции. И то, и другое было для Москвы крайне важно.

Особую связь конфессионального и национального факторов применительно к греко-католической церкви демонстрировала межвоенная Румыния. После вхождения Трансильвании в ее состав по Трианонскому договору 1920 г. численность и, что главное, национальный состав прихожан этой церкви принципиально изменились. Теперь это были не малочисленные славянские народы, проживавшие в приграничных с соседними государствами зонах Румынии, а крупная группа трансильванских румын-униатов. Они заметно отличались от православных румын Валахии и Молдовы не только верой, но и иным историческим прошлым, обусловившим их опережающее цивилизационное развитие и иной национальный менталитет⁹.

В таких условиях перед румынской элитой, как объективная, вставала неотложная задача консолидации румынской нации в новых государственных границах. Причем если в случае с трансильванскими православными румынами ее решение упрощалось родственностью их веры с большинством населения страны, то ситуация с румынами-униатами была значительно сложнее. Их национально-территориальная обособленность, большая численность (свыше 1 млн человек) «скреплялись» принадлежностью к Румынской греко-католической церкви. Это был подчиненный Ватикану достаточно сильный и богатый вероисповедный институт¹⁰. На церковном «ландшафте» межвоенной Румынии он несколько «потеснил» монопольное православное вероисповедание, к которому принадлежало абсолютное большинство населения страны.

Ориентация греко-католической церкви и ее прихожан на крупнейшую в Трансильвании (и в румынском государстве) Национал-царанистскую партию, во главе которой стоял известный политик Ю. Маниу, униат по вере, придавала политический вес церкви и массовую поддержку партии. Последняя своим составом — от помещиков до безземельных крестьян, как бы демонстрировала национально-политическое и конфессиональное единение существенной части населения Трансильвании. Такое весьма важное обстоятельство должна была учитывать румынская элита в Бухаресте, заинтересованная в закреплении Трансиль-

вании в пределах Румынии и ослаблении ментального и конфессионального «раздвоения» румынской нации. С этой целью по Конституции 1923 г. статус национальной конфессии в стране получили только две церкви: первая — православная и вторая — греко-католическая церковь трансильванских румын. Все прочие вероисповедания считались лишь религиозными объединениями. Позиции греко-католиков существенно укрепились в результате заключения румынским правительством в 1927 г. конкордата с Ватиканом¹¹.

Таким образом, в межвоенной Румынии для предотвращения возможных сепаратистских тенденций, снижения региональных различий и достижения сплочения румынской нации в новом государстве был использован вариант признания вероисповедного равноправия румын, а за греко-католической церковью свободы действующей конфессии. Такое политическое решение властью церковных проблем, безусловно, снижало опасность возникновения противоречий в румынском обществе на религиозной почве.

Вместе с тем складывавшееся положение дел не способствовало быстрому размыванию региональных отличий румын от румын и не продвигало вперед задачу конфессиональной унификации нации, в чем православный Бухарест уже тогда видел гарантии национального сплочения румын и неотчуждаемости Трансильвании. Хотя в национальном сознании подавляющей части румынского общества господствующей оставалась идея тождества понятий «румын» и «православный», которая разделялась и обосновывалась многими представителями румынской интеллигенции¹², тем не менее власть в те годы не предпринимала действенных и решительных мер к массовому и скорому переводу униатов в православие. Популярность и политическая актуальность этой идеи в Румынии заметно усилились после решения Германии и Италии в 1940 г. передать Северную Трансильванию Венгрии, где румыны-униаты оказывались в среде близких по вере венгров-католиков и немцев-протестантов, что не устраняло, но могло несколько снизить остроту межнациональных румыно-венгерских противоречий в этой части Венгрии.

По иному выглядела проблема национально-государственной консолидации в независимой Чехословакии, которая возникла в 1918 г. как многонациональное и поликонфессиональное государство. Греко-католицизм здесь исповедовала только часть словаков и украинского населения Подкарпатской Руси, и не с этой церковью в первую очередь ассоциировались зарождавшиеся в стране национальные противоречия. Достаточно быстро дали о себе знать национальные движения судецких немцев-протестантов в Чешских землях и римо-католиков — словаков и венгров в Словакии. Нараставшие национально-сепаратистские настроения и политические движения украинцев-униатов в соседней Польше

не могли не оказывать воздействия на ситуацию и в Подкарпатской Руси, что проявилось сразу после расчленения Чехословакии накануне Второй мировой войны¹³.

Наиболее серьезными и угрожающими внутренней стабильности межвоенной Чехословакии были возникшие вместе с ее образованием национально-политические противоречия двух государственно-образующих наций — чехов и словаков. Весьма близкие друг другу в этническом, культурном и языковом отношении, эти два народа имели достаточно четко очерченную территорию национального проживания, близкий, но разный язык. Длительный исторический период они испытывали различное преобладающее «внешнее» политическое и конфессиональное воздействие: австро-немецкое — для чехов и венгерское — для словаков. Чехи видели путь к сохранению государства в усилении его централизации и унитарного характера с руководящими позициями в нем чешской элиты и Праги. Иными были представления словацкого населения о своих национально-государственных интересах. Это проявлялось в постоянной борьбе словаков за обретение возможно большей самостоятельности Словакии в рамках Чехословакии и в возникновении национально-политического движения за широкую автономию Словакии, представленного Словацкой народной партией¹⁴.

Не трудно и допустимо предположить, что участниками или сторонниками этого движения являлись и униаты — не самая численно большая группа населения Словакии.

К сожалению, специальные исследования национальных позиций словацких униатов нам не известны. Склонялись ли униатское духовенство и прихожане этой церкви к каким-либо формам государственного сосуществования с чехами, были ли среди них сторонники независимой Словакии? Выяснить это важно, имея ввиду, что весной 1939 г. фактом стало государственно-политическое разделение двух народов. Политическая же активность была на стороне словаков — прихожан римско-католической церкви, представитель которой священник А. Глинка возглавлял Словацкую народную партию. Так в словацком обществе зародилась и оформилась тенденция, не без оснований расценивавшаяся в Праге как словацкий сепаратизм. Автономия, полученная после Мюнхена Словакией (и Подкарпатской Русью) от Праги, пытавшейся таким путем не допустить полного распада Чехословакии, привела к прямо противоположным результатам. В марте 1939 г. с санкции Гитлера была провозглашена отдельная Словацкая республика. В ее состав не была включена территория Подкарпатской Руси, которая отошла к Венгрии¹⁵.

Исследователи считают, что 1939–1945 гг., время существования Словацкой республики, стали тем периодом в истории словацкого народа, когда «словаки окончательно ощутили себя сложившейся нацией не

только в этническом, но и в политическом смысле. Возросли их самосознание и уверенность в том, что словацкий народ может самостоятельно распоряжаться своей судьбой, не ожидая указаний извне, в том числе и с чешской стороны»¹⁶. Провозглашение республики и ликвидация зависимости от Праги одобрялись большинством населения, и словаки-униаты вряд ли были здесь исключением. Произошло закрепление в общественном сознании права и возможности самостоятельного существования словаков как нации.

Особую роль в становлении Словацкой республики и утверждении клерикального политического режима сыграла Словацкая римско-католическая церковь, представитель которой священник Й. Тисо стал президентом страны. Что касается греко-католической церкви, родственной римо-католикам, то, вряд ли, позиции ее словацких священнослужителей и прихожан по вопросу отделения Словакии от Чехии были принципиально иными. Тем не менее многонациональный характер униатов Словакии (словаки, украинцы, венгры) и обусловленное этим обстоятельством отсутствие единства в понимании национально-политических интересов не могли не оказывать воздействия на отношение этой церкви к установленному политическому режиму. Греко-католический епископ М. Гойдич, выходец из украинской (русинской) семьи, не принимал словацкого национализма, который лежал в основе идейно-политических принципов тисовского режима, стремился защищать национальные интересы русинского населения и, будучи христианином, отвергал террор против евреев. Это определило сложный характер взаимоотношений епископа с правительством и римско-католическими иерархами Словакии, а также со словацкими прихожанами греко-католической церкви, которые были недовольны тем, что Гойдич во многом опирался на русинское духовенство и верующих. Как пишет современный словацкий историк Я. Пешек, негативное отношение П. Гойдича к режиму Тисо вызвало определенный, но кратковременный кредит доверия послевоенной власти Чехословакии к греко-католической церкви¹⁷.

Установленный клерикалами политический режим, диктат Берлина и присутствие Словакии в фашистском блоке поддерживали далеко не все словаки. Такие настроения нарастали вместе с усилением террористического характера режима Тисо, с поражениями вермахта и победами Красной Армии. Перспективы сохранения независимости Словакии в послевоенной геополитической ситуации становились все менее вероятными, что входило в противоречие с национальными настроениями значительной части словацкого общества и предвещало трудности для национально-политического развития послевоенной Чехословакии.

Вторая мировая война стала временем подъема национальных, в одних случаях — патриотических, в других — сепаратистских, настрое-

ний в Европе. В Хорватии, как и в Словакии, националистические силы, поддержанные Хорватской римско-католической церковью, при прямом участии церковных иерархов, с согласия гитлеровской Германии и фашистской Италии, реализовали разделявшуюся большинством населения идею разрыва с довоенной Югославией. Было провозглашено Независимое государство Хорватия. Возглавляемая архиепископом А. Степинацем, эта церковь определяла внутреннюю, в том числе и национально-конфессиональную политику хорватских сепаратистов — усташей, участвовала в управлении страной и санкционировала принудительное окатоличивание православных сербов. Не препятствовала она и массовому уничтожению сербского населения¹⁸.

Что касается греко-католиков, то их насчитывалось менее 50 тыс. человек, проживавших в основном в северных и северо-восточных пограничных районах довоенной Югославии¹⁹. По национальности это были украинцы, которые поддерживали хорватских националистов в борьбе с Народно-освободительной армией И. Тито. Через украинских униатов деятели ОУН пытались установить взаимодействие с отрядами четников Д. Михайловича, подчинявшихся югославскому правительству в эмиграции. Совсем не случайно в январе 1945 г. именно в районы Словении, населенные украинцами-униатами, перебазировалась из Австрии разбитая на советско-германском фронте украинская дивизия СС «Галиция»²⁰. Но в целом украинцы-униаты не играли сколь-нибудь заметной и особой национально-политической роли в НГХ, и вряд ли режим усташей воспринимался ими как враждебный, поскольку не представлял опасности для их существования и веры.

С осени 1939 г. украинское, самое сильное в регионе национально-сепаратистское движение концентрировалось теперь на советских территориях. Но лидеры движения не решились воспользоваться военным поражением Польши в сентябре 1939 г. и не продекларировали создания соборной Украины: Главный внешнеполитический союзник украинских националистов — гитлеровская Германия нанес их планам сильнейший политический удар. Советско-германские договоренности 1939 г. не оставляли серьезных шансов на успех замыслов украинских националистов.

Национально-сепаратистские и антисоветские настроения украинцев, подпольные организации, существовавшие на Волыни и в Галиции, политическая деятельность ОУН, прихожане и служители греко-католической церкви, ее морально-политическое влияние — все это становилось внутренней проблемой Москвы и Киева. В Кремле, безусловно, помнили о той зловещей роли, которую сыграла в 1938 и 1939 гг. немецкая «пятая колонна» в Чехословакии и Польше. Проведенная новой властью на Западной Украине смена гражданства с польского на советское не изменяла сформировавшихся настроений украинцев.

Что касается Украинской греко-католической церкви, руководящий центр которой также находился на советской территории — как и прежде, во Львове, то в Москве были осведомлены о связях униатского духовенства и лично митрополита Галицкого и Киевского, архиепископа Львовского и епископа Каменец-Подольского Андрея Шептицкого с украинским сепаратистским движением, лидерами ОУН и с Германией Гитлера²¹. Появление столь духовно влиятельного, имеющего контакты с политически враждебным национальным движением и серьезного конкурента в сфере общественного сознания было категорически не нужно Сталину, который только что расправился с Русской православной церковью. Ситуацию на Западной Украине Москва расценивала как прямую политическую угрозу предстоявшей советизации новых территорий, а также внутренней стабильности Украины в целом и территориальной целостности всего государства. Консолидация украинского общества по румынскому варианту здесь не рассматривалась. Незамедлительно последовали репрессивные меры.

Проведенные в 1939–1941 гг. НКВД СССР массовые аресты и депортации на Западной Украине «классово враждебных элементов» на время парализовали украинские (и польские) антисоветские силы, включая подпольные структуры ОУН и политически активное униатское духовенство. Было репрессировано более 70 греко-католических священников. Пресекала власть и попытку А. Шептицкого извлечь для церкви выгоду из факта нахождения Западной Украины в состав УССР и распространить влияние греко-католического духовенства на «старые» районы Украины²².

Началась подготовка к принудительному обращению украинцев-униатов в православие. В 1940 г. в «недрах» НКВД СССР разрабатывался, а в январе 1941 г. доложен Сталину план конкретных мер «в целях разложения униатской церкви». Предполагалось организовать в церкви «течение за отрыв от Ватикана», добиться изоляции Шептицкого, «знаковой» религиозной и национальной фигуры на Западной Украине, от паствы, установить контроль органов НКВД путем замены действующих иерархов «надежными агентами». Названные меры рассматривались в Москве как предпосылки к постепенной ликвидации Украинской греко-католической церкви путем слияния ее с православной²³. Реализация замысла стала временно неактуальной в связи с нападением Германии на Советский Союз в июне 1941 г.

Украинские националисты и иерархи греко-католической церкви восприняли этот факт и стремительное отступление Красной Армии как крушение второго из двух (Польша и СССР) главных противников украинской национальной идеи. Это, как они считали, делало возможным достижение поставленных политических целей. В первые дни пребывания гитлеровцев во Львове было создано украинское правительство, а гали-

цыйская интеллигенция и униатское духовенство обратились к украинскому народу с призывом объединить все «творческие силы» под руководством лидера ОУН С. Бандеры и Гитлера, «...который несет украинскому народу освобождение от большевистского ига и дает возможность построить независимое украинское государство». Митрополит Андрей призвал паству приветствовать «победоносную немецкую армию... как освободительницу от врага» и оккупационной власти «отдать должное послушание»²⁴. «Акция» закончилась крахом, ибо не отвечала ни стратегическим замыслам лидеров III Рейха, ни их планам использования украинских земель уже в годы войны как источника сырья и рабочей силы.

Не допустив конституирования украинской государственности, нацисты арестами членов правительства во Львове, руководителей и актива ОУН, включая представителей греко-католического духовенства на территории Западной Украины, а так же в Польше, самой Германии, Румынии и Хорватии²⁵, обезглавили и поставили под свой контроль деятельность украинских националистов, сохранив для них возможность сотрудничества с оккупантами на антисоветском и антипольском направлениях.

Греко-католическая церковь, которой оккупантами была разрешена свобода религиозной деятельности и сохранена «вертикаль» управления в пределах межвоенной Польши, пошла на сотрудничество с оккупантами, но оставалась здесь основной духовной силой, поддерживавшей устремления украинцев к отдельной государственности. Гитлеровцы предусмотрительно лишили ее возможности для распространения национально-политической и религиозной активности за пределы традиционной западноукраинской территории.

Заинтересованность нацистов в использовании украинского сепаратизма в своих целях возросла в 1943 г., когда после поражения вермахта под Сталинградом обозначился перелом на советско-германском фронте в пользу СССР. Это нашло свое проявление, во-первых, в создании по решению Берлина и под немецким командованием добровольческой дивизии СС «Галиция», получившей достаточно широкую поддержку среди населения оккупированной Западной Украины²⁶. Во-вторых, в попустительстве этническим чисткам, массовому уничтожению польского населения отрядами Украинской повстанческой армии (УПА) в 1943–1944 гг. на территории Волыни, Полесья и Галиции. Это вызвало вооруженное сопротивление польского населения, отрядов Армии Крайовой (АК), Батальонов Хлопских (БХ), а также советских и польских прокоммунистических партизанских отрядов. Жертвами острой украино-польской межнациональной борьбы, по определению польского историка Р. Тожецкого «столкновения двух национализмов» за территорию, стали несколько десятков тысяч поляков и украинцев²⁷. В-третьих, в освобож-

дении в 1944 г. нацистами из немецких концлагерей арестованных в 1941 г. деятелей ОУН во главе с С. Бандерой и заключении договоренностей о взаимодействии ОУН–УПА с гестапо и военной разведкой вермахта²⁸.

По мере того как изменялась ситуация на восточном фронте, как исчезали иллюзии о возможности достичь целей, опираясь на Германию, как сам украинский народ превращался в объект эксплуатации и террора, а украинские националисты становились соучастниками репрессий и казней, позиции иерархов греко-католической церкви, и в первую очередь митрополита Андрея, изменялись. Если в августе 1941 г. он говорил о поддержке немецкой армии «вплоть до победного завершения ею войны», то через год определял фашистский оккупационный режим как «систему лжи, обмана, несправедливости, грабежа и попрания всех идей цивилизации...». Если в 1943 г. митрополит, движимый принципами христианской морали, протестовал против участия украинцев в репрессиях и убийствах евреев и поляков, осуждал развязанную украинцами этническую чистку на Волыни и в Галиции, жертвами которой становились и священники, то весной 1944 г. он приходил к весьма далекоидущим политическим заключениям. Осознавая безуспешность своих усилий не только остановить межнациональную войну, но и нейтрализовать готовность украинских националистов, включая священников-униатов, в случае отступления вермахта к вооруженному сопротивлению регулярным советским или польским войскам, невозможность остановить «войну всех против всех» и предотвратить гибель гражданского украинского и польского населения, Шептицкий писал в Ватикан: «Приход большевиков, возможно, будет полезным в том смысле, что он положит конец анархии, которая царит теперь на всей земле»²⁹.

Намечавшиеся изменения в политических расчетах митрополита, весьма дальновидного религиозного и национального политика, диктовались не только преданностью христианским, гуманистическим принципам, но и пониманием неизбежности политических, точнее, геополитических перемен в Европе. В создававшейся ситуации митрополит и часть близких ему иерархов, оставаясь приверженцами идеи «независимой соборной Украины», не принимая расчленения украинских земель, произведенного гитлеровцами, и пагубность сотрудничества с ними, оказывались перед трудно разрешимым политическим выбором. В случае признания церковью советской власти возникала опасность изоляции по меньшей мере части епископата, руководствовавшегося приоритетными религиозными ценностями и интересами самого вероисповедного института, от остро антисоветски и антипольски настроенного западноукраинского населения и большинства рядового греко-католического духовенства, поддерживавших ОУН и принимавших прямое участие в отрядах УПА³⁰. Сопротивление же этой вла-

сти было чревато массовой гибелью людей и разрушением самой церкви. Вряд ли в митрополии не помнили репрессивные действия НКВД СССР в 1939–1941 гг. и не понимали безнадежности и трагических последствий такой борьбы как для украинского населения, так и для греко-католической церкви.

Завершение Второй мировой войны, ее геополитические последствия в Восточной Европе и подъем антифашистских настроений на всем континенте политически усложнили ситуацию Украинской греко-католической церкви. Понятно, что после войны власти и общественное мнение СССР, Польши и Чехословакии имели основание идентифицировать эту церковь с коллаборационизмом, обвинять в тесных контактах с националистическим движением украинских сепаратистов, в попытках создать украинские правительства, в прямой угрозе территориальной целостности этих государств.

Для ликвидации этой угрозы устанавливались новые границы в славянском «треугольнике» и предусматривались перемещения коренных украинцев (униатов и православных, коммунистов и их противников) в советскую Украину, которая становилась главным «полем», где сосредотачивалось украинское националистическое подполье, формировавшееся в основном из верующих греко-католической церкви.

В течение 1944 г. руководство ОУН–УПА развернуло сначала перед линией советско-германского фронта, а затем в тылах Красной Армии активные вооруженные действия. «Ответ» последовал незамедлительно. Как докладывал Берия Сталину в марте 1945 г., с февраля 1944 по февраль 1945 г. подразделения НКВД СССР провели 9508 «чекистско-войсковых операций», в ходе которых было убито 73 333 и взято в плен 73 965 участников ОУН–УПА³¹.

Столь трагическое развитие событий заставляло митрополита Шептицкого, несомненно преданного идее независимой соборной Украины и остававшегося на антисоветских позициях, искать контакты с советским руководством. Возглавлявший компартию Украины Н. С. Хрущев информировал Сталина, что Шептицкий внушал своему окружению, что «советская власть сильна, и поэтому необходимо с ней сблизиться и всячески ее поддерживать». 10 октября 1944 г., незадолго до смерти, Шептицкий написал письмо Сталину, в котором благодарил «Верховного Вождя» за «присоединение западно-украинской земли к Великой Украине». Митрополит в весьма осторожной и завуалированной форме дистанцировался от ОУН–УПА и демонстрировал готовность признать советскую власть. Акцентируя принципы христианской морали и ценности человеческой жизни, он пытался выяснить возможности политического компромисса с советской властью во имя спасения своей церкви и свободы ее деятельности³².

Позиция митрополита привлекла внимание Москвы, которая рассчитывала использовать влияние греко-католической церкви «в деле разложения антисоветских националистических организаций». Но состоявшиеся в Москве вскоре после смерти Шептицкого переговоры делегации этой церкви с руководством Совета по делам религиозных культов при правительстве СССР окончились безрезультатно. Советской стороне, обещавшей обеспечить греко-католической церкви «свободу действий в области исполнения религиозных обрядов», не удалось получить от участников переговоров политических обязательств о «борьбе с бандеровщиной»³³.

В Москве не могли не связывать итоги переговоров со сменой церковного руководства, которое теперь возглавил бескомпромиссный в отношении советской власти митрополит Й. Слипый, известный прямым участием в создании дивизии СС «Галиция». Такие перемены в митрополии Москва, вероятно, расценила как национальную консолидацию на антисоветской основе иерархов и рядового духовенства. Кроме того, существовали опасения, что Слипый «будет предпринимать попытки к полному переходу в католичество и ликвидации последних признаков восточного обряда». Исходя из этого, советское руководство на рубеже 1944–1945 гг. твердо определило свой курс в отношении униатов. В апреле 1945 г. в результате арестов митрополита Слипого и шести греко-католических епископов Украинская греко-католическая церковь была обезглавлена. К осени 1945 г. было арестовано 107 служителей церкви, из них 72 рядовых священника, что вело к разрушению организационных структур церкви³⁴. Продолжавшееся силовое подавление вооруженного подполья на Западной Украине сопровождалось уничтожением кадров униатской церкви — активных или пассивных его участников.

Но в советском руководстве считали такой способ борьбы с вероисповедным институтом малоэффективным. Подчинение греко-католиков религиозному и политическому зарубежному центру (Ватикану), а не Московской патриархии, находившейся под контролем советской власти, считалось опасным с точки зрения внутренней ситуации и геополитических интересов страны, а поэтому недопустимым. Решение было заимствовано из времен еще царской России, где с этими же целями осуществлялся перевод униатов в православие.

Такая тенденция в политике Москвы стала прорисовываться с лета 1945 г. Во взаимодействии с иерархами РПЦ и при участии советских спецслужб (на январь 1946 г. они завербовали 236 из 1169 действовавших униатских священников) была начата подготовка к возвращению верующих греко-католической церкви в православие и к денонсации Брестской унии. Мероприятия завершились созывом весной 1946 г. Львовского собора служителей этой церкви, где было объявлено о разрыве с Ватиканом и подчинении униатских приходов Московской патриархии³⁵.

Этим актом Москва решила одну из своих политических целей. Украинское вооруженное подполье лишалось своего морального, структурно организованного вдохновителя и тем самым было ослаблено, хотя на полное его подавление на Западной Украине советской власти потребовался еще ряд лет. Решалась и другая, актуальная для советского руководства политическая задача. В результате расширения в 1939–1940 гг. советских территорий за счет восточных земель Польши и государств Прибалтики заметно изменилась конфессиональная ситуация в стране: Святая столица римско- и греко-католической церковью получила геополитически важные «опорные точки» для расширения и укрепления своего религиозного и политического влияния в СССР. Понятно, что Москва не могла допустить присутствия на территории страны столь грозного и опасного идеологического и политического противника. Уничтожение униатской церкви было шагом в этом направлении.

Юго-западные воеводства Польши в 1944–1945 гг., несмотря на совместные действия силовых ведомств СССР и Польши, также были охвачены активной вооруженной деятельностью единого во всем славянском «треугольнике» украинского подполья. Отряды ОУН–УПА на приграничных территориях повсеместно поддерживались украинским населением и униатским духовенством. Задача их подавления выступала в Польше, как и в СССР, одной из приоритетных в политике власти. Все политические силы, представленные в послевоенном правительстве и отражавшие настроения абсолютного большинства поляков, были остро заинтересованы в разрешении затянувшегося на многие десятилетия польско-украинского противостояния в борьбе за национальный облик и государственную принадлежность указанных территорий. Что касается Украинской греко-католической церкви, то при наличии в стране столь влиятельного представителя Ватикана, как польский епископат и миллионы поляков-католиков, эта церковь не рассматривалась властью в качестве отдельного объекта национально-политического преследования.

Фактором, призванным серьезно ослабить украинское сепаратистское движение в Польше, должно было стать переселение украинцев в пределы СССР. В Польше единодушно поддерживали решения глав великих держав о выселении национальных меньшинств (речь шла о немцах и украинцах) и придании польскому государству мононационального характера. Были приняты к исполнению и насильственные способы реализации этих решений.

Массовые (около полумиллиона человек), лишь отчасти добровольные переселения украинцев из юго-восточных воеводств Польши в СССР в 1945–1946 гг. проходили в чрезвычайно сложной обстановке. Они осуществлялись польской армией и милицией при содействии советской

стороны, повсеместно вызвали ожесточенное сопротивление украинцев и подъем активности вооруженных отрядов ОУН–УПА, насчитывавших 5–6 тыс. человек³⁶. Предельную жестокость и национальную ненависть нередко демонстрировали как украинцы, так и поляки. Польские власти, осознавая ту роль, которую играла униатская церковь, поддерживая свою паству и украинское вооруженное подполье, во второй половине 1945 г. арестовали около половины греко-католического духовенства. В 1946 г. были закрыты духовные семинарии, религиозные общества, фактически уничтожены властями диоцез в Пшеммысле и апостольская администрация Лемковщины. Таким образом, вовлеченность греко-католической церкви в национально-политический конфликт в Польше повлекла за собой значительные разрушения ее организационных структур и тяжелые кадровые потери.

Завершившиеся осенью 1946 г. переселения польских украинцев в пределы СССР полностью не сняли украинской проблемы, хотя уменьшили масштаб и остроту национального противостояния на юго-востоке страны. Здесь в конце этого года проживало от 150 до 200 тыс. украинцев, сохранялась и база для украинского подполья. Тем не менее по внутривнутриполитическим причинам (острота межпартийной борьбы за облик власти) решение «украинского вопроса» на некоторое время откладывалось, но подготовка к этому не прекращалась и завершилась после состоявшихся в январе 1947 г. выборов в Сейм, когда представительство оппозиции в структурах власти стало минимальным, а власть коммунистов и их союзников стабилизировалась. В итоге проведения весной–летом 1947 г. частями Войска Польского и госбезопасности при согласовании с правительствами пограничных стран — СССР и Чехословакии, операции «Висла» коренное украинское население было почти полностью выселено в западные и северные земли Польши. Происходила, строго говоря, этническая чистка территории, которая сопровождалась подавлением вооруженного сопротивления украинцев, их массовыми арестами, работой военно-полевых судов, смертными приговорами и ссылками в специальный концлагерь. Как считают польские и украинские историки, в ходе операции было выселено 150–170 тыс. человек. Потери подполья составили около 2 тыс. человек³⁷.

Таким образом, был ликвидирован очаг устойчивых украинских национально-сепаратистских настроений, воспринимавшийся в польском обществе как угроза территориальной целостности страны, разгромлено военно-политическое подполье ОУН–УПА. Судьбу украинского населения, которое, как планировали в Варшаве, полностью ассимилируется в польской среде, полностью разделили интеллигенция и греко-католическое духовенство, которых в польском руководстве считали «главным мотором деятельности украинского подполья». За время переселения

было репрессировано около 300 священников, погибло 39 священников, 22 — отправлены в концлагерь. Имущество униатов, в том числе храмы и церковная утварь, передавались другим церквям. В 1949 г. земельные владения униатов были конфискованы в пользу государства³⁸.

Униатские священники, оказавшиеся на новых местах жительства, лишались права и места служения. Они были вынуждены или переходить в римско-католический обряд, или формально отходить от церковной деятельности, или же продолжать служить нелегально. Таким образом, к концу 1940-х гг. греко-католическая церковь в Польше как конфессиональный институт была уничтожена, но это существенно не повлияло на масштаб влияния Ватикана в стране, да такая задача польским руководством в данном случае и не ставилась.

События, которые происходили в советско-польском пограничье в середине 1940-х гг., оказали воздействие на судьбу униатов в Румынии и Чехословакии, во многом обусловили репрессивный характер действий властей в отношении униатов, хотя национально-конфессиональная и политическая ситуация в этих странах была существенно иной.

На заключительном этапе Второй мировой войны, благодаря усилиям прежде всего Советского Союза, сначала де-факто, а в 1946 г. де-юре в состав Румынии возвратилась многонациональная Трансильвания³⁹. Со всей очевидностью, как и в межвоенное время, выдвинулась задача общенационального единения румынского населения в новых государственных границах. Традиционная для национального самосознания подавляющей его части формула «румын — значит православный», опасная в первую очередь для миллиона трансильванских униатов, вновь стала политически актуальной. Румынскими политиками левоцентристской ориентации она соотносилась с идеей общенационального сплочения во имя демократизации общественного устройства, на чем базировалась программа Национально-демократического фронта Румынии, представлявшего собой коалицию этих сил и коммунистов.

Правительство П. Грозы, которое под мощным советским давлением было назначено королем Михаем в марте 1945 г., руководствовалось в своей деятельности программой НДФ. Став политиком общенационального масштаба, П. Гроза в полной мере осознавал всю сложность и многообразие национальной и религиозной ситуации в государстве. Поэтому принимались меры, призванные стабилизировать конфессиональную ситуацию. В 1945 г. были подтверждены касавшиеся церковной сферы и принятые несколько раньше законоположения о гражданских свободах и равенстве всех вероисповеданий в стране. За церковными институтами сохранялись права на земельную собственность, что было весьма важно для греко-католической церкви, которая являлась крупным земельным собственником в Трансильвании⁴⁰. Вместе с тем право-

славный по вере и трансильванец по происхождению Гроза акцентировал особую национальную роль православной церкви в Румынии: «Наша православная церковь всегда являлась национальной церковью, в этом ее отличие от вселенской интернациональной католической организации»⁴¹. Такая публично высказываемая позиция не могла не оказывать позитивного воздействия на отношение к демократическому правительству самой крупной этноконфессиональной группы населения, что имело принципиальное значение в борьбе с политической оппозицией, которую возглавляла НЦП.

Руководство этой партии опиралось на конгломерат социальных групп и слоев — от помещиков, крупного и среднего городского капитала до различных категорий крестьянства. Как и прежде возглавлявший партию униат Ю. Маниу стал символом и лидером тех сил в масштабах страны, которые отвергали участие компартии во власти⁴². Он располагал самой массовой поддержкой румынского, в основном униатского по вере крестьянского населения Трансильвании. Возвращение Трансильвании в состав румынского государства сопровождалось национальным подъемом во всем румынском обществе. В многонациональной и поликонфессиональной Трансильвании был отмечен рост националистических настроений среди румын, особенно униатов, и активизация национально-сепаратистских тенденций в среде венгерской католической и протестантской части трансильванского населения⁴³. Религиозные и национальные противоречия придавали особую остроту политической ситуации в этой части страны.

В отличие от Румынской православной церкви, которая поддерживала правительство П. Грозы и, несомненно, способствовала ослаблению создававшейся политической напряженности в Румынии, греко-католическая церковь трансильванских румын, вторая по численности прихожан в стране, заняла резко негативную позицию в отношении новой власти. Она оказывала полную и активную поддержку Ю. Маниу и его партии⁴⁴. Таким образом, эта церковь, не играя отдельной политической роли, идя «за спиной» НЦП, оказалась не только в политической оппозиции к Бухаресту. Объективно она выступала как сила, представлявшая в конкретных условиях первых послевоенных лет угрозу национальной консолидации румынского общества в новых государственных границах. Как известно, на рубеже войны и мира при решении вопроса о государственной принадлежности Трансильвании рассматривался и вариант создания независимой Трансильвании. Его сторонники были среди населения этого региона Румынии.

Несмотря на многие конфликты с униатской церковью, отвергавшей попытки власти привлечь ее к сотрудничеству, ни румынское правительство, ни Ватикан, которому подчинялась эта церковь, не шли на

обострение отношений, опасаясь ухудшения ситуации в стране, прежде всего в Трансильвании, и применения властью репрессивных мер в отношении этого церковного института. Предпочитала не вмешиваться в отношения Бухареста с униатами и Москва, которая уже провела «поглощение» советских греко-католиков православной церковью⁴⁵. Для советского руководства в первые послевоенные годы значительно важнее было разрешение политического противостояния в Румынии, чем немедленное решение здесь вопроса о судьбе униатов, которая зависела именно от итогов противостояния.

Поражение НЦП и отдавших ей свои голоса румын-униатов и некоторой части православных румын Трансильвании на выборах в парламент в ноябре 1946 г. позволяло румынскому правительству приступить к ограничению общественной автономии, в первую очередь греко-католической церкви. Это соотносилось с принятым тогда же курсом советского руководства на борьбу Русской православной церкви с влиянием Ватикана. Помимо «окончательной ликвидации униатской церкви в СССР», предусматривалась подготовка подобных акций и в странах Восточной Европы⁴⁶.

Румынская церковь была теперь наиболее крупным греко-католическим институтом в регионе. Она могла стать наиболее важным и реальным каналом влияния Ватикана в православных странах советского блока. Не случайно летом 1946 г. президент Чехословакии Э. Бенеш в беседе с главой Совета по делам РПЦ при СМ СССР Г. Г. Карповым, полностью разделяя советские замыслы ликвидации униатской церкви в регионе, поставил Румынию, где господство православия не подлежало сомнению, на первое место по времени осуществления этих замыслов⁴⁷.

Такого же мнения придерживалось и румынское правительство. Им были приняты законы, согласно которым власть получала возможность направлять церковную жизнь в нужное ей русло и контролировать кадровую политику церковной администрации. Теперь назначение на руководящую духовную должность напрямую увязывалось с политической благонадежностью кандидата, что было направлено прежде всего против оппозиционной униатской церкви.

По мере того как процесс устранения НЦП — главного политического представителя греко-католической церкви, из политической жизни страны приближался к завершению, власть все чаще обращалась к проблеме католицизма, которая в румынских условиях прочитывалась как политически негативное отношение к католицизму восточного обряда. Подтверждением тому служит речь П. Грозы на приеме в честь патриарха РПЦ, посетившего Румынию в июне 1947 г. Отметив, что Трансильвания, где всегда шла борьба православия с католицизмом, «дала больше всего мучеников за православие», он выразил убежденность в

полной победе православия в том случае, «если удастся объединиться всем православным народностям всего мира от натиска католичества». Именно политическими соображениями было мотивировано предупреждение Грозой униатского епископа И. Сучу о возможности денонсации конкордата с Ватиканом, если эта церковь не откажется от противостояния власти⁴⁸.

Радикальные внутривнутриполитические перемены в Румынии, происшедшие в 1947 г. (арест Маниу, запрет НЦП, устранение от власти буржуазно-демократических политиков и ликвидация монархии), завершили перелом в конфессиональной политике государства. Принятие в апреле 1948 г. новой Конституции, согласно которой существование религиозных культов напрямую увязывалось с их политической благонадежностью, введение в жизнь ряда законодательных актов, определявших условия присутствия всех культов в стране, и последовавший вскоре разрыв конкордата Румынии с Ватиканом серьезно осложнили ситуацию греко-католической церкви. Кроме того, были проведены специальные меры против иерархов этой церкви: кадровые перемещения, лишения кафедр и государственных зарплат, принуждение к присяге на верность политическому режиму. Все это означало непосредственное вмешательство власти в автономную внутреннюю жизнь церкви и подготовку к принудительному объединению униатов с православной церковью. Под давлением властей и при плотной «опеке» спецслужб, с использованием репрессивных мер против епископов и рядовых представителей клира, униатское духовенство 1 октября 1948 г. объявило о желании объединиться с Румынской православной церковью и приняло соответствующий синодальный акт. С 1 декабря 1948 г. правительственным декретом прекращалось официальное существование всех организационных структур греко-католической церкви, ее имущество переходило в собственность государства⁴⁹.

Подавляющая часть трансильванского греко-католического населения принудительно переводилась в лоно Румынской православной церкви. Тем самым исчезало существенное региональное отличие Трансильвании от «старой» Румынии. Конфессиональный облик основной национальной массы населения страны унифицировался и становился адекватным формуле «румын — значит православный». Достижение консолидации румын вокруг православной церкви румынские политики еще в межвоенное время считали гарантией от появления сепаратистских настроений в столь важном районе страны, фактором внутренней стабильности и территориальной целостности государства. В новых условиях монополю правившая с 1948 г. румынская компартия через сотрудничавшую с властью православную церковь распространяла контроль режима над духовной и политической жизнью всей государственно-образующей нации.

В условиях раскола мира и возникновения двух военно-политических блоков уничтожение в Румынии организованного церковного института, подчиненного Ватикану, влекло за собой серьезные внутри- и внешнеполитические последствия. С ликвидацией в Трансильвании опорной базы легитимного влияния католицизма ограничивались возможности Ватикана поддерживать прозападные ориентации не только в поликонфессиональной Трансильвании и Румынии в целом, но и в соседней Болгарии — крупнейшей православной стране на Балканах.

Однако дальнейшее развитие событий в Румынии в 1950-е гг. показало, что, разрушив организационные структуры греко-католической церкви, закрыв ее храмы, власть не смогла уничтожить духовную верность многих верующих вероисповеданию предков, что было залогом возрождения этой церкви при изменении политической ситуации в Румынии⁵⁰.

Задача внутренней стабильности и сохранения государственной целостности была актуальна и для послевоенной Чехословакии*. Здесь речь шла о консолидации в пределах страны не одного еще недавно разделенного государственным границами народа, как в Румынии, а о единении двух государственно-образующих наций — чехов и словаков в восстановленной ЧСР. Что касается украинского национального, в большей части униатского меньшинства, проживавшего на территории Чехословакии до войны, то к решению этого вопроса президент Э. Бенеш приступил еще в годы войны.

Учитывая, хотя и несостоявшиеся, попытки украинских националистов создать самостоятельное государство, предвидя сложности чехословацких национальных отношений в послевоенное время и стремясь получить Москву в надежные внешнеполитические союзники, он в начале 1942 г. заявил о своем нежелании «возиться с этим (украинским. — А. Н.) народом». Бенеш выступал за объединение всех украинцев в пределах СССР⁵¹ и заблаговременно соглашался на передачу Подкарпатской Руси Советскому Союзу, что и произошло летом 1945 г. Политическая проблема украинского сепаратизма в Чехословакии перестала существовать, хотя деятельность ОУН–УПА наблюдалась в районах Словакии, граничивших с СССР и Польшей, и территория государства использовалась руководителями украинского подполья главным образом для перемещения вооруженных отрядов и украинских беженцев на Запад.

Тем не менее кровавое противостояние украинцев-униатов в отрядах ОУН–УПА советским и польским властям, аресты униатских священников и решения Львовского собора о воссоединении униатов с православной церковью получили и здесь весьма заметный резонанс, вызвав,

* При написании сюжета о ликвидации униатской церкви в Словакии использованы материалы § 2 (автор Г. П. Мурашко) раздела II коллективной монографии «Москва и Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных трансформаций 40–50-х гг. XX века» (в печати).

с одной стороны, настороженность словацкого униатского духовенства и верующих. Прага, с другой стороны, не могла не увидеть в разрушении Украинской греко-католической церкви возможный способ предотвратить воздействие униатов на национально-политические настроения и скорректировать конфессиональный облик Словакии.

Однако проблема внутренней нестабильности как следствие национальных противоречий в Чехословакии не снималась отсутствием серьезной опасности со стороны украинского сепаратизма. Она приобретала здесь иной, не украинский, а словацкий национальный облик. Существованием в годы войны Словацкой республики миру была продемонстрирована возможность национально-государственной консолидации большинства словацкого общества на базе словацкого сепаратизма и политического католицизма. Но с точки зрения находившихся в эмиграции в Англии и в СССР чешских и словацких политиков, демократов и коммунистов, и, что особенно важно, по мнению лидеров великих держав, сохранение после войны отдельного словацкого государства было невозможно, ибо оно означало бы признание действующими Мюнхенских договоренностей 1938 г. Последовательно добивался и добился обязательств союзников дезавуировать «Мюнхен» и восстановить довоенную страну президент Чехословакии Э. Бенеш⁵².

В 1943–1945 гг. в Лондоне и Москве систематически при самом активном участии чешских и словацких коммунистов обсуждались условия возвращения Словакии в единое с чехами государство⁵³. Словацкой части политической элиты была свойственна осторожность в этом вопросе. Она принимала международные решения о воссоздании Чехословакии, но осознавала трудности на пути государственного объединения двух народов, объясняя их пролонгированным воздействием на послевоенные настроения словаков факта существования Словацкой республики и довольно массовой поддержки словаками идеи независимости. Дискуссии о формах организации нового государства (федерация, конфедерация, автономия Словакии) завершились принятием весной 1945 г. так называемой ассиметричной «модели»: государственное единство, полное равенство прав двух народов при существовании отдельных словацких правительства и парламента⁵⁴. Такое решение «словацкого вопроса», без сомнения, было принято с учетом национально-политической обстановки в Словакии и настроений неединой словацкой элиты. Оно было направлено на сдерживание сепаратистских настроений, подъем которых и активизация католического духовенства проявлялись с весны 1945 г. по мере формирования органов власти в стране и развития борьбы за власть в Словакии.

Накануне и в ходе выборов в парламент в мае 1946 г. опыт политического католицизма, клерикальной власти военного времени результативно

использовала в противостоянии коммунистам и Праге Демократическая партия, вокруг которой группировались антикоммунистические силы, включая клерикалов, прежде всего евангеликов и задававших «тон» римско-католиков, а также униатов. Прозвучавший призыв к пастве греко-католического епископа М.Гойдича, выступавшего «резко против единения чехов и словаков», голосовать за «демократов», несомненно, выражал позиции словацкого униатского духовенства и не остался в Праге незамеченным⁵⁵.

Победа Демократической партии в Словакии (62%) не только подтвердила высокий уровень и опасность сепаратистских настроений в словацком обществе, как определили их в Праге⁵⁶, но и позволяла «демократам» выступать в роли главного и единственного представителя национальных интересов словацкого народа, успешно противостоять централистским устремлениям чехов.

Понимание внутренней угрозы сепаратизма и опасной роли политического католицизма в Словакии продемонстрировал Э.Бенеш на встрече с руководителем Совета по делам РПЦ Г.Г.Карповым. Беседа состоялась в июне 1946 г. и была посвящена церковным вопросам. По возвращении в Москву Карпов в записке на имя И. В. Сталина, В. М. Молотова, Л. П. Берии и А. Н. Косыгина сообщал о полном одобрении Бенешем проведенных советским руководством «религиозных реформ» и согласии с действиями митрополита РПЦ Сергия, который «с первого дня войны поставил церковь на службу государству». Как следует из документа, Бенеш уделил специальное внимание греко-католикам. Он высказал намерение «осуществить мероприятия по переводу униатов Словакии в православие». Причем президент Чехословакии рассматривал проблему в региональном масштабе и расставил страны по «ранжиру»: «Я думаю, говорил Бенеш, что это очень скоро будет у нас, что первые присоединятся к православной церкви униаты. Там есть хорошие люди, хотя католики в Словакии очень злые (активные). Начинать надо было бы в Вашей Закарпатской Украине, затем в Румынии, а потом уже у нас»⁵⁷.

Возникает вопрос, почему была выстроена такая очередность и почему в перечне стран отсутствует Польша? На наш взгляд, отсутствие Польши объясняется завершившимся в это время переселением украинцев в пределы СССР, что Бенеш мог рассматривать как решение «украинского вопроса» в этой стране. Что же касается отведения Чехословакии последнего места, то, думается, что ответ содержится в следующем замечании президента: «Советское правительство правильно и лучше всех разрешило церковный вопрос, а церковный вопрос есть почти национальный вопрос»⁵⁸. Таким образом, Бенеш увязывал конфессиональные проблемы в Чехословакии с решением внутренних национальных проблем. Вряд ли можно сомневаться, что, говоря об этой «связке»,

президент имел в виду сепаратистские настроения в Словакии и осознавал невозможность их скорого «размывания» и утраты «охранной» национально-политической роли католических церквей. Поэтому, на наш взгляд, в Чехословакии наступление на сепаратизм было начато не через прямой и немедленный удар по католицизму, а через подавление в первую очередь Демократической партии, политического выразителя этого важнейшего компонента национального сознания значительной части словацкого населения и политических позиций католических церквей. Возникшая было в православных церковных кругах в Праге, судя по сообщениям, поступавшим в Москву весной 1947 г., идея «нанести генеральный удар по униатам, а потом, закрепивши за православием позиции, перейти к наступлению против католицизма»⁵⁹, не получила пока поддержки власти.

Политическое и моральное поражение словацких коммунистов в 1946 г., звучавшие из Праги упреки в склонности к сепаратизму, с одной стороны, и явные национально-политические претензии Демократической партии и шедших в ее «тени» клерикалов — с другой, придали после выборов 1946 г. ускорение действиям Праги по ограничению полномочий словацких органов власти и организационно-политическому разгрому Демократической партии в 1947 г.

Политический переворот в Чехословакии в феврале 1948 г., удаление из правительства представителей буржуазной демократии и монополизация власти компартией радикально изменили ситуацию в стране⁶⁰, но не исключили потенциальных мобилизационных возможностей и политической опасности подъема национальных настроений в Словакии. Словацкая римско-католическая церковь и шедшие вместе с ней греко-католики не лишились такого грозного оружия, как национальные чувства, ущемленные ликвидацией Словацкой республики и стремительно нараставшим ограничением компетенций словацкой власти. Становление унитарного государства с центром в Праге и организация политического режима советского образца делали возможной активизацию сепаратистских настроений в Словакии.

Такое развитие ситуации допускалось Москвой и вызывало серьезные опасения. В специальной справке Отдела внешней политики ЦК ВКП(б), подготовленной 19 июня 1948 г. в связи с заседанием Коминформбюро, признавалось уже «особое, неравное положение Словакии в Чехословацком государстве» и фактическое наличие в Словакии сепаратистских настроений. Проблему отношений между чехами и словаками, среди которых «еще сильно национальное недоверие», в Москве считали основной проблемой национальной политики КПЧ. «Стремление поставить работу словацких органов под строгий контроль чехословацкого правительства, — отмечалось в документе, — отражает страх КПЧ перед опасностью использования словацкими сепаратистскими элемента-

ми выраженной в такой форме самостоятельности Словакии, боязнь, которая объясняется неверием компартии в свою способность противостоять этому и повлиять на массы словацкого населения в определенном решении этого вопроса». В аппарате ЦК ВКП(б) полагали, что создание федерации «не по буржуазному территориальному, а по национальному принципу» отразило бы равноправие чехов и словаков, удовлетворило бы национальные чувства словаков и подорвало бы «националистическую пропаганду словацкой эмиграции»⁶¹.

Не принимая во внимание идеолого-пропагандистские клише, которым следовали сотрудники аппарата ЦК ВКП(б), для нас важна констатация ими фактического неравенства чехов и словаков и политической опасности сепаратистских настроений в Словакии.

Снизить уровень этой опасности руководство КПЧ рассчитывало, начав политическое наступление на позиции католической церкви. Причем особенность курса, взятого в 1948 г. Прагой, состояла в том, что при одновременном наступлении на римско- и греко-католическую церкви, которые обоснованно рассматривались хранительницами национальных идей, применялись разные методы подавления их национально-политической активности. Если в отношении наиболее массовой и сильной Словацкой римско-католической церкви был избран силовой, включая репрессивный, путь ее подчинения государству, то в отношении греко-католиков был использован властью другой метод.

К исполнению была принята апробированная в СССР модель разрушения этого вероисповедного института через слияние его с православной церковью, что, напомним, Бенеш считал применимым для Словакии. Компартия Чехословакии рассчитывала при этом решить несколько задач одновременно: уменьшить общую численность словацкого католического сообщества, сократив тем самым воздействие Ватикана на население и ограничив легитимные права Святой столицы на территории страны, и усилить позиции малочисленной и маловлиятельной Чешской православной церкви, подчиненной Московской патриархии.

Но реализация в Чехословакии заимствованной из советской практики модели уничтожения униатства не могла быть ее простым повторением. Ситуация в Словакии существенно отличалась от положения дел в советской Западной Украине в 1945–1946 гг. Здесь греко-католическая церковь поглощалась конфессией, господствующей и самой сильной на территории УССР и в СССР в целом, и переходила под контроль Московской патриархии. Тем самым решался вопрос блокирования воздействия Ватикана на миллионы верующих, возникала перспектива вероисповедной унификации, ликвидации существенных региональных отличий украинцев от украинцев, консолидации украинской нации и закрепления единства ее территориального ареала в пределах СССР.

В Чехословакии последствия акции против униатов могли быть другими, потому что здесь предполагалось греко-католиков Словакии, по национальности главным образом словаков, сделать прихожанами Чешской православной церкви, верующими которой были прежде всего чехи, а Прешовскую епархию подчинить экзарху Московской патриархии в Праге. Такие радикальные перемены соответствовали политическому курсу коммунистов на централизацию власти в стране и нейтрализацию сепаратистских настроений в Словакии. Но, разрушая религиозные вековые убеждения униатов, воздействуя на сферу их национального сознания, они вместо снижения сепаратистских настроений могли послужить импульсом к напряжению в межнациональных отношениях чехов и словаков. Посредством ликвидации униатской церкви в Словакии, где действовала массовая и сильная римско-католическая церковь, власть вряд ли была способна решить и другую политически важную для нее задачу — существенно снизить влияние Ватикана в стране.

Тем не менее летом 1948 г. ЦК КПЧ был принят документ, касавшийся конфессиональной политики партии, где применительно к униатской церкви говорилось, что она «не будет больше существовать как самостоятельная, поскольку будет присоединена к православной»⁶². Началась и разработка конкретных мероприятий.

Руководство КПЧ учитывало возможные негативные последствия акции против униатов и предполагало их нейтрализовать. Хотя основную массу униатов составляли словаки, как правило не поддерживавшие ОУН-УПА, обвинения греко-католического духовенства в контактах с украинским вооруженным подпольем стали поводом для политической компрометации церкви и применения репрессивных мер против ее священнослужителей⁶³. Что же касается борьбы с Ватиканом, то ее планировалось вернуть одновременно по всему католическому «фронту» в Словакии.

Как показывают документы российских архивов, в Москве серьезно опасались, что в Словакии из-за возможного подъема национальных настроений может повториться недавняя ситуация на юго-востоке Польши, и призывали Прагу к большей осторожности «при проведении в жизнь намеченных мероприятий в отношении греко-католической церкви». В Совете по делам РПЦ при СМ СССР считали, что намерения ликвидировать греко-католическую церковь «являются для Чехословакии преждевременными и могут привести к переходу греко-католиков в римско-католики», что объединение униатской церкви с православной в настоящее время ставить нецелесообразно. В Москве учитывали и слабость позиций православной церкви в Чехословакии⁶⁴.

Лишь со второй половины 1949 г. вопрос о ликвидации униатской церкви на фоне курса на раскол римско-католической церкви вновь стал актуальным и получил поддержку Москвы. В начале 1950 г. вопрос о

начале кампании против униатов был поставлен руководством КПЧ фактически в плоскость политической практики. Причем руководство КПЧ рассчитывало использовать Чешскую православную церковь для активной работы среди униатов и создания православной епархии в словацком Прешове вместо греко-католической⁶⁵.

Прямое участие в согласовании конкретного плана «постепенной подготовительной работы в низовых массах, выявления инициативной группы для работы среди униатов руками самих униатов» принимали советское посольство и иерархи РПЦ. Приданное Прагой в конце февраля 1950 г. ускорение всей акции против униатов и намерения изолировать греко-католических иерархов во главе с М. Гойдичем вызвало беспокойство Г. Гусака, возглавлявшего правительство в Братиславе, не исключавшего опасности перехода униатов в римско-католическую церковь. Руководству КПЧ было известно, что М. Гойдич и Й. Беран ведут подготовку к объединению двух католических церквей, что идея перехода в римо-католичество разделяется униатским духовенством и паствой⁶⁶.

Тем не менее в конце апреля 1950 г. в Прешове состоялся Собор духовенства и представителей униатских приходов Словакии, который вопреки далеко не единодушным настроениям верующих принял решение о ликвидации Ужгородской унии с Ватиканом и переходе в православие. Греко-католическая церковь в Словакии прекратила свое легальное существование.

Объединение церквей проходило при силовом, репрессивном подавлении сопротивления духовенства и верующих греко-католической церкви. Его скромные итоги (к осени 1950 г. в православие перешли 100 из 259 священников) настораживали («униаты переходят не в православие, а в католицизм») не столько правительство Чехословакии, сколько советское посольство, где, в отличие от КПЧ, были озабочены слабой перспективой укрепления в ЧСР позиций православия и Московской патриархии. В Москве не одобряли административного нажима и насильственных мер, применявшихся по отношению к униатскому духовенству, считая их одной из причин провала всей кампании по переводу его в православие⁶⁷.

Несомненно, массовое сопротивление верующих переходу в Чешскую православную церковь было одной из важных причин этого провала. Но только ли смена веры не позволяла им сделать такой шаг? Можно ли, размышляя над причинами неудачи замысла коммунистов, сбрасывать со счета национальные настроения в словацком обществе на рубеже 1940–1950-х гг.? Вряд ли греко-католическое духовенство не усматривало в изменении канонического подчинения подчинение и национальное, ущемление независимого от Праги церковного существования.

Сохранение в словацком обществе убежденности в национальной самодостаточности и самостоятельности находит подтверждение в российских архивных документах. Так, 30 сентября 1950 г. посол СССР в Праге М. А. Силин записал в служебном дневнике информацию о ситуации в Словакии Ю. Дюриша, одного из министров правительства Чехословакии: «Вопрос буржуазного национализма для Словакии важный и сложный вопрос, поскольку он касается не только партии, но и словацкого народа и словацкой интеллигенции. Ведь остается фактом, что среди словацкого населения еще до сих пор носят значки на форме периода «тисовской республики», чтобы, хотя бы этим, подчеркнуть самостоятельность и независимость от чехов»⁶⁸.

Имея в виду такую национальную атмосферу в Словакии, представляется неслучайным хронологическое совпадение акции против греко-католической церкви, курса КПЧ на подчинение римско-католической церкви и обвинений руководящих словацких коммунистов в буржуазном национализме. Просматривается и генеральная цель Праги, действуя по разным направлениям, усилить административный централизм, сохранить целостность послевоенного государства и власть КПЧ в нем.

Таким образом, конкретно-исторический материал о разрушении греко-католической церкви после Второй мировой войны в Восточной Европе показывает, что при одновременности этого процесса и несопадающей субординации задач светской власти конфессиональный и национальный факторы в нем присутствовали, переплетались, взаимодействовали и по-разному отражались в политике компартий. С научной точки зрения это сложные вопросы, ибо они касаются двух наиболее «тонких» сфер жизни человека — вероисповедной ориентации и национального менталитета. История стран Восточной Европы убедительно свидетельствует, что силовые приемы воздействия на них в конечном счете безрезультатны и оставляют глубокие «шрамы» в народной памяти.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ См. подробнее: *Дмитриев М. В., Флоря Б. Н., Яковенко С. Г.* Брестская уния 1596 г. и общественная борьба на Украине и Белоруссии в конце XVI—XVIII вв. М., 1999. Ч. II; *Дмитриев М. В.* Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской церковной унии. М., 2003; *Gillet O.* Religion et nationalisme. L'ideologie de l'eglise orthodoxe Roumaine sous le regime communiste. Bruxelles, 1997 и др.
- ² *Jankowski J., Serafiński A.* Polska w liczbach. L., 1941. S. 33; *Pešek J. Barnowsky M.* Státna moc a cirkvi na Slovensku. 1948–1953. Br. 1997. S. 13, 123–126; *Balogh M., Gergely J.* Egyházak az ujkori. Magyarországon 1790–1992. Bp. 1993. Old. 196.
- ³ ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 579. Л. 21.
- ⁴ См. подробнее: *Torzecki R.* Kwestia ukraińska w polityce III Rzeczy. 1933–1945. W., 1972.

- 5 Там же. Разд. I. S. 62, 70; *Евлогий (Георгиевский)*, митрополит. Путь моей жизни. Воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной. М., 1994. С. 306.
- 6 *Vnuč F.* Dokumenty o postavení katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1945–1948. Br., 1998. S. 180.
- 7 *Марьина В. В.* Карпатская Украина (Подкарпатская Русь) в политике Бенеши и Сталина. М., 2003. С. 7; *Zeliczky B.* Karpatlajja a cseh es a szovjet politika erdekerubén 1920–1945. Bp. 1998. Old. 43–46.
- 8 *Ciechanowski J. M.* Na tropach tragedii. Powstanie Warszawskie 1944 r. w nowym świetle. Warszawa, 1992. S. 14.
- 9 Трансильванский вопрос. Венгеро-румынский территориальный спор и СССР. 1940–1946. Документы. М., 2000. С. 355. См. подробнее: *Покувайлова Т. А.* Конфессиональная ситуация в Трансильвании и ликвидация униатской церкви в Румынии (40-е годы XX века) // Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы. 1939–1958. Дискуссионные аспекты. М., 2003; Национальная политика в странах формирующегося советского блока. 1944–1948. М., 2004. Гл. 9.
- 10 *Gillet O.* Religió et nacionalisme... P. 113.
- 11 Ibid. P. 20.
- 12 Ibid. P. 91.
- 13 ГАРФ. Ф. 9478. Оп. 1. Д. 136. Л. 27, 133.
- 14 Национальная политика в странах... С. 113–114.
- 15 См. подробнее: *Пушкаш А. И.* Внешняя политика Венгрии. Февраль 1937 — сентябрь 1939 г. М., 2003.
- 16 Национальная политика в странах... С. 115.
- 17 *Pešek J. Barnowsky M.* Státna moc a cirkvi na Slovensku. S. 130–131; *Pešek J.* Cirkevna politika statu v prvých povojnových rokoch na Slovensku // Konec olrucej svetovej vojny a problémy cirkevnej politiky v nasledujúcom období. Br. 2006. S. 101; *Varnovský M.* Irekokatolícka a pravoslávna cirkev na Slovensku v rokoch 1945–1950 // Там же. С. 138.
- 18 См. подробнее: *Radič R.* Verom proti vere. Država I verske zajednice u Srbije. 1945–1953. Beograd, 1995; *Stanojević B.* Alojzije Stepinac. Zlocinac ili svetac. Beograd, 1986 и др.
- 19 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 9. Л. 157.
- 20 ГАРФ. Ф. 9478. Оп. 1. Д. 135. Л. 123–123 об., 138–138 об.; *Мизь Р.* Переслідування греко-католицького духовенства в Югославії під час другої світової війни та в післявоєнний період // Ковчег. № 2. Львів, 2000. С. 302–307; *Torzecki R.* Polacy i ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie drugiej wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. Warszawa, 1993. S. 252; *Motyka G.* Problem polskiej i ukraińskiej kolaboracji w czasie drugiej wojny światowej // Polska–Ukraina: trudne pytania. Warszawa, 2002. Т. 9. S. 221.
- 21 *Судоплатов А.* Тайная жизнь генерала Судоплатова. Правда и вымысел о моем отце. М., 1998. С. 148–161; *Максимова Н., Филиппов Б.* Ватикан и Вторая мировая война // Наука и религия. 2000. № 5. С. 14; Польское подполье на территории Западной Украины и Западной Белоруссии. 1939–1941. Polskie podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy I Zachodniej Białorusi w latach 1939–1941. М.; W., 2001. Т. 1. S. 398, 476.

- 22 *Парсаданова В. С.* Депортация населения из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939–1941 гг. // Новая и новейшая история. 1989. № 2; Polska-Ukraina: trudne pytania. W., 1999. Т. 5. С. 113, 171–172.
- 23 Архив Президента Российской Федерации (АПРФ). Ф. 3. Оп. 60. Д. 9. Л. 52–59.
- 24 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 3. Д. 16. Л. 45; *Дмитрук К. Е.* Униатские крестоносцы: вчера и сегодня. М., 1988. С. 248; *Кравчук А.* Християнська соціальна етика під час німецької окупації Галичини. 1941–1944. Митрополит Андрей (Шептицький) про солідарність, опір владі та святості життя // Ковчег. № 2. Львів, 2000. С. 236.
- 25 *Torzecki R.* Kwestia ukraińska... S. 241, 247; *Jasiak M.* Geneza i przebieg akcji «Wisła» // Polska — Ukraina: trudna odpowiedź. Warszawa, 2003. S. 78–81.
- 26 *Motyka G.* Dywizja SS «Galizien (Hałyczyna)» // Pamięć i Sprawiedliwość. 2002. № 1. S. 114–118.
- 27 *Torzecki R.* Polacy i Ukraińcy... S. 266.
- 28 ГА РФ. Ф. 9478. Оп. 1. Д. 133. Л. 120–122; Д. 353. Л. 2; *Torzecki R.* Kwestia ukraińska... S. 328; *Torzecki R.* Polacy i ukraińcy... S. 315.
- 29 Цит. по: *Кравчук А.* Християнська соціальна етика під час німецької окупації... С. 240.
- 30 Членство униатских священников в организациях ОУН и отрядах УПА подтверждается архивными документами НКВД СССР. См. напр.: ГАРФ. Ф. 9478. Оп. 1. Д. 133. Л. 36; Д. 135. Л. 109–117 об., 118–119, 121; Д. 136. Л. 24, 27, 31, 137.
- 31 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 93. Л. 395; Д. 92. Л. 248; Ф. 9478. Оп. 1. Д. 133. Л. 126–128.
- 32 АПРФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 9. Л. 94–96; Д. 5. Л. 68.
- 33 Униаты и советская власть (Встреча в Москве). Декабрь 1944 г. Публикация документов подготовлена Одинцовым М. И. // Отечественные архивы. 1994. № 3. Л. 57, 59–60, 71; АПРФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. Л. 108.
- 34 АПРФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 8. Л. 151.
- 35 *Васильева О. Ю.* Добровольное воссоединение или методы противостояния политике Ватикана // Церковь в истории России. М., 1999. Сб. 3; ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 3. Д. 16. Л. 58; АПРФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 10. Л. 2–3, 5, 11.
- 36 ГАРФ. Ф. 9478. Оп. 1. Д. 375. Л. 109–110, 118–120, 128.
- 37 *Palski Z.* Polityczne, ekonomiczne i narodowo-demograficzne następstwa operacji «Wisła» // Polska — Ukraina: trudne pytania. Warszawa, 2001. Т. 8. S. 198–199; *Makar J.* Polityczne, ekonomiczne i narodowo-demograficzne następstwa operacji «Wisła» // Ibid. S. 214; *Torzecki R.* Polacy i ukraińcy... S. 303; *Jasiak M.* Geneza i przebieg akcji «Wisła». S. 147.
- 38 *Misilo E.* Akcja «Wisła». Dokumenty. Warszawa, 1993. S. 136, 158; Українська історична наука на порозі ХХІ століття. Черновці, 2001. Т. 2. С. 65; ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 3. Д. 83. Л. 22; Архив внешней политики МИД РФ. Ф. 0122. Оп. 40. П. 337. Д. 22. Л. 148.
- 39 См. подробнее: Национальная политика в странах... Гл. 9.
- 40 АВП МИД РФ. Ф. 0125. Оп. 37. П. 156. Д. 34. Л. 20; *Vasile C.* Situatia Bisericii romane unite (Greco-catolice) dupa 6 martie 1945 // Erasmus. 1999. № 9–10. P. 133.
- 41 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 150. Л. 1.

- 42 Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф. Народная демократия: миф или реальность? М., 1993. С. 168–176; Три визита А. Я. Вышинского в Бухарест. 1944–1946. Документы российских архивов. М., 1998; Трансильванский вопрос. Венгеро-румынский территориальный спор и СССР. 1940–1946. Документы. М., 2000.
- 43 См. подробнее: Национальная политика в странах... Гл. 6, 9.
- 44 См. подробнее: *Vicur J. M. Consideratii privind politica religioasa a guvernului Groza 1945–1947 // Anulle Sighet. 1947. 1997. P. 343–353; Lasku V. Biserika romana unita cu Roma, Greco-catolicaa in anul 1947 // Ibid. P. 358–363; Manole J. Clerul militar intre pastorie, inregimentare si destiintare (1944–1948) // Annale Sighet. 1946. 1996. P. 268–285; Vasile C. Situatia Bisericii romane unite... P. 133–138.*
- 45 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 19. Л. 166.
- 46 См. подробнее: *Волокитина Т. В. Русская церковь и православные автокефалии на Балканах после Второй мировой войны (за кулисами интеграции) // Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX в. СПб., 2002. С. 251–252.*
- 47 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 19. Л. 166.
- 48 ГАРФ. Там же. Д. 133. Л. 83; Д. 150. Л. 4; *Покивайлова Т. А. Конфессиональная ситуация в Трансильвании... С. 189–190.*
- 49 Подробнее см.: *Annale Sighet 6. 1998; Annale Sighet 7. 1999; Покивайлова Т. А. Конфессиональная ситуация в Трансильвании... С. 195; Gillet O. Religióń et nacionalisme... P. 112.*
- 50 АПРФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 30. Л. 71.
- 51 Там же. Оп. 63. Д. 363. Л. 20.
- 52 Там же. Л. 7–10, 13, 56–57, 59–61.
- 53 См. подробнее: Национальная политика в странах... С. 115–132.
- 54 Там же.
- 55 ГАРФ. Там же. Л. 82; *Barnovský M. Irekokatolícka a pravoslávna cirkev... S. 139.*
- 56 Там же. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 735. Л. 6; АВП МИД РФ. Ф. 0138. П. 261. Д. 31. Л. 108.
- 57 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 721. Л. 112; *Cirkevní komise ÚV KSČ. 1949–1951. Edice dokumentů. Pr., 1994. S. 389.*
- 58 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 721. Л. 166.
- 59 Там же. Д. 735. Л. 112–113.
- 60 См. подробнее: Февраль 1948. Москва и Прага. М., 1998.
- 61 Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953. Т. 1. 1944–1949. М., 1999. С. 616–617.
- 62 *Cirkevní komise... S. 23.*
- 63 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 579. Л. 13, 16, 187.
- 64 Там же. Д. 423. Л. 186–187; Д. 579. Л. 126.
- 65 АВП МИД РФ. Ф. 0138. Оп. 32. П. 178. Д. 721. Л. 2; *Cirkevní komise... S. 327.*
- 66 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 721. Л. 53; АВП МИД РФ. Ф. 0138. Оп. 39. П. 261. Д. 31. Л. 108.
- 67 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 721. Л. 112–113; Д. 735. Л. 82–84; Д. 724. Л. 298–302; *Cirkevní komise... S. 389; Восточная Европа в документах российских архивов... Т. II. С. 417–419.*
- 68 Советский фактор... Т. 2. С. 390.

С. А. Романенко
(Москва)

«Перестройка» и/или «самоуправленческий социализм»? М. С. Горбачев и судьба Югославии

Истоки и предыстория. Отношение к Югославии, роль и место «титовского социализма» в формировании мировоззрения М. С. Горбачева и его соратников, во внешней политике СССР и в формировании концепции перестройки до сих пор не стало предметом особого исследования. Этот сюжет можно рассматривать в разных контекстах — и в контексте интеллектуальной истории советского общества, и в контексте истории внутривосточной борьбы в СССР, в контексте формирования внешней политики КПСС и советского государства и принятия решений, наконец, в контексте истории формирования и развития мировоззрения политического деятеля, которому суждено было сыграть видную роль в истории нашей страны и всего мира.

Многие, даже большинство, документов, все еще находящихся в «закрытых» архивах, еще будут обнаружены и проанализированы историками последующих поколений. Однако многие концептуальные проблемы если не решить, то, по крайней мере, поставить можно, на наш взгляд, уже сейчас, опираясь на доступный ныне корпус источников. В отечественной историографии до сих пор практически отсутствуют исследования, посвященные проблемам истории СФРЮ и советско-югославских межгосударственных и межпартийных отношений в 1960–1991 гг. Редкие советские статьи и коллективные монографии той поры в своем большинстве носят не научный, а политико-идеологический и пропагандистский характер; их авторы находились в жестких рамках множества теоретических, концептуальных и фактографических ограничений, связанных с доступом и распространением идей и информации, попросту говоря, с цензурой.

Историю формирования мировоззрения М. С. Горбачева и его эволюции, его взглядов на югославский опыт социалистического строительства и советско-югославских отношений необходимо начать с краткого описания развития этих отношений в 1918 — начале 1950-х гг.

Первое время после прихода к власти большевики удивительным образом пытались соединить ориентацию на королевскую Сербию, в которой они первоначально увидели средство распространения своих геополитических мечтаний на Европу и весь мир, с коммунистическо-интернационалистской риторикой о «национальном самоопределении трудящихся». В 1918 г. начинается борьба «диктатуры пролетариа-

та» в Москве с «диктатурой короля Александра» в Белграде. В то же время очень непросто складываются и отношения между Коминтерном, за которым стоит сталинское руководство, и КПЮ.

У большевиков «славянство» в качестве внешнеполитической концепции сменил «пролетарский интернационализм», столь же исправно служивший обоснованием и прикрытием для имперской и ассимиляторской политики. Однако постепенно он показал свою ограниченную эффективность, и И. В. Сталин стал использовать элементы национализма не только во внутренней, но и во внешней политике: с середины 1930-х гг. пришлось возвращаться к использованию «славянской риторики» и этнокультурного, а затем и конфессионального компонента сознания. В рамках распространения концепций национал-большевизма, иными словами, соединения псевдомарксистских сталинских формул и русского национализма. После прихода к власти Гитлера отношение к Югославии за кремлевской стеной и в Коминтерне изменилось: во главу угла ставился не ее распад, а сохранение целостности. Это же отразилось и на отношениях с КПЮ, руководителем которой стал Йосип Броз Тито. Политическая необходимость привела к медленному сближению Москвы и с официальным Белградом, выразившемуся в установлении дипломатических отношений в 1940 г.¹

С началом Второй мировой, в особенности — Великой Отечественной войны «славянская идея» при видоизмененной форме и содержании также использовалась для внутренней консолидации, как и во время Первой. Однако начало войны поставило Сталина и его товарищей по советскому руководству перед нелегким выбором на Балканах: король Петр II или Тито, «сербизм» или «интернационализм». После колебаний ставка была сделана на своего единомышленника и воспитанника, но очень скоро идиллия закончилась, и Сталину со товарищи осталось горько пожалеть о своем выборе. Но все же в период с 1918 по 1948 г. «югославский вопрос» не был вопросом, расхождения по которому, если они и имели место, отражали концептуальные различия между боровшимися за влияние на В. И. Ленина, а затем и на И. В. Сталина различными группировками в партийном и государственном аппарате.

Советско-югославский конфликт 1948–1953 гг. был и конфликтом двух личностей, и столкновением двух коммунистических партий, претендовавших на главенство в международном коммунистическом движении, и отражением регионального этнополитического кризиса на Балканах и в южной части Центральной Европы, вызванного неурегулированностью этнотерриториальных проблем в ходе формирования в Европе новых границ после Второй мировой войны².

В 1948–1960 гг. — вновь, как и в дореволюционные годы, — югославский фактор стал играть большую роль во внутривосточной

борьбе за власть в Кремле — в борьбе около Сталина, в борьбе его наследников: группировок Л. П. Берии — Г. М. Маленкова, с одной стороны, и А. А. Жданова — с другой. После смерти И. В. Сталина в 1953 г. Л. П. Берия обвинялся в связях с Тито, с Югославией. В 1955 г. — наоборот, в интригах против Югославии и настраивании Сталина против Югославии³. Именно на 1955–1956 гг., период до и непосредственно после XX съезда, приходится нормализация советско-югославских государственных и партийных отношений⁴. Позднее М. С. Горбачев, вспоминая то время, писал, что многие «с симпатией относились к Югославии» и «с одобрением восприняли предпринятые Хрущевым шаги по нормализации советско-югославских отношений»⁵.

Само по себе формирование отношения М. С. Горбачева к Югославии, к Тито, к югославскому опыту «социалистического строительства» проходило под влиянием разных источников, отражавших различные направления в ВКП(б) — КПСС. С одной стороны, это объективно было «сталинское наследие»⁶. С другой стороны, это была новая информация, начавшая поступать в СССР как из официальных партийных изданий, так и из зарубежных источников информации, разрешенных в СССР⁷. «Газеты и журналы стран Восточной Европы можно было купить в Москве и Ленинграде». Статьи «переводились из польских и югославских газет и распространялись среди друзей и знакомых». Речи Тито о сталинизме, Э. Карделя о рабочих советах «ходили по рукам»⁸. Тогда в СССР мало что знали о созданной Тито в 1948–1953 гг. системе концентрационных лагерей и тюрем для «перевоспитания» тех коммунистов и просто граждан Югославии, которые посчитали, что Сталин прав в этом конфликте.

До сих пор практически отсутствуют исторические исследования и литературные произведения, посвященные теме «титовского ГУЛАГа» — «Голого острова» (Goli otok — хорв.), югославской трагедии как с советской, так и с югославской сторон. Меньшее внимание к проблематике «1948 года» со стороны советского общества, по сравнению с югославским, до некоторой степени объясняется и тем обстоятельством, что для КПЮ и всей «титовской» Югославии доказательство своей правоты в «историческом споре» превратилось в смысл существования. У СССР и КПСС, несмотря на ожесточенность конфликта при жизни Сталина и его остроту и болезненность в последующие годы, существовали и иные проблемы, и эти события в отечественном сознании не могли занимать такое же место и восприниматься с такой же силой и глубиной.

При этом вряд ли югославская проблема волновала М. С. Горбачева специально. Все это рассматривалось лишь в контексте идей, распространенных среди некоторой части партийного и государственного аппарата и «партийной интеллигенции», которая стремилась найти аль-

тернативу сталинизму в рамках «социалистического учения» в его советском варианте.

Обмен визитами между советским и югославским руководством в 1955–1956 гг. и подписание Белградской и Московской деклараций оказали большое воздействие на сознание рядовых советских граждан, поверивших в линию XX съезда. Однако трагические события 1956 г. в Венгрии вновь подвергли советско-югославские отношения тяжелому испытанию. Венгрия превратилась в поле политического соперничества двух государств и идеологического — двух партий⁹.

С конца 1950-х гг. все же постепенно возобновлялись и более широкие контакты между двумя странами, стал налаживаться обмен разнообразными делегациями не только на высшем, но и на «среднем» и даже «низком» уровнях. Надо же было хотя бы частично выполнять Белградскую и Московскую декларации! В основном это касалось партийно-государственной номенклатуры — «проверенных товарищей», которые с обеих сторон так и не избавились от предрассудков конца 1940 — начала 1950-х гг. и жестко придерживались «линии (каждый своей) партии». Хотя недоверие и осторожность сохранялись. В такой обстановке свободные человеческие контакты сводились к минимуму; и «русские», и югославы вынуждены были держаться исключительно в рамках официальной программы своих поездок, с неизбежными фабриками, колхозами и партийными комитетами с портретами «вождей».

Когда в 1957 г. Н. С. Хрущев боролся с группой В. М. Молотова — Г. М. Маленкова — Л. М. Кагановича, в обвинениях против них также звучала «югославская тематика»¹⁰. Но уже на XXII съезде КПСС в 1961 г. выступавшие с обоснованием политики Н. С. Хрущева четырехлетней давности уже и не вспоминали об их отношении к Йосипу Брозю Тито и СКЮ. В 1964 г. врагам Н. С. Хрущева «югославский фактор» тоже не понадобился: на октябрьском пленуме ЦК КПСС этот момент в перечне его «прегрешений» отсутствовал. Руководство КПСС (не в последнюю очередь под влиянием советско-китайского конфликта) приняло создавшееся положение как должное и не хотело возврата к старым конфликтам в открытой форме, хотя скрытое противостояние Москвы и Белграда продолжалось.

Конфликты 1950-х гг. в советско-югославских отношениях были обусловлены не только внешнеполитическими коллизиями, но и внутренними процессами в обеих странах, противоречивыми и непоследовательными попытками их руководства уйти от наследия сталинского прошлого, а также рецидивами этого прошлого. Очередное столкновение было вызвано критикой советскими коммунистами проекта, а затем и программы СКЮ, принятой на VII съезде партии 22–26 апреля 1958 г. Заметим, что СКЮ имела полное право не выносить на обсуждение в

Москву свою программу, и в известном смысле это был одновременно и жест товарищества в расчете на доверие, и довольно унижительный для самостоятельной партии шаг.

Так или иначе, представленная программа, систематизировавшая концепцию «самоуправленческого социализма» и в ряде пунктов расходящаяся с декларацией совещания коммунистических и рабочих партий в ноябре 1957 г.¹¹, обсуждалась в дни работы съезда на заседании Президиума ЦК КПСС 24 апреля 1958 г., который принял решение: «критика настоящая, тон товарищеский, лиц не затрагивать. Опубликовать речи и статьи»¹². И это решение было выполнено: программа подверглась резкой критике не только со стороны КПСС, но и других «коммунистических и рабочих партий»¹³.

По оценке посла Югославии в СССР в 1956–1958 гг. Велько Мичуновича, среди руководителей КПСС самой жесткая критика исходила от М. А. Сулова. Он отверг в принципе: «...никакие изменения и дополнения не могут изменить сути проекта, который свидетельствует о претензиях СКЮ в международном рабочем движении». Идеолог КПСС задал и конкретный вопрос: «...Почему ни разу не упомянуты США как главный враг социализма», как это было в Манифесте мира¹⁴. Именно М. А. Сулову Президиум поручил «подготовить проект письма от ЦК КПСС ЦК СКЮ о наших отношениях с Югославией в связи с отходом югославских руководителей на VII съезде СКЮ от основных принципов марксизма-ленинизма и занятой ими на этом съезде недружественной позицией в отношении КПСС и Советского Союза и проект закрытого письма парторганизациям по этому вопросу». И текст «Закрытого письма Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза партийным организациям о советско-югославских отношениях» был утвержден 13 мая 1958 г. К нему прилагалось письмо ЦК СКЮ¹⁵.

Отношениям с ФНРЮ и СКЮ придавалось столь большое значение, что 6 мая 1958 г. Президиум ЦК КПСС поручил Н. С. Хрущеву выступить на пленуме ЦК КПСС с информацией об отношениях с Югославией¹⁶. Если в 1948 г. советско-югославский конфликт был обусловлен во многом возможностью создания в Средней Европе крупного социально однотипного государства, то теперь советское руководство смертельно боялось проникновения в «собственную» страну и партию каких-либо альтернативных и конкурентоспособных идей. Возникла забавная цепочка: СКЮ обвинял в «ревизионизме» М. Джиласа, а КПСС в том же грехе обвиняла сам СКЮ. Подобные «слова-символы» (скорее, «слова-этикетки») недорого стоили и, так же как и в 1948–1953 гг., были призваны не прояснить, а затушевать суть идей, событий и процессов. «Ревизионизм» стал в международном коммунистическом движении новым, после «троцкизма» времен Сталина, знаковым словом-прокляти-

ем, «этикеткой», которую по традиции русские марксисты еще со времен Г. В. Плеханова и В. И. Ленина как «бубнового туза» лепили на спину тем, кто думал иначе, чем «вожди» и послушное им большинство¹⁷.

В конце концов программа СКЮ «удостоилась» критики Н. С. Хрущева и на XXI съезде КПСС, состоявшемся 27 января — 5 февраля 1959 г. Вполне в духе замечаний М. А. Суслова, он утверждал, что «югославские руководители в противовес Декларации Московского совещания коммунистических и рабочих партий 1957 г. выступили со своей ревизионистской программой, в которой повели атаку на марксистско-ленинские позиции международного коммунистического движения». Советский руководитель утверждал, что расхождения югославских руководителей с «марксистами-ленинцами» (т. е. прежде всего КПСС) состояли в том, что-де лидеры СКЮ отрицали необходимость международной классовой солидарности и отходили от позиций рабочего класса. Что же касается «внеблоковой» позиции Югославии¹⁸, то Н. С. Хрущев заявил, что от нее «основательно пахнет духом американских монополий, которые подкармливают „югославский социализм“»¹⁹.

Советская партийно-бюрократическая номенклатура так до конца и не смогла смириться с идеологической и политической независимостью Югославии и ее лидера, подсознательно рассматривая их существование как угрозу существовавшей в СССР модели социализма и советскому влиянию в мире, в особенности в странах Средней и Юго-Восточной Европы. Поэтому не удивительно, что новая редакция программы КПСС, принятая на XXII съезде КПСС (17–31 октября 1961 г.), по своему внутреннему содержанию полемизировала с программой СКЮ. «Приговор» был однозначен: в ней нашла «наиболее полное воплощение идеология ревизионизма»²⁰.

В то же время до 1991 г. в ЦК КПСС и различных «закрытых» институтах партийные интеллектуалы пытались найти возможность не только проанализировать, но и применить на практике югославский опыт Йосипа Броза Тито и Эдварда Карделя. Приобретший широкую известность с конца 1980-х гг. экономист и публицист О. Р. Лацис вспоминал, что в начале 1960-х гг. Т. А. Гайдар, работавший в то время корреспондентом «Правды» в СФРЮ, «снабжал нас кое-какими книжками по югославской системе самоуправления, с которой мы связывали большие надежды»²¹. В рамках некоторой оппозиционности сталинскому «наследию» и попыткам его реанимации во второй половине 1960-х гг., часть советской партийной интеллигенции, получившей возможность в силу разных обстоятельств поближе познакомиться с жизнью в СФРЮ, несколько романтически-восторженно воспринимала «титовскую» Югославию. «Поразительно интересное по тем временам место, — вспоминает спустя тридцать лет тогдашний школьник Егор Гайдар, оказавшийся тогда в

Белграде вместе с родителями. — Югославия — единственная страна с социалистической рыночной экономикой. В 65-м здесь существенно демократизирован политический режим, идут экономические реформы, вводится рабочее самоуправление. Страна поражает невиданным по советским масштабам богатством магазинов, открытостью общественных дискуссий, публичным обсуждением проблем, которое совершенно немыслимо у нас»²².

Однако сохранялась прежняя болезнь — отсутствие информации и нежелание видеть, что одним из наиболее болезненных в Югославии вопросов, вопрос ее жизни и смерти коренился в межэтнических отношениях. Рост напряженности (парадоксально, но одной из причин этого стало уменьшение внешней опасности со стороны СССР) власть начала ощущать с конца 1950-х гг. и с тех пор национальная проблема не покидала югославскую политическую сцену ни на один миг. Вплоть до распада государства, возможность которого стала в повестку дня практической политики еще в 1962 г.²³ Не ушла она и с постъюгославской сцены 1990–2000-х.

Диссидентская среда в СССР не оставалась в стороне от интереса к Югославии, несколько идеализируя «титовский социализм». Но многие уже тогда смотрели совершенно трезво²⁴.

«Пражская весна» 1968 г. вновь привела к использованию элементов «славянской» риторики, с одной стороны, и антиюгославской — с другой. В 1971 г. КПСС и СССР решительно выступили на стороне Тито против различных, прежде всего хорватских и сербских реформаторов в самом СКЮ. Тогда, впрочем, «либерал», «реформатор» и «борец со сталинизмом» Э. Кардель приклеил руководству Союза коммунистов Хорватии тех лет во главе с Савкой Дабчевич-Кучар ярлык «дубчековцев» и «контрреволюционеров» и повторял: «Лучше русские танки в Загребе, чем ваша „дубчековщина“»²⁵. В этом его позиция по отношению к «Хорватской весне» несколько не расходилась с позицией Л. И. Брежнева или М. А. Суслова. Под этими словами охотно подписался бы в 1948–1953 гг. и сам И. В. Сталин, не говоря уже об осевших в СССР «информбюровцах». Все это подтверждает мысль М. Джиласа о том, что «титизм, титовский марксизм по своей функции ничем не отличается от марксизма или марксизмов в остальных коммунистических странах — он освящает и обосновывает власть»²⁶.

Знали ли о вышеприведенных словах Э. Карделя — югославского «реформатора» советские партийные либералы, многие из которых в 1968 г. поплатились за свою критическую позицию по отношению к интервенции в Чехословакию? Концепции Э. Карделя — «главного теоретика югославского рыночного социализма» — были «особенно созвучны [их] тогдашним поискам новой марксистской истины»²⁷. Однако

существенным недостатком этих поисков было недостаточное внимание (связанное не в последнюю очередь с практически полным блокированием информации и с советской, и с югославской стороны) к проблемам межнациональных отношений в принципе, и в Югославии в частности.

Период 1968–1971 гг. был, вероятно, самым острым моментом в отношениях между СССР и СФРЮ наряду с конфликтом Сталин — Тито и событиями в Венгрии. Для полного успокоения Москвы (как, впрочем, и для своего собственного) 5–10 июня 1972 г. Й. Броз Тито посетил советскую столицу уже с официальным визитом. Заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС А. С. Черняев записал в своем дневнике: «В контексте Никсона прошел у нас и Тито. (Речь идет о визите президента США Р. Никсона в СССР 22–30 мая 1972 г., во время которого, в частности, был подписан Договор ОСВ-1. — С. Р.) Демонстративное радушие, дружба, уважение, даже некоторое почтение к нему — событий примечательное. Английская газета „Observer“ писала, что визит означает, что в новой обстановке, когда „великие“ договорились о status quo, Тито уже невозможно будет так ловко балансировать между „двумя“, как этот он делал 20 лет с лишним. Вот он и сделал выбор (учитывая свои внутренние трудности). Может быть, может быть... Однако я вижу и другое: отныне югославский ревизионизм перестает быть фактором нашей внутренней идеологической политики. Им теперь можно пугать только на ушко! А ведь Тито не пошел в Каноссу. В своей публичной речи на „Шарикоподшипнике“, опубликованной в „Правде“, он трижды говорил „о самоуправлении“, очень много — о невмешательстве и суверенном праве каждого, один раз, но веско — о разнообразии форм социализма, о социализме вне границ как общемировом явлении, а не как о системе государств, и т. д., и ни разу о заслугах Советского Союза в мировых делах, о советско-американском сдвиге»²⁸.

После бурных событий 1968 и 1971 гг. Москва уже надолго не отпускала от себя Й. Броза Тито. Через год, 12–15 ноября 1973 г. он вновь приехал в Москву с официальным визитом. В 1975 и 1976 гг. состоялись встречи двух лидеров «на нейтральной территории» — в Хельсинки и Берлине. Спустя ровно три года после визита Й. Броза Тито в Москву в Белград отправился сам Л. И. Брежнев (15–17 ноября 1976 г.). 16–19 августа следующего года югославский лидер нанес свой очередной, а в 1979 г. — и последний визит в СССР.

В период застоя в обеих странах вплоть до конца 1980-х гг. югославский и славянский фактор также не использовался — оба режима относительно «стабильно» доживали свой век. Хотя разработкой политики по отношению к Югославии в ЦК КПСС и МИД СССР занимались многие профессионалы высокого класса, фантомы прошлого все еще продолжали жить в отношениях между двумя государствами, народами и партиями. Подход был в основном идеологическим, а не прагматиче-

партиями. Подход был в основном идеологическим, а не прагматическим. Иначе и быть не могло в царстве М. А. Суслова, Б. Н. Пономарева и М. В. Зимянина, карьера которых на разных этапах в немалой степени была связана с «критикой» теории и практики «югославов».

Поэтому не удивительно, что даже в середине 1970-х гг. в советском МИД (как и ЦК КПСС) спорили по вопросу, казалось бы, решенному двадцать лет назад на пленуме ЦК КПСС 1955 г. — «является ли Югославия социалистической страной». По требованию югославской стороны (и в духе 1955–1956 гг.!) в совместных советско-югославских документах Югославия называлась социалистической страной. С другой стороны, во внутренних документах «экономическая система СФРЮ оценивалась как не вполне социалистическая, несущая в себе элементы „рыночного“, то есть капиталистического хозяйства и „групповой“ собственности, — иначе говоря, как система, построенная на ошибочных, ревизионистских принципах»²⁹.

Политическое наследие конфликта 1948–1953 гг. в значительной мере было преодолено только в 1975 г., после визита в Москву идеолога СКЮ Э. Карделя 27 ноября 1975 г., когда Москва окончательно отказалась от поддержки эмигрантов-«информбюровцев»³⁰, ортодоксальных коммунистов, в 1948 г. принявших сторону Сталина и мечтавших об устранении от власти Тито и его соратников. Но недоверие в югославо-советских отношениях и стремление использовать трагический опыт прошлого для внутривластного манипулирования не исчезли. «В 1979 году, когда вьетнамские войска вошли в Кампучию, в Югославии началась жуткая паника. Руководство нагнетало слухи, что теперь советские войска вот-вот войдут в Югославию. Все это писалось в газетах, население стало скупать продукты. Наша соседка по дому перебралась жить в подвал. Все ждали русских танков. А тот же союзный секретарь по внутренним делам сказал мне, что если Советский Союз полезет в Югославию, то „вы будете по горло в крови“, — вспоминает, например, бывший военный атташе в СФРЮ А. Жук. — Во время последнего визита Тито в Москву в том же году Брежнев как верховный главнокомандующий давал ему слово, что нет не только планов нападения на Югославию, а даже мыслей таких. Тито кивал, но в Белграде обстановка не менялась»³¹. К этому же надо добавить и советско-югославские разногласия относительно введения советских войск в Афганистан и введение военного положения в Польше.

Политико-психологические и идеологические последствия разрыва 1948 г. так до конца и не были и не могли быть преодолены обеими сторонами. Из двусторонних отношений личностный фактор ушел лишь со смертью Тито, на двадцать семь лет пережившего своего учителя, товарища, соперника и врага — Сталина. Ни советские, воспитанные в

духе сталинизма, ни югославские, вскормленные имевшим тот же фундамент титоизмом, партийные руководители не хотели и не могли отделиться от враждебности, от засевшего в их подсознании глубокого недоверия по отношению друг к другу. Кроме того, сохранялись и объективные противоречия национально-государственных интересов. Правящие круги СССР и Югославии были не в состоянии провести последовательную десталинизацию и детитоизацию и отказаться от наследия 1948–1953 гг., вошедшего в их плоть и кровь. Им были совершенно чужды идейные поиски демократически ориентированных диссидентов и эмигрантов, уже в начале 1980-х гг. предвидевших если не распад, то серьезный кризис двух государств.

Помимо воли властей вопрос об отношении к внутренней и внешней политике Югославии так или иначе оставался одной из наиболее чувствительных точек советского политического сознания на разных его уровнях. Многим ныне известным политикам и ученым во времена их молодости, в 1980-е гг. волею судеб выпало определить свое отношение к опыту «социалистического строительства» в этой стране. Как показывает история, выбранная ими в те дни позиция по, казалось бы, далеком от повседневной советской реальности вопросам выразила суть их дальнейшей политической и человеческой судьбы в 90-е гг. XX и в начале XXI в. Делая свою вполне обычную карьеру в глухой провинции, «югославского пирога» советской пропаганды сумел вкусить нынешний президент Белоруссии. По-видимому, в начале 1980 г., в период между вводом советских войск в Афганистан 27 декабря 1979 г. и смертью Й. Броза Тито 4 мая 1980 г., Александр Лукашенко, занимавший тогда должность секретаря районной организации общества «Знание» городка Шклов в Белоруссии, «выступил на курсах офицеров запаса на базе ДОСААФ». В соответствии с «инструкцией» он критиковал позицию Югославии, негативно оценившей очередное проявление «братской помощи» со стороны СССР. На косноязычный вопрос одного из слушателей: «Почему вы допускаете (это „вы“, очевидно, относилось к советским „властям“, которых в глазах „народа“ представлял молодой лектор. — С. Р.), что Югославия ведет себя, немного, так сказать, не совсем?», будущий президент независимой Белоруссии вполне в духе известных резолюций Коминформа «жестко ответил: „Мы найдем меры, мы поставим Тито на место“»³². Такова была картина отношения советских властей к политике СФРЮ и СКЮ в период их очередного обострения и восприятия этой политики массовым провинциальным сознанием.

В это же самое время новое поколение советских интеллектуалов, видевших, что экономический, социальный и политический потенциал «реального социализма» в СССР иссякает, ставило перед собой иные цели и подходило к «югославскому вопросу» с иной меркой. Подобно

своим предшественникам — аппаратным либералам-«шестидесятникам» Анатолий Чубайс, Сергей Васильев, Егор Гайдар и другие, продираясь сквозь многочисленные «допуски» в специальных библиотеках, находясь под «недреманным оком» соответствующих «органов», почти что тайно изучали и, что самое главное, анализировали теорию и практику «самоуправленческого социализма», видя тогда в нем альтернативу социализму «государственному», возможность мирных преобразований и сохранения СССР³³. Впрочем, вполне вероятно, что тогда они просто не допускали саму вероятность исчезновения Советского государства (как, впрочем, и СФРЮ) в столь близкой, как оказалось, не только исторической, но и политической перспективе.

Последовавшие события показали, что «время брало свое, и контакты с годами входили вроде бы в нормальное русло»³⁴. Читая эти строки, написанные уже всемирно известным политиком о прошедших временах, можно осторожно предположить, что взгляды М.С.Горбачева на Югославию и концепции югославских коммунистов мало чем отличались от официальной точки зрения руководства КПСС. Да и находясь далеко от вершин власти, он в 1970-х — начале 1980-х гг. занимался далекими от международных отношений и ситуации в международном коммунистическим и рабочем движении проблемами.

И все же представления М.С.Горбачева, на которые ему суждено было опереться в конце 1980-х гг., формировались на фоне внутрипартийной борьбы в КПСС, когда отношение к Югославии стало своего рода водоразделом между умеренно реформаторским и ярко выраженным консервативным крыльями, а также на фоне событий 1956 г. в Венгрии и Польше, 1968 г. в Чехословакии, 1971 г. в той же Югославии, в 1981 г. в Польше.

Разгребая завалы прошлого. Фантом под наименованием «Югославия», войдя в плоть и кровь мировоззрения и мироощущения рядового советского человека по-прежнему, хотя и исподволь, все эти годы оставался лакмусовой бумажкой политических убеждений, профессионализма и человеческой порядочности³⁵. В «верхах» с 1964 г. до 1988 г., от снятия Н.С.Хрущева до середины секретарства М.С.Горбачева, «югославский фактор» рассматривался советским руководством исключительно как внешнеполитический и не играл практически никакой роли во внутренней борьбе в Кремле. Пережив хрущевскую «оттепель» и брежневский «застой», он по наследству достался М.С.Горбачеву, который искренне стремился решить болезненную проблему в рамках «перестройки», затрагивавшей не только внутреннюю, но и внешнюю политику, межгосударственные отношения и международное коммунистическое движение.

После трех визитов в Москву высших руководителей СФРЮ, вызванных необходимостью присутствовать на похоронах советских генсеков в начале 1980-х гг., наступила пора налаживать нормальные рабочие связи с новым руководством СССР и КПСС. Еще во время своего официального визита в Москву 3–7 июля 1985 г. председатель Союзного исполнительного веча (правительства) СФРЮ Милка Планинц отметила, что Горбачев предложил вместо «ссор» диалог по вопросам, в которых расходятся позиции наших партий и государств. Тогда его югославским собеседникам это было в новинку, и они оценили это предложение. Но когда по инициативе югославской стороны стали обсуждать проблемы Югославии и задолженность страны Западу, М. С. Горбачев сказал: «Обопритесь на нас». А эти слова были оценены югославской стороной уже как попытка в иной форме «оживить прежнюю политику сближения Югославии с СССР и вовлечения ее в социалистический лагерь»³⁶.

Для полной нормализации отношений должно было пройти время. Итоги переосмысления прошлого были подведены М. С. Горбачевым, оказавшимся наследником двух противоположных советских традиций — «аппаратной» и диссидентской-«шестидесятнической», со всеми их внутренними противоречиями к концу 1980-х гг. С именем М. С. Горбачева тесно связаны попытки провести соответствующие духу времени и настоятельной необходимости реформы в СССР и КПСС. На этом пути он неизбежно столкнулся с «югославской проблемой», с необходимостью примирения двух партий, концепций «строительства социализма», двух режимов. С началом дезинтеграционных процессов и нарастания кризиса коммунистических режимов в обеих странах «славянский», в особенности «сербский», мотив зазвучал вновь. В вышедшей в январе 1988 г. книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» генеральный секретарь критически отозвался об отечественных теоретиках и практиках, которые «выступали чуть ли не в роли единственных хранителей истин». Но инерция прошлого была еще очень сильна, и он не мог и не отдал дань советской традиции: «...В ряде социалистических стран возникали тенденции к определенному замыканию в себе, что создавало почву для субъективных оценок и действий». Упомянув о «серьезных сбоях в отношениях между социалистическими странами», М. С. Горбачев признал, что «особенно тяжелым было нарушение дружественных отношений между Советским Союзом и Югославией, Китайской Народной Республикой и Албанией»³⁷. Эти слова можно было в полной мере отнести и к советско-югославским отношениям, хотя «югославская проблема» не была отдельно упомянута. Подобный принципиальный подход сделал возможным окончание идеологического и политического противостояния.

Постепенно контакты на высшем уровне принимали более интенсивный характер, и «югославы смогли еще раз убедиться в готовности

Москвы к открытому диалогу». Как свидетельствовал помощник М. С. Горбачева Г. Х. Шахназаров, «одним из первых актов нового советского руководства стало удовлетворение давнего настойчивого желания югославов добиться покаяния с нашей стороны». Хрущев в известных документах середины 1950-х гг. все же «поделил вину за произошедший разрыв на двоих, что югославов никак не устраивало. Они годами ждали, время от времени деликатно намекая, что нам не худо бы признать себя виноватыми. И это было сделано в Советско-югославской декларации, принятой в ходе визита лидеров СФРЮ в Москву»³⁸.

Возможно, полным идеологическим примирением двух сторон и переводом их в цивилизованное русло можно назвать визит М. С. Горбачева в СФРЮ 14–18 марта 1988 г. Новая белградская «Советско-югославская декларация», подписанная спустя более тридцати лет после знаменитых «хрущевских» 1955–1956 гг., как и задумывали обе стороны, «закрывала период враждебности и распада»³⁹. Это означало поворот в сознании значительной части политических классов обеих стран. Участники переговоров подчеркнули «историческую роль и непреходящую ценность универсальных принципов, содержащихся в Белградской и Московской декларациях, а именно: взаимное уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности, равноправие, недопущение вмешательства во внутренние дела под каким бы то ни было предлогом». Обе стороны особо отметили, что свои взаимоотношения они строят на «уважении особенностей путей и форм их социалистического развития и различия в международном положении»⁴⁰. «До того момента невозможно было себе представить, — вспоминал Раиф Диздаревич, занимавший тогда пост союзного секретаря по иностранным делам СФРЮ, в 1988–1989 гг. Председательствующий Президиума (президент) СФРЮ, — чтобы советский лидер сказал (да еще и в Белграде!), что никто не может навязывать свою модель другому»⁴¹.

В опубликованных семь лет спустя воспоминаниях М. С. Горбачев с сожалением писал о том, что у многих новых лидеров в Югославии «не было деятельной общей заботы о главном — о том, чтобы сохранялась живая ткань отношений между южнославянскими народами и народностями». Отмечалось лишь, что «отношения дружбы народов двух стран имеют давние корни», что «они особенно окрепли в совместной борьбе против фашизма в годы Второй мировой войны». Конфликт 1948 г. все же упоминался, но как дело решенное, причины которого «устранены» путем «уважения самостоятельности и независимости партий и социалистических стран в определении путей собственного развития». Между тем в своем выступлении в Скупшине (парламенте) СФРЮ М. С. Горбачев пошел дальше Н. С. Хрущева и прямо сказал, что «добрые отношения между нашими странами были

нарушены по вине советского руководства»⁴². Обе партии отказывались от «монополии на владение истиной и заявили об отсутствии у них претензий навязывать кому бы то ни было собственные представления об общественном развитии».

В то же время не было и речи о пересмотре роли правящих партий — КПСС и СКЮ. В СССР еще не была отменена 6-я статья Конституции о «руководящей и направляющей роли КПСС» (это произошло только в марте 1990 г.), «да и югославы при всем их „оппортунизме“, при том, что сами в свое время провозглашали отделение партии от государства и „дезтатизацию“, не приняли бы подобной концепции»⁴³.

Подписанная декларация не только означала подведение окончательной черты под конфликтами и предрассудками прошлого, но и, по-видимому, стала для М. С. Горбачева одним из этапов его окончательного разрыва со сталинизмом, с его идеологией и психологией: с одной стороны, «сознательным использованием наиболее темных и в то же время реально существующих инстинктов, рефлексов и традиций российского общества»⁴⁴, с другой, — добровольным согласием и покорностью населения, так и не ставшего обществом. Горбачев, писали в его биографии Душко Додер и Луиз Бренсон, «остался тверд в своем намерении навсегда похоронить „доктрину Брежнева“, утверждая, что народы Восточной Европы имеют право сами решать, при каком строе они должны жить»⁴⁵.

А ведь незадолго до этого, в 1986 г., М. С. Горбачев, только что избранный генеральным секретарем ЦК КПСС, в февральском интервью газете французских коммунистов «Юманите» отрицал само существование «сталинизма»⁴⁶, модернизацией внешнеполитических принципов которого и была вышеупомянутая доктрина. Вместе с тем М. Джилас полагал, что «вместе с Горбачевым пришел конец так называемому сталинизму». При этом он подчеркивал утопичность попыток апелляции к Ленину против Сталина: «...поскольку сталинизм — это только основное, победившее течение (в учении. — С. Р.) Ленина и ленинизме. Без понимания этой горькой и ужасной, в особенности для советских вождей, истины, нет перспективы превращения советской системы без серьезных потрясений в правовое государство и эффективную товарно-денежную экономическую систему»⁴⁷.

Реальность этого явления и необходимость расчетов с ним Горбачев почувствовал, не только посетив Югославию, но и прочитав в те же дни «письмо» Н. Андреевой. Не только символично, но и, наверное, далеко не случайно, что этот манифест антиреформаторского течения в КПСС был опубликован именно в тот момент, когда генсек находился в СФРЮ, откуда предпринял очередную попытку «вернуть стихию беспорядков», уже начинавших захлестывать тогда еще советские республики, «в политическое русло»⁴⁸. Гостеприимные и внимательные хозяе-

ва заметили, что советский гость работает минимум до трех часов ночи, хотя внешне он ничем не выдал своих тревог⁴⁹.

Г.Х.Шахназаров оценивал отношения СССР с Югославией на тот момент как «самые безоблачные» по сравнению с остальными «социалистическими государствами». Однако с этим трудно согласиться. Весьма сомнительным комплиментом М.С.Горбачеву и его сторонникам выглядит и тезис о том, что «перестройка продвинула Советский Союз примерно к тому состоянию, в каком оставил свою страну Тито»⁵⁰. Это свидетельствует о том, что в советском руководстве даже эксперты высшего уровня не обладали тогда достаточным знанием и пониманием ситуации в СФРЮ и СКЮ. Помощник генерального секретаря несколько свысока вспоминал о содержании и атмосфере переговоров: «Югославским лидерам, которые не успели, да и не сумели толково распорядиться наследством Йосипа Броза Тито, важно было понять смысл событий, разворачивающихся в Советском Союзе, намерения нашего руководства. В СФРЮ уже появились первые признаки эрозии системы, в верхних эшелонах ощущали необходимость профилактических перемен и, видимо, не исключали возможность заимствовать что-то из опыта перестройки».

М.С.Горбачев уловил эти настроения и охотно поделился своими замыслами, постоянно подчеркивая, что начатые им реформы ни в коем случае не рассчитаны на «капитализацию страны». «Я в курсе и наших, и ваших сложностей. Решая их, не искал бы ответов за рамками социализма. Наоборот, надо воспользоваться преимуществами нашего общественного строя, решительно проводя необходимые структурные изменения, применяя новые подходы. Предпосылка успеха — перестройка мышления людей. А этого не добиться без глубокой демократизации общества»⁵¹.

На официальном обеде, данном в его честь от имени Президиума Сербии и Президиума ЦК СК Сербии, М.С.Горбачев познакомился со Слободаном Милошевичем, заявившим в протокольной речи, что в Сербии «с большим вниманием, огромным интересом и искренней поддержкой следят за всем, что в последние годы происходит в Советском Союзе». Председатель Президиума ЦК Союза коммунистов Сербии назвал социализм «прогрессивным обществом нашей эпохи», «представляющим будущее человечества, и не только потому, что таков прогноз научного социализма, который дали Маркс и Энгельс и их последователи, в первую очередь Ленин, но и потому, что социализм является воплощением прогрессивных сил современного мира»⁵². В ответ М.С.Горбачев заговорил о «давних и добрых исторических традициях, которые связывают русских с сербами», о том, что «в сердце каждого русского и серба, так сказать, в их генетической памяти заложены взаимная доброже-

лательность и дружеское тяготение». Впоследствии сходную риторику активно использовали С. Милошевич и его окружение как для осуществления собственных политических планов, так и против политики демократических реформ в СССР М.С.Горбачева и независимой России в 1991–2000 гг. Не было сказано ничего подобного в отношении хорватов и словенцев на встречах с тогдашними руководителями этих республик и партий М.С.Горбачевым. По-видимому, все же сказались предрассудки советского руководства и партийного аппарата, которые всегда подсознательно считали словенцев и хорватов «католиками», «не нашими», «западниками».

Тем не менее «советская угроза» все еще воспринималась югославскими, в том числе и сербскими партийными вождями как реальная возможность, которая может стать явью в любую минуту. Например, участник одного из решающих для судьбы С.Милошевича заседаний партийного руководства 1987 г. (т. е. еще до визита М.С.Горбачева) И.Стамболич позднее вспоминал, что, когда он увидел выражение лица «Слобы» (т. е. С.Милошевича), то в первую секунду подумал, что на Югославию «напали русские, что началась третья мировая война»⁵³. Такова была не прикрытая дипломатическим этикетом политико-психологическая реальность.

Среди руководителей, с которыми встретился в 1988 г. М.С.Горбачев, между прочим, был и будущий президент Словении (тогда — Председатель Президиума СК Словении) М.Кучан. Ему, вероятно, единственному из всех коммунистических руководителей стран Средней, Восточной и Юго-Восточной Европы впоследствии удалось подтвердить свои полномочия на прямых президентских выборах и практически мирно провести страну по пути реформ от социализма (пусть и самоуправленческого) к подлинно рыночной экономике и парламентской демократии.

Во время переговоров со С. Милошевичем в 1988 г. М.С.Горбачев, как свидетельствуют его воспоминания, почувствовал националистический настрой собеседника. Однако и позднее, не совсем корректно чисто политически и, может быть, отчасти подсознательно, сравнивая положение сербов и русских, Сербии и России, он полагал, что «руководители крупнейшей республики не без основания опасались, что усиление сепаратистских тенденций и течений, затронув прежде всего интересы граждан — сербов по национальности, проживающих в федерации, вызовет дестабилизацию всей страны»⁵⁴. Знал ли тогда советский руководитель о «Меморандуме Сербской академии наук и искусств» 1986 г., ставшем манифестом сербской националистической «перестройки», о действиях и взглядах самого С.Милошевича? Смогли ли тогда реально оценить этот документ его помощники? Во всяком случае, многоопытный советский генсек во время переговоров с руководителями Сербии,

Хорватии и Словении не мог не увидеть значительных различий в их оценках ситуации в СФРЮ и предложениях относительно направленности реформ.

В следующий раз Горбачеву и Милошевичу было суждено встретиться в Москве в драматических обстоятельствах октября 1991 г. Тогда уже стало окончательно ясно, что социализм, будь то «этатистский» или «самоуправленческий», «сталинский» или «титовский», без харизматического диктатора (в «ежовых рукавицах» или в «бархатных перчатках») без внутренних репрессий и противостояния внешнему миру (в том числе и себе подобным!) нежизнеспособен. Борьба сиамских близнецов с внешним окружением и друг с другом закончилась гибелью обоих.

Но в 1988 г. еще никто не знал, что подлинные реформы милитаризованной системы социализма приведут в обеих странах к попыткам военных путчей, что обеим странам и партиям остается существовать не больше трех лет. Подписанная во время визита «Долгосрочная программа экономического сотрудничества СССР и СФРЮ на период до 2000 г.» так и осталась на бумаге. А над головами встречавших на московском аэродроме возвратившегося из Белграда М. С. Горбачева «членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС» почти что зримо витал призрак «письма» Нины Андреевой.

Два кризиса, два путча, два распада. Если раньше советские «генсеки» всеми силами открещивались от анализа югославского опыта и тем более переноса его на советскую почву, то теперь советский президент стал присматриваться к позитивному и негативному опыту югославских товарищей, признал типологическое родство партий и государств. Позднее этот прием — сравнения к месту и не к месту с Югославией и постъюгославскими государствами приобрел в независимой России гипертрофированный характер, но в 1991 г. Горбачев делал лишь первые шаги в это направлении.

Для «горбачевского» руководства положение в Югославии в конце 1980-х — начале 1990-х гг. было важным не только из-за теоретических и практических аналогий между судьбами двух «социалистических» государств и этнотерриториальных федераций. «Очевидно, что на фоне активности Европейского сообщества, и особенно Германии, а также намерений США присоединиться к этому процессу, отсутствие Советского Союза не могло не наносить урона его статусу великой державы», — вспоминал последний пресс-секретарь М. С. Горбачева А. С. Грачев.

О степени озабоченности советского руководства развитием событий в СФРЮ и понимания им «первопричин произошедшего там взрыва» и его возможных последствий свидетельствует одна из «записок», направленная Г. Х. Шахназаровым М. С. Горбачеву еще в декабре 1990 г. и

озаглавленная «К вопросу о Югославии». «Перед нами сейчас традиционная для международных отношений политическая задача: как совместить два справедливых интереса (государственный суверенитет и права народов на самоопределение. — С. Р.), не допустив при этом ущерба окружающим. Задача высшей политической сложности, и если ее не удастся решить, последствия могут быть катастрофическими», — писал Г. Х. Шахназаров, подчеркивая, что эти признанные международным правом принципы «составляют фундамент общеевропейского процесса». Справедливо отмечая, что «противостояние периода „холодной войны“ как бы отодвинуло на задний план региональные противоречия на континенте», советник писал, что «теперь возникла реальная угроза того, что тлевшие здесь конфликты могут вспыхнуть с новой силой, поставив под угрозу все развитие мирного общеевропейского процесса». Безусловно, настаивал он, «решать эту проблему — право народов самой Югославии и ее правительства. <...> Однако нельзя допустить, чтобы пожар войны опалил эту прекрасную страну и перекинулся на соседей». Поэтому «бесспорны и право, и обязанность участников Европейского сообщества оказать всемирную поддержку и помощь югославам в этот трагический для них час»⁵⁵.

Поэтому было бы «крайне важно выработать некоторые общие подходы к событиям в СФРЮ. В декларациях ООН и документах СБСЕ, особенно Парижской хартии, заложены требования, которые должны соблюдаться в таких случаях. Речь идет, во-первых, о том, что право народов на самоопределение должно осуществляться так, чтобы при этом не допускалось нарушение суверенитета государств, основным признаком которого является территориальная целостность, — продолжал Г. Х. Шахназаров. — Во-вторых, любые изменения не должны вести к перекройке границ в Европе, нерушимость которых стала главной гарантией мира и безопасности на континенте. Отсюда вытекает, что не могут признаваться односторонние акты, нарушающие конституционный порядок в том или ином государстве. Пойти по этому пути — значило бы нарушить принцип невмешательства во внутренние дела, породить цепную реакцию, разрушающую всю международную законность». То есть, по сути дела, для советского политика приоритет государства и тем более его целостность были первейшим и незыблемым принципом при всех обстоятельствах. Парадокс, однако, состоял в том, что позиция насильственного сохранения единства распадавшихся государств извне отнюдь не в меньшей мере означала не примирение, а стимулирование конфликта внутри самого государства по пути «противоправных насильственных акций», радикализацию позиций вовлеченных в него сторон. А решение оказывалось весьма далеким от «мирного, демократического пути, на основе переговоров и взаимных компромиссов», на которые надеялись в Кремле.

«События в Югославии, — заканчивал Г. Х. Шахназаров, — первое серьезное испытание той новой системы безопасности, которая начинает формироваться в Европе и в мире в итоге происшедших перемен. Сумеем ли сообща пройти это испытание — будет доказана устойчивость и надежность опор нового международного порядка»⁵⁶. Однако дальнейшие события показали, что «новый международный порядок» приобрел совершенно иной характер.

Постепенно «становилось все более очевидным, что Старая площадь уже не могла контролировать ситуацию в Восточной Европе, отказавшись от сталинско-ждановского и брежневско-сусловского механизма воздействия на членов Восточного блока. <...> Ситуация в регионе менялась явно не в пользу Кремля», — пишет российский исследователь Ар. А. Улуян⁵⁷. Отражением борьбы двух тенденций в советском руководстве и стало Постановление Секретариата ЦК КПСС «О развитии обстановки в Восточной Европе и нашей политике в этом регионе» от 22 января 1991 г. В нем содержалась резкая, вполне созвучная позиции «югославских товарищей», критика внешнеполитического курса «реформаторского крыла» во главе с М. С. Горбачевым. Поэтому проигравший в тот раз генеральный секретарь не мог отказаться от предостережений «западным охотникам запустить руки в обостряющиеся внутрисоюзные проблемы»: «...не вмешиваться во внутренние дела Югославии и не поощрять ее распад».

Впрочем, теория «заговора» против социализма не была ему совсем чужда. Еще во время своего визита в Белград в 1988 г. «генсек считал своим долгом предостеречь югославских лидеров о намерениях правящих кругов Запада использовать в своих целях трудности в развитии социалистических стран. <...> Он делился с югославскими руководителями информацией о семинаре „американской интеллектуальной элиты“ с участием Г. Киссинджера и Дж. Кирпатрик, на котором обсуждались подрывные планы в отношении соцстран и прежде всего говорили о стимулировании оппозиционных партий. Тема нашла живейший отклик со стороны югославы. Жалуясь на попытки Запада подорвать дружбу народов СФРЮ, они, однако, выражали уверенность, что „корни югославского братства и единства, скрепленного совместно пролитой кровью в народно-освободительной борьбе, очень сильны, их не так легко вырвать“»⁵⁸.

К сожалению, даже просвещенные и «либерально настроенные» советники Горбачева не до конца понимали суть происходящего; многие из них так и не смогли преодолеть политико-психологическую инерцию прошлого, осознать историческую неизбежность распада СФРЮ и тем самым, возможно, способствовать мирному разрешению возникшего конфликта. «Предостережение» М. С. Горбачева адресовалось «в первую

очередь Германии из-за ее открытой поддержки хорватских и словенских сепаратистов», — писал, например, А. С. Грачев даже спустя несколько лет, огождествляя процесс национального самоопределения и сепаратизм⁵⁹.

«Аппаратным либералам» в Кремле не удалось преодолеть традиционные сетования на то, что «западные правительства и разведки, видевшие в соцстранах, в том числе и в Югославии, потенциального противника, приложили руку к стимулированию сепаратистских движений». Однако, будучи честными экспертами, они критиковали «тех, кто распоряжался их (СССР и Югославии. — С. Р.) судьбами» за то, что те «источник беспокойства искали главным образом в зарубежных кознях», и отдавали себе отчет в том, что «никакие происки джеймсов бондов не могли бы ничего поделывать, если бы корни национальной вражды не уходили в землю глубже корней национальной дружбы. Мусульмане и христиане, сербы и хорваты, другие национальные меньшинства, соединенные в Югославском государстве волею Антанты, припомнили друг другу взаимные обиды и ущемления». Однако если с этим согласиться, то непонятным останется вывод о том, что «Федеративная Югославия стала первой жертвой распада Советского Союза», а «другой его жертвой стала Чехословакия»⁶⁰.

Несмотря на наступление сторонников новой изоляции и конфронтации, летом 1991 г. М. С. Горбачев в югославском вопросе последовательно стремился найти «общие подходы» с руководителями стран Западной Европы и США. Более того, он подчеркивал это публично, вероятно иногда преувеличивая степень реально достигнутого взаимопонимания. В мае–июле 1991 г. его собеседниками в Москве были руководители Италии (Дж. Андреотти), ФРГ (Г. Коль), Испании (Ф. Гонсалес) и США (Дж. Буш-старший). Вместе с тем вопросы, посвященные СФРЮ, Президент СССР неизменно использовал для агитации за собственный план сохранения реформированного СССР. «Мы выразили надежду, что нынешний переход к новому качеству югославской федерации завершится успешно. Мы это воспринимаем близко, потому что это перекликается с процессами в нашей стране», — говорил он в мае 1991 г. после встречи с премьер-министром Италии⁶¹.

«Для всех нас, для народов Советского Союза, это урок и предостережение. <...> Надо идти путем обновления, а не дезинтеграции», — твердил он как заклинание 5 июля, после встречи с Г. Колем⁶². «Законность прежде всего. Стабильность в любом государстве будет тогда, когда будет действовать закон, и все институты власти и общественные институты будут строго соблюдать законы. Точно также и в международных отношениях мы должны руководствоваться этим пониманием. <...> Все надо решать в рамках реформирования нашей федерации», —

настаивал он 9 июля на совместной пресс-конференции с Ф. Гонсалесом⁶³. «Мы высказались за то, чтобы избежать применения силы», «СССР и США исходят из того, что решение возникших проблем должно быть найдено самими народами Югославии», — заявил президент СССР 31 июля в присутствии президента США⁶⁴.

На встрече с Ф. Гонсалесом он, памятуя о непростых отношениях СССР и СФРЮ, КПСС и СКЮ, осторожно выразился в том духе, что Москва готова «оказать услуги политического характера, когда государство, в данном случае правительство Югославии, нас об этом просит. Все, кто там оказался, не в праве рассматривать себя как некую полицейскую силу, которой дано особое право и она может не считаться с правительством и с порядками этой страны. Поэтому все нужно делать совместно в порядке услуги, оказывая поддержку в этот трудный момент»⁶⁵.

На упомянутой пресс-конференции с Ф. Гонсалесом М. С. Горбачев отдал должное назревавшим среди определенной части аппарата и политизированной публики настроениям и задался вопросом, который в течение последующих лет стал одним из наиболее болезненных вопросов внутривосточной жизни независимой России. «Что значит для нас Югославия? Это — дружественные народы, нас объединяет многое — и история, и далекое прошлое, и не очень далекое, совместная борьба с фашизмом. Нас объединяют десятилетия сотрудничества, общность славянских народов. И мы особенно чувствительны ко всему, что там происходит»⁶⁶. Как мы видим, М. С. Горбачев в своей оценке не допустил, да и не мог допустить никакого «сербского крена». В отличие от его речи 1988 г. в Белграде, слова о славянстве и общей истории были адресованы отнюдь не одной только сербской стороне. «Общевосточный процесс впервые в истории превращает Европу из культурно-цивилизационного понятия в многонациональную социально-политическую реальность», — заявил М. С. Горбачев Ф. Гонсалесу и противопоставил «интеграционные тенденции» «разрушительным, развернутым в прошлое национализму и сепаратизму».

Во время июльских встреч в Москве как советские, так и иностранные политики стремились уйти от обязывающих сущностных характеристик конфликта, называя его «кризисом», «драматическим развитием событий» и т. д. Лишь в заявлении Советского правительства от 2 августа 1991 г. говорится о «тяжелом **гражданском** (выделено мной. — С. Р.) конфликте»⁶⁷.

Советское партийное руководство с тревогой следило за тем, как в 1990–1991 гг. дезинтеграционные процессы в СФРЮ стали набирать силу и в конце концов приняли необратимый характер. Несмотря на все идеологические различия и предрассудки, социалистическая Югославия в глазах Москвы оставалась не только социально однотипным государ-

ством, но и многонациональной федерацией, развитие событий в которой могло стать не только предзнаменованием, но и реальным прообразом возможных событий в самом СССР. «Многим казалось, что у нас всего лишь предпринимается попытка повторить югославский опыт самоуправленияческого социализма», — вспоминал Г. Х. Шахназаров⁶⁸.

С другой стороны, «меня ситуация в Югославии заставила очень глубоко задуматься», — говорил 8 декабря 1991 г. М. С. Горбачев в интервью украинскому телевидению. И действительно, в предшествовавшие распаду СССР и СФРЮ годы М. С. Горбачев и его сторонники использовали пример Югославии для того, чтобы в спорах с консервативными оппонентами доказать необходимость проведения реформ, против уже начинавших себя проявлять тенденций к распаду СССР. «Голову на отсечение даю: не сохраним единого государства — получим Югославию», — горячо говорил М. С. Горбачев, далеко не всегда корректно полностью отождествляя судьбы СССР и СФРЮ и сознательно или неосознанно не замечая существенные различия двух государств. Впрочем, тогда была не менее обоснованна и противоположная формула: будем сохранять единое государство, тем более силой — получим Югославию.

Со своей стороны антиреформаторские силы в КПСС также ссылались на пример Югославии, для того чтобы если не повернуть события вспять, то по меньшей мере сохранить в СССР статус-кво. В этом они нашли полное понимание части политического (сербского и черногорского) руководства, а также командования Югославской народной армии (ЮНА). Оценки и логика политиков этого направления нашли свое достаточно полное отражение в дневнике сторонника С. Милошевича председательствующего Президиума СФРЮ Борисава Йовича, отрывки из которого опубликовал сам автор. Согласно их тексту, начиная с 1989 г. он лично и руководство Югославии в целом, особенно его сербская часть (С. Милошевич, союзный секретарь по делам обороны Велько Кадиевич и др.) пристально следили за событиями в СССР. И с самого начала оценки политики советского лидера были весьма критическими. Например, 18 сентября 1989 г. состоялся разговор Б. Йовича и В. Кадиевича, вернувшегося после визита в Москву. «Ситуация в СССР очень запутана. Позиции Горбачева ослаблены. Армия недовольна своим положением. Военные жалуются на то, что МИД без консультаций с ними пошел на уступки и взял на себя недопустимые обязательства вовне. Внутри страны растут хаос и недовольство. Межнациональные столкновения усиливаются. Прибалтийские страны отделяются. Блок распался. Одним словом, неизвестность. Велько беспокоится за нашу безопасность в случае, если бы процессы в СССР начали развиваться вспять»⁶⁹. Этот «набор» негативных оценок в разных — в более развернутых и сокращенных — вариантах присутствует практически во всех

сюжетах дневника, когда речь идет о СССР, политике перестройки и М. С. Горбачеве.

Записи Б. Йовича позволяют увидеть изнутри и эволюцию взглядов отдельных представителей группировки С. Милошевича по отношению к СССР. От традиционных опасений «советского империализма» они постепенно переходят к оценке событий в СССР с точки зрения консервативных кругов как в СССР, так и в международном коммунистическом движении в целом. Уже 18 ноября 1989 г. Б. Йович растерянно вопрошает: «Очевидно, что брожение в СССР сильное, а будущее неизвестно. На кого же нам опереться, если развитие событий приведет к дальнейшему ослаблению СССР и абсолютному доминированию США?»⁷⁰. Б. Йович постоянно обращается к различным источникам — информации о беседах с советскими дипломатами (в особенности — с военными атташе), аналитическим материалам из США, Великобритании, Италии, которые позволили бы ему лучше понять происходящее и ответить на вопрос: удержится ли у власти, и насколько долго, М. С. Горбачев.

22 марта 1990 г. Б. Йович заносит в свой дневник информацию о секретной встрече экспертов НАТО, на которой было высказано мнение, что «политика перестройки советского президента Горбачева потерпела неудачу, и что существует опасность гражданской войны». В то же время, «согласно информации из других источников, министр обороны Язов и руководитель КГБ Крючков решили привести армию и КГБ в состояние повышенной готовности. Они обратят внимание Горбачева, что надо совершить поворот к наведению порядка или власть в свои руки возьмет коалиция. Цель этого предупреждения не устранить Горбачева, а вынудить его предпринять более решительные шаги, даже установить диктатуру, если она спасет СССР от полного распада. Согласно их оценке, и сам Горбачев созрел для проведения твердой линии, но еще колеблется»⁷¹. При этом в этой и других записях постоянно делается упор на то, что М. С. Горбачева и его политику поддерживают США, которые заинтересованы в распаде СССР, а он им верит.

В конце ноября 1990 г. в Париже, куда М. С. Горбачев и Б. Йович прибыли на сессию СБСЕ и для подписания Парижской хартии об общеевропейском взаимодействии, два президента встретились лично. Они сердечно поздоровались, и Б. Йович не стал говорить собеседнику о негативных оценках его политики и ситуации в СССР, которые в те дни сделал американский политолог Збигнев Бжезински «Вероятно, он об этом и сам знает», — несколько наивно заметил Б. Йович. Президент Югославии отметил, что СФРЮ «придает большое значение отношениям с СССР, поскольку наши страны связывают не только традиции, но и современные тенденции. Мы осознаем тот факт, — продолжил Б. Йович, — что от развития СССР зависит, продолжит ли Европа движение в новом

направлении». В традициях югославской дипломатии 1950–1980-х гг. Б. Йович «выступил за преемственность диалога и консультаций, что продемонстрировало бы внешнему миру, что Югославия сохраняет равновесие в отношениях между главными факторами международных отношений». М. С. Горбачев, среди прочего, также отметил, что «у обеих сторон много общего. Во внутренней политике они сталкиваются с одинаковыми проблемами межнациональных отношений»⁷².

В руководстве СКЮ и СФРЮ были и люди, следившие за деятельностью М. С. Горбачева с откровенной симпатией. Они отмечали, в отличие от практики предшествующих лет, «дружескую атмосферу» и «откровенность», устанавливавшиеся на переговорах, и признавали, что «он с группой сотрудников идет далеко впереди других». Особенно бросалась в глаза смелость, с которой он в новогоднем обращении 1985 г. «удивил общественность и в особенности огромный бюрократический аппарат заявлением, что предпринятые меры и перемены — это только начало», — писал Р. Диздаревич⁷³. Но слова М. С. Горбачева не убеждали симпатизировавших ему югославских политиков в том, что президент и генсек отдает себе отчет в существовании многих опасностей на пути десталинизации и демократизации.

В 1991 г. антиреформаторские и националистические силы в обоих государствах и партиях попытались синхронизировать свои выступления и совершить государственные перевороты. Впоследствии парадоксальным образом отечественные коммунисты свою поддержку режима С. Милошевича объясняли необходимостью искупить «исторический грех» по отношению к титовской Югославии 1948–1953 гг. Контакты между руководством ЮНА, поддерживавшим С. Милошевича, поскольку тогда оно видело в нем борца за сохранение целостности Югославии, и советскими военными, все более резко оппонировавшими М. С. Горбачеву, были делом достаточно регулярным. В начале июля 1990 г., например, югославский адмирал Стане Бровет отчитывался о поездке в Москву, где встретил «полное взаимопонимание» министра обороны СССР маршала Д. С. Язова относительно ситуации в Югославии и СССР. Странники насильственного подавления и «удержания» СССР и Югославии в обеих столицах вряд ли бы отказались от синхронизации своих действий⁷⁴. В новых условиях Белград терял свою и идеологическую, и политико-стратегическую опору, каковой было и родство, и если не противостояние, то постоянное оппонирование Москве. «С приходом к власти Михаила Горбачева и окончанием „холодной войны“ стратегическое значение Югославии для соперничества между двумя блоками утрачивалось», — полагали международные аналитики⁷⁵.

Критика политики М. С. Горбачева со стороны «югославских товарищей» постепенно нарастала: «в области межнациональных отноше-

ний ожидается рост напряженности и конфликты»; Горбачев «теряет популярность» среди слоев, «лишающихся привилегий, а также военного руководства, которое не ожидало, что армия и оборонная промышленность попадут под удар перестройки», — писал Б. Йович⁷⁶. Сходной, даже еще более резкой оценки придерживался союзный секретарь по делам обороны генерал В. Кадиевич, считавший, что М. С. Горбачев якобы «развалил Варшавский договор, посадил всех коммунистов на скамью обвиняемых и дестабилизировал мир». При этом он использовал традиционную риторику советской пропаганды вроде «борьбы империализма против социализма», «реставрации капитализма», «территориальной экспансии», «зоны влияния» «конфликтов малой интенсивности» и т. д.⁷⁷ По мнению Р. Диздаревича, «со стороны военной верхушки СССР существовало определенное влияние на некоторых людей, в частности на В. Кадиевича. Влияние и тождественность политических взглядов — или и то, и другое. К этому выводу я пришел потому, что его оценки политики Горбачева были исключительно негативными»⁷⁸.

25 февраля 1991 г., после событий в Литве, соратник С. Милошевича Б. Йович оценил М. С. Горбачева уже совершенно иначе: «Мы с Велько Кадиевичем обсуждали новую ситуацию. Он проинформировал меня, что советский военный атташе передал ему обещание Язова через несколько дней ответить на наш вопрос относительно оценки военной угрозы с венгерской стороны. Язов передал, что Горбачев увидел свои ошибки. Теперь он является сторонником политики сохранения целостности Советского государства и [существующего] строя, который он позднее будет реформировать. Отныне и в дальнейшем Горбачева надо поддерживать»⁷⁹. Через несколько дней, 28 февраля председательствующий Президиума СФРЮ Б. Йович не скрывает удовлетворения: «Ясно, что Горбачев осознал провал своей политики, которая привела СССР к катастрофе; он хочет избежать поворота армии и КГБ против себя и обещает им большую роль в спасении страны»⁸⁰.

Использование силы в Литве привело к тому, что сербские военные стали видеть в М. С. Горбачеве чуть ли не единомышленника и союзника, что полностью не соответствовало действительности. Поэтому, несмотря на совпадение взглядов и настроений, советские генералы и специалисты сказали В. Кадиевичу, что «нет никаких вариантов в которых Запад считается с их военной интервенцией», а о «советской помощи» говорить избегали. В Москве требование С. Милошевича и его сторонников поддержать военный переворот в Югославии (тогда Д. С. Язов был еще верен Конституции и президенту, хотя трудно предположить, что сам М. С. Горбачев не знал об идее В. Кадиевича) не нашло официальной поддержки, и В. Кадиевичу было не суждено сыграть роль «югославского Ярузельского». Как считает уже упомянутый адмирал Б. Мамула,

«такой результат был известен заранее». В то же время В. Кадиевич вернулся из Москвы уверенным, что «президент Горбачев долго не продержится, и если еще немного потерпеть, то коммунизм в СССР вновь обретет силу»⁸¹.

Доверительные отношения между Москвой и Белградом не сложились в 1960–1970-е гг. Но во второй половине 1980-х — 1990-е гг. между определенными группировками в партийном, государственном аппарате, силовых ведомствах и спецслужбах они сложились вполне. Это было связано с кардинальным изменением ситуации в обеих странах и началом выхода на поверхность и объединением русских и сербских националистов, находившихся в период существования социалистического строя в оппозиции. Странники так называемой «русской партии» исподволь набирали все большую силу. «Ситуация для них складывалась даже лучше, чем в 1970-х гг. Речь шла уже о поддержке не отдельными чиновниками из аппарата ЦК КПСС, а такими высокопоставленными людьми, как второй человек в Политбюро в 1986–1989 гг. Егор Лигачев, члены высшего органа власти в стране Виталий Воротников и Михаил Зимянин. А бывший активист группы Геннадий Янаев занял пост вице-президента страны. Открытую поддержку члены „русской партии“ встречали у руководства армии и МВД», — пишет современный российский исследователь Н. А. Митрохин⁸².

Но переворот в СФРЮ тогда не состоялся, как не состоялся и открытый политический (не говоря уже о военном!) конфликт СССР с Западом из-за интересов белградских «полутитоистов-полусталинистов» и великосербских националистов. Путч решал историческую судьбу не только существовавших режимов в обоих государствах, но и коммунизма в принципе. В июле — начале августа 1991 г. Б. Йович со смесью раздражения и разочарования замечает, в «руководстве (советского. — С. Р.) МИД постепенно возобладает убеждение, что сохранение территориальной целостности Югославии все больше ставится под вопрос из-за событий внутри самой Югославии. СССР громко заявляет о приоритетности в собственных интересах сохранения существующих югославских границ, но допускает возможность и иного развития событий»⁸³.

Однако формальный отказ поддержать государственный переворот в Югославии в марте 1991 г. не означал того, что югославские и советские противники реформ прервали свои связи и отказались от дальнейших попыток синхронизировать свои действия. Летом 1991 г. в официальной югославской печати была развернута критика горбачевского руководства, а советские СМИ были полны материалами, направленными против стремления Словении и Хорватии к обретению суверенитета, в поддержку С. Милошевича и военной верхушки. Вполне возможно, что, обратись В. Кадиевич в Москву в июле или августе, когда, как считали

путчисты, позиции президента СССР ослабли, а ЮНА потерпела поражение в «десятидневной войне» в Словении 27 июня — 7 июля, он получил бы благословение и поддержку.

Бросается в глаза изменение ритуальной лексики в советско-югославских отношениях. В своих телеграммах соответственно от 16 и 18 марта 1990 г. по случаю избрания М.С. Горбачева президентом СССР Я. Дрновшек и А. Маркович обращаются к главе советской партии и государства «уважаемый товарищ Президент». Сам же М.С. Горбачев в телеграмме С. Месичу от 5 июля 1991 г. с поздравлениями по случаю избрания председателем президиума СФРЮ обращается к последнему «Председателю Президиума СФРЮ господину (выделено мной. — С. Р.) Степану Месичу».

Между этими двумя датами стоит провозглашение парламентами Хорватии и Словении 25 июня 1991 г. деклараций о независимости. Это было негативно встречено в ориентировавшейся по традиции на Белград Москве, которая расценила эти шаги как «не получившие признания государственных органов СФРЮ и не могущие рассматриваться как способствующие решению сложных проблем Югославии». По-видимому, это заявление МИД от 26 июня 1991 г. отражало подготовку антиреформаторских сил к путчу. В нем далее говорилось, что «Советский Союз последовательно выступает за единство и территориальную целостность Югославии, нерушимость ее границ, включая внутреннее право народов Югославии решать свою судьбу, поддерживает федеральные структуры власти, которые стремятся обеспечить сохранение югославского государства»⁸⁴. Наиболее консервативные силы в КПСС, пытаясь обосновать антигорбачевскую платформу, ссылались на «положительный» пример Китая, успехи которого объяснялись отсутствием в стране «лишней демократии», и Югославии, где она была.

У нарождавшихся в самом конце 1980-х гг. политических партий Хорватии, в той или иной степени предусматривавших в не столь далеком будущем полную независимость, внимание к России обосновывалось несколькими обстоятельствами. Во-первых, «возможностью в будущем существования союза православных государств от Греции до Балтии», — считал З. Томац, впоследствии — один из ведущих политиков независимой Хорватии. Во-вторых, «тесными связями между руководством ЮНА и русской армии (так в тексте; подразумевалась Советская Армия. — С. Р.) и их совместными планами не допустить перемен и сохранить догматический социализм и восточноевропейский военный и экономический блок путем осуществления военных диктаторских переворотов в Советском Союзе, других странах Восточной Европы, а также в Югославии»⁸⁵.

А вот как оценивал президент Хорватии Ф. Туджман события 1991 г. в Югославии и СССР: «Вывод относительно степени взаимной обу-

словленности [различных] исторических процессов можно сделать на основании того факта, что агрессия югославской армии в Хорватии для свержения демократической власти, реставрации коммунизма и захвата хорватских территорий, была тесно связана по времени с попыткой государственного переворота со стороны сил догматизма против Горбачева в августе 1991 г.»⁸⁶.

Но это было сказано в 1993 г. А в августе 1991 г. президент и правительство Хорватии, исходя из собственных национально-государственных интересов, в отличие от сербских руководителей, которые с «энтузиазмом» приветствовали путч и арест М.С. Горбачева, осудили путчистов и заявили о своей поддержке президентов СССР и России. «Государственный переворот в СССР, конечная цель которого состоит в отрицании права народов и их республик на самоопределение и сохранении коммунизма, показал, что сторонники господства самого крупного по сравнению другими народами в большевистских федерациях народа так просто не сдаются», — говорилось в письме президента Хорватии⁸⁷.

В Словении августовские события общественность встретила с интересом, но несколько отстраненно, как исключительно внешнеполитическое событие. Репортажам из Москвы и более поздним аналитическим материалам отводилось в СМИ довольно много места, однако не на первых полосах⁸⁸. Это было естественно, если принять во внимание поворот, уже практически совершившийся в сознании значительной части словенцев, не говоря уже о политическом классе⁸⁹. Страна окончательно разорвала внутреннюю связь с Югославией, с «Востоком». Особых симпатий и интереса к России, как показывали опросы общественного мнения, массовое сознание не испытывало. Сказывалась основанная на полном непонимании происходящего в Югославии негативная оценка московской политической элиты позиции и требований Словении и словенцев. Словенские политики мало или почти вовсе не высказывали своих оценок событий в Москве, по крайней мере, публично⁹⁰. Вместе с тем совершенно очевидно, что Любляна ни в коей мере не могла поддерживать «путчистов», победа которых поставила бы и рождавшееся в муках словенское государство в нелегкое положение.

Уже после провала путча новое заявление МИД СССР от 19 сентября 1991 г., адресованное председательствующему в органах европейского сообщества, свидетельствовало об изменении позиции Москвы. Были прекращены «спецпоставки», и СССР фактически присоединился к эмбарго «на поставки оружия и боевой техники» в СФРЮ⁹¹.

Когда в октябре 1991 г. МИД СССР выступил с инициативой, исходившей, по выражению А. С. Грачева, «со „славянского угла“» (?! — С. Р.), пригласить в Москву для переговоров С. Милошевича и Ф. Туджмана, это «застало врасплох и помощников президента, с которыми приезд не

был согласован». Так или иначе, М. С. Горбачев 6 октября направил соответствующие послания руководству Югославии и Хорватии. В частности, он писал президенту Ф. Туджману и премьер-министру Франьо Грегуричу: «Мы располагаем информацией о том, что в ближайшее время Югославская Народная армия [ЮНА] осуществит нападение на крупные индустриальные центры и даже на столицу Хорватии — Загреб... Вне всякого сомнения, это вызвало бы острое осуждение и соответствующую реакцию в мире... В этот тревожный момент Советское руководство обращается к руководству Югославии и руководству ЮНА с настоятельным призывом проявить максимальную ответственность и сдержанность и, чтобы предотвратить распространение войны, немедленно приостановить военные действия и безусловно и полностью выполнять соглашение о прекращении огня»⁹².

Не всем в Москве было также понятно, «почему на фоне пылающих внутренних конфликтов... Горбачев должен отдавать приоритет тушению чужих пожаров». Учитывая внутри- и внешнеполитическую ситуацию в СССР, а также традиции советско-югославских отношений, для многих в Москве неожиданностью стало и то, что «оба лидера сразу согласились приехать». А. С. Грачев впоследствии, 15 октября, на тройственной встрече, на которую первоначально было мало надежды (сам факт ее проведения нужно, безусловно, поставить в заслугу М. С. Горбачеву!), оба лидера сходными мотивами объяснили свое появление в Москве: «Именно благодаря своему уникальному и трудному опыту перестройки, Горбачев имеет и опыт, и моральное право для того, чтобы высказать нам свои рекомендации. И именно от него мы готовы принять советы»⁹³. С. Месич оценивал московскую встречу как попытку Москвы образумить С. Милошевича⁹⁴.

«Туджман и Милошевич на встрече в Москве попытались глубже вовлечь Горбачева в обсуждение причин югославского кризиса, — пишет М. Нобило. — <...> Но Горбачева по-прежнему интересовало только прекращение вражды, для чего он использовал все свое обаяние»⁹⁵. Однако «новый шанс» на восстановление мира в Югославии, возникший в Москве, использовать не удалось, да и, к сожалению, вряд ли это было объективно возможно. Сербский и хорватский лидеры не могли не почувствовать нарастающую слабость позиций самого М. С. Горбачева и непрочность возглавлявшегося им государства. Не говоря уже о субъективном нежелании и незаинтересованности сербского и хорватского лидеров, уже тесно связавших свою политическую судьбу с взаимной конфронтацией. Предусмотренные в совместном коммюнике «прекращение всех вооруженных конфликтов» и «переговоры между высшими представителями Сербии и Хорватии» так и не состоялись⁹⁶. 8 ноября 1991 г., всего за месяц до встречи Б. Н. Ельцина, Л. М. Кравчука и С. С. Шуш-

кевича в Беловежской пуще, МИД СССР «с пониманием» отнесся «к тем вынужденным мерам, которые входящие в ЕС страны предпринимают в отношении Югославии»⁹⁷. А 8 декабря прекратил свое существование и сам Советский Союз.

Взгляд назад. Благожелательное, но искаженное практически полным отсутствием информации и тупостью и безысходностью советской жизни 1950-х — середины 1980-х гг. романтическое восприятие Югославии и политики Тито аукнулось много лет спустя и в начале 1990-х помешало многим «шестидесятникам» и их политическим наследникам выработать последовательную и реалистическую позицию по отношению к распаду СФРЮ. А стремления национальных движений словенцев и хорватов (да и других народов Югославии), а также политического руководства их республик вовсе не сводились исключительно к «сепаратизму». Не говоря и о том, что так называемый «внешний фактор» сыграл хотя и большую, но все же вторичную роль в распаде исторически изжившей себя к началу 1990-х гг. СФРЮ.

Версию «иностранного влияния» и «вины» М. С. Горбачева в распаде СССР, который не мог не повлиять на развал СФРЮ, отвергают и трезвомыслящие политики бывшей Югославии. «Я считаю, что было бы ошибкой искать глубокие и настоящие причины в этом направлении, тем более утверждать, что эту кашу нам „сварил“ кто-то за границей», — пишет Р. Диздаревич⁹⁸.

М. С. Горбачев указывал на особенности этнотерриториальной структуры СССР: «Только 30% границ было утверждено государственными актами. А поэтому нам невозможно разделяться». Хотя его озабоченность была обоснованной, по сути она означала вечное сохранение гигантского экономически неэффективного государства. Подобно многим своим предшественникам, он не понимал природы процесса национального самоопределения. И поэтому он не мог пойти дальше «либерального», но империализма, пусть и реформаторского. Кроме того, распад Югославии поставил бы под вопрос жизнь и второй «священной коровы» для Горбачева — европейской интеграции, а также принципа законности. Хотя уже тогда многим было ясно, что государства, подобные СССР и Югославии, можно сохранить только силой, что время их ушло и они прекращают свое существование вовсе не потому, что их «развалили „плохие люди“».

Характеризуя советскую внешнюю политику, министр иностранных дел независимой России, занявший этот во многом формальный до августа 1991 г. пост Андрей Козырев писал: «Цивилизованный мир приветствовал уже политику нового мышления, которая привела к отходу СССР от блокирующей конфронтационной линии. <...> Не случайно, а

закономерно, что многие из этих режимов являлись идеологическими (на словах. — С. Р.) союзниками социалистического СССР. Но идти, как в прежние годы, на прямое покровительство им через конфронтацию с Западом советское руководство перестроечных лет уже не решалось. Не хватало духу, однако, и для того, чтобы не только на словах, но и на деле, в данном случае дипломатическом деле — перейти на другую, цивилизованную, демократическую сторону баррикад»⁹⁹.

Сам президент СССР, сравнивая опыт распада СССР и СФРЮ, по-своему посмотрел на проблему: «Очевидно, мы имеем дело с двумя крайностями, которые, при всем их различии, привели к одинаковым последствиям. Я имею в виду попытки, с одной стороны, сохранить практически в нетронутом виде унитарное государство, а с другой — пожертвовать единым государством под флагом борьбы за идею суверенитета». Он назвал несколько причин развития событий в Югославии: «националистические страсти и амбиции», «неудача с радикальным реформированием югославской модели социализма», появление среди новых лидеров людей, спешащих едва ли не любой ценой воспользоваться плодами демократизации и либерализма, разрядки и прекращения «холодной войны»¹⁰⁰.

М. С. Горбачев принципиально стремился к сохранению СССР и своей власти, но предпочитал мирное разрешение конфликтов. Он стремился к сохранению СССР, но не рассматривал его как русское этническое государство. Он противился любому национализму и отверг проект А. И. Солженицына о роспуске Советского Союза на основе «славянофильской программы», который мог привести к межэтническому конфликту и гражданской войне в еще больших масштабах, чем это случилось в СФРЮ, а в декабре 1991 г. отказался от использования военной силы для сохранения Союза. Он не мог и не поддерживал С. Милошевича, сделавшего воинствующий сербский национализм своей козырной политической картой. Но по этим же причинам М. С. Горбачеву вряд ли были близки и понятны устремления хорватского национального движения (а также национальных движений других народов СФРЮ), тем более в их крайних вариантах, которые никогда не встречали ни в России, ни в СССР особого понимания и сочувствия. Поэтому он не стал поддерживать и Ф. Туджмана, которого он не мог не считать одним из разрушителей единой югославской социалистической федерации, не разделяя к тому же упрощенный подход «западных стран» относительно «демократических Хорватии и Словении» и «коммунистической Сербии». Однако, будучи реальным политиком, он видел, что путей к сохранению СФРЮ уже нет и главное в сложившейся ситуации — обеспечить «мирный развод».

Отказ от применения силы, безусловно, был сознательным выбором президента СССР и как политика, и как человека. Нельзя не учитывать

и психологические различия между ним и, например, С. Милошевичем. Размышляя о судьбе М. С. Горбачева и Советского Союза, его близкий соратник в те годы А. Н. Яковлев высказал предположение, что, если бы президент СССР обладал «бойцовскими качествами, да еще сильно обостренными», возможно, «югославский сценарий» называли бы сейчас «советским»¹⁰¹. С. Милошевич, да и Ф. Туджман с А. Изетбеговичем, наоборот, обладали такими «бойцовскими качествами», и этот субъективный фактор сыграл немалую роль в том, что распад СФРЮ стал развиваться по кровавому пути. Это различие характеров обусловило и глубокое внутреннее непонимание и неприятие М. С. Горбачевым своих сербского и хорватского партнеров.

3. Томац — второй участник переговоров в Москве с хорватской стороны, позднее положительно оценивал результаты московской встречи, хотя хорватская сторона не возлагала на посредничество М. С. Горбачева больших ожиданий. «Итоги переговоров были исключительно благоприятны для Хорватии», поскольку «создавалась возможность для совместных усилий со стороны Советского Союза, Соединенных Штатов и Западной Европы найти решение, которое будет представлять собой международный арбитраж в югославском кризисе, — писал он. — Президент Горбачев, президент Ельцин и господин Шеварднадзе официально пообещали предпринять все возможные меры, использовать их авторитет, чтобы добиться прекращения огня»¹⁰².

Хотя президент Хорватии на пути в Москву и опасался, что М. С. Горбачев предложит Загребу сохранить Хорватию в составе некой новой «третьей Югославии», «к счастью, этого не произошло». Хотя чувствовалось, что советский президент и «заинтересован в том, чтобы республики Югославии сохранили некую региональную форму сотрудничества (союз суверенных республик), он не выдвинул ни этого, ни никаких либо иных требований»¹⁰³.

Видный хорватский дипломат М. Нобило полагает: «Горбачев, конечно, в меньшей степени поддерживал сербскую сторону, чем позднее Ельцин, который это делал в большей степени исходя из понесенного авторитетом Российской Федерации ущерба, чем из прямых национальных интересов или намерения возобновить „холодную войну“ из-за Балкан»¹⁰⁴.

«Горбачев разрушил сталинизм, сталинскую систему идеологического и любого иного террора. Горбачев не намеревался вместе с ним похоронить и ленинизм. Но поскольку сталинизм в качестве особой оригинальной идеологии не существует, а является фазой развития ленинизма, ленинизм был доведен до своего логического конца. Не желая этого, Горбачев подорвал и сам ленинизм», — писал М. Джилас¹⁰⁵.

«Ближайшие сотрудники Горбачева, пока он находился в Крыму на отдыхе, совершили переворот... Советский Союз неудержимо распадался»

ется. Это — событие планетарного значения, равное по последствиям Октябрьской революции. Мир более не будет тем, чем он был до августовской контрреволюции. Грандиозное поражение [второй] после христианства религии мира униженных, бесправных и эксплуатируемых, идеала гармоничного счастливого общества, общества без эксплуатации и бесправия. С точки зрения принесенных жертв и выпавших страданий это был самый дорогой идеал в истории, самая трагическая утопия. Окончание «„счастливого будущего всего человечества“, в которое мы, революционеры, верили», — записывал 26 августа 1991 г. в своем дневнике сербский писатель-диссидент националистического направления Д. Чосич. «А что будет с Россией? Куда же она движется? Это был крах социализма, исключительно крах данного политического устройства или чего-то более сущностного в душе и судьбе русского народа? Возвращается ли Россия к своим [истокам] или же этим освобождением от антирусской идеологии она направляется в неизвестность, которую никто из нынешних разрушителей советской России не может предвидеть?» — задавался он 21 декабря 1991 г. вопросами, ответы на которые неизвестны и пятнадцать лет спустя. Лишь на один вопрос у будущего кратковременного президента Союзной Республики Югославии при С. Милошевиче (1992–1993) был ответ: «Горбачев окончательно стал трагическим героем нашего времени»¹⁰⁶.

С совершенно иных позиций оценивал судьбу СССР и историческую роль М. С. Горбачева хорватский интеллигент-диссидент П. Матеевич. «Советский Союз был великой державой и неразвитой страной — с этим противоречием он просуществовал с начала и до конца. По ходу истории империи разрушались извне; в этот раз она была разрушена изнутри. Государства исчезали во время войн; это распалось мирно. Во время этих переворотов чаще всего лилась кровь; в этом случае ее не было. Колониальные империи приобретали богатства; Россия осталась нищей. Крупные народы подчиняли себе меньшие; в Советском Союзе народ жил хуже, чем те, кто ему подчинялся. Это вопрос не только истории, но и судьбы, — писал хорватский ученый и публицист в письме, отправленном лично бывшему президенту СССР. — Перестройка изменила историю всего мира, но не помогла СССР. Михаил Горбачев был более популярен в других странах, чем в своей собственной. Возглавляемое им государство пытались спасти его вчерашние враги. Хранители старого порядка объявили его предателем. Разрушая режим, который ему достался в наследство, он и сам оказался погребенным среди его развалин. Он не использовал силу против народов, стремившихся к свободе, хотя эта сила у него была. Президент СССР отрекся от СССР. Горбачев сверг Горбачева»¹⁰⁷.

Но, как справедливо пишет А. С. Грачев, «совесть (Горбачева. — С. Р.) была чиста — он в очередной раз сделал то, что должен был сделать в

подобной ситуации мировой лидер, Президент Советского Союза. И вряд ли кто-либо другой сумел бы в сложившейся ситуации сделать это лучше его»¹⁰⁸. Однако для самого экс-президента, по-видимому, переговоры с лидерами Сербии и Хорватии остались, к сожалению, незначительным эпизодом. Во всяком случае, в своих воспоминаниях он не посвятил им ни строчки¹⁰⁹.

Политико-идеологический и геополитический конфликт между СССР и Югославией, начавшийся в 1948 г., не мог быть разрешен в рамках существовавших в обеих странах политических и идеологических систем и успевших глубоко въестись в плоть и кровь аппарата традиций.

К сожалению, ни в СССР, ни в современной России, где много и часто говорят об «особом отношении» к югославам, в отличие от отношений к Венгрии, Чехословакии, Польше или ГДР, не испытывали и не испытывают никакого чувства вины перед Югославией, перед ее народами. Это присуще не только многим «шестидесятникам», но и современным реформаторам и правозащитникам. А.Б.Чубайс, например, в советское время изучавший вместе с товарищами опыт титовской Югославии в качестве альтернативы советской модели, не поставил конфликт 1948–1953 гг. в ряд тех событий, которые «наносили удар по авторитету» СССР¹¹⁰. Но нельзя забывать, что Тито и его сторонники, при всех их политических и личных отличиях от советских руководителей, были воспитанниками сталинской школы и действовали теми же методами. И сам Тито отдавал себе в этом отчет. Иначе подтвердился бы сталинский вывод 1948 г. о том, что Югославия — не социалистическая страна.

Благородная попытка сохранить СССР и СФРЮ и тем самым мир на пространствах обоих распадавшихся государств, предпринятая М.С.Горбачевым уже после попыток военно-националистических путчей, стала прощальным поклоном не только лично президента СССР. Это стало окончательным прощанием с иллюзией под названием «социализм с человеческим лицом». Стало очевидно, что любые попытки реформ вызывают сопротивление «охранительных сил», готовых на все. То, что в конце 1960-х — начале 1970-х гг. выглядело демократической и благородной иллюзией, в начале 1990-х превратилось в регрессивную и антигуманную утопию. В случае осуществления подлинных реформ «социалистический эксперимент» неизбежно заканчивается; в случае их поражения — «человеческое лицо» становится ненужной маской.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Об этом подробнее см., например: Национальный вопрос на Балканах через призму мировой революции в документах центральных российских архивов начала — середины 1920-х годов. М., 2000–2003. Ч. 1–2.; Романенко С. А.

- Югославия, Россия и «славянская идея». М., 2002; Улунян Ар. А. Коминтерн и геополитика: балканский рубеж. 1919–1938. М., 1997.
- 2 См.: Отношения России (СССР) с Югославией. 1941–1945. М., 1998; Сведения Коминформа, 1947, 1948, 1949. Документы и материалы. М., 1998; Восточная Европа в документах российских архивов 1944–1953. М.; Новосибирск, 1997–1998 Т. I–II; Советский фактор в Восточной Европе 1944–1953. Документы. М., 1999–2002. Т. I–II.
- 3 См.: Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1999. Советско-югославские отношения. Из документов июльского пленума ЦК КПСС 1956 г. // Исторический архив. 1999. № 2, 5.
- 4 См.: Доклад Н. С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС. Документы. М., 2002.
- 5 Горбачев М. С. Жизнь и реформы. М., 1995. Кн. 2. С. 380.
- 6 См.: Сталин И. Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сборник избранных статей и речей. М., 1938. С. 151–154, 166–171; Сталин И. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г. М., 1934. С. 32–33, 41, 45, 163–165; Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1947. С. 31, 53; Фальсификаторы истории (историческая справка). М., 1952. С. 67, 70; Сталин И. В. Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г. М., 1946. С. 11; Маленков Г. М. Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального комитета ВКП(б). М., 1952. С. 23, 28.
- 7 Партийная жизнь. 1955. № 16.
- 8 Вайль Б. Особо опасный. London, n. d. С. 113, 115, 151, 133. См. также: English R. D. Russia and Idea of the West. Gorbachev, Intellectuals and the end of the Cold War. New York, 2000. P. 68–69; 58.10. Надзорные производства прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде. Аннотированный каталог. Март 1953–1991. М., 1999.
- 9 Об этом, например, см.: Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. Документы. Москва, 1998; Стыкалин А. С. Советско-югославская полемика вокруг судьбы «группы И.Надя» и позиция румынского руководства. Ноябрь–декабрь 1956 г.) // Славяноведение. 2000. № 1. С. 70–81: За дальнейшее сплочение сил социализма на основе марксистско-ленинских принципов. (Редакционная статья газеты «Правда»). М., 1956; Еще раз об историческом опыте диктатуры пролетариата // Правда. 30.XII.1956.
- 10 Молотов. Маленков. Каганович. 1957. Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 1998.
- 11 Стыкалин А. С. Восточная Европа в системе отношений Восток-Запад // Холодная война. Историческая ретроспектива. М., 2003. С. 530. Оценку программы СКЮ современными историками см.: Bilandžić D. Hrvatska moderna povijest. Zagreb, 1999. S. 390–396; Pirjevec J. Jugoslavija. 1918–1992 Nastanek, razvoj ter raspad Karadorđevićeve in Titove Jugoslavije. Koper, 1995. S. 232–235; Zecević M. Jugoslavija. 1918–1992. Београд, 1994. С. 157–162.
- 12 Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. М., 2003. С. 306, 1032. Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. Постановления. 1954–1958. М., 2006. Т. 2. С. 785–786.

- 13 См., например: О проекте программы Союза коммунистов Югославии. В единстве и сплоченности марксистско-ленинских партий — залог дальнейших побед мировой социалистической системы. М., 1958.
- 14 *Mićunović V. Moskovske godine 1956/1958. Zagreb, 1977. S. 431.*
- 15 Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. С. 1033–1034. Также см.: КПСС и формирование советской политики на Балканах в 1950-х — первой половине 1960-х гг. Сборник документов. М., 2003.
- 16 Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. С. 1034.
- 17 *Валентинов Н. Встречи с Лениным // Волга. 1990. № 12. С. 86, 117.*
- 18 В июле 1956 г. после переговоров между Й. Брозом Тито, Г. А. Насером и Дж. Неру на о. Бриони была подписана Брионская декларация неприсоединившихся стран. Некоторые историки полагают, что «в действительности это был „третий блок“, с помощью которого [его основатели] стремилась укрепить свое положение по отношению к великим державам». См: *Matković H. Povijest Jugoslavije. Hrvatski pogled. Zagreb, 1998. S. 328.*
- 19 Цит. по.: *Кулик Б. Т. Советско-китайский раскол: причины и последствия. М., 2000. С. 322.*
- 20 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1961–1965. М., 1986. Т. 10. С. 111.
- 21 *Лацис О. П. Тщательно спланированное самоубийство. М., 2001. С. 99.*
- 22 *Гаўдар Е. Т. Дни поражений и побед. Соч.: В 2 т. М., 1997. Т. 2. С. 191.*
- 23 Например, см.: *Bilandžić D. Hrvatska moderna povijest. S. 396–406, 414–432; Matković H. Povijest Jugoslavije. S. 333–343; Pirjevec J. Jugoslavija... S. 238–285; Duraković N. Prokletstvo Muslimana. Sarajevo, 1993. S. 164–166; Imamović M. Istorija Bošnjaka. Sarajevo, 1998. S. 562–566; Zechevuh M. Југославија. С. 186–220; Petranović B., Zečević M. Jugoslavija. 1918/1984. Beograd, 1985. S. 918–933.*
- 24 *Амальрик А. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Амстердам, 1969. С. 64.*
- 25 *Dabčević-Kučar S. '71: hrvatski snovi i stvarnost. II. Zagreb, 1997. S. 600.*
- 26 *Джилас М. Тито — мой друг и мой враг. Paris, 1980. С. 57.*
- 27 *Лацис О. П. Тщательно спланированное самоубийство. С. 119.*
- 28 *Черняев А. С. На Старой площади. Из дневниковых записей // Новая и новейшая история. 2004. № 5. С. 129.*
- 29 *Полянский Н. МИД. Двенадцать лет на советской дипломатической службе. London, 1987. С. 226–227.*
- 30 Правда. 27.XI.1975; *Banać I. Sa Staljinom protiv Tita. Informbiroovski rascjepi u jugoslavenskom komunističkom pokretu. Zagreb, 1990. S. 248.*
- 31 «Перекинешься с лодьями на приеме — и есть что сообщить в центр». (Интервью Евгения Жирнова с бывшим советским военным атташе в Осло, Будапеште и Белграде Аркадием Жуком) // Коммерсантъ-Власть. 23.II.2004. С. 77.
- 32 *Шеремет П., Калинкина С. Случайный президент. М., 2003. С. 16.*
- 33 *Колесников А. Неизвестный Чубайс. Страницы биографии. М., 2003. С. 52, 54–55. Интерес советской интеллигенции к идейному и практическому опыту СКЮ и Югославии отмечает американский исследователь Р. Инглиш. См.: English R. D. Russia and Idea of the West. Gorbachev, Intellectuals and the end of the Cold War. P. 76, 79, 89, 97, 100.*

- 34 Горбачев М. С. Жизнь и реформы. С. 380.
- 35 Например, ср.: Колесников А. Неизвестный Чубайс. С. 52, 54–55; Шеремет П., Калинин С. Случайный президент. С. 16.
- 36 Dizdarević R. Od smrti Tita do smrti Jugoslavije. Svjedočenja. Sarajevo, 1999. S. 172. Совместное коммюнике см.: Правда. 8.VII.1985. См. также: Социалистическая Федеративная Республика Югославия. М., 1985. С. 297–298.
- 37 Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М., 1988. С. 167–168, 175. Также см.: Медведев В. А. Распад. Как он созрел в «мировой системе социализма». М., 1994. С. 376–377.
- 38 Шахназаров Г. Х. Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его помощника. М., 1993. С. 102.
- 39 Горбачев М. С. Жизнь и реформы. С. 380.
- 40 Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в Социалистическую Федеративную Республику Югославию. 14–18 марта 1988 г. М., 1988. С. 77, 78.
- 41 Dizdarević R. Od smrti Tita do smrti Jugoslavije. Sarajevo, 1999. S. 179.
- 42 Горбачев М. С. Жизнь и реформы. С. 383.
- 43 Шахназаров Г. Х. Цена свободы. С. 103.
- 44 Грачев А. С. Кремлевская хроника. М., 1994. С. 160.
- 45 Doder D., Brenson L. Put bez povratka. Politička biografija Mihaila Gorgbačova. Prevod s engleskog. Beograd, 1991. S. 258.
- 46 Грачев А. С. Кремлевская хроника. С. 125.
- 47 Ђилас М. Лењинистичке илузије Горбаћова // Ђилас М. Пад нове класе. Београд, 1994. С. 288.
- 48 Грачев А. С. Кремлевская хроника. С. 124.
- 49 Doder D., Brenson L. Put bez povratka. S. 258.
- 50 Шахназаров Г. Х. Цена свободы. С. 102.
- 51 Там же. С. 103.
- 52 Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева. С. 54.
- 53 Silber L., Little A. Smrt Jugoslavije. Prevod s engleskog. Opatija, 1996. S. 31.
- 54 Горбачев М. С. Жизнь и реформы. С. 384.
- 55 Остается только сожалеть, что Г. Х. Шахназаров не привел в своих воспоминаниях документов, относящихся к визиту М. С. Горбачева в СФРЮ в 1988 г., а также к интенсивным контактам между советским и югославским руководством весной и летом 1991 г. Это же относится и к вышедшей недавно книге «„В Политбюро ЦК КПСС...“. По записям Анатолия Черныяева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова (1985–1991)» (М., 2006).
- 56 Шахназаров Г. Х. Цена свободы. С. 506.
- 57 Улуян Ар. А. Старая площадь и «единая Восточная Европа» в 50–90-е годы. Советская коммунистическая доктрина и геополитика // История европейской интеграции (1945–1994) / Под ред. А. С. Намазовой, Б. Эмерсон. М., 1995. С. 215–216.
- 58 Шахназаров Г. Х. Цена свободы. С. 103, 104.
- 59 Грачев А. С. Кремлевская хроника. С. 182.
- 60 Шахназаров Г. Х. Цена свободы. С. 104.

- 61 Югославский кризис и Россия. С. 217.
- 62 Там же. С. 220.
- 63 Там же. С. 221.
- 64 Там же. С. 223.
- 65 Там же. С. 222.
- 66 Там же. С. 221–222.
- 67 Там же. С. 60.
- 68 *Шахназаров Г. Х.* Цена свободы. С. 102.
- 69 *Јовић Б.* Последњи дани СФРЈ: изводи из дневника. Друго издање. Београд, 1996. С. 49.
- 70 Там же. С. 69.
- 71 Там же. С. 126.
- 72 Там же. С. 225–227.
- 73 *Dizdarević R.* Od smrti Tita do smrti Jugoslavije. S. 176–177.
- 74 *Mamula B.* Slučaj Jugoslavija. Podgorica, 2000. S. 182.
- 75 См.: Unfinished Peace. Report of the International Commission on the Balkans. Aspen Institute & Carnegie Endowment for International Peace. 1996. P. 65–67.
- 76 *Јовић Б.* Последњи дани СФРЈ. С. 69.
- 77 *Nobile M.* Hrvatski feniks. Diplomatski procesi iza zatvorenih vrata. 1990–1997. Zagreb, 2000. S. 75. Также см.: *Кадујевић В.* Моје виђење распада. Београд, 1993.
- 78 *Dizdarević R.* Od smrti Tita do smrti Jugoslavije. S. 420.
- 79 *Јовић Б.* Последњи дани СФРЈ. С. 276.
- 80 Там же. С. 282.
- 81 *Silber L., Little A.* Smrt Jugoslavije. S. 118.
- 82 *Митрохин Н.* Русская партия. Движение русских националистов в СССР. 1953–1985. М., 2003. С. 556–557.
- 83 *Јовић Б.* Последњи дани СФРЈ. С. 364, 368, 369.
- 84 Заявление МИД СССР от 26 июня 1991 г. // Югославский кризис и Россия. М., 1992. С. 56.
- 85 *Tomac Z.* Iza zatvorenih vrata. Tako se stvarala hrvatska država. Zagreb, 1992. S. 335–336. Также см.: *Mesić S.* Kako je srušena Jugoslavija. Zagreb, 1994. S. 170–171, 179, 266.
- 86 *Tuđman F.* S vjerom u samostalnu Hrvatsku. Zagreb, 1995. S. 221.
- 87 *Nobile M.* Hrvatski feniks. S. 176.
- 88 См., например: Delo. 24.VIII.1991. S. 19; Dnevnik. 24.VIII.1991. S. 11; Mladina. 25–27.VIII.1991. S. 5–9; Tribina. 16.IX.1991. S. 14–16.
- 89 Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnjenje 1990–1998. Autori Niko Toš, Peter Kinar, Zdenko Roter i dr. Ljubljana, 1999. S. 96.
- 90 Не упоминают о взаимозависимости ситуации в СССР и СФРЮ, а также о влиянии на политику Словении событий в Москве в августе 1991 г. и современные словенские историки. Например, см.: Словения. Путь к самостоятельности. Документы. М., 2001 С. 75–76.
- 91 Югославский кризис и Россия. С. 63.
- 92 *Nobile M.* Hrvatski feniks. S. 176–177; Югославский кризис и Россия. С. 63.
- 93 *Грачев А. С.* Кремлевская хроника. С. 212.

- 94 *Mesić S.* Kako je srušena Jugoslavija. S. 284.
- 95 *Nobilo M.* Hrvatski feniks. S. 178.
- 96 См.: Югославский кризис и Россия. С. 63; *Tomac Z.* Iza zatvorenih vrata. S. 332–333; *Nobilo M.* Hrvatski feniks. S. 118.
- 97 Цит. по: *Рыжков Н. И., Тетёкин В. Н.* Югославская Голгофа. С. 75.
- 98 *Dizdarević R.* Od smrti Tita do smrti Jugoslavije. S. 426.
- 99 Независимая газета. 20.VIII.1992.
- 100 *Горбачев М. С.* Жизнь и реформы. С. 386, 387.
- 101 *Яковлев А. Н.* Омут памяти. От Столыпина до Путина. Книга вторая. М., 2001. С. 73.
- 102 *Tomac Z.* Iza zatvorenih vrata. S. 334–334.
- 103 *Nobilo M.* Hrvatski feniks. Diplomatski procesi iza zatvorenih vrata. 1990–1997. Zagreb, 2000. S. 75, 177–178.
- 104 *Nobilo M.* Hrvatski feniks. S. 75, 177–178.
- 105 *Ђилас М.* Дворско-партијски пуч из Кремља // *Ђилас М.* Пад нове класе. С. 293.
- 106 *Ђосић Д.* Пишчеви записи. (1981–1991). Београд, 2002. С. 381, 419.
- 107 *Matvejević P.* Istočni epistolar. Zagreb, 1994. S. 217–218, 221.
- 108 *Грачев А. С.* Кремлевская хроника. С. 21–213.
- 109 О встрече в Москве не упомянули в своих воспоминаниях и дневниках ни бывший министр иностранных дел Германии Г.Х.Геншер (*Genscher H.-D.* Sjećanja. Prijevod s njemačkog. Zagreb, 1999. S. 537–539), ни Б.Йович, ни Д.Чосич. Однако, на наш взгляд, это несколько не умаляет значения этого политического акта.
- 110 *Колесников А.* Неизвестный Чубайс. С. 18.

Е. П. Сератионова
(Москва)

Современное состояние богемистики в России и за рубежом

Богемистикой принято считать комплекс наук, направленный на исследование литературы, языка, культуры, искусства, истории и национальных особенностей, обычаев, традиций чехов. По одной из версий, название «Богемия» происходит оттого, что славянское население на территории Чехии франкские хроники XI в. обозначали термином «богеми». Первыми стали развиваться такие науки, как филология, а затем и история. Богемистика стала изучаться в Европе и в России с конца XVIII в. Таким образом, как одно из научных направлений славяноведения в нашей стране и за рубежом она существует уже более двух столетий.

В России одним из основных центров богемистики является Институт славяноведения РАН. Исследования в этой области проводятся и такими научными и образовательными учреждениями, как Институт мировой литературы РАН, Институт искусствознания РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова (его славянскими кафедрами филологического и исторического факультетов), МГИМО (У) МИД РФ, Петербургский, Воронежский, Саратовский, Волгоградский университеты, Российский государственный гуманитарный университет и др.

Институт славяноведения РАН явился инициатором проведения Всероссийского совещания «Российское славяноведение в начале XXI в.», которое состоялось на его базе 23–24 октября 2003 г. Тем самым была возрождена и расширена (за счет привлечения специалистов смежных отраслей знания) традиция проходивших в 1960–1980-е гг. всесоюзных конференций историков-славистов. Это весьма важное начинание, позволившее ближе познакомиться, установить контакты, обсудить актуальные научные проблемы специалистами в области отечественной славистики из различных российских городов. На совещании были заслушаны доклады ведущих специалистов-славяноведов, а также приняты рекомендации для развития славистических исследований, решено продолжить проведение подобных встреч с периодичностью в 5 лет¹.

История Института славяноведения РАН насчитывает свыше 60 лет (с 1947 г.). Богемистика традиционно является одним из постоянных направлений его научных исследований. У института налажены тесные связи с чешскими научными учреждениями. В их числе Исторический институт, Институт современной истории, Институт Т. Г. Масарика, Карлов университет, Институт чешского языка и другие филологиче-

ские центры Праги. Тесные контакты существуют со Славянским институтом АН ЧР, презентация которого состоялась в Москве 14–15 марта 2006 г. в библиотеке-фонде «Русское Зарубежье»². В рамках презентации состоялось открытие выставки, посвященной Славянскому институту, а также прошел круглый стол под названием «Наука, литература, культура русской эмиграции: результаты и перспективы изучения (Пражский и другие центры)». Совместно с этим институтом в Москве 21–22 июня 2005 г. была проведена конференция «Российские ученые-гуманитарии в межвоенной Чехословакии»³. Материалы конференции подготовлены к печати.

В журнале «Славяноведение» и ежегодном «Славянском альманахе» регулярно печатаются статьи, рецензии, обзоры, информации по чешской лингвистике и литературоведению, фольклору. Особый пласт составляют работы по этнологии, истории и истории культуры. За последние шесть лет специалисты по Чехии Института славяноведения РАН издали более 10 индивидуальных монографий и коллективных работ. В свет вышло множество статей в сборниках и периодических изданиях. Перечень новых книг института печатается в журнале «Славяноведение», среди них работы докторов филологических наук С. В. Никольского «Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова (поэтика скрытых мотивов)» (М., 2001), С. А. Шерлаимовой «Литература „Пражской весны“ до и после» (М., 2002), Г. П. Нешименко «Языковая ситуация в славянских странах. Опыт описания. Анализ концепций» (М., 2003). Данные о новых работах, готовящихся сотрудниками Инслава, и мероприятиях, в которых они участвовали, содержатся в ежегодных справочниках института. Информацию о проводимых конференциях и самой структуре Инслава можно получить на интернет-сайте www.inslav.ru.

Мне, как историку, легче судить об исторических исследованиях, которых коснусь чуть подробнее. В 2000 г. вышла монография д. и. н. Э. Г. Задорожнюк «Социал-демократия в Центральной Европе». Задорожнюк также состояла в редколлегии русскоязычного издания трехтомного труда Т. Г. Масарика «Россия и Европа»⁴. Д. и. н. Г. П. Мурашко являлась одним из редакторов-составителей двухтомной публикации документов и материалов «Советский фактор в Восточной Европе»⁵. В соавторстве ею опубликованы книги «Москва и Восточная Европа»⁶ и «Власть и церковь в СССР и в странах Восточной Европы»⁷. В 2003 г. к. и. н. М. Н. Досталь издала монографию «И. И. Срезневский и его связи с чехами и словаками»⁸, а д. и. н. Н. В. Коровицына подготовила книгу «С Россией и без нее. Восточноевропейский путь развития»⁹. В том же году д. и. н. В. В. Марьина выпустила монографию «Закарпатская Украина (Подкарпатская Русь) в политике Бенеша и Сталина. 1939–1945. Документальный очерк». В 2004 г. под редакцией В. В. Марьиной вышла в свет коллективная монография

«Национальная политика в странах формирующегося советского блока. 1944–1948»¹⁰, где она одновременно являлась и одним из авторов.

В 2005 г. под редакцией В. В. Марьиной богемисты института издали двухтомный труд «Чехия и Словакия в XX веке. Очерки истории»¹¹. Презентация его состоялась в Чешском посольстве в Москве. В. В. Марьиной за большие научные достижения в ноябре 2006 г. была присуждена высшая награда Академии наук ЧР — медаль имени Ф. Палацкогго. Несколькоими годами ранее этой же награды был удостоен к. и. н. Г. П. Мельников.

В 2006 г. вышел солидный труд А. И. Пушкаша, посвященный истории Закарпатья в 1918–1945 гг.¹². Творчеству слависта А. Н. Пыпина посвящена вышедшая в том же году книга Е. П. Аксеновой¹³.

В 2003 г. в Институте славяноведения Я. В. Шимов успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «История формирования и особенности развития многопартийной политической системы в Чешской республике в конце XX — начале XXI в.», а в 2005 г. в институте была защищена кандидатская диссертация А. В. Балакиревой «Чешская элита и российский фактор 1993–2003 гг.». Научным руководителем Шимова и Балакиревой являлась Э. Г. Задорожнюк.

В 2006 г. Е. П. Серапионова защитила докторскую диссертацию на тему «Славянский вопрос и Россия в идейных воззрениях и политике Карела Крамаржа (конец XIX — первая треть XX в.)», чуть ранее вышла ее монография о К. Крамарже¹⁴, презентация которой прошла в ноябре 2006 г. в Карловом университете в Праге.

Институт поддерживает тесные контакты с Чешским посольством и Чешским культурным центром участвует в их мероприятиях, и в частности в проводимых дважды в год Днях чешской культуры в России. Много лет при Посольстве существует возглавляемое ведущим литературоведом института, д. ф. н., проф. С. В. Никольским Общество братьев Чапек. В него входят специалисты различных научных областей, изучающих Чехию, а также творческие работники. Московское общество поддерживает связи с петербургским обществом братьев Чапек.

15 мая 2006 г. в Посольстве Чешской республики состоялось совещание богемистов всех профессий, направлений и поколений, включая студентов и аспирантов. Тема совещания была следующей: «Потребности, недостатки, перспективы, достижения, надежды и задачи российской богемистики». В нем принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Российской Федерации господин Мирослав Костелка. Участвовали: директор Чешского культурного центра д-р Томаш Гланц, лектор чешского языка МГУ Катаржина Маркова и несколько десятков богемистов. Участники совещания всесторонне обсудили перспективы сотрудничества богемистов различных научных подразделений с Чешским культурным центром, его задачи и планы.

В середине 1990-х гг. возобновила работу совместная комиссия историков и архивистов России и Чехии. С российской стороны комиссию в настоящее время возглавляет академик Г. Н. Севастьянов. С чешской стороны — заместитель директора Исторического института АН ЧР д. и. н. Ян Немечек. С тех пор состоялись 5 заседаний комиссии, поочередно в Праге и в Москве. На конференциях и круглых столах, проведенных в рамках этих заседаний, обсуждались актуальные проблемы взаимных отношений двух наших стран в годы Второй мировой войны, рассматривались разные аспекты коммунистического переворота в Чехословакии в феврале 1948 г.¹⁵, интервенции стран Варшавского договора в СССР в 1968 г.¹⁶ и «бархатной» революции 1989 г.¹⁷...

В 2006 г. прошло очередное заседание комиссии в Праге, посвященное новым архивным материалам, и Круглый стол о чешско-русских научных и культурных контактах в XIX–XX вв.

На кафедре истории южных и западных славян МГУ в настоящее время готовится 3-е дополненное и исправленное издание учебника «История южных и западных славян». Первое, двухтомное издание этой книги вышло в 1998 г. Разделы по истории Чехии подготовлены богемистами кафедры Л. П. Лаптевой, З. С. Ненашевой и Е. Ф. Фирсовым. Д. и. н., проф. Л. П. Лаптева в 2005 г. издала объемный труд (более 800 страниц) об истории развития славяноведения в России в XIX в.¹⁸. Доцент кафедры, к. и. н. Е. Ф. Фирсов опубликовал переписку первого чехословацкого президента Т. Г. Масарика с Э. Радловым¹⁹. В 2006 г. в третьем выпуске «Русского сборника» вышла обширная статья доцента кафедры, к. и. н. З. С. Ненашевой о чехах в России в 60–70-е гг. XIX в.²⁰. В том же году на кафедре защищена докторская диссертация С. В. Морозова о чехословацко-польских отношениях в 1930-е гг.²¹.

В 2003 г. сотрудница ВГБИЛ Н. Л. Глазкова подготовила книгу «Прага. Русский взгляд век XVIII–XXI» где собраны впечатления о чешской столице россиян, в разное время побывавших в Праге²². В том же году Государственный институт искусствознания издал сборник статей «Чешское искусство и литература XX века»²³.

Российские специалисты работают в тесном взаимодействии с коллегами из Чехии. Регулярно осуществляется рецензирование книг²⁴, переводы и публикации статей. Одним из примеров двустороннего сотрудничества может служить и совместная документальная публикация А. Н. Горяинова и М. Бубениковой²⁵. Чешские и российские коллеги участвуют в совместных конференциях. В 2005 г. вышел в свет сборник статей «Т. Г. Масарик и „Русская акция“ Чехословацкого правительства», подготовленный по материалам состоявшейся в Москве международной научной конференции к 150-летию со дня рождения Т. Г. Масарика.

По преимуществу с помощью чешских коллег выстраиваются контакты и с богемистами других стран. По инициативе пражских коллег в 2001 г. в Праге вышел тематический выпуск ежегодника «Rossica», посвященный памяти первого чехословацкого премьера К. Крамаржа, авторами которого являлись специалисты из Чехии, России, США. К 65-й годовщине со дня смерти этого политического деятеля в 2003 г. материалы сборника были опубликованы на чешском языке отдельной книгой под редакцией Л. Белошевской и З. Сладека²⁶.

Чешские историки проявляют значительный интерес к развитию зарубежной богемистики. Свидетельством этому стали изданные в конце 2005 г. на английском языке под редакцией вице-президента Чешской академии наук Я. Панека и директора Исторического института С. Раковой сборника «Ученые, занимающиеся богемской, чешской и чехословацкой историей». Три тома этой публикации содержат краткие данные о богемистах, включая адрес, образование, этапы профессиональной карьеры, организационную деятельность, область научных интересов и библиографический список основных трудов. Над этой книгой составители трудились несколько лет, но результат стоил того. Всего в сборнике собраны данные о 472 историках-богемистах. Там упомянуты историки из 24 стран. Очень сильные богемистические центры находятся в Германии (129 историков-богемистов), США (59), Словакии (56), Польше (53), России (38, из них 16 — сотрудники Института славяноведения РАН), Австрии (31), Великобритании (20), Франции (15), Японии (15). Девять специалистов по чешской истории работает в Канаде, семеро — в Нидерландах, шестеро — в Италии. По пяти в Хорватии и Швейцарии, по трое — в Норвегии и Словении, по два специалиста имеется в Австралии, Венгрии, Израиле. Всего по одному — в Ватикане, Дании, Новой Зеландии, Украине, Финляндии.

Во всех этих странах трудятся специалисты по различным периодам чешской истории и отраслям исторических знаний, понимаемых очень широко. Историческая богемистика, таким образом, включает в себя исследования по архивному, библиотечному и музейному делу, истории искусства, вспомогательным историческим дисциплинам, библиографии, истории культуры и образования, чешским национальным меньшинствам за границей, демографии и статистике. В сфере ее внимания также исследования по дипломатии и международным отношениям, экономической и социальной истории, политической истории, этнологии, исторической географии и картографии. История понимается в широком смысле. К историческим исследованиям по богемистике относят, например, историю Великой Моравии, историографию, историю идей, историю Богемии, Моравии, Силезии и земель лужицких сербов. Включает она в себя историю языка, историю государства и права, историю

литературы, методологию и теорию истории, военную историю, историю музыки, национальностей и национальных меньшинств. В отдельные разделы выделены историческая ономастика и топономастика, история религии и церкви, история науки и технологий, гендерные исследования и работы по истории семей.

Историки-богемисты изучают историю земель Короны чешской в Средние века и раннее Новое время и чешскую историю XIX в. Особое значение придается истории Чехословацкой и Чешской республик в XX в., а кроме того отношениям Богемии, Чешских земель, Чехословакии с другими странами. Наибольшее количество историков-богемистов занимается чешской политической историей. На втором месте — изучение истории культуры и образования. Достаточно регулярно рассматриваются проблемы национальностей и национальных меньшинств, экономической и социальной истории, а также истории религии и церкви.

Что касается исторических периодов, то большинство историков занимаются XX и XIX вв. Меньшей популярностью пользуются очень трудоемкие периоды — история Средних веков и раннего Нового времени. Достаточно большое количество исследователей занимается чешско-немецкими, чешско-словацкими и чешско-польскими отношениями. Предпринятое издание позволяет богемистам разных стран ближе познакомиться. Ведь в случае совпадения научных интересов можно списаться по электронной почте, установить научные контакты с тем, чтобы теснее общаться, наладить книгообмен, осуществлять взаимное рецензирование, переводы и консультации.

Суммируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что развитие современной отечественной и зарубежной богемистики успешно продолжается в различных областях. Позитивную динамику приобрели научные изыскания по разным периодам истории. Издается большое количество исторической литературы и источников. В последние годы наметилось более тесное сотрудничество между специалистами-историками отдельных стран. Однако сохраняется ряд технических, финансовых и организационных проблем. Так, несколько лет из-за отсутствия финансовой поддержки не удавалось организовать очередное заседание российско-чешской комиссии историков и архивистов. Есть проблемы с задержкой поступлений в библиотеки изданной в Чехии литературы и периодики. Определенные трудности существуют с организацией командировок для работы в Чешской республике, участия в совместных грантах и проектах. Для нас, в частности нашего института, очень серьезно стоит и проблема молодых научных кадров.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Подробнее об этом см.: Первое Всероссийское совещание «Российское славяноведение в начале XXI века: задачи и перспективы развития» // Славяноведение. 2004. № 4. С. 105–114.
- 2 Подробнее о мероприятии см. на сайте института.
- 3 Информацию о конференции см.: *Досталь М. Ю.* Международная научная конференция «Российские ученые-гуманитарии в межвоенной Чехословакии» // Славяноведение. 2006. № 4. С. 107–112.
- 4 *Масарик Т. Г.* Россия и Европа. СПб., 2000. Т. 1; СПб., 2004, Т. 2; СПб., 2003. Т. 3.
- 5 Советский фактор в Восточной Европе. М., 1999. Т. 1 (1944–1948); М., 2002. Т. 2 (1949–1953).
- 6 Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа (1949–1953). Очерки истории. М., 2002.
- 7 Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы. 1939–1958. Дискуссионные аспекты. М., 2003.
- 8 См. рец. Л. П. Лаптевой на эту кн.: Славяноведение. 2005. № 6. С. 95–100.
- 9 Рец. Л. Кралевой на эту кн. см.: Славяноведение. 2004. № 6. С. 103–105.
- 10 Рец. Е. П. Серапионовой на эту кн. см.: Славяноведение. 2006. № 3. С. 115–118.
- 11 См. рец. Е. Ю. Борисенок на ту же кн. в: «Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории» // Славяноведение. 2006. № 5. С. 99–103; рец. З. С. Ненашевой в: Новая и новейшая история. 2006. № 5.
- 12 *Пушкаш А. И.* Цивилизация или варварство. Закарпатье. 1918–1945. М., 2006.
- 13 *Аксенова Е. П.* А. Н. Пыпин о славянстве. М., 2006.
- 14 *Серапионова Е. П.* Карел Крамарж и Россия (1890–1937 гг.). Идеи, взгляды, политическая активность, связи с российскими государственными и общественными деятелями. М., 2006.
- 15 По результатам второго заседания комиссии историков и архивистов России и Чехии (Москва. 26–30 апреля 1997 г.) вышел сб. ст. «Февраль 1948. Москва и Прага. Взгляд через полвека» (М., 1998), куда вошли и материалы состоявшегося в рамках заседания Круглого стола «Т. Г. Масарик. К 60-летию со дня смерти первого президента Чехословакии».
- 16 Подробнее об этом заседании см. на сайте института.
- 17 Информацию о научной конференции см.: *Серапионова Е. П.* Международная научная конференция «Демократическая революция в Чехословакии, 1989. Предпосылки, ход, непосредственные результаты» // Славяноведение. 2000. № 3. С. 116–119.
- 18 *Лаптева Л. П.* История славяноведения в России в XIX веке. М., 2005; рец. Н. П. Мананчиковой на эту кн. см.: Славяноведение. 2006. № 5. С. 92–99.
- 19 *Фирсов Е. Ф.* Т. Г. Масарик и российская интеллектуальная среда (по архивам Чехии и России). Ч. I. Томаш Масарик и Эрнест Радлов в научной и дружеской переписке. М., 2005.
- 20 *Ненашева З. С.* Начало эмиграции чехов в Россию в середине XIX века // Русский сборник. Исследования по истории России. М., 2006. Т. 3. С. 7–38.
- 21 См. также кн.: *Морозов С. В.* Польско-чехословацкие отношения. 1933–1939. Что скрывалось за политикой «равноудаленности» министра Ю. Бека. М., 2004.

- 22 Рец. Г.П. Мельникова на эту кн. см.: Славяноведение. 2005. № 5. С. 99–102.
- 23 Там же. С. 102–107.
- 24 См., например, рец. Н.В. Седовой на кн.: *T. G. Masaryk. Spisy. Sv. 21: Parlamentní projevy (1891–1893). Praha, 2001; Sv. 29: Parlamentní projevy (1907–1914). Praha, 2002* // Славяноведение. 2004. № 1. С. 149–152; рец. Э. Г. Задорожнюк на кн.: *Formování stalinského mocenského systému. K problému tzv. destrukce bolševiků. 1928–1939. Praha, 2003* // Славяноведение 2005. № 1. С. 97–100; рец. Е. П. Серапионовой на кн.: *Voráček E. Eurasijství v Ruském politickém myšlení. Osudy jednoho z porevolučních ideových směrů meziváleční emigrace. Praha, 2004* // Славяноведение. 2005. № 5. С. 90–92.
- 25 Альфред Людвигович Бем / Всеволод Измайлович Срезневский. Переписка (1911–1936). Брно, 2005.
- 26 *Kramář K. Studie a dokumenty k 65. výročí jeho úmrtí. Praha, 2003.*

А. В. Венков
(Ростов-на-Дону)

О военных традициях славян

В своих статьях для «Американской энциклопедии» Ф. Энгельс дал характеристику всех армий Европы. Армии имели схожую структуру, были вооружены примерно одинаковым оружием и носили очень похожую форму. Отличались они одним — национальным характером. Энгельс рассуждал об активности и напористости французов, о бульдожьей хватке англичан, об универсальных военных качествах немцев, о храбрости и неповоротливости русских. Об испанцах он высказался так: они народ воинственный, но не военный.

Мы же, бросив самый поверхностный взгляд на историю Европы, можем сказать о славянах, что они народ военный, но не воинственный. Военный — потому что славяне пережили немало войн, но в конечном итоге «отбились», служили во всех армиях Центральной и Восточной Европы, и для некоторых славянских народов до настоящего времени состояние войны — самое естественное состояние. И в то же время они народ не воинственный. Из всех европейских «языков» одни славяне не делали попытки установить свою власть над всей Европой. Германцы при своих императорах пытались, французы при Наполеоне — тоже. А у славян прямо как у Е. Евтушенко — «Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять...».

Устоявшееся мнение при ближайшем рассмотрении грешит рядом исключений. Да, французы активны и задиристы. Вспомним куплеты про их короля Генриха IV:

Войну любил он страстно
И дрался как петух,
И в схватке рукопашной
Один он стоил двух.

Но в войнах XX в. французы ничего подобного не показали. И стратегия у них была оборонительная.

Англичане при их «бульдожьей хватке» и традиционной во время Наполеоновских войн тактике «тонкой красной линии» (каждый солдат стоит на своем месте в строю и все время метко стреляет) «порадовали» знатоков двумя несравненными по безрассудству конными атаками. Вспомним «Серых Шотландцев» при Ватерлоо (их через полтора века запечатлел на экране С. Бондарчук) и прославленную на века в английской поэзии «атаку легкой бригады» под Балаклавой.

Однако при всех этих правилах и исключениях единого устоявшегося мнения о военных традициях, о проявлении в войнах национально-го характера славян — нет.

В XIX и XX вв. много говорили и писали о боевых традициях русской армии. Но русские — это еще не все славяне. А значительная часть славян в период, когда складывалось указанное мнение, служила в «чужих» армиях.

Видимо, все же нельзя говорить о единой военной культуре славян. Мы видим на ряде примеров абсолютно разное отношение, допустим, поляков и великороссов к одному и тому же явлению. В борьбе с крымскими татарами, обороняя границы, поляки применяли «оборону поточную», т. е. конное патрулирование степи, а великороссы начали «стройку XVIII века» — Белгородскую засечную черту.

Идеалом тех же поляков является стремительная атака, такая как при Сомы-Сьерре. Напомним — в 1808 г. в Испании дежурный эскадрон польского дворянского полка шеволежеров гвардии Наполеона, воплощая в жизнь импровизацию императора, в конном строю пронесся по ущелью, взяв одну за другой четыре испанские батареи и прорвав тем самым фронт испанской позиции. Идеал великороссов — упорная оборона. Даже в описании одного и того же сражения, где в одном строю дрались и поляки и русские (я имею в виду Грюнвальдскую битву 1410 г.), польские и русские исследователи (и даже составители хроник) в качестве важнейшего, решающего события выделяли разные по содержанию примеры. Для поляков это была атака польских рыцарей левого фланга общего построения, которые в конном строю лоб в лоб столкнулись с рыцарями Ордена. Для русских это была упорная оборона в центре трех смоленских полков, о строй которых разбился напор орденских рыцарей.

В нашу историю вошли многочисленные осады, «сидения». Примером может служить оборона Пскова, оборона Смоленска, Азовское осадное сидение. И даже последний славный подвиг в последней войне — оборонительный бой десантной роты, когда в живых остались всего 4 десантника.

Энгельс считал, что русские вообще не способны к маневру, к легкой кавалерийской службе, и выручает их только наличие казаков.

Военная культура народа складывается во время зарождения народа. Мы знаем, что складывание великорусского этноса проходило в условиях постоянных отражений набегов степняков и противостояния планомерному и смертельно опасному натиску с запада.

С другой стороны, большое влияние оказали военные традиции Византии и даже Античной Греции, тех территорий, откуда к нам пришло христианство. Некая общая система ценностей просматривается на про-

тяжении всей нашей военной истории. Вспомним «Илиаду». Троянцы атаковали ахейцев с кликами, напоминающими журавлиные, а ахейцы ждали их молча, сомкнув щиты и став плечом к плечу.

Вспомним, как ночью перед Куликовской битвой князь выехал в поле меж войсками. В татарском лагере были крики и суета, как на торжище или на строительстве города. Князь обернулся к русскому лагерю, и была там великая тишина.

И наконец М. Ю. Лермонтов:

И слышно было до рассвета, как ликовал француз.

Но тих был наш бивак открытый...

Несомненно, наши военные традиции имеют глубокие исторические корни.

Нельзя не учитывать и этнические составляющие складывающейся общности. Согласно общепринятой летописной традиции, славяне пришли с Дуная на Днепр, а затем, продвинувшись дальше, заняли территорию, которая в нашей средневековой истории называется Северо-Восточная Русь. Население этой территории — угро-финны и другие народы — конечно же, в значительной своей части было ассимилировано. Это не могло не сказаться на менталитете, на национальном характере. Второй народ, который, судя по историческим данным, имеет явную склонность к упорной обороне в ущерб наступательным действиям, это, видимо, финны. Вспомним их знаменитую «линию Маннергейма». Да и позже, когда началась Великая Отечественная война, финские войска под Ленинградом наступательной активностью не отличались. Помимо того финны всегда отличались как мастера партизанской войны. Так, во время войны 1808–1809 гг. они вырезали целую сотню лейб-гвардии казачьего полка. А уж казаки всегда считались мастерами «малой войны». Упрощенно подходя, можно допустить, что великороссы впитали в себя финское упорство в обороне, которое лишь укрепилось в условиях складывания великорусского этноса.

Впрочем, данное положение грешит исключением. Мадыяры, родственные финнам по языку и происхождению, однако — кочевники, являли собой в XVIII–XIX вв. лучшую легкую кавалерию Европы. По крайней мере, Ф. Энгельс, считавший себя знатоком военного дела, называл лучшей легкой кавалерией Европы венгерских гусар и польских улан.

Но и здесь, к чести славян, можно добавить, что значительная часть лихих венгерских гусар состояла из словаков. А первые гусарские полки в Европе состояли, помимо венгров, еще и из сербов. В частности, в XVIII в. русские гусарские полки, набранные на территории Священной Римской империи (Австрии) и расселенные по границе с турками и крымчаками, состояли из сербов. О мадыярах и сербах в гусарских

полках русской армии в начале XIX в. упоминает Надежда Дурова. Она, кстати, недовольна русскими уланами, набранными на территории бывшей Речи Посполитой, и противопоставляет им гусар, среди которых блистают мадьяры и сербы.

Если уж мы коснулись западных и южных славян, то нельзя не отметить, что отличительной чертой поведения этих народов на войне так же, как и у великороссов, является стойкость. Знаменитый Аркольский мост, который Наполеону Бонапарту так и не удалось взять (штурм этого моста признан эталоном мужества, и есть картина, изображающая Наполеона со знаменем на этом мосту), обороняли от французов два батальона хорватских пограничников.

Славяне составляли примерно половину населения Австрийской империи. Соответственно, и даже в большей степени, они были представлены и в многонациональной австрийской армии. И Наполеон, и Суворов отзывались об австрийской армии времен Наполеоновских войн без особого уважения. Однако после ряда войн отношение Наполеона несколько изменилось. Когда кто-то в разговоре стал насмехаться над австрийскими солдатами, Наполеон ответил: «Вы не видели их под Ваграмом».

В чем же дело? Чем Ваграм отличается от того же Аустерлица?

Под Аустерлицем в 1805 г., как все мы помним, русско-австрийская армия пошла в наступление с целью обойти правый фланг французов и тем самым отрезать их от Вены, уже занятой французами, и отбросить к прусской границе. Французы внезапно контратаковали, и русско-австрийская армия после упорного сопротивления побежала. Причем, как рапортовали потом командующие русскими колоннами, первыми побежали австрийцы.

Под Ваграмом в 1809 г. события развивались по-иному. В мае французы форсировали Дунай у Асперна, но после жестокого боя были вынуждены отойти обратно на свой берег. В июле, обманув бдительность австрийцев, Наполеон форсировал Дунай ниже по течению, и у селения Ваграм разгорелось упорное двухдневное сражение. После всеобщей мясорубки австрийская армия отступила в порядке, оставив незначительное количество пленных и брошенных орудий. Потери французов, обладавших численным превосходством, были не меньше австрийских.

Кое-что становится яснее, если внимательно рассмотрим национальный состав австрийской армии под Ваграмом.

Перед нами шесть корпусов и авангард. Надо уточнить, что в австрийской армии полки делились на «немецкие», «венгерские» и «валлонские». Но лишь знатоки знают, что «немецкими» назывались еще и полки, набираемые в Богемии и Моравии, т. е. на территории современной

Чехии и Словакии, там же, в Словакии, набиралась часть «венгерских» полков.

В сражении под Ваграмом все так называемые «немецкие» полки 1-го и 2-го корпусов набирались в Богемии, т. е. в Чехии. Это полки № 17, 36, 11, 47, 10, 42, 35, 54, 25, 57, 15, 21, 18, 28. Судя по опубликованным спискам, это самые полнокровные полки, имеющие по 3 тыс. штыков.

В 3-м корпусе из семи полков четыре набраны в Моравии. Это № 1 (имени Кайзера!), 12, 7, 56. Остальные три набраны в Венгрии, Силезии и Нижней Австрии.

В 4-м корпусе из 6 полков два набраны в Моравии и Иллирии (хорваты, но не пограничники). Это № 8 и 22. Остальные два — в Венгрии и два — в Верхней и Нижней Австрии.

В 5-м корпусе, который в сражении не участвовал, а был в резерве, 1 полк набран в Моравии, № 29. Здесь же встречаются так называемые «валлонские» полки. Но после утраты Австрией валлонских земель с начала XIX в. солдаты в эти полки набирались на землях, отошедших к Австрии после раздела Польши. Соответственно полки состояли из поляков, украинцев и русин.

В 6-м корпусе два полка, набранные в Верхней Австрии, два венгерских и два трансильванских (№ 31 и 51). В авангарде два полка, набранные в Нижней Австрии, один — в Тироле, один — итальянский и один — «валлонский».

Многочисленный ландвер, за исключением «Венских» частей и Легиона эрцгерцога Карла, перед сражением под Ваграмом австрийцы тоже подвели из Богемии. Остальные провинции империи были отрезаны. Впрочем, это видно из названий ландверных частей.

Таким образом, мы имеем на поле боя минимум 20 полков, набранных в славянских землях (не считая «валлонские» полки, с ними примерно 23), 5 венгерских полков (в них могли служить словаки), 2 трансильванских полка, 9 немецких полков (австрийских, тирольских и силезских) и 1 итальянский полк.

Славян все равно больше. Если посчитаем количество штыков, согласно представленному списку, то получим 50 тыс. солдат, набранных в Богемии и Моравии, 9 тыс. венгров и словаков, 2 тыс. румын, 16 тыс. немцев, 1,5 тыс. итальянцев. Фактически славяне и все прочие в регулярной пехоте соотносятся — 5 к 3.

Такое же соотношение в резервной кавалерии. Драгуны и кирасиры набирались в большинстве в Богемии и Моравии, среди гусар были словаки и целый полк словенцев (№ 12). Уланский полк № 2 (Шварценберга) состоял из галицийских поляков. Такое же соотношение среди гренадер.

Итак, под Ваграмом большинство австрийской армии, которая дра- лась два дня и ушла непобежденной, составляли славяне.

Под Аустерлицем мы имеем 15 слабых австрийских батальонов. Основные силы австрийской армии, примерно те же самые полки, что мы видели под Ваграмом, в 1805 г. были окружены под Ульмом и сданы в плен австрийским командованием. Под Аустерлицем были лишь остатки австрийской армии. Лишь один полк был в полном составе. Остальные были представлены в основном запасными батальонами. Но рассмотрим и их с точки зрения национального состава.

Полк Бродер — словенцы.

Полки 1-й и 2-й Цеклер — румыны и венгры-семиградцы.

Зальцбург — территориальный немецкий полк.

24-й Ауэрсперга — набран в Нижней Австрии.

20-й Кауница — набран в Силезии.

1-й Кайзера — в Моравии.

9-й Чарторыйского — бывший «валлонский», а значит, из поляков или украинцев.

55-й Рейс-Грейдц — то же самое.

58-й Болье — то же самое.

38-й Вюртембергский (по имени шефа) — то же самое, но в него стали набирать солдат на территории Венгрии.

49-й Керпена — набран в Нижней Австрии.

Здесь славянских полков 5 из 12.

Естественно, на исход сражений оказали большое влияние и другие факторы, о которых мы вообще не говорили, поскольку данная работа вовсе не посвящается детальному разбору австро-французских войн. Но национальный состав сражающихся, видимо, сыграл не последнюю роль.

Что касается французских побед над австрийцами в Италии, то в Италию австрийцы традиционно посылали войска из близлежащих провинций. Это были солдаты, набранные в Штирии, Каринтии, Зальцбурге, Тироле, в Верхней и Нижней Австрии. Какую-то часть этих войск составляли хорватские и сербские пограничники. И как мы видим в случае с Аркольским мостом, и в Италии славяне дрались неплохо.

Наполеоновский маршал Сен-Сир, воевавший еще в годы Республики на Рейне с австрийцами и пруссаками, дал их сравнительную характеристику. Военные традиции пруссаков тоже очень интересны, но нас более интересуют австрийские войска, которые на Рейне состояли в значительной части из тех же славян (чехов, хорватов, словенцев). «Пруссаки известны стремительностью в своих атаках и особенно в преследовании, как австрийцы боязливостью в них из желания быть благоразумным...» — писал Сен-Сир. Он рассказывал, что для боя с австрийцами французам надо было «подходить к собственным их позици-

ям, чтобы заставить сражаться». Что касается пруссаков, то французам стоило лишь показаться издали, «чтобы иметь их под рукой». То есть австрийцы первыми в бой не лезли, пруссаки же прибегали подрасться при первой возможности.

С другой стороны, Сен-Сир отмечал австрийское упорство в ходе всех Наполеоновских войн: «Мы видели, что монархия Фридриха (Пруссия. — А. В.) пала после проигранного сражения (в 1806 году. — А. В.) и снова заняла свое место с помощью сильных союзников, меж тем как потеря десяти сражений и части провинций не могла низвергнуть Австрию».

Боевые качества австрийцев, в частности их упорство, приверженность обороне и осторожность, Сен-Сир объяснял тем, что «они представляют смешение многих народов несходных по характеру, но которые могут идти рядом», а также тем, что Австрия в течение ряда веков вела войны с Турцией, т. е. привыкла отражать набеги конных орд. Это объяснение французского маршала мы запомним и к нему еще вернемся.

К началу Первой мировой войны под влиянием идей панславизма боеспособность тех же чехов в австро-венгерской армии явно снизилась, поскольку воевать им приходилось с такими же славянами. В этом отношении стоит почитать «Приключения бравого солдата Швейка». А вот Чехословацкий корпус, созданный в России из русских подданных, но чехов по национальности, а затем уже пополненный пленными, показал себя прекрасно. В первом же бою, в июне 1917 г., на фоне общего развала в русской армии около 4000 чехов захватили три линии окопов противника, взяли более трех тысяч пленных и 150 орудий. Во время Октябрьской революции и Гражданской войны чехословацкие части, дрались ли они за красных или за белых, всегда считались образцом боеспособности.

О восстании Чехословацкого корпуса и создании под его прикрытием антибольшевистского правительства в Поволжье известно всем. А вот — об участии чехов в гражданской войне на стороне красных. Летом 1918 г. советская дивизия под командованием Киквидзе вступила на донскую территорию, чтобы очистить от казаков железную дорогу, по которой большевики вывозили хлеб из Царицына в Москву. Дивизия была разношерстной, по железной дороге прибывала по частям. Киквидзе взял наиболее боеспособные части — остатки двух кавалерийских полков старой русской армии и чехословацкий батальон — и двинулся на окружной центр — станицу Урюпинскую.

Донские казаки в этом районе в Гражданской войне участвовали неохотно, но вступление на донскую территорию чехов они, видимо, восприняли как иностранное вторжение и встали грудью. Киквидзе был окружен, но с потерями прорвался. Во время боя казаки рассеяли красную кавалерию и 18 раз в конном строю бросались на чехов, на орудия и пулеметы. Чехи соответственно, оказавшись в окружении, отбили 18 кон-

ных атак... Но оставим наших братьев-чехов и вернемся к зарождающимся великороссам.

Состав вооруженных сил Московского государства был полиэтничен, хотя среди профессиональных воинов, безусловно, преобладали славяне. И боевые действия преимущественно велись либо против своих же славян — Великого княжества Литовского, — либо против кочевников.

Ну как тут не вспомнить маршала Сен-Сира и его характеристику упорной и склонной к обороне, состоящей наполовину из славян австрийской армии. И у нас было «смешение народов несходных по характеру», но вынужденных идти рядом. И наши войска оттачивали свое мастерство в боях с подвижными, отчаянными и жестокими ордами.

Своего рода эталоном для нас стала Куликовская битва. После Куликовской битвы русские осознали себя русскими. Все наши великие победы напоминали и по ходу, и по напряженности именно ее. Это и Бородинская битва, и Сталинградская, и Курская. Это победа на грани поражения, победа огромной ценой, победа кровавая, когда встают всем миром и себя не жалеют. Тем более — не жалеют других. Это сражение на границе или на своей территории. Это сражение оборонительное, в ходе которого наши превосмогают противника и наносят ему ответный удар. И противник этого удара не выдерживает.

И в гораздо менее значимых сражениях мы наблюдаем то же самое. Под Кунерсдорфом русская пехота истекала кровью, но перемолола атакующих пруссаков, а когда те не выдержали и побежали, рубить бегущих поскакали казаки и венгерские гусары.

И даже в локальных конфликтах у нас сохраняется эта тактика. Вспомним второй бой за остров Даманский. Весь день пограничники, неся потери, сдерживали китайскую дивизию, а за холмами стояли наши установки залпового огня и отслеживали китайские огневые точки. А когда стало темнеть и расположение огневых точек было подтверждено визуально (вспышками), наша реактивная артиллерия нанесла удар. Вообще-то эти установки залпового огня можно сравнить с тактическим ядерным оружием...

Именно такой вариант битвы и победы, видимо, в подсознании наших людей. Я в течение нескольких лет провожу один и тот же эксперимент. На 5-м курсе, когда программа 1-го курса подзабывается, я прошу студентов назвать победы А. В. Суворова, за исключением штурма Измаила. Как правило, затрудняются. Поскольку Суворов вел наступательные сражения, сражался на чужой территории и бил врага не числом, а умением. Впрочем, до него таким же образом турок и татар стал бить Румянцев.

Но здесь надо сделать поправку на то, что у Суворова и Румянцева войска были иного характера и свойства, чем у Дмитрия Донского и у Г. К. Жукова. Начиная от Петра I и до Николая I включительно, наша армия была, грубо говоря, армией смертников.

В 1705 г. происходят радикальные изменения в системе набора. 20 февраля выходит указ набирать в рекруты крестьян, брать 1 человека с каждых 20 дворов, причем с 15 до 20 лет холостых. Рекрутская повинность не была индивидуальной а имела общинный характер, включая круговую поруку, очередность и т. д. 20 дворов должны были рекрута одеть и накормить и несли за него коллективную ответственность. В случае смерти или бегства — выставить взамен нового (обычно вместо убежавшего брали кого-то из его родственников). Чтобы пресечь побеги, Петр I в 1712 г. требовал: «А для знаку рекрутам значить на левой руке накалывать иглою кресты и натирать порохом». С рекрутами в деревне прощались навсегда, как с умершими. Снаряжение рекрута и снабжение его всем необходимым стоило для общины 20 рублей.

Генерал Миних, председатель военной комиссии в начале 30-х гг. XVIII в., отмечал, что после войн Петра I в армию брали 1 рекрута с 320 крестьян. Крестьяне собирали 150 рублей, чтобы не брали их братьев, после чего ими «нанимается бобыль, ни к чему не годный, часто пьяница, больной или увечный». Миних сетовал, что в Европе в таком случае дают 3–5 рублей «годному и добровольному человеку», а «в России от 150 до 200 дают негодьям». Набираемые в армию бегали, откупались, отрубали себе пальцы. Причин такого поведения Миних видел три: много погибло в 20-летнюю войну со шведами; «от неприятеля столько людей не побито, сколько погибло от дурного распоряжения офицеров...»; солдаты не отпускаются до глубокой старости или до увечья.

Однако спайка в таких полках была сильнее. Рекрут попадал на всю жизнь в замкнутое сообщество, откуда не было обратного пути, и должен был найти свое место в этом сообществе. Солдаты, перешедшие в чужую армию, считались изменниками и безжалостно уничтожались. Так, Денис Давыдов писал, что за всю войну 1812 г. им был вычислен и расстрелян всего один такой изменник. «Он пал на колени и признался, что он бывший Фанагорийского гренадерского полка гренадер и что уже три года служит во французской службе унтер-офицером».

Иностранцы такую систему набора характеризовали и характеризуют кратко: в России в армии дисциплина основывалась на порке, повинность лежала на крепостных крестьянах, «которые ее боялись и ненавидели, а еще одним источником рекрутов являлись преступники, подкидыши и солдатские дети»; русские солдаты из крепостных не бежали с поля боя и не впадали в панику — «у них, взятых из рабства, нет и мысли о том, чтобы действовать по своему разумению, когда рядом кто-нибудь из начальства».

Как отмечали немцы, в сражении у Цорндорфа, «расстреляв все свои патроны, русские стояли, как истуканы, в строю... Легче было их убивать, чем принудить к бегству; даже простреленные насквозь солда-

ты не всегда падали оземь... Часть беглецов попала в обоз, там они бросились на свои маркитантские фуры, начали их грабить и перепились водкой. Напрасно русские офицеры рубили бочки на части, солдаты бросались на землю и глотали с пылью любимый напиток; многие перепились до смерти...». Генерал Панин признавал: «Правда, мы удержали за собой поле битвы, но или мертвые, или раненые, или пьяные».

Тем не менее замкнутый подневольный коллектив сложился, приобрел боевые навыки и в боях с турками и татарами во второй половине XVIII в. показал прекрасные результаты. В сражении при Кагуле, решившем кампанию, русские перебили 20 тыс. турок, а сами потеряли 353 убитых и 550 раненых.

В Европе в 1799 г. армия продемонстрировала блестящие качества. «...Армия северных варваров прошла пол-Европы и показала себя человечнее, дисциплинированнее и цивилизованнее европейских армий, не говоря о самоотверженности (в Муттене голодные ничего не тронули у обывателей, великий князь Константин на свои деньги скупил съестное для солдат)», — писал В. О. Ключевский. Но тот же Ключевский считал: «...войска были привычны более к действию против неустроенных турецких полчищ, чем к европейскому образу войны, особенно генералы и офицеры».

Блестящие победы А. В. Суворова исследователи и современники прежде всего объясняли не полководческими дарованиями, а тем, что был найден общий язык с солдатами. «Найдя повинование начальству — сей необходимый, сей единственный склей всей армии, — доведенным в нашей армии до совершенства, ...он удесятерил пользу, приносимую повинованием, сочетав его в душе нашего солдата с чувством воинской гордости и уверенности в превосходстве его над всеми солдатами в мир, — чувством, которого следствию нет пределов», — писал Денис Давыдов.

После известного манифеста о вольности дворянской изменился и качественный состав офицеров. На службу стали поступать добровольно, по призванию, по обычаю. Надежда Дурова объясняла свое добровольное поступление на службу следующим образом: «Я отвечала, что люблю воинское ремесло со дня моего рождения, ...что считаю звание воина благороднейшим из всех и единственным, в котором нельзя предполагать никаких пороков. Потому что неустрашимость есть первое и необходимое качество воина; с неустрашимостью неразлучно величие души, и при соединении этих двух великих достоинств нет места порокам или низким страстям». Похожую мотивацию выдвигает Денис Давыдов: «С семилетнего возраста я жил под солдатской палаткой, при отце моем, который командовал тогда Полтавским легкоконным полком... Как резвому ребенку не полюбить всего военного при всечасном зрелище солдат и лагеря?»

Многие шли в армию в поисках приключений, «повоевать». Для таких людей рутинная армейская служба интереса не представляла. Н. Дурова писала: «Офицеры обоих полков часто бывают вместе; род жизни их мне кажется убийственным: сидят в душной комнате, с утра до вечера курят трубки, играют в карты и говорят вздор». Сама Дурова так описывала свой первый бой: «Полк наш несколько раз ходил в атаку, но не вместе, а поэскадронно. Меня бранили за то, что я с каждым эскадронном ходила в атаку... Вернувшись к своему эскадрону, я не стала в ранжир, но разъезжала поблизости: новость зрелища поглотила все мое внимание... Все это наполняло душу мою такими ощущениями, которых я никакими словами не могу выразить». То же самое говорит Денис Давыдов: «Не забуду никогда нетерпения, с каким я ждал первых выстрелов, первой сечи! ...Я помню, что и моя сабля поела живого мяса; благородный пар крови курился на ее лезвии».

С проведением реформ Александра II качественный состав армии конечно же изменился. Черты национального характера в войсках, а значит, и в стратегии и в тактике, стали проступать явственнее. И даже если правители пытались проводить какую-либо экспансионистскую политику, народу они должны были говорить о защите границ, об отстаивании территориальной целостности и так далее.

Таким образом, нам представляется, что сложившиеся военные традиции славян достаточно самостоятельны у каждого славянского народа и выработались в зависимости от исторического пути той или иной группы этих народов. Общее, что их объединяет, — стойкость, упорство. И вернемся к началу нашей статьи — славяне при всей своей многочисленности, при прекрасных боевых качествах, никогда не пытались посредством военной силы навязывать свою волю всей Европе.

О. В. Белова
(Москва)

Библейские легенды в фольклоре славянских и финно-угорских народов *

Фольклорные легенды, построенные на материале Ветхого и Нового Заветов, представляют один из интереснейших аспектов обширной темы — о роли и значении Библии в традиционной народной духовной культуре. Интерпретация библейских сюжетов в народных легендах наглядно показывает неординарность и многоплановость фольклорной трактовки текстов, излагающих «священную историю».

В системе традиционной духовной культуры, реализующей себя в различных региональных или «диалектных» вариантах, «народная Библия» также представлена локальными версиями, специфика которых обусловлена конфессиональной ситуацией того или иного региона, а также различной степенью влияния книжной традиции на фольклорные повествовательные жанры ¹.

Сравнение «национальных» изводов «народной Библии» свидетельствует о неоднородной интеграции в фольклорную среду книжных текстов (канонических библейских книг, апокрифов, поучений, литургических текстов), а также демонстрирует различную степень фольклоризации книжных сюжетов под влиянием фольклорно-мифологических представлений и актуальных верований.

Отдельную проблему, крайне интересную для исследователя народной религиозности и так называемого библейского фольклора, составляет бытование универсальных библейских сюжетов в метрополии и диаспоре, в зонах этнокультурного пограничья. Проблема пограничья и анклава применительно к фольклорным текстам непосредственно связана с отмеченной выше особенностью «народной Библии» как текста, бытующего в локальных версиях, границы бытования которых могут не совпадать с современным административным делением и зачастую не определяются «доминирующей» конфессией. На культурном пограничье и в пределах культурного анклава, как показывают исследования последних десятилетий, традиция может сохраняться лучше, нежели в метрополии ², воспринимая при этом элементы соседствующих культур.

Так, например, народные библейские легенды, зафиксированные в последние годы в зоне польско-литовско-белорусского пограничья ³, на

*Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 06-06-80095.

польско-украинско-белорусском пограничье⁴, представляют собой прекрасный материал для анализа механизмов взаимодействия книжной и народной традиции. Именно из «пограничных» регионов происходят записи ставших редкими или исчезнувших в других ареалах сюжетов. Таковы легенды о дуалистическом творении мира (с мотивами ныряния антагониста и добывания земли со дна моря, сокрытия земли чертом во рту и под ногтями, «крещения» земли (черт хочет утопить Бога и носит его по четырем сторонам света, желая бросить в воду), происхождения земного рельефа от плевков черта), записанные в 1990–1991 гг. на территории Пшемышльского повета (юго-восточная Польша)⁵.

Фольклор пограничья активно аккумулирует сюжеты, в которых могут объединяться элементы соседствующих культур. Показательным в этом отношении примером являются имеющие многовековую историю взаимоотношения славянской и финно-угорской традиций. На примере библейских сюжетов, отразившихся в локальных версиях «народной Библии» на Русском Севере и северо-востоке России, в Поволжье у русских, а также бытующих у соседствующих со славянским населением этих регионов финно-угорских народов, можно наблюдать колоритную картину межкультурного диалога.

При этом общий источник (свод библейских текстов) позволяет не только составить перечень сюжетов, востребованных той или иной локальной (национальной) традицией, но и показать механизм трансформации книжного текста в рамках устной традиции.

Материалы, зафиксированные на территории славяно-финно-угорского пограничья, показывают, с одной стороны, какое влияние оказывало христианство на мифологические (архаические) верования славян и финно-угров; с другой стороны, мы можем проанализировать взаимовлияние финно-угорских и русской традиций в фольклорной разработке общих сюжетов.

Вопрос о влиянии канонической и апокрифической книжности на народную религию славянских народов основательно разработан в фундаментальных исследованиях А. Н. Веселовского, Н. Ф. Сумцова, В. В. Мочульского, И. Я. Порфирьева и др.⁶ Непреходящая ценность указанных работ состоит в том, что их авторами были установлены книжные (апокрифическое) корни многих народных библейских легенд. За последние годы появился целый ряд исследований, посвященных книжно-фольклорным параллелям и типологическим схождениям в рамках отдельных жанров, например в космогонических дуалистических легендах⁷, этиологических и эсхатологических легендах⁸, духовных стихах⁹, а также проблеме интеграции в фольклор отдельных мотивов, имеющих книжное происхождение¹⁰. Опубликован обширный комментированный свод восточнославянских этиологических легенд, разрабатывающих библейскую тематику¹¹.

Народные религиозные тексты финно-угорских народов также постоянно являлись предметом пристального изучения, о чем свидетельствует большая подборка опубликованных материалов в дореволюционных периодических изданиях «Этнографическое обозрение» и «Живая старина», в серии «Folklore Fellows Communications» (Хельсинки), а также немалое количество сводов по фольклору и мифологии финно-угорских народов, в разное время изданных как в России, так и за рубежом. Источником для нашего исследования послужили в основном публикации современных материалов по народному христианству у финно-угорских народов, дающие возможность не только представить степень сохранности традиции, но и сравнить эти данные с данными славянской традиции, зафиксированными в регионах этнокультурного соседства¹².

Новейшие полевые материалы свидетельствуют об устойчивой сохранности в фольклорных легендах мотивов, ведущих начало от апокрифических источников. Тексты, почти дословно совпадающие с записями XIX — начала XX в., являются наглядным подтверждением того, что библейские нарративы по-прежнему составляют пласт живой традиции и актуальны для ее носителей. В то же время народные восточнославянские легенды, отражающие библейские сюжеты, показывают, что канонические и книжно-апокрифические сюжеты перерабатываются и интерпретируются фольклорной традицией в соответствии со стереотипами фольклорно-мифологического сознания.

Подобно апокрифам, народные легенды стараются дать объяснение тем эпизодам Священного Писания, которые, с точки зрения читателя или слушателя, нуждаются в более подробном изложении. Наиболее драматичные, ключевые моменты библейской истории (сотворение мира и человека, грехопадение первых людей, история Каина и Авеля, Всемирный потоп, строительство Вавилонской башни и «смешение языков») расцвечиваются в народных легендах многочисленными подробностями, призванными как бы восполнить лаконизм первоисточника.

В связи с наличием в тексте «народной Библии» канонических и апокрифических элементов необходимо отметить следующее. Носителями фольклорной традиции «народная Библия» воспринимается как данность; вопрос о каноничности или апокрифичности этого источника для них не стоит. Это свод знаний о мироздании, «другая» Библия, отличающаяся от той, которую «читают в церкви». Как в фольклоре один и тот же сюжет может быть представлен рядом вариантов и вариативность есть главная форма существования фольклорного текста, так и наличие «варианта» Библии не смущает наших информантов. Так на книжный источник начинает распространяться механизм бытования фольклорного текста.

Как показывает материал, носители фольклорной традиции демонстрируют не только знакомство с каноническими и апокрифическими

сюжетами на темы библейской истории, но привносят в них черты национального менталитета и элементы архаических верований.

Рассмотрим некоторые библейские сюжеты, распространенные как в русском фольклоре, так и в фольклоре финно-угорских народов, и постараемся показать, как работает механизм взаимодействия и взаимовлияния нарративных традиций в регионах тесного этнокультурного соседства.

Безусловно интересным с этой точки зрения является комплекс легенд, связанных с **дуалистическими представлениями** — это легенды о сотворении мира и человека, природных объектов, животных и растений.

Восточнославянские легенды о сотворении мира и силах, принимавших участие в творении, представлены двумя основными версиями. Одна версия — это достаточно близкие к каноническому библейскому тексту пересказы Священного Писания. В них Бог (Христос) предстает единственным Творцом, создающим небо, землю, природные объекты и живых существ (редко встречаются легенды, упоминающие в качестве творцов первых людей — Адама и Еву).

Согласно другой — дуалистической — версии, при сотворении мира у Бога был помощник (помощники), и отношения между творцами не всегда складывались гладко, переходя в соперничество и открытую вражду. Дуалистические представления в восточнославянских традициях сохранились неравномерно. При анализе современного материала (со второй половины XX в.) следует учитывать также фактор разрушения и трансформации традиции. Так, среди современных материалов из различных регионов России, Украины и Белоруссии нет ни одной достаточно полной версии сюжета о совместном творении мира Богом и его напарником (противником), при том, что в XIX — начале XX в. сюжет этот неоднократно фиксировался на территории Подолии, Полесья, Западной Белоруссии, Смоленщины, в Карпатах, а также в ряде регионов Центральной России и в Сибири¹³.

Для дуалистических легенд о миротворении, источником которых является апокриф «О Тивериадском море», характерны представления о демиургах в облике птиц¹⁴. В апокрифе антагонист Бога принимает облик водоплавающей птицы (гоголя); ср. легенду со Смоленщины, где противник-помощник Бога предстает в виде лебедя¹⁵, и легенду из Западной Сибири, где противник-помощник Бога предстает в виде утки-соксуна¹⁶.

В свете нашего сопоставительного исследования интерес представляет пространный нарратив, записанный параллельно на русском и коми языках от старухи-староверки на Вологодчине и хранящийся в Тенишевском архиве Российского этнографического музея¹⁷. Это редкий и ценный пример параллельной фиксации текста от одного и того же информанта, дающий возможность не только сравнить разноязычные версии, но и сопоставить их с текстом апокрифа. Этот рассказ, еще

ждуший квалифицированной публикации, совмещает в себе несколько мотивов: сотворение мира и людей, грехопадение, происхождение зла, смешение языков.

Согласно этой дуалистической легенде, были 2 брата — голубь и голь (в варианте на языке коми — «гулю да гӱгӱль»). Они достают землю из глубины вод и создают человека из песка, а женщину из кости¹⁸.

С творцами в птичьем облике непосредственно связан мотив ныряния за землей, также восходящий к апокрифу о Тивериадском море.

Как повествует русская легенда, в начале света ничего не было, только «одна глина да колышки кой-где торчали». Видя такое запустение, Бог заставил черта нырять за землей. Черт спрятал шепотку земли за щеку, чтобы и самому принять участие в творении. Земля начала расти во рту у черта, он стал выплевывать ее, и из выплюнутой чертом земли образовались озера, болота, кочки, горы. В наказание за попытку утаить землю Бог посадил черта в бездонный овраг с вонючей водой и тиной¹⁹.

В фольклорных пересказах апокрифа мотив ныряния может быть окрашен местным колоритом. Так, в украинской легенде Бог заставляет черта нырять за песком для творения земли в Днепр²⁰.

Любопытную версию мотива ныряния находим в фольклоре коми: этот мотив может «оторваться» от сюжета о сотворении мира и быть включен в сюжет о Всемирном потопе.

«Вот один на горе остался. Может, эта лодка и до сего дня еще сохранилась. По всей видимости, высокая была та гора <...> Вот Ной один на горе и остался. Птица какая стала пролетать <...> и спрашивает Ноя: „Что тебе нужно?“ — „Мне, говорит, земли бы надо, но где же ее найти?“ Тогда птица нырнула на дно моря и достала земли <...> И сколько она летела, на столько и разлетелась земля, потому и земля маленькая. Воды много, а суша маленькая...» (Усть-Куломский р-н, зап. 2001 г.)²¹. В данном случае в библейский сюжет включается традиционный для финно-угорской мифологии образ птицы (гагары, лебеда, утки), плавающей по первичному океану или летающей над ним в поисках места для гнезда.

В восточнославянских легендах о сотворении человека сохраняются (хотя неравномерно, фрагментарно и спорадически) следы дуалистических представлений²². Согласно легенде из Вологодской губ., сатана, возникший из плевка Бога, по его приказу ныряет за землей, из которой творцы изготавливают форму человека. Сатана, чтобы испортить Божье творение, 77 раз истыкал тело человека. Увидев это, Бог создал 77 целебных трав²³.

По легенде из Вятской губ., создав «форму» человека, Бог ушел в рай за душой, оставив собаку (которая в начале времен была голой, без шерсти) сторожить тело. Дьявол пообещал собаке шерсть, приблизился к телу и оплевал его. Бог исправил человека, вывернув его наизнанку, поэтому из человека и исходят «слюна и харчки»²⁴.

Эпизод с собакой — обязательная составляющая большинства текстов, заимствованная из книжной традиции; ср. апокриф «Сказание, как сотворил Бог Адама»²⁵. В апокрифе **сатана соблазняет собаку шерстью**, чтобы она подпустила его к сотворенному Богом человеку. Сатана портит божье творение. Бог затыкает дырки целебными травами, выворачивает тело человека наизнанку.

Обратившись к фольклорной традиции, мы можем наблюдать использование эпизода с собакой в другом контексте, в связи с мотивами грехопадения, изгнания из рая и происхождения зла. Так, в уже упомянутой легенде, записанной на русском и коми языках, говорится о том, что шерсть была дана собаке за то, что она пропустила беса в рай, где он и соблазнил Адама и Еву.

После того, как два брата — голубь и гоголь — создали мужчину из песка, а женщину из кости, бес накормил запретным яблоком мужчину, а муж дал яблоко жене. Они познали стыд. Бог увидел сторожа-собаку в теплой шубе (до этого она была голая, шубу ей пообещал сатана, если пропустит его в рай) и догадался, что люди большой грех сотворили. «Муж, когда Бог пришел в сад, лежал на жене. Из-за этого Бог очень рассердился и прогнал мужа вместе с женою и собакой из саду. Отсюда и произошло зло»²⁶.

Перед нами своеобразный сюжет-«перевертыш»: виновником грехопадения оказывается мужчина. Грехопадение здесь — начало и источник «зла».

В традиции коми-зырян также известна эта легенда, но при этом апокрифический сюжет накладывается на сюжет коми мифологии и связывается с актуальными верованиями²⁷. По свидетельству этнографа В. П. Налимова, «собака является покровителем зырян-мужчин, но не женщин. Женщины не чтят собаки. Они находят, что собаке не следует давать больше хлеба, чем у нее свободного от шерсти места на носу». Далее Налимов приводит легенду, объясняющую данное поверье (при этом он замечает, что мужчины эту легенду не признают). «Ен (творец вселенной) создал человека беспомощным ребенком. Омоль (брат Ена, родоначальник зла) завидовал Ену. Омоль всеми силами старался повредить человеку <...> Ен поставил собаку караулить человека-ребенка. Омоль приходит, ласкается к собаке, просит, умоляет ее позволить ему поласкать человека. Собака не подпускает Омолья близко к человеку». Тогда Омоль обещает собаке теплую шубу, собака разрешает ему приблизиться к человеку, и Омоль обмазывает человека своей слюной — «оттого человек стал слюнявым и сопливым». Рассерженный Ен сказал собаке: «Человек будет ежедневно давать тебе столько хлеба за твою верность, сколько чистого места у тебя на носу»²⁸.

Еще один вариант антропологического мифа представлен в легенде «Как собака стала нечистой», записанной в 1916 г. на территории ны-

нешнего Усть-Куломского р-на республики Коми. В легенде говорится об одном крестьянине, который нанял собаку нянчить ребенка. «И пришел Леший к собаке. И говорит собаке: „Если позволишь мне на ребенка посмотреть, я дам тебе шубу“. Дала собака Лешему посмотреть на ребенка. Леший оплевал ребенка со всех сторон, и мокротой, и соплями испачкал его и вывернул наизнанку. Тело ребенка было как ноготь. А как дьявол вывернул, только ногти остались на кончиках пальцев». Крестьянин, вернувшись с работы, прогнал собаку, и с тех пор стала собака нечистой и перестали пускать собак в дома²⁹.

Этот во многом трансформированный вариант интересен тем, что сюжет как бы приближается к повседневности, миф превращается в быличку. Ен выступает в роли крестьянина, а его антагонист в виде лешего. Лешему приписывается действие, совершаемое обычно положительным творцом (выворачивание тела человека наизнанку, чтобы скрыть следы вмешательства отрицательного героя-демиурга). Сюжет обогащен еще одним мотивом — представлением об утраченном людьми «ногтевом» теле; этот мотив широко представлен в традиции восточных славян и связывается с грехопадением первых людей³⁰.

В легендах о сотворении женщины привлекает внимание мотив растительного имени Евы. Славянские народные легенды зафиксировали несколько версий происхождения (сотворения) женщины: из глины, одновременно с Адамом; из ребра мужчины; из хвоста мужчины (так!); из хвоста собаки; из хвоста черта; из теста, из цветов³¹. Еще одна версия заключается в том, что Ева была создана из ветки ивы: «Бог узвив галузку йиви (верба) тай поклав коло него, а занім Адам проспав си, стала вже з тої галузки жинка, Йива»³².

Согласно этой гуцульской легенде, имя Евы обусловлено ее растительным происхождением из ветки дерева. В Галиции был записан и другой вариант, согласно которому происходит обратное превращение — изгнанная из рая Ева превращается в иву, прочное дерево, которое трудно сломать, «бо жива»³³.

В нижегородской легенде упоминается о том, что Ева — это превращенная Богом в женщину ива, за которой Адам ухаживал в райском саду³⁴. Сравним с этим свидетельством представления удмуртов о том, что Адам и Ева после грехопадения прикрыли наготу ивовыми ветками³⁵.

В ряду легенд, связанных со Всемирным потопом, обратим внимание на тексты, в которых фигурируют животные — спасители Ноева ковчега. В славянской традиции это прежде всего лев, кошка, уж, собака³⁶.

В основе народных легенд о спасении ковчега лежит апокрифический сюжет. В древнейшем русском списке Толковой Палеи конца XIV в. фрагмент о борьбе с дьяволом в ковчеге представлен так: «И тогда оканьный дьяволь, хотя потопити вся род ч<е>л<овече>ськь, превратися

в мышь и нача грысти дно ковчега. Нои же помолися Б<ог>у, и пришел прысну лютыи зверь и повелениемъ Б<ож>имъ выскочиста из ноздрию его котъ и кошка и оудавиша мышь ту. И не събыс<ть>ся дяволе злохытрство. И оттоле // почаша быти коты»³⁷.

В финно-угорской традиции спасителем ковчега выступает лягушка. «Ноя лягушка спасла. Этот [ковчег], в общем, продырявился, а лягушка к тому месту прибилась и закрыла дырку, чтобы вода не заливала через эту дырку. Мышь продырявила [лодку], а лягушка закрыла, потому и нельзя лягушек убивать»³⁸. По мнению О. Н. Смирновой и А. А. Чувьурова, этот «библейский» сюжет возник на основе коми фольклорной традиции, согласно которой лягушка является животным, сотворенным самим Еном, или превращенным человеком (этим мотивирован запрет убивать лягушек).

В славянской традиции сюжет с участием лягушки в роли спасительницы ковчега — редкость. Так, согласно украинской легенде, спасителем ковчега стала лягушка, за что Бог даровал ей свойство не разлагаться после смерти³⁹. Отметим, что эта версия сюжета записана на территории бывшей Угорской Руси (польско-украинско-словацкое пограничье).

В 2002 г., во время экспедиции в Вологодскую обл. мы попытались записать сюжет о спасении ковчега, надеясь, что сюжет, распространенный на Русском Севере, и в частности на Вологодчине в XIX в.⁴⁰, сохранился до настоящего времени. К сожалению, зафиксировать сюжет не удалось, кроме одного стертого свидетельства, которое может быть отголоском как раз традиции этнических соседей: «Лягушку нельзя убивать, она что-то для Бога сделала»⁴¹.

В заключение рассмотрим еще одну группу библейских сюжетов, связанных в народной традиции с мотивировкой пищевых и поведенческих запретов. Здесь на примере русского и коми фольклора мы сталкиваемся с фактором конфессионального влияния на этническую традицию. Легенды, связанные с запретом употреблять такие «греховные» растения, как картофель, чеснок, табак, а также мясо «нечистых» животных (конину, зайчатину, некоторые виды рыб), привнесены в традицию коми именно миссионерами. Таким образом, и у русских старообрядцев, и у коми старообрядцев в обращении находятся схожие сюжеты, практически не отличающиеся друг от друга и содержащие нелицеприятные оценки целого ряда природных объектов.

В Пензенской губ. крестьяне говорили, что «столоверы» не едят картофель и называют его «собачьи яйца»⁴². Ср. название картофеля «кобелиные клубни (яйца)» у коми старообрядцев, мотивированное легендой о том, что картофель вырос на месте «порочной близости с кобелями», которую допустила развратная женщина⁴³.

Легенды, в которых речь идет о «нечистых» или проклятых животных, мясо которых запрещено к употреблению, бытуют, безусловно, не

только среди старообрядцев, но именно в старообрядческой среде они приобретают особую остроту и мотивированность.

Так, у восточных славян широко известен сюжет о том, что конь наказан голодом за то, что съел сено, которым был прикрыт младенец Христос; корова (вол) благословенна за то, что не стала есть сено и преследователи не нашли Христа; свинья закапывает Христа в сено или зарывает его следы, за что и получает награду: свинину освящают на Пасху и едят по праздникам, например на Рождество и в Крещение⁴⁴.

«Когда жида искали Христа, чтобы убить его, то он спрятался в ясли к лошади, а она взяла да его и вышвырнула. Христос и сказал ей: „Езди за это на тебе крестьянин, а ешь тебя татарин“. Опять жида искали Христа, а он спрятался в ясли к корове. Жида и спрашивают: „Коровушка, не видала ли ты Христа?“ — „Вот я его дожевываю“, — сказала корова. И сказал Христос корове: „За это ты всегда будешь сыта; если у тебя не будет травы под ногой, то корм всегда будет с тобой“, — вот поэтому она и жуёт серку (жвачку). А когда Христос спрятался к свинье, то она его зарыла. Жида спросили ее, не видала ли Христа? „Не знаю, ничего я не видала“, — ответила свинья. Вот поэтому Христос и велел есть свинину, но только три раза в год: в Пасху, в Рождество и в Крещение, а то она была нечистая»⁴⁵.

Согласно этой русской легенде, проклятость лошади состоит не в том, что она вечно голодна, а в том, что она предназначена в пищу инородцу; ограничения в употреблении свинины обусловлены ее бывшей «нечистотой».

Сравним, как разворачивается этот же сюжет в традиции коми старообрядцев:

«О лошади рассказывали, что она ногами разбросала сено, под которым Христос прятался. Вот за это и проклял ее Господь: „Чтоб твое мясо было негодно людям для пищи, и чтобы, ты до самой смерти трудилась до изнеможения, так, чтобы от усталости стала носом в землю зарываться“. Вот так лошадь и используют: пока не умрет, до тех пор работает. И мясо в пищу людям не годится» (Усть-Куломский р-н)⁴⁶.

«Христос, скрываясь от иудеев, спрятался в копне сена. Пришла туда лошадь и стала есть сено, тем самым открывая Христа. Тогда Господь сказал лошади: „Скверной, поганой отныне ты будешь. Только вороны будут есть твое поганое мясо“. Между тем к копне подошла свинья и, наоборот, начала сеном накрывать Христа. Господь тогда сказал свинье: „Досель ты была нечиста, отныне благословенна ты, твое мясо будет лучшей пищей людям“»⁴⁷.

В контексте этих легенд особую значимость приобретают мотивы **закапывания (сокрытия)** и **выкапывания сакрального персонажа** определенным животным.

Например, в Покутье считали, что свинья заслуживает «посвящения» (имеется в виду освящение поросенка на Пасху) за то, что она зарывала следы Христа, когда его вели на распятие (видимо, с целью облегчить его участь). Курица же, наоборот, разгребала следы, делала их видимыми — за это курицу не освящают в церкви на Пасху. По представлениям украинцев, курица — проклятая птица. Когда Христос прятался от евреев, куры «выгребли» его ногами. Поэтому кур не освящают на Пасху и не едят куриных лап (Харьковская губ.). Ср. украинскую легенду о проклятии вора за то, что он вырыл из копны Христа (Харьковская губ.)⁴⁸.

Характерная параллель мотиву «выкапывания» обнаруживается в другой зоне напряженных межконфессиональных отношений⁴⁹. У маришцев, которые упорно сопротивлялись христианизации, в начале XX в. записана легенда о свинье как нечистом животном (влияние соседних мусульман). Юмо (Бог) раздавал судьбу животным. Свинье он сказал: «Что будешь находить под ногами, то ешь». Свинья отправилась в день Пасхи копать в поле (нарушение запрета на работу в праздник); там она выкопала из земли Христа. С тех пор люди стали отмечать праздник Пасхи. Христос «отдал для людей свою кровь, напоил людей кровью. С тех пор вино „тар“ (священное жертвенное вино. — О. Б.) называют Христовой кровью»⁵⁰.

На примере двух тесно соседствующих традиций, разрабатывающих единый комплекс библейских книжных источников, мы сделали попытку показать, как взаимодействуют книжная и устная традиция в рамках определенного этноконфессионального сообщества. Область фольклорных библейских нарративов, фиксируемых в зоне этнокультурных контактов, ставит перед исследователем целый ряд вопросов: о заимствовании сюжетов и мотивов и о типологических параллелях, о влиянии архаических представлений на книжные сюжеты, о возможном конструировании «библейских» текстов на основе фольклорной традиции.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Белова О. В. Славянские «библейские легенды»: от книжного источника к библейскому нарративу // Первый Всероссийский конгресс фольклористов. Сборник докладов. М., 2006. Т. 2. С. 280.
- 2 Подробнее см.: Zowczak M. Dlaczego «apokryfy»? // Polska sztuka ludowa — Konteksty. 1993. № 3–4. S. 94–95; Engelking A. Każda nacja swoją wiarę ma // Polska sztuka ludowa — Konteksty. 1996. № 3–4. S. 177–183.
- 3 Zowczak M. Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej. Wrocław, 2000.
- 4 Czaplak G. Obraz kosmosu w tekstach folklorystycznych wsi Matiaszówka. Praca magisterska. Lublin, 1987.
- 5 Zowczak M. Biblia ludowa... S. 66–68.

- 6 *Веселовский А. Н.* Опыт по развитию христианской легенды // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1875. Ч. 178, 179. № 4, 5; 1876. Ч. 185. № 2, 3, 4, 6; 1877. Ч. 189–191. № 2, 5; *Веселовский А. Н.* Разыскания в области русских духовных стихов. СПб., 1879–1891. Вып. 1–6; *Сумцов Н. Ф.* Очерк истории южнорусских апокрифических сказаний и песен. Киев, 1888; *Мочульский В. В.* Следы народной Библии в славянской и древнерусской письменности. Одесса, 1893; *Порфирьев И. Я.* Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872; *Порфирьев И. Я.* Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1877; *Порфирьев И. Я.* Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1890.
- 7 *Кузнецова В. С.* Дуалистические легенды о сотворении мира в восточнославянской фольклорной традиции. Новосибирск, 1998.
- 8 Нижегородские христианские легенды / Сост., вступ. статья и ком. Ю. М. Шеваренковой. Нижний Новгород, 1998; *Кабакова Г. И.* Адам и Ева в легендах восточных славян // Живая старина. 1999. № 2. С. 2–4; *Белова О. В.* Библейские сюжеты в восточнославянских народных легендах // Восточнославянский этнолингвистический сборник. М., 2001. С. 118–150 и др.
- 9 *Lužny R.* Библейские ветхо- и новозаветные темы в русском словесном песенном фольклоре // *Jews and Slavs*. Jerusalem, 1994. Vol. 2. P. 67–76; *Толстая С. М.* Город Иерусалим, гора Сион и царь Давид // Живая старина. 1997. № 3. С. 31–34.
- 10 *Толстая С. М.* О нескольких ветхозаветных мотивах в славянской народной традиции // От Бытия к Исходу. Отражение библейских сюжетов в славянской и еврейской народной культуре. М., 1998. С. 21–37; *Белова О.* Легенды о Потопе в славянской и еврейской народной традиции // От Бытия к Исходу. Отражение библейских сюжетов в славянской и еврейской народной культуре. М., 1998. С. 163–180; *Белова О.* О «грешных» животных в славянских легендах // Концепт греха в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2000. С. 163–178.
- 11 «Народная Библия»: Восточнославянские этиологические легенды / Сост. и коммент. О. В. Беловой. М., 2004.
- 12 Сотворение мира. Мифология народа коми / Концепция книги, сост., предисл., прим. и пер. П. Ф. Лимерова. Сыктывкар, 2005; *Шарапов В. Э.* Христианские сюжеты в фольклоре коми старообрядцев Средней Печоры // Христианизация Коми края и ее роль в развитии государства и культуры / Отв. ред. Э. А. Савельева. Сыктывкар, 1996. Т. 2. С. 310–320; *Смирнова О. Н., Чувьуров А. А.* Христианские легенды в традиционной культуре коми // Живая старина. 2002. № 3. С. 14–16; *Чувьуров А. А., Смирнова О. Н.* «Святые» и «святые места» в традиционной культуре верхневьчегодских коми // Музеи и краеведение. Труды Национального музея Республики Коми. Сыктывкар, 2003. Вып. 4. С. 149–164; *Власова В.* Эсхатологические представления коми староверов // АРТ. 2004. № 4. С. 135–144; *Шарапов В.* Символы Рая в фольклоре коми-старообрядцев // АРТ. 2004. № 4. С. 145–148; *Чувьуров А. А.* Пищевые предписания и запреты в религиозно-обрядовой культуре коми старообрядцев-беспоповцев // Пир — трапеза — застолье в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2005. С. 125–

- 143; *Чувьуров А. А., Шарапов В. Э.* Местнотчимые святыни у верхневыходских коми // *Живая старина.* 2006. № 2. С. 23–26.
- 13 «Народная Библия»... С. 44–45. Достаточно полный перечень восточнославянских версий дуалистических легенд о миротворении см.: *Кузнецова В. С.* Дуалистические легенды о сотворении мира...; *Кузнецова В.* Сотворение мира в восточнославянских дуалистических легендах и апокрифической книжности // *От Бытия к Исходу. Отражение библейских сюжетов в славянской и еврейской народной культуре.* М., 1998. С. 59–78.
- 14 См.: *Кузнецова В. С.* Дуалистические легенды о сотворении мира... С. 139–142; *Иванов Й.* Богомилски книги и легенди. София, 1970. С. 287–303.
- 15 *Добровольский В. Н.* Смоленский этнографический сборник. СПб., 1891. Ч. 1. С. 229–230.
- 16 *Городцов П. А.* Западно-сибирские легенды о творении мира и борьбе духов // *Этнографическое обозрение.* 1909. № 1. С. 51–52.
- 17 Архив Российского этнографического музея (далее — АРЭМ). Ф. 7. Оп. 1. Д. 389 (Устьинский у. Вологодской губ., 1898, зап. И. Суворов). Л. 6 об.–9. «Народная Библия»... С. 47.
- 18 АРЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1352 (Краснослободский у. Пензенской губ., 1899, зап. З. Лентовский). Л. 11–12. О географии мотива ныряния в восточнославянской традиции см.: «Народная Библия»... С. 47–48.
- 19 Легенды та перекази / Упоряд. А. Л. Іоаніді. Київ, 1985. С. 39; Украинские сказки: В 2 кн. / Сост. И. Панкеев. М., 1993. Кн. 2. Чародейная криница. С. 7–8.
- 20 *Смирнова О. Н., Чувьуров А. А.* Христианские легенды в традиционной культуре коми. С. 15.
- 21 Подробнее см.: *Кузнецова В. С.* Дуалистические легенды о сотворении мира...; «Народная Библия»... С. 222–226.
- 22 АРЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 241 (Кадниковский у. Вологодской губ., 1897, зап. С. Дилакторский). Л. 7 об.–11. Сходные апокрифические по происхождению сюжеты известны фольклору соседних финских народов (ср. *Веселовский А. Н.* Разыскания в области русских духовных стихов. Вып. 5).
- 23 АРЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 407 (Глазовский у. Вятской губ., 1899, зап. Г. Верещагин). Л. 17–18.
- 24 «Ложные» и отреченный книги русской старины, собранные А. П. Пыпиным. СПб., 1862. С. 12–14; Библиотека литературы Древней Руси. XI–XII века. М., 1999. Т. 3. С. 94–99.
- 25 АРЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 389 (Устьинский у. Вологодской губ., 1898, зап. И. Суворов). Л. 6 об.–8.
- 26 *Смирнова О. Н., Чувьуров А. А.* Христианские легенды в традиционной культуре коми. С. 16.
- 27 *Налимов В. П.* Загробный мир по верованиям зырян // *Этнографическое обозрение.* 1907. № 1. С. 20.
- 28 Сотворение мира. Мифология народа коми. С. 51.
- 29 «Народная Библия»... С. 239–242.
- 30 Там же. С. 226–229.
- 31 *Шухевич В.* Гуцульщина. Ч. 5 // *Матеріяли до українсько-руської етнології.* Львів, 1908. Т. 8. С. 5; *Толстая С. М.* О нескольких ветхозаветных мотивах в славянской народной традиции. С. 34.

- 33 *Гнатюк В.* Галицько-руські народні легенди. Т. 1 // Етнографічний збірник. Львів, 1902. Т. 12. С. 19–20; Легенди та перекази. С. 46.
- 34 Легенды и предания Волги-реки / Сост. В. Н. Морохин. Нижний Новгород, 1998. С. 427.
- 35 *Верецагин Г. Е.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. Кн. 1. Удмуртский фольклор / Выпуск подгот. Т. Г. Владыкиной и Л. Н. Долгановой. Ижевск, 2001. С. 19.
- 36 Подробнее см.: «Народная Библия»... С. 267–274.
- 37 Государственный исторический музей, собрание Е. В. Барсова. № 619. Л. 4–4 об.
- 38 *Смирнова О. Н., Чувьуров А. А.* Христианские легенды в традиционной культуре коми. С. 16.
- 39 *Serafin E.* Ludowe opowiadanie ajtiologiczne // Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne. Toruń, 2002. S. 126.
- 40 См., например: «Народная Библия»... С. 267–268.
- 41 З. М. Егорова, 1941 г. р., д. Злобиха Харовского р-на Вологодской обл., 2002, зап. О. В. Белова.
- 42 АРЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1378 (Пензенский у. Пензенской губ., 1899, зап. В. Квачевский). Л. 4.
- 43 *Смирнова О. Н., Чувьуров А. А.* Христианские легенды в традиционной культуре коми. С. 15.
- 44 Подробнее о содержании и ареалах распространения этих сюжетов см.: «Народная Библия»... С. 320–323, 348–351.
- 45 АРЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 15 (Вязниковский у. Владимирской губ., 1899, зап. А. Дебрский). Л. 28.
- 46 *Смирнова О. Н., Чувьуров А. А.* Христианские легенды в традиционной культуре коми. С. 15.
- 47 *Чувьуров А. А.* Пищевые предписания и запреты в религиозно-обрядовой культуре коми старообрядцев-беспоповцев. С. 128.
- 48 «Народная Библия»... С. 349–350.
- 49 Подробнее см.: *Белова О., Петрухин В.* Об одном «конфликтном» сюжете в славянской книжности и фольклоре // Параллели: русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. М., 2003. № 2–3. С. 275–282.
- 50 Марийский фольклор. Йошкар-Ола, 1991. С. 29, 264; записано венгерским ученым Эденом Беке в 1916–1918 гг. от военнопленного марийца Дмитрия Рыбакова (35 лет) из д. Туршомудаш Яранского у. Вятской губ.

И. И. Лециловская
(Москва)

Культура хорватского народа XVII в.

XVII век был едва ли не самым тяжелым периодом в истории хорватского народа эпохи Средневековья и раннего Нового времени.

Некогда величественное Триединое королевство (официальное название со второй половины XVI в. королевств Хорватии, Славонии и Далмации), простиравшееся от Дравы до Адриатического моря, представляло государственные развалины. С XV в. континентальная Хорватия испытывала нарастающий вал турецких нападений. В 1493 г. хорватские войска потерпели на Крбавско поле (близ Удбины) тяжелое поражение от турок, после которого Хорватия лишилась сил для серьезного сопротивления. В результате турки заняли всю Славонию и часть Хорватии вдоль реки Дравы, территорию между реками Савой и Уной.

В 1526 г. после победы 300-тысячной армии турок над хорватско-венгерскими войсками в 25 тыс. человек при Мохаче на Дунае Хорватия как часть Венгерского королевства признала власть Габсбургов. Представлявшая в глазах современников «остатки остатков славных королевств Хорватии и Славонии» Хорватия находилась в состоянии прифронтной зоны, принимая на себя волны турецких вторжений.

Вхождение Банской Хорватии в состав государства Габсбургов имело для нее противоречивые последствия. С одной стороны, объединенными силами было легче противостоять турецкому нашествию, с другой — это сказалось на ее территориальной целостности и статусе.

В XVI в. на австро-турецком пограничье, на территории Хорватии началось формирование Военной Границы — милитаризованной зоны как барьера на пути турецкого продвижения на запад. Габсбурги постепенно изымали Границу из юрисдикции хорватского сабора и бана, укрепляя свою власть на этой земле. В 1578 г. был основан Дворцовый военный совет в Граце, которому была подчинена основная часть Хорватской Границы. Это означало дальнейшее урезание хорватских «остатков».

В 1627 г. Военная Граница была организована как особая австрийская территория. Военное командование здесь было немецким. Этот комплекс расширился за счет областей в бассейне Дуная в ходе их освобождения от власти турок.

В то же время формирование австрийского абсолютизма сопровождалось его давлением на политические права хорватской аристократии и дворянства, выражавшиеся в автономном статусе королевства Хорватии.

Положение Хорватии на переднем крае борьбы с османской агрессией, разрушительные последствия турецких вторжений, эмиграция хорватов из

родных мест в соседние, более спокойные края, утрата привычных торговых связей — все это обусловило долговременный застой ее хозяйства.

Далмация, находившаяся с XV в. под властью Венеции, стала объектом столкновения интересов Османской империи и Республики Св. Марка. Ее континентальная часть почти вся была занята турками, за исключением узкой прибрежной полосы. Дубровник, в свою очередь, признал в XV в. верховную власть султана, выражением чего стала ежегодная дань Порте. Но он сохранил относительную политическую самостоятельность, никогда не входил в состав Османской империи, продолжая вести прибыльную посредническую торговлю по всему бассейну Средиземноморья.

В XVII в. Далмация и Дубровник пережили исторические события и природные явления, имевшие разрушительные последствия. В течение четверти века (1645–1669) Далмация и Бока Которская подвергались опустошению в ходе кровопролитной венецианско-турецкой войны, получившей название Кандийской войны по городу Кандии — столицы острова Крит. Ситуация усугублялась торговой политикой Венеции в ущерб далматинским приморским городам. На этом фоне в 1649 г. Далмацию охватили страшная эпидемия чумы, пришедшая из Османской империи, а затем и голод. Дубровник пережил в 1667 г. мощное землетрясение, за ним последовал пожар, продолжавшийся 20 суток. В результате катастрофы «славянские Афины», средоточие хорватских муз и умов Возрождения, лежали в руинах. Восстановление города проходило тяжело и медленно. Оно затруднялось и перемещением мировых торговых путей в Атлантику, и конкуренцией Венеции.

Катастрофа у Мохача в 1526 г. и падение Клиса в Далмации в 1537 г. открыли период тяжелейшего кризиса в жизни хорватского народа. С турецкой агрессией перед хорватами встала первоочередная задача освобождения и собирания отторгнутых у них земель. С течением времени она преобразится в стратегическую перспективу соединения в целое хорватского народа.

Разделение территории проживания хорватов между разными государствами усугубляло слабость хозяйственных связей между севером и югом, культурную изолированность Хорватии и Далмации друг от друга, группировку интересов по провинциям.

И все же на фоне невзгод в положении хорватов появились первые проблески надежды. В 1593 г. боснийский санджак-бег Хасан-паша вступил в решительную схватку за крепость Сисак, последний укрепленный пункт перед Загребом*. Однако турки были вынуждены отступить

* В Средневековье на месте современного Загреба существовали свободный королевский город Градец, церковная собственность Капитул и предместья. В 1850 г. они были объединены в целостный городской организм — Загреб. В литературе это название употребляется и для более раннего времени, прежде всего применительно к Градцу.

под натиском войск, которыми командовали хорватский бан и австрийские генералы. И сам Хасан-паша утонул при бегстве в реке Купе. С последовавшей затем австро-турецкой войной, завершившейся в 1606 г. Житванским миром, сложилось хрупкое равновесие сил между Австрийской монархией и Турцией. Хорватско-боснийская граница на целое столетие установилась по нижнему течению Купы. Военные действия переместились в сторону Венгрии. Победа хорватов под Сисаком положила начало освобождению хорватских земель от власти турок.

Крупным событием стало сокрушительное поражение турок в 1683 г. под Веной от объединенных австро-польских войск под командованием польского короля Яна Собеского. В свою очередь и хорваты постепенно начали очищать свою землю от агрессоров, освободив территорию вдоль рек Дравы, Савы, Купы, Уны, Крки. На опустошенные земли стали прибывать южнославянские переселенцы с Балкан.

В конце XVII в. произошел поворот в международной обстановке в Центральной Европе. Война 1683–1699 гг. Священной лиги — коалиции в составе Австрийской монархии, Венецианской республики, Речи Посполитой и с 1686 г. России — против Турции показала способность христианских государств мериться силами с Османской империей. Поражение в этой войне стало началом заката ее мощи. Мирный конгресс 1699 г. в городе Сремски-Карловци лишил Турцию значительной территории в Подунавье — Славонии, части Срема и Бачки.

Центральным событием внутренней истории Хорватии в XVII в. был антигабсбургский заговор аристократии во главе с графами Николой (1620–1664) и Петаром (1621–1671) Зринскими и князем Франом Крсто Франкопаном (ок. 1643 — 1671).

Знатные роды Зринских и Франкопанов были крупнейшими среди хорватской магнатории. Основу их политического веса составляли обширные владения, простиравшиеся от реки Муры до Адриатического моря. Зринские происходили из Далмации (князя Шубичи-Брибирские). Они собственными силами активно боролись против турецкого нашествия. В течение двух столетий (до 1670 г.) члены этой семьи предприняли 50 крупных военных акций против турок¹. Зринские были неизменными носителями банского достоинства.

В XVI в. воинскими подвигами прославился Никола Зринский, хорватский бан, затем воевода в Венгрии на правом берегу Дуная. В 1566 г. он возглавил славную оборону крепости Сигет в Венгрии (теперь город на севере Румынии на реке Тиссе). Сулейман II Великолепный со 100-тысячной армией, подкрепленной мощной артиллерией, предпринял 13-й поход на север. Но у Сигета, который прикрывал путь на Буду, он встретил отчаянное сопротивление хорватско-венгерского гарнизона численностью в 2300 человек. Город был сожжен, защитники его погибли, вклю-

чая самого Николу Зринского. Месячная осада крепости стоила жизни 25–30 тыс. турок. Под ее стенами смерть застала и Сулеймана II. Героическая защита Сигета произвела сильное впечатление на современников и получила отражение в хорватской литературе. А Никола Зринский стал символом хорватского патриотического сопротивления².

Правнук героя Сигета, также Никола Зринский, получил гуманитарное образование в Граце и Трнаве. В 1647 г. он был назначен баном (официальное возведение в должность состоялось в 1649 г.). Сторонник активной политики в отношении Турции, он напористо действовал в войне 1663–1664 гг. в южной Венгрии и Меджимурье. Однако Вашварский мирный договор 1664 г., означавший необоснованные уступки Порте, убедил его в нежелании австрийского монарха Леопольда I вести наступательную политику на востоке. В 1650–1670-х гг. восточное направление действительно оставалось для Габсбургов второстепенным. Их внимание было сосредоточено тогда на борьбе с Францией за влияние в Западной Европе. Никола Зринский погиб во время охоты в результате нападения на него дикого вепря³.

Николу Зринского сменил на посту хорватского бана в 1665 г. его брат Петар (инсталляция состоялась в 1668 г.). Петар был также сильной личностью. И он отличился в войне 1663–1664 гг. Его части нанесли поражение боснийскому войску под Оточацем.

Заговор хорватских и венгерских аристократов против господства Австрии продолжался в течение 1664–1670 гг. В Венгрии, которая испытывала более жесткое давление со стороны Габсбургов, нежели Хорватия, его социальная база была несравненно шире. С хорватской стороны заговор был вызван опасениями за автономию Хорватии перед лицом габсбургского абсолютизма, вялостью политики венского двора в отношении Турции, стремлением Габсбургов вычленив формировавшуюся Военную Границу из состава Хорватии, бесчинствами австрийской военщины на этой территории.

Заговорщики рассчитывали на помощь Франции, обещая за военную и денежную помощь в войне против Турции избрание Людовика XIV венгерско-хорватским королем. Однако, заключив в 1668 г. тайное соглашение с Веной о разделе наследства испанской ветви Габсбургов в связи со смертью короля, версальский двор прекратил отношения с ними. Тщетно Петар Зринский пытался найти опору в Речи Посполитой или Венеции. После этого заговорщики предприняли неожиданный и рискованный шаг. Бан Петар Зринский через своего посланца вступил в контакт с турками. Он соглашался за помощь Стамбула подчинить Хорватию и Венгрию верховной власти султана и выплачивать ежегодно 12 000 талеров в качестве дани при условии сохранения в Венгрии и Хорватии существующих порядков и признания Петара и его потомков

верховными правителями в них. Это означало вассальное положение Хорватии и Венгрии в составе Османской империи, подобное статусу Трансильвании.

Турки сделали вид, что заинтересовались этим предложением. Петар Зринский и Франкопан приступили к подготовке восстания. Тем временем против заговорщиков были двинуты австрийские войска, которые быстро заняли владения Зринского. Бан и Франкопан поняли, что помощь из Стамбула не придет, и, поверив обещаниям двора о помиловании, отправились с повинной в Вену. Здесь они были вероломно схвачены, брошены в тюрьму и в 1671 г. казнены, как и несколько венгерских магнатов. Их огромные земельные владения были конфискованы, частично разграблены, а семьи уничтожены.

Заговор носил сложный хорватско-венгерский характер, за шесть лет прошел разные фазы, меняя свое содержание. В хорватской части он преследовал цель защиты прав и привилегий местного дворянства, а тем самым самостоятельного политического статуса сословной Хорватии. Это была первая акция противодействия абсолютистским тенденциям Габсбургов в отношении Хорватии и Венгрии⁴. Трагический конец самых богатых и влиятельных хорватских родов имел тяжелые последствия для Хорватии, ослабив на долгое время местные политические силы для сопротивления австрийскому абсолютизму, а также для созидательной деятельности в самой Хорватии. Гибель Зринских и Франкопанов означала большой урон для хорватской культуры, и потому что они сами были творческими личностями, и потому что выступали меценатами.

В XVII в. сложные условия жизни хорватского народа — экономический упадок Хорватии и Далмации, постоянная угроза со стороны агрессивной исламской Турции, утрата в результате захвата турками целых областей, давление Австрии и Венеции, наконец, переходившее из века в век духовное разъединение хорватов по провинциям — все это затрудняло развитие хорватской культуры, рождало проблемы и противоречия, решение которых растянулось на последующие века.

Принципиальным обстоятельством развития культуры хорватского этноса в рассматриваемое время было отсутствие у него единого литературно-языкового пространства. И это выражалось не только в бытовании у хорватов разных европейских языков (в Далмации — латинского и итальянского, в Хорватии — латинского, немецкого и в начальной стадии венгерского), но, главное, в существовании разных литературных языков на народно-разговорной основе.

У хорватов были три основных речевых диалекта, получивших названия по произношению местоимения «что» (кай, што и ча), — кайкавский, штокавский и чакавский. На кайкавском диалекте говорило население северо-западной Хорватии. Чакавский диалект господствовал в

Приморье и Далмации. Наиболее распространенным был штокавский диалект, которым пользовались жители в междуречье Савы и Дравы (Славонии), Дубровника, а также все сербы.

Утверждение названных диалектов в хорватской письменности общественного значения началось в позднее Средневековье и продолжалось в раннее Новое время. В северной Адриатике преобладающим языковым слоем поэзии Возрождения стал народный язык — чакавский диалект. Им пользовались в литературных кругах Сплита, Задара, острова Хвар, а также Дубровника. В эпоху Возрождения чакавский диалект в литературе достиг вершины своего развития, но затем началось его постепенное ослабление.

В литературе Дубровника в конечном итоге возобладал штокавский диалект. Он достиг высокой степени совершенства в сочинениях Ив. Гундулича и И. Джурджевича⁵.

Истоки кайкавской письменности восходили к старым глаголическим религиозным текстам и отдельным средневековым повествованиям.

Первые опыты литературного творчества на кайкавском диалекте относились к середине XVI в. и были связаны с замком Озаль в бытность пребывания там Зринских и их круга, сочувствовавших протестантизму («озальский круг»). Первой печатной книгой на кайкавском диалекте стал «Декретум» Ивана Пергошича (?–1592), секретаря городского и жупанийского (областного) управления в Вараждине. Это был сборник правовых текстов, переведенных с латинского и венгерского языков из книги «Трипартитум» (1517) венгерского законодателя и политика И. Вербёци. Его феодальный свод законов оставался в силе до середины XIX в. Пергошич посвятил свой труд графу Юраю Зринскому, сыну Николы Зринского Сигетского. «Декретум» был напечатан в 1574 г. в имении Ю. Зринского Неделишче в передвижной типографии. Через несколько лет, в 1578 г., в Любляне вышло историческое сочинение священника Антуна Вrameца (1538–1587) «Хроника», в котором были изложены события всеобщей и хорватской истории от сотворения мира до 1578 г. Эти книги имели светское содержание, а их кайкавский диалект включал в той или иной мере и штокавские элементы⁶. Старая кайкавская литература просуществовала в Хорватии до середины XIX в.

Особенностью культурной ситуации в Приморье, северной и средней Далмации было сохранение здесь средневековой глаголической традиции, которая, однако, с XVI в. отошла на периферию культурной жизни. Носителями письменности на глаголице и церковнославянском языке с примесью местных разговорных элементов были в основном священники — глаголяши. Она существовала преимущественно в церковной сфере. Но Зринские, Франкопаны и другие аристократы поддерживали глаголяшей, их церкви и монастыри как исконно хорватское яв-

ление. В частной переписке они и сами пользовались иногда глаголической письменностью⁷.

Разность письменных языков на народно-разговорной основе сказывалась на всем духовном строе хорватов, их самосознании, далеко выходя за рамки литературы.

Хорваты на севере и на юге в силу политических обстоятельств соприкасались с разными иноземными культурами и испытывали неодинаковые влияния: северные хорваты — преимущественно австрийское и венгерское, адриатические — итальянское.

Если Далмация и Дубровник оказались в XV в. в лоне итальянского Возрождения, то северную Хорватию коснулась своим крылом Реформация. Это было сложное движение, вызванное в целом ростом городов в Европе и направленное против католической церкви как средневекового учреждения и его идеологии. Но это не значит, что дворянство не было затронуто Реформацией. В Венгрии оно частично оказалось втянутым в это движение, рассчитывая решить с его помощью свои проблемы. В Хорватии же в нем участвовали лишь отдельные дворяне. Большинство господствующего сословия, материально и численно ослабленного, ожидало от Габсбургов поддержки в противостоянии туркам.

В XVI в. Реформация в хорватской среде получила распространение через словенские земли, Венгрию и Венецию главным образом в Истрии, хорватском Приморье, Военной Границе, Меджимурье, а также в части Славонии, находившейся под властью Турции. Порта по политическим мотивам не препятствовала распространению Реформации. Протестантизмом были захвачены города Карловац и Вараждин. К нему склонялись сыновья Николы Зринского Сигетского Никола и Юрай. Но все же позиции Реформации в Хорватии были слабыми, и она вскоре была задушена.

Тридентский собор католической церкви (с 1545 с перерывами до 1563 г.) заложил программу Контрреформации — реставрации и реформирования римской церкви с целью восстановления ее поколебленного авторитета. На этом соборе был впервые сформулирован принцип непогрешимости папы в делах вероучения, что упрочило идеологические позиции католической церкви. В 1604 г. хорватский сабор постановил (в 1609 г. австрийский монарх санкционировал), что в королевствах Хорватии и Славонии признается только католицизм. В Загребе (1606), Вараждине, Риеке появились иезуиты — воинствующий полумонашеский орден, главный проводник Контрреформации. Вместе с тем широкое наступление Контрреформации на территории проживания хорватов сопровождалось усилением общего влияния Европы на культуру хорватского народа, влияния неоднозначного и противоречивого.

Сложность политического положения раздробленного хорватского народа, разнородность внешнего культурного воздействия обусловили

существенные особенности общественно-политической мысли хорватов в разных землях. Но были и общие черты их интеллектуальной жизни.

«Турецкий страх» оживил сознание общности славян. Гуманистическое мышление вызвало интерес к прошлому своего народа и потребность понимания его места в славянском мире. Раньше всего это проявилось в Далмации и Дубровнике. Первым среди гуманистов писал о едином «славянском царстве» неолатинский поэт Илия Цриевич (Цервин) (1463–1520). Оно простиралось, в представлении дубровчанина, от Иллирии до Балтийского и Черного морей, вплоть до Московии⁸.

В 1525 г. свои взгляды на славянство высказал доминиканец, профессор теологии Винко Прибоевич. Он происходил из горожан острова Хвар. Город-коммуна занимал очень выгодное географическое положение и имел удобную гавань, куда заходили все суда, следовавшие в Венецию или возвращавшиеся из нее. Благодаря развитой торговле и судоходству Хвар стал самой богатой коммуной венецианской Далмации. Он был важным центром хорватского гуманизма и культуры в целом.

Прибоевич получил высшее образование в Италии и Польше. Находясь под влиянием итальянской и польской исторической и публицистической мысли своего времени, он выступил перед согражданами Хвара с докладом на латинском языке «О происхождении и успехах славян». В 1532 г. доклад был издан в Венеции, а в 1595 г. вышел его перевод на итальянский язык.

Прибоевич высказал идею широкой славянской общности, к которой принадлежали хорваты и остальные южные славяне. Он рассматривал последних как автохтонное население Далмации. Автор причислял к славянам Александра Македонского, Аристотеля, Св. Иеронима и многих других лиц, которые получили известность благодаря своей учености, храбрости, военному искусству. Все это служило мыслителю обоснованием не только многочисленности, но силы и исторической роли славянства. Давая географическое описание и краткую историю своего края, он возвеличивал прошлое, экономическую и культурную значимость Далмации и родного Хвара. Прибоевич стал предтечей многих знаменитых носителей славянского сознания у южных славян.

Литература Дубровника подхватила мысль о славянской общности, которая позволяла преодолеть чувство незначительности крошечного вассального государства и придать ему вес и ценность как составной части огромного славянского мира.

В первой четверти XVI в. Лудовик Цриевич (Церва) — Туберон (ум. в 1526 г.), получивший образование в Париже, дубровницкий патриций, аббат бенедиктинского монастыря, написал на латинском языке исторический труд с охватом событий от кончины короля Венгерского королевства Матьяша Хуньяди (Матвея Корвина) в 1490 г. до смерти рим-

ского папы Льва X в 1522 г. Частично он был опубликован во Флоренции в 1590 г., после смерти автора, а полностью вышел во Франкфурте на Майне в 1603 г. Книга получила европейскую известность под названием «Комментарии», но в 1734 г. была запрещена Римской курией за критику верхов католической церкви.

Церва-Туберон с его независимостью суждений высказал мысль о «русской» прародине всех славян — некоей древней Скифии или Сарматии. Он утверждал, что славяне являлись потомками «русских» и готов. Около 600 г. они вторглись в Иллирию, вместе с ними пришли и болгары, занявшие восточную часть Балкан. Язык, употреблявшийся в Иллирии, по оценке автора, почти во всем схож с «русским». В свободном полете мысли Туберон видел «русские» корни в образовании чешского и польского государств⁹.

Теория языкового и этнического родства славян была поддержана Фаустом Враничем из Шибеника, разносторонне образованным гуманистом. В 1595 г. в Венеции он издал многоязычный латинско-итальянско-немецко-далматинско-венгерский словарь, в котором развил положение о близости языка, употреблявшегося в Иллирии, с «русским»¹⁰.

С конца XVI в. идея целостности славян вошла в пропаганду Контрреформации, программа которой предусматривала объединение Восточной и Западной христианских церквей во главе с римским папой. В 1596 г. Брестской унией было создано христианское греко-католическое объединение, подчиненное Римской курии, — униатская церковь. Она оставляла православным их богослужение и его язык.

Однако в те годы не только сугубо церковная мотивация побуждала Римскую курию стремиться к сближению славян между собой, но и потребность совместного противостояния туркам. Все это под эгидой католической церкви.

Идейные установки Контрреформации как нельзя лучше отвечали интересам Загребской епископии в связи с так называемым «влашским вопросом». Влахами назывались православные переселенцы (сербы), бежавшие из Османской империи в Хорватию. Военные власти размещали их на австро-турецком пограничье, на заброшенных землях, подлежащих юрисдикции Загребской епископии. В 1630 г. австрийский монарх Фердинанд II издал диплом, вошедший в историю под названием «Влашского статута». Этот акт изымал владов из-под власти хорватского сабора и бана, способствуя тем самым обособлению Военной Границы от Хорватии. Но вопрос о вероисповедании владов остался открытым. В Далмации, в свою очередь, государственные власти оказывали давление на православное население с целью подчинить его католической иерархии и привести к унии¹¹.

Контрреформация в определенной мере укрепляла хорватских мыслителей в сознании общности славян и в желании уяснить место Далма-

ции и Хорватии в целостной славянской истории. Но «славянская идея» становилась орудием разных церковных и политических интересов, а также культурной ориентации.

Каноник из Шибеника Томко Мрнавич выразил интеграционное сознание в терминологии. В 1603 г. в сочинении на латинском языке «Об Иллирике и иллирийских императорах» он впервые ввел понятие «иллирийское» для обозначения населения на территории от Дравы до Адриатического моря в историческом обозрении¹².

В рассматриваемое время интеграционному славянскому сознанию в хорватской интеллектуальной среде трудно дать однозначную оценку. Оно включало плодотворное понимание родства славян, особой близости между собой южных славян, принадлежность хорватов к многочисленному славянскому миру. Но одновременно во многих случаях на него накладывались далекоидущие виды Контрреформации. Грань между славянством хорватского патриотизма и наступлением на православие католицизма провести не всегда возможно.

В XVII в. хорватская художественная культура, хотя в отдельных землях с разной интенсивностью, приобщалась к барокко, проявляя тем самым себя в общеевропейском русле культурного развития. Освоение барочной эстетики объяснялось изменениями духовных потребностей общества — желанием глубже понять окружающий мир и самого человека. Философия и эстетика барокко, при всей их разности в отдельных культурах и социальных слоях, открывали эту возможность, понимая жизнь, в отличие от гармоничной и жизнерадостной парадигмы Возрождения, в ее сложности, многообразии и изменчивости и преодолевая прямолинейную трактовку гуманистами человека под знаком абсолютизации его физического и духовного совершенства.

Вместе с тем на идейном облике барокко в Западной Европе, откуда шло его распространение на Восток, оказала влияние и Римская курия. Она внесла в него идеи брэнности, быстротечности и иллюзорности земной жизни, страданий и вечного покаяния человека. В таком виде католическая церковь сыграла значительную роль в утверждении в искусстве барокко как одного из главных стилевых направлений.

Деятельность иезуитов была направлена на разжигание пламенного религиозного чувства у верующих, доведения их до экстаза живыми картинами страстей и мучений Христа. Эстетика барокко позволяла решить эти задачи, давая возможность представить источником религиозных переживаний божественную плоть. А барочная пышность католического культа утверждала веру в торжество поколебленного Реформацией католицизма.

В культуре хорватов, как и ранее, доминировали Дубровник и Далмация, чему способствовала близость итальянской культуры. В респуб-

лике Св. Влаха, проводившей тонкую политику в отношении султаната, до катастрофы 1667 г. продолжалась активная творческая жизнь. В то же время ослабление североадриатических городов отрицательно сказывалось на состоянии культуры в Далмации.

Одним из наиболее характерных проявлений гуманистической деятельности были исторические исследования.

Новый век открыл своим творчеством бенедиктинец из Дубровника Мавро Орбин (середина XVI в. — Дубровник, 1611). В 1601 г. в Пезаре вышла его книга на итальянском языке, получившая известность как «Славянское царство». Это была первая попытка дать историю южных славян в Средние века.

М. Орбин стоял на позиции целостности славян, их автохтонности в Юго-Восточной Европе. Автор впервые рассматривал историю южных славян как неразрывную часть прошлого «царства славян». При этом он причислял к славянам и некоторые германские народы. Его книга была проникнута восхвалением славян, особенно южных. Для доказательства своих утверждений Орбин привлек около 280 авторов, архивные материалы и устные предания. При всей предвзятости замысла, отсутствии критической оценки источников книга Орбина в плане развития хорватской исторической мысли имела несомненные достоинства привлечением заслуживающего внимания фактического материала, особенно по истории Дубровника и соседних с ним земель, османских завоеваний на Балканах. Труд имел ценное приложение — итальянский перевод средневекового источника «Летописи попа Дуклянина» (середина XII в.).

В 1722 г. в переводе Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского, серба-дубровчанина, переехавшего в начале века в Россию и ставшего ближайшим сподвижником Петра I, сочинение Орбина вышло в Петербурге под названием «Книга историография». Труд Орбина в оригинале и русской версии получил широкий резонанс на славянском юге, оказав влияние на формирование общеславянского сознания и развитие исторической мысли у хорватов и сербов вплоть до середины XIX в.¹³

Почти одновременно с книгой Орбина появились исторические сочинения Динко Заворовича из Шибеника (ок. 1540 — 1608). Он принадлежал к известной дворянской семье, окончил по традиции университет в Падуе по праву. Заворович активно участвовал в городской жизни, занимая разные должности. В 1580-х гг. он жил в Хорватии и Венгрии, участвовал в пограничных столкновениях с турками. За военные заслуги Заворович получил хорватско-венгерское дворянство. По возвращении в Шибеник он написал на латинском языке историю родного города (1597), а затем историю Далмации (1602), доведя ее до 1437 г. Автор, помимо литературы, привлек письменные источники, документы, городские акты. Однако ему не хватало критичности в работе с ними. Тем не менее со-

чинения Заворовича остались первыми у хорватов книгами, в которых была изложена систематизированная история Шибеника и Далмации, а также Хорватии.

Основы хорватской исторической науки Нового времени заложил Иван Лучич (Луич) из Трогира (1604 — Рим, 1679). Он получил университетское образование в Риме и Падуе, изучал право. Как патриций Лучич по возвращении в 1625 г. в Трогир участвовал в управлении городом. Тогда же он начал собирать материал для исторического труда, привлекая к этому делу большое число соратников из разных далматинских городов. Для сбора источников Лучич сам отправился в 1654 г. в Рим, где вращался в кругу интеллектуалов. Здесь на рубеже 1661–1662 гг. он закончил свое исследование.

Основной труд Лучича в шести томах «О королевстве Далмации и Хорватии» (Амстердам, 1666, 1667, 1668), написанный, как и все сочинения автора, на латинском языке, преследовал политическую цель — обосновать право Венеции на ранг королевства даже в случае потери ею Крита (шла Кандийская война). Но несмотря на прагматическую заданность, труд Лучича благодаря драгоценным материалам и новому критическому методу исследования стал научным вкладом в изучение прошлого хорватского народа.

Автор охватил понятием «Хорватия» территорию от Дравы до Адриатического моря, но фактически ограничился изучением истории южных земель с античных времен до 1480 г., времени утверждения власти Венеции в северной Адриатике. Он добросовестно изучил и впервые критически осмыслил многочисленные источники, опубликовав немало документов, важных летописей и хроник, в том числе «Историю» архидьякона Фомы Сплитского (1266) и «Летопись попа Дуклянина». Лучич привлек архивные материалы из разных областей, включая Хорватию. Историк составил шесть историко-географических карт. Ему принадлежали и другие работы. В 1673 г. вышла его история Трогира до середины XV в. Лучич заложил солидную и надежную фактологическую основу исторических знаний о хорватском Средневековье. По методу исследования он был на уровне современной ему европейской исторической науки¹⁴.

В 1604 г. была создана первая грамматика «иллирийского» языка, написанная по образцу латинских грамматик того времени. Ее автором был иезуит Бартол Кашич. Еще в конце XV в. в Дубровнике появились первые сочинения на штокавском диалекте. Вскоре католическая церковь стала издавать книги для простого народа в духе Контрреформации на этом диалекте как наиболее распространенном в тех краях (первое сочинение латиницей вышло в 1582 г., кириллицей — в 1583 г.). Иезуиты писали на штокавщине. По их заказу и была составлена Кашичем грамматика боснийского штокавского диалекта. Хотя ее появление было связа-

но с церковными интересами, она знаменовала собой зарождение у хорватов языкознания.

Опыт Кашича получил развитие в работе итальянского иезуита лексикографа Якова Микальи. В 1649–1651 гг. вышел его хорватско-итальянско-латинский словарь «*Blago jezika slovinskoga*»*. Лексический фонд в словаре состоял из чакавских и штокавских слов. Он был снабжен небольшой грамматикой, написанной на основе работы Кашича. Сам Микалья отдавал предпочтение «боснийскому языку», т. е. штокавскому диалекту.

Жили в Дубровнике и городах Далмации в то время интеллектуалы с научным образом мышления. Для них была характерна комплексность научных интересов. По традиции молодые хорваты получали университетское образование в Падуе. Обычным делом для состоятельных горожан было посещение Италии, хорватские интеллектуалы, случалось, надолго задерживались в итальянских культурных центрах. В свою очередь, итальянские ученые-гуманисты посещали Далмацию и Дубровник. Так научная информация переносилась в хорватскую образованную среду.

Хорватские интеллектуалы трудились также за пределами своей родины, в первую очередь в соседних странах, особенно в Италии.

Известным в свое время математиком был Марин Геталдич (1568–1626), вернувшийся в начале XVII в. после многих лет пребывания за границей в свой родной Дубровник. Его работы по геометрии, привлечшие внимание современников, продвинули развитие математики.

Пытливый ум вышеупомянутого Фауста Вранчича (1551–1617) охватывал физику, математику, инженерное дело, философию, историю, лингвистику. Уроженец Шибеника, он получил образование в университете в Падуе, жил в Риме и Венеции. Помимо лексикографического труда, Вранчич выпустил ряд ученых книг по логике и этике. В сочинении «Новые машины» (Венеция, 1595; 2-е издание ок. 1615 — 1616) автор на пяти языках описал 49 разных эскизов и проектов, в том числе свои изобретения. Среди них были проекты моста с гаванью, мельницы на приливе и отливе и, главное, парашюта, который изобретатель на практике испытал, прыгая с башен и утесов в Венгрии и Италии¹⁵.

Научные поиски интеллектуалов в Дубровнике и Далмации были необходимым звеном в процессе развития научных знаний у хорватов как важного условия исторического прогресса.

Характер и состояние хорватской художественной культуры в Дубровнике и Далмации определялись условиями жизни хорватов и влиянием общеевропейской культурной ситуации.

* В литературе XVII в. понятия «словинцы» или «словенцы» нередко означали население Хорватии, понятие «словинский (словенский) язык» относилось к хорватскому языку, но могло означать и «славянский язык». См.: *Hrvatski kajkavski pisci. I. Druga polovina 16. stoljeća*. Zagreb, 1977. S. 343.

В XVII в. развитие далматинско-дубровницкой литературы протекало под знаком постепенного угасания Возрождения с его просветленным духом и ощущением радости жизни и нарастанием барокко с присущей ему тревогой, надломом, утратой естественности, тягой к экспрессии. В переходное время общеевропейские черты, прежде всего итальянской литературы, сочетались с продолжением местной традиции — привычными темами, образами и лексикой. Новая же идейно-художественная тенденция имела особенности, проистекавшие из хорватских условий жизни.

В рассматриваемое время в далматинско-дубровницкой литературе было разноязычие. В творчестве многих авторов сохранял свои позиции чистый, блестящий латинский язык. На протяжении всего столетия поддерживалась также практика писания на итальянском языке. Это была языковая сфера научных трудов, исторических сочинений, писем, в то время как поэзия и театральные пьесы создавались на родном языке. Но уже с середины XVI в. в Дубровнике и Далмации начало преобладать творчество на штокавском и чакавском диалектах¹⁶. В этом отразилось понимание в городах общности с окружающим сельским миром.

На начальной стадии новые тенденции в литературе проявлялись в ощущениях перемен, настроениях непостоянства мира, нарастании религиозного и морально-дидактического сочинительства. Одновременно шли поиски обогащения лексики, усовершенствования ритмики, обновления рифмы и образов. Переходный характер литературной ситуации на закате Возрождения и подходе к барокко получил выражение в той или иной форме в творчестве значительных дубровницких поэтов рубежа XVI–XVII вв. Д. Ранины и Д. Златарича. Последний отличался высокой образованностью, был видным переводчиком Софокла («Электра»), Овидия («Пирам и Тизба»), Тассо¹⁷.

В поэзию, в свою очередь, проникали общеславянские мотивы. Этим было отмечено, в частности, творчество Ю. Бараковича (1548–1628), одного из последних поэтов Возрождения и провозвестника барокко в Далмации. Священник-глаголяш из Задара, он в своем главном сочинении «Славянская вила» (1613) прославлял родной город, защищал славян и их язык от «латынян». Его стихи были близки к мотивам народной эпической поэзии¹⁸.

Высшим достижением хорватской поэтической культуры позднего Средневековья и раннего Нового времени явилось творчество Ивана Франова Гундулича (Дубровник, 1589(?) — 1638). Потомок знатного рода, он рос в образованной семье. Всю жизнь Гундулич был связан с Дубровником, получил здесь образование, занимал административные должности, в 1634 г. стал сенатором, а в 1638 г. — членом Малого совета Республики. Гундулич был большим патриотом своего города.

Творчество Гундулича отразило движение дубровницкой литературы от художественных установок Возрождения к эстетике барокко. В моло-

дости поэт увлекался любовной лирикой и пасторалью. Он создал ряд пасторальных драм с античными мифологическими сюжетами — «Галатя», «Диана», «Ариадна» и др. Они были поставлены на дубровницкой сцене в вокальном и инструментальном сопровождении. В этой жанровой разновидности Гундулич не был оригинален, подражая итальянским образцам, прежде всего пасторали итальянского поэта Возрождения и барокко Торквато Тассо.

В 1620-е гг. идиллическое мировосприятие Гундулича сменилось религиозными настроениями. Он перевел псалмы («Покаянные псалмы царя Давида» — 1621), создал поэтические религиозно-дидактические сочинения «Слезы блудного сына» (Венеция, 1622), «Песнь о величии божьем». Они были проникнуты идеями аскетизма, согрешения и покаяния. Тогда же Гундулич написал патриотическую пастораль «Дубравка», которая была показана в Дубровнике в 1628 г. В ней на фоне социальных мотивов и прославления города поэт выразил чувства беспокойства и смутной тревоги. Это произведение стало философской прелюдией к главному произведению автора — эпической поэме «Осман» (1632–1637), в котором получило самое сильное выражение поэтическое творчество хорватов в XVII в.¹⁹

Замысел поэмы был навеян Гундуличу героической поэмой Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (издания 1580 г.), посвященной взятию города в 1099 г. войском Готфрида Бульонского. Импульсом к созданию монументального произведения послужило хорватскому поэту крупное военно-политическое событие — разгром турецких войск объединенными силами поляков и казаков под крепостью Хотинном летом 1621 г. Оно получило широкий резонанс в центре и на востоке Европы. Первоначальная религиозная установка Гундулича на изображение столкновения христианского и мусульманского миров, типичная для Европы после Тридентского собора, была ослаблена патриотическим антиосманским пафосом поэмы.

Эпос «Осман» имеет сложное идейное содержание. Но через всю поэму проходит излюбленный принцип философии барокко — принцип изменчивости и непостоянства мира, прихотливости судьбы. Важной мировоззренческой категорией была для Гундулича свобода. Поэт провозглашал:

Есть ли худшие невзгоды,
Хуже зла и смерти боле,
Чем остаться без свободы
И душою жить в неволе!²⁰

Многоплановой является сюжетная канва поэмы. Главной темой эпоса выступает трагическая судьба молодого султана Османа II. Она

имела историческую основу. Готовя поход в знак отмщения победителей в Хотинской битве, Осман пытался навести порядок в турецкой армии для восстановления военной и политической мощи государства. Однако его действия привели к бунту янычар и гибели султана. В широком историко-философском контексте поэмы смерть Османа представляется пророчеством краха самой Османской империи.

Поэма пронизана верой в неотвратимое падение султаната. Автор видит его предвестники в разложении турецкой армии, потери ею боеспособности, продажности военачальников, власти денег. Поэт раскрывает эти стороны жизни Стамбула в живописных картинах. Заключительные строки поэмы звучат как заклинание:

Но предвижу: сгинет к счастью
Твой закон, как наважденье,
И погибнет божьей властью
Злого дьявола ученье²¹.

Вторая идейно-тематическая линия книги также основана на историческом материале и связана с Польшей и королевичем Владиславом. Поэт с ментальностью господствующего в Дубровнике католицизма возлагает на католическую Польшу мессионистскую роль в деле сокрушения Османской империи и освобождения христианских народов от власти Турции.

Гундулич представляет реальную мощь Польши в ее многочисленной рати. Он называет участников Хотинской битвы прежде всего из городов и земель, входивших во времена автора в состав Речи Посполитой. Это отряды из Литвы, Ливонии, Украины, Полоцкой земли, Смоленщины, Подляшья, Замостья, Волыни, Мазовии, а также подольцев, белорусов. «Польская рать» усилена ротами из жителей прибалтийских земель, отрядами франков, немцев, казаков²². Польша была поставлена, не без преувеличения ее возможностей, во главу христианского мира как антиосманская твердыня. Главным позитивным героем поэмы является польский королевич Владислав, «Победитель сил Востока / Под защиту Север взявший». Гундулич изображает его как главнокомандующего «польской рати» под Хотином. Но в действительности он возглавлял половину войска, в то время как другой — командовал гетман Ходкевич. В довершение всего непосредственного участия в битве Владислав не принимал, так как был в тот момент тяжело болен²³.

Поэт воспевает Владислава, видя в нем олицетворение могущества и незыблемости христианства:

В нем, прославленном, таится
Мощь и сила христианства.

И далее:

Владислав обороняет
Христианство всей вселенной²⁴.

Автор пророчит ему «сто корон золотых» — престол воображаемой всехристианской державы.

Третья сюжетная линия поэмы находится в русле «вечных» мотивов человеческих судеб. Она раскрывается как через исторических персонажей, так и вымышленных лиц. Поэтическим вымыслом автора стали образы сильных женщин — девы-воина Крунославы в польском стане и воительницы Соколицы, возлюбленной Османа.

Богатство идейно-тематического содержания эпоса «Осман» названными сюжетными линиями не исчерпывается. Поэт воспекает в нем свой Дубровник, с его свободами, стабильностью и миром, выступает проповедником общественного долга и самопожертвования во имя любви.

Имеются в поэме и славянские мотивы. Говорится о тяжелом положении славян:

Там, меж пастью злой Дракона
И когтями Льва, без славы,
В рабстве чуждого закона
Все славянские державы²⁵.

В рабстве и все соседние народы: «Зло там процветает».

Интерес поэта к славянам прочитывается в образе Орфея — мифического героя, которого Гундулич считает болгаринном, — с его песнями о славных деяниях славян. Автор выражает страдания народа, описывая тяжкую участь вымышленной сербской девушки Сунчаницы, насильно взятой в султанский гарем. Однако по месту и значимости в написанных Гундуличем песнях славянская тема уступает объединительному всехристианскому пафосу эпоса.

Хотя антитурецкая тема звучала в далматинско-дубровницкой латинской поэзии еще в XV–XVI вв. (Шижгорич, Марулич, Ветранович)²⁶, в поэме «Осман» она получила трагический характер, сочетаясь с пониманием важности единения христиан перед лицом турок и верой в неизбежное крушение Османского государства. Написанная восьмисложным стихом поэма воплотила основные принципы барокко и особенности его проявления в хорватской литературе — проникновение в жизненные проблемы своей родины.

Гундулич обогатил жанр эпической поэмы соединением вымысла с описанием исторической действительности, придав эпике реалистические элементы. Яркое и выразительное отражение реальности достигается не в последнюю очередь благодаря привлечению народной поэзии и преданий. Поэму украшают образы античной мифологии и аллегорические картины. Широта эпического размаха, необычайная напряжен-

ность и страстность в изображении батальных сцен сочетаются в ней с выражением страданий угнетенного народа и непосредственных чувств героев. Поэма «Осман» — это симбиоз таланта, свободолюбия и чувства современности автора.

Гундулич работал над эпосом с 1622 г. и до кончины, но так и не завершил его. В нем по неизвестным причинам отсутствовали XIV и XV песни, и долгое время он оставался в рукописном виде. Дубровницкие власти, опасаясь осложнений в отношениях с Турцией ввиду антиосманской направленности поэмы, наложили запрет на ее издание. Тем не менее сочинение Гундулича пользовалось известностью в Дубровнике и за его пределами. Оно распространялось в рукописных копиях, которых насчитывалось до 80. Творение Гундулича оказалось востребованным в новую эпоху, с развитием хорватского освободительного движения. В 1826 г. поэма была напечатана в Дубровнике. А в 1844 г. она была издана в Загребе с дописанными талантливым поэтом Иваном Мажураничем XIV и XV песнями и составленным им же толковым словарем. При этом Мажуранич усилил в ней славянские мотивы, дописав о тяжелой участи славян и указав на причину их несчастий — межславянскую рознь. В таком виде эпос был воспринят современниками на славянском юге как мобилизационное послание, призыв к единению и сотрудничеству славян. В славянской тональности поэма вошла и в историю хорватской литературы. Имя Гундулича осталось в ряду наиболее выдающихся славянских поэтов прошлого.

В первой половине XVII в. видное место в культуре Дубровника занимала литературная деятельность Ивана-Дживо Бунича Вучича (1591–1658). Он принадлежал к известной нобильской семье, учился в родном городе, с молодости вел самостоятельный образ жизни. Бунич был крупным землевладельцем, при этом успешно занимался торговлей и отправлял высокие государственные должности. Он пять раз был на посту князя Республики, многократно избирался членом самых высоких республиканских органов.

Поэт испытал сильное влияние итальянской литературы барокко. Ему принадлежали сборник классических пасторалей «Пастушеские разговоры», небольшой сборник любовных стихов, получивший позднее название «Бездельничанье», и единственное напечатанное при жизни автора сочинение — поэма «Кающаяся Магдалина» (1630, 1638). Бунич был отчетливо выраженным лириком, с ясными образами, чувством музыкальности и блестящим языком. Его сборник «Бездельничанье», проникнутый наслаждением жизнью, стал образцом хорватской гармоничной барочной поэзии. В поэме, также отмеченной чертами барокко, поэт выражал любовные переживания, обращенные к небесам, но без религиозной экзальтации. Той же эстетике следовал он и в религиозных стихах, отстоявших от средневековой аскетической морали. Бунич оказал большое влияние на последующих поэтов²⁷.

В Дубровнике с его сценической традицией прославился на ниве драматургии Юние Палмотич (1607–1657). Нобиль по происхождению, он уже в 20 лет заседал в Большом совете — главном государственном органе Республики, всю жизнь отправлял различные выборные должности, был князем в местности Конавле и на острове Ластово.

Палмотич ранние стихи писал на латыни, но затем перешел на родной язык. Он был плодовитым драматургом, создал 15 мелодрам в стихотворной форме, черпая материал для них из мифологии и сочинений античных и итальянских писателей. Дубровницкий автор переносил действие на родную почву, вводил некоторые исторические лица и образы из народной поэзии. Наиболее оригинальной и известной была его драма «Павлимир» (1632), основанная на «Летописи попа Дуклянина» и старой дубровницкой легенде. Это была патриотическая пьеса об основании Дубровника. В 1632 г. она была поставлена на сцене в день Св. Влаха (3 февраля), небесного покровителя города.

Палмотич выражал в своих сочинениях преданность вере и почитание христианской морали, наполнял их любовью к свободе и родному городу, проявлял воодушевление «славянством». Он сплетал в мелодрамах разные темы и мотивы, строил их в соответствии с поэтикой барочного театра, наполненного игрой, музыкой и сценическими эффектами. Популярный в свое время писатель Палмотич сыграл важную роль в развитии дубровницкого театра, поставляя в течение 20 лет любительским труппам драмы на родном языке²⁸.

Последним крупным представителем барочной литературы Дубровника был Игнат Джурджевич (Дубровник, 1675–1737). Он происходил из нобилей, получил образование в родном городе, занимал различные должности в Республике. При посещении Рима он вступил в орден иезуитов, однако позднее покинул его. Вернувшись в Дубровник, Джурджевич примкнул к бенедиктинцам. Но вошел в конфликт с Сенатом и некоторое время жил в бенедиктинском монастыре в Италии. Свой жизненный путь дубровчанин закончил на родине.

Джурджевич писал на родном и латинском языках. Природная катастрофа и войны ушли в прошлое, дубровчане наслаждались мирным временем. Лирические стихи Джурджевича были полны ощущения гармонии, удовольствия от общения с природой. Ему принадлежала барочная поэма «Вздохи кающейся Магдалины», проникнутая больше чувством, нежели мистицизмом. Джурджевич выступал также как прозаик, занимался историей и историей литературы²⁹. Его творчество связало дубровницкую литературу XVII и XVIII вв.

Постепенное и неудержимое ослабление Венеции, связанное главным образом с перемещением основных морских путей из Средиземноморья в Атлантику в результате Великих географических открытий,

сказывалось и на ее периферийных владениях на северном побережье Адриатики. Далматинские города-коммуны, не в последнюю очередь из-за давящей торговой политики Венеции, а также под влиянием турецких завоеваний, утрачивали свое торговое значение, теряли богатство и блеск. Это получало выражение в том числе в сокращении объема и падении качества художественной деятельности в городах, в уменьшении заказов в местных мастерских. Состоятельные горожане все более удовлетворяли свои эстетические потребности венецианскими изделиями или прибегали к услугам иностранцев.

Далматинско-дубровницкая литература была тесно связана с театром. В городах северной Адриатики, как вообще в средневековой Европе, издавна разыгрывались религиозные мистерии, на городских площадях давали представления бродячие актеры, использовавшие гротеск, пантомиму, карнавальные маски. В период Возрождения в приморских городах появился светский любительский театр на литературной основе.

Зрелищная жизнь была наиболее живой в Дубровнике, где любовь к театру передавалась от поколения к поколению. Театральные представления давались обычно на Масленицу. Наиболее массовым местом постановок в городе была площадь перед Княжевым двором («Прид двором»), где собиралось наибольшее число зрителей разных сословий и достатка (именно здесь была показана «Дубравка»). До 1554 г. представления устраивались также в вечнице Княжевого двора — в зале заседаний Большого совета Республики, пышно украшенном золотом и лазурью, с роскошными сидениями. Это было место собрания нобилей, но на театральные представления допускались и простолюдины, насколько позволяли размеры зала. Наконец, спектакли проходили во время пиров, которые нобили устраивали в своих городских домах и загородных дворцах. Представления давали любительские труппы, состоявшие из молодых горожан.

На смену возрожденческой комедии XVI в. на сцене утвердилась мелодрама с музыкой, песнями и танцами, похожая на оперу. Дубровницкий театр в рассматриваемое время имел в творчестве Гундулича и Палмотича талантливую хорватскую драматургическую основу. В драмах Палмотича большое место занимали «чудеса», призванные удивить и поразить зрителей. Это был излюбленный прием в театре барокко. Видимо, использовалась при этом и техника. «Павлимир» был показан на сцене 1632 раза. Вместе с тем театр заполняли переводы, переработки, компиляции сочинений античной и итальянской литературы, сделанные безликими местными драматургами.

После землетрясения на полтора десятка лет дубровницкий театр замер. Когда же в 1682 г. группа молодых нобилей возобновила сценическую деятельность, в театр вернулась комедия. Но это были художе-

ственно слабые переработки пьес более раннего времени или переводные произведения с итальянского языка³⁰.

Предположительно в 1681 г. в Дубровнике был открыт театр в арсенале, названном Орсан. На его сцене выступали разные местные труппы, а в XVIII в. и итальянские. На острове Хваре в 1612 г. возобновились театральные представления, прекращенные в 1571 г., в надстройке обновленного арсенала. Здесь разыгрывались трагедии, комедии, мелодрамы и пасторали. В самом конце XVII в. театральное помещение появилось и в Задаре. Постоянная сцена в закрытом обустроенном зале расширила возможности театрального зрелища.

В XVII в. в изобразительном искусстве Далмации не было крупных живописцев. Талантливый художник Федерико Бенкович, родившийся в 1677 г., вероятно, в Далмации, получил образование в Венеции и Болонье. Он прожил жизнь в Венеции, Вене и Горице, где и умер в 1753 г. Бенкович обогатил своим творчеством европейскую культуру.

Местные мастера, как и работавшие в Далмации венецианские художники, исходили из венецианского опыта и не оставили оригинальных, заслуживающих внимания произведений. К этому времени угасла и самостоятельная дубровницкая школа живописи, давшая когда-то высокие образцы искусства Возрождения. Одинокие местные художники работали изолированно, больше копировали иностранных, в основном итальянских, живописцев, и их картины общего самостоятельного направления не составляли.

Далмация, земля каменоломен, славившаяся ранее своими скульпторами и каменотесами, не дала в этом веке ни одного талантливого барочного мастера.

В стиле раннего барокко развивалась музыкальная культура хорватов, испытывавшая сильное итальянское влияние. Дубровник был ее центром. Одним из главных ее направлений была церковная музыка. В город постоянно прибывали органисты из Флоренции, Любляны, Загребя. Это были профессионалы, передававшие свое мастерство ученикам. Профессиональными музыкантами были княжеские служащие, игравшие в оркестре. Заметное место занимала в Дубровнике театральная музыка. Спектакли непременно проходили в сопровождении инструментальной музыки и пения.

Другим важным местом духовной и светской музыки был Сплит. Здесь при кафедральном соборе трудился композитор Иван Лукачич родом из Шибеника (ок. 1584 — 1648). В вокальных многоголосных произведениях он обогатил музыкальные традиции новыми тенденциями. В Сплите же Юрай Алберти создал первую в Далмации справочную книгу по теории музыки. Музыкальная культура была сосредоточена также на Хваре. Здесь музыкой были насыщены церковные мистерии³¹.

В XVII в. строительная деятельность в Далмации протекала еще под знаком турецкой опасности. Поэтому возводились новые укрепления, обновлялись существующие фортификационные системы (Задар, Сплит, Клис). На строительстве были заняты главным образом иностранные мастера, использовавшие венецианский строительный опыт, но привлекались также и местные умельцы.

Церковная и светская репрезентативная архитектура в Далмации имела богатую традицию Возрождения, которая своими насыщенностью и качеством оставалась живым образцом для заказчиков и исполнителей. Поэтому новые барочные приемы, приносимые иностранными строителями, утверждались в местной архитектуре медленно. При этом пришлые мастера нередко копировали венецианские памятники. Так, в разных местах на территории от Ровиня (Истрия) до далматинского города Макарска варьировались колокольни, повторяющие характерные черты колокольни собора Св. Марка в Венеции.

Серьезной причиной художественной слабости местных строителей и каменотесов была ограниченность задач, которые они решали. На их долю приходилось, как правило, заказы на сооружение скромных объектов в маленьких городках и селах. В этих условиях местные мастерские ограничивались внешними элементами нового стиля — орнаментально-декоративными деталями на зданиях, которые по своей пространственной концепции продолжали строительную традицию прошлых веков (например, приходская церковь в Омише).

Тем не менее отдельные хорватские мастера создавали церковные здания высокого строительного искусства. Таким сооружением был кафедральный собор на Хваре (конец XVI — начало XVII в.). Его архитектура представляла органический синтез форм Возрождения и раннего барокко с присутствием в колокольне элементов и более ранних веков. Высокий уровень художественности показывала также колокольня церкви Св. Креста в Сплите.

Проникновение стиля барокко в архитектуру жилых домов в Далмации в условиях обеднения городов протекало на фоне сохранения традиций позднего Возрождения и готики (дворцы Cindro, Milesi в Сплите). Барокко выражалось в отдельных декоративных украшениях (окна, балконы, порталы), подчеркивающих центральную ось, в то время как сами концепции пространства были подчинены скромной функции или представляли варианты более раннего типа зданий.

В Дубровнике после катастрофы 1667 г. развернулось широкое строительство. Потребность быстрого восстановления главной городской улицы (Страдума) привела, правда, к тому, что были построены типовые скромные здания. Зато в последние десятилетия XVII в. в городе началось строительство трех церквей в стиле высокого и позднего римского барокко³².

Загадкой истории хорватской культуры в Далмации была ситуация, при которой материальный достаток городов-коммун, высокая образованность их интеллектуальной элиты, блестящее Возрождение уживались с отсутствием в провинции общедоступных школ. Только на Хваре действовала городская школа. На пути развития среднего образования в Далмации стояла Венеция. Даже в XVIII в. власти Республики Св. Марка отказывались дать разрешение на создание среднего учебного заведения в провинции, например в Сплите. Деятельность церкви на уровне образования, в свою очередь, не оставила заметного следа.

В Дубровнике существовала латинская школа. В 1557 г. был составлен школьный статут. Городские власти регулярно приглашали для работы в школе преподавателей из Италии. Но в связи с землетрясением она прекратила существование. В 1684 г. иезуиты открыли в Дубровнике коллегию, которая имела три разряда и трех преподавателей.

Ввиду социальных условий, но также из-за отсутствия школьного образования в Далмации лишь немногие молодые хорваты из богатых семей могли учиться в университетах Италии, в иезуитских коллегиях Рима, Болоньи и Лоретты. Дубровницкие власти иногда выделяли для этого стипендии.

Еще в XVI в. в период расцвета духовной жизни в Дубровнике и Далмации у местных интеллектуалов появилась тяга к творческому общению, обмену опытом, взглядами. Эта тенденция получила выражение в образовании академий — обществ писателей и ученых с целью развития литературы и науки. Внимание их членов сосредоточивалось на гуманитарных знаниях, в то время как естественно-научные вопросы оставались вне поля зрения.

Со второй половины XVI в. в Дубровнике действовало общество интеллектуалов «Академия согласных». Оно было создано по образцу итальянских академий. Здесь встречались представители образованной элиты, в том числе поэт Д. Раньина, ученый Н. Гучетич, писавший на итальянском языке в духе Платона философские работы. По всей видимости, участники академии обсуждали и комментировали создававшиеся ими сочинения.

Около 1695 г. дубровницкие интеллектуалы объединились в «Академию праздных» по примеру римской академии «Аркадия». Задачами этого общества были подготовка латинско-хорватско-итальянского словаря, чтение поэтических сочинений, обсуждение вопросов культуры. В него входило большое число образованных дубровчан, особенно нобилей и священников. Действовали академии также в Задаре. Так удовлетворялась потребность в общественной оценке творчества³³.

Хорватские интеллектуалы участвовали также в работе итальянских обществ, объединений соотечественников за границей. И. Лучич был

членом и некоторое время председателем хорватского общества интеллектуалов в Риме, названного в честь Св. Иеронима.

Хорватская культура в городах-коммунах Далмации и Дубровнике испытывала мощное энергетическое излучение, исходившее от более высокой итальянской культуры. Это способствовало синхронному развитию хорватской культуры с итальянской, хотя итальянский опыт и авторитет не могли не подавлять в какой-то мере более слабые творческие потенции хорватов. В XVII в. хорватская культура в этом регионе поднялась на новый уровень, обогащая своей оригинальностью и неповторимостью общеевропейский культурный фонд.

В других условиях развивалась и с иными задачами сталкивалась культура хорватов на севере. Главным обстоятельством было то, что эта часть народа не имела за плечами блестящего и жизнерадостного Возрождения.

В XVII в. в произведениях письменности, имевших общественное значение, использовались в Хорватии латинский, венгерский и родной языки, последний в разных вариантах.

В отличие от предыдущего столетия с его единичными кайкавскими сочинениями значительно вырос в Хорватии фонд кайкавской письменности, как в количественном отношении, так и по жанровому составу. Он включал многочисленные церковные и полуцерковные издания — обрядовые, проповеднические, морализаторские; духовную рукописную и печатную поэзию, представлявшую в основном перевод или переработку венгерских, латинских и немецких оригиналов; единичные светские стихотворения в пестрых по составу рукописных сборниках; научные сочинения и разного рода документы. На кайкавском диалекте имелись рукописные переводы европейской средневековой беллетристики. Создателями произведений кайкавской литературы в ее широком значении были в основном духовные лица (иезуиты, францисканцы и не принадлежавшие к орденам католические священники), но также отдельные аристократы, дворяне и горожане. Она и функционировала в соответствующих кругах³⁴.

В кайкавской среде была неоднозначная литературно-языковая ситуация. Одни авторы писали на родном диалекте. Другие образованные хорваты, не только представители католической церкви с ее интеграционными тенденциями, сознательно или несознательно, ощущая потребность выйти за узкие рамки кайкавской Хорватии, сделать свои сочинения понятными в соседних краях, но также из-за недостаточной развитости кайкавщины, дополняли родной диалект чакавскими и штокавскими языковыми элементами («озальский круг»). Распространенным приемом было «нанизывание» синонимов, родственных слов³⁵.

Частью литературно-языковой ситуации было появление в Хорватии лексикографических работ. Это стало ответом на потребность обра-

зованной части общества в познании родного языка и упорядочении его функционирования в литературе. Начало им положил Юрай Габделич (1609–1678). Он родился в дворянской семье в Турополе, посещал иезуитскую гимназию в Загребе. Габделич продолжил образование в Вене, затем в Граце, слушая в местном университете философию, наконец, в Трнаве, где изучал теологию. В дальнейшем он получил звание доктора философии. Габделич стал иезуитом, преподавал в гимназиях ордена в Риеке, Вараждине и Загребе, был ректором иезуитских коллегий в Вараждине и Загребе, занимал разные церковные должности. Он выступил одним из инициаторов основания в Загребе университета. Габделич пользовался большим уважением и влиянием у современников. В связи с его смертью все колокола в Загребе звонили два дня в знак траура³⁶.

Габделич издал хорватско-латинский словарь, в котором было собрано 12 000 кайкавских слов с латинским переводом (Грац, 1670). Эта книга употреблялась в Хорватии в качестве учебника в XVII–XVIII вв. Габделичу принадлежали также книги морально-поучительного содержания, написанные на кайкавском диалекте («Первый отца нашего Адама грех» — 1674 г. и др.). В них получили отражение многие стороны жизни хорватов.

Лексикографическую работу продолжил в Хорватии Белостенец, принадлежавший к литературному кругу Петара Зринского.

Иван Белостенец (1594? — Лепоглава, 1675) родился в кайкавской среде, вероятно, в Вараждине или его округе. Он получил образование в церковных заведениях в Вене и Риме. Белостенец, рано связавший свою жизнь с паулиным орденом, был настоятелем его монастырей в Лепоглаве, Светици близ Озалья и Св. Елены у Чаковаца. По делам церкви он неоднократно посещал Истрию и жил некоторое время там, бывал на адриатических островах и в Винодоле. Активный деятель церкви, Белостенец был знаком с жизнью населения разных хорватских краев.

На практике Белостенец мог убедиться, что кайкавский, штокавский и чакавский диалекты представляют один и тот же язык. В своих сочинениях — проповедях, изданных в Граце в 1672 г., и, главное, в латинско-хорватском и хорватско-латинском словаре он предпринял попытку соединить на кайкавской основе словарный состав этих диалектов путем использования синонимов. Для преодоления наиболее значительных фонетических различий между диалектами автор ввел особые графические знаки³⁷.

Большой словарь увидел свет лишь после смерти Белостенца в 1740 г. Его подготовили к печати члены паулинского ордена Й. Орлович и А. Муляр³⁸. Словарь употреблялся в школах, оказал влияние на лексику кайкавской литературы и дальнейшие лексикографические труды.

Лингвистические работы были в русле развития научных знаний. Вместе с тем в них отражалось состояние общественной мысли у кай-

кавских хорватов — ощущение родственности кайкавского, штокавского и чакавского диалектов. И это в условиях невостребованности тогда в Хорватии далматинско-дубровницкой литературы. Схожие мысли проникли и в область исторических знаний.

В рассматриваемое время в Хорватии ее представлял прежде всего Юрай Раткай (Раткаи, Раткай) (Велики Табор, 1612; Загреб, 1666). Его родиной было Хорватское загорье, колыбель кайкавщины. Он происходил из аристократической фамилии, вышедшей из Венгрии, находился в дальних родственных связях со Зринскими и Франкопанами. Раткай получил образование в Граце и Вене. В 28 лет он стал загребским каноником, занимал разные церковные должности, в качестве хорватского делегата участвовал в работе Венгерского государственного собрания, работавшего в Прессбурге (хорватский Пожун, словацкая Братислава). Раткай был талантливым оратором. Одно время он состоял в иезуитском ордене, но вскоре вышел из него. Незаурядная личность, он был участником военных действий против турок, а также сражений в Тридцатилетней войне, в которой были задействованы Габсбурги.

Раткай выступил автором первого крупного систематизированного сочинения по хорватской истории. В 1652 г. в Вене вышла на латинском языке его шеститомная «История королей и банов королевств Далмации, Хорватии и Славонии» (второе издание — 1772 г.). В самом названии этого труда была заложена мысль о нерасторжимости в прошлом названных земель.

Хорватский автор придерживался позиции автохтонности славян в Юго-Восточной Европе. Он рассматривал близкую ему Крапину как родину легендарных братьев Чеха, Леха и Руса, положивших начало, согласно преданию, чешскому, польскому и русскому государствам. Труд был проникнут неприязнью к немцам и протестантизму. Историческую канву XVI–XVII вв. Раткай восстановил на основе архивных документов, а также личных впечатлений о событиях, современником и участником которых он был. Это придало неповторимость и живость сочинению автора — воина и церковника.

«История» Раткая вошла в историю исторической науки, помимо прочего, как первое печатное выражение славянской идеи в континентальной Хорватии с упором на нее как прародину славян. Этот вариант славянской идеи получил среди мыслителей в Хорватии большой резонанс.

Раткаю принадлежал также перевод с латинского языка на кайкавский диалект с примесью штокавских и чакавских языковых элементов сочинения австрийского иезуита В.Г. Ламормена, исповедника Фердинанда II, «Добродетели Фердинанда II» (Вена, 1640). Это сочинение Раткая способствовало развитию кайкавского литературного языка³⁹.

В XVII в. в Хорватии на фоне преимущественно религиозной литературы появились крупные светские писательские имена и значительные художественные сочинения. Писателями светского направления выступили Никола и Петар Зринские и Фран Крсто Франкопан.

Братья Зринские выросли в атмосфере итальянской культуры. Библиотека родного дома располагала множеством книг на латинском и итальянском языках. Среди них были и сочинения далматинских и дубровницких писателей. По завершении образования для расширения знаний молодые аристократы путешествовали по Италии. Они были захвачены итальянской литературой, архитектурой, изобразительным искусством. Поэтому неудивительно, что на их творчество наложила печать итальянская культура.

В 1657 г. Никола Зринский издал в Вене на венгерском языке эпическую поэму «Сирена Адрианского моря». В основу ее сюжета была положена история героической обороны крепости Сигет от турок. Создавая эпос, автор опирался на поэтическое сочинение Брне Карнарутича «Взятие города Сигета» (Венеция, 1584), венгерские хроники, народную песню. Карнарутич, патриций из Задара, предположительно участник венецианской борьбы против турок, переложил на родной язык стихотворным образом венгерскую хронику, составленную очевидцем битвы. В эпической поэме, посвященной графу Юраю Зринскому, сыну Николы Зринского Сигетского, прославлялись подвиги героя Сигета. Автору «Сирены» принадлежали также прозаические сочинения «Не трогай венгров», «Храбрый витязь».

Никола Зринский стремился вдохновить современников описанием героических действий предков на борьбу против турок. В одном из частных писем, отвечая, видимо, на упреки в выборе для поэмы венгерского языка, он подчеркивал свою принадлежность к хорватам⁴⁰.

В 1660 г. Петар Зринский перевел поэму брата на родной язык. Изданная в Венеции, она получила известность под названием «Падение Сигета». Он придал эпосу патристический хорватский характер и анти-немецкий мотив. Язык перевода представлял в основе чакавскую традицию, вобравшую в себя элементы штокавского и чакавского диалектов. В составе поэмы было несколько небольших лирических и религиозных песен. Хорватский вариант поэмы отразил приобщение светской литературы в северной Хорватии к барокко⁴¹.

Род Франкопанов происходил из Приморья. И Фран часто бывал в Италии. Он находился в родственных связях со Зринскими — его сестра Катарина была замужем за Петаром. Это была одна культурная среда.

Франкопан рано начал заниматься литературным творчеством. Подражая Вергилию и Овидию, он создал на латинском языке стихотворение «Элегия». За свой короткий век Фран написал на родном языке ряд

любовных и религиозных поэтических сочинений, в том числе в духе народной поэзии десятистопным стихом. Он первый в Хорватии начал переводить произведения современной ему западной художественной литературы. Франкопан сделал перевод комедии Мольера «Жорж Данден». Поэтическим творчеством на кайкавском диалекте занималась также его жена Ана Катарина Франкопан-Зринская. Ее перу принадлежали несколько религиозных стихотворений. Но сочинения Франкопана были открыты лишь во второй половине XIX в.⁴² Творчество писателя не оказало влияния на литературный процесс, но отразило направление его развития.

Оригинальным мыслителем, писателем-публицистом и историком был Юрай Крижанич (ок. 1618 — 1683). Это была во многом загадочная личность со сложной судьбой. По происхождению он принадлежал к мелкому дворянству. Его родина находилась в междуречье между Купой и Уной, в районе Бихача. По завершении иезуитской гимназии в Любляне молодой Крижанич прошел курс философии в Граце, затем изучал теологию в Болонье и Риме. Он владел шестью языками. В круг его интересов входили философия, богословие, история, экономика, эстетика, музыка.

В 1642 г. Крижанич вернулся в Хорватию доктором теологии. Он получил место священника в Неделишче, затем в Вараждине и сочетал церковную службу с литературным трудом. В 1646 г. Крижанич был направлен в распоряжение униатского епископа в Смоленск, который в то время входил в состав Польши. В следующем году хорватский священник в качестве члена польского посольства в первый раз посетил Москву. В поле его зрения были славянство (видимо, под влиянием польской литературы о славянской истории), Россия и уния⁴³.

В последующие годы Крижанич посетил в качестве секретаря венского посольства Стамбул, долгое время жил в Риме, занимаясь разнообразной культурной деятельностью. В 1658 г. он, вопреки запрещению папы римского, вторично отправился в Россию⁴⁴.

Крижанич прибыл в Москву в середине 1659 г. под именем «сербянина» Юрия Билиша, сына Иванова. Утаив свой духовный сан, он получил при дворе место государева служащего. Но в 1661 г. по неясным причинам, скорее всего из-за своего пристрастия к унии, Крижанич был отправлен в ссылку в Сибирь⁴⁵.

15 лет хорватский мыслитель провел в Тобольске, отдаленном, но крупном административном и торговом городе Сибири, посвятив себя литературному труду. Здесь он написал свои главные сочинения. Это были прежде всего лингвистические работы о славянской орфографии (1661) и грамматике «русского» языка (1666). Обуянный мечтой о культурном объединении славян, Крижанич разработал принципы реформирования орфографии, во многом предвосхитив реформу кириллицы, проведен-

ную в XIX в. применительно к сербскому языку выдающимся сербским ученым Вуком Караджичем, а также сформулировал нормы стандартного языка для всех славян. Автор назвал этот смешанный язык «русским», но в действительности он имел русскую и хорватскую речевую основу⁴⁶. Крижанич применил его в своем главном политическом труде «Разговоры о правлении», над которым работал с 1663 г. Он вошел в историю под названием «Политика».

Это было обширное собрание различных текстов. Крижанич наиболее полно выразил в «Политике» свои взгляды на Россию XVII в. В своем понимании политической ситуации в Русском государстве и направления необходимых, с его точки зрения, преобразований хорватский автор не вышел за рамки средневековых порядков. Он выступал за сословный строй, не замечая при этом крепостного права, за абсолютную монархию, правда, в сочетании с благими законами, видел в ней гарантию равновесия и мира в сословном государстве. Писатель, критикуя «чужебесие» (преклонение перед чужестранцами), был сторонником полной хозяйственной самостоятельности России. Он призывал к устраниению порядков, при которых немецкие торговцы занимали привилегированное положение на внутреннем и внешнем рынках России. В усилении ее государственной мощи Крижанич видел главный фактор будущности славянского мира. Хорватский мыслитель считал задачей московских государей помощь славянам в деле их освобождения от власти Турции и Австрии и достижения самостоятельности⁴⁷.

Излюбленной идеей Крижанича, которую он пронес через всю свою жизнь, была идея объединения разрозненных славянских народов в религиозном отношении и на основе единого литературного языка. До конца своих дней он сохранял убежденность в нераздельности католицизма и славянства. В трактатах на религиозную тему, написанных в том числе и в ссылке, он доказывал преимущества католицизма перед православием. Однако в зрелые годы хорватский мыслитель думал о примирении христианских религий в такой форме, чтобы не было подчинения одного другому⁴⁸.

С переменной на московском престоле Крижанич в 1676 г. был возвращен из ссылки, а через два года навсегда покинул Россию. Он оказался в Польше, где вступил в орден доминиканцев. Здесь была написана им «История Сибири». Писатель мечтал о Риме, но возвращение сюда ему было запрещено. Тогда Крижанич присоединился к войску польского короля Яна Собеского, направлявшемуся на помощь осажденной турками австрийской столице. В 1683 г. Крижанич погиб под Веной⁴⁹.

В течение двух веков имя хорватского мыслителя и писателя оставалось в забвении. Но в середине XIX в. русский славист П. А. Бессонов предпринял издание некоторых его сочинений, а затем и хорватский ис-

торик, писатель, общественно-политический деятель Ив. Кукулевич-Сакцинский напомнил соотечественникам о хорватском авторе. С тех пор жизнь и творчество Крижанича привлекали и привлекают внимание как русской, так и национальной науки⁵⁰. Это объясняется прежде всего непреходящей значимостью «славянской идеи». Творчество Крижанича по-разному воспринималось в научной среде, и его оценки имели амплитуду от панегириков до разоблачений. Но так или иначе хорватский автор по широте своих взглядов, актуальности поставленных им вопросов российской и славянской жизни, поискам их решения занял видное место в истории хорватской общественно-политической мысли.

Хорватская литература в Далмации, Дубровнике и Хорватии при всех местных особенностях имела единый вектор развития — барокко. Этот стиль, охвативший период с начала XVII в. до середины следующего столетия, характеризовался в литературе южных и северных краев хорватских земель общими чертами. В идейно-тематическом и жанровом отношении в хорватской литературе значительное место занимал прежде всего эпос с современным и историческим патриотическим содержанием. Этой литературе была свойственна также поэма, стихотворное лирико-эпическое сочинение, связанное с историческим событием или мифологией. Пользовалась популярностью религиозная поэма, особенно посвященная святым грешницам. Драматургия, в первую очередь мелодрама, также опиралась на хорватскую историю или мифологию. Барокко получило выражение и в лирической поэзии, и в прозе⁵¹.

Новым явлением литературного процесса были наметившиеся поиски преодоления плюрализма диалектов и выработки общего литературного языка хорватов (и вообще южных славян).

Изобразительное искусство в Хорватии носило преимущественно церковный характер. Церковь выступала главным заказчиком художественных произведений. Близость Австрии определяла их эталоны, как и исполнителей. Это были главным образом пришлые мастера, в основном немцы и словенцы, хорошие профессионалы, работавшие в духе современной им австрийской барочной живописи.

Среди местных художников выделялся неординарный живописец Бернардо Бобич (умер между 1694–1699 гг.), живший в Капитуле. Его кисти принадлежали алтарные картины в иезуитской церкви Св. Катарины в Загребе, цикл алтарных образов, посвященных королю Ладиславу, в загребском кафедральном соборе. Его работы отразили бароккизацию хорватской церковной живописи. Для них была характерна диагональная композиция, игра света и тени на переднем плане, взволнованная тональность, подчеркнутая жестикация фигур и живая мимика лиц, экспрессивная цветовая гамма. Слабостью картин Бобича была неточность в анатомии и перспективе. Вместе с тем в живописи Бобича имелся реалистический компонент,

который проявлялся, в частности, в политическом подтексте. На картине, изображающей хорватских аристократов перед королем Ладиславом и королевой Еленой, персонажи облачены в одежды XVII в., хорват в поклоне королю держит в руках гербы Хорватии, Славонии и Далмации. Не трудно уловить в этом мысль о целостности и нерасторжимости хорватской территории. Бобич обращался также к светским портретам.

Музыкальная активность в Хорватии также проявлялась главным образом внутри католической церкви, орденов. Иезуитская гимназия в Загребе очень рано стала центром музыкального образования. В 1632 г. на освящение церкви Св. Катарины были приглашены из Целоваца семь музыкантов. Так было положено начало постоянному оркестру с певцами при этой церкви⁵². В церковной музыке обрядовые песни на латинском языке сочетались с хорватскими песнопениями. В середине XVII в. началось издание религиозных песенников и музыкальных сборников. Ставший особенно известным большой сборник «Cithara octochorda» («Восьмиструнная цитара». Вена, 1701) содержал латинские и кайкавские церковные песни, мелодии которых были записаны нотами. Наряду с традиционной обрядовой музыкой в нем чувствовалось дыхание народных напевов⁵³.

В Хорватии с ослаблением натиска турок и умиротворением на хорватско-боснийской границе развернулась большая строительная деятельность. Ввиду многовекового разрушения старых церквей и невозможности возведения новых из-за военной обстановки, а также частых пожаров средневековые здания нуждались в обновлении или перестройке, была потребность в новых церквях. В Хорватии обосновались католические ордена иезуитов, францисканцев, капуцинов, паулинов, кларисс. Все они обустроивались с помощью сабора, аристократии, дворян.

В рассматриваемое время епископы требовали восстановления старых и строительства новых церковных зданий в устоявшейся архитектурной стилистике. В 1642 г. был сконструирован новый свод в ризнице загребского кафедрального собора в типичных формах поздней готики. В 1676 г. был создан в готическом стиле свод церкви в Лепоглаве. Готическая интерпретация распятия получила свое продолжение через Возрождение и в барокко (тип «больного Христа»).

Вместе с тем в церковную архитектуру неумолимо проникали черты раннего барокко средневропейского типа. Этот процесс облегчался ввиду слабости и обветшалости позднеготической традиции. Распространению нового стиля способствовала деятельность иностранных мастеров, которые охотно привлекались к строительным работам, поскольку навыки художественных решений в архитектуре у местных строителей не отвечали новым потребностям и заказам. Среди пришлых мастеров были лица, которые довольствовались единичными заказами, но были и специалисты, которые задерживались в Хорватии на многие годы и да-

же заканчивали здесь свой жизненный путь. Они естественно входили в культурную среду этой земли.

Просторные каменные комплексы монастырей характеризовались простотой, они были закрытыми, с аркадами во внутреннем дворе (монастырь кларисс в Загребе) или с функциональным рядом окон на фасаде (иезуитский монастырь в Градце).

В 1620–1631 гг. иезуиты реставрировали в Загребе церковь Св. Катарини по типу распространенного в Европе церковного здания с одним продольным нефом и боковыми часовнями. Страшные городские пожары 1645 и 1674 гг. уничтожили все, что могло гореть в этой церкви и вокруг нее, но она всякий раз возрождалась под знаком крепнувшего барокко. По тому же типу были построены иезуитская церковь Св. Марии в Вараждине (1642–1646) и францисканские церкви в Загребе и Вараждине. В 1669 г. в последнем городе была сооружена нарядная церковь Св. Флориана, в 1691 г. — паулинская церковь в стиле барокко. Вараждин играл временами роль административно-политического центра Хорватии. В нем располагалось немецкое командование северной части Военной Границы. И он выделялся среди городов Хорватии по числу и архитектурной декоративности зданий в стиле барокко.

Иезуиты возводили и свои школьные строения с учетом новых веяний. Солидное для старого Градца здание конвикта было украшено с уличной стороны открытыми аркадами. Трехэтажный дом конвикта в Вараждине стал самой заметной постройкой раннего барокко в городе.

Барочные элементы появились на кафедральном соборе в Загребе. После пожара в 1624 г. каменотес К. Мюллер, воздвигая новый портал, исполнил его основную композицию по старому образцу, но скульптуры на нем выполнил в стиле барокко. Четверть века работал в Загребе немецкий мастер Иван Албертал (ок. 1630 — 1655), который воздвиг колокольню с характерными мотивами барокко и придал новый вид кафедральному собору. После пожара 1674 г. при очередном восстановлении собора на его колокольне были сооружены большие часы.

Повсеместно в Хорватии и вне городов строились скромные церкви с декоративными элементами барокко, в том числе деревянные на селе. В архитектуре церковных зданий напряжение занесенных ввысь остроконечных готических конструкций постепенно сменяли мягкие полукружия сводов или куполов.

Заметные изменения происходили в церковном интерьере. Кроме деревянной скульптуры — статуй святых, алтари и кафедры проповедников стали украшаться резьбой по дереву. В обновленной францисканской церкви в Вараждине находилась одна из самых красивых проповеднических кафедр в Хорватии (1670). Богато украшенная резьбой по дереву в сочетании с мрамором, она являла собой типичные стилевые

черты барокко. В 1696 г. в кафедральном загребском соборе была возведена большая мраморная проповедническая кафедра работы люблянского мастера М. Кусы. С этого времени и жертвенники стали создавать из мрамора. Нарядность церковному интерьеру придавали живопись и обстановка. Он становился частью целостной архитектурной концепции.

Светское строительство в Хорватии решало прежде всего задачи обороны. Возводились фортификационные сооружения. На Военной Границе в 1579 г. была заложена крепость Карловац, важный стратегический пункт на реке Купе, позднее основана Костайница. Во владениях аристократов вне городов возводились новые дворцы. Они представляли собой преимущественно закрытые композиции по типу «замков», иногда с угловыми башнями (Кралевица — «старый замок» Франкопанов). Прилив в Хорватию из соседних земель Австрийской монархии, из находившейся под властью Турции Славонии, с Балкан ремесленников и торговцев, некоторое обогащение горожан, переселение отдельных аристократов и дворян в города, особенно в Загреб и Вараждин, — все это способствовало оживлению жилого строительства в городах. Построенный в конце XVII в. в Градце дом Адама Зринского представлял собой просторное здание с рядом окон, но в архитектурном отношении был простым. Дома дворян и горожан, как правило, оставались скромными деревянными строениями. Но постепенно их заменяли каменные небольшие постройки с барочными чертами. Часто они формировали стройные композиции в центре городов (Загреб, Вараждин, Карловац, Крижевци и др.)⁵⁴.

В целом архитектура Хорватии XVII в. характеризовалась освоением барокко при живучести еще позднеготических форм. Она относилась к среднеевропейскому типу, но, за исключением отдельных сооружений, здания и в конструктивной основе, и в декоративных элементах являли собой провинциальную интерпретацию.

В Хорватии в XVI в. были заложены основы церковного и светского образования. В 1576 г. в Загребе была открыта семинария для подготовки католических священников. В Градце и Вараждине существовали светские школы. В каждой из них преподавал один учитель. Школы находились на попечении городских властей.

С приходом иезуитов церковная школа в Хорватии переживала подъем. В крупных городах они открыли хорошо организованные шестирядные гимназии: в Градце (1607), Риеке (1627), Вараждине (1636), Пожеге (1698). Иезуиты создали также конvikты — интернаты для малообеспеченных или проживавших далеко от городов учащихся. В Загребе такое заведение было основано в 1632 г., в Вараждине — в 1672 г. Конvikты существовали на разовые пожертвования и за счет фондов, основанных жертвователями. После ликвидации иезуитского ордена загребский конвикт был преобразован в Королевский дворянский конвикт⁵⁵.

Иезуиты проявили особый интерес к устройству гимназии в Загребе, поскольку этот город находился вблизи турецкой границы и из него было легче оказывать влияние на население, находившееся под властью Турции. Гимназия расположилась в бывшем полуразрушенном доминиканском монастыре. Здание и двор были очищены от развалин, мусора и приведены в порядок. Открытие учебного заведения было обставлено весьма торжественно. Оно было приурочено к заседанию хорватского сабора. В Градце собрался цвет хорватского общества — аристократы, дворяне, духовные лица, горожане. Под звон колокола от гимназии двинулось многолюдное шествие с пением гимна к церкви Св. Марка. Здесь состоялось богослужение, после которого была прочитана «латинская беседа» (проповедь). По ее завершении процессия с пением религиозных песен отправилась назад к школе. Торжества сопровождалась пушечными залпами и оружейной стрельбой. Центр города был окутан дымом. Это вызвало беспокойство окрестного населения, вообразившего, что на город напали турки⁵⁶.

Обучение в иезуитских учебных заведениях было бесплатным. Это обстоятельство, как и наличие в Загребе конвикта, способствовало привлечению в гимназию молодежи из разных краев проживания хорватов. Сам бан И. Драшкович записал в загребскую гимназию своего сына. За ним потянулись и дворяне. Уже вскоре после открытия в ней обучались до 100 дворянских детей и 200 учащихся из других сословий. В 1615 г. в гимназии насчитывалось 400 учеников⁵⁷.

Иезуиты отводили гимназии в Вараждине особую роль. На расположенной вблизи части Военной Границы было много влахов. Католическая церковь стремилась привести их к унии. Этому должна была способствовать местная гимназия, куда принимались и вlahи. Всего в вараждинской гимназии обучалось 200–300 учеников.

Учебный процесс в иезуитских гимназиях строился на основе типового документа «Ratio Studiorum» («Научная основа»). Преподавание велось на латинском языке. Круг предметов составляли латинский язык, греческий язык (впрочем, из-за сопротивления родителей только его основы), римские классики, история (с элементами географии), вероучение (катехизис). На VI, последнем году обучения вводилась риторика. Школьная программа предусматривала организацию конкурсов, академий*, выставок работ успевающих гимназистов. По составу учеников, образовательным дисциплинам гимназии носили светский характер.

В глухом краю Хорватского загорья Лепоглаве при паулинском монастыре еще с XVI в. действовала небольшая гимназия. Хотя ее задачей была

* Это слово означало и общество лучших учеников, и вид школьного мероприятия (например, занятия с вопросами и ответами на заданную тему).

подготовка клириков, гимназию посещали и миряне — дети дворян и горожан из округи. В 1656 г. в этом заведении было введено преподавание философии. В 1662 г. и при гимназии в Градце было организовано трехлетнее изучение философии. На этом своего рода факультете в программу были включены логика, математика, физика (в философском смысле), метафизика с этикой. Уже в первом учебном году здесь было 50 учащихся⁵⁸. В обществе назрела потребность в развитии высшего образования.

Загребские иезуиты обратились к австрийскому монарху с просьбой утвердить новую «академию» в ранге университета с подобающими ему правами, привилегиями и свободами. В 1669 г. Леопольд I издал соответствующий диплом, который был утвержден и хорватским сабором. Однако генерал и старейшины иезуитского ордена воспрепятствовали созданию в Загребе университета. В течение столетия, до ликвидации в 1773 г. иезуитского ордена, число учащихся в гимназии и академии Градца регулярно составляло 500–700 человек, из них около трети были слушатели философии⁵⁹.

По завершении среднего образования молодые хорваты либо выбирали путь служения церкви, либо продолжали учебу в Австрии или за границей, прежде всего в учебных заведениях иезуитов. С 1608 г. действовала Хорватская коллегия в Граце, объединенная в 1624 г. с Хорватской коллегией в Вене. В немецко-венгерском заведении в Риме хорваты имели несколько стипендиатских мест.

В отличие от образовательной деятельности других католических орденов, которые занимались подготовкой молодежи для себя, иезуиты открывали школы в первую очередь для мирян. При этом они создавали библиотеки в городах, где действовали их гимназии. Иезуиты способствовали развитию светского образования в Хорватии, но подчиняли его интересам Контрреформации и укреплению власти Римской курии.

Со школой была тесно связана театральная культура в Хорватии. Большую активность проявляли в театральном деле иезуиты, которые включали представления в школьную программу как общеобразовательные и воспитательные мероприятия. Задачами школьного театра были расширение знаний учащихся, тренировка памяти, практика в латыни, овладение ораторским искусством, воспитание у молодежи благочестия. Помимо учебного процесса школьный театр, по замыслу иезуитской коллегии, должен был облегчать усвоение верующими идей Контрреформации.

В Загребе первое сценическое действие, исполненное гимназистами, состоялось в 1607 г. на площади у церкви Св. Марка. Это был своеобразный отчет об учебной работе. Учащиеся разыграли аллегорическое представление о Хорватии. Была исполнена, в частности, песня, в которой воспевались красоты и плодородие родной земли, обычаи и достоинства народа, его герои. Это невиданное зрелище привлекло массу горожан, заполнивших всю площадь. Так было положено начало школьному театру. В Вараждине он возник в 1637 г.

Школьные представления были публичными. В Градце они устраивались в помещении гимназии и под открытым небом, во дворе, на площадях у церквей Св. Марка и Св. Катарины. Сценические действия приурочивались к крупным событиям в жизни Загреба, приезду почетных лиц, церковным праздникам, школьным торжествам. Участниками школьного театра были прежде всего ученики, но также и учителя — постановщики спектаклей, привлекались и любители, которые исполняли женские роли. Языком представлений был латинский. Но в середине XVII в. на школьную сцену стал проникать и родной язык. В 1637 г. вараждинские гимназисты разыграли сценические картины на хорватском языке. Это стало событием в жизни города, собравшим уйму народа, в том числе дворян и крестьян из округи⁶⁰.

Репертуар школьного театра составляли спектакли на библейские темы, большей частью из Ветхого завета, разыгрывались сюжеты из агиографии, а также разного рода легенды (в частности, о Чехе и Лехе), ставились пьесы на материале истории, в том числе хорватской, моральные драмы, воплощавшие добродетели и пороки, исполнялись драматические панегирики в честь высокопоставленных лиц, легкие комедии (например, «Крестьянин, который учится хорошим манерам») и пр. Школьный театр был барочного типа, большая роль отводилась в нем сценическому реквизиту и костюмам. В XVII–XVIII вв. через загребскую школьную сцену прошло самое малое 700 различных пьес. Школьный театр оперировал главным образом положительными примерами, моральной программой, но вместе с тем, выходя за рамки иезуитской пропаганды, доносил до зрителя и патриотические идеи.

Загребские учащиеся давали представления также в Карловаце, куда они выезжали в 1646, 1647 и 1648 гг. Они исполняли сцены на латинском языке. Но в 1648 г. им были предпосланы «декламации» с разъяснением предстоящего действия на родном языке. Связанные с иезуитами школьные театры просуществовали до запрещения ордена в 1773 г.⁶¹

Школьный театр, включенный в учебный процесс, выполнял учебную, дидактическую и рекреативную (развлекательную) функции, прежде всего в рамках школы, но и шире — выходя в разнородную городскую среду. Этот театр имел ограниченную доступность для публики ввиду языкового барьера. Но главное, отношения школьного театра с общественной средой регулировались иезуитскими коллежиями, что лишало его как институции самостоятельности общественного организма. Тем не менее школьный театр выработал театральные навыки, подготовивший возникновение в новых условиях самостоятельного театра с широкой общественной программой.

Перемены коснулись и бытовой культуры хорватского «праздного класса». Его тяга к репрезентативному облику жилья, разнообразию быденной жизни породила заказы на художественные изделия в быту. Это привлекало

иностранных мастеров в Хорватию и стимулировало деятельность художественных мастерских в городах и церковных центрах. Аристократы украшали свои дворцы дорогими вещами. Во дворце Николы Зринского в Чаковце в Меджимурье имелись богатая библиотека, собрания оружия, старинных монет и картин. Граф имел склонность к собиранию коллекций. Из родового замка Зринских Озаль близ Карловаца после казни П. Зринского были вывезены оружие, украшенное золотом, серебром и драгоценными камнями, дорогие картины, множество рукописных и печатных книг и другие дорогие предметы. Все было конфисковано и разграблено.

Не чужды были хорватской аристократии музицирование и другие виды искусства. Катарина Зринская была поэтессой. Юрай Франкопан искусно играл на ряде музыкальных инструментов, рисовал и ваял. В инвентаре (1650) разрушенного замка Белц в Хорватском загорье были перечислены многие музыкальные инструменты, которые могли бы составить небольшой оркестр. О вкусах отдельных аристократов свидетельствует следующий факт из жизни рода Драшковичей. Около 1685 г. граничарский капитан граф П. Драшкович подарил обновленной паулинской церкви в Каменском алтарь Св. Креста. Картина «Распятие», входившая в его композицию, рассматривается специалистами как шедевр XVII в.⁶²

Хорватская культура развивалась в XVII в. под знаком освоения раннего барокко. В континентальной Хорватии этот процесс протекал под влиянием западноевропейского опыта, в Далмации и Дубровнике — при доминирующей роли Венеции в Адриатике. Силевые характеристики раннего барокко осваивались в Хорватии дворянством, церковью, горожанами и низами при разности идейного наполнения, охватывая практически все основные сферы культуры. На Адриатике, как и ранее, состояние культуры определялось жизнью городов-коммун. Раннее барокко существовало в Далмации и Дубровнике наряду со стилевыми формами Возрождения, в Хорватии — готики.

Вектор развития хорватской культуры от Средневековья к Новому времени в Далмации и Хорватии был общим. Но проявлялся процесс неодинаково. В Далмации, по сравнению с Возрождением, наблюдался спад или замедление в ряде областей культурной деятельности. В Хорватии процесс культурного развития оживился. Культурная жизнь протекала в Далмации и Хорватии изолированно друг от друга. Но появилась тенденция к их сближению в литературном языке. Это позитивное явление имело особое значение как предвестник будущих перемен.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Zagreb, 1980. S. 777. Материалы энциклопедии использовались и в других разделах.

- 2 *Šidak J.* Nikola Šubić Zrinski u svom vremenu // *Šidak J.* Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti. Zagreb, 1981. S. 67–69.
- 3 Enciklopedija. S. 777.
- 4 *Šišić F.* Posljednji Zrinski i Frankopani na braniku domovine // *Posljedni Zrinski i Frankopani.* Zagreb, 1908; *Šidak J.* Urota zrinско-frankopanska kao historiografski problem // *Šidak J.* Kroz pet stoljeća... S. 148–167.
- 5 Enciklopedija. S. 294.
- 6 *Šojat O.* Pregled hrvatske kajkavske književnosti od polovine 16. do polovine 19. stoljeća i jezično-grafijska borba uoči i za vrijeme ilirizma // *Hrvatski kajkavski pisci. I. Druga polovina 16. stoljeća.* Zagreb, 1977. S. 21–22; *Idem.* Ivanauš Pergošić // *Ibid.* S. 75; *Idem.* Antun Vramec // *Ibid.* S. 103 ff.
- 7 Enciklopedija... S. 158.
- 8 *Голенищев-Кутузов И. Н.* Итальянское Возрождение и славянские литературы XV–XVI вв. М., 1963. С. 46; *Он же.* Поэты Далмации эпохи Возрождения // *Голенищев-Кутузов И. Н.* Славянские литературы. М., 1978. С. 58.
- 9 *Голенищев-Кутузов И. Н.* Итальянское Возрождение... С. 32, 110, 328.
- 10 Там же. С. 110.
- 11 *Šidak J.* Hrvatsko društvo u Križanićevo doba // *Šidak J.* Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti. S. 74–76.
- 12 История литератур западных и южных славян. М., 1997. Т. 1. С. 763.
- 13 См.: *Лещиловская И. И.* Иллиризм. М., 1968. С. 55; *Она же.* Сербский народ и Россия в XVIII веке. СПб., 2006. С. 135.
- 14 Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb, 1960. Т. 4. С. 10; Enciklopedija... hrvatske povijesti i kulture. S. 342.
- 15 *Голенищев-Кутузов И. Н.* Итальянское Возрождение... С. 70, 72.
- 16 *Голенищев-Кутузов И. Н.* Итальянское Возрождение... С. 112; *Он же.* Поэты Далмации... С. 61; История литератур... Т. 1. С. 717, 723, 724.
- 17 История литератур... Т. 1. С. 749–752.
- 18 *Голенищев-Кутузов И. Н.* Итальянское Возрождение... С. 80.
- 19 О творчестве И. Гундулича см.: *Povijest hrvatske književnosti.* Zagreb, 1974. Кнж. 3. С. 197 ff.; *Зайцев В. К.* Между Львом и Драконом. Минск, 1969.
- 20 См. *Гундулич Иван.* Осман / Перевод В. К. Зайцева. Минск, 1969. Песнь VII. С. 117, 119, 121.
- 21 Там же. Песнь XX. С. 389.
- 22 Там же. Песнь XI. С. 194, 195.
- 23 *Зайцев В. К.* Эпическая поэма Ивана Гундулича «Осман» // *Гундулич Иван.* Осман. С. 16.
- 24 *Гундулич Иван.* Осман. Песнь VI. С. 109, 110.
- 25 Там же. Песнь VIII. С. 145.
- 26 *Голенищев-Кутузов И. Н.* Итальянское Возрождение... С. 124.
- 27 *Povijest hrvatske književnosti.* S. 211 ff.
- 28 *Ibid.* S. 223 и сл.
- 29 *Ibid.* S. 283 и сл.
- 30 *Ibid.* S. 226–227; *Фрейденберг М. М.* Дубровник и Османская империя. М., 1989. С. 199, 201, 202.
- 31 Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. S. 27.
- 32 *Ibid.* S. С. 29.

- 33 Ibid. S. 298; Историја народа Југославије. Београд, 1960. Књ. II. С. 1138.
- 34 См.: Hrvatski kajkavski pisci. Zagreb, 1977. Т. I–II.
- 35 Šojat O. Antun Vramec // Hrvatski kajkavski pisci. Т. I. S. 113–114; Šidak J. Hrvatsko društvo... S. 82, 83.
- 36 Šojat O. Juraj Habelić // Hrvatski kajkavski pisci. Т. II. 17. stoljeće. S. 42–44.
- 37 Šojat O. Ivan Belostenec // Hrvatski kajkavski pisci. Т. II. S. 250 ff.
- 38 Ibid. S. 258.
- 39 О Раткае см.: Šojat O. Juraj Ratkaj Velikotaborski (1612–1666) // Hrvatski kajkavski pisci. Т. I. S. 341–345. Идея целостности славян впервые была выражена в Хорватии в 1643 г. Протонотар Хорватского королевства Иван Замарди украсил ящик для хранения важных документов латинскими стихами, в которых Хорватия прославлялась как колыбель «Чешской земли» и «Польского королевства». Šidak J. Hrvatsko društvo... S. 84.
- 40 Povijest hrvatske književnosti. S. 245.
- 41 Ibid. S. 245, 248.
- 42 Zrinski, Frankopan, Vitezović. Izabrana djela. Zagreb, 1976; Hrvatski kajkavski pisci. Т. II.
- 43 Šidak J. Juraj Križanić i značenje njegova djela // Šidak J. Kroz pet stoljeća... S. 126, 128.
- 44 Ibid. S. 129.
- 45 обстоятельное освещение жизни и деятельности Ю. Крижанича, особенно его пребывания в России, см. в кн.: Пушкарев Л. Н. Юрий Крижанич. Очерк жизни и творчества. М., 1984.
- 46 Šidak J. Juraj Križanić... S. 130.
- 47 Крижанич Юрий. Политика. М., 1997. С. 22, 174, 176, 230, 267 и др.; Šidak J. Juraj Križanić... S. 132.
- 48 См.: Записка Юрия Крижанича о миссии в Москву. 1641 г. М., 1901; Šidak J. U povodu 350-godišnjice rođenja Jurja Križanića // Historijski zbornik. 1968–1969. Zagreb, 1971. S. 694.
- 49 Šidak J. Juraj Križanić... S. 132.
- 50 См.: Šidak J. Problem Jurja Križanića u hrvatskoj i srpskoj literaturi // Šidak J. Kroz pet stoljeća... S. 87–133.
- 51 Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. S. 26.
- 52 Vanino M. Isusovci i hrvatski narod. Zagreb, 1969. Т. I. S. 230.
- 53 Šojat O. Cithara octochorda // Hrvatski kajkavski pisci. 17. stoljeće. Zagreb, 1977. Т. II. S. 399 ff.
- 54 Varaždin. Zagreb, 1975; Karlovac. 1579–1979. Karlovac, 1979; Kampuš I., Karaman I. Tisućljetni Zagreb od davnih naselja do suvremenog velegrada. Zagreb, 1987.
- 55 Vanino M. Isusovci i hrvatski narod. Т. I. S. 230, 231.
- 56 Ibid. S. 88.
- 57 Ibid. S. 88, 107.
- 58 Ibid. S. 149, 189.
- 59 Kampuš I., Karaman I. Tisućljetni Zagreb... S. 97, 99.
- 60 Vanino M. Isusovci i hrvatski narod. Т. II. S. 425–426.
- 61 Ibid. Т. I. S. 89, 261–289; Enciklopedija... S. 28; Karlovac... S. 447.
- 62 Šaban L. Glazba u dvorovima Draškovića u 18. stoljeću // Kaj. Zagreb, 1972. Br. 11. S. 39; Cvitanović Đ. Rod Draškovića i umjetnost // Kaj. S. 40.

М. В. Лескинен
(Москва)

Понятие «нрав народа» в российских этнографических концепциях XIX в. *

История этнографической науки, в том числе и российской, может быть прочитана в контексте эволюции мировоззренческих парадигм. Ее формирование и институционализация занимают важное место в развитии научных представлений и научной картины мира, в идеологических, политических и образовательных планах и доктринах¹. Этнография отражала и отражает состояние современного ей общества, менталитета образованных слоев, социальных и межэтнических отношений. Складывание этой дисциплины в России прошло несколько этапов, но своеобразие, заложенное еще два века назад, наложило отпечаток и на советскую этнографию² и на современную — постмодернистскую — российскую этнологию³. Задача данной статьи состоит в том, чтобы представить краткий и далеко не исчерпывающий обзор главных концепций этноса и этничности в российской этнографии XIX в., обратив пристальное внимание на место в них идеи «нрава», «характера» народа. Ныне проблемой национального характера занимается дисциплина, обоснованность выделения которой многими учеными оспаривается — этнопсихология⁴. Однако на протяжении более века эта сфера являлась полноправной — и отнюдь не второстепенной — частью этнографических исследований народов Российской империи, поэтому столь важно определить содержание термина «нрав народа», его место в системе различных дефиниций этноса и предметном поле этнографии, выявить его изменения и значение в процессе формирования её как самостоятельной дисциплины.

* * *

Первые российские описания «нравов и обычаев» других народов, которые можно расценивать как этнографические, относятся к XVII в., а складывание этнографии как «народоописания» в России относят к XVIII в.⁵ Оно проходило под сильным влиянием немецкой школы этнологии, тем более что среди российских ученых этого столетия преобладали выходцы из Германии, получившие европейское образование. Немецкая школа определила ряд особенностей, обусловленных различием понятий

* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 07-01-00 155а).

«Völkerkunde», «Ethnography», «Volkskunde» и «Ethnologie»⁶. Первое применялось в отношении изучения неевропейских народов и культур, по сложившимся тогда представлениям «отставших в своем развитии», и виделось отраслью географической науки⁷. «Volkskunde» — народоведение — занималось изучением главным образом немецкоязычных народов и культур. Термин «этнография» впервые появился в работах немецких статистиков, им обозначалось описание свойств народа⁸, населяющего ту или иную территорию, включенное в статистические и географические обзоры. Чаще всего речь шла о так называемом «физическом народоведении» с данными о природных свойствах населения того или иного региона и физико-географических условиях его проживания. В обзоры помещались народоведение нравов (volksittenkunde), описание культуры (kulturkunde) и образа жизни (lebensweis)⁹. Этнография этого времени в России — еще не как наука, а как прикладная отрасль географии, задачей которой было народописание, — содержала в себе элементы двух этих направлений, однако, начиная с В. Н. Татищева, постепенно складывалась российская концепция изучения народов. Отличия ее российского варианта были связаны с объективными обстоятельствами: полиэтничность империи диктовала необходимость составления (для начала) общего перечня народов российского государства. «Эпоха больших академических экспедиций XVIII века» (определение С. А. Токарева) создала необходимую базу для выработки и обсуждения методики собирания этнографических материалов и сведений¹⁰, но кроме этого, адаптировала европейские основы классификации и описания народов применительно к Российской империи¹¹. Наиболее значимыми для нас представляются следующие черты, выявленные американским ученым Ю. Слэзкиным: стремление каталогизировать «нравы и обыкновения» народов, служившие «независимыми единицами сравнения» и складывавшиеся «во „всё“ данной этнической группы»¹²; принятие за «ядро этнической общности» пищи, пола и почвы¹³; «создание этнической иерархии, на вершине которой находилось „совершенство“ просвещения»¹⁴ и, как следствие, несовершенство и дикость народов изучаемых, а также убежденность в наличии связи между телесным и духовным обликом человека¹⁵. И хотя языковой критерий был к концу века признан более объективным основанием для классификации, все перечисленные принципы (и особенно просвещенческие идеи о «добром дикаре» и руссоистское убеждение в естественном нравственном состоянии) в той или иной степени были задействованы в процессе выработки новых концепций этноса и этнических классификаций нового века.

Русские последователи Гегеля и Руссо идеализировали народ, видя в нем воплощение истинного, незамутненного национального начала.

При этом, как подчеркивал Ю.М. Лотман, «тяготение просветителя к человеку из народа определяется тем, что он „такой же“, как и „я“, а не тем, что „он — другой“; ...„стать как народ“ — означает измениться, чтобы стать самим собой»¹⁶. Приобщение к ясности, простоте и естественности народного духа и жизни виделось целью личностного совершенствования, в основании которого лежала идея значимости и ценности каждого отдельного человека. Такой образ народа был воспринят и ранними славянофилами, ратующими за обращение к особому общинному гармонизирующему соборному духу, проявлявшемуся в том числе и в языке (как и народный характер). Укрепилось убеждение, что крестьянство и есть народ и что именно в крестьянском образе жизни сохранены гармоничные черты патриархального — природно-социального — уклада, в устойчивости которого — гарантия стабильности или прогресса (в зависимости от того, что оценивалось позитивно). Н.И. Надеждин еще в 1836 г. писал: «Народ русский велик не только своею физическою силою, в чем не сомневаются даже самые враги наши, но и патриархальными добродетелями, которые созидают и держат его колоссальное существование»¹⁷. Духовная культура, выраженная в произведениях фольклора и в песенном творчестве, доказывала развитость эстетического начала, а русская классическая литература и публицистика, под влиянием идеи народности, воспевала природную нравственность и стихийную религиозность русского крестьянина («человек русский имеет в себе глубокое расположение к вере, но эта святая искра не горит полным пламенем»¹⁸).

Европейская наука начала XIX в. также с особой тщательностью разрабатывала идеи духовной культуры с целью выявления «общего народного духа»; влияние идей романтизма, немецкой философии, трудов И. Г. Гердера и мифологической теории братьев Гримм привело к преобладанию мнения, что народоведение должно опираться на изучение жизни народа — т.е. крестьянства¹⁹. В России терминологическая и содержательная ясность предмета этнографии складывалась постепенно, с формированием ее как самостоятельной дисциплины. Однако параллельно с усвоением комплекса теоретических и методологических установок, с которыми подходили к изучению народов в европейской науке, существовал и вырабатывался другой пласт представлений, отразивший черты и функции «обыденной» концепции этноса, — так называемая «литература путешествий»²⁰. Российский исследователь, рассматривая принципы этнической категоризации в текстах этого жанра в первой половине XIX в., реконструирует две модели этноса, которые выявляются в процессе описания стран и народов: этническую и географическую²¹, однако они не всегда однозначны и отрефлексированы. Поиски национальной самобытности в русском образованном обществе после войны 1812 г. не могли не отразиться на актуализации проблемы опре-

деления и качественных черт этнической идентичности не только русского народа²², но и этносов вообще. Хотя необходимо учитывать, что в первой половине века теоретическими проблемами народоведения (в значении *Volkskunde*) занимались представители главным образом словесности, а описание других народов империи по-прежнему оставалось в ведении географов и военных. Вплоть до 40-х гг. XIX в. критерии и черты характеристики народа оставались на уровне описания петербургского академика И. Г. Георги 1776–1777 гг., который так, например, характеризовал лопарей: «росту они среднего, ...от суровой своей жизни бывают они сложением крепки, проворны и улыбчивы, но при том и лености подвержены. Разум у них обыкновенный простонародный. Впрочем они миролюбивы, начальникам своим подобострастны, к воровству не склонны, постоянны, в обхождении веселы...»²³.

Русское географическое общество и начало институционализации этнографии как науки. Организационное и программное выражение этнографическая дисциплина получает в качестве отрасли географии в 1845 г. с созданием в России Русского географического общества (РГО)²⁴. Одним из структурных подразделений этого Общества стало Отделение этнографии, которое возглавлял естествоиспытатель академик К. М. Бэр. Таким образом, с момента своего институционализирования этнография была частью географической науки, что определило характер понимания дисциплины, ее задачи и методы исследования. В докладной записке — обосновании создания РГО, поданной в мае 1845 г., Ф. П. Литке писал о том, что главной целью Общества он видит «собрание и распространение, как в России, так и за пределами оной, возможно полных и достоверных сведений о нашем отечестве» географического, статистического и этнографического характера²⁵. Уточняя задачи этнографического изучения (и прежде всего описания), Литке так понимает их: «...познание разных племен со стороны физической, нравственной, общественной и языковедения, как в нынешнем, так и в прежнем состоянии народов» и указывает три причины необходимости такого изучения: исчезновение традиционного уклада ряда народностей, важность этнографических знаний «для антрополога и историка» и, наконец, недостаточная изученность многочисленных народов Российской империи²⁶. Таким образом, этнографическая работа имела в первую очередь прикладное значение и рассматривалась в том же смысле, что и в немецкой науке — как часть программы описания Отечества с географической и статистической точки зрения. Это было продиктовано целями создания Общества (находившегося в первые годы в ведении Министерства внутренних дел и вне Академии наук) и пониманием географии. Общая география (землеведение — в терминах эпохи) мыслилась как естественная группа наук:

«математическая география, физическая география, этнография и статистика», а «география в тесном смысле» подразумевала описательную географию (т.е. страноведение)²⁷. Представление о взаимосвязи между народом и окружающей средой, ее решающем воздействии на формы человеческой жизнедеятельности было главным и почти неизменным на протяжении всего XIX в. Описание бытового и общественного уклада различных народов находилось в прямой зависимости от своеобразия климата, почв и природных ресурсов, достаточных или недостаточных для выживания и развития этносов. Нрав человека также определялся географическими условиями и мог, в сущности, быть даже спрогнозирован. Значение нрава для описания империи имело также прикладное значение, поскольку он оказывал влияние на формы и виды контактов и взаимодействия в различных сферах отношений между государством и его подданными, от них зависела эффективность сбора налогов, степень лояльности, возможности сотрудничества в столкновениях с третьей стороной, в торговых и коммерческих операциях, в вопросах военной разведки и т. п.

Необходимо отметить, что включение этнографии в предмет географической науки имело далеко не только формальные и практические последствия. Оно определило термины и понятия, круг задач и теоретические построения этой — еще складывающейся — дисциплины.

В 1846 г. были выдвинуты две программы этнографических исследований РГО. Глава Отделения этнографии и соучредитель Общества К. М. Бэр в докладе «Об этнографическом исследовании вообще и в России в особенности» так определил задачи новой дисциплины (в качестве отрасли географических знаний): изучить «физические свойства народа, умственные способности его, религию, предрассудки, нравы, способы к жизни, жилище, посуду, оружие, язык, поверья, сказки, песни, музыку и проч.»²⁸. Он рассматривал этнографию прежде всего в прикладной плоскости, предлагая акцентировать внимание на изучении нерусских народов империи²⁹, иначе говоря, исходил из задач этнографии как «Völkerkunde». При этом аргументы его совпадали с доводами Литке. В перечне предмета этнографического описания обращают на себя внимание следующие: «умственные способности», «нравы» и «способы к жизни» — иными словами, нрав и ум выражают разные проявления характера народа (этнуса), а под расплывчатой формулировкой «способы жизни», вероятно, скрывается то, что называлось также «быт».

Н. И. Надеждин предложил иное видение этнографии как отдельной дисциплины³⁰ в докладе «Об этнографическом изучении народности русской»³¹. В отличие от Бэра, он предлагал сконцентрироваться на исследовании «народности русской», под которой тогда понимались восточнославянские народы, — иначе говоря, разделял представление об этнографии в понимании «Volkskunde». Американский исследователь Н. Найт

рассматривает эти две концепции этнографии как, во-первых, проявление «столкновений в конфликте между немецкой и русской фракциями» в РГО и, во-вторых, как выражение «противоположного понимания места народности в науке»³².

В складывании концепции «народности» важную роль сыграло несколько обстоятельств: 1) развитие идей немецкой философии истории и эстетики на русской почве (выражением чего стало, в частности, обсуждение проблемы интерпретации «типа», «типичного» и «народных черт» в искусстве; 2) дискуссии о том, что такое народность и нация, и создание Уваровым теории «официальной» народности. Они в той или иной степени были инициированы европейскими научными и философскими концепциями, и это хорошо понимали те, кто вводил и интерпретировал «народность» как категорию³³. Так, И. В. Киреевский в начале 1830-х гг. писал: «Стремление к национальности есть не что иное, как непонятное повторение мыслей чужих, мыслей европейских, занятых у французов, у немцев, у англичан и необдуманно применяемых к России»³⁴. Постепенно понимание «народности» обретает оригинальные оттенки, однако в первую очередь в области публицистики, критики и словесности³⁵. Надеждин вывел термин «народность» за рамки философско-эстетической парадигмы, сложившейся в российской среде, и определил его в качестве нормативного для этнографии, причем настаивал на включении ее в исторический контекст. Благодаря ему слово «народность» к середине XIX в., помимо общеупотребительного обозначения «совокупности характерных свойств народа и отражения их в чем-либо», обрело и собирательное значение, «характеризующее исторически сложившуюся общность людей»³⁶.

Н. Найт, сравнивая позиции Бэра и Надеждина, детально анализирует их разногласия в понимании этнографической дисциплины и приходит к выводу о том, что истоки — в «идее нации как органической целостности», разделяемой Надеждиным, но «незамеченной» Бэром, а также в их «интеллектуальном прошлом и национальном происхождении»³⁷. Мы полагаем, что представления Бэра и Надеждина формировались в сфере различных мировоззренческих установок не только национально-го или научного свойства. Бэр разделял взгляды на этнографию и этнос в целом, сложившиеся в европейских естественных науках, и прежде всего в географии и антропологии, с идеями линнеевской классификации и географического детерминизма. Надеждин попытался «применить» к этнографической науке не эти концепции, а идеи «народности» в том ее виде, в каком они сложились в российском обществе, и которые он сам на определенном этапе жизни разделял³⁸. Новая интерпретация понятия «народность» и «этнография» не сразу получила распространение. И десятилетия спустя А. Н. Пыпин определял взгляды Надеждина

как «этнографический прагматизм», поскольку для него в этнографии на первом месте стояли задачи изучения «русского самосознания», анализируемого на материалах «просвещения, науки, поэтической литературы, публицистики, в общем ходе и развитии общественной мысли»³⁹.

Взгляды Надеждина на «народность» и методы ее изучения. Важно обратить внимание на то, что термины «народ» и «народность» не синонимичны для Надеждина, хотя в современной историографии бытует мнение, что под «народностью» он понимал «этнос»⁴⁰. Однако это неверно. Надеждин разделял эти понятия: «„Народы“ составляют предмет, который ближайше занимается, а описание „народностей“ есть содержание, из которого слагается этнография»⁴¹; «Под *народностью* я разумею совокупность всех свойств, наружных и внутренних, физических и духовных, умственных и нравственных, из которых слагается физиономия... человека, отличающая его от всех прочих людей»⁴². «Народность» — выражение духа народа, «живописание отечественных обычаев и нравов», «народного характера»⁴³. Именно такое значение отмечено в словаре В.И. Даля: «...совокупность свойств и быта, отличающих один народ от другого»⁴⁴. Народность, таким образом, качественная характеристика, а не структурная единица классификации этносов. Она ближе всего по значению к современному понятию «этничности»⁴⁵, а термины «народ» и «народность» можно (с некоторыми оговорками) рассматривать как соответствующие понятиям этнос/этничность.

Приняв во внимание такую интерпретацию «народности», легко объяснить, почему под ее изучением Надеждин понимал исследование народного нрава, ума и быта — того, что выражает «физиономия народная» — т. е. её оригинальных отличительных признаков. Физический облик и язык, таким образом, могут быть схожими или общими, но критерием, по которому можно определить место народа в системе этнической классификации, служит его «нрав». В этом состояло одно из наиболее существенных отличий концепций Надеждина и Бэра.

Позиции Литке, Бэра и Надеждина сходились, однако, в том, что этнография есть наука описательная и является отраслью географии, при этом «описание „народностей“ есть содержание, из которого слагается этнография»⁴⁶. Это имело чрезвычайно важные последствия, тем более что с 1848 г. Надеждин возглавил Отделение этнографии РГО. Главные задачи этнографии в России связывались с описанием русского (т. е. восточнославянских народов) и нерусских народов с акцентом на те группы населения, «в коих народные особенности сохраняются наиболее; таковы в племени русском: весь так называемый простой сельский народ»⁴⁷. Во второй половине XIX в. господствующей стала идея о том, что только крестьянство воплощает и сохраняет в себе традиционный

народный уклад и нормы жизни, и, следовательно, быт и нравы именно этого сословия воплощают в себе «народность» в надеждинском значении — т. е. отличительные, своеобразные качества этноса. Крестьянство становится главным объектом этнографического изучения. Важным обстоятельством, «законсервировавшим» такое положение в дальнейшем, стала популярность в 1860–1870-е гг. в обществе народнических идей, и этическая притягательность призыва служения народу. Не последним аргументом в пользу сакрализации крестьянства как носителя истинно народного (в смысле национального) духа сыграли, таким образом, представления о предмете и задачах этнографии.

Важнейшим методом критического отношения к этнографическим эмпирическим данным Надеждин считал сравнительный — с целью выявления влияния и заимствований у народов, долгое время сосуществующих, а также сравнение быта и нравов различных «отраслей» или «племен» одного народа. Надеждин сформулировал также направления этнографической дисциплины — «разделы»: «лингвистическая этнография» (изучение народного языка), «физическая этнография» (антропология) и «психическая». Последнюю Токарев трактовал как собственно этнографию в современном смысле слова⁴⁸. Однако внимательное прочтение текста в значительной мере корректирует определение ученого. «Под именем „этнографии психической“ я заключаю обозрение и исследование всех тех особенностей, коими в народах более или менее знаменуются проявления „духовной“ стороны природы человека, т. е. умственные способности, сила воли и характера, чувство своего человеческого достоинства и происходящее отсюда стремление к непрерывному совершенствованию, одним словом, — все, что возвышает „человека“ над животностью»⁴⁹, — писал Надеждин. И только после этого он уточнял: «...в область этнографии... психической отойдет весь *быт народный*, поскольку... в нем выражается участие мысли и воли, сил чисто духовных... Тут... найдут себе законное место: народная в собственном смысле „психология“..., семейное устройство народа..., домохозяйство и вообще промышленность, жизнь и образованность общественная, ...религия, словом — разумные убеждения и глупые мечты, установившиеся привычки и беглые прихоти, заботы и наслаждения, труд и забавы, дело и безделье...»⁵⁰. «Психическая этнография» Надеждина, таким образом, объединяет в себе материальную и духовную культуру в широком их понимании. Но обращает на себя внимание то, что «собственно народная психология» — т. е. «психическая этнография в узком смысле» — включает в себя характеристики и интерпретации того, что принято было именовать «нравом народа» и его «умом»: «...разбор и оценка удалого достоинства народного ума и народной нравственности, как оно проявляется в составляющих народ личностях»⁵¹.

Можно говорить о том, что именно Надеждин предложил оставшиеся долгое время неизменными в этнографической российской науке набор и иерархию признаков этноса, определившими и его дефиницию. Это: антропологический тип, язык, быт (общественный и домашний)⁵², нрав народа и памятники духовной культуры (письменность и фольклор). Акт описания и его структура задали категории, которыми оперировала этнографическая дисциплина в рамках географии, и саму иерархию этих категорий. Поскольку Надеждин ратовал именно за «систематическое» и «научное» изучение сведений, собранных по его Программе собирания сведений по этнографии, можно предполагать, что и содержащиеся в ней пункты разделов он отождествлял с информацией, которая претендует на научную объективность уже в стадии описания.

Народная психология, или нравы народа, включены в качестве отдельного раздела в первую российскую Программу-вопросник, созданную под руководством Надеждина в 1848 г., реализация и интерпретация которой и легла в основу работы Отделения этнографии в первые десятилетия его деятельности. Из шести частей описания этот пункт занимает пятое место после описания наружности, языка, домашнего и общественного быта и формулируется как «умственные и нравственные особенности и образование»⁵³. В течение 30 лет программа Надеждина оставалась главным методическим руководством для собирания сведений по этнографии России. Даже в 1914 г. Д.К. Зеленин писал, что программа эта остается «вполне удовлетворительной» и с точки зрения современной научной этнографии⁵⁴.

Представление о «психическом складе» («нраве») народа содержало в себе описание того, что выражает его «умственные способности, силу воли и характера, чувство своего человеческого достоинства и... стремление к непрерывному самосовершенствованию». В пояснении к программе подробно указывалось, что именно необходимо определить в этом разделе: «...сведения о понятливости, сметливости жителей, о распространении грамотности и характере обучения, об отношении между собой различных групп, о некоторых народных обычаях»⁵⁵. Психологический портрет, таким образом, включал умственные способности человека, его нравственные нормы и отступления от них, характер и темперамент. Очень важна методика описания: черты нрава должны были выявляться информатором так же, как, например, «наружность», т. е. средствами внешнего наблюдения, а не методом реконструирования на основании изучения определенного материала. Хотя выводы надлежало делать позже — тем ученым, в обязанности которых вменялся анализ собранных материалов.

Типичным для этнографии эпохи была размытость соотношения характеристики отдельного человека и народности в целом. Хотя этот во-

прос неоднократно вставал в русской литературе⁵⁶, в отношении народности наблюдалась тенденция к отождествлению отдельного человека и народа в целом. Особенно ярко присутствует она на страницах путешествий, авторы которых склонны были во всяком встреченном ими иностранце или туземце видеть черты, присущие народности или культуре (цивилизованной или дикой) в целом. Эту трудность Надеждин предвидел, но не разрешил.

Отношение пионера русской этнографии к проблемам психического склада можно уточнить, обратившись и к его неэтнографическим сочинениям. В частности, в работе «Об исторической истине и достоверности» (1837) Надеждин дает определение «народной физиономии», или, в более узком смысле, «народного характера», понимая под ним «внутренние, духовные свойства». «Не язык один составляет отличительную черту народной физиономии. Народы отличаются между собой и особым образованием тела, преимущественно лица, и особыми отливами животного темперамента, и, наконец, особым сложением духовного организма, производящим более или менее резкие особенности в приемах ума, в движениях воли»⁵⁷. Далее автор перечисляет наиболее характерные типы народного темперамента, умственных способностей, разновидностей мышления (склонностей рассуждать абстрактно); темпераментом он объясняет и любовь к тем или иным видам искусства или эстетическим наслаждениям. Он отождествляет волю и характер: «...иные суровы, жестокосердны, строптивы, буйны; другие, напротив, мягки, добродушны, кротки и покорны»⁵⁸. Особенный интерес представляет объяснение Надеждиным источника этих различий: «Все это происходит от двух главных причин: во-первых, от географических особенностей местопребывания; во-вторых, от генеалогических особенностей происхождения каждого народа. Условия местопребывания и по времени и по важности своей суть главные причины, придающие особую физиономию народу. Хотя человек и называет себя царем природы, он, однако, раб ее, и раб самый покорный»⁵⁹. Таким образом, в основе представлений о «нраве», или «психологии», народа лежали те же причинно-следственные связи географического детерминизма, которые определяли предмет и методы географии — «землеведения» и «описательной географии». Убежденность в том, что категория «умственных и нравственных качеств» народа-этнуса может быть описана как объективно-научная, проистекала именно из идеи природной обусловленности этих и других этнических черт.

В основе этих определений находилось представление о нраве как об «одной половине или одном из двух основных свойств духа человека: ум и нрав образуют дух (душу). Ко нраву относятся: воля, любовь, милосердие, страсти, а к уму: разум, рассудок, память»⁶⁰. «Нрав» означал также характер (человека) и обычай. При этом «нрав природный, ес-

тественный» отличался от нрава «выработанного, сознательного». Определение «нравственный» противопоставлялось и умственному, и плотскому началам человека. Под словосочетанием «нрав народа» понимались «свойства целого народа... не столько зависящие от личности каждого, сколько от условно принятых, житейских правил, привычек, обычаев»⁶¹. Таким образом, под «умственными способностями» подразумевались объективные способности, а под «нравственными» — такие особенности проявления темперамента и выражения чувств, которые обусловлены кровным родством — во-первых, традицией и идеалом — во-вторых, и нормативными установками культуры (как позитивные (кротость), так и негативные (страсти)) — в-третьих. Именно «врожденность» нрава и передача его «по крови» и делала его характеристикой научно-объективной, вновь обращаясь к природно-обусловленным признакам этноса.

Само введение понятия «нрав» в описание этносов не было, конечно, оригинальным, за этим — многовековая традиция. «Под нравом понимаем, — пишет современный российский этнограф, — характер ограничения своевольных импульсов личности. Нрав — это зона ненормированных, нестереотипных проявлений темперамента и психических состояний... Биологически наследственная компонента нрава — темперамент, роль последнего в жизни этноса неоспорима»⁶². Поэтому нрав отделялся от «умственных способностей» народа, однако вместе они являли собой основу «психологии» этноса.

Реализация программы Надеждина на практике приводила ко многим трудностям как в собирании материалов, так и в их интерпретации⁶³. В первую очередь это было связано с кадрами «собирателей» — этнографов-любителей. Ими являлись все грамотные желающие — краеведы, военные, представители духовенства, дворяне, учителя, врачи, ссыльные и др., а в 1860–1870 гг. — народники, которые исходили из собственных представлений о том, что такое народ и народность, что есть их «умственные и нравственные» качества и какая информация объективна, а какая — нет. Таким образом, задача, поставленная Надеждиным в программе, могла быть выполнена лишь отчасти. Вставал вопрос об интерпретации полученных сведений, которая возлагалась на членов РГО, профессиональных ученых. Этот процесс был очень непростым, если учитывать теоретический уровень российской этнографической науки; он пришлось на время руководства Отделением этнографии РГО К. Д. Кавелиным.

Вклад К. Д. Кавелина в разработку концепции этноса. К. Д. Кавелин наряду с другими членами Общества должен был выполнить задачу анализа и систематизации полученных по программе материалов, а также стать одним из первых рецензентов обобщающих работ по этногра-

фии русского народа. Он вошел в историю русской этнографии как автор идей, касающихся методологических вопросов изучения народного быта, обычаев и нравов, его можно считать также одним из основоположников социальной (в том числе и этнической) психологии⁶⁴. В статье 1846 г. «Взгляд на юридический быт Древней Руси» он поддержал идеи Надеждина о необходимости сравнительного метода исследований народных обычаев и нравов, а также настаивал на обязательности исторического подхода к информации о современном состоянии народного быта, поскольку тот формировался на протяжении веков и, следовательно, подвергался изменениям, влияниям (которые очень важно доказать), переосмыслению. «Наши простонародные обряды, приметы и обычаи, — указывал Кавелин, — в том виде, в каком мы их теперь знаем, очевидно, сложились из разнородных элементов и в продолжение многих веков», и потому «...представляют самый нестройный хаос, самое пестрое, по-видимому, бессвязное, сочетание разнороднейших начал»⁶⁵. Систематизировать их в том «хаотичном» виде, как полагал Кавелин, невозможно, а потому нужно «разобрать» эти «напластования» по эпохам. Ученый, таким образом, предлагал применить к этнографии принципы исторического анализа и даже отождествлял в отдельных элементах этнографию с историей: «Описать свойства народа — значит написать его историю»⁶⁶, — заявлял он в этой же работе.

Кавелин обратил внимание на очень важную и трудноразрешимую проблему этнографического описания: соотношение индивидуальных качеств и черт отдельных людей, и сообществ в целом. Он пытался ответить на вопросы, где заканчивается личностное и начинается коллективное, народное начало и как наблюдателю определять эти различия. Особенно значимой представлялась задача их верной интерпретации при характеристике «умственных и нравственных» способностей народа. «Когда мы говорим, что народ действует, мыслит, чувствует, мы выражаемся отвлеченно: собственно действуют, чувствуют, мыслят единицы, лица, его составляющие, таким образом, личность, сознающая сама по себе свое бесконечное, безусловное достоинство, — есть необходимое условие всякого духовного развития народа»⁶⁷. Рассуждая на эту тему, Кавелин, в сущности, развивает идеи «психической этнографии» Надеждина, так как обращается к категории «духа народа» и методам его корректного описания. «Народ представляет такое же органическое существо, как и отдельный человек. Начните исследовать нравы (народа. — М.Л.), обычаи, понятия и остановитесь на этом, вы ничего не узнаете. Умейте взглянуть на них в их взаимной связи, в их отношении к целому народному организму, и вы подметите особенности, отличающие один народ от всех прочих»⁶⁸. Ученый, таким образом, видел способ разрешения проблемы в отходе от описательного метода как

единственного точного и в использовании функционального подхода к анализу явлений. Системность, функциональность и компаративность — вот сочетание методов исследования народности (в надеждинском смысле) по Кавелину. Это был существенный шаг на пути исследования народного нрава как признака этничности.

Однако остается неразрешенным вопрос, каковы критерии объективности такого описания, претендующего на обобщения без реконструкции, на основании лишь внешнего наблюдения и сопоставления? Как показала практика собирания сведений по надеждинской программе, мало кто из добровольных этнографов-любителей задумывался об этих — научных — критериях осуществляемой работы. Разночтения, касающиеся характеристики «нрава народа», были особенно заметны, «нрав» часто понимался как «нравы» и «нравственные устои», описание поведения, эмоционального склада и темперамента отождествлялось с этнической самобытностью даже тогда, когда собиратели сведений имели дело с жителями какой-либо местности или даже села, а не представителями отдельных народов или этнических групп. Типичным можно считать следующее определение: «Превосходство умственных способностей достаточно обнаруживается в искательности, необыкновенном соображении и сметливости в торговых оборотах, расчетливости и бережливости в домашнем быту»⁶⁹. К. Д. Кавелин стремился каким-то образом ввести подобные «этнографические наблюдения» в научное русло. Не отрицая саму возможность определения и объективно-научного познания «народного духа», народности, он считал, что ее можно выразить не общими словами, а на основании выявления происхождения и исторического развития своеобразных свойств: «Когда народ начинает жизнь более духовной жизнью и слово „народность“ одухотворяется в его устах, он перестает разуметь под ним одни внешние формы, но выражает им особенность народной физиономии, — это нечто неуловимое, непередаваемое, на что нельзя указать пальцем, чего нельзя ощупать руками, чисто духовное, чем один народ отличается от другого, несмотря на видимое сходство и безразличие.... Национальность становится выражением особенности нравственного, а не внешнего, физического существования народа»⁷⁰. Таким образом, из предложенных Надеждиным признаков отдельной народности «нрав народа», т. е. его умственный и нравственный строй, оказывается наиболее сложным для определения и объективного анализа, однако чрезвычайно важным — поскольку в случае сходства всех иных признаков он единственный может служить критерием выделения народа в самостоятельную «отрасль» или «племя», свойством, доказывающим его самобытность. Однако Кавелин еще не формулирует главную трудность научного изучения нрава: необходимость разделения позиций наблюдателя и наблюдаемого по

этому вопросу. Если отношение к «другим» и их характеристика (в том числе и стереотипы) часто записывались со слов представителей тех или иных групп (что, к слову сказать, делалось далеко не всегда), то черты «нрава» складывались из «общеизвестных мнений» других исследователей или даже собственных стереотипов и предубеждений наблюдателей, а зачастую просто из первого впечатления. Автохарактеристики в первые десятилетия функционирования программы не встречаются. Однако предложения Кавелина не встретили понимания и не были приняты ни научным сообществом, ни общественностью в целом.

В 1880-х гг., в период становления психологии, он выразил также несогласие с ее материалистической интерпретацией, выдвинутой И. М. Сеченовым в статье «Кому и как разрабатывать психологию?» (1873). Кавелин полагал, что психология может стать главной гуманитарной дисциплиной, и в работе «Задачи психологии» предлагал «позитивистскую программу развития психологической науки»⁷¹, однако авторитет и популярность Сеченова взяли верх.

В целом этнография середины столетия оказалась «в плену» географического — естественно-научного и антропогеографического — взгляда на предмет и методы «народоведения». Авторитет таких крупных ученых, как К. Риттер, Ф. Ратцель, Э. Реклю и других в 1850–1880-х гг., закреплял в русском обществе и науке идеи, в которых представление о быте и характере народов и, как следствие, об их историческом развитии ставилось в зависимость от климатических и географических условий формирования и существования. В трудах немецких географов и их российских коллег (в том числе в работах выдающегося русского географа П. П. Семенова-Тян-Шанского, в течение десятилетий бессменного председателя РГО) обосновывался принцип «страна влияет на жителей, жители на страну»⁷². Автор «Антропогеографии» К. Риттер предлагал четыре рода воздействия природы на человека, первым из которых является «влияние на-тело или дух отдельного человека, ведущее к прочным изменениям последнего, распространяясь на целые народы или части народов»⁷³.

В выдержавшей несколько изданий в русском переводе книге Ф. Ратцеля «Народоведение», в которой дается краткое описание внешности, хозяйства и культуры народов мира, в первом же разделе — об основных понятиях народоведения — задается одна из основных классификаций народов: их разделение на «диких» и «культурных». Автор подчеркивает, что это деление ни в коем случае не оскорбительно для представителей первой категории: «Мы называем народы дикими не потому, что они стоят в возможно тесной связи с природой, но потому, что они живут под ее давлением. Различия же между дикими и культурными народами следует искать не в степени, а в характере связи с природой»⁷⁴.

Давая подробное описание народов, автор применяет характеристики «умственных и нравственных» особенностей как имеющие объективно-научный характер. Например: «...в основных чертах малайского характера есть много монгольского: мягкость, миролюбие, спокойствие и вежливость, послушание высшим и редко склонность к преступлениям. К этому надо прибавить только недоверчивость и близнеца ее — недостаток откровенности...»⁷⁵. И хотя в другой своей работе Ратцель подчеркивает, что особенности психического склада и воли, зависящие от природных условий, не всегда могут быть определены как «народный характер», поскольку в каждом народе можно выделить отдельные типы жителей севера и юга, которые, в свою очередь, будут похожи на «северян», «южан» и «горцев», живущих в других странах и регионах⁷⁶, тем не менее речь идет лишь о критериях классификации и иерархии этнических общностей, но не об отмене самого принципа отношений между природой и человеческими общностями, в том числе этническими. Такой принцип «объективизации» психологического склада и характера этнических общностей в сущности тождественен представлениям предыдущего века.

Новые требования к этнографии в ее «надеждинском» и «кавелинском» понимании формировались в среде ученых другой специализации.

Российские исследователи русской народности, такие как, например, Ф. И. Буслаев, на материале литературных и фольклорных текстов сделали важный шаг на пути переосмысления понятий «народный» и «национальный». В. О. Ключевский так характеризовал «перемену», внесенную «новой наукой» — «сравнительным изучением народности» — в прежнее изучение народности словесностью: «...научный интерес от отдельных памятников личного творчества перенесен был на народную массу»⁷⁷. Аналогичные процессы наблюдались и в развитии исторической науки.

Н. И. Костомаров об этнографии русского народа. Проблема определения предмета и методов этнографии как отдельного научного направления волновала российских историков. Н. И. Костомаров в 1863 г. выступил с лекцией в РГО, в которой попытался обосновать необходимость ввести этнографию в сферу исторических исследований⁷⁸. Он поставил несколько важных вопросов. Во-первых, ученый обратил внимание на важность интерпретации собираемых этнографических сведений с точки зрения историзма, настаивая на необходимости объяснений причин складывания общности в том «образе», с которым имеет дело современный исследователь: «...нам хочется знать, почему у русских сложились такие, а не иные правила быта»⁷⁹. Во-вторых, он обратил внимание историков на необходимость изучения того слоя материальной культуры, который можно назвать «исторической этнографией», подчеркивая необходимость учитывать внешние и функциональные из-

менения, происходящие в быте и в повседневном поведении. При этом историк резко оспаривал сложившееся представление о том, что только социальные низы (крестьянство) являются носителем народных (в значении национальных) черт: «...предметом этнографии должна быть жизнь всех классов народа, и высших, и низших»⁸⁰. Ратуя, в сущности, за освоение той сферы исследований, которые ныне именуется социальной антропологией, Костомаров критиковал этнографов: «Принимали материал для предмета за самый предмет, этнографией называли замечания или описание касательно того, какие обычаи господствуют в том или другом месте, какие формы домашнего быта сохраняются здесь и там... Но забывалось, что главный предмет этнографии, или науки о народе, — не вещи народные, а сам народ, не внешние явления его жизни, а самая жизнь»⁸¹. Костомаров усматривал некий перекокс в этнографических изысканиях, чрезмерно занятых материальной жизнью русского народа, но мало проясняющих своеобразие духовного склада в его региональных особенностях и исторических формах, и вовсе не ставящих вопрос о значении тех или иных явлений, обрядов, норм поведения и т. п. Недостатки исторических исследований ученый видел в объекте изучения — это государство и социальные верхи общества, а не народ и народность в надеждинском смысле.

Изменение сложившегося положения Костомаров видел в объединении этнографии и истории, иначе говоря, в извлечении ее из сферы естественных наук и введение в науки социальные: «...обе науки должны быть изучаемы вместе и развиваться нераздельно одна от другой»⁸². Историк, таким образом, определяет иные перспективы этнографии в ее связи с историей. Взаимосвязь поможет преодолеть идею природной обусловленности народности и ввести формирование этничности в исторический контекст, т. е. показать динамику его развития, его способность к изменениям под влиянием различных факторов. Стремление Костомарова скорректировать задачи и методы этнографии было вызвано его критичным подходом к сочинениям о русском народе, однако выводы вполне могли быть отнесены и к исследованиям других народов империи, многим из которых приписывалось вековое постоянство и неизменность форм жизни. Принятие позиции Костомарова могло изменить и точку зрения на методическую важность сравнительных исследований, к которым призывал Надеждин за двадцать лет до него. Идеи историзма применительно к предмету этнографических исследований повлекли бы за собой пересмотр трактовки термина «нрав народа», который подразумевал неизменность и биологическую предопределенность «народного характера» и темперамента. Но Костомаров оперировал иными категориями, а потому, в сущности призывая именно к этому, не входил в детали этнографических дефиниций.

Два года спустя, в 1865 г., в журнале «Современник» была опубликована анонимная (незавершенная) статья, авторство которой сейчас приписывают А. Н. Пыпину, «Как понимать этнографию?»⁸³. В ней высказывались сходные упреки этнографам в том, что они чрезмерно увлеклись собирательством без объяснений и изучением главным образом материальной культуры («археологическое направление»). Автор призывает не забывать «современных явлений народного быта и их общественного интереса в настоящую минуту»⁸⁴. Судя по контексту, под «современными явлениями» понимаются те изменения традиционного крестьянского общества, которые стали особенно явственными после реформ 1860-х гг. Так вновь ставится под сомнение постулат этнографии 1840–1850-х гг. о консервативности крестьянского уклада и образа жизни. Кроме того, актуальной становится прагматическая этнография — на этот раз прагматическая не с научно-прикладной, а с социально-практической точки зрения: «Надлежащее изучение народной жизни в состоянии дать множество указаний, имеющих непосредственную важность для современных практических приложений»⁸⁵. Так этнографию стремятся вписать в главную программную идею 1860–1870-х гг.: просвещение во имя благосостояния народа и государства.

Этнографию призывали служить просвещению не пассивно, как тогда, когда она на начальном этапе своего возникновения не была отделена от статистики, демографии и природоведения, а активно, созидательно, предлагая и предпринимая конкретные меры для улучшения быта народов, исходя из научно обоснованной концепции их развития: «...этнография — наука при современном стремлении в нашем отечестве к улучшениям, обращающая на себя всеобщее внимание и при тщательном ее изучении на практике, — представляющая огромное поле как недостатков, нужд и злоупотреблений, так и средств к их искоренению»⁸⁶. Так определяет ее один из авторов научно-популярного очерка в 1863 г. Тридцать лет спустя славист и этнограф В. И. Ламанский полностью солидарен с ним: «...народоведение (этнография и этнология) имеет великое значение и в смысле просветительном, христианско-человеческом, и в смысле государственном»⁸⁷.

После Костомарова и другие исследователи подвергают критике идею о том, что именно крестьянство является хранителем и воплощением «духа» народности. Так, И. Д. Беляев последовательно разобрал историю складывания всех сословий русского общества с точки зрения смешения различных этнических компонентов и культур⁸⁸ и пришел к заключению, что «крестьянское сословие вообще, несмотря на его великорусский характер, мудрено признать представителем чистоты великорусского типа в этнографическом отношении»⁸⁹. Автор однозначно утверждал, что ни одно из сословий современного русского общества не

может быть признано представителем чистого великорусского племенного типа, но в наибольшей чистоте он сохраняется в «коренных городах старых русских городов и в тех крестьянских общностях, которых прикрепление к земле застало в местностях давно обруселых...»⁹⁰.

Идея «характера народа» в трудах российских историков. Идея географического детерминизма не отвергалась в 1860–1870-х гг. полностью, но значительно корректировалась в социальных науках под влиянием идей О. Конта, Г. Спенсера и позитивизма в целом. Однако она стала особенно актуальной для исторических объяснений. Представление об обязательном прогрессе и конкретные перемены и преобразования в России периода модернизации подтверждали необходимость пересмотра концепций о неизменности строя жизни (и, как следствие, нрава) русского крестьянства и других народов России. Особое значение концепция географического детерминизма приобрела в курсах русской истории. Так, С. М. Соловьев, выделяя условия, определившие развитие Древней Руси, на первое место ставил «природу страны», на второе «быт племен», на третье — «состояние соседних народов и государств» и утверждал, что ход событий в России «постоянно подчиняется природным условиям»⁹¹. Отношение В. О. Ключевского к вопросу о роли географического и этнического факторов в истории хорошо изучено. В «Курсе русской истории» ученый использовал термины «национальный» или «племенной характер», над которым «природа страны много поработала»⁹². Рассматривая характер «великоросса», историк отмечает такие его качества, как осмотрительность, изворотливость, «привычку к терпеливой борьбе с невзгодами и лишениями»⁹³, выносливость, наблюдательность, причем истоки складывания своеобразия психологического облика он видит именно в природных, а не социально-общественных условиях формирования народа. Историки — представители так называемой «исторической географии» — Н. П. Барсов, М. К. Любавский и десятилетия спустя (в 1897 г.)⁹⁴ видели цели своего направления в том, чтобы «показать влияние внешней природы на развитие человечества или отдельных особей его — народов. Она должна обнаружить, насколько жизнь людей в известной стране подвергалась действиям общих географических условий, насколько условия эти способствовали развитию социальности или же послужили препятствием, изображать воздействие человека на природу и результаты этой борьбы»⁹⁵. Проблема этногенеза в широко понимаемом значении термина объединяла и историков, и географов в их поисках социально-культурной «физиономии» народа. Отказываясь от географической прямолинейной зависимости в отношениях человека и природы, с иронией относясь к идее «духа народа», выражаемого исследователями фольклора и сло-

весности, представители общественных наук пытались определить связь между природой и формами хозяйствования, а впоследствии социальной организацией общества и политической системам. Поиски причин и последствий крепостного права — чрезвычайно актуальные для этой эпохи — стимулировали именно такую схему рассуждений. В этом смысле практическая роль этнографии была действительно ясной: образ жизни и мышления народа, его темперамента (в психическом и социальном проявлениях) находится в прямой зависимости от быта, сложившегося в результате климатических и хозяйственных условий, он исторически обусловлен. Отсюда — всего несколько шагов от акта введения этнографии в историческую дисциплину.

Этнография — социальная наука? Однако к эпохе явных и существенных перемен последней трети XIX в. этнография оказалась не готова. Вышли на первый план процессы, знаменующие кризис традиционного крестьянского общества, что имело очень важное значение для изменения самосознания самого крестьянства, которое остро реагировало на социальные процессы внутри своего сословия. Это выражалось в активизации охранительных механизмов, ужесточении норм обычного права и борьбой между «консерваторами» и «отступниками». Будучи свидетелями «включения» этих функций механизма выживания, непрофессиональные наблюдатели и «описатели» этнографических сведений в крестьянской среде часто затруднялись определить в такой ситуации, например, те же «умственные и нравственные» качества народности, однако самый жанр народоописания оставался, несмотря на все усилия, консервативным, поскольку все еще продолжала оставаться незавершенной задача «каталогизации» народов империи.

Дистанцированность субъекта и объекта изучения много позже приведет к кризису этнологической науки на Западе. Но вместе с тем стоит заметить, что еще на этапе собирания этнографических материалов в России с ее особым вниманием к духовной (в том числе и к религиозной) культуре народов, российские этнографы во многом предвосхитили решение методологических задач сравнительного (кросс-культурного) исследования. Компаративный метод представлялся ученым в 1870–1880-е гг. важнейшим для установления этапов развития каких бы то ни было феноменов и явлений во всех сферах науки — и в первую очередь в дисциплинах естественных и исторических. Этнография к этому периоду понималась в равной степени как существенная часть обеих областей. Человеческое сообщество зависит от природных условий и изменяется под их воздействием до определенного этапа, по достижении которого достигается некоторая степень свободы — и эти группы переходят, таким образом, из «дикого» существования в «культурное». Так

можно сформулировать новое понимание эволюции человеческих коллективов. Связь этнографии с историей, впрочем, не была столь четко определена, и вопрос об их взаимодействии в научном поле возникал лишь в отношении «Volkskunde» — т. е. истории русского народа. Роль этнографии (как и археологии) мыслилась как вспомогательная — для филологии, антропологии и т. д. Сравнительные исследования могли сделать ее самостоятельной дисциплиной, поскольку способствовали бы реализации задач реконструкции этногенеза и выявления закономерностей развития племен и народов. Эти задачи всегда имели и прикладное — т. е. идеологическое и политическое значение⁹⁶. Тогда же, в 1870–1880-е гг. формируется представление о культурах — как синониме термина надеждинской «народности». М. И. Кулишер в 1887 г. отмечал: «Одна только сравнительная история культуры в самом обширном смысле может дать ясное понятие о развитии человечества... (Она. — М. Л.) должна, таким образом, проследить историческое развитие этих явлений и рассмотреть, когда и в какой мере они осложнились новыми элементами, комбинировались и получили ту физиономию, какую они представляют в настоящее время»⁹⁷. Сопоставление различных народов между собой в их развитии и изменении, по мнению Кулишера, дает возможность избежать широко распространенного в науке и в обществе (не только в российском) заблуждения об оригинальности собственной народной культуры — «искони предопределенной, из века в век установленной национальной исключительности»⁹⁸. Механизм формирования подобных заблуждений Кулишер описывает так: «Лица, которым случалось у нас встретить какую-либо неизвестную им дотоле черту народной жизни... принимали эту черту... за особенность, присущую исключительно русскому народу, и на этих мнимых особенностях сооружали целые здания, целые научные теории...»⁹⁹. Признавая существование общего закона развития для всех народов без различия, автор задавался вопросом о том, в чем же тогда состоит различие между ними и чем оно определяется. «Разница климатов, почвы, естественных условий, которые окружают народы, несомненно, оказывают... на них влияние, несомненно, отражаются на их образе жизни, на их нравах, обычаях, умственном и нравственном развитии...»¹⁰⁰, — утверждал ученый.

Логика мысли автора проясняет последствия применения теории эволюционизма и идеи прогресса к этнографии: отличия между народностями связаны с возможностями человека в заданных природных условиях. Неясно, однако, как именно меняется образ жизни народа, когда он начинает осваивать новые территории или в связи с вытеснением вынужден переселяться в новые области. Что в народности остается неизменным, а что легко преобразуется под натиском внешнего воздействия? Этот вопрос приобретал особую, болезненную актуальность в ус-

ловиях трансформации традиционного русского крестьянского общества в период пореформенной модернизации. Неясным оставалось и то, какие народы с какими сравнивать. Кулишер упоминает возможность сопоставления русских с народами европейскими; известно, что в 1830–1880-е гг. активно осуществлялись компаративистские исследования славянских народов.

Нельзя не упомянуть и точку зрения А.Н. Пыпина на этнографию. В предисловии к известному труду по истории русской этнографии он определяет ее так: «Изучения национальные, именно изучения народа и народности, с целью научным образом постичь характер и жизнь народа, как основу национальности и государства, и указать истекающие из них начала, особенности и современные потребности общественного развития»¹⁰¹. Он высоко оценивал сравнительные исследования по славянской этнографии, которые выявили древнейшие черты общеславянской основы¹⁰², но, строго говоря, его книга посвящена не истории русской этнографии, а скорее истории выражения русского (в понимании эпохи) самосознания в различных литературных памятниках, критике и публицистике. Высоко ценя работы «о народной психологии», Пыпин, в сущности, понимает ее как К. Д. Кавелин, предлагавший в 1850-х гг. в работе «О задачах психологии» программу психологического анализа памятников культуры, и в первую очередь письменности и фольклора.

Этнография и антропология. Несколько иное понимание концепция этноса получила в трудах российских антропологов. Институционализация физической антропологии как самостоятельной дисциплины произошла раньше этнографии¹⁰³, хотя антропологические исследования еще в программе Надеждина рассматривались как часть этнографического изучения народности. Антрополог Д. А. Коропчевский, основываясь на теоретических положениях антропогеографии Ф. Ратцеля, так определяет предмет этнографии: «Теоретически главным предметом исследования... является народообразовательный процесс, начиная от его первичной формы („рода“), продолжая дальнейшими осложнениями ее („племенами“) и кончая законченной формой, к которой могут быть приложено обозначение „народа“. Практически задача этнолога сводится к определению — к какой из стадий этногенетического процесса может быть отнесена та или другая наблюдаемая... группа? ...Насколько эта степень развития зависит от окружающих условий?»¹⁰⁴. Этот фрагмент свидетельствует о том, что эволюционистские взгляды на стадильность формирования типов этнической общности в науке уже сложилась, и главная задача этнографии понимается как «закрепление» места народа на лестнице эволюции. Такое понимание развития народности сформировалось под влиянием дарвинизма и эволюционизма.

Идеи Э. Реклю о делении народов на «диких» и «культурных» также разделялись русским антропологом, который, впрочем, стремится указать причины (естественно-климатические и исторические) «культурного уровня или культурного значения народа, а именно его материально-благосостояния и умственного развития»¹⁰⁵. Он видит их не во врожденной неспособности или отсталости, но исключительно в условиях его формирования и развития. Кроме того, в классификации народов Д. А. Коропчевский прибегает к понятию хозяйственно-культурного типа (в частности, он последовательно выделяет типы «земледельцев», «кочевников», «мореплавателей» и т. д.).

Выдающийся антрополог и этнограф Д. Н. Анучин в программной статье 1889 г. «О задачах русской этнографии»¹⁰⁶ детально описывает и оценивает вклад своих русских предшественников в определение предметного поля и методологии этнографии и предлагает собственное видение некоторых наиболее актуальных, как он полагает, практических вопросов этнографии в России. Так, в частности, он подробно обосновывает план работы ученого над этнографическим исследованием народа, включающий в себя обязательную предварительную работу с историографией по теме, полевые исследования всех аспектов жизни народа — его быта, языка, культуры с неизменными данными физической антропологии и археологии. В этом плане большое значение приобретают принципы систематизации и классификации, методы сравнения и критического отношения к уже имеющимся материалам. Анучин критиковал чрезмерное увлечение описательной стороной исследований и также подчеркивал обязательность «объяснения и истолкования фактов народной жизни и взаимного отношения и распределения племен»¹⁰⁷. Такого рода работы, по его мнению, должны составлять «свой отдельный цикл и преследовать свои особенные цели». Любопытно, что Анучин, исходя из эволюционистских представлений, ставит в пример этнографам их коллег-зоологов, умеющих работать над реконструкцией процесса складывания, развития и изменения видов, и призывает располагать этнографические факты в такой последовательности, чтобы выстроить стройную историческую картину. Антрополог подчеркивает важность этнографических данных для других дисциплин — русской истории, истории культуры, первобытной истории.

Образцом реализации подобной программы этнографического описания народа может служить его работа «Япония и японцы. Географический, антропологический и этнографический очерк»¹⁰⁸, в которой обращает на себя внимание характеристика в духе описания «умственных и нравственных способностей». Называя японцев «деятельным и трудолюбивым народом», Анучин отмечает среди других такие его «особенности», как чистоплотность, которой он «резко отличается от китайцев, монголов и других

азиатов», вежливость (правда, «довольно своеобразную»¹⁰⁹) и т. п. Таким образом, можно предположить, что указанные выше требования историзма не относятся к характеристике «нрава народа», который трактуется Анучиным в стиле «психологической этнографии» еще надеждынских времен; хотя он указывает качества не характера, но физиологии народности (чистоплотность), которые, очевидно, являются для него самостоятельным критерием для отнесения народов к той или иной этнической культуре или группе (в данном случае — азиатской). «Деятельность» и «трудолюбие» народа — определения функционального свойства, а не признакового, что показывает, как изменилось представление о «нраве» и «характере» народа в антропологических исследованиях.

Именно антропологическим отделением Общества любителей естествознания, археологии и этнографии при Московском университете (ОЛЕАЭ) в 1877 г. обсуждались требования к организуемым Комитетом экспедициям и, в частности, программа, которой следовало руководствоваться в экспедиционной работе. Вопросник был составлен по европейским образцам и содержал несколько десятков пунктов. В них особого внимания заслуживают сведения под номерами 1: «умственные способности: память, воображение и радость. Степень способности к обобщениям» и 2: «нравственность: что стыдно, что преступно, что дозвоительно из недозволенного у европейцев».

Была представлена и еще одна, гораздо более детальная инструкция-вопросник «для изучения сравнительной психологии», в которой по инициативе В.Н. Бензенгра были использованы программы Ш. Ж. Летурно, Гильоли и других европейских этнологов. Даже перечисление ее основных разделов дает понятие о классификации «нрава и психологии народа». В разделе «нравственные потребности и аффекты» содержатся вопросы об отношениях между родителями и детьми, об отношениях в браке и в семье, о понятии Отечества, социальных чувствах, нравственных качествах, характере¹¹⁰, а под рубрикой «вопросы, касающиеся умственных способностей вообще» — указаны те, что относятся к характеристике памяти, воображения, понятливости, наблюдательности. Кроме того, Бензенгр предлагает использовать в этнографическом опросе программу Г. Спенсера по сравнительной психологии, которая нацелена на описание умственного и нравственного развития народа (рода, племени). При этом Бензенгр особо подчеркивает «взаимную зависимость, которая существует между натурою человека и тем социальным строем, в котором он живет»¹¹¹. Перед нами, таким образом, детализированная, но оставшаяся неизменной по принципам построения программа описания умственных и нравственных свойств народа, которая, хотя и исходит из признания зависимости общественного уклада от природных условий, но тем не менее не устраняет главного своего ос-

нования, а именно: веру в возможность объективно-научной констатации на основании внешнего наблюдения без актов анализа и реконструкции явлений.

Теория на практике. Этнографы последней четверти столетия, не пытаясь полемически пересмотреть труды своих предшественников, в той или иной степени лишь корректируют их воззрения. В. И. Ламанский в программной редакторской статье журнала «Живая старина» видит задачи «этнографии и этнологии» «в изучении и определении места, характера и значения каждой расы, каждого племени, каждой народности во всем их местном разнообразии, как в прошлом, так и в настоящем»¹¹² и считает обязательным сотрудничество специалистов различных гуманитарных дисциплин. Это заявление знаменует собой начало нового этапа: описания народов империи уже создано, необходимо пополнять их информацией о современном состоянии и создать обобщающую концепцию расо- и этногенеза и определить место каждого народа в расовой, антропологической, языковой, культурной и т. п. классификациях.

В следующей (после надеждинской) «Программе РГО для собирания сведений по этнографии» (1890), которая представляла собой подробнейший вопросник для интервьюера, неизменным оставался наряду с темами «физические свойства, наружность», «язык, народные предания и памятники» и «домашний быт», раздел «умственное и нравственное развитие» (народа. — *М. Л.*)¹¹³. В пояснении к нему говорится: «...необходимо обращать внимание на те только свойства и наклонности ума и характера, которыми резко отличаются жители известной местности от их соседей, а не помещать того, что составляет общую принадлежность целого племени или народа. Прежде всего нужно определить важнейшую черту характера, живость или вялость его»¹¹⁴. Далее перечислены основные возможные варианты определения: восприимчивость и впечатлительность, сдержанность и обдуманность, настойчивость и любознательность, внимательность, консерватизм или склонность к новым знаниям и т. п.¹¹⁵. Особое внимание уделено авторами программы тому, как именно выявлять те или иные психологические качества — в сущности, перед нами усовершенствованная и детализированная картина изучения «нрава народа»: «Необходимо указывать на те обстоятельства, под влиянием которых принято то или другое направление наклонности народа и вообще сложился весь его характер, ...подобные объяснения должны основываться на фактах, а не на одних умозаключениях»¹¹⁶. Под «фактами» авторы понимают этногенетические легенды, поговорки и эпитеты, а также черты, которые являются этностереотипными.

Последний раздел предусматривал возможность и обязательность изучения этнического характера, но не как части самосознания, а вновь —

в качестве внешнепризнаковой характеристики. Методом верификации выступало сравнение с соседями. Изучение психической этнографии проводилось опосредованно — по сведениям об общественном быте и духовной культуре, а в 1890-е гг. осуществлялось методами наблюдения над поведением и проявлением личности в коллективе¹¹⁷.

В конце века преодолеть стереотипы в изучении национального характера, в частности великорусской народности, попытался князь В. Н. Тенишев. В 1897 г. он создал Тенишевское этнографическое бюро, разработал детальную программу изучения народности, включив в нее, кстати, и городское население русских губерний¹¹⁸. Тенишев требовал неукоснительного следования фактам, призывал не записывать свои мнения и суждения об объекте исследования, а руководствоваться только правилами программы. Важно отметить, что среди разделов его программы не было пункта «об умственном и нравственном уровне», хотя при желании некоторую информацию об этом можно было получить из рубрики Е «Отношения между собой и к посторонним лицам».

Итак, на протяжении XIX в. признаки «народа» (этноса) (язык, облик, быт и нравы), сложившиеся в 1840–1850-е гг., опирались на представление о возможности внешней идентификации. Выражением народности — в значении этничности — выступали отличительные черты внешности, характера и материальной культуры. «Нрав» как биологическая, врожденная черта этноса, обусловленная, как физический облик и быт, географическими условиями формирования, понимался как нечто неизменное, его своеобразие могло выступать даже как этномаркирующее. При этом «нрав» народа отличался от его «умственных» свойств. Поскольку главным методом «объективирования» выступало внешнее наблюдение, то ему приписывался статус научно обоснованной констатации. Хотя такое этнографическое описание и учитывало самописание, самоназвание и самосознание народа, оно не очень ему доверяло — эта сфера часто оставалась вне поля зрения исследователя, особенно любителя. Стремление к максимальной «объективности» научного исследования основывалось на убежденности в превосходстве изучающего над изучаемым и на необходимости оценить его (во всех смыслах). Весьма примечательной в этом отношении стала уже упоминавшаяся нами анонимная статья в «Современнике» 1865 г. «Как понимать этнографию?». Это отчасти было данью естественно-научному прошлому этнографии, отчасти вытекало из идеи географического детерминизма. Однако само стремление зафиксировать черты «национального характера» как элемента и признака этничности может быть рассмотрено в ракурсе более масштабного процесса, выходящего за рамки собственно истории этнографической науки. Его можно рассматривать как свиде-

тельство включения знаков и символов иного типа социальной культуры в поле внесловной единой национальной общности, объединительными началами которой служит не самосознание и самоотождествление отдельных его групп, а сохранение фрагментов древнего быта и архаического психического склада. Важнейшим механизмом процесса внешней идентификации становится описание и систематизация текстов народной культуры. Как следствие российская этнография прибегает к многоуровневому перекодированию этой информации. Наиболее значимыми ее видами становится «объективизация» методики внешнего наблюдения и подвергающая оригинал сильному искажению практика «перевода» текстов бесписьменной культуры. Следующим и неизбежным этапом оказывается обучение главных носителей традиции и этнической культуры, что, в свою очередь, неизбежно приводило к необходимости «конструировать» нацию — если принять теорию формирования наций Б. Андерсона¹¹⁹ — как «воображаемое сообщество».

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Исследования истории, методологии и практики этнографической науки, в том числе и российской, в контексте имперской идеологии и этнокультурной и национальной идентичности, завершённые в последнее десятилетие, довольно многочисленны. См., например: *Мейер М. М.* Национальный вопрос в реформационной и революционной концепциях российского государства первой четверти XIX в. // Из истории реформаторства в России. М., 1991; *Каушба В.* В чем состоит дилемма этнологии XX века? // *Ab Imperio*. 2002. № 3. С. 46–50; *Hellberg-Hirn E.* Introduction // *The Fall of an Empire, the Birth of a Nation. National identities in Russia* / Ed. by Ch. Chulos, T. Piirainen. Ashgate, 2000.
- 2 *Вим ван Мейрс.* Советская этнография: охотники или собиратели? // *Ab Imperio*. 2001. № 3.
- 3 *Heikkinen K.* Ethnicity and Nationalism in Contemporary Russian Ethnography // *The Fall of an Empire, the Birth of a Nation. National identities in Russia* / Ed. by Ch. Chulos, T. Piirainen. Ashgate, 2000.
В нашу задачу не входит оценка или обзор данного вопроса. Однако следует указать, что дисциплина эта изучается в качестве отдельного курса на факультетах психологии. См., в частности, учебник: *Стефаненко Т.* Этнопсихология. М., 2000 и др. издания.
Токарев С. А. История русской этнографии (дооктябрьский период). М., 1966.
Фермойлен Х. Ф. Происхождение и институализация понятия *Volkskunde* (1771–1843) // Этнографическое обозрение. 1994. № 4. С. 101–109; *Каушба В.* В чем состоит дилемма этнологии XX века?; *Токарев С. А.* История русской этнографии...; *Он же.* Вклад русских ученых в мировую этнографическую науку // *Токарев С. А.* Избранное: В 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 69–101.
Бромлей Ю. В. К вопросу о неоднозначности традиций этнографической науки // Этнографическое обозрение. 1988. № 4. С. 3.

- 8 Этнография // Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 2. Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. М., 1988. С. 22. О том, как именно выражались подобные представления во взглядах просвещенных европейцев XVIII и XIX вв., см. в монографиях: Саид Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока СПб., 2006 (гл. 1 и 2); Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003.
- 9 Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии середины XIX и начала XX в. М., 2000. С. 296; Марков Г. Е. Очерки истории немецкой науки о народах. М., 1993.
- 10 Токарев С. А. Вклад русских ученых в мировую этнографическую науку. С. 72.
- 11 Об этом см.: Слэзкин Ю. Естествоиспытатели и нации: русские ученые XVIII века и проблема этнического многообразия // Российская империя в зарубежной историографии. М., 2005. Работы последних лет. Антология. С. 120–154.
- 12 Там же. С. 128.
- 13 Там же. С. 133.
- 14 Там же. С. 137.
- 15 Там же. С. 140.
- 16 Лотман Ю. М. Проблема знака и знаковой системы и типология русской культуры XI–XIX вв. // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2001. С. 414.
- 17 Надеждин Н. И. В чем состоит народная гордость? // Надеждин Н. И. Сочинения: В 2 т. СПб., 2000. Т. 2. С. 797.
- 18 Там же. С. 800.
- 19 Бромлей Ю. В. К вопросу о неоднозначности традиций... С. 8.
- 20 О концепциях этноса в русской «литературе путешествий» этой эпохи см.: Куприянов П. С. Представления о народах у российских путешественников начала XIX в. // Этнографическое обозрение. 2004. № 2. С. 21–38.
- 21 Там же. С. 28–32.
- 22 Тартаковский А. Г. Русские мемуары и историческое сознание XIX в. М., 1997.
- 23 Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов... СПб., 1776. Ч. 4. А 2.
- 24 Сабурова Л. М. Русское географическое общество и этнографические исследования (дореволюционный период) // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Л., 1977. Вып. 7. С. 5–21.
- 25 Цит. по: Берг Л. С. Всесоюзное географическое общество за 100 лет. М.; Л., 1946. С. 33.
- 26 Там же. С. 33–34.
- 27 Там же. С. 64.
- 28 Бэр К. М. Об этнографическом исследовании вообще и в России в особенности // Записки Русского Географического Общества. 1846. Кн. 2.
- 29 Этнография // Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 2. С. 23.
- 30 О взглядах Надеждина на цели и задачи российской этнографии см.: Токарев С. А. История русской этнографии (глава «Русская география в 1840–1860-е гг.»); Токарев С. А. Вклад русских ученых в мировую этнографиче-

- скую науку. С. 79–80; *Соловей Т. Д.* Николай Иванович Надеждин. У истоков отечественной этнологической науки // *Этнографическое обозрение*. 1994. № 1. С. 103–107.
- 31 Доклад Надеждина был опубликован в том же году. См.: *Надеждин Н. И.* Об этнографическом изучении народности русской // *Записки Русского Географического Общества*. 1846. Кн. 2. Работа Надеждина была переиздана только в 1990-х гг. с этнографическими комментариями Т. Д. Соловей. См.: *Надеждин Н. И.* Об этнографическом изучении народности русской // *Этнографическое обозрение*. 1994. № 1–2. Цитирование производится по последнему изданию.
- 32 *Найт Н.* Наука, империя и народность: этнография в Русском географическом обществе. 1845–1855 // *Российская империя в зарубежной историографии...* С. 167.
- 33 *Егоров Б. Ф.* Очерки истории русской культуры XIX в. // *Из истории русской культуры*. М., 1996. Т. V; *Вортман Р.* «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX в. // *Россия. Russia*. Новая серия под ред. Н. Охотина. М.; Венеция, 1999. № 3 (11).
- 34 Цит. по: *Асоян Ю., Малафеев А.* Открытие идеи культуры... С. 96.
- 35 Подробнее о появлении слова «народность» и его значениях в русском литературном языке см.: *Сорокин Ю. С.* Развитие словарного состава русского литературного языка. 30-е — 90-е гг. XIX в. Л., 1965. С. 205–207; о функционировании и использовании термина «народность» в русской общественной мысли XIX в. см., в частности, главу «Народность и история» в: *Лазари А. де* В кругу Федора Достоевского. Почвенничество. М., 2004.
- 36 *Сорокин Ю. С.* Развитие словарного состава... С. 207.
- 37 *Найт Н.* Наука, империя и народность... С. 170.
- 38 *Каменский З. А.* Н. И. Надеждин. М., 1984. С. 97–101.
- 39 *Пыпин А. Н.* История русской этнографии: В 3 т. Т. 1. Общий обзор изучений народности и этнография великорусская. СПб., 1890. С. 23.
- 40 См., в частности: *Токарев С. А.* Вклад русских ученых в мировую этнографическую науку. С. 79–80, *Найт Н.* Наука, империя и народность... С. 170–174.
- 41 *Надеждин Н. И.* Об этнографическом изучении народности русской // *Этнографическое обозрение*. 1994. № 1. С. 110.
- 42 Там же. С. 113.
- 43 Там же.
- 44 *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1979. Т. 2. С. 462.
- 45 Ср.: «Этничность — форма социальной организации культурных различий» (*Садохин А. П.* Этнология. Учебник. М., 2000. С. 79); об этничности как разновидности идентификаций см.: *Соколовский С. В.* Этничность как память. Традиции этнологического знания // *Этнокогнитология*. М., 1994. Вып. 1. С. 9–27.
- 46 *Надеждин Н. И.* Об этнографическом изучении народности русской. № 1. С. 110.
- 47 Цит. по: *Соловей Т. Д.* Николай Иванович Надеждин... С. 105.
- 48 *Токарев С. А.* Вклад русских этнографов... С. 80.
- 49 *Надеждин Н. И.* Об этнографическом изучении народности русской. № 1. С. 114.

- 50 Там же. С. 114–115.
- 51 Там же. С. 114.
- 52 «Сам термин „быт“ способен многое рассказать о сущности национальной этнографии; ...понятие было уникальной чертой именно русской этнографии», — подчеркивает Н. Найт (*Найт Н.* Наука, империя и народность... С. 181). Категория быта представляется наименее определенной, включающей в себя многое: от календарных обрядов до хозяйственного инвентаря. О значении слова «быт» в лексике XIX в. см.: *Сорокин Ю. С.* Развитие словарного состава... С. 278–280; о содержании термина «быт» в этнографии XIX в. см. подробнее: *Кавелин К. Д.* Быт русского народа. Сочинение А. Терещенко // *Кавелин К. Д.* Собр. соч.: В 4 т. СПб., 1898. Т. 4. С. 6–167; *Струве П. Б.* Дух и быт // *Струве П. Б.* Дух и слово. Статьи о русской и западноевропейской литературе. Paris, 1981.
- 53 Разделы и пояснения вопросника опубликованы не были, их краткая характеристика содержится в статье: *Рабинович М. Г.* Ответы на программу Русского Географического Общества как источник для изучения этнографии города // *Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии.* Л., 1971. Вып. 5.
- 54 *Зеленин Д. К.* Описание рукописей Ученого Архива Русского Географического Общества. Пг., 1914–1916. Вып. 1. С. X.
- 55 Цит. по: *Рабинович М. Г.* Ответы на программу Русского Географического Общества... С. 39.
- 56 Полемика о «типе» и «типичном» в русской литературной критике, в которой принимали участие в разное время В. Г. Белинский, А. А. Григорьев, Ф. М. Достоевский и др.
- 57 *Надеждин Н. И.* Об исторической истине и достоверности // *Надеждин Н. И.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 781.
- 58 Там же. С. 782.
- 59 Там же.
- 60 *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 558.
- 61 Там же.
- 62 *Чеснов Я. В.* Этнический образ // *Этнознаковые функции культуры.* М., 1991. С. 70, 71.
- 63 Об этом см.: *Токарев С. А.* История русской этнографии... С. 216–273; *Бердинских В.* Уездные историки: русская провинциальная историография. М., 2003; *Найт Н.* Наука, империя и народность... С. 174–186.
- 64 *Будилова Е. А.* Социально-психологические проблемы в русской науке. М., 1983. С. 11–17, 113–125.
- 65 *Кавелин К. Д.* Быт русского народа. Сочинение А. Терещенко. С. 50.
- 66 Там же. С. 11.
- 67 *Кавелин К. Д.* Взгляд на юридический быт Древней Руси // *Сочинения К. Д. Кавелина:* В 4 т. СПб., 1897. Т. 1.
- 68 *Кавелин К. Д.* Быт русского народа. Сочинение А. Терещенко. С. 42.
- 69 *Бабарыкин В.* О жителях сельца Васильевского Нижегородской губернии Нижегородского уезда // *Этнографический сборник.* СПб., 1853. Т. 1. С. 21.
- 70 *Кавелин К. Д.* Взгляд на юридический быт Древней Руси. С. 62.
- 71 *Будилова Е. А.* Социально-психологические проблемы в русской науке. С. 123.

- 72 О влиянии К. Риттера на взгляды П. П. Семенова в отношении влияния природы на характер человеческой деятельности и особенности народного (в значении этнического) быта см.: *Чернявский В. И.* П. П. Семенов-Тянь-Шанский и его труды по географии. М., 1955. С. 92–93.
- 73 Цит. по: *Корончевский Д. А.* Значение «географических провинций» в этногенетическом процессе. Дис. на степень магистра. СПб., 1905. С. 48.
- 74 *Ратцель Ф.* Народоведение: В 2 т. 4-е изд. СПб., 1904–1905. Т. 1. С. 14.
- 75 Там же. С. 386.
- 76 *Ратцель Ф.* Земля. 24 общедоступных беседы по общему землеведению. Географическая книга для чтения. М., 1882. С. 507–509.
- 77 *Ключевский В. О.* Ф. И. Буслаев как преподаватель и исследователь // *Ключевский В. О.* Исторические портреты. М., 1990. С. 548.
- 78 *Костомаров Н. И.* Об отношении русской истории к географии и этнографии // Исторические монографии и исследования Н. Костомарова: В 20 т. СПб., 1867. Т. 3. С. 355–377.
- 79 Там же. С. 363.
- 80 Там же. С. 360.
- 81 Там же. С. 359.
- 82 Там же. С. 361.
- 83 Как понимать этнографию? // Современник. 1865. № 2. Об авторстве А. Н. Пыпина см.: *Frierson C.* Peasant Icons. Representation of Rural People in Late XIX century Russia. New York; Oxford, 1993. P. 27.
- 84 Как понимать этнографию? С. 180.
- 85 Там же.
- 86 Природа и люди в Финляндии или очерки Гельсингфорса / Сост. Вл. Сухаро. СПб., 1863. С. 1.
- 87 *Ламанский В. И.* К вопросу об этносах и государственности в России // Живая старина. 1894. Вып. 1. С. 113.
- 88 *Беляев И. Д.* Как образовалось великорусское племя и какое сословие принять представителем великорусского племенного типа? // Известия ОЛЕАЭ при Императорском Московском Университете. Антропологическое отделение. М., 1865. Т. I. С. 32–43.
- 89 Там же. С. 43.
- 90 Там же.
- 91 Цит. по: *Чернобаев А. А.* Соловьев Сергей Михайлович // Историки России. Биографии. М., 2001. С. 211.
- 92 *Ключевский В. О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция XVII // *Ключевский В. О.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1987. Т. 1. С. 310.
- 93 Там же. С. 312.
- 94 *Любавский М. К.* Историческая география России в связи с колонизацией. М., 1909.
- 95 Цит. по: *Любавский М. К.* Историческая география России. СПб., 2000. С. 22.
- 96 *Мыльников А. С.* Народы Центральной Европы: формирование национального самосознания XVIII–XIX вв. СПб., 1997.
- 97 *Кулишер М. И.* Очерки сравнительной этнографии и культуры. СПб., 1887. С. 1.
- 98 Там же. С. 2.

- 99 Там же.
- 100 Там же. С. 3.
- 101 *Пыпин А. Н.* История русской этнографии: В 3 т. Т. 1. С. 3.
- 102 Там же. С. 32.
- 103 В 1864 г. по инициативе профессора А. П. Богданова в Москве был создан Антропологический отдел Общества любителей естествознания, ставший центром антропологических исследований, а в 1870-е гг. аналогичные отделы и Общества возникли и в других университетах. С Первой Антропологической выставки 1879 г. началось собирание коллекций Музея антропологии Московского университета (1880).
- 104 *Корончевский Д. А.* Значение «географических провинций» в этногенетическом процессе. СПб., 1905. С. 27.
- 105 *Корончевский Д. А.* Первые уроки этнографии. М., 1903. С. 3.
- 106 Статья Д. Н. Анучина была опубликована в одном из первых номеров журнала «Этнографическое обозрение»: *Анучин Д. Н.* О задачах русской этнографии. Несколько справок и общих замечаний // Этнографическое обозрение. 1889. № 2.
- 107 *Анучин Д. Н.* О задачах русской этнографии. Несколько справок и общих замечаний. Оттиск из журнала «Этнографическое обозрение». М., 1889. С. 28.
- 108 *Анучин Д. Н.* Япония и японцы. Географический, антропологический и этнографический очерк. М., 1907.
- 109 Там же. С. 112.
- 110 Четвертое заседание Комитета // Известия ОЛЕАЭ при Императорском Московском Университете. Антропологическое отделение. М., 1865. Т. 1. С. 64–67.
- 111 Там же. С. 73.
- 112 *Ламанский В. И.* К вопросу об этносах... С. 113.
- 113 Программа для собирания сведений по этнографии. Императорское русское географическое общество // Живая старина. 1890. № 1. Раздел II.
- 114 Там же. С. XLVIII.
- 115 Там же. С. XLVIII–XX.
- 116 Там же. С. XX.
- 117 Там же. С. XLVIII.
- 118 *Тенишев В. Н.* Программа этнографических сведений о крестьянах Центральной России. Смоленск, 1897. Новизна тенишевской программы состояла не только в том, что она существенно детализировала и специально расширяла вопросник (491 пункт, 2500 вопросов). Принципиальным стало внимание составителя к интервьюерам — оплата производилась только после строгого критического разбора пристальных сведений и имела определенную шкалу ценности. Участники этого проекта со всей страны присылали свои сведения по выданной рубрикации, лучшие из которых высоко оплачивались (*Тенишев В. Н.* Деятельность человека. СПб., 1897. С. 48–83). См.: *Фирсов Б. М.* Теоретические взгляды В. Н. Тенишева // Советская этнография. 1988. № 3; *Он же.* «Крестьянская» программа В. Н. Тенишева и некоторые результаты ее реализации // Советская этнография. 1988. № 4.
- 119 *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2005.

Л. П. Лаптева
(Москва)

Ф. И. Тютчев и его отношение к западным славянам

О деятельности Ф. И. Тютчева и его роли в русской культуре написано множество книг и статей. Использован, вероятно, весь корпус источников (во всяком случае, наиболее важных) для того, чтобы выяснить его значение как поэта, как мыслителя, как дипломата и т. д. Затрагивался и вопрос о его отношении к зарубежным славянам, но только в общих чертах, при характеристике его взглядов на развитие Европы и на судьбы России в настоящем и будущем. Специального, подробного освещения вопроса, избранного темой настоящей статьи, в литературе нам не встречалось. Между тем потомки вправе знать даже мельчайшие подробности интеллектуально-духовной деятельности Тютчева, ибо он внес существенный вклад в развитие культуры русской нации XIX в.

Следует отметить, что и источниковая база для освещения проблемы отношения Тютчева к западным славянам весьма скромна. Это лишь поэтические послания и обращения, рассуждения в работах публицистического характера и упоминания в письмах. Сколько-нибудь существенной по ее содержанию переписки с кем-либо из славянских деятелей или ученых пока не обнаружено. Однако позиция Тютчева по отношению к западным славянам четко сформулирована и в небольшом имеющемся круге источников. Она определяется его общим мировоззрением, известным как славянофильское.

О славянофильстве написано много литературы, но, поскольку среди исследователей нет единства в оценке сущности этого явления, представляется необходимым изложить собственное понимание важнейших проблем славянофильской идеологии. Прежде всего, славянофильство — типично русское явление, хотя и имеющее некоторые общие черты с панславизмом западных славян. С другой стороны, ясно и то, что славянофильство связано с немецкой идеалистической философией и романтическими течениями, получившими большое распространение в Европе в конце XVIII — начале XIX в. Ведь все теоретики славянофильства были людьми высокообразованными, усвоившими достижения европейской науки. Хорошо известно, что русские молодые люди увлекались в 20–30-х гг. XIX в. гегельянством; к их кружкам примыкали и будущие славянофилы. Путешествуя по европейским странам, они посещали университеты и слушали там лекции немецких философов. Так, братья П. В. и И. В. Киреевские слушали лекции Ф. В. Шеллинга в Мюнхенском университете в 1828 г.

Однако применительно к русским условиям немецкая философия приобрела особые черты. Русские славянофилы развили гегельянство и шеллингианство, переосмыслили немецкую философию в своем духе. В самом факте творческого переноса идей на другую почву, их использования в ином, чем первоначальный, варианте ничего противоестественного нет. Ведь идеи возникают не на пустом месте, а затем постепенно изменяются в зависимости от тех условий, в которых происходит их развитие. Нередко дело доходит и до отказа от прототипа. Так, гегельянская идея о том, что будущее всего человечества определяют особенности германского духа, была заменена русскими славянофилами доктриной о том, что Запад уже прожил и отжил свое время и будущее Европы следует связывать с наступлением «свежих славянских сил» по главе с Россией.

Классическим примером переработки германских идей на русской почве является, на наш взгляд, восприятие марксизма в России. Как известно, марксизм впитал в себя черты французского материализма, немецкой идеалистической философии и английской политической экономии, добавив к ним исторический материализм с его теорией классовой борьбы и неизбежности революций. В России была в основном воспринята эта последняя теория, и большевики превратили ее в средство подавления свободы мышления и личности, в собственную догму; прикрываясь марксизмом, они создали на практике режим, совершенно противоположный тому, который имели в виду классики этой идеологии.

Так и славянофильство, связанное с немецкой классической философией, стало самостоятельным философским, этическим и историческим учением, выработавшим собственные оригинальные, хотя и далеко не всегда единые принципы и понятия¹.

Связь славянофильской философии с учением Гегеля проявилась, например, в утверждении, что каждому народу априорно присуще некое «начало», или некая «идея», раскрытие которой и составляет содержание его истории². Для славян славянофилы видели такую «идею» в православии, которое нередко отождествлялось ими с ранним христианством. Всю европейскую историю и культуру славянофилы делили на два самостоятельных мира, один из которых именовался латинским, католическим, романо-германским, западным, а другой — восточным, греко-славянским, православным. Между обоими мирами славянофилы усматривали глубокое, коренное различие. Характерными признаками западного мира были для них римско-католическая религия, латинская образованность, рационалистичность мысли и действия, стремление к насилию. Католицизм славянофилы воспринимали как «искажение христианства», порицая в нем элементы «рассудочности», непрерываемость авторитета папы и проч. Протестантство казалось славянофилам естест-

венным продолжением и развитием «рассудочного начала» и стремления к насилию. Проявление «западных начал» славянофилы видели и в государственной жизни романо-германского мира, поскольку эта жизнь, с их точки зрения, возвела насилие в главный свой принцип. В государственных переворотах и революциях Запады также усматривалось стремление к насилию. А восточный мир представлялся славянофилам наследником и истинным хранителем раннего христианства, православие — единственно допустимой формой религии. Этика греко-славянской стихии основывалась, по мнению славянофилов, не на мертвой логике и рассудочности, а на искренней и даже мистической вере, на пылком и бескорыстном чувстве. В результате славяне резко противопоставлялись всем остальным народам; постоянно повторялись утверждения о мессианской роли славянства среди европейских народов, разрабатывалась идея неизбежного выдвигания славянства на первое место в мире среди всех «рас и племен».

Все эти принципиальные положения славянофильства разделялись Тютчевым. Следует, однако, отметить, что классики славянофильства, имея общую принципиальную платформу, расходились в деталях и направлениях своих исследований. Одни посвящали свои труды разработке религиозных вопросов, других же интересовали государственность славянских народов, общественная собственность на землю, так называемая соборность и демократия. Внимание Тютчева привлекал внешнеполитический аспект славянского вопроса, его занимали проблемы славянской взаимности, панславизма и роли России в судьбах славянства. Свои взгляды он изложил в четырех своих статьях на французском языке, опубликованных за границей. Известно, что Тютчев все свои публицистические статьи, а также «записки» и письма писал по-французски. На русском он писал только стихи, но именно этот вид творчества сделал его великой личностью, создавшей культурные ценности непреходящего значения, тогда как политические прогнозы, основанные на романтических фантазиях, не оправдались, реальность оказалась иной, чем та, которую предрекал Тютчев. Его политические доктрины уже к концу жизни поэта стали достоянием истории, но в то же время и показателем способа мышления части русского образованного общества в течение нескольких десятилетий XIX в.

Ввиду того что французский язык был для Тютчева более удобен при выражении его мысли, чем русский, и поскольку поэт прожил половину жизни за границей, в иной культурной среде, его биографы, начиная с И. С. Аксакова и кончая самыми последними авторами XX в., объясняют его приверженность к славянофильству, т. е. явлению чисто русскому, его необыкновенным патриотизмом, преданностью православию, историческими реминисценциями и проч. Некоторые были даже склонны

считать это явление «найтием свыше». Так, историк XIX в., однокашник Тютчева по Московскому университету М. П. Погодин с удивлением писал в некрологе о поэте: «Как, на самом деле, мог он (т. е. Тютчев. — Л. Л.), проводя молодость, половину жизни за границей, не имея почти сообщения со своими, среди французских элементов, живущий в чужой атмосфере, где русского духа редко бывало слышно, ... ощутить в такой степени и сохранить, развить в себе чистейшие русские и славянские стремления?»³. Другие авторы подчеркивают, что Тютчев постоянно поддерживал связь с Россией, вел переписку с родными и знакомыми и т. д. Эти доводы представляются нам недостаточно убедительными. Что касается патриотизма Тютчева, то прежде всего надо определить, какое содержание вкладывается в это понятие. Тютчев состоял на русской службе, защищал внешнеполитические интересы страны как дипломат и внутривнутриполитические — как цензор. Будучи классово и материально связанным с Россией — жил на доходы от своих крепостных крестьян, — Тютчев был, конечно, патриотом, как гражданин Российской империи. Но такой тип патриотизма не может быть источником развития «чистейших русских и славянских стремлений». Великий поэт не любил русскую деревню, вообще не любил жить в России — она была для него недостаточно комфортна. Он всегда предпочитал жизнь за рубежом и следовал этому желанию, если только позволяли обстоятельства.

Нет сведений и о том, что Тютчев был особо набожным православным человеком. Православная религия была для него не столько делом чувства, сколько категорией философской, предметом размышлений и теоретических обобщений. В частной жизни он много грешил против православия: не соблюдал супружеской верности, имел незаконных детей, нарушал христианские заповеди о браке. В целом представляется, что православие для Тютчева было предметом рационалистического подхода к явлениям — как и отношение к христианству, свойственное, по мнению славянофилов, католикам и протестантам.

Что касается его общения с русским образованным обществом, то оно могло осуществляться с интеллектуалами, также приобщившимися к западной культуре, со средой, в которой обсуждали немецкие и другие книги, так как русская литература была бедна собственными произведениями подобного рода. Журналов выходило мало, а прошлое было представлено лишь полуромантической «Историей государства российского» Н. М. Карамзина. Славянофильские взгляды Тютчева сложились вне России и без ее влияния. Они сформировались на основе того же источника, что и взгляды славянофилов, живших в России. Один и тот же источник нередко порождает идентичные идеи в области общественной мысли, чему есть много примеров. Тютчев сформировался в обществе, где господствовала философия Гегеля. Русский поэт был лично знаком с

Ф. В. Шеллингом, они неоднократно вели долгие беседы о судьбах России и Германии. П. В. Киреевский отметил в своем дневнике после встречи с Шеллингом: «Очень хвалил Тютчева. Это превосходный человек, очень образованный человек, с которым всегда охотно беседуешь»⁴.

Таким образом, как славянофил Тютчев сформировался на основе немецкой философии, а для этого не было необходимости жить в России и вспоминать о своих детских впечатлениях или иметь русских слуг.

Отношение Тютчева к западным славянам определялось именно его славянофильским мировоззрением. Так, рассуждая о судьбе Австрии и предрекая ей неминуемый распад под воздействием антихристианских и революционных элементов европейской цивилизации, Тютчев говорит, что в этой ситуации проблемы австрийских славян сводятся к следующему: «Или остаться славянами, став русскими, или же стать немцами, оставаясь австрийцами»⁵. Но, по мнению И. С. Аксакова, автора первой серьезной биографии Тютчева, а также теоретика славянофильства, Тютчев под словами «стать русскими» вовсе не понимает «ни государственного закрепощения, ни обрусения в тесном смысле слова». Он считал, что «славяне должны стать гражданами Греко-славянского мира, которого душою, без сомнения, может быть и есть только Россия, — или же погибнуть прежде всего духовно, т. е. утратить свою нравственную народную самостоятельность»⁶. Сущность мнения Тютчева состоит в том, что неправославные славяне могут спасти в себе славянскую народность только «под условием возвращения в православие, т. е. восстановления единства и общения церковного со всем православным Востоком или, собственно говоря, с Россией»⁷.

История показала, что пророчества Тютчева не оправдались. Австрия, правда, распалась через 75 лет после того, как он ей предрекал такую судьбу. Но ни один славянский народ из входивших в Австрийскую монархию не бросился в объятия России и православной веры. Все они создали свои независимые государства. Политические доктрины имеют вообще ограниченную актуальность и существуют непродолжительное время. Что же касается философских рассуждений, то ценность их — воздействию на развитие человеческого мышления, определяющего прогресс общества, — прикладного значения не имеет; как правило, политики не руководствуются философскими теориями даже гениальных мыслителей.

Славянофильскую точку зрения развивал Тютчев и в отношении Польши. «Из всех ветвей славянского племени, — считал он, — польская сильнее всех отторглась от славянского братства, отрешилась от существеннейших стихий славянства, изменив духу славянскому, предавшись на сторону Запада, приняв в душу, в кровь и плоть своей национальности латинство и таким образом связав свою судьбу с судьбою всего латинствующего западного мира»⁸. «Польша фанатически католическая, примыкаю-

шая всем существом своим не только вообще к Европейскому, но в частности даже к Романскому миру; Польша неистово враждебная православию, вне которого немислима славянская духовная самобытность, враждебная России, враждебная всем славянским племенам, даже и неправославным, но сохранившим память о своем племенном единстве. Польша, служащая аванпостом Латино-Германскому Западу против славянской России, поборницею его замыслов против целостности и самостоятельности Славянства <...> Польша Шляхетская, презирующая крестьянина“ — такая Польша казалась Тютчеву отступницей славянства, „изменницею своей собственной народности и <...> подлежала лишь извержению из славянской семьи“ <...> Не подлежал, конечно, извержению самый польский народ, польская племенная особенность; но та „фальшивая польская национальность“, которую сочинила польская шляхта, <...> и которую приняли под свое покровительство Панство и Революция — эта фальшивая национальность в глазах Тютчева была осуждена историей на неминуемую гибель»⁹.

Иное отношение было у Тютчева к чехам, что объясняется по меньшей мере тремя обстоятельствами. Во-первых, по мнению Тютчева, католицизм был навязан чехам насильственно, извне. Во-вторых, чехи получили православие из рук славянских первоучителей Кирилла и Мефодия и всегда «стремились» возвратиться к «истинно славянской вере», доказательством чего было, в частности, гуситское движение XV в. И в-третьих, в Чехии существовал определенный слой деятелей национального движения, исповедовавших теорию так называемой славянской взаимности, а в определенный исторический период эта теория имела даже русофильское направление.

Часть сформулированных Тютчевым положений имела историческую основу, другие же были ее лишены. Так, христианская вера проникла к чехам от баварских миссионеров, а кирилло-мефодиевское влияние было непродолжительным. Но главное в этом вопросе — отсутствие исторических доказательств того, что вариант христианства, принесенный в Центральную Европу греческими миссионерами, является православным; ведь сама их миссия была осуществлена еще до разделения церквей; организационно епархия Мефодия подчинялась Римской курии, и в Риме были рукоположены первые ученики Кирилла и Мефодия.

Что касается гуситского движения, то это сложное многоаспектное явление, занявшее 85 лет чешской истории, с точки зрения конфессиональной представляет собой раннюю европейскую Реформацию. Ни Ян Гус (по его имени названо все движение), сожженный на костре католической церковью за «ересь», ни его сторонники не имели понятия о православии; в русских летописях XV в. Гус назван еретиком. В русской исторической литературе 40–70-х гг. XIX в. теория православного характера гуситского движения была широко разработана славянофилами, и Тютчев полностью ее воспринял. После гуситского движения, в XVII в.,

в Чехии победила Контрреформация, и население было насильственно окатоличено. В этом тезисе Тютчев прав. Что же касается теории славянской взаимности, то она на чешской почве существовала в нескольких вариантах. Но Тютчев, как и другие славянофилы, не понимал, например, австрославизма, который хотя и ратовал за объединение славян, но только при условии сохранения Австрии и под ее эгидой. Поэтому, будучи знаком с деятельностью адептов австрославистской ориентации, например с Ф. Л. Ригером, Ф. Палацким, он не поддерживал с ними связей, так как наряду с тезисом о сохранении Австрии политики этого направления выступали еще и за ее федеративное устройство на основе конституции. Убеденного монархиста Тютчева (какими были и все славянофилы) такая программа не устраивала.

Из современных ему чешских деятелей Тютчеву особенно импонировал русофил Вацлав Ганка (1799–1861). Этот деятель периода чешского национального возрождения сыграл в истории своей страны важную и в то же время противоречивую роль. Библиотекарь Чешского национального музея, литератор, издатель памятников древней славянской письменности, стихотворец и славянский патриот, В. Ганка способствовал превращению Праги в центр изучения славянства. В библиотеке Чешского национального музея благодаря его усилиям были сосредоточены огромные богатства духовного творчества славян: рукописи, книги, газеты, брошюры и проч. И все эти ценности были доступны тем лицам, которые занимались изучением славянства. Особенно важно это было для славистов из России, где именно в первой половине XIX в. начался процесс развития науки о славянах. Из патриотических соображений Ганка сочинил несколько рукописей и выдал их за подлинные древние чешские памятники. Фальсификаты нанесли большой урон чешской и вообще славянской науке, так как на их основе писались научные сочинения по многим гуманитарным областям. Все русские слависты XIX в. вплоть до 80-х гг. верили в подлинность двух этих рукописей — Краледворской и Зеленогорской (РКЗ)¹⁰. Славянофилы восхищались высокой духовной культурой древних чехов, видя в этих «памятниках» доказательство превосходства славян над немцами. И Тютчев не был в этом отношении исключением.

В первый раз Тютчев встретился с Ганкой в Праге в 1831 г. и 25 августа (6 сентября) расписался в его альбоме. Обычно временем первого контакта Тютчева с Ганкой в литературе называют 1841 г., когда русский поэт написал в альбом чешского деятеля стихотворение «Вековать ли нам в разлуке?». Но русский ученый В. А. Францев, великолепный знаток документов о чешско-русских связях XIX в., отыскал подпись Тютчева в том же альбоме, сделанную на 10 лет раньше¹¹. — А 16 (28) апреля 1843 г. Тютчев послал из Москвы письмо Ганке с благодарностью за присланную книгу. Скорее всего это было новое издание Краледворской руко-

писи. Тютчев писал: «При виде этой пресловутой книжицы в ее новом щегольском наряде, этих многообразных, многозначительных письмен одной Великой семьи — особенно при виде Вашего имени, я снова очутился в Праге, под золотистыми струями вашей знаменитой Молдавы, на высотах Градчина, в тихой и минутной беседе с Вами, милостивый государь»¹². И далее Тютчев необыкновенно поэтично характеризует Прагу и в заключение говорит, что на днях отправляется в Россию, где имя Ганки ценится как «европейская именитость», где дорожат им как «родовым достоянием» и где «по мере развития народного самосознания растет и крепнет сочувствие с Вами и с Вашими»¹³.

Этому поборнику славянской взаимности, чешскому русофилу Тютчев посвятил несколько стихотворений. В 1867 г. он даже вспомнил его (уже покойного) следующими словами:

Ты, стоящий днесь пред Богом,
Правды муж, святая тень,
Будь вся жизнь твоя залогом,
Что придет желанный день.
 За твое же постоянство
 В нескончаемой борьбе
 Первый праздник Всеславянства
 Приношеньем будь тебе!

Вообще в поэтическом творчестве на славянскую тему отражается мировоззрение Тютчева. Отклики на события славянской истории выражаются им либо в аллегорической форме, либо в виде поэтического образа. Так, в стихотворении «Гус на костре» мы находим мысль Тютчева о лживости католического христианства. Здесь рисуется образ праведного мужа, воспевается «римской лжи суровый обличитель, борец за правду божью и свободу». А в последних четверостишиях поэт призывает народ чешский:

О, доверши же подвиг свой духовный
И братского единства торжество!
 И цепь порвав с юродствующим Римом,
 Гнеущую тебя уж так давно,
 На Гусовом костре неугасимом
 Расплавь ее последнее звено.

Отметим, однако, некоторую недостоверность исторических фактов, допущенную поэтом. Говоря об обстановке, в которой проходила казнь Гуса, Тютчев замечает:

Тут вероломный кесарь и князей
Имперских и духовных сонм верховный,

И сам он, римский иерарх в своей
Непогрешимости греховной.

Строго говоря, на казни Гуса не присутствовали ни император, ни римский папа, ни даже кардиналы. Вообще процесс над Гусом был проведен кардиналами, казнь же осуществлялась палачами. Но кто желает исторической точности, тому следует обращаться к хроникам; поэзия же не является историческим источником. Поэтический образ, созданный Тютчевым, восхищает и потрясает своей тонкостью. Выражение «в своей непогрешимости греховной» подчеркивает сущность католической церкви, ее лицемерие и аморальность.

Вообще в политическом творчестве Тютчева нашли выражение все его взгляды на славянство. В стихах он осуждает «измену поляков» православию и их притязания в отношении России, призывает к единению славян. Особенно примечательно в этом аспекте его стихотворение, написанное в 1867 г. в связи с приездом представителей разных славянских народов (в основном австрийских) на московскую этнографическую выставку. Это событие впоследствии получило название «Славянский съезд», хотя съезда в современном смысле слова не было: не было никакой повестки дня, заседаний и т. д. Произносились речи на обедах и раутах, в избиллии устраиваемых славянофилами и московскими властями. Тютчев приветствовал гостей своими стихотворениями, в которых он высказал свой взгляд на прошлую и современную ему жизнь славян и на значение России для их будущей судьбы. Вот одно из таких стихотворений:

Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов
Привет наш всем вам, без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви;
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости, вы — свои!
Вы дома здесь и больше дома,
Чем там, на родине своей, —
Здесь, где господство незнакомо
Иноязыческих властей.
Здесь, где у власти и подданства
Один язык, один для всех,
И не считается Славянство
За тяжкий первородный грех!
Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,

Но все же мы народ единый
Единой матери сыны;
Но все же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России — не прощают вас!
Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу и другу
Впервые скажет: — Это я!
При неотступном вспоминая
О длинной цепи злых обид
Славянское самосознание,
Как божья кара, их страшит!
Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создана;
Для них — закон и равноправность,
Для нас — насилие и обман,
И закрепила стародавность
Их как наследие славян.
И то, что длилось веками;
Не истощилось и поднесь
И тяготееет и над нами —
Над нами, собранными здесь...
Еще болит от старых болей
Вся современная пора ...
Не тронута Косово поле,
Не срыта Белая гора!
А между нас, — позор немалый, —
В славянской всем родной среде,
Лишь тот ушел от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим.
Опально-мировое племя,
Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни и невзгод,

И грянет клич к объединенью,
 И рухнет то, что делит нас?
 Мы ждем и верим Провиденью —
 Ему известны день и час...
 И эта вера в правду Бога
 Уж в нашей не умрет груди,
 Хоть много жертв и горя много
 Еще мы видим впереди ...
 Он жив — Верховный Промыслитель,
 И суд его не оскудел,
 И слово царь-освободитель
 За русский выступит предел...

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ *Пытин А. Н.* Характеристики литературных мнений от 20-х до 50-х годов. 2-е изд. СПб., 1890. С. 248.
- ² *Ильинский Г.* Что такое истинное славянофильство // *Славянский век.* 1901. № 33–34. С. 263.
- ³ Цит. по: Общественная мысль и славистическая историография. Конференция 12 апреля 1989 г. Экспресс-информация. Калинин, 1989. С. 9. (Изложение доклада М. Ю. Досталь «Славянский вопрос в творчестве и общественно-политической деятельности Ф. И. Тютчева».)
- ⁴ Цит. по: Иван Сергеевич Аксаков и его биография Федора Ивановича Тютчева. Комментарии. М., 1997. С. 59.
- ⁵ См.: *Аксаков И. С.* Биография Федора Ивановича Тютчева // *Аксаков И. С.* Сочинения. М., 1886. С. 215. (Факсимильное издание — М., 1997.)
- ⁶ Там же.
- ⁷ Там же.
- ⁸ Там же. С. 224.
- ⁹ Там же. С. 278–280.
- ¹⁰ См. об этом: *Лантева Л. П.* Краледворская и Зеленогорская рукописи // *Рукописи, которых не было. Подделки в области славянского фольклора.* М., 2002. С. 11–242.
- ¹¹ Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель / Изд. В. А. Францев. Варшава, 1905. С. 1129.
- ¹² Там же.
- ¹³ Там же. С. 1130.

В. И. Косик
(Москва)

Досуг и быт в Белграде в 1920–1940-х гг.

БЕЛГРАД

Ты возникаешь крепостью старинной,
В кольцо двух рек спокойных и больших,
Чуть озарен закатом апельсинным,
Меж улочек восточных и кривых.

Ухабами ныряет мостовая,
В кофейнях песни горькие поют,
Едва ползут ленивые трамваи,
Газельи тени девушек снуют.

Гостеприимства город и обилья,
Вдаль уходящих черепичных крыш,
Ты дорог мне, как молодости крылья,
В час гибели ты в сердце постучишь.

Екатерина Таубер

Столица одиночества Белград.
Здесь даже воздух пахнет ностальгией.

Ольга К.

* * *

Справка. На исходе второго десятилетия революционного века в монархическом Белграде проживало свыше 8 тыс. русских, в основном из Петрограда, Москвы, Киева. Управление русскими колониями, в том числе Белградской, было сосредоточено в государственной комиссии по русским беженцам, созданной в 1920 г. по предложению председателя Народной скупщины Л. Йовановича, ставшего ее первым руководителем.

* * *

«Ах, какие яркие, чудные то были дни, дни внезапно и волшеббно вернувшейся юности!

Чистое, робко-голубое небо, запах оттаявшей земли, первые почки, весеннее молодое солнце!.. А позади тифозные теплушки, штабеля замерзших трупов, горный грохот повстанческой стрельбы, красные полчища и смутная тоска по далекому, счастливому западу...

Вот мы и тут. Но какой же это запад, когда город называется Београд — Белый Город, и главное здание на главной его площади, высокий и кораблеобразный дом с башенками и шпилями называется „Москва“, и король — в прошлом русский школьник? И по вывескам русские буквы, но слагают они слова, непривычные глазу, как из Киева во времена гетманщины, только без той кокетливо-самодовольной наглости.

Освоились скоро. В самом деле, что за трудности, когда нож по-сербски называется — нож, вилка — вилюшка, человек — човек, женщина — жено? Стоит только настроить язык на школьный церковно-славянский лад, и все пойдет как по маслу. А сколько кругом русского! Хотя бы вот те же самые вывески над темноватыми входами „кафан“, где дремлет в высоких бочках густое, крепкое вино. Каждое торговое предприятие имеет свой покровительственно-именной девиз. Вот „код генерала Скобелева“, вот „код белог Цара“, вот „код веселог руса“, и сам я видел вывеску в маленьком городке „код Петра Степановича, киевского помещика“.

А там и пошло. Эшелон за эшелон — десять, двадцать, тридцать тысяч русских, прожженных огнем гражданской войны. И вот уже свои газеты, комитеты, канцелярии и, конечно, бесконечное множество „Рюриков“, „Варягов“ и „Асторий“ с русскими балалаечниками, с самоваром на стойке, с ленивыми варениками и сибирскими пельменями. И за бумажки, еще вчера ничего не стоившие, летевшие по ветру, устилавшие пароходную палубу, сегодня дают полновесные, полные динары, и после миллионов за взятую с боя котлету из собачьего мяса, за ржавую селедку, коробку спичек — витрины, ломившиеся от всяческого давно забытого добра, и мирный добрый басок: „Пожалуйте, братушкам скидка, а нет — и в долг поверим!..“¹.

Время эмиграции было для многих обращением к Богу. Многие стали прихожанами двух русских церквей: Св. Троицы близ собора Св. Марка и Вознесения на углу ул. Милоша Великого и ул. Королевы Наталии. Посещали богослужения, молились, слушали проповеди. Учились смиряться. Книги, беседы, лекции на религиозную тематику пользовались неизменным успехом, хотя, конечно, были и атеисты и критики Церкви. Опора на русскую веру, на традиционное православие была характерна для многих россиян, оказавшихся на чужбине. И, конечно, молодежь, подраставшая в православных славянских странах, в Болгарии, в Сербии, находилась в гораздо лучших условиях, нежели в той же католической Франции. Именно в Сербии возник союз имени преподобного Сергия Радонежского с девизом из Ф. М. Достоевского «Неправославный перестает быть русским». «Мы настойчиво утверждаем, — отмечалось в программном документе Союза, — что самая главная и вместе с тем конкретная и реальная наша задача — быть православными... наша национальная задача есть в то же время и прежде всего религиозная... не

ставши православными, мы не можем поднять знамя „России“... Мы не признаем возможности религиозного исцеления, так чтобы одновременно не устроилось наше национальное переживание... Наш Союз собирает в себе людей, готовых отдать свои силы основной, центральной идее русского национального бытия, готовых окончательно и бесповоротно отдать их служению идее: „Россия не может быть неправославной“, „Неправославный перестает быть русским“»².

Широко занимался просвещением, можно в кавычках, можно и без, Григорий Бостунич, для одних одиозный критикан жидомасонства, для других — говорящий правду. 20 и 21 февраля 1922 г. в помещении гимназии (ул. Пуанкаре, 2) анонсировались две его лекции «Свет Христа» и «Антихрист». Удивительно здесь то, что если за первую не надо было платить, то вторая шла за 5 динар, нет слов! Студенты могли пройти за три³.

А в целом церковь для многих русских белградцев была не только местом для молитв, но и своеобразным центром: после богослужения около нее обменивались новостями, спорили на политические темы, обсуждали сроки возвращения на Родину.

Интеллектуалы, спорщики, празднующиеся, а зимой и желавшие отогреться в теплом помещении могли посещать по воскресеньям и четвергам разнообразные лекции, начинавшиеся в 18 часов 15 минут в Русском Народном университете, располагавшемся в одной из аудиторий второго этажа нового университета. Он был основан Представительством Всероссийского союза городов в Королевстве СХС при содействии Академической группы, Общества агрономов, ветеринаров и лесоводов Русско-Сербского медицинского общества и Союза инженеров⁴.

Назову несколько лекций. В начале февраля 1926 г. инженер В. М. Михайловский читал лекцию о «новых взглядах на проблему формирования жизни в космосе»⁵. 20 января 1929 г. педагог И. М. Малинин выступал на «захватывающую» тему «Толкование снов». 24 января П. Н. Ге — «Романтизм в русской живописи»⁶. 27 января известный всему Белграду Е. В. Спекторский читал лекцию «Трагедия Толстого». 31 января врач А. А. Солонский, вероятно специально для родительниц, — «Четыре кожных детских болезни (Скарлатина, корь, краснуха, Dukes Филатова болезнь)»⁷.

Офицеры могли пойти в Русское офицерское собрание, открытое 16 июня 1924 г. на ул. Бирчаниновой, 32 б в специально арендованной квартире. Там была своя столовая, библиотека, читальня⁸.

Любители «высокого досуга» могли вновь почувствовать себя «избранными» на лекциях Н. О. Лосского «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», читаемых осенью 1928 г. в старом здании университета⁹. Там, вероятно, можно было и встретить старых «мистиков» и познакомиться с новыми. Немаловажным обстоятельством было и то, что за «пир» Лосского ничего не надо было платить. Однако не следует полагать,

что русские были такими уж любителями дармовщины. Они уважали талант, знания и готовы были платить за те же многочисленные концерты, устраиваемые в Белграде разнообразными исполнителями, искусство которых позволяло уйти от серых буден и забот в мир музыки, пения, танца, в мир волшебных грез. Искусство очищало душу. А это было главным.

Вариантов было множество. В известном всему Белграду зале «Станкович» 8 октября 1922 г. был концерт Анны Александровны Степовой, создательницы жанра «песни улицы». Там же они могли услышать певца Е. С. Марьяшеца, оценить талант часто выступавшего в роли конферансье актера и режиссера Ю. Л. Ракитина, виолончелиста А. И. Слатина¹⁰. В «Новом времени» от 20 февраля 1923 г. можно было прочесть объявление о большом Русском концерте из произведений Глинки и Чайковского с участием обладателей дивных голосов Н. Г. Волевач, Е. И. Попова, Е. С. Марьяшеца, музыкантов В. А. Нелидова, А. И. Слатина, И. И. Слатина, Г. М. Юренева¹¹.

Но живая музыка и пение звучали не только на концертах, но и в домах, квартирах, комнатах русских беженцев. В русском кругу за чашкой чая или бутылкой водки звучали самые разные песни. В магазинах можно было купить разнообразные ноты для пения и рояля. Там были и Виктор Абаза, и Александр Вертинский, и Юрий Морфесси, и Иза Кремер¹².

Но это были, так сказать, характерные музыка и песни для всего русского зарубежья.

У того же Белграда были и свои любимцы, например: в исполнении Любови Орловой песня советского народа — «Широка страна моя родная» (из фильма «Цирк»). Любили танго и песню «Будет поздно...» из репертуара Ольги Янчевецкой, песню «Ханум» (Сергей Франк, музыка, Ольга Франк, русский текст, сербский перевод — Сергей Страхов), песню «Две слезинки» (русский текст и музыка — С. С. Страхов, сербский текст — Наташа Страхова, фоноаранжман — Юрий Азбукин. Не уставшим и в эмиграции смеяться над другими предлагалось пойти осенью 1924 г. на концерт автора сатиры и политической пародии Петра Карамазова, в репертуар которого входили «Суд над русской интеллигенцией», «Молитва павших жертвой самосуда» (в октябре его можно было увидеть и услышать в зале «Станкович»)¹³.

Быт это не только будни, но и праздники, причем зачастую объединявшие в себе религиозное и мирское начала. Например, концерт-бал «Крещенский вечер». В январе 1924 г. на нем вместе с артистами театров выступали молодые поэты и литераторы из кружка «Гамаюн». Причем 80% выручки должно было пойти на издание произведений молодых поэтических дарований¹⁴.

Не забывали молодежь и артисты. В сентябре 1922 г. популярные певицы Н. Г. Вишнякова и Е. В. Синявина один из своих концертов дали

в столовой общезития (ул. Короля Александра, 130)¹⁵. Можно было пойти на известные белградские «субботники», посмотреть и послушать профессиональных артистов и любителей. На одном из них летом 1922 г. выступала известная цыганская певица М. П. Суворина, которая считалась «одной из лучших цыганских певиц после Веры Паниной». О ней в «Новом времени» писали: «Кроме нее за рубежом — есть только Настя Полякова и Нюра Масальская... К ней как нельзя лучше подойдет выражение: Поет как птица на ветке. Неожиданные модуляции, удивительные по своей тонкости нюансировки, самые трудные сочетания диссотонов, разрешающихся мелодичным аккордом, — всем этим певица владеет в совершенстве». Аккомпанировали ей на гитарах С. Поляков и Е. В. Говоров¹⁶. Ее настоящая фамилия и имя — Мария Петровна Фе, голос — низкое контральто. Происходила она из семьи Масальских, давших плеяду блестящих исполнителей и истолкователей старой цыганской песни¹⁷.

С открытием сцены Русского дома (1933) любители искусства зачастили по вечерам в это известное всему русскому Белграду здание в стиле русского ампира с великолепным театрално-концертным залом. На его сцене выступали все: от начинающих артистов-любителей до профессионалов. 12 ноября 1933 г. там был анонсирован концерт певца Владимира Босанько, получившего музыкальное образование за границей, успешно концертировавшего в Вене, Париже, Лондоне, а теперь прибывшего «в родной для русских Белград»¹⁸.

В годы войны искусство продолжало отвлекать и увлекать русских. Тогда главной сценической площадкой продолжал оставаться Русский дом. Так, 21 ноября 1943 г. в Русском доме прошел вечер музыки, пения и балета с участием певиц О. Ольдекоп и Е. Вальяни, балерины М. Туляковой-Нелюбовой и ее партнера Славко Эржена (балет классический и характерные танцы)¹⁹. 12 декабря 1943 г. газета «Русское дело» сообщала, что 2 января 1944 г. в театре Русского дома Союз русских женщин устраивает концерт Татьяны Николаевны Батранец при участии Л. Казамаровой, К. Диевского, С. Лысенко. У рояля Н. М. Васильев. В программе — русская вокальная музыка²⁰.

Безработицы, прежде всего для молодых и сильных, в строящейся стране не было. В Белграде за неделю с 29 августа по 5 сентября 1922 г. на биржу труда обратилось 150 человек, которые тотчас получили места. На начало сентября имелись предложения для 209 рабочих различных специальностей²¹.

Этот город давал работу всем, вернее, почти всем; и скрытая безработица, конечно, была. Ее уменьшению и должны были содействовать действовавшие в столице королевства многочисленные курсы по переподготовке и выпуску нужных специалистов, прежде всего низшего и среднего технического звена. Но всеми этими «благами» могли пользо-

ваться прежде всего те, кто не перешагнул возрастной рубеж в 35 лет, после чего обучение новой профессии было затруднительным. Скажу, что в 1927 г. через различные курсы прошло около 3000 русских эмигрантов²², получивших неплохой шанс «выбиться в люди», стать нужным обществу человеком, иметь возможность содержать семью.

Сравнительно неплохо устраивались инженеры, зарплата которых могла доходить и до нескольких тысяч динаров в месяц. С начала 1921 г. руководители Союза русских инженеров в Югославии при каждом удобном случае подчеркивали, что в королевстве нет безработных русских инженеров²³. Хотя здесь имелись свои трудности. С 1921 г. в королевстве действовал закон, по которому запрещалось предоставлять работу иностранцу, если по этой специальности имелись свои кандидаты. В 1925 г. был выработан новый свод инструкций, который в основном повторял старые в отношении работы для иностранцев. Но все эти законоположения никогда не были применены к русским. Беженцы из России всегда считались своими: не было разницы между жителями королевства и русскими изгнанниками²⁴. Тем не менее, не будучи подданными королевства, они не могли быть приняты на постоянную работу в государственные и общинные структуры. Поэтому инженеры устраивались на контрактной или гонорарной основах, заключая договор, чаще всего на три года, на четко фиксированную сумму. В отличие от своих коллег, уроженцев королевства, русские специалисты не имели инфляционной добавки и дополнительных выплат на членов семьи. Эта служба не входила в рабочий стаж и не засчитывалась при исчислении пенсии. Члены Союза русских инженеров Югославии вначале даже получали меньше, нежели югославские коллеги. Лишь в ноябре 1922 г. министерский совет принял решение о том, что все русские инженеры и архитекторы, работающие в Министерстве строительства, должны быть уравнены в правах по зарплате со своими югославянскими коллегами²⁵. В 1924 г. большинство инженеров получило обещанное²⁶.

Но борьба русских инженеров продолжилась: согласно правительственному постановлению, вступившим в силу 15 марта 1925 г., все инженеры и архитекторы должны быть членами инженерной палаты (русские не имели своей инженерной палаты и не были членами югославских институций), иметь диплом технического факультета, являться подданными королевства, иметь три года практики на государственной, общинной или на частной службе, сдать госэкзамен, быть «хорошего поведения», не судимыми, владеть государственным языком. В случае последовательного применения этих постановлений почти все русские инженеры не имели бы работы. После запроса Союза правительство в очередной раз заверило, что русские инженеры будут иметь тот же статус, что и граждане королевства²⁷.

И в дальнейшем власти придерживались подобной практики защиты и покровительства. Лучше всего устраивались инженеры, имевшие частную инженерную практику. Достаточно было иметь соответствующий диплом и три года работы инженером, а также заплатить определенную таксу, чтобы Министерство строительства давало ему без хлопот соответствующее разрешение. Вначале таких инженеров было не много, большинство предпочитало работать в государственных организациях или в частном секторе, нежели полагаться только на себя в новой стране. Но с ходом времени, с адаптацией таковых становилось больше. Если в 1929 г. было шесть подобных инженеров, то в 1935 г. их было уже 19²⁸. Всего в середине 1920-х гг. в королевстве находилось 203 русских инженера²⁹.

Некоторые из них даже свое свободное время отдавали изобретательству, внедрению нового. Инженер Андрей Васильевич Модрах из Белграда изобрел «автомат для предотвращения столкновения поездов»³⁰. Выпускник 1 Русского Великого Князя Константина Константиновича Кадетского Корпуса Алексей Николаевич Жуков (13.11.1910, Рига — 29.10.1973, Торонто), окончивший технический факультет Белградского университета, изобрел оригинальный аппарат для анестезии и получил правительственную награду. В 1950 г., как и многие русские, покинул Югославию, уехав в Канаду³¹.

В сфере изобретательства случались и курьезы, как об этом свидетельствует грустная история с «изобретениями» инженера Федора Федоровича Богатырева, одного из основателей Союза русских инженеров в Югославии. В апреле 1920 г. он прибыл в королевство, когда ему было 49 лет. Он стал директором ремесленной школы в Земуне. Получил широкую известность в Югославии в марте 1921 г. как «эпохальный изобретатель»: семь типов печи для выпечки хлеба и различных хлебобулочных изделий при минимальных затратах твердого топлива; оригинальное устройство для дезинфекции, строительство из вторичного сырья домов, имеющих твердость стали, и пр. 13 марта 1921 г. он показал широкой публике свои изобретения, а в конце месяца королю Александру, премьер-министру Николе Пашичу и министрам. При этом комиссия из югославских специалистов еще перед демонстрацией руководителям страны проверила изобретения и дала положительный ответ. Но русские инженеры, не веря своим коллегам, устроили свой экзамен, сформировав под руководством военного инженера Н. А. Житкевича свою комиссию, которая оспорила представленные изобретения³². После этого имя Богатырева исчезло с газетных страниц.

Более удачливым стал инженер и композитор Сергей Федорович Давиденко (?–1966), который получил два патента на холодильники с сухим льдом и пустотелые кирпичи.

Некоторые русские люди, владевшие каким-либо ремеслом, подрабатывали, а то и зарабатывали на жизнь изготовлением игрушек, подносов, вышивками и прочими «мелочами». В Белграде Земгор регулярно устраивал в здании университета на ул. Васиной выставку-базар изделий русских беженцев³³.

Кстати, в их число попадали этнические сербы и черногорцы, до революции осевшие в России. «В Белграде, в отеле „Гранд“, — пишет известный сербский историк, знаток русской эмиграции Мирослав Йованович, — проживал композитор Тадия Борошич — автор Коронационного марша, исполненного во время коронации Петра I Карагеоргиевича в 1904 году. Кавалер ордена Святого Саввы, оставшийся к тому же без руки и почти ослепший, жил на грани нищеты, не замечаемый ни властями, ни обществом»³⁴.

Именно страх оказаться «на грани» заставлял русских работать в самых различных местах. Предоставлю слово известному тогда журналисту, «поэту, издателю и кудеснику» Н. З. Рыбинскому: «В Белграде можно не только свободно обходиться русским языком, но и иметь полную возможность жить в атмосфере „русскости“. Русские врачи всех специальностей, профессора Ф. В. Вербицкий, А. И. Игнатовский, М. Н. Лапинский, Н. В. Краинский и др. Нет государственного учреждения, в котором не служили бы на различных должностях русские. Даже в Министерстве Иностранных дел много лет уже служат б. русские дипломаты: А. М. Петряев, А. К. Беляев, М. Н. Чекмарев, П. И. Извольский, П. П. Сергиев...»³⁵.

Немного об Александре Михайловиче Петряеве (1875–1933, Белград), полиглоте (14 языков) и дипломате. Окончил восточный и юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Начал службу в Персии. Помощник российского гражданского агента в Турции по реформам в Македонии. На Лондонской конференции был экспертом по вопросам разграничения сербско-албанской границы. С 1913 г. представитель России при албанском правительстве. С началом Первой мировой войны по поручению С. Д. Сазонова занимался изучением положения славян в Австро-Венгрии и выработкой проекта устройства их будущей судьбы. Затем был начальником ближневосточного отдела МИД. При Временном правительстве — товарищ министра иностранных дел. В 1919 г. в правительстве А. И. Деникина был помощником князя Г. Н. Трубецкого по управлению ведомством вероисповеданий. Потом русский представитель в Софии. Оказал существенную помощь правительству Врангеля. Во время нахождения у власти Ст. Стамболийского оставил Софию. Нашел применение своим знаниям и способностям в МИД Королевства СХС³⁶. Известен также как создатель казачьего хора Сергея Жарова.

Можно вспомнить и сына известного историка Балкан А. И. Персиани, действительного статского советника, выпускника юридического факультета Санкт-Петербургского университета Ивана Александровича Персиани (1872–1930, Белград), финансиста, композитора, ученика А. К. Лядова. И. А. Персиани служил в среднеазиатском отделе МИД. В 1916 г. был советником посольства в Риме, замещал М. Н. Гирса. В 1926 г. приехал в Югославию, устроился в МИД. Автор музыки гимна Русских соколов и автор дипломатических нот югославского правительства.

Другой представитель видной фамилии — А. А. Столыпин, известный неославист, племянник П. А. Столыпина, служил в американском посольстве³⁷.

Неплохо устраивались и адвокаты.

В Белграде был широко известен воронежец Александр Михайлович Вольпин (1887). В 1910 г. после окончания Харьковского университета вступил в ряды московской адвокатуры в качестве помощника присяжного поверенного. В 1916 г. принят в присяжные поверенные округа Московской судебной палаты. В апреле 1919 г. прибыл в Белград. С сентября 1920 г. занялся адвокатской практикой в качестве стажера. В 1929 г. после сдачи адвокатско-судейского экзамена зачислен адвокатом с правом открытия своего кабинета в Белграде (ул. Балканская, 6)³⁸.

Очень много русских сумело найти работу в Военно-Географическом институте. К 1929 г. там служило до 85 человек русских³⁹. Напомним, что строителем здания института был русский военный инженер Х. А. Виноградов⁴⁰. Сравнительно неплохо складывалась ситуация с поиском службы для русских офицеров, особенно при военном министре Хаджиче, выпускнике Николаевской академии генштаба, бывшем начальнике воевавшей с большевиками Сербской добровольческой воинской части в России⁴¹.

После бегства из России и вплоть до своей кончины в Югославии жил генерал Петр Иванович Аверьянов (05.10.1867–13.10.1937, Белград) — последний начальник Генерального штаба царской армии, который во время Первой мировой войны обеспечил Сербии кредит в 40 млн золотых рублей. По прибытии в королевство он какое-то время работал в Государственном кадастре, затем преподавал математику в гимназии в Чуприи и, наконец, перешел на службу в Исторический отдел Главного генерального штаба в Белграде.

Но всем не бывает одинаково хорошо: не все находили соответствующую работу или должность, отвечавшие их прежним занятиям, способностям, квалификации. Например, Наталья Дмитриевна Бахарева-Полюшкина, внучка Лескова, работавшая в «Петербургском листке», имевшая свою киностудию и фабрику, стала зав. женским общежитием для русских студенток и интеллигентных женщин без службы⁴².

И если доктора, инженеры, профессора, в которых нуждалось молодое Королевство СХС, легко получали работу по специальности, то «полковники, чиновники, юристы и т. п.» часто становились «сапожниками, разносчиками газет, мелкими... торговцами, лавочниками на базаре»⁴³.

Трудности с приисканием места «ненужными» специалистами прекрасно описал в довольно злой сатире под названием «Хождение по мукам» поэт Николай Яковлевич Агнивцев.

Семь беженских суток, упорно,
 Ходил я — болваном последним —
 Туда, по тропиночке торной,
 Где, стиснувши зубы, покорно,
 Россия стоит по передним!..

1

Тут, на зов, выходят «штучки» —
 Ручки в брючки,
 Закорючки,
 Видом — вески,
 Жестом — резки,
 Тверды, горды как Ллойд-Джорджи!
 (Только, эдак, вдвое тверже!)
 И любезно говорят:
 — «Осади назад!»

После всех рекомендаций,
 Аттестаций, регистраций,
 Всевозможнейших расписок,
 Переписок и подписок,
 Раздается вещий глас:
 «Нельзя-с!»

«— Н-да-с! Имеются ресурсы
 Исключительно на курсы:
 Маникюра,
 Педикюра,
 Выжиганья,
 Вышиванья...»
 — «Извините, до свиданья!»

2

— «Здрассте!» — «Здрассте!»
 Тут у нас по детской части!

Мы старанья все приложим
И, всем прочим в назиданье,
На букварик выдать можем...
— «Извините, до свиданья!»

3

— «Здрассте!» — «Здрассте!»
Тут у нас по земской части.
Выдаем на рестораны,
Виноградники, кафаны,
На развод осин и елок...
— «Извините, я филолог!»
Можем выдать, для почину,
Вам на швейную машину...
— «Что-ж я буду делать с нею?»
— Устраняя все невзгоды,
Выдаем еще на роды...
«К сожаленью, не умею!»

* * *

Мои несчастные colleg'-и
В международном этом беге —
Мы убедились понемногу,
Что нам в беде скорей помогут:
Зулусы, турки, самоеды,
Китайцы, негры, людоеды,
Бахчисарайская орда,
Но свой же русский — никогда! ⁴⁴

И тем не менее русские не «пропадали» и старались помочь друг другу, хотя «в семье не без урода».

Бывало, что и сами сербы, особенно в связи с наступившим мировым экономическим кризисом, выставляли эмигрантов некими завоевателями, отнимавшими работу у бедных белградцев. В 1932 г. в газете «Jugoslovenska politika» появился ряд материалов талантливого публициста Д. Павичевича, в которых он, намеренно сгущая краски, пытался резко противопоставить роскошь русских — прозябанию югославов. Об этом свидетельствовали такие заголовки статей, как «Русские наслаждаются — наши голодают», «Русские нас давят», «Русские взбесились». Да, были богатые русские, нанимавшие сербов в услужение. Да, бывало, они могли бросаться деньгами. Да, по своим талантам, мастерству, опыту многие русские в различных областях знания, прежде всего в естественных, пользовались предпочтением у тех же сербов. Но не

следует забывать, что само государство, возрождавшееся из руин недавней войны, остро нуждалось в специалистах, в образованных чиновниках. Нужно знать, что «бешенство» после продажи бриллиантов быстро заканчивалось.

Со своей стороны добавлю: мне была рассказана моим другом сербом трагическая история о пожилом русском полковнике, не сумевшем найти работу, продавшем все что можно, только чтобы прокормиться, но все же умершем от голода, вернее, от безысходности. Были и те, кто кормился подаванием.

И все же русские старались как-то устроиться. Конечно, хорошо было тем, кто уехал из России с капиталом. Например, одним из самых богатых русских слыл москвич Василий К. Исаев, владевший, как и ранее в Москве, ювелирной мастерской в Белграде и виллой в Дубровнике, куда переселился в 1941 г.⁴⁵ Без «капиталов» было труднее. Особенно тяжело было офицерам, осваивавшим нередко новое ремесло, и хорошо, если оно не связано с ношением швейцарской ливреи, а со слесарным делом. И шли в «мастера по металлу».

В столичной рекламе можно было прочесть:

«Галлиполийская мастерская Белградского отделения общества галлиполийцев выполняет следующие работы:

1. СЛЕСАРНЫЕ: Изготовление и ремонт слесарных и легко кузнечных изделий (железных кроватей, умывальников, замков, ключей, ножей, ножниц и проч.).

2. СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЧИНОК „ПРИМУСОВ“ всех систем.

3. ЖЕСТЯНЫЕ: Приготовление жестяной посуды, ремонт жестяной эмалированной и медной посуды (чайники, ведра, кофейники, миски, тазы, кастрюли, самовары).

4. ПОЛУДА МЕДНОЙ ПОСУДЫ.

5. ЛИТЕЙНЫЕ: Прием заказов на изготовление военных заказов (полковых, училищных, вензелей, трафаретов и проч. и выпуск таковых, Георгиевские кресты 1–4 степеней, знаки Кубанского похода, знак Бредовского похода, Знак Дроздовского похода, Знак Екатеринославского похода, Знак Николаевского кавалерийского училища, розетки гусарские, знаки саперные, кокарды офицерские и гражданские, звезды на погонах, Образ Спасителя (шейный), пуговицы русские с орлами, ленты шелковые, георгиевские и национальные»⁴⁶.

Отличительные черты красной Москвы первых лет — удостоверения и семечки, а монархического русского Белграда, города «вождей», — знаки и прочие отличия.

Определенная неспособность эмигрантов к новым условиям жизни объяснялась не только чисто объективными, но и субъективными причинами. Прежде всего, это извечные «авось» да «небось», откуда, в ча-

ности, проистекало нежелание учить язык. Для многих свою роль играли возраст, ломка привычного уклада жизни.

В письме В.Н.Шtrandмана от 1 сентября 1936 г. принцу-регенту Павлу говорилось: «Министерство внутренних дел, за весьма редкими исключениями, отказывается принимать эмигрантов в югославское подданство, что лишает их права искать заработок даже на иностранных предприятиях, которым предлагается оказывать строгое предпочтение национальным рабочим... Уже сейчас имеются весьма тяжелые случаи, например, отказ принимать на работу русских только потому, что они русские... Число погибающих русских, умирающих вследствие острого недоедания, с каждым днем увеличивается, а зачастую имеются случаи, когда люди доходят до полного отчаяния»⁴⁷.

Безусловно, в этих строках было намеренное обострение ситуации. Но здесь не надо забывать, что король Александр был уже в могиле, а в самой Сербии подросло послевоенное поколение, требовавшее своего «места под солнцем». Русские, оставившие свою «богатую родину», стали мешать. В Белграде «забыли», что из денег, полученных при отъезде из России от Николая II на помощь разоренной Сербии, Н. Пашич передал 800 000 динаров в управление фондов, а в письме на имя председателя Скупщины выразил свое посмертное желание, чтобы на эти деньги был сооружен памятник «Русскому царю Николаю II»⁴⁸.

«В 1936–1937 гг. сербское государственное радио занималось тем, что издевалось над русской нацией и, перейдя все границы приличия, выставляло русского мужчину идиотом под именем „Сережи“, а русскую женщину — падшей, под именем „Ниночки“. Одновременно же с этим в сербскую народную массу бросали по радио... ложь, что русские позанимали места в министерствах, что они сидят паразитами на шее сербов... Травля национальной русской эмиграции выгодна была и для просоветских элементов. Все мы знаем, что „в семье не без урода“... но это... не дает никому права из-за таких уродов клеймить всю нацию». Только в феврале 1937 г. ряд русских и сербских деятелей посетили директора «Радио А.Д.» генерала Калафатовича и заявили следующее: «На всем свете нет ни одного радио, которое бы так возмутительно дискредитировало русскую эмиграцию, кроме... Белграда и Москвы. Мы, сербы, в своем же доме позволяем себе оскорблять русских, — тех русских, которые в европейскую войну защищали Белград и погибли на Салоникском фронте... Но не говоря уже о мертвых, просто недостойно для сербов оскорблять тех братьев-русских, которые теперь в беде, потеряв свою родину, мучаются и страдают по всему свету... Есть две нации без отечества: это — русские и евреи. Однако, почему-то нападают только на русских»⁴⁹. Протест был принят, и травля была прекращена. Все эти прискорбные факты все же не должны очернять историю взаимоотно-

шений русского и сербского народов: грязные пятна лишь оттеняют белизну стен крепости русско-сербской дружбы. Позволю себе два примера.

Первый: в 1928 г. на основе соглашения МИД и Министерства просвещения с президиумом Госкомиссии по делам русских беженцев был создан Русский культурный комитет (далее — РКК), куда, в частности, вошли представители правительства и ученого мира. На первом заседании РКК 29 мая 1928 г. глава Госкомиссии Александр Белич подчеркнул, что целью новой организации является подъем и развитие тех граней жизни, «без которых особенно русский интеллигентный человек считает себя вычеркнутым из культурной жизни — науки, литературы и искусства, в которых он занимает достойное к общей части Славянства место». Было принято решение о том, что РКК сформирует Русскую публичную библиотеку, Русский литературно-художественный журнал, Русское книгоиздательство, Русский научный институт (далее — РНИ), художественные студии — музыки, живописи, театра⁵⁰. Для реализации программы РКК председателем был избран А. Белич.

Второй: я упомяну здесь имя обычного серба, простого, без претензий, русофила Милана Ненадича, связавшего себя с Россией еще по службе в Санкт-Петербурге. В 1921 г. он всю свою энергию употребил на организацию для русской студенческой молодежи трех общежитий на 218 человек. Не менее успешной была его деятельность по устройству дома для престарелых, живших на небольшие пособия в 200–300 динаров от властей. Для помощи им Ненадич организовал особый сербский комитет, председателем которого стал промышленник Джордже Вайферт, масон⁵¹. Добавлю, что имя Вайферта и сейчас можно увидеть вновь на рекламе пива.

Помощь русским оказывалась от рождения до организации последних проводов.

В случае каких-либо заболеваний бедняки всегда могли обратиться и получить бесплатную медицинскую помощь в амбулатории Российского Красного Креста (ул. Короля Александра, 120)⁵². Простую мебель, без затей, «быстро, прочно, дешево» можно было приобрести с мая 1921 г. в столярной мастерской Петра Филипповича Жадько⁵³.

Свободное время можно было провести в театре, ресторане, в кафе и, конечно, в кино, одном из самых доступных развлечений, позволяющих забыть о каморке, в которой живешь, о дураке начальнике, злой хозяйке, о безнадежной бедности.

Так, 1 февраля 1923 г. можно было купить билет в зал синема «Париж» на «русскую кинофильму» «Умирала цветущая роза»⁵⁴. А 14 апреля в биоскопе (кинотеатр) «Коларац» сходить на «великолепную русскую драму из кавказской жизни в 5 частях „Гость с неба“, в главных ролях Карабанова и Гайдаров»⁵⁵. Правда, после какого-либо фильма из старого времени было тяжело «возвращаться» в день сегодняшний.

В стихотворении Андрея Владимировича Балашева «На чужбине» эта тоска писала строки:

Еще один ненужный день
Навек исчез во тьме былого,
Гляжу с тоской в ночную тень,
Клянущему тщету пережитого.

Но завтра снова день и ночь,
И жажда русского Мессии, —
Как тяжело рваться и не мочь
Помочь истерзанной России! ⁵⁶

А пока свою боль и гордость, вину и радость молодежь отливала в стихи. В 1925 г. выпущен сборник молодых поэтов «Белый стан», авторы: Альбин Комаровский, В. Григорович, А. Ва-ев, Петр Евграфов, Анатолий Баташев, Николай Чухнов. Все стихотворения посвящены России ⁵⁷.

Высокое и героическое смешивалось в эмиграции со стремлением к уюту, занятиям любимым делом. Одни готовились спасти Россию, другие собирали марки: в Белграде действовало свое общество филателистов «Россика» ⁵⁸.

Удивительным человеком был обычный российский беженец А. А. Скрынька, в прошлом учитель русского языка, а в Белграде — торговец молоком на углу Мишарской и Ресавской улиц. В 1930 г. он издал в Нови-Саде за свой счет пособие «Русский язык. Знаки препинания» «с целью краткого, систематического объяснения всех правил русской пунктуации ученикам III-го до VIII-го класса» ⁵⁹.

Быт это не только жизнь, но и смерть. И если в Советской России люди гибли от голода, холода, в лагерях и тюрьмах, то в эмиграции — тоже сводили счеты с жизнью, не вынеся ее тягот в изгнании, вдали от семьи, от Родины. В изгнании для некоторых исчезал смысл бытия, а тогда зачем жизнь, этот «дар случайный»? Владимир Николаевич Гусакровский (1871 — 8.09.1923, Земун), генерал-лейтенант, командир Апшеронского полка, покончил с собой вследствие материальных тягот и нравственных страданий. Один из русских, служивший в Аграрном банке, после просмотра фильма о Порт-Артуре, где в одном из кадров увидел своего отца, погибшего при защите крепости, покончил жизнь самоубийством.

Но таких, отчаянных и отчаявшихся, было немного...

Быт имеет привычку засасывать. Кто-то посещал театр, а кто-то пил горькую, тот что-то учил, а были и такие, которые писали на религиозную тематику. Разумеется, пальму первенства здесь держало духовенство — на первом месте был митрополит Антоний (Храповицкий). Однако

и среди мирян были таланты. Так, А. Н. Матвеев получил премию в 2000 динаров за сочинение «О вере» в конкурсе, организованном Сербской академией наук и искусств. Его труд в обязательном порядке печатался и раздавался народу бесплатно, рассылался в народные библиотеки и читальни⁶⁰.

В погоне за заработком, в борьбе за быт(ие) русские занялись неизвестным для сербов ремеслом: изготовлением абажуров из специальной разноцветной бумаги и, как я уже говорил, игрушек и других предметов из дерева, украшенных народными узорами и окрашенных чаще всего в голубой и красный цвета (подносы, рамки, шкатулки, ножи для разрезания бумаги и пр.). Кроме тех, кто имел профессию, — врачей, инженеров, адвокатов, преподавателей, специалистов высшей квалификации, остальные жили на грани нищеты. Но... держали свой статус, соблюдали свои обычаи: завтракали поздно, обедали в пять, пили вечерний чай, затем следовало вечернее чтение или игра в карты. Обязательно все эти графы, князья, бароны держали четвероногого любимца — собаку или кошку, с которыми делили свою скромную трапезу. На Рождество украшали елку, на которой обязательно висел подарок для каждого приглашенного гостя. Этот обычай украшения елок сербы переняли именно от русских эмигрантов⁶¹.

Как тонко пишет сербская исследовательница М. Стойнич, русские жили с ощущением, что такая жизнь в бараках и на чердаках для них временная, чемоданная. Русские стали главными частными учителями иностранных языков — английского, немецкого, французского. С языком у учеников воспитывали любовь к русской культуре, литературе, искусству. Эти часы протекали в незабываемой атмосфере бедных комнат со скудной мебелью и обязательной лампой, яркий свет которой приглушала кашмирская, оренбургская или другая шаль, наброшенная на дешевый абажур. От старых русских дам многие не только научились иностранному языку, но и полюбили на всю жизнь Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Блока, Надсона и др., «вобрали в себя Достоевского, Толстого, Тургенева... и сплин непонятной русской дали, снежных пространств, одиноких берез, стоящих весной наполовину в воде»; «приучили нас любить и беречь животных, играть с ними так, чтобы им тоже было приятно, не мучить их, водить их гулять, разговаривать с ними». «Мы кормили их отходами, а такая, как Мария Петровна Карпова, не тратилась на завтрак, чтобы купить соседским кошкам молока (своих не имела, все были ее). Со слезами на глазах умоляла какого-нибудь извозчика не бить еле держащуюся на ногах от усталости лошадь. И всегда в своей сумке, по обыкновению полной книг, держала булочку, которой тайком угощала коня. Таким образом, мы, вместе с иностранными языками, русской литературой и русским чаем, поняли, что животные тоже

имеют душу, мы научились понимать их настроение по глазам — большим и не очень, пегим, темным, зеленым, голубым. Они стали для нас друзьями, с которыми мы делили даже свои сладости, для которых мы собирали кости, а иногда тайком оставляли кусок мяса от своего обеда для того, чтобы накормить бродяжку пса. Матери нам иногда говорили, что нас эти русские женщины „портят“... но их „часы“ были самыми дешевыми и самыми длинными, часто они или их мужи и сыновья помогали решать математические задачи, понять физику или химию, войти в тайны биологии. Одним словом, у них мы были как дома, под пристальным... А мы начали с пониманием и большим вниманием читать „Каштанку“ Чехова, „Белого пуделя“ Куприна, „Холстомера“ Толстого, „Вешние воды“ и „Асю“ Тургенева, „Белые ночи“ Достоевского»⁶².

Знакомство шло через соседство, дружбу на работе. В Сербии почти не было ни одной средней школы, где бы не преподавал русский учитель. Как правило, они были хорошими педагогами, которых ученики любили и уважали. Автором отличных школьных учебников по общей истории для государственных школ королевства был Лев Сухотин, директор русско-сербской женской гимназии, автор исследования «Фет и Елена Лазич».

Между беженцами были два типа интеллигентов.

Одни смирялись с катастрофой и искали объяснение в русской религиозной мысли, в учении Федорова о «всеобщем воскресении», в тезисе Соловьева, что Россия должна быть жертвой, чтобы примирить Восток и Запад, восточное и западное христианство, после чего наступит эра «Третьего Завета», когда не будет войн... Ситуацию, в которой оказались, они трактовали как переход в новое состояние и жили в некоем безвременье, что им облегчало переносить все трудности жизни в эмиграции⁶³.

Другие принадлежали к левой русской интеллигенции — эсерам, меньшевикам, анархистам. Облегчали свою жизнь, смеясь над собой, критическим отношением к дореволюционной России. Они стремились через Париж, Прагу, Хельсинки, Ригу, Берлин приобретать литературу о жизни в СССР и информировать сербское общество о процессах, происходящих в Советской России. В основном эта интеллигенция группировалась вокруг «Земгора» (представительство в Белграде находилось на ул. Кнез Милоша, 45).

Быт — это прежде всего жилье. Далекое не каждому была по карману отдельная квартира. Средний заработок составлял 900 динаров. В 1927 г. 50 динаров равны 1 доллару. Газета «Новое время» стоила полтора динара. Обед в «Русском ресторане» от 14 до 18 динаров. Абонемент на 15 обедов — 19,5 динаров⁶⁴.

Но были и счастливицы, имевшие свое жилье, как например профессор Белградского университета А. Л. Погодин. Его сын, будущий архи-

мандрит Амвросий (Алексей Александрович Погодин, 10.06.1925, Белград — 30.10.2004, толстовская ферма под Нью-Йорком) в своих стихах к матери писал:

Скажи, о Ты наверно помнишь
Тот дом, где жили мы тогда? —
Проход угрюмый, низкий, темный,
Но в комнате светло всегда?

Стена, что сыростью покрыта,
Ковер из драного сукна
И звук разбитого корыта:
Рояля нашего игра.

На трех ногах куриных, помнишь
Ту печку ржавую в углу?
Ея опилками наполнишь —
Она дымит невольно...⁶⁵

И еще одно:

Мечтатель я только невзрачный,
Затертый во льдах пароход,
А проще сказать — неудачник,
Коль двинусь — обратный все ход.

Я честно и много работал,
Я воду таскал решетом
И только на то заработал,
Что знаю, что был дураком...⁶⁶

И таких «дураков», вынесенных из России в эмиграцию, было немало.

Возвращаясь к квартирному вопросу, скажу, что многие снимали так называемые углы, жили по несколько человек в четвертушке или половине комнаты. Люди побогаче могли позволить себе меблированные комнаты. В Белграде таких общежитий гостиничного типа было несколько, например «Семья» (ул. Косовская, 53), «Общество взаимопомощи» (ул. короля Милана, 71), «Инвалидный очаг» (ул. Призренская, 5), «Россия» (ул. короля Милана, 69)⁶⁷. С 15 декабря 1923 г. к услугам постояльцев открылись меблированные комнаты «Родина» (ул. короля Милана, 69) с электричеством, паркетными полами, центральным отоплением, новой мебелью, сетчатыми и пружинными кроватями. Комнаты были разделены перегородками — у каждого свой отдельный угол. Утром и вечером — чай, кофе, какао, молоко, холодные закуски, пирожки. Все это стоило 15–20 динаров в сутки⁶⁸. Еще одна «Россия» размещалась на ул.

Доситеевой, 21⁶⁹. На ул. Капитана Мишина, 3 сдавались посуточно комнаты с 2, 3 и 4 кроватями⁷⁰. Для экономящих каждый динар Державная комиссия открыла дом для приезжающих в конце ул. Пожаревачкой по 3–5 динаров за кровать в сутки⁷¹. Из дешевых, но уютных, общежитий можно назвать и «Русский очаг» (ул. короля Милана, 85, против Сербского Офицерского Дома). Цены в нем были ниже прочих общежитий, а инвалидам предоставлялась особая скидка⁷².

Об условиях студенческого жилья может дать представление тот факт, что в общежитии (бульвар короля Александра, 15), в котором проживало 90 человек, половина разместилась в четырех его комнатах, вторая половина — в коридоре. Другое общежитие (бульвар короля Александра, 130), разместившееся в трамвайном депо, было также переполнено и закрылось уже в конце 1922 г. Имелось крохотное общежитие (ул. Травничка, 5) на 8 человек. Лучшим было положение с жильем у 15 счастливиц, размещенных в общежитии (ул. Тряска), расходы на содержание которого брали в порядке благотворительности иностранцы, в частности испанцы⁷³. Для справки: в Союзе русских студентов Белградского университета к весне 1922 г. было около 700 человек⁷⁴.

Свой быт и досуг можно было значительно улучшить тем, у кого были ценности — золото, бриллианты и пр. Такие люди были в эмиграции, и именно для них росла сеть комиссионных магазинов, владельцы которых в большинстве своем тоже были из России. Итак, в Белграде работали следующие магазины: комиссионный И. П. Колченкова-Николаева (ул. князя Михаила, 24); сербо-русский магазин Сретена Божиновича (ул. Теразия, 7)⁷⁵; магазин Андрея И. Богданова (ул. Добриньска, 12), где, получив деньги за драгоценности, можно было купить «по дешевой цене чай, грибы, мыло, крестильные кресты, иконы, лампы и пр.»⁷⁶; магазин М. М. Покровского (ул. Юговича, 10) по приему бриллиантов и пр.⁷⁷; антикварный магазин Иосифа Линевича (ул. короля Милана, 82)⁷⁸; магазин товарищества «Посредник» (ул. короля Милана, 25)⁷⁹; первый комиссионный магазин Русского общества взаимопомощи (ул. Короля Милана, 71), перешедший с улицы князя Михаила, 35, принимал на комиссию бриллианты, жемчуг, золото, серебро, разные драгоценности, старинные вещи, ковры, изделия русских беженцев, менял «русскую и иностранную валюту на самых выгодных условиях»⁸⁰.

Можно было раздобыть денег в русских кассах взаимопомощи, в различных фондах. Так, в 1923 г. такая была организована в Союзе русских инженеров в Югославии. Известно, что в 1929 г. можно было взять не более 1500 динаров на три месяца, в виде исключения на шесть, с уплатой одного процента в месяц⁸¹. Но так как платили взносы в свою кассу нерегулярно, выдавали тем, кто не имел права, то в результате появились многолетние должники и т. д. Смута и беспорядок отличали

это кредитное учреждение. Для того чтобы как-то обеспечить минимальную сумму, в кассе в 1936 г. были организованы благотворительные вечера. В 1938 г. было организовано два таких вечера с лотереями. Выручка в 2600 динаров была сразу отдана займы наиболее нуждающимся членам⁸². Фактически это кредитное учреждение лопнуло, как это бывало и в России с такими кассами.

Теперь о фондах. В этом же Союзе в 1925 г. возникла другая идея об учреждении фонда помощи в случае смерти своего члена. Предполагалось уплачивать 2000 динаров. В фонд записалось 40 человек, которые за несколько лет внесли всего 1200 динаров. Вся эта сумма в 1928 г. была выплачена семье первого умершего, а сам фонд прекратил свою деятельность⁸³.

Совсем другая картина представляла, когда в сфере помощи участвовал западный капитал. Достаточно назвать действовавший в королевстве с 1932 г. Русский трудовой христианский союз (православный вариант профсоюза в странах Европы). Его члены могли пользоваться «кассой взаимопомощи, бесплатным лечением в Русской больнице в Панчево, в санатории Вурберг в Словении без ограничения времени лечения, правом проезда по железной дороге в плещены, правом на дома отдыха, на юридическую помощь и др. льготы»⁸⁴. Взносы — 10 динаров в месяц и еще два динара, если хотели пользоваться дополнительными льготами. В Союз могли вступить и члены семьи при ежемесячном взносе в 3 динара. Была предусмотрена и страховка в случае потери кормильца. Взнос в 14 динаров уплачивался каждые три месяца. Страховая сумма составляла 2000 динаров⁸⁵.

Бедняки, старики и старухи, бездомные могли надеяться только на благотворительную помощь. Им собирали деньги на различных вечерах с лотереями, устраивали кружковый сбор. И здесь по традиции первенствовали женщины, среди которых не было жестокосердных. Из обществ можно назвать Мариинское сестричество, цель которого — помощь нуждающимся. Такая же задача стояла перед Национальным обществом русских женщин, руководимым А. Н. Алексеевой, вдовой основателя Добровольческой армии. Оно действовало с 1929 г., собирая по крохам средства, которые шли на помощь в первую очередь одиноким женщинам и детям. На свои считанные-пересчитанные деньги эти женщины отправляли некоторое количество детей в летние детские колонии, устраивали праздники. При Обществе действовали курсы кройки и шитья, которые давали возможность многим «получить за небольшую плату кусок хлеба на руки»⁸⁶.

Быт — это и привычная еда. И русские с выгодой для себя старались для москвичей, петербуржцев, жителей провинциальной России. Так, действовали, кроме обычных гастрономических лавок, молочная

«Ромбус» (ул. Балканская, 26)⁸⁷, Центральная молочная (ул. Студеничка, 7–9)⁸⁸. Реклама обещала: «Молочные продукты русского производства всегда свежие и в большом количестве по дешевой цене масло, сыр, творог, сметана, яйца. Большой рынок, ряд русских торговцев: Соколов, Пиотровский, Родин и К-о. и Реутов»⁸⁹. Дествовали также Русская лавка, Бакалейная торговля, Малый базар, Цветан трг (лавка № 16)⁹⁰, русский магазин «Балкан» (ул. Балканская, 13), где можно было купить крупы, грибы, огурцы, рыбу, колбасу и пр.⁹¹. Здесь можно было жить почти как в Петербурге или в Москве: ходить к русским продавцам на базар, покупать селедку у какого-то «Петровича», а гречку у «Петра Поликарпыча». За русской колбаской можно было зайти в колбасную «Валентина» (ул. короля Милана, 98), а за парижскими окороками к Рождеству в русский гастрономический магазин «Югославия» (ул. Теразие, 29)⁹². Для любителей «вкусенького» москвич Николай П. Павлов (1884–?) открыл в центре Белграда (ул. короля Милана, 81) магазин «Волга» по продаже деликатесов. В последующее время его многочисленная семья (7 детей, женат на Елене Митрофановой) открыла ряд антикварных и книжных магазинов, книжные издательства, рекламные бюро и пр.⁹³.

В Белграде был даже свой Союз русских торгово-промышленников (председатель совета В. Д. Ильин, председатель правления Г. Г. Миткевич и секретарь С. Я. Кривцов). Действовали на правах товарищества три русских банка: Кредитная задруга с председателем профессором Я. М. Хлытчиевым, Касса взаимопомощи при Всероссийском земском союзе (руководитель Г. П. Шпилевой) и Задруга чиновников (глава А. Ю. Вегнер)⁹⁴.

В торговлю пускались многие, считая ее «легким и прибыльным» делом, позволяющим выйти из нужды: врач торговал фирменными мясными полуфабрикатами, архитектор продавал разные технические приспособления, университетский профессор разводил длинношерстных кроликов⁹⁵. Но и здесь было не все так просто: в определенных ситуациях приходилось применять гибкость, проводить некие махинации, даже нарушать закон. В своем большинстве такие действия не носили криминального характера. Но бывали и злоупотребления, такие как продажа отдельных участков земли, официально объявленных неделимыми, получение прибыли от торговли марками якобы для оказания помощи слепым девушкам (афера Виноградова). В то же время были и противоположные случаи, когда бухгалтер, от которого хозяин требовал подписать ложный финансовый баланс, пытался покончить жизнь самоубийством⁹⁶. В августе 1924 г. полиция раскрыла салон азартных игр и курильню опиума в гостинице «Ивич» и арестовала его владельца Михаила Полубоярова и девятых его поделщиков, тоже русских⁹⁷.

К февралю 1929 г. в столице королевства насчитывалось 153 мелкие лавки, 70 молочных, 58 деликатесных, буфетов, колбасных, столовых, на-

родных кухонь, магазинов винной торговли, 58 базаров, антикваров, разносчиков, 51 колониальная и бакалейная лавки, 15 комиссионных, 13 транспортных, 7 технических контор, 2 посреднических и рекламных конторы, 14 галантерей, 6 «агентурных» контор, 8 фирм по торговле автомобилями и прокатом, 4 предприятия занимались «спекулятивной» торговлей, столько же — мануфактурной, в 3 магазинах продавались мужское готовое платье и обувь, действовало 5 книжных и издательских предприятий, 2 магазина по продаже нот, музыкальных инструментов и пр., 2 посреднические конторы, занимавшиеся экспортно-импортными операциями, 1 пароходное предприятие, 1 фирма по торговле машинами, 1 торговая цветочная фирма, 3 фирмы по торговле дровами и строительными материалами, 1 меняльная лавка, 1 фирма по торговле кожами. Всего 483 предприятия⁹⁸.

Позволю себе здесь остановиться и расшифровать этот перечень и что стоит за ним. Ведь кроме лавочников были и дельцы, профессионалы в области торговли, обслуживания, строительства, в других сферах хозяйствования, пионеры в новых отраслях.

Пароходное дело. 16 сентября 1924 г. в Саву близ Чукарицы спущен на воду первый пароход, построенный в Сербии. Строитель — известный волжский промышленник и судовладелец Д. В. Сироткин. За год до этого он выстроил первое в Сербии моторное грузовое судно «Коста». Длина нового парохода — 40 м, ширина — 5 м, 50 кают, 300 пассажиров. Теплоход назван «Воля». Планировался на рейс Белград — Вена. Использовался на внутренних рейсах⁹⁹.

Обувное дело. В июле 1931 г. в Белграде открылся русский магазин «Вега» фабрики обуви Владимира Григорьева из Панчева. Эта фирма работала на рынке уже 10 лет и была известна в Загребе, Сараеве, Любляне, Сплите и других местах¹⁰⁰.

Безошибочна была ставка на производство русской водки, любимого напитка соотечественников, не привыкших к ракии, отдающей «парфюмерией». В 1923 г. Товарищество по производству водочных изделий «Орел» в Белграде выпустило в продажу: красную головку, перцовую травник, лимонную, апельсиновую, белую головку, сахарную, хинную и английскую горькую¹⁰¹.

Экспорт-импорт. Пожалуй, одним из воротил в этой сфере стал выпускник Московского университета, защитивший докторскую диссертацию по химии, Виктор Васильевич Шипатовский (1878, Севастополь — 1944, Белград). Примерный семьянин — жена Софья и дети Виктор и Наталия. С 1922 г. он был владельцем торгового агентства «Новву». Его коммерческая деятельность заключалась в продвижении на рынок препарата для очистки металлических изделий, а также химпрепарата «Тепалина» для очистки накипи в паровых котлах, нагара в авиационных и

автомобильных моторах. Параллельно Шипатовский представлял интересы нескольких английских текстильных фирм, в частности Альфреда Мидвуда из Манчестера, а также производств по изготовлению корсетов. Понемногу приторговывал сукном, которое покупал в своих командировках в Великобританию. Его услугами представительского характера пользовались: немецкая фирма из Лейпцига «Kluge & Porisch» (растительное масло, эссенция и химикаты), английская из Глазго «Hopkins & C.» (виски «Jim»), лондонская «Sir Robert Burnet», французская «St. James» (рейнское шампанское и ром), парижская «A. F. Pear's» (мыло и парфюмерия). Шампанское поставлял к королевскому двору, в отель «Палас», ресторан «Русский царь». Имел представительство по поставкам из Бордо консервов, фруктов, овощей, рыбы в основном для снабжения королевского двора. Вел дела по всей Югославии¹⁰². Это о нем в сатирическом журнале «Бух!!!» (1932. № 11) писалось:

Без шляпы жил Роман Верховский,
 Но в шляпе ходит Шипотовский.
 Он без труда и без забот
 Сумел устроить «Оборот».
 Он оборотистый был малый,
 Таких немного есть пожалуй.
 Он был в Париже баронетом,
 И был Мюнгаузенем при этом.
 Пока еще была Россия,
 Он был приятель папы Пия,
 Был в Австро-Венгрии кронпринцем,
 И жил у Габсбургов под Линцем,
 И был на ты он с Карлом Мором,
 С Рабиндранатом и Тагором;
 А с королевой Вильгельминой
 Он говорил с шутливой миной.
 Ему сам Блок писал сонеты,
 Он крестный папа Гарбо Греты
 И он в угоду этой даме
 Два дня сидел в воздушной яме!
 Он десять раз весь свет объездил,
 Он на медведе белом ездил,
 На дирижабле и верблюде,
 Он был в Клондайке, Холивуде,
 Стокгольме, Чили, Тель-Авиве,
 Он поклонился Бrame, Шиве.
 И возле города Манилы
 Его раз съели крокодилы,

А после дружеской беседы
 Им закусили людоеды.
 Волками сожранный в Канаде
 Воскрес на кладбище в Белграде,
 А из пустыни жаркой Гоби
 Он для продажи вывез Хобби
 И занесен в словарь Брокгауза...
 Он — доктор и гонорис кауза.

Импортно-экспортными операциями в меньших объемах занимался Иван Васильевич Зотов (1881, Москва — ?), прибывший в Югославию в 1936 г. из Стамбула. До эмиграции он был владельцем фабрики, поставившей обувь в армию. В 1937 г. открыл фирму «Экспорт-импорт» по вывозу кожи из королевства и ввозу колониальных товаров, в основном тропических фруктов, пряностей и пр.¹⁰³

Среди торговцев из Москвы выделяется имя Пантелеймона Васильевича Заболотского (1887–1947, Белград). По своему прибытию в 1920 г. из России, где он был чиновником Министерства торговли, сумел устроиться в кампанию «Russo-Serbe», которая осуществляла экспортно-импортные операции, развивала торгово-промышленные отношения со славянскими странами¹⁰⁴. В ноябре 1924 г. фирма прекратила свое существование, но, по другим данным, кампания была на белградском рынке до 1927 г. В качестве пайщиков упоминаются Яков Хлытчиев, Валентин Гайдуков, Роберт Смит (англичанин), Михаил Белоусов из Парижа и Николай Залин из Берлина. В то же время Заболотский известен как один из основателей и председатель правления фирмы «Holz & Metalhandels Industry A. G.». Вместе с Михаилом Фоминым был владельцем фирмы «GlobusHaus G. m. b. H.». С 1935 г. вел финансовые дела в основном с американской фирмой «Братья Селигман». Через эту фирму был подключен к делам фирмы «Батиньоль», занимавшейся подрядами на большие строительные работы (Земунский мост, дорога Печ — Приштина и др). Имел дела с организацией «Терса Mains Ltd», т. е. с рудниками в Боснии¹⁰⁵. Его сын Борис (1909–?), по профессии инженер-электротехник, вел строительные дела и стоял с 1934 г. во главе строительной кампании «Стан» (Квартира), деятельность которой была короткой из-за недостатка средств¹⁰⁶.

Можно назвать еще одно имя — Анатолий Иванович Прицкер, человек, который стал инициатором издательства «Народна просвета» («Народное просвещение»)¹⁰⁷, выросшего в одно из крупнейших предприятий в Югославии.

Да, были крупные дельцы, большие капиталы, пионерская деятельность, но особого размаха не было. Основная масса русских, заинтересованных в торговле, устремлялась прежде всего в сферу обслуживания.

Открывались русские закусовые, молочные, кондитерские, служившие одновременно и чайными, ночные кафе, которых Белград раньше не имел: «Казбек», «Сейм», «Русская лира» и др. В Белграде появилось диковинное блюдо — блины, поедание которых принимало массовый характер на Масленной неделе: встреча — понедельник, заигрыши — вторник, лакомка — среда, широкая — четверг, тещины вечерки — пятница, золовкины посиделки — суббота, прощание, целовник, прощенный день — воскресенье. Масленица — один из любимых русским народом праздников: она и «масленица объеуха, деньгам приберуха, тридцати братьям сестра, сорока бабушкам внучка, трехматерина дочка».

И конечно, важное место здесь отводилось традиционной рекламе. Я позволю себе привести здесь ее достойный образец, помещенный в «Новом времени».

К БЛИНАМ

Всегда на Масленной неделе
Блины на родине мы ели
Обычай наш уже такой
И, надо думать, недурной,
Но без закусок и вина
Не съешь, пожалуй, и блина!
Но где же русскую взять водку,
Достать шотландскую селедку.
Купить омаров и сардин, —
Как не на Косовской, 1?!

Чего там, право, только нету, —
Не перечислить и поэту!
Икра нежнейшая донская,
К тому ж совсем не дорогая,
Копчушки, кильки... а балык;
Проглотишь собственный язык!
Грибы, консервы и соленья,
А шпроты всем на удивленье!
Но нет! Всего не перечеть,
Что в магазине этом есть!
Пускай любитель гастроном
Сам убедится лично в том!
А я скажу вам только то,
Что говорил уже давно:
Кто знает Д р о б о т о в а, — те
Должны поверить свято мне,
Что самый лучший магазин —
Ей-ей на К о с о в с к о й, 1! ¹⁰⁸

В старой Скадарлии звучала русская песня. Борщ, русские каши, пирожки, блюда с грибами, селедка и другие, почти неизвестные рыбы появились в ресторанах, а потом и на сербских домашних столах. Чай, который в Югославии пили только больные, стал почти равноправным с кофе, с которого начинается день в Югославии ¹⁰⁹.

Русский Белград был славен и числом своих организаций. Можно назвать сформированное к концу 1931 г. «Собрание инженеров-путейцев, выпускников Института инженеров путей сообщения императора Александра I в Санкт-Петербурге. Цель традиционная — взаимная помощь и поддержка» ¹¹⁰. Возглавляли «Собрание...» профессор Александр Андреевич Брандт до своей кончины в 1933 г., потом Илья Игнатьевич Харитонович (1878–?), один из старейших инженеров ¹¹¹. В конце 1931 г. был напечатан список выпускников, которые жили за границей. Он содержит имена 133 инженеров (27 жили в Белграде) и далеко не полон ¹¹². 125-летие института отпраздновали в 1935 г. в Белграде выпуском сборника соответственных празднику стихов Бориса Велихова, а также в ресторанах Белграда ¹¹³.

Организации росли как грибы после дождя, и количество «вождей», как шутили в Белграде, превышало численность русских в столице королевства. Когда сформировался Русский трудовой христианский союз, то его, смеясь, называли «сто первой организацией» ¹¹⁴. И каждая из них старалась организовать вечера для своих членов. Выбор, куда пойти, был велик.

В свободное время можно было и почитать книжку. Кому-то она позволяла окунуться в мир любви, другому — напоминала о величии России, неразменной и неуничтожимой, третьему давала возможность позлостствовать на тему о виновниках крушения Российской империи. Каждая имела свою толпу героев — классических и не очень. И читатель выбирал свою «толпу». Одному нравился Достоевский, иному Поль де Кок, а совсем «ушедшему из времени» — Плутарх. Ну, разумеется, наиболее востребованной была рефлектирующая классика вместе с черносотенной литературой. И конечно, не каждый имел у себя дома библиотеку.

О таких «бедолагах» заботились и книжные торговцы, и различные организации. К началу 1922 г. в Белграде вновь был открыт книжный магазин «Возрождение» И. Строганова ¹¹⁵. В феврале 1922 г. Общество по распространению русской национальной и патриотической литературы открыло при материальной поддержке Белградской колонии бесплатную библиотеку новейших книг и изданий. Помещалась она в канцелярии Белградской колонии ¹¹⁶. Книжный фонд Белградской библиотеки Всероссийского союза городов (ул. Милоша Поцерца, 23) к 1922 г. превышал 2000 книг на русском и иностранных языках. Для колоний был льготный абонемент ¹¹⁷.

К 1921 г. в Белграде были известны такие книжные магазины, как «Русская мысль» (ул. Пуанкаре, 20), с рассылкой газет и книг, Всеславянский книжный магазин (ул. Пуанкаре, 36), розничный магазин Русского товарищества книжной торговли под фирмой «Славянская взаимность» (ул. Теразия, 10). Для завсегдатаев ресторана Завалишина в Белграде в 1922 г. был открыт киоск, где можно было после обильной еды купить для «умствования» книги и газеты. Там имелась и библиотека, принадлежавшая издательству братьев Грузинцевых¹¹⁸.

Религиозная литература была широко представлена в библиотеке при просветительном отделе «Общества попечения о духовных нуждах русских в Королевстве СХС»¹¹⁹.

Конечно, Белград был центром различных военных союзов, объединений, обществ, и, разумеется, Русская военная библиотека (ул. Короля Милана, 62) была одной из самых больших. С 10 августа 1921 г. по 10 августа 1922 г. в ней насчитывалось 3350 библиотечных и 242 частных книг. Получали 67 газет и журналов из Франции, Чехословакии, Германии, Болгарии, Бизерты. За год библиотекой пользовались 2500 человек. Брали на дом 1129 человек. Ее специалисты оказывали военно-научную помощь, собирали литературу по «минувшей войне и текущей Смуте». Плата за пользование была символической: на дом — 5 динаров в месяц, в библиотеке — 50 пар в день¹²⁰.

Имелась и техническая библиотека при Союзе инженеров в Королевстве СХС¹²¹. Она была открыта в октябре 1922 г. Однако богатой библиотеки не получилось: не было достаточно денег для их закупки. В 1925 г. она имела всего 66 книг. В 1929 г. была передана в Русскую публичную библиотеку в Белграде¹²². Но довольно быстро русские инженеры переменили свое решение и вернули книги «под свое крыло», решив быть хозяевами своих книг, а не просителями. Лишь после постройки Русского дома (1933) библиотека — уже окончательно — переехала туда¹²³.

В его стенах размещалась и великолепная Русская библиотека с изумительной коллекцией дореволюционной литературы и ценнейшим собранием книг, изданных во всех странах русского рассеяния. Не забывать Россию, помнить ее, гордиться ее историей, литературой помогали эти книги. Русская публичная библиотека «выросла» из библиотеки, основанной в 1920 г. Представительством Всероссийского Союза городов в Королевстве СХС. И первый «вклад» в это благородное дело внесла сербка, пожертвовав сто русских книг. В 1928 г. библиотека насчитывала уже 20 тыс. книг. Потом на помощь пришел Русский культурный комитет, и к 1933 г. в реорганизованной библиотеке на полках стояло около 60 тыс. печатных изданий¹²⁴. С течением времени, в ней уже было около 130 тыс. томов¹²⁵. Около 1,5 тыс. русских белградцев (а с членами их семейств — примерно 5 тыс. человек, т. е. половина русского

Белграда) пользовались сокровищами своей Публички. Имелись две читальни, одна из них — для газет и журналов¹²⁶, в том числе и советских.

После Тургеневской библиотеки в Париже, основанной задолго до революции и снабжавшейся книгами за счет правительства, белградская считалась самой ценной в русском зарубежье с изумительной коллекцией дореволюционной литературы: русские люди, покидая Россию, везли с собой не только бриллианты, если таковые имелись, но и любимые книги. Практически весь фонд библиотеки «исчез» в 1944–1949 гг.: одни книги были — к счастью — растащены, другим повезло меньше — сданы в макулатуру, сгорели вместе с комплектами газет и журналов в топке котельной дома во время холодов.

О тогдашнем состоянии Русского дома дают представление строки из письма настоятеля русской церкви о. Иоанна Сокала: «Особо спешным является вопрос о русском доме в Белграде и др. зданиях, находящихся на той же территории бывшего Русского Посольства. Начиная с 17 ноября 1944 года все эти помещения стоят закрытыми без всякого надзора и заботы о них. Закрыты были они внезапно; вследствие этого поправки повреждений, полученных во время уличных боев, не были проведены, и здания эти остались незащищенными против зимних непогод. Многократные обращения к сербским властям и различным общественным организациям остались пока безуспешными. Незастекленные окна не предохраняют их от холода, снега и дождей, подземные воды заливают подвальные помещения; водопроводные трубы лопнули с первыми морозами... В таком печальном состоянии находится сейчас Русский дом... Она (библиотека. — В. К.) и теперь, после того как из нее было увезено некоторое количество книг советскими военными властями, находится в состоянии большого беспорядка...»¹²⁷.

Несколько тысяч книг «невинного характера» было подарено Обществу дружбы Югославия–СССР. Дружба была короткой, и в 1949 г. после ликвидации Общества книги были переданы белградской библиотеке, где помещены на долгие годы в запасники, в 1960-е гг. были использованы как макулатура¹²⁸. Лишь ее жалкие остатки, запрятанные в подвале дома, в 1980-х гг. попали в Ленинку и в Историчку.

Естественно, не для всех книга была «местом отдыха». Если «старик» после работы спешили к семьям, сидели в кафанах и ресторанах за рюмкой «своей» водки, напоминавшей им о Родине, ходили по театрам и клубам и пр., то у молодежи были свои развлечения, не требующие особых расходов: прежде всего это танцы, кино, участие в любительских спектаклях. Летом были свои развлечения. Кто не мог выехать на природу, отправлялись по утрам на «Русские пляжи». Самыми известными слыли купальни на Саве — «Ла Манш», «Дубровник» и даже страшная по своему наименованию «Сибирь». Там не только жарили

свои тела под жарким солнцем и пили разбавленное водой вино или пиво, для охлаждения «органона», но и, следуя с охотой западной моде, выбирали «мисс» своего пляжа. В 1930 г. в «Ла Манше» первой была Ольга Ильяшевич, в «Сибири» — Надежда Бородина, в купальне «Дубровник» — ученица 8 класса Наташа Турбина¹²⁹.

Для молодежи, пробующей и ищущей себя в литературе, местом встреч были своеобразные литературные собрания. Здесь можно назвать общество «Новый Арзамас», куда входили Александр Неймирок, Юрий Герцог, Николай Бабкин, Михаил Духовской, Нина Гриневиц, Игорь Гребенщиков.

Одна из его участниц, Л. Алексеева, вспоминала о том чудесном времени: «„Заседания“ наши проходили экзотически — например, сидели на полу на подушках, ели халву, запивая красным вином, и читали стихи, свои и чужие — предпочтительно Гумилева. Иногда заседания проводились в парке за городом. Было всегда очень весело и беззаботно, ведь было нам всем чуть меньше или чуть больше 20 лет»¹³⁰.

Тогда же, в 1920-х гг. действовал «Книжный кружок», устраивавший, случалось, свои и совместные с музыкальным кружком имени Н. А. Римского-Корсакова вечера. Его участниками 24 мая 1927 г. объявлялись Екатерина Таубер, Анна Храповицкая, В. Бельский, Вс. Григорович, Евг. Кискевич, Ал. Лебедев, Леонид Машковский, Юрий Сопочко. Программа традиционна: произведения членов музыкального кружка, романсы на текст участников «Книжного кружка», чтение стихов и прозы авторов¹³¹.

К лету 1928 г. «Книжный кружок» был переименован в Кружок поэтов имени М. Ю. Лермонтова, где неперіодически устраивали вечера-субботники. Один из них был проведен 21 июля в саду общества взаимопомощи. Центром собравшихся поэтов и многочисленных гостей стал приехавший из Парижа И. И. Тхоржевский, читавший свои стихи и переводы¹³².

Это была весьма колоритная фигура. Он окончил в свое время Санкт-Петербургский университет по кафедре государственного права. Начал службу в канцелярии Совета министров, в этот период написал историю царствования Александра III Миротворца, составил проект введения всеобщего обучения. По поручению С. Ю. Витте принимал участие в редактировании основных статей конституции 1906 г. С 1916 г. — в частных банках. Член национального комитета Российского центрального объединения и Торгово-Промышленного союза и член правления Торгово-Промышленного банка в Париже¹³³. Деньги и поэзия, видимо, мирно уживались в нем, не мешая друг другу.

Конечно, было бы несправедливо утверждать, что «стариков» не интересовали литература и русский язык. Здесь можно назвать удивив-

тельный Союз ревнителей чистоты русского языка, основанный в 1928 г. Евгением Александровичем Елачичем. Л. Алексеева вспоминала: «Кружок был полугимназического типа, немного скучноватый, но очень добродетельный. Устраивались чтения, составлялась библиотека газетных вырезок, читались лекции, и мы ядовито ловили друг друга на употреблении ненужных иностранных слов и неправильных оборотов. Евгений Александрович был высок, худ, педантичен, вегетарианец, и держал нас всех в повиновении¹³⁴. Действительно, скучно... Но картина совершенно другая, если прочтешь изданную в 1937 г. Памятку союза, в котором к 1937 г. насчитывалось 110 „ревнителей“»¹³⁵.

В своем воззвании правление союза писало: «Русский язык находится в опасности. Берегите его. Мы все должны немедленно принять ряд мер к сохранению его чистоты.

Уже более пятнадцати лет несколько миллионов русских вынуждены жить вне своей Родины рассеянными между разными приютившими их народами. За истекшие годы выросло целое поколение русских детей, родившихся на чужбине и ставших маленькими людьми среди народов, не говорящих по-русски. Местный государственный язык все русские, и большие и малые, должны знать хорошо; это язык постоянных служебных деловых общений, и для многих детей даже и язык школьного образования. И не удивительно, если постоянное вынужденное пользование данным местным языком с течением времени становится привычкою настолько, что многие взрослые начинают отвыкать от своего родного языка, ошибаются в русских словах и оборотах, вставляют в русскую речь множество иностранных слов, даже не всегда замечая это.

Не удивительно и то, что многие русские дети не научаются правильно говорить на языке своего народа, что большинство выросших на чужбине русских детей начинают думать на более близком и лучше им знакомом местном языке, что, играя между собой, русские дети говорят не по-русски, что даже те дети, которые имеют редкое счастье учиться за рубежом в русской школе, все же говорят по-русски не свободно, не без ошибок, не без обильного засорения русского языка словами и выражениями не русскими.

Миллионы русских в тяжелых условиях беженства борются за свое существование, не желая сливаться с другими народностями, твердо зная, что их дело — сохранить себя и своих детей русскими... что в счастливый день возвращения в освобожденную и возрождающуюся Родину... они должны привезти на Родину здоровых духом русских детей, а не маленьких чужестранцев.

Одним из первых условий сохранения своей национальности, конечно, является родной язык. Человек, плохо говорящий по-русски, едва

ли русский; ребенок, думающий не по-русски, вероятно, уже утерян для русской культуры...»¹³⁶. В числе предлагавшихся «ревнителями» мер были и такие: «...чтобы подрастающее на чужбине юное поколение русских ознакамлялось с русской культурой во всех ее видах и особенно с помощью русской книги. Надо цепко держаться хорошей русской книги, великой русской художественной литературы. Детские библиотеки должны быть живым, любимым учреждением русских детей... чтобы русские журналисты... обратили большее внимание на правильность и чистоту русского языка во всем, что печатается в газетах и журналах»¹³⁷. Так что не все так было «замшело» у «стариков».

А что они еще делали, можно задаться вопросом? Тут я назову устройство «Собранием...» вечера «Старый русский юмор» с чтением произведений народных: Д. Фонвизина, А. Пушкина, И. Мятлева, Ал. Толстого, К. Пруткина, А. Апухтина, А. Чехова, И. Горбунова, Н. Лейкина и др. Одновременно при входе принимали добровольные пожертвования в пользу известного только знатокам комитета «Белой ромашки» (борьба с туберкулезом)¹³⁸, для которого в свое время трудился цесаревич Алексей.

Была и своя «Литературная среда», собиравшаяся по средам в одной из аудиторий Народного университета им. И. Коларца. «Председательствовал, — писала непреходящая участница всех литературных обществ Л. Алексеева, — милый старенький вечный эмигрант, т. е. еще с царских времен, Карл Романович Кочаровский. Весь состав „Нового Арзамаса“ посещал и собрания „Среды“, но, кроме нас, там бывали поэты и писатели постарше, и некоторые даже — о верш мечтаний — печатавшиеся в „Современных Записках“, как Илья Голенищев-Кутузов, Екатерина Таубер и наш прозаик Михаил Иванников. Бывали у нас В. Гальский (издан сейчас в России. — В. К.), К. Халафов, еще супруги Петровы, Игнат Побегайло, Павел Крат, Михаил Погодин и кое-кто из „сочувствующих“. Этот кружок издал тоненький альманах „Литературная среда“, который так и остался номером первым. Мэтром нашим был Голенищев-Кутузов, к его мнению все почтительно прислушивались, — был он как-то культурнее остальных, но очень себе на уме»¹³⁹.

К литературному обществу можно причислить, не строго говоря, такую профессиональную организацию, как «Союз русских писателей и журналистов в Югославии». «Самой колоритной фигурой был, — по словам Л. Алексеевой, — Петр Бернгардович Струве, с его пышной седой бородой, будто бы окунувшийся в нее и дремлющий в кресле с полузакрытыми глазами, но не пропускающий ни слова из того, что говорится или читается, и производящий затем логический разгром бедного оратора. Бывал на собраниях и В. В. Шульгин. Помню один случай, когда при нем Голенищев-Кутузов прочел сильно просоветские стихи — и В. В. вскочил, весь красный, что-то нелестное крикнул Гол.-Кутузову и вы-

бежал, хлопнув дверью. Был в Союзе и Евгений Михайлович Кискевич, горбатый поэт, всей душой преданный литературе»¹⁴⁰. Владимир Львович Гальский посвятил ему такие стихи:

Он с хозяином был странно сходен;
Холоден, нескладен и высок.
Для обычной жизни непригоден,
Невеселый этот чердачок!

Виршей свежевыпущенных стопки,
Бюст, покорно ставший в уголок.
В тщательно заклеенной коробке
Порыжелый венский котелок.

Бедность здесь была уже не гостя,
Прочно полюбивши этот дом,
Чопорный, весь черный, с вечной тростью,
Он доволен был своим жильем.

По дрожащим деревянным сходям
Вечерами брел на свой чердак,
Труд нелепый кончив на сегодня,
Литератор, критик и чужак.

Чтобы здесь в глухом уединеньи
Он. Горбатый мистик и поэт,
Претворил неясные виденья
В тщательно отточенный сонет¹⁴¹.

О Кискевиче, одном из самых лучших поэтов русского Белграда, напечатавшем в 1940 г. «Стихи о погоде. Пьесы 1930–1940 гг.», Таубер говорила: «Мне неизвестно слово, которое бы лучше всего характеризовало поэта и человека. Достоинство. Оно было во всем: в черном, до последней пуговицы застегнутом потертом пальто, в манере рукопожатия, в выпретенном чтении стихов». В 1945 г. стал жертвой коммунистического террора. Его рукой в камере тюрьмы на Баньници написано: „Кажется нас ведут на расстрел — Кискевич“»¹⁴². Это ему принадлежат точные строки об эмигрантском быте:

NATURE MORTE

Угол желтеньких стен. На латунном болте
Галстук, воротничек, пожилой, но крахмальный,
Полинялый флажок, дань скупая мечте,
Да обрывок фаты (котильонной, венчальной?)

А у притолки слон, сувенирчик соседки,
 Одинокая книга, записка на самом краю,
 И пучок иммортелей слишком яркой расцветки.
 О, прикрытая бедность, тебя ль благодарно пою? ¹⁴³

Можно было пойти и в Русско-Сербский клуб, основанный еще в 1902 г. при поддержке Н. Пашича, С. Груича, Р. Миловановича, а также митрополита Иннокентия, «в целях ознакомления сербских кругов с русской культурой и для духовного сближения с русским народом». Помещался он в доме Страхового общества «Россия». В клубе была великолепная библиотека русских классиков, действовали курсы русского языка. Вечера в клубе имели огромный успех и посещались королевской семьей. Разрушенный в годы Первой мировой войны, он был восстановлен в 1932 г. и открыт с благословения Патриарха Варнавы. Председателем клуба и его душой стал генерал «от геодезии» Стефан Бошкович, а его заместителем — первый адъютант короля генерал Никола Христич. Почетными председателями были президент Сербской академии наук и искусств Александр Белич и глава русской дипломатической делегации в Белграде Василий Николаевич Шtrandман ¹⁴⁴. С 1937 г. там были открыты курсы сербского языка ¹⁴⁵.

Конечно, Белград это не вавилонский Харбин, где было больше праздников, чем рабочих дней. Но дело не в количестве, а в традиции, а она блюлась ревностно русскими людьми, любившими «гульнуть» широко, с размахом. В «Новом времени» можно было прочесть такую рекламу: «Зал „Академии Наук“ в Белграде. Белградское русское Художественно Драматическое общество. 19 января 1929 г. БАЛ-МАСКАРАД под названием НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО В ДИКАНЬКЕ по сюжету и тексту Н. Гоголя, в переработке и постановке известного Американского режиссера В. ЯЦЫНА, прибывшего в Белград из Холливуда за баснословный гонорар, гарантированный Драматическим Обществом из Займа Земского Союза. В фильме принимают участие маститые и фотогеничные Члены Б.Р.Х.Д. Общества и Украинского Общества „Просвита“... Колядки и песни в исполнении хора „Просвиты“ под управлением Г. Красуцкого. Невиданный трюк: полет к куполу Академии — Солохи и черта на аппарате системы Русского механика самоучки. Кража месяца чертом. Влюбленные пользуйтесь наступившей темнотой. Мужья, бдите! Катанье на салазках. Игра в снежки. Замороженная клюква. Общий гопак при участии всей публики.

ВЫБОР МИС-БЕОГРАД

Премии, лотереи и летучая почта. Джаз-банд.

Дирижирует танцами г. Эггер.

Заботами правления общества цены в ресторане сведены к ценам станционного буфета в Миргороде...» ¹⁴⁶.

И еще одно праздничное объявление: «Русская студия театрального искусства устраивает в субботу 16 марта 1929 года в театральном зале чехословацкого дома (Студеничка, 81) МАСКАРАД-МАСЛЕНИЧНЫЕ БАЛАГАНЫ Балаганы на Марсовом поле — обозрение Якуа-Муа. Режиссеры В. Вячеславский и Г. Якуб-Муа. Художник В. Загороднюк. Программа: Картина I. Вали народ. Раешник зовет. Картина III. Распроздак, Распротак. Картина V. А и ах-ты, а и ох-ты!.. Картина II. Царь Максимилиан и гусар... Картина IV. Петрушка... Картина VI. Битва русских с кбардинцами... Начало бал-маскарада 10 час. вечера»¹⁴⁷.

Мой хороший знакомый Дмитрий Константинович Воронеж, сделавший мне много добра, когда я с семьей был в Югославии, вспоминая свое детство, писал: «Мы дружили с несколькими русскими семьями, и у меня были русские друзья. Воспитание детей в этих семьях шло в исключительно русском духе, в духе патриотизма. Дома говорили только на русском языке. В семьях заботились о знании детьми русской литературы, истории... В семье уважали все русские обычаи и праздники, моя мать регулярно ходила в церковь, а встречи с приятелями сопровождалась пением русских романсов под гитару, декламацией стихов и чтением отрывков из известных литературных произведений. На Рождество Христово устраивали елку, дарили подарки, а Воскресение Христово праздновали с “пасхой” и “куличем”».

Атмосферу мирного быт(ия) неперIODически «взрывали» то информация о раскрытых советских шпионах, то «нехорошие истории», связанные с деятельностью как отдельных homo sapiens, так и организаций.

Здесь можно представить слово герою Первой мировой войны, инвалиду, полковнику Михаилу Федоровичу Скородумову, принадлежавшему к славной плеяде правдоискателей, защитнику увечных. В своих воспоминаниях он писал: «Когда была мною открыта афера в Союзе русских инвалидов, где инвалидные возглавители обворовали приютившее нас государство на 3 миллиона динар, никто из русских официальных возглавителей не хотел прекратить это безобразие и позор. А когда пришлось обратиться к сербам и просить их убрать от нас этих воров, то в этой борьбе мне и моему помощнику, полк. Неелову, пришлось выдержать 35 судебных процессов в ложных обвинениях, с лжесвидетелями... Наконец 9 генералов и полковников, председатели провинциальных инвалидных отделов, получавшие от инвалидных возглавителей вознаграждение по 300–500 динар, не побрезговали написать на нас тайный донос министру, что якобы мы агенты Г. П. У., работающие на разложение Союза инвалидов, с целью нас выслатить из Белграда, дабы мы не могли раскрыть эту инвалидную аферу...» (потом была публичная пощечина одному из генералов — авторов доноса и ответный удар палкой по голове. Затем оправдание генерала Русским судом чести. Сербский суд

вынес иное решение, признав виновниками руководство союза. Новый глава союза, сербский генерал, так оценил деятельность своих предшественников: «Если бы вам дали Россию, то вы вторично бы ее погубили», добавив, что всех их «надо свести на Теразию (площадь в центре города. — *В. К.*), полить керосином и сжечь») ¹⁴⁸. Было плохо и со стариками. Конечно, те же русские инженеры для помощи старым и больным своим коллегам, особенно одиноким, организовывали благотворительные вечера с концертами, танцами, лотереями, доход от которых поступал в пользу ветеранов. В 1936 г. родилась идея о постройке для них своего дома для престарелых и больных. Но сбор денег шел медленно, началась Вторая мировая война, а строительство так и не было начато. Поэтому старики по-прежнему становились обитателями малочисленных и переполненных богаделен, если им успевали там обеспечить место ¹⁴⁹.

И, пожалуй, еще один скандал, о котором писали все русские газеты. Он случился в известном Русском доме, который представлял собой не только образовательный и научный центр русской эмиграции в Югославии, но и место проведения различных собраний, конференций, зачастую имевших политический характер. Надо напомнить, что в Сербии, как и на всей территории русского рассеяния, действовали различные русские военные союзы, имевшие свои отделения почти в каждой колонии. Наиболее мощной организацией являлся РОВС (Российский общевоинский союз, создан в 1924 г.), чей центр до 1927 г. находился в Белграде. Формально он был зарегистрирован в качестве гуманитарной организации для моральной и материальной поддержки военных белоэмигрантов. Фактически союз создавался для борьбы с большевиками. В идеологии РОВС важное место отводилось трудам Ивана Ильина, чье имя на слуху у каждого русофила. Русское общество с его различными организациями и структурами делилось на два ярко выраженных крупных лагеря — «пораженцев» и «оборонцев». Первые видели возможность свержения большевизма и, соответственно, освобождения страны в интервенции. Вторые защищали тезис о том, что какая бы ни была власть, но Родину необходимо защищать. Наиболее последовательными сторонниками лозунга «Ни пяди русской земли» выступали младороссы. Политическая программа Союза младороссов с их коронным лозунгом «ни белые, ни красные, но русские» представляла собой смесь монархизма с социализмом, круто замешанном на итальянском фашизме. С именем И. И. Толстого — активного деятеля в Союзе младороссов, где он был политруком, что страшно шокировало многих эмигрантов — связана обошедшая страницы многих зарубежных изданий жесткая полемика с «пораженцами». Диспут был связан с событиями на КВЖД и угрозами СССР со стороны Японии. Собрание происходило 5 марта 1934 г. в Русском доме. Основной доклад делал бывший марксист и бывший

ленинский соратник, автор программы РСДРП П.Б.Струве, призывавший эмиграцию быть вместе с Японией. Толстой же заявлял, что эмиграция, во всяком случае молодая, не будет на стороне врагов России. Известный В.В.Шульгин предлагал залу поразмыслить о возможности ассимиляции немцев русскими, проводя параллель с норманнами. Фактически диспут получился с элементами скандала. Тогдашняя атмосфера в зале была передана в следующем стихотворении, опубликованном в «Бухе!!!» в 1934 г. в № 16:

О ТОМ, О СЕМ...

Всюду скучно, всюду серо —
 И глухая атмосфера, —
 Но на этом темном фоне
 Всяк мечтал о Наполеоне.
 Есть опять изобретение —
 Есть лихое ополчение.
 К бою рвутся ополченцы —
 И дрожат непредрешенцы —
 Их вождя, что раз с китайцами
 Звал сражаться целый свет,
 забросали просто яйцами —
 (Мы узнали из газет) —
 «Време» сербское прочтите —
 Струве Петр, сын Бернгардов,
 Был один из славных бардов,
 Что сотрудничать с Араки,
 Призывают паки, паки
 Яйца к празднику Христа —
 В том обряде красота —
 Яйца падали, как град —
 Петя вовсе не был рад.

* * *

Разрезал воздух звук сирены —
 Нам с политической арены —
 К развлечению Белграда —
 Было сразу два доклада —
 В одном, тряхнувши бородой,
 Явился Струве пред толпой.
 Он говорил, что русским надо
 Лизать и пятки у Микадо.
 Раз с желтолицею ордой —
 Он завладеет и Москвой.

Я повторять всего не смею —
Он нес такую ахинею,
Такую ересь и сумбур,
Раз мы отдали Порт-Артур —
Мы отдадим Иркутск и Томск,
Якутск, Хабаровск, город Омск.
«Богата Русь вообще землей, —
Он рек, тряхнувши бородой, —
Японцы лучшие друзья —
Пусть в том порукой буду я!»
Он, переведший Маркса том,
Пришел учить нас в Русский Дом —
Считавший Ленина эстетом —
Под Императорским портретом,
Он говорил, что все поправил —
Все ж для профессора скандал,
Так ошибиться в перекраске,
Как оборотень в некоей сказке.
И на него, как Божий бич,
Свалился граф Илья Ильич.
Илья Ильич был добрый малый,
Но временами просто шалый
А потому без тяжких мук —
Он младоросский политрук.
Он офицер, притом морской
И он зовется граф Толстой —
Толстого Льва последний внук —
И младоросский «политрук»
Доволен был женой, обедом,
Но не доволен славным делом.
И в политическом угаре
Он возражал, как на базаре.
Тут поднялся и крик и га
И вы, читатель, были там —
Такой поднялся кавардак —
Звонил Даватц и так и сяк —
Он был убогий председатель —
Вы очевидец, мой читатель;
Поднялся крик, такой кагал —
Кричал Балдович генерал —
Начальник местного отдела,
Толпа шумела и ревела.

И даже Знаменский, жандарм —
Кричал с галерки: «все Aux Armes»,
Вопили старцы и юнцы
А национальные мальцы —
Как иступленные иудеи
Ревели дико с галереи:
«Убей его, распни, распни,
Но Струве, Боже, сохрани»¹⁵⁰.

Говоря прозой, младоросс И. И. Толстой оспорил доклад П. Б. Струве и его главную мысль, что у «национальной России есть только один враг — большевизм и советская власть». Главное внимание в своем выступлении он уделил личности докладчика, его политическому прошлому. При этом он «назвал позором для дома, носящего имя императора Николая II, появление в активной роли П. Б. Струве». После этого зал настоял на удалении Толстого из зала¹⁵¹. Второе собрание состоялось в 1936 г. на тему: с кем будет русская эмиграция в случае войны с Германией. На нем опять выступал Толстой. Цитируя «Майн Кампф», где говорилось, что немецкий меч должен дать немецкому плугу землю на Востоке, граф предупреждал об агрессивности Германии¹⁵².

«Бух!!!» и дальше старался «поднимать температуру» своих читателей. Натуральное возмущение у русских обывателей должны были вызывать публикуемые на его страницах такие «Задачи для любителей математики»: «№ 1. В одном учреждении за 3 месяца на пособие инвалидам израсходовано 35 900 динар, а на содержание правления этого учреждения за тот же срок 65 000 дин. Инвалидов 200 человек, членов правления — 5. Спрашивается: по сколько получили инвалиды и поскольку члены правления, какое это учреждение и как его адрес? № 2. Некто продает неизвестное количество чужих колец, орденов, крестов и мехов, взимая 10% с суммы передаваемой им собственнику проданного. Спрашивается: в какой срок некто станет миллионером, в какой срок он продаст эмигрантские нательные кресты, в какой срок он образует из эмигрантов союз трудящихся, а эмигранты поднесут ему звание филантропа? № 3. Некто построил театральный зал, 1 зимний сад и 1 свою квартиру. Спрашивается: в какое из указанных помещений будут положены парализованные из Панчевского госпиталя после закрытия его за прекращением отпуска средств на содержание?»¹⁵³. Обыватели, прочитав все это, могли только вздыхать. Впрочем, такие «задачи» даже в чем-то облегчали их жизнь, отвлекая на короткое время от собственных проблем. Собственно говоря, в эмиграции воровали так же, как и в России. Все было так привычно и не так грустно.

Ходили и свои анекдоты. Один из них был связан с принятием югославского подданства некоторыми русскими, получившими прозвище «шу-

«шумадийцев». Рассказывают, что однажды король Александр спросил своего премьер-министра Николу Пашича, как он относится к таким людям. Мудрый Пашич якобы ответил: «Порядочные — не примут, а сволочи своей у нас и так достаточно!» Этот исторический «виц» (анекдот) достаточно ярко рисует отношение русских к своим собратям по изгнанию. Правда, эта неприязнь не распространялась на тех, кто принял подданство, чтобы не потерять службы, когда вышел соответствующий закон¹⁵⁴.

В условиях эмиграции обывателями становилась и знать. Строя свою жизнь в столице Королевства СХС, она нередко все же стремилась обустроить ее по старым обычаям, сделать Белград «Петербургом или Москвой», на худой конец каким-нибудь «Саратовым» или «Самарой», хотя бы на уровне своего быта, досуга. В такой ситуации, как писал остро слов А. Селитренников в «Новом времени» в 1924 г. (№ 814), некоторым дамам было тяжело держать свой «Петербург» на высоте: мыть полы, обметать стены, стирать занавесочки на окнах и печь пироги для своих посетителей. И... «принимать визитеров в небрежной позе, в плетеном кресле возле примуса, задавая „вечно-светские“ вопросы, как когда-то в столице Русской империи: „Бываете ли в опере? Что поделяете, князь? Где думаете провести лето“»?¹⁵⁵.

Александр Николаевич Неймирок написал об этом белградском Петербурге, иль Москве, иль Саратове грустные строфы:

Так жить... Так жить, обманывая годы,
По вечерам, прихлебывая чай,
Под тяжестью изношенной свободы
Друзей поругивая невзначай,

И толковать о Ламартине, Прусте,
И руки нежно целовать... Потом
Мечтать о море, о девичьей грусти,
Затягиваясь скверным табаком,

Скорбеть о прахе деловских усадеб,
Гвардейских шпор воображая звон,
Вести учет чужих рождений, свадеб,
Дней Ангела, крестин и похорон.

Так жить... Так жить миражным мертвым светом
Средь вымыслов неистовых химер...
Спешить пешком с копеечным букетом
На именины к выцветшей belle-soeur.

Затянутым в тугой потертый смокинг
В июльскую полдневную жару...

Писать в альбом апухтинские строки,
Разыгрывать любовную игру...

Так жить... Так жить, затерянным в лукошке,
Где призраком быть жизнью суждено.
И смерть придет. Тоскливой драной кошкой,
Мяукнет, и царапнется в окно ¹⁵⁶.

И конечно, нельзя не затронуть «разговоров» о возвращении домой, на Родину. Их было много: и дома, и на улице, и в прессе, и на днях рождения, и на юбилеях, и на поминках. Возвращение домой — это обретение себя в вечно живом «Вишневом саду», который не просто срубить и уничтожить. Россия пережила и татар, и поляков, и нашествие двенадцати языков, переживет и большевиков, уверяли себя и других господа белградцы из России.

А покамест можно было даже посмеяться над будущим позором большевиков. В упоминавшемся «Бухе!!!» обыгрывалась атмосфера в мире через 10 лет, т. е. в 1942 г. Читателям сообщалось, что «Париж не мыслим теперь без русских эмигрантов, икры, Толстого и балалаек. Не так давно уехала старая эмиграция, а новая уже устроилась, и жизнь течет по прежнему руслу.

Сталин и Орджоникидзе открыли на Монмартре ресторан „Кунак“. Дела идут довольно бойко.

Коллонтай открыла веселое заведение, но полиция его закрыла за частые скандалы.

Бывшие члены ГПУ служат на городской скотобойне. Их ценят как хороших и добросовестных работников» ¹⁵⁷.

Юмор был довольно плоский, рассчитанный на невзыскательный вкус. Скажу, что он не столько веселил, сколько поднимал настроение, давал надежду на очередное «скорое» возвращение домой.

Для многих оно связывалось в 1930-х гг. с Японией. Тогда, в 1934 г., в Белграде гостил генерал Антон Деникин, выступивший в столице с тремя лекциями, из которых наибольший интерес вызвала последняя — «Международное положение России и эмиграция». Вопреки ожиданию многих, генерал резко высказался против тех, кто в японцах видел союзников в деле восстановления национальной России. Он подчеркивал, что ошибаются те политики, которые говорят, «что японцам не нужны сибирские просторы, так как они из-за климатических условий в Сибири не могут ее колонизовать. Этот аргумент смешон. Мы знаем, что они не могут колонизовать Сибирь», но они стремятся «завладеть этими территориями и эксплуатировать их». И дальше: «Никакие русские японцам не нужны». «Обещания, которые дают некоторым русским эмигрантам, не стоят ничего...», «эти русские эмигранты только орудие

в японских руках»¹⁵⁸. Я полагаю, что русские тоже себя мыслили в виде временных союзников в деле освобождения России. Как выражался один из русских: «Хоть с чертом, но против большевиков». А «чертей» всегда хватает для России.

Начавшаяся Вторая мировая война только подтверждала эти надежды. Одни связывали их с Гитлером, другие с победой русского оружия. Само быт(ие) в условиях войны, когда Югославия с апреля 1941 г. была захвачена и разделена, становилось нелегким. Все менялось: гостиница «Москва» переименовала название на «Сербию», на уличных столбах можно было увидеть тела повешенных, раскачиваемых ветром. Особенно тяжело было одиноким: голод и холод свели их быстро в могилы. Их жертвой стала и Елизавета Глуховцева, в 1920-е гг. бежавшая из Советской России, сотрудница белградского «Нового времени».

Кто-то уходил в партизаны к Тито, как поэт Алексей Петрович Дураков, погибший в 1944 г., защищая отход своего батальона пулеметным огнем. Кто-то вступал в Русский корпус и тем самым обеспечивал своей семье паек, что было немаловажно, помимо всех политических моментов. Кто-то сотрудничал с немцами, видя в них освободителей России от большевизма. А кто-то поступал наоборот. Так, будущий профессор Московского университета граф И. И. Толстой бросил работу, как только фирма, где он трудился, перешла в немецкие руки. Оставшись без средств существования, стал сапожничать. Были и другие: те, которые становились членами созданного в 1941 г. Союза советских патриотов. Например, А. Г. Логунов в мае 1944 г., выйдя на связь с антифашистской группой, занимался печатанием прокламаций, сбором санитарных материалов, участвовал в переправке групп в партизаны, к Тито. Е. К. Лобачева укрывала военнопленных, бежавших из немецких лагерей¹⁵⁹. Союз советских патриотов с течением времени расширил свою деятельность, выйдя из границ Белграда. По некоторым данным, союз имел около 120 членов, многие из которых погибли в концлагерях. Были и те, кто ушел в партизаны и погиб, сражаясь с врагами. Между сторонниками ССП находились и русские инженеры. Известны имена Бориса Петровича Дубовина-Заболотского, Коровина, Анатолия Новохотного¹⁶⁰. Например, выпускник технического факультета Белградского университета Владимир Смирнов (1899, Ташкент — ?) в 1942 г. вступил в члены Коммунистической партии Югославии. В годы войны был начальником Технического отделения Верховного штаба Народно-освободительной армии. Отмечен многими наградами. Войну завершил в звании генерала¹⁶¹.

Упомяну еще одно знакомое имя — Петр Бернгардович Струве, но в ином совершенно ракурсе. В годы войны он жил в разрушенной бомбардировкой квартире (ул. Милашева, 11) без отопления и света и не

скрывал своих убеждений в победе русских. Поэт Владимир Львович Гальский, встречавшийся с ним в Рождественские праздники 1942 г., посвятил ему стихотворение:

Ты в памяти моей таким остался,
Завернутым в шотландский старый плед,
Когда твой голос гордо возвышался
Над грохотом бессмысленных побед.

Стальная двигалась на Русь лавина,
А ей навстречу русский плыл мороз.
Меня, из оснеженного Берлина,
Принес заледенелый паровоз.

И город юности, почти забытый,
Под саваном рождественских снегов,
Меня встречал поруганным, разбитым,
Придавленным под каблуком врагов;

Но в холоде нетопленной квартиры,
В тот страшный год бесчисленных могил,
Ты так высоко говорил о мире,
Так вдохновенно Божий мир любил.

И стало мне невыносимо стыдно
За мой костюм, за мой «приличный» вид,
Но стало в этот вечер очевидно,
Что враг моей страны не победит.

Благодарю тебя, Великий Старец,
За эту и за много прежних встреч,
От юности до старости скиталец,

... Всегда несущий вышней правды меч ¹⁶².

Вера в победу русского оружия диктовала в 1942 г. Александру Николаевичу Неймироку такие строки:

Кем послан ты? Дьяволом иль Богом?
Не все ль равно? Как ураганный смерч
По нашим разухабистым дорогам
Пронесший истребление и смерть.

Ты сгинешь и развеешься в сугробах,
И радость отомщенья затая,
Чудовищным и необъятным гробом
Вдруг обернется Родина моя.

Так смейся же теперь оскалом волчьим,
Ломай, грызи железо мертвых склеп.
Стой во главе своих позорных полчищ,
Корми их песнями про сытный русский хлеб.

Веди их дальше в степи, тундры, топи,
Еще бессмысленнее, и лютее
Чтобы потом, по всей твоей Европе
Не смолкли плачи бледных матерей.

А мы? Переболеем, переможем,
Перегрустим... И из веков в века
На Запад и Восток издалека
Поведаем о тихой правде Божьей¹⁶³.

Но «правду» всегда подправляли сами люди. В Белград пришло освобождение, а вместе с ним и новые правила. Стоит подчеркнуть, что не все русские люди собирались бежать перед советскими солдатами, надеясь увидеть в них черты «суворовских чудо-богатырей», освободивших Европу. Победы советского оружия ассоциировались у многих с русским именем, рождая гордость за Россию. Они не желали замечать ни арестов, ни «исчезновений» некоторых своих знакомых после вхождения в города Красной армии. Проблемы ответственности, выбора тогда зачастую решались просто: здесь победитель, там побежденный. «Историю, — как подчеркивал в своих мемуарах Алексей А. Заварин, — пишут победители, и они дают окраску всем происшедшим событиям. Они творят злодеев и героев, и рисуют историю по своей идеологии, своему мировоззрению и даже по своим привычкам... ваш противник изображается в абсолютно отрицательном виде, т. е. в виде некоего демона — олицетворения зла. Все силы пропаганды употребляются, чтобы полностью очернить вашего оппонента. Так политический противник оказывается и вором, и развратником, и массовым убийцей, и беспринципным оппортунистом и т. д. Придумываются новые и новые эпитеты, которые возводятся в „общепризнанные“ качества злодеев, и ими окрашивается ваш противник... К несчастью, как результат такого подхода — повреждается и страдает истина. Те, кто употребляют этот способ, очень часто вредят самим себе и попадают в рабство своих собственных фантазий и иллюзий»¹⁶⁴.

Но это все «философия», а правда была такова: у тех, кто до войны получил югославское гражданство, оно было отнято. В июне 1945 г. власть приняла решение, чтобы все русские без учета гражданства должны были в определенный срок подать просьбы о получении особых «временных удостоверений». За просителей морально, материально и уголовно

должны были поручаться два «наших гражданина», т.е. два коренных жителя Югославии. «Некоторое время спустя новые власти большое количество лиц без гражданства принудили принять советские паспорта в договоре с советскими властями. Два-три года спустя после ссоры со „старшим братом“ большое число было депортировано как раз из-за советских паспортов, счастливые — на Запад, в лагерь Триест, несчастные — в Румынию, Болгарию, Венгрию. Выбора не было». В некоторых случаях семьи разлучались. Редко кому позволялось урегулировать все дела. «В большинстве случаев на депортацию давалось семь дней. Некоторых пощадили — они должны были вернуть советские паспорта в советское посольство с сопроводительным письмом, в котором отрекались от согражданства с омерзением. Некоторые русские белградцы колебались даже ходить в русскую церковь»¹⁶⁵. Иногда было достаточно заговорить на улице на русском, чтобы попасть в лагерь на Голи оток (Голый остров). Организовывались многочисленные процессы над «советскими шпионами-белоземляками». Но и в такое непростое время было место героизму. Так, 18-летний художник Игорь Васильев после долгих размышлений отказался от предложения югославских органов госбезопасности шпионить за приятелями своих родителей, что ему стоило трех лет тюрьмы с принудительным трудом¹⁶⁶.

Русский Белград редел: одни переселялись в другие страны, другие — в мир иной. О том времени есть стихотворение Екатерины Таубер.

1950-ый год

Безмолвно гасли старики, —
 Для них изгнание кончалось
 Тридцатилетнее... Руки
 Рука нездешняя касалась,
 А берег близился родной
 Не так, как думали — иначе!
 И вечный отдых ледяной
 Был и наградой и удачей.
 Они свершили. Сберегли,
 (Как выходцы с иной планеты.)
 Все лучшее своей земли,
 Чему не будет уж ответа...
 А мы — их дети? Целый мир
 И родина нам и чужбина.
 Мы всюду дома... Всё — Сибирь!
 Всё каторга и паутина!
 Минувшее — для стариков...
 Грядущее — для тех, для новых...

Нет ни пристанища, ни кровя
Меж двух враждующих веков!¹⁶⁷

И еще одно стихотворение — не поэтессы, а усталой русской женщины Ии Александровны Щепкиной, матери А. А. Заварина:

Когда сердце устанет от напрасной печали,
Когда душу отравит горький яд сожаленья,
Когда звезды померкли, струны все отзвучали,
Все мы ищем, все жаждем хоть минуту забвенья.

Никому нет упрека, никому осужденья,
Наша юность промчалась в годы зла и насилья.
Нам в былом нет отрады, впереди утешенья;
Всех нас жизнь обманула, оборвала нам крылья.

Так бредем мы устало, и ничто нам не светит,
По горам и по долам, чрез болота и реки,
Пока всадник суровый на пути нас не встретит
И в холодном объятье даст забвенью навеки.

И чрезвычайно трудно рассуждать о правоте тех, кто вернулся на Родину или уехал на Запад. Для семьи И. И. Толстого, сын которого будущий академик РАН Никита Толстой воевал в Красной армии, Советская Россия не стала тюремной территорией. Для других русских белградцев Родина выступила в роли конвойного.

Третьи, «попробовав» советскую жизнь, старались вернуться в прежние страны «русского рассеяния». И тем не менее все они в своей массе продолжали и продолжают считать себя русскими, стараясь сберечь Россию в памяти своих уже внуков.

Один из тех, кто остался жить вне границ Советского Союза, писал: «Россия всегда жила в моей душе. Был ли я еще дошкольным мальчиком, или в сербской школе, в рабочих лагерях в Германии, под бомбардировками в Берлине, или в тюрьме в Загребе, в Хорватии, в беженских ли лагерях, или на Корейском фронте в американской армии, в военном лазарете, или в Берклейском университете, читал ли я научный доклад в Вашингтоне, или отдыхал около Тихого океана в Мексике — Россия всегда была со мной»¹⁶⁸.

* * *

В декабре 2005 г. я был снова в Белграде, который не забыл меня и по-прежнему, надеюсь, любит. Походил немного по старым местам. Прогулялся по кнез Михайловой, побывал на Калемегдане, вновь увидел с его вершины Дунай и Саву, синееющие в сумерках очертания ново-

го Белграда. В русской церкви Св. Троицы на утренней службе человек 20, и уже это радует, как и то, что белградцы по-прежнему относятся очень хорошо к русскому человеку. Русский Белград почти исчез, и что мне до вас — его мостовые? Но по ним спешили те, кто сохранил свое русское имя на чужбине, кто отдал свои силы и талант городу, давшему им возможность жить и творить, кто родился и умер, так и не увидев Родины. И закончить хочу строчками стихотворения Екатерины Таубер:

Твой чекан, бывлая Россия,
 Нам тобою в награду дан.
 Мы — не ветви твои сухие,
 Мы — дички для заморских стран.

Искалеченных пересадили,
 А иное пошло на слом.
 Но среди чужеземной пыли —
 В каждой почке тебя несем.

Пусть нас горсточка только будет,
 Пусть загадка мы тут для всех —
 Вечность верных шадит, не судит
 За святого упорства грех¹⁶⁹.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 *Роцин Н.* Русские в Югославии. По чужим краям // Иллюстрированная Россия. (Париж). 1932. 9.IV. № 15. С. 12.
- 2 ГАРФ. Ф. 9145. Оп. 1. Д. 959. Л. 151–154.
- 3 Новое время. (Белград). 1922. 19.II. № 246. С. 3.
- 4 Там же. 1925. 3.XII. № 1380. С. 3.
- 5 *Миленковић Т.* Руски инжењери у Југославији 1919–1941. Београд, 1997. С. 118.
- 6 Новое время. 1929. 20.I. № 2314. С. 3.
- 7 Там же. 27.I. № 2320. С. 3.
- 8 Там же. 1924. 19.VI. С. 3.
- 9 Царский вестник. (Белград). 1928. 4.XI. № 12. С. 3.
- 10 Новое время. 1922. 5.X. № 433. С. 3.
- 11 Там же. 1923. 20.II. № 545. С. 4.
- 12 Там же. 1922. 25.III. № 275.
- 13 Там же. 1923. 10.XI. № 764. С. 4; 27.X. № 752. С. 3.
- 14 Там же. 1924. 19.I. № 820. С. 3.
- 15 Там же. 1922. 21.IX. № 421. С. 3.
- 16 Там же. 22.VII. № 370. С. 3.
- 17 Там же. 1927. 15.VI. № 1833. С. 4.
- 18 Царский вестник. 1933. 12.XI. № 370. С. 3.

- 19 Русское дело. (Белград). 1943. 12.XII. № 28. С. 4.
20 Там же.
21 Новое время. 1922. 8.IX. № 410. С. 3.
22 *Миленковић Т.* Руски. С. 117.
23 Там же. С. 91.
24 Там же. С. 93.
25 Там же.
26 Там же. С. 94.
27 Там же. С. 97.
28 Там же. С. 100.
29 Там же. С. 8.
30 Новое время. 1928. 9.XII. № 2282. С. 1–2.
31 http://www.xx13.ru/kadeti/kp7_13.htm.
32 *Миленковић Т.* Руски. С. 116.
33 Новое время. 1922. 31.III. № 280. С. 4.
34 *Йованович М.* Как братья с братьями. Русские беженцы на сербской земле // Родина. 2001. № 3.
35 Иллюстрированная Россия. 1932. 9. № 15. С. 15.
36 Россия и славянство. (Париж). 1933. Декабрь. № 227. С. 3.
37 *Павлов Б.Л.* Русская колония в Великом Бечкереке (Петровграде-Зреняни-не). Зренянин, 1994. С. 7.
38 Русская эмиграция. Альманах. 1920–1930. Beograd, 1931. С. 51.
39 Новое время. 1929. 7.III. № 2353. С. 2.
40 Там же. 1.III. № 2348. С. 3.
41 *Васильев А.В.* Воспоминания «Добровольчество» // Библиотека-фонд «Русское зарубежье». Научный архив. С. 89.
42 Новое Время. 1930. 4.III. № 2655. С. 2.
43 *Пио-Ульский Г.Н.* Русская эмиграция и ее значение в культурной жизни других народов. Белград, 1939. С. 39–40.
44 *Агнивцев Н.Я.* Хождение по мукам // Антология поэзии русского Белграда / Сост. О. Джурич. Белград, 2002. С. 1–3.
45 *Латинчич О., Ракочевич Б.* Эмигранты-москвичи в Белграде // Московский архив: вторая половина XIX — начало XX в. М., 2000. С. 632.
46 Вестник правления об-ва галлиполийцев. (Белград). 1924. 27.IV. № 5. С. 16.
47 Чему свидетели мы были... Переписка бывших царских дипломатов 1934–1940. Сборник документов в двух книгах. Кн. первая. 1934–1937. М., 1998. С. 410.
48 Новое время. 1926. 19.XII. № 1693. С. 2–3.
49 *Маевский Вл.* Русские в Югославии. Взаимоотношения России и Сербии. Нью-Йорк, 1966. Т. 2. С. 70–72.
50 АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 258. Л. 2, 4.
51 Россия и славянство. 1933. 29.I. № 212. С. 2.
52 Новое время. 1921. 5.V. № 9. С. 4.
53 Там же. 21.V. № 23. С. 3.
54 Там же. 1923. 1.II. № 530. С. 3.
55 Там же. 14.IV. № 589. С. 3.
56 *Балашев А.В.* На чужбине // Антология поэзии русского Белграда. С. 17.

- 57 Новое время. 1925. 18.VII. № 1264.
- 58 Качаки J. Руске избеглице у Краљевини СХС/Југославији: библиографија радова 1920–1944. Београд, 2003. С. 224.
- 59 Там же. С. 239.
- 60 Новое время. 1929. 16.III. № 2361. С. 3.
- 61 Стојнић М. Руска емиграција међу нама // Руси без Русије Српски Руси / Изд. Д. Јанићијевић, З. Шлавик. Београд, 1994. С. 15–16.
- 62 Там же. С. 17–19.
- 63 Там же. С. 20.
- 64 Новое время. 1923. 24.VIII. № 697. С. 4.
- 65 Тобольская Л. Архимандрит Амвросий (Погодин) — странник, ищущий Града Небесного // Православный путь. Церковно-богословско-философский ежегодник. Приложение к журналу «Православная Русь» за 2004 год. Джорданвилль, 2004. С. 138.
- 66 Там же. С. 153.
- 67 Новое время. 1924. 28.XI. № 1978. С. 4.
- 68 Там же. 1923. 19.XII. № 796. С. 3.
- 69 Там же. 1924. 9.III. № 861. С. 3.
- 70 Там же. 1922. 1.IX. № 404. С. 4.
- 71 Там же. 9.XI. № 463. С. 4.
- 72 Качаки J. Руске избеглице... С. 223.
- 73 Новое время. 1922. 11.VIII. № 387. С. 3.
- 74 Там же. 11.V. № 312. С. 3.
- 75 Там же. 1921. 14.V. № 17. С. 1.
- 76 Там же. 1922. 16.XII. № 494. С. 3.
- 77 Там же. 1923. 10.XI. № 764. С. 4.
- 78 Там же. 29.III. № 577. С. 3.
- 79 Там же. 1921. 23.IV. № 2. С. 1.
- 80 Там же. 29.IV. № 7. С. 4.
- 81 Миленковић Т. Руски. С. 135.
- 82 Там же. С. 139.
- 83 Там же. С. 138.
- 84 Там же. С. 139.
- 85 Там же. С. 140.
- 86 Русские женщины в Югославии // Часовой. (Брюссель). 1939. 5.VI. № 236–237. С. 29.
- 87 Новое время. 1923. 10.XI. № 764. С. 4.
- 88 Там же. 29.III. № 577. С. 3.
- 89 Там же. 21.III. № 570. С. 4.
- 90 Там же. 1922. 6.VIII. № 383. С. 3.
- 91 Там же. 1924. 6.IV. № 885. С. 3.
- 92 Там же. 1930. 3.I. № 2606. С. 4.
- 93 Латинчич О., Ракочевич Б. Эмигранты-москвичи в Белграде. С. 628–629.
- 94 Роџин Н. Русские в Югославии... С. 12.
- 95 Латинчич О., Ракочевич Б. Эмигранты-москвичи в Белграде. С. 629.
- 96 Там же.

- 97 *Йованович М.* Как братья с братьями. Русские беженцы на сербской земле // Родина. 2001. № 3.
- 98 Новое время. 1929. 1. II. № 2324. С. 2.
- 99 Там же. 1924. 21. IX. № 1020. С. 3.
- 100 Царский вестник. 1931. 12. VII. № 206. С. 3.
- 101 Новое время. 1923. 29. IX. № 728. С. 4.
- 102 *Латинчич О., Ракочевич Б.* Эмигранты-москвичи в Белграде. С. 631.
- 103 Там же. С. 632.
- 104 Там же. С. 629.
- 105 Там же. С. 630.
- 106 Там же. С. 631.
- 107 *Арсеньев А.* «Показаћемо, да и овде, далеко иза граница отаџбине, живи моћ стварања...» Руски уметници у Краљевини Југославији // Сепарат. Зборник Матице Српске за сценске уметности и музику. Нови Сад, 1994. № 15. С. 197.
- 108 Новое время. 1930. 23. II. № 2648. С. 3.
- 109 *Стојнић М.* Руска емиграција међу нама. С. 14–15.
- 110 *Миленковић Т.* Руски. С. 52.
- 111 Там же. С. 55.
- 112 Там же.
- 113 Там же. С. 56.
- 114 *Васильев А. В.* Воспоминания «Добровольчество» // Библиотека-фонд «Русское зарубежье». Научный архив. С. 88.
- 115 Новое время. 1922. 26. I. № 227. С. 4.
- 116 Там же. 24. II. № 250. С. 3.
- 117 Там же. 6. VII. № 357. С. 4.
- 118 Там же. 1. I. № 209. С. 3.
- 119 Там же. 3. X. № 431. С. 3.
- 120 Там же. 1. X. № 430. С. 4.
- 121 Там же. 17. X. № 443. С. 3.
- 122 *Миленковић Т.* Руски. С. 133.
- 123 Там же. С. 134.
- 124 Русский Дом имени императора Николая II. Белград, 1933. С. 15–16.
- 125 *Качаки Ј.* Руске избеглице... С. 8.
- 126 Русский Дом... С. 17.
- 127 ГАРФ. Ф. 6991. Д. 129. Л. 270 (июнь 1946).
- 128 *Качаки Ј.* Руске избеглице... С. 50.
- 129 Царский вестник. 1930. 30. VIII. № 107. С. 6.
- 130 *Алексеева Л.* Из воспоминаний о Белграде // Русский Альманах. Париж, 1981. С. 307.
- 131 Новое время. 1927. 24. V. № 1817. С. 3.
- 132 Там же. 1928. 24. VII. № 2165. С. 3.
- 133 Там же 25. VII. № 2166. С. 3.
- 134 *Алексеева Л.* Из воспоминаний о Белграде. С. 307.
- 135 В защиту русского языка. Памятка Союза ревнителів чистоты русского языка. Белград, 1937. С. 41.
- 136 Там же. С. 36–37.

- 137 Там же. С. 38–39.
- 138 Качаки *Ж.* Руске избеглице... С. 372.
- 139 Алексеева *Л.* Из воспоминаний о Белграде. С. 307–308.
- 140 Там же. С. 307–308.
- 141 Гальский *В. Л.* Он с хозяином был странно сходен // Антология поэзии русского Белграда. С. 44.
- 142 Качаки *Ж.* Руске избеглице... С. 146.
- 143 Кискевич *Е. М.* Nature morte // Антология поэзии русского Белграда. С. 88.
- 144 Н. Русско-сербский клуб // Часовой. 1939. 5.VI. С. 26–27.
- 145 Царский вестник. 1937. 24.X. № 576. С. 3.
- 146 Качаки *Ж.* Руске избеглице... С. 360.
- 147 Там же. С. 378.
- 148 Скородумов *М.* Воспоминания // Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». Научный архив. Шифр М-11. С. 40, 41.
- 149 Миленковић *Т.* Руски. С. 140.
- 150 Некоторые комментарии: В. Х. Даватц — математик, журналист, автор книг об эмиграции; Знаменский — бывший жандармский полковник; «национальные мальцы» — члены Национально-Трудового союза нового поколения.
- 151 Чему свидетели мы были... С. 59.
- 152 Запись воспоминаний Н. И. Толстого // Архив автора.
- 153 «Бух!!! Vouh — revue satirique russe». 1933. № 14. С. 7.
- 154 Васильев *А. В.* Воспоминания «Добровольчество» // Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». Научный архив. С. 88.
- 155 Цит. по: Успенская *Э.* Петербург в Белграде // Balkan Rusistics [Статьи] Петербург в Белграде.
- 156 Неймирок *А. Н.* Так жить... Так жить, обманывая годы // Антология поэзии русского Белграда. С. 96.
- 157 «Бух!!! Vouh — revue satirique russe». 1932. № 10. С. 6.
- 158 Миленковић *Т.* Руски. С. 157–158.
- 159 АВПРИ. Ф. Российская миссия в Белграде. Оп. 508/3. Д. 251. Л. 3–3 об., 19, 28–30.
- 160 Миленковић *Т.* Руски. С. 159.
- 161 Там же. С. 158.
- 162 Гальский *В. Л.* Ты в памяти моей таким остался // Антология поэзии русского Белграда. С. 49.
- 163 Неймирок *А. Н.* 1942 // Там же. С. 97.
- 164 Заварин *А. А.* Воспоминания // Архив автора.
- 165 Качаки *Ж.* Руске избеглице. С. 52.
- 166 Там же. С. 53.
- 167 Таубер *Е. Л.* 1950-ый год // Антология поэзии русского Белграда. С. 147.
- 168 Заварин *А. А.* Воспоминания. С. 40 // Архив автора.
- 169 Таубер *Е. Л.* 1950-ый год // Антология поэзии русского Белграда. С. 141.

Н. В. Шведова
(Москва)

«Взойди на небе грустных вместо радуги...» (Современный взгляд на поэзию Мирослава Валека)

Мирослав Валека — словацкий поэт, хорошо известный российским славистам прежде всего в 60–80-е гг. XX в. — по художественным и научным публикациям. Его печатали в антологиях и отдельных книгах, его высказывания как политика и деятеля культуры Чехословакии появлялись в нашей периодике. Валека пережил и славословия, и гонения на родине; рубежом стала «бархатная революция» 1989 г. Ныне словацкие литературоведы считают его одним из трех крупнейших поэтов Словакии второй половины XX в., наряду с Миланом Руфусом и Яном Ондрушем (Я. Замбор, Й. Дадо Надь)¹.

В июле 2007 г. Валеку исполнилось бы восемьдесят лет. Он прожил всего шестьдесят три и скончался (не без помощи развязанной против него травли) 27 января 1991 г. от рака желудка. Печальной дате — пятидесятилетию со дня смерти — был посвящен вечер поэзии Валека, состоявшийся в январе 2006 г. в Словацком институте (культурном центре) в Москве по инициативе поэта Ю. Калницкого. Новые переводы из Валека представлены в двух антологиях словацкой поэзии, изданных уже в XXI в.² Были и публикации в периодике, например полное издание сонетного цикла Валека «Картичная галерея»³ (перевод автора статьи). Творчество Валека, как показало время, выше всяческих конъюнктурных спекуляций. Оно постоит за себя и после смерти автора, чья Божья искра таланта зажигала пламя истинной поэзии на протяжении сорока лет.

Мирослав Валека родился 17 июля 1927 г. в городе Трнава, старом католическом центре Словакии. Подростком пережил войну, что оставило заметный след в его творчестве (цикл «Судьбы», поэма «Родина — это руки, на которых ты можешь плакать» и др.). Первые публикации Валека (о чем умалчивали в годы существования социалистической Чехословакии) начались в 1942 г. в католической печати, это были лирические стихи в духе «католического спиритуализма» (Я. Замбор)⁴. Ранее считалось, что первая публикация поэта, тогда девятнадцатилетнего, — «Сонет для повторения» (1946). В нем содержалась творческая программа, сформулированная с юношеским максимализмом. Поэзия, по мысли Валека, должна обладать «весом» и «очарованием», единством идейного и эстетического начал, а поэт без творческого горения «болен», ему надо деликатно подсказать, что он попал в трудное положение. Емкость и определенность поэтического высказывания при совершенстве формы станут чертами поэтики зрелого Валека.

В 1947 г. Валеk окончил коммерческое училище в Трнаве, два года учился в Экономическом институте в Братиславе. В 1949–1962 гг. он был редактором различных журналов и издательства «Младе лета». В 1962–1966 гг. Валеk — главный редактор ежемесячника «Млада творба» («Творчество молодых»). Два года поэт возглавлял основанный им литературно-критический журнал «Ромбоид». Затем занял пост председателя Союза словацких писателей (1967–1968); этот союз, в отличие от чешского, не распался в годы общественных потрясений конца десятилетия. В течение двадцати лет (1969–1988) Валеk находился на посту министра культуры Словакии. В начале 1989 г. словацкий поэт стал главой Союза писателей Чехословакии (в силу его авторитета и определенной гибкости). После «бархатной революции» он был смещен с этой должности. Ему оставалось около года жизни в резко изменившейся общественно-политической ситуации.

До конца 1950-х гг. Валеk, несмотря на журнальные публикации, был мало известен читающей публике. Его первый сборник стихов, «Прикосновения», вышел только в 1959 г., когда поэту уже было 32 года. Это были новые стихи, а более ранние Валеk опубликовал в виде цикла «Спички» лишь при переиздании его первого сборника (1971). К тому времени Валеk был уже признанным мэтром словацкой поэзии. Словацкие литературоведы ныне выдвигают на первый план именно его творчество 1950–1960-х гг., не «отягченное» постом министра и участием в «нормализации» 70-х⁵.

«Спички» — в основном любовная лирика, нередко с философским оттенком. В стихах ощутимо влияние романтической поэзии, символизма (Ивана Краско, Ивана Галла), межвоенной авангардной поэзии (опального тогда Ладислава Новомеского, «буржуазного националиста»). Немало здесь подлинно мастерской, «зрелой» поэзии, которую теперь публикуют в антологиях наравне с поздней (такова антология «Из века в век», сост. Ю. Калницкий и С. Гловюк). Например, все качества поэзии Валека — афористичная емкость, парадоксальность, драматичность, идейная глубина и отточенность формы — заметны в стихотворении «Осенняя любовь»:

Любовь — убийственный богач и всё пообещает,
но изменивший любит вновь, а кто любил — нищает.
Пыль долгих, грустных летних дней опавший лист покрыла.
Она лишь после поняла, что так его любила⁶.

Однако в ранних стихах Валека любовь еще бывала источником чистой радости («Часовенка»). Позже она приобретает оксюморонный характер блоковской «радости-страдания», в словацкой традиции — «любви неласковой» символиста Э. Б. Лукача (1900–1979), уточненной Валеком как «любовь-разочарование», как динамичное единство, диалектическое соединение («láska-sklamanie»). Образ, подчеркнутый звукописью, появил-

ся еще в цитированном стихотворении. Примечательно и такое философское осмысление любви сквозь символ шахматной партии («Шахматы»):

Пусть партию выигрывают кони;
но лишь один король получит мат (s. 26).

Первый сборник Валека, «Прикосновения», получил название по заглавию одного из произведений. Его первоначальное название, задуманное автором, — «Тяга к плодам». Библейский подтекст образа, видимо, смутил тогдашних редакторов. Валека, однако, впоследствии тонко развивал мотив любви как первородного греха.

«Прикосновения» разделяются на цикл «Нитки» и композицию «Равнина». Последняя открывает ряд многочисленных объемных произведений Валека, которые мы, вслед за знатоком творчества Валека С. Шматлаком, склонны называть поэмами: написанные верлибром свободно скомпонованные лиро-эпические единства с переплетением различных мотивов и авторскими отступлениями, имеющие многослойную образность и философскую глубину. «Равнина» — поэма о родной (для предков) земле, об истории родного края, о юношеской любви и любви зрелой. Но подобные произведения еще не так характерны для Валека, как любовные миниатюры («Равнину» напоминают композиции «Судьбы» и «Эстетика»). Программное стихотворение дало заглавие циклу «Нитки». В нем говорится о необходимости скрыть личные раны («залатать» их с помощью ниток) и послужить людям своими стихами:

Любви во имя — любящим солги.
В колокола поэзии звони в глухой ночи.
Взойди на небе грустных вместо радуги
для сердца дальнего, которое молчит (s. 45).

Сборник «Прикосновения», наряду с дебютом другого будущего мэтра словацкой поэзии Милана Руфуса («Когда созреет», 1956), стал ярким примером возвращения к истинной поэзии, свободной от декларативности, дежурного оптимизма и обезличенности.

Любовная поэзия Валека ныне воспринимается как «бесспорный» пласт его творчества. Впрочем, связанные с этим размышления о поэзии, о судьбе творческой личности также, на наш взгляд, не подвергаются переоценке со временем (за исключением «спорного случая» — поэмы «Слово», 1976). Поэт поднимает в своих стихах такие экзистенциальные темы, как уязвимость человека, его постоянная близость к смерти, во многом безуспешные попытки постичь смысл жизни и удачно выстроить свою судьбу.

Один из важных шагов в художественном освоении этих тем — второй сборник, «Притяжение» (1961). Тема слабости и величия человека в эпоху космических полетов и угрозы мировых войн стала в сборнике

одной из основных. «Человек среди людей» — спасительная формула Валека, гарантия бессмертия рода человеческого (поэма «Робинзон»). В поэтике Валека усиливаются сюрреалистические элементы (яркая неожиданность образов, парадоксальность, монтажная композиция, обрыв логических связей в рассуждении). Его книги и иллюстрировались «посюрреалистски» (например, иллюстрации Яна Валаха к однотомному «собранию сочинений» — «Vásne», 1981). Сюрреализм (называвшийся «надреализмом») дал в Словакии 1930–1940-х гг. очень значимые произведения. По количеству поэтических творений он превзошел сюрреализм чешский (не будем сравнивать, скажем, Рудольфа Фабри или Владимира Райсела с Витезславом Незвалом в плане «кто лучше», это было бы некорректно, все названные поэты — подлинные поэтические величины). Валеку было что наследовать, но от сюрреализма его все же отличала заметная рациональность, видение мира сквозь оптику гностического понимания, хотя такие стремления нередко терпят крах (поэма «Удрученность» из четвертого сборника). В 1980-е гг., когда создавалась российская диссертация о Валеке⁷, его «творческий метод» определяли как «социалистический реализм», добавляя к нему характеристику Д. Ф. Маркова «открытая система», — иначе Валек в него не вписывался. Идеиные позиции Валека не были ни оппозиционными, ни ортодоксальными, — как в 1960-е, так и в 1970-е гг.

В качестве примера образности Валека можно приводить множество причудливых словосочетаний. Вот образы из несколько мистической (или научно-фантастической?) поэмы «Дирижабль» из «Притяжения»:

Ему казалось, что сейчас как раз полночь,
что трещит,
хрупкая и полая скорлупа Вселенной трещит,
созвездия проносятся при ней, как поезда
издалека (s. 97).

Вообще Валека очень трудно цитировать, так как его образы «цепляются» друг за друга, создавая символично-метафорические ряды, которые перекликаются в разных произведениях. Условно можно сказать, что весь Валек — это огромный тысячеслойный символ «любви-поэзии». Подробно об этом — чуть ниже.

Сборник «Беспокойство» (1963) уже своим названием задал лейтмотив поэзии Валека. Впоследствии его книги называли «тремья» и «четырьмя» книгами «беспокойства». Под такими названиями выходили многочисленные переиздания стихов Валека в 1960–1970-е гг. Поэзия Валека всегда в движении, всегда вибрирует между разными полюсами, в ней всегда есть некий «дискомфорт». Острые углы любви, кризисы творчества, тревожное состояние окружающего мира и человеческой нравственно-

сти, «расчеловечивание» в автоматизированную эпоху — всё это звучит в сборнике «Беспокойство» и усиливается в одном из самых мрачных творений поэта, сборнике «Любовь в гусиной коже» (1965). Разумеется, присутствует в этих книгах и четко выраженное социальное и политическое начало. Валек сопоставляет «обратную сторону мира» — Америку — с тем обществом, в котором живет он сам, но не выносит однозначного суждения о безусловном превосходстве последнего; его преимущества скорее заявлены в подтексте, это идейный «субстрат» поэта. Америка, «танцующая, как слон, на плантациях мира» («Дробь на обратной стороне», сборник «Беспокойство», s. 155), — емкий образ «хозяина положения», который актуален и сегодня.

Сборник «Любовь в гусиной коже» должен был называться «Удрученность» (по названию великолепной поэмы). Опять же в смене авторского заглавия видится «рука цензора»: как это поэт эпохи социализма может назвать сборник таким безрадостным словом! Но книга и впрямь получилась малорадостной, горькой («и жизнь, как чай, была горька» — из поздних сонетов Валека). Здесь и саркастические «оды», в которых развенчиваются обывательские представления о любви и религии, поверхностное понимание вечности, но нет «позитива», лирический герой слишком часто растерян и «удручен». Здесь и намеренно разрозненные фрагменты «Из абсолютного дневника» (сюрреалистическая аллюзия), где возникает взаимоперетекание поэзии и любви и стремление к истинному творчеству, сложному и мучительному:

С этой точки зрения
 комета в голове
 или луна под ногтем
 могут вполне подойти для стихов,
 но поэзия — это нечто иное, любезные!

...

Трепещи, ибо приходит
 миссия в виде семени,
 боль и кровь,
 масло в огонь.
 Так шипит добела раскаленная нагота
 повсюду вокруг,
 карусели деревьев кружатся, кружатся...

У всех стихов есть свое время,
 но время стихов короче, чем тебе кажется (s. 169–170).

Здесь и сведение человеческого мира к стаям «четвероногих» тварей, средних между животным и автоматом, над которыми веют «невидимые крылья безногой смерти» (s. 181) — поэма «Четвероногие».

И наконец, — «Удрученность», где во всем видятся жестокость и насилие, где сама Земля представляется отрубленной головой, брошенной во Вселенную, где лучше не знать многих пугающих вещей и убежать от появления в лирическом герое «чужих очертаний».

«Любовь в гусиной коже» — тоже неслучайное для Валека название. Эротика — постоянный пласт его поэзии, любовь у него головокружительно и трагична. Полностью образ таков: «Любовь в гусиной коже ужаса» («Ода любви», с.194). Любовную лирику Валека неоднократно переиздавали под названием «Запретная любовь» (не «запрещенная»), как в предисловии В. Огнева к книге русских переводов «Стихи», 1980). Ведь не о запретах властей идет речь, а о запрете изначальном, ветхозаветном. И иллюстрации одного из лучших словацких художников, графика Альбина Бруновского (1935–1997), сопровождающие эти переиздания, всё о том же изначальном в человеке, в его наготы и роковом яблоке, к которому тянутся женские руки. Любовь у Валека понимается как запретный плод, влекущий за собой изгнание из рая. Но в автоматизированном мире со стертými признаниями в любви настоящее чувство застывает в растерянности: где возлюбленная, где дом, куда можно ее привести, где влюбленные будут откровенны? (стихотворение «Просто так» из «Любви в гусиной коже»). Выдающийся словацкий литературовед, профессор Братиславского университета Ян Штевчек в 1983 г. рассказывал автору этих строк, что во Франции, которую трудно удивить поэзией, стихотворение Валека «Просто так» вызвало бурю эмоций: кто такой этот Валек, это же потрясающий талант! (Рискнем предположить, что перевод на французский сделал сам Штевчек, не чуждый литературе.)

Любовь и поэзия у Валека всегда шли рядом, нередко отождествляясь. Разврат, по его мысли, недопустим и в области интимных отношений, и в области творчества («Из абсолютного дневника — 1» и стихи 1970-х гг.). Поэзия отомстит за словоблудие. Как бы сейчас ни говорили о Валеке, словоблудием он никогда не занимался — по крайней мере, в поэзии. И не пользовался служебным положением, которое в 1970–1980-х гг. предоставляло ему безграничные возможности для публикаций.

Валеk, на наш взгляд, не просто «поэт беспокойства» или «поэт запретной любви», хотя в этом — доминанты его творчества. Мы определили бы его мироощущение как глобальность и катастрофичность, а лирического героя можно охарактеризовать такими качествами, как максимализм и фрустрация. Еще в «Осенней любви»: любовь «хотела всё иметь — терять на самом деле». И в итоговой «Картинной галерее» (1980; подстрочный перевод): «ведь речь не шла о ничтожном, шла обо всем» (труднопереводимая игра слов, которую мы передали так: «Всё сорвалось. Не стоит плакать»). В «Удрученности» и других произведениях середины 1960-х гг. максимализм и фрустрация распространяются на

экзистенциальную сферу человека. И это был официальный поэт 1960-х гг., член Коммунистической партии с 1962 г. Если воспользоваться образом близкого Валеку Андрея Вознесенского — «нервы, что ли, обожжены?» (Валек был прекрасным переводчиком Вознесенского, составил целую книгу в 1964 г., а вот ему самому на русском везло мало, в основном это переводы Ю. Вронского и Ю. Левитанского.)

В 1950–1960-е гг. Валек проявил себя и как одаренный детский поэт, постоянно и изобретательно использовавший игру слов и вообще игру как инструмент доверительного общения с детской аудиторией. С 1959 по 1970 г. у него вышло пять книг для детей, а затем их совокупное переиздание в 1975 г. («Панпулоны»). Детские стихи Валека публиковались на русском и украинском (1973, 1984, 2002; 1982). Он также писал незаурядные статьи и как критик, и как советчик молодых поэтов, постигающих «ремесло». Валек был в числе создателей нового литературного журнала «Ромбoid» (отсылка к творчеству недавно реабилитированного поэта Ладислава Новомеского) и стал на два года его главным редактором.

Как переводчик Валек успешно работал над русской, польской, французской поэзией (в том числе П. Верленом, так что его сюрреализм имеет импрессионистические корни). В 1967 г. он представил соотечественникам книжное издание поэзии Геннадия Айги, когда на родине этот поэт был очень мало известен (мы тщетно искали его книги в библиотеке).

Кто-то из словацких деятелей культуры недавно сказал автору этих строк, что Валек плакал, когда советские танки в 1968 г. вошли в Прагу. Но он не был диссидентом. О нем можно сказать так, как он сам сказал на похоронах Новомеского об этом выдающемся поэте и общественном деятеле, также знававшем разные времена: «Был и остался коммунистом». С. Шматлак, кстати, постоянно сравнивал Валека с Новомеским и в творческом, и в гражданском отношении. Валек не поспешил сжечь партбилет, когда совершалась «бархатная революция» 1989 г. Весной 1990 г., последнего года своей жизни, он говорил о себе и соратниках: «Мы, коммунисты», — и обещал отстаивать свои идейные позиции. Можно по-разному оценивать его приверженность идее коммунизма (вовсе не ортодоксальную). Для нас это жест отчаяния поэта-романтика, каким был Валек в глубине души, несмотря на всю близость сюрреализму. («И тот романтик сумасшедший» — так определен лирический герой в поэме «Слово».) Впрочем, нечто романтическое можно усмотреть и в надреалистической поэзии В. Райсела, например в ностальгической поэме «Нереальный город» (1943). Валеку нужна была опора, говоря его же словами — «земля под ногами» («Равнина»). Нужна была вера взамен отнятой веры в Бога, по которой он заметно тосковал (как в свое время И. Краско в стихотворении «Ночь» (сборник «Стихи», 1912). В «Удрученности» символическая старушка, ищущая кости своих мертвых, обращается к Богу и

вдруг восклицает: «Боже, тебя не было?!» А лирический герой обнаруживает, что «Бог среди звезд был только нарисован» (s. 206). Да и понимание Слова как откровения — по сути, евангельское: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1: 1). И Валеk не пытался, как полагали в 1990-е гг. М. Гамада и Я. Кошка, «заменить» Слово Божие на слова партийных документов⁸, о чем мы еще будем говорить. Слово как инструмент творения понимается у него не с ницшеанской позиции сверхчеловека, а с позиции изначальной веры «католического поэта», как Валека справедливо назвал в 2006 г. (в личной беседе) словацкий художник Милан Стано.

В 1969 г. Словакия получила статус «субъекта федерации», были образованы собственные министерства, и пост министра культуры занял признанный поэт Мирослав Валеk. За двадцать лет его «министерства» вышли всего две книги его стихов, не считая многочисленных переизданий, да еще милая детская книжечка «В Трамтарию» (1970). Для сравнения: его заместитель Павел Койш публиковал по два сборника стихов в год (это не было бездарным рифмоплетством, но стихи часто были «по случаю», что бы ни случилось). Валеk не растерял таланта, о чем свидетельствуют и его выступления в ранге министра. Часто они были совершенно неповторимы в своей художественной образности. Например, речь над гробом Новомеского (1976), которая звучит как поэтичнейший верлибр.

Валеk 1970-х гг. — это по-прежнему поэт-философ и знаток человеческих чувств, поэт многослойной образности и удивительной виртуозности формы, которая никогда не «цепляет» читателя сама по себе. На этапе «синтеза» Валеk соединяет в своем творчестве импульсы модерна (символизм, импрессионизм) и авангарда (сюрреализм, пролетарская поэзия).

Камнем преткновения для сегодняшних исследователей Валека стала его поэма «Слово» (1976) — поэма о современном мире и человеке в нем. В ней выражена гражданская позиция поэта-коммуниста. Ныне даже такие тонкие исследователи поэзии, как Я. Замбор (сам будучи поэтом), готовы «сбросить с парохода современности» «Слово», которое во время своего появления встретило восторженные отклики ведущих словацких литературоведов и поэтов (С. Шматлак, Я. Штевчек, А. Багин, Я. Грегорец, В. Кохол, В. Марчок, К. Розенбаум, В. Шабик, П. Штевчек, М. Томчик, Л. Фелдек и др.). В нашей стране о поэме писали Л. Н. Будагова, Ю. В. Богданов, И. А. Богданова, С. А. Шерлаимова. Поэму сразу же (и неудачно) перевела Римма Казакова (1977). Вот как раз этому переводу можно предъявить обвинения в неуместной патетичности, прямолинейности и упрощенности миропонимания. Возьмем хотя бы такое утверждение: «Lež liečiť svetu rany // — aj to je politika strany» («Но лечить миру раны — это тоже политика партии»). Чрезвычайно простое и

камерное двустипие, подчеркнутое рифмой, русская поэтесса перевела так: «...но отсель — // врачевать мировые язвы — // партии благородная цель». Такой «высокий штиль» совершенно не свойственен Валеку.

Суждения российских литературоведов и тогда, и сейчас отличаются взвешенностью и объективностью. Вот что писала в 1981 г. Л. Н. Будагова: «Поэма-исповедь в девяти частях, связанных между собой как аргументы в единой системе доказательств выстрадавших поэтом истин»⁹. А вот недавнее размышление Ю. В. Богданова: «„Слово“ стало свидетельством нелегких раздумий о пределах открытой ангажированности в „качественной“ лирике, отчаянной и единственной в своем роде попыткой Валека совместить в себе поэта и политика. Подтекстом исповедальности „Слово“ резко выделялось на фоне остальной, в значительной мере „дежурной“ или по-дебютантски наивной общественно-политической поэзии 70-х гг. ...Однако внутренний драматизм и интеллектуальный надрыв, ощутимый в поэме, остался вне поля зрения рецензентов»¹⁰. (Исключение, по мнению ученого, составил С. Шматлак.)

Сюжетная основа поэмы — поиски поэтом заветной песни, которая ушла от него, как возлюбленная, а в финале все же возвращается. Приведем отрывок в нашем переводе:

Раз ночью молния ударила в меня –
в огне, в дыму увиделось мне Слово.
Достоин Каин был видения такого.
Мне не нужна с аплодисментами возня,
и брата я в себе самом не убивал.
Лишь человека я узрел таким, как есть (s. 236).

Это неоспоримо свидетельствует о том, что Слово к лирическому герою Валека приходит не со страниц партийной печати, а с небес. (Буквально: «А небо было небом Каиновым».) И Каин здесь не случаен. Вспомним: Каин разгневался на брата оттого, что жертвенник Авеля горел лучше, чем у него, что Каинова молитва не была угодна Богу. Так и молитвы современного человека не доходят до Бога — опять же не те слова, да и дела. Образ Каина нередок в словацкой поэзии, встречается он, например, у Павла Орсага Гвездослава и у Эмиля Болеслава Лукача, определяющих фигур национальной литературы. И в финале поэмы Валека новые слова приходят к лирическому герою под звон колоколов, а не под светскую музыку, военные марши или «Интернационал». Необходимо также сказать о формальном совершенстве «Слова», поистине волшебной звукописи и рифмовке, вообще очень интересных у Валека. Если молодые поэты не будут учиться на этих стихах, они много потеряют.

К политической лирике (или лиро-эпике), как уже отметил Ю. В. Богданов, Валека больше не вернулся. Горькая любовно-философская лири-

ка завершает его жизненный и творческий путь. Валек очень любил сонет, что характерно для словацкой поэзии. Он владел классическим и обращенным сонетом, а также совершенно оригинальными его формами, всегда рифмованными (а у словаков были и нерифмованные), порой с «перепутанной» рифмовкой. В изысканной поэме «Из воды» (1977) Валек свел самые различные по форме стихотворения к сонету-магистралу, объединившему не первые, а последние (итоговые!) строки. Именно эта нанизанность на единый стержень и делает ее, на наш взгляд, поэмой, а не циклом (аналогично идет и развитие поэтической мысли о сущности любви, которая живет, умирает и возрождается в новой форме). Заглавие многозначно: речь идет о женской природе, во многом напоминающей воду¹¹, и одновременно отталкивается от выражений «zачať z vody» — т. е. «начать с нуля» — или «varit' z vody» — «варить из ничего», опять признак фрустрации, неисполненных желаний, и необходимости вернуться к истоку. Вот итоговый сонет (с воспроизведением оригинальной рифмовки):

Как ждет тебя она, хоть не святая!
Чуть твоя суть блеснет ей, золотая,
шепнет со страстью: ты не нужен мне.

С ней не носись, другое отменяя.
Давно уж улетела птичья стая,
и песня вод замолкла на струне (s. 272).

Вновь «любовь-разочарование», но в ранних стихах не было такого ощущения безысходности, которое усилилось в следующем произведении Валека — уже чисто сонетной композиции «Картинная галерея» (или «галерея образов» — «obrazárň», «рабочее заглавие» — «Образарня»). Она вышла во втором издании «Запретной любви» (1980). После этого Валек новых стихов не публиковал. «Картинная галерея» — тонкая лирика, в которой перед читателем проходит и образный ряд ощущений, чувственных восприятий — музыкальных, графических, живописных, даже вкусовых и обонятельных, — как будто импрессионизм наоборот, от образа к настроению. Любовь под натиском жизненной пошлости рушится, женщина вспоминает «забытых мужчин» после бессонной ночи в одиночестве, а лирический герой итожит свой путь — прежде всего в поэзии — как неутешительный:

Ловили дети воробья.

На сахар, сладкие словечки
и на цветочки да сердечки.
Другие. И на корки — я¹².

Тем не менее даже суровые «корки», даже «обычное» становится материалом поэзии. Поэзии музыкальной, многоцветной, завораживающей.

В поэзии Валека, особенно поздней, очень важны такие базовые образы, как вода (река, дождь, роса, туман, колодец), луна, женщина (обобщенно мыслимая), — связанные между собой, взаимопретекающие. Это было бы индивидуальной особенностью поэта («я так вижу»), если бы не одна деталь, которая упрямо ставит всё на свои места. Женская водная сущность, текучесть и неуловимость, луна как нечто загадочное и манящее, мотив обратного движения (в том числе «серебряный рачок», поэма «Из воды», или Рак-Лунатик в детском стихотворении) — всё это атрибуты зодиакального знака Рака, под которым родился Валек. Вряд ли такие образы (серебро как металл Рака — и «серебряный рачок» на дне реки) появились у него независимо от астрологических комментариев. Кроме водных, у поэта очень значимы и огненные образы («Ничего, кроме огня и дождя!» — «История травы», сборник «Беспокойство»). И здесь тоже есть зодиакальное объяснение, ведь в космограмме поэта представлены сильные акценты в стихии Огня. Об этих кажущихся совпадениях мы рассказали в 1993 г. на конференции в МГУ¹³.

Итак, Мирослав Валек накануне своей 80-й годовщины (увы, по-смертной) видится фигурой противоречивой и драматичной, но необычайно талантливой, обогатившей словацкую поэзию максималистскими, но в то же время и диалектичными стихами о сущности любви, поэзии, жизни, о мире, в котором трудно жить, но приходится выживать («Удрученность») и в котором всё же много летучей, эфемерной и парадоксально вечной красоты.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 В лекциях, прочитанных соответственно на филологическом факультете МГУ (октябрь 2002 г.) и в Словацком институте в Москве (июнь 2006 г.).
- 2 Голоса столетий. М., 2002; Из века в век. Словацкая поэзия. М., 2006.
- 3 Валек М. Картинная галерея // Меценат и Мир. 2002. № 17–20.
- 4 Zambor J. Interpretácia básne Miroslava Válka Zvony na nedel'u // Studia Academica Slovaca. 2002. Č. 31. S. 258.
- 5 Такой подтекст, в частности, есть в обзорной главе книги А. Галвоника «Перемены» (Братислава, 2004), которая отличается весьма взвешенным подходом к национальной литературе второй половины XX в.
- 6 Цитаты даны в переводе автора статьи, выполненном по изданию: Válek M. Básne. Bratislava, 1981. S. 19.
- 7 Шведова Н. Ю. Творчество Мирослава Валека (к проблеме лирического героя). Дис. ... канд. филол. наук. М., 1987.
- 8 Цит. по: *lfm!* Slovo // Slovenská literatúra. 1998. Č. 5. S. 382; Koška J. Od básne-manifestu k básni-manifestácii // Kapitoly z moderny a avantgardy. Bratislava, 1992. S. 144.

- ⁹ *Будагова Л. Н.* Слово, за которым стоит жизнь // Современная литература Чехословакии. М., 1981. С. 156.
- ¹⁰ *Богданов Ю. В.* Словацкая литература // История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны. 1970–1980-е гг. М., 2001. Т. 2. С. 247.
- ¹¹ Рассмотрение этой проблематики в философско-искусствоведческом плане проведено в книге чешской исследовательницы Зденьки Калницкой «Магия воды и женщины», вышедшей в 2004 г. в переводе на русский М. Письменного.
- ¹² *Валек М.* Картинная галерея. С. 535.
- ¹³ *Шведова Н. В.* Образность в поэзии Мирослава Валека: астрологические параллели // Актуальные проблемы славянской филологии (материалы научной конференции). М., 1993. С. 132–133.

Е. С. Узенева
(Москва)

Новейшие полевые исследования северо-восточной Болгарии (с. Осмар, обл. Шумена) *

В последние годы в отечественной и зарубежной славистике все большее значение приобретают ареальные исследования традиционной народной культуры и ее диалектов. Болгария известна сохранностью духовной культуры, многие обряды и верования живы в народе и по сей день. Каждое село хранит свое особое, локальное знание о прошлом, «законсервированное» в ритуалах и мифологических представлениях. В условиях глобализации, стирания этнических различий и постепенного ухода из жизни старшего поколения — носителей традиции — особую актуальность приобретают полевые исследования, фиксирующие сведения о народной культуре.

Для изучения мы выбрали северо-восточную область Болгарии, славящуюся своей архаикой и отмеченную следами протоболгарского присутствия. Экспедиция в с. Осмар прошла в августе 2006 г. в составе руководителя доцента, к. ф. н. Е. С. Узеновой и 16 студентов-болгаристов 3-го курса филологического факультета Государственной академии славянской культуры (ГАСК). Были исследованы явления из сферы народного календаря, семейной обрядности, народной мифологии и обрядового фольклора по программе А. А. Плотниковой «Материалы для этнолингвистического изучения балканославянского ареала» (М., 1996) ¹.

Село Осмар расположено на высоте 200 м над уровнем моря в 15 км на юго-запад от г. Шумен и примерно в 12 км от г. Преслав (второй столицы древнеболгарского государства). Оно окружено холмистым Шуменским плато. В 1944 г. в селе было 270 семей, около 1200 жителей. В настоящее время их число — 270 человек, 565 домов. Школа здесь существовала с начала XIX в., церковь была построена в 1862 г., а культурно-просветительский центр с библиотекой (*читалище*) «Соединение» — в 1873 г. Церковь Свв. Константина и Елены строилась в несколько этапов: вначале была возведена низкая часть храма, затем появилась пристройка с колокольней, после чего был замурован один из старых входов (правый, так называемый «мужской»).

* Публикация подготовлена в рамках проекта «Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура во взаимодействии» при поддержке Программы Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям».

Археологические находки повествуют о долгой истории поселений, располагавшихся на данной территории (с IV в. до н. э. — до XIV в. н. э.) рядом с древним римским дорожным трактом *Via Traiana*, построенном для войны с дакийцами (нынешняя Румыния). Исторические свидетельства говорят о фракийских поселениях и об огромном средневековом городе Зелениград эпохи царя Симеона (XI в.), занимавшем площадь трех современных сел округа и славившимся многочисленными церквями и монастырями.

К периоду XII–XIV вв. относится и скальный монастырь свв. Константина и Елены, расположенный в пещерах недалеко от с. Осмар в долине Константина (*Костадинов дол*). Обитель состоит из двух церквей, одна из которых носит название *Костандинов монастырь*, а вторая, находящаяся в изолированной скале, не имеет специального названия, в ней, однако, обнаружена надпись на старославянском языке, датируемая, по мнению Ст. Маслева, XIII в.: + *сеи храмь арх [ангела] Михаила*². К данным церквям примыкают несколько келий и гробниц.

Историческая обстановка времен Второго болгарского царства (XII–XIV вв.) была бурной, напряженной, насыщенной социальными противоречиями, отмеченной религиозно-церковной борьбой и рядом ярких исторических событий. В конце этого периода явно ощущался упадок болгарской государственности, сопровождаемый разорительными варварскими нашествиями. Это дало толчок развитию и распространению монашества и отшельничества. Именно в такой обстановке возникают многочисленные монашеские общины, в которых селились монахи-отшельники, бежавшие от невыносимых тягот жизни.

Вероятно, в осмарском монастыре жили монахи — последователи мистического учения исихазма. О такой волне христианской миграции свидетельствуют многочисленные скиты Шуменского плато, позднее объединенные в монастыри. Развитие монашеских колоний достигает своего апогея во второй половине XIV в. и продолжается до начала XV в. Турецкое владычество положило конец функционированию монашеского центра в этом регионе³.

Костадинов монастырь, т. е. храмовое помещение, высеченное в западной части скального монастыря, было подробно изучено, описано и снято на фото известным чешским исследователем болгарской старины К. Шкорпиллом. Согласно его сведениям, эта часть была расписана фресками, местные жители использовали монастырь в качестве храма до строительства новой церкви в самом селе в 1862 г. Известно, что молящиеся приходили сюда на церковную службу и для причастия до 1947 г.⁴

В Костадиновом монастыре вплоть до настоящего времени (с перерывом на социалистические годы) совершаются богослужения и паломничества местного населения в день свв. Константина и Елены (21.V). Им

же посвящена и сельская церковь, и храмовый праздник (*събор*), который проходит в этот же день, когда совершали жертвоприношение (*курбан*). Усилиями местных христиан кельи убраны иконами патронов монастыря свв. Константина и Елены, а также св. Николая, св. Пантелеймона и др. На иконах молящиеся оставляют платки, предметы одежды, монеты — дар святым, к которым обращались с мольбой об исцелении от болезней или за помощью в несчастье. В монастыре поддерживается чистота, возжигаются свечи, в праздник проводится служба.

Доступ в скальный монастырь затруднен. Местные умельцы в 2005 г. соорудили из деревьев лестницу, по которой паломники могут взобраться в храм. У подножия монастыря установлен памятник — старый камень со старославянскими надписями и крест у целебного источника.

В прошлом население Осмара составляли болгары и турки (во времена Османской империи; в турецких регистрах село под именем Усмар отмечается с 1573 г.), в центре села стояла мечеть, на месте которой теперь располагается *читалище*. Болгарский язык был запрещен для повседневного общения, местное население хорошо знало турецкий, что привело к появлению большого числа турцизмов в лексике местного говора.

В XX в. школа им. Петра Берона (до 8 класса) обслуживала три соседних села: Троица, Хан Крум и Осмар. В прошлом село было торгово-экономическим и культурным центром округа, что способствовало формированию особой, полугородской культуры. Это отразилось и на народном костюме, который содержит черты городской одежды Преславской обл. начала XX в. — знак полугородского типа культуры с. Осмар, и на утрате мифологических представлений, которые осуждались высокообразованным местным населением как предрассудки). Влияние на местную культурную традицию оказали и многочисленные беженцы из Македонии и переселенцы из близлежащих сел (Троица, Кочово и др.), откуда местные парни предпочитали брать себе жен, считавшихся более трудолюбивыми, чем местные «избалованные» образованные и богатые девушки.

Основной род деятельности населения — скотоводство, садоводство и виноградарство, которым данная местность славилась с незапамятных времен, что нашло отражение в этимологии названия села. Село Осмар окружено виноградниками. Виноградарство и виноделие издавна было основным ремеслом местного населения. Более 120 лет здесь существует винодельческий завод «Осмар», где изготавливается известное вино «Осмарский пелин», настоянное на травах и полыни. До 1944 г. местные виноделы торговали с Германией, в настоящее время подписан договор о прямых поставках специально изготавливаемого вина в Польшу.

Существует несколько версий возникновения имени села. Народная этимология связывает название с первыми восемью домами, построен-

ными при его основании. Другая часть местных жителей считает, что выбор имени был определен основным ремеслом селян — скорнячеством (праслав. **osmin* ‘скорняк’) ⁵. Б. Симеонов, исследовавший этимологию названия села, интерпретирует его как бесспорно тюркское по происхождению и относит к протоболгарскому периоду (пртблг. **osmar* ‘скорняк’), приводя примеры из родственных алтайских языков. Автор отрицает возможность фракийского субстрата в имени села, отмечая, что «в других индоевропейских языках не найдено ни одного фонетического или семантического варианта данной лексемы» и «до настоящего времени подобного слова среди фракийских языковых реликтов не открыто» ⁶.

Третья версия соотносит топоним с турецкой лексемой *asma* ‘лоза’, что кажется нам наиболее убедительным, имея в виду особо сильное влияние турецкого языка в этом районе Болгарии ⁷. Сюда же примыкают и менее достоверные гипотезы порождения топонима: от тур. *maara* ‘пещера’, которые в окрестностях наличествуют в изобилии, или из антропонима *Ли Осмар* — *Осман*.

По мнению академика Владимира Георгиева, этимология названия села может быть объяснена на базе фракийского языкового субстрата: *Is-maros*, *Isçara* — город и гора в области киконов (союзников троянцев, согласно «Илиаде» Гомера) происходит из и.-евр. **wik*’-s **mara* ‘большое село’. Приводятся примеры из древнеиндийского **vis* ‘жилище, дом’, албанского *vis* ‘место, поселение’, старослав. *вьсь* ‘село’, дакийского **mare* ‘большой’ и др. (срв. рум. *Satu mare* ‘большое село’) ⁸. Данная этимология находит подтверждение в многочисленных археологических следах фракийского присутствия в этом регионе.

Говор с Осмар относится к группе шуменско-преславских (северо-восточнoболгарских, мизийских) говоров, характерными чертами которых являются следующие: 1. «я»-говор, где под ударением перед твердым слогом встречается ‘а (*с’анка*, *б’ал*), а перед мягким — широкое е (*нед’ел’а*, *б’ели*), без ударения — затемненное ‘а (*д’аца*, *ср’адъ*); 2. особый, более велярный, гласная ъ на месте старослав. ъ и «большого юса» (*ковъ*, *бъчва*); 3. отсутствие согласного х, который замещают в или ф во всех позициях (*чъв* (*чух*), *мъв* (*муха*), *уфо* (*ухо*) и пр.); 4. членная форма -о для сущ. м.р. под ударением (*деньб*, *кракб*) и -у в безударной позиции (*стблу*, *чел’аку*); 5. наличие гласной -и вместо -ъ под ударением после мягкого согласного (*ас седй*, *душй* (*душа*), *чумй* (*чешма*)); 6. переход ударного гласного -а в -е после палатального согласного и перед мягким слогом (*полени/поляни*, *уфчёр/овчар*); 7. следы старого гласного -ы (*едын*, *жыто*); 8. выпадение слогов, гласных и согласных в особенно употребительных формах (*ран’та/работа*, *коледър’те/коледърите*, *бáб’Роска/баба Роска*); 9. гломеративная форма -и вместо -го для 3 л. ед.ч. местоимения м.р. и ср.р. (*зели гърнету*, *утбрили и*); 10. употребление лич-

ного местоимения 3 лица вместо указательного (*у нѣго дѣн/в този ден*). Данный говор характеризуется и некоторыми лексическими диалектизмами: *дѣсни/венци* 'десны', *чѣплащъркел* 'аист', *нине/сега* 'сейчас', *кутри́, кутра́, кутро́лкой, коя, кое* 'кто/который, которая, которое' и др.⁹

Традиционная народная культура с. Осмар в целом хорошо сохранилась не только в памяти селян и в богатом репертуаре местного фольклорного ансамбля. И в наши дни здесь широко отмечается ряд календарных праздников: Рождество, Новый год, День виноградаря (*Трифун Зарезан*), Масленица, день св. Федора, Юрьев день и др. В селе праздновали и день св. Варвары 4.XII (*Варвара*), защищающей от оспы (*шарка*), которую всячески задабривали и ласково называли *сладката, медената*. В этот день запрещалось варить бобы, «чтобы ничего не надувалось», класть черную посуду на огонь, — во избежание заболевания. В качестве превентивной меры выпекали сладкие лепешки, мазали их медом и мармеладом и раздавали соседям, а одну клали на чердаке для самой *Шарки*. Считали, что тот, кто этого не сделает, пострадает от болезни.

В канун (*Бѣдни вечер*) Рождества 24.XII (*Коледа*) обход домов совершают молодые парни, женатые и холостые (*коледари*), которые поют *коледарски песни*: «*Стани нине, господине, че ти идат добри гости, добри гости коледари...*», — произносят благопожелания домочадцам и получают в дар полотенца и каравайчики-бублики (*краваи, гевреци*), круглые, с дырой посередине, украшаемые фигурками из теста (цветами, животными, крестами) и нанизываемые на длинные посохи. В каждой семье выпекали рождественский хлеб (*сомун*), также с фигурками животных из теста, который крутили при преломлении. В народной культуре действия кручения/верчения осмыслились как продуцирующие изобилие, плодородие. Обязательным праздничным блюдом была свинина, из которой готовили колбасу (*кървавица*), *яхнию* и осмарский *кебаб* на белом вине.

На Новый год 1.I (*Сурваки*) дома посещают дети с сумочками и украшенными прутиками (*сурвакнички*), которыми они стегают людей и скот с пожеланиями здоровья: «*Сурва, сурва година...*» В этот день пекут слоеный пирог (*баница*) со знаками удачи, счастья (*късметчета*) — щепками или почками кизила, самого крепкого кустарника, определяя их дому, членам семьи, различным видам животных и птицы. Монету, как правило, назначали дому.

Особо почитали день повитухи (*Бабинден*, 8.I), которую посещали все рожавшие у нее женщины. Повитухе дарили муку, мыло, полотенце, мыли ей руки. Женщины целый день пировали, ходили по селу ряженные брачной парой (*булка и зет*) с младенцем, пили вино, бесчинствовали над мужчинами, которым запрещалось появляться на улице, иначе надо было платить откуп.

И в настоящее время одним из самых важных календарных праздников села считается 14.II — день патрона виноградарства св. Трифона (*Трифон Зарезан*), когда все село отправляется вместе со священником на виноградники, где совершается первое подрезание лозы, выбор самого старого мужчины «царем виноградарей» и жертвоприношение. В церкви поп совершал службу, сюда приносили вареное жито, фрукты и виноград для освящения. Из отрезанной лозы свивали венки и надевали их на шею мужчинам, которые ездили на телеге с бочкой вина по селу, угощались в каждом доме, принято было напиваться пьяными «для будущего урожая». Играл духовой оркестр, хоро танцевали на площади до утра.

Известна и легенда о св. Трифоне, встретившем бабу Марту, проклявшую его отрезать себе нос за нарушение запрета работать в праздник. Данный вариант легенды является локальной особенностью с. Осмар. В нем, вероятно, смешались две легенды: о мартовской старухе¹⁰ и о Богородице и Трифоне¹¹.

В первый понедельник Великого поста в селе проходили маскарадные игры ряженных (*кукеры*), между которыми случались и побоища. Мужчины обряжались в кожи, надевали островерхие шапки, вешали на грудь тяжелые колокольчики. Среди них была пара жених (*зет*) и невеста (*булка*), а также старик (*старец*); они посещали все дома, где их угощали. Обход заканчивался на площади, где кукеры совершали символическую запашку и сев, после чего селяне поджигали и тушили солону, привязанную к спине «старца».

Достаточно хорошо сохранилась погребальная обрядность, многие ритуалы которой остаются актуальными и сегодня, что объясняется желанием людей осуществить переход близких в иной мир «по правилам», обеспечив тем самым покой их душе. По умершему в селе бьет колокол: о ребенке — единожды, о женщине — два раза, о мужчине — три. Тело умершего охраняют ночью от кошки: считают, что, если она перепрыгнет покойника, он станет вампиром (*вамтирясвал*) и будет беспокоить домашних по ночам (до 40-го дня душа приходит в дом). Одна из жительниц 1922 г.р. рассказала нам случай из своей жизни о том, как после смерти мужа, который повесился в психиатрической больнице, по ночам она ощущала, что некое косматое существо, похожее на кошку, топтало тело, душило ее. Подобное произошло и с ее подругой после смерти свекрови.

В селе готовят специальный хлеб для умершего (*ляп за умрелия*), для погребения и раздачи для поминовения (в церкви и на кладбище, а также для каждых поминок — *поменик, помен*) готовят хлеб, булочки и вареное жито (*куче*), которое сверху украшается сахарной пудрой и корицей, рисуется крест. Совершается богослужение (*панакхида*), давшее название и самому угощению в дни поминок. В гроб кладут коврик, одеяло (*худялу*), белую простынь с кружевами, подушку и обычное белое полотно

длиной 2 м (*платно*), которым покрывали умершего (*смертник*). Один платок привязывали к пояснице, а другой — к большой свече, которую вкладывали в руки покойного. Локальной чертой с. Осмар является одна из деталей одежды покойника, так называемый *навлек*, кусок ткани с прорезью для головы, который надевался (*навлича се*) на голое тело. Считалось, что в этом одеянии покойный является на том свете на суд к святому Петру.

Прогребальная процессия обязательно останавливалась на перекрестке, на кладбище могилу поливал вином священник после молитвы. Если приходилось хоронить второго покойника в ту же могилу, кости предыдущего доставали из гроба, клали в мешочек и оставляли на прежнем месте.

Родственники и близкие соблюдали траур по умершему от трех дней до 1 года. В знак траура женщины носят черные платки, мужчины — черные ленточки или повязки (*жалейки*), на двери дома вешают черную ленточку и сообщение о кончине человека, которое обновляется в три месяца, полгода, год и т. д.

Жертвоприношение после похорон в селе не совершали, как это было принято в других областях восточной Болгарии. Вместо этого заказывали литургию в церкви. *Курбан* посвящали часто св. Архангелу Михаилу в день святого (*Арангеловден*), которому предназначалась жертва (*обричат курбан*), так как он считается «охранителем душ». Жертвовали ягненка или рыбу «во избежание всего плохого».

Традиционная народная культура с. Осмар относится в целом к восточному типу. Это подтверждают наличие и названия ряда праздников: зимний праздник скота, буйволов (*биволски празник*) *Караманчов ден* 15.1, когда парни тайно ночью чистили хлевы любимых девушек, за что на следующий день получали подарки и угощение; обозначение Нового года как *Сурваки* и приготовление в этот день слоеного пирога со знаками удачи (*баница с късмети*), подкладывание *мартеницы* (красно-белой плетеной шерстяной веревочки, изготавливаемой 1 марта, которую повязывают детям и детенышам животных «для здоровья») под камень после встречи первого аиста; день св. Игната 20.XII (*Игнажден*) как «куриный» праздник, сопровождавшийся приходом полазника (*полезник*), девичьи гадания во время жатвы с рукоятками для серпов в день Ивана Купалы 24.VI (*Еньовден*) — *играем на паламарките*, а также обряд кумления (*кумичкане*) в день св. Лазаря, Вербная суббота, дня сорока мучеников (*Свети четирийсе мъченици*), когда выгоняли змей, «мышинного дня» (*Мишинден*) 27.X, следующий за днем св. Димитрия, в который подавали соседям сладости, чтобы мыши не портили имущество, наличие ряженных персонажей (*кукери*), среди которых была супружеская пара (*булка и зет*) на масленицу, обозначение последа как *бабино д'ете*, околоплодного пузыря как *риза*, угощение для женщин на третий день после родов (*каденето*), обозначение поминок *суфръ*.

Среди обрядов вызывания дождя нет *Германа*, но присутствует *молебен*, совершаемый на краю села священником и всеми жителями, которые с иконой парами обходили нивы и село, и сопровождаемый курбаном, и *пеперуда*, который, однако, чаще совершали «чужие» персонажи (турчанки или цыганки). Нами записан и локальный вариант *пеперуды*, совершаемый каждый четверг во время Великого поста, когда девочки чистили местные источники (колодцы) и обливались водой.

Интерес представляет обозначение поминального блюда (вареной пшеницы) *куче*, масленичного костра *олелия*, возжигавшегося на *Сирницу*, отсутствие особого термина для обряда-игры с халвой на масленицу (*люлеене на халвъ*), а также наличие семантики медведя в празднике дня св. Андрея (*Андревден*), когда варили жито и раздавали соседям, «чтобы медведь тебя не встречал летом», что более характерно для северо-западных областей Болгарии, а в данном случае является логическим дополнением, продолжением указанной изодоксы¹².

Вопреки слабой представленности мифологических персонажей в традиции с. Осмар (так, например, это единственное из 20 обследованных нами болгарских сел, где неизвестны демоны судьбы, так наз. *орисници*, которые приходят на третий вечер после рождения ребенка в облике трех женщин и определяют его будущее), нам все же удалось записать былички о балканских русалках *самодивах*, являющихся после полуночи у источников, о ходячих покойниках *вампирах*, духах-покровителях местности и дома, змеях (*синурник*, *ламя*). Здесь известна легенда о змее, приходившем на хороводы выбирать себе девушку-любовницу. Многочисленны рассказы о закопанных кладах, которые «светились, играли» в ночи (*имане играеше*, *златото играе*). Считалось, что необходимо на ночь посыпать это место пеплом, чтобы наутро по следам, оставленным на пепле, узнать, какую жертву требует хозяин места. И только после совершения жертвоприношения можно было вырыть клад. В противном случае человек, нашедший деньги, умирал.

Несмотря на общий высокий уровень образованности селян и полугородской тип культуры с. Осмар, среди его жителей бытуют представления о ведьмах и колдунах, о порче (*магето*) или любовной магии (*омайване*), которую может наслать цыганка (*копанарка*, *врачка*) или мусульманский священник (*ходжа*), изготавливающий талисманы (*муска*) «на добро и зло».

Свадебная обрядность села также принадлежит в основном к восточному типу по ряду признаков: названию персонажей (*булка* и *зет* 'молодожены'), атрибутов (*меденик* 'каравай', *елхъ* 'свадебное деревце', *байряк* 'знамя'), ритуалов (*бръснене на зетя* 'обрядовое бритье жениха', *засявки* 'обряд приготовления свадебного хлеба', *поврътки* 'обряд посещения молодыми родителей невесты после свадьбы'). Однако ряд черт позволяет отнести свадебный обряд с. Осмар к северо-восточному подтипу: образование некоторых терминов от основы *год-* (*годеник/го-*

деница 'помолвленные парень и девушка', *годеж, года* 'малая помолвка'), обозначение посаженных родителей *кръстник/кръстница*, сватов *женихли*, большой помолвки *менеж*, подарка свекра невесте *мена*.

Таким образом, наши полевые исследования подтвердили существование на территории Болгарии различных культурных диалектов, наиболее крупными из которых являются западный и восточный¹³. Но каждый микродиалект не является чистым образцом данного типа культуры, а характеризуется целым комплексом черт, связывающих его с различными ареалами. В нашем случае культурный диалект села Осмар, хотя в целом и принадлежит к восточному типу, обладает признаками северо-восточного, а также целым рядом локальных особенностей, формирующих его уникальный облик.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Было записано 12 кассет по 90 мин (всего 18 часов аудиозаписей).
- ² *Маслев Ст.* Неизследвани скални църкви в Коларовградско // Известия на Археологическия институт. 1963. Т. XXVI. С. 95–105. В 1983 г. В. Константинова привела некоторые уточнения к прочтению надписи: *Константинова В.* Средновековни надписи от Шуменско (XII–XV вв.) // *Palaeobulgarica/ Старобългаристика*. 1983. № 3. С. 74.
- ³ *Димитров А. П., Благоева Кр.* Скални манастири на Шуменском плато. Шумен, 2000.
- ⁴ *Кръстев Б., Тодорова К.* Село Осмар, Шуменско (селищно проучване). Велико Търново, 2000. С. 22.
- ⁵ Там же. С. 27.
- ⁶ Там же. С. 28.
- ⁷ Там же. С. 31. В переписи 1865 г. число домов в селе (resp. хозяйств, семей) — 68, мужское население (немусульмане) — 194, турки — 90.
- ⁸ *Георгиев Вл.* Траките и техният език. София, 1977. С. 82, 180, 246.
- ⁹ *Стойков Ст.* Българска диалектология. Четвърто (фототипно) издание. София, 2002. С. 105–106.
- ¹⁰ Подробнее о легенде см.: *Кабакова Г. И.* Структура и география легенды о мартовской старухе // Славянский и балканский фольклор (1992). Верования, текст, ритуал. М., 1994. С. 209–221.
- ¹¹ *Узенева Е. С.* Соотношение хрононима и легенды (праздник св. Трифона в ареальной перспективе) // Славянский и балканский фольклор. Семантика и прагматика текста. М., 2006. С. 501–521.
- ¹² См. соответствующую карту: *Плотникова А. А.* Этнолингвистическая география Южной Славии. М., 2004. С. 360.
- ¹³ Подробнее о культурных диалектах Болгарии см.: *Плотникова А. А.* Этнолингвистическая география Южной Славии; а также: *Узенева Е. С.* Лексика народной культуры трех сел Северной Болгарии // Исследования по славянской диалектологии. М., 2006. Вып. 12. Ареальные аспекты изучения славянской лексики. С. 95–113.

М. А. Робинсон, Л. И. Сазонова
(Москва)

**Дмитрий Сергеевич Лихачев:
Жизненный путь и научная судьба.
К 100-летию со дня рождения**

Научное наследие Дмитрия Сергеевича Лихачева обширно и весьма многообразно. Непреходящая значимость Д.С.Лихачева для русской культуры связана с его личностью, соединившей высокую образованность, остроту, яркость и глубину исследовательского мышления с мощным общественным темпераментом, направленным на духовное преобразование России. Как осветить существеннейшие черты этого выдающегося ученого, создателя огромного мира идей, крупного организатора науки и неутомимого деятеля во благо Отечества, чьи заслуги на этом поприще отмечены многими наградами, а в конце жизни первым в стране удостоившегося присвоения вновь возрожденного Ордена святого Андрея Первозванного? В поисках ответа на этот вопрос мы, его ученики, пишущие об учителе-ученом, сочли необходимым обратиться за советом к опыту самого Дмитрия Сергеевича.

Размышляя в свое время над тем, какими должны быть статьи, посвященные ученым-гуманитариям, Д.С.Лихачев отмечал, что многие «юбилейные статьи имеют абстрактно-похвальный характер». Он был твердо уверен, что в «Известиях Отделения литературы и языка» «статей просто юбилейных и поверхностных не должно быть. Не следует писать в статьях об общеизвестных фактах (родился тогда-то, написал то-то). Юбилеи должны отмечаться, но другим типом статей <...>. Подробные статьи должны помещаться с разбором того или иного ученого, с указанием на достоинства и недостатки, направление научных интересов» (6 августа 1957 г.)*.

Мы постараемся последовать этому завету Д.С., но считаем все же необходимым напомнить основные вехи неординарной биографии выдающегося деятеля отечественной филологической науки, предоставляя возможность услышать и его собственный голос, то научно-серьезный и доверительно-дружеский, то иронично-шутливый.

* В публикации использованы письма Д.С.Лихачева своему московскому коллеге-друзю А.Н.Робинсону. Они интересны тем, что фиксируют сиюминутную, живую реакцию ученого на происходящее, позволяют уточнить даты описываемых событий, установить момент зарождения новых творческих планов. Письма находятся в личном архиве В.А.Плотниковой-Робинсон.

Д. С. Лихачев родился в Петербурге 15 (28) ноября 1906 г. Учился в лучшей классической гимназии Петербурга — гимназии К. И. Мая, в 1928 г. окончил Ленинградский университет одновременно по романно-германскому и славяно-русскому отделениям и написал две дипломные работы: «Шекспир в России в XVIII веке» и «Повести о патриархе Никоне». Там он прошел солидную школу у профессоров В. Е. Евгеньева-Максимова, приобщившего его к работе с рукописями, Д. И. Абрамовича, В. М. Жирмунского, В. Ф. Шишмарева, слушал лекции Б. М. Эйхенбаума, В. Л. Комаровича. Занимаясь в пушкинском семинаре профессора Л. В. Щербы, освоил методику «медленного чтения», из которой впоследствии выросли его идеи «конкретного литературоведения». Из философов, оказавших на него в то время влияние, Дмитрий Сергеевич выделял «идеалиста» С. А. Аскольдова. В конце 1962 г. в письме автору готовившейся о нем энциклопедической статьи для КЛЭ Д. С., вспоминая студенческие годы, особенно отмечал роль двоих профессоров: «Все-таки учил меня в университете древнерусской литературе Д. Абрамович, а литературоведению я больше научился у Жирмунского. Последнего и можно было бы (если удобно) обозначить моим учителем (я занимался у него английской поэзией начала XIX в., в семинаре по Диккенсу и пр.). Но обозначить Жирмунского — обидеть Варвару Павловну! Лучше уж никого не обозначайте» (29 ноября 1962 г.). Д. С. с глубокой благодарностью вспоминал науку, полученную от Жирмунского: он «обрушил на нас всю свою огромную эрудицию, привлекал словари и сочинения современников, толковал поэзию всесторонне <...>. Он нисколько не снисходил к нашим плохим знаниям того, другого и третьего, к слабому знанию языка, символики, да и просто английской географии. Он считал нас взрослыми и обращался с нами как с учеными коллегами»¹.

Талантливый студент, получивший превосходное образование, отнюдь не сразу смог обратиться к изучению той области русской литературы и культуры, которой он посвятил всю свою жизнь. Первые научные опыты Д. С. появились в печати особого рода, в журнале, издававшемся в Соловецком лагере особого назначения, куда 22-летний Лихачев был определен как «контрреволюционер» на пятилетний срок. В легендарном СЛОНе и продолжилось, как отмечал сам Д. С., его «образование», там русский интеллигент прошел суровую до жестокости школу жизни советского образца.

В уже упоминавшемся письме от 29 ноября 1962 г. Д. С. с легкой самоиронией (ремарки — «Во! Забурел», или: «Хватит о себе. Расхвастался») вспоминал времена своего лагерного «ученичества»: «...основным моим университетом был СЛОН (он у нас и на лагерной печати изображался — тоже Вам юмор), а в нем „профессор“ Ванька Комиссаров, ученик Леньки Пантелеева (это тот, который ресторан Белград от

милиции сутки оборонял с пулеметом). Ванька Комиссаров и обучил меня — как достоинства не терять, а всегда по своей форме ходить. От него и прозвище свое получил: медиковый штымп (за статью окрестил — „Обычай воровской игры в карты“, журнал „Соловецкие острова“, 1930, № 1)». О колоритной личности Ивана Яковлевича Комиссарова, «короле всех урок Соловецкого архипелага», игравшем в лагерном театре Арбенина из «Маскарада» Лермонтова, Д. С. пишет в своих «Воспоминаниях»², а о том, как Комиссаров спас ему жизнь, Лихачев рассказал в автобиографических телефильме: «Д. С. Лихачев. Я вспоминаю».

Изучая мир особой жизни, порожденной той экстремальной ситуацией, в которой оказались люди, Д. С. собрал в упомянутой статье, названной им по памяти³, интересные наблюдения о воровском аргю. Познания ученого в этой области были по достоинству оценены, как отмечал сам Д. С., данным ему прозвищем. В одном из соответствующих словарей «медикованный» означает — «понимающий»⁴, в другом — «сообразительный человек»⁵, в третьем «медикованный, медик» — «сообразительный, хитрый человек»⁶; штымп имеет довольно широкий спектр значений, это может быть и «хорошо одетый человек»⁷, и просто «мужчина»⁸ или «добросовестно работающий заключенный», и даже — «интеллигент»⁹. С другой стороны, не удивительно, что первая научная публикация Д. С. Лихачева многие десятилетия отсутствовала в библиографии трудов ученого.

Прирожденные качества русского интеллигента и лагерный опыт позволили Дмитрию Сергеевичу противостоять обстоятельствам: «Человеческого достоинства стремился не ронять и перед начальством (лагерным, институтским и пр.) на брюхе не ползал» (29 ноября 1962 г.).

За год до первой после заключения поездки на Соловки Дмитрия Сергеевича, вспоминавшего свои «университеты», переполняли противоречивые чувства: «Со страхом жду свидания с местами, в которых я прожил 3½ года. Сколько замечательных людей там было. Это был мой университет. Ученье было напряженным. Это было такое столпотворение мировоззрений, культур, характеров, талантов, что трудно сейчас представить что-либо подобное в тех местах. Я познакомился там с людьми всех категорий и со всего света: хунхузы и самураи, парижский гамен и родственник Романовых, богословы, философы, налетчики, „медвежатники“, карманники, просто психически больные люди, „Соньки Золотые Ручки“ и гвардейские офицеры... И всё это при плотности населения, превышавшей Бельгию. Там когда-то был великолепный музей (А. И. Анисимов расчищал иконы) и работали археологи. А сейчас там голо и пусто: там, где было столько страданий, и там интенсивно текла умственная жизнь» (июль 1965 г.).

В этом же письме он рекомендует: «Побывайте в Муксолме (там сидели анархисты), на Анзере (на Голгофу свозили больных и умирающих), на Секирной горе (там был ужасающий карцер). Есть еще „Зайчи-

ки“ (Заяцкие острова), где был карцер для женщин. По берегам м[ожет] б[ыть] еще и сейчас стоят деревянные кресты XVI и XVII вв., просолившиеся морской солью. Есть доисторические лабиринты. Есть великолепные леса и 300 озер! Есть деревья по 500 лет (они не очень толстые, так как медленно растут), и в деревьях выросли медные иконки, которым молились отшельники. Посмотрите непременно норвежский колокол XIV века с изумительными рельефами и латин[скими] надписями». Спустя месяц Д.С. интересовался: «Как Вы были на Соловках? Ведь погода ужасная. Много посмотреть и погулять под дождем Вы не смогли. Почитайте в Лен[инской] библиотеке ж[урнал] „Соловецкие острова“ (с 26 по 32 год). Будете в Ленинграде — я Вам расскажу историю тех мест. Если сделали фотографии, — пришлите мне некоторые (внутренности Кремля). Я Вам по фотографиям могу рассказать — где и что было» (17 августа 1965 г.). Д.С. свое обещание сдержал.

Свой путь в Академии наук Д.С. Лихачев начал в 1934 г. с должности «ученого корректора» Издательства АН СССР. В этом качестве он значится в академическом юбилейном собрании сочинений Пушкина, которое вышло в 1937 г. Как корректор Д.С. участвовал в подготовке к печати второго тома «Трудов Отдела древнерусской литературы» (1935) — издания, много значащего для развития отечественной медиевистики и снискавшего мировую известность во многом благодаря тому, что с одиннадцатого тома и до пятьдесят второго Д.С. Лихачев являлся (за редким исключением) его ответственным редактором. Здесь напечатан и ряд его важнейших трудов. Юбилейный, пятидесятый том «Трудов» был посвящен его 90-летию.

Работа Д.С. Лихачева над подготовкой к печати курса лекций по древнерусской литературе академика А.С. Орлова в значительной мере определила его дальнейшую судьбу. Участие президента Академии наук А.П. Карпинского помогло Д.С. снять судимость и остаться в Ленинграде. Научную работу Д.С. начал в Отделе древнерусской литературы Пушкинского Дома в 1938 г., когда во главе его стояли А.С. Орлов и В.П. Адрианова-Перетц, с которой у Д.С. установились тесные научные и дружеские отношения. И хотя еще до поступления в Отдел у Д.С. уже имелись первые научные опыты, он тем не менее считал, что годы, проведенные в заключении, и до поступления в Отдел, были утрачены для науки: «У меня целиком пропало 10 лет жизни» (29 ноября 1962 г.).

Как отмечал ученый, «первые свои статьи по вопросам русской культуры стал печатать в заблокированном Ленинграде (статьи в „Звезде“ и брошюра совместно с М.А. Тихановой „Оборона древнерусских городов“)» (29 ноября 1962 г.). Будучи еще литературным редактором, он принял участие в подготовке к печати посмертного издания труда академика А.А. Шахматова «Обозрение русских летописных сводов» (1937).

Эта работа сыграла важную роль в формировании научных интересов Д. С. Лихачева, введя его в круг изучения летописания как одной из главных и труднейших комплексных проблем исследования древнерусской истории, литературы, культуры. И через десять лет Д. С. подготовил докторскую диссертацию по истории русского летописания, сокращенный вариант которой издан в виде книги «Русские летописи и их культурно-историческое значение» (1947). Будучи последователем разработанных А. А. Шахматовым методов, он нашел свой путь в изучении летописания и впервые после академика М. И. Сухомлинова (1856) оценил летописи в целом как литературное и культурное явление. Более того — Д. С. Лихачев впервые рассмотрел всю историю русского летописания как историю литературного жанра, при этом постоянно изменявшегося в зависимости от историко-культурной ситуации.

Из занятий летописанием выросли книги: «Повесть временных лет» — издание древнерусского текста с переводом и комментарием (1950; Т. 1–2; в серии «Литературные памятники») и монографии «Национальное самосознание Древней Руси» (1945), «Новгород Великий» (1954; 2-е изд. 1959).

Уже в ранних работах Д. С. Лихачева раскрылось его научное дарование, уже тогда он поразил специалистов своей необычной трактовкой древнерусской литературы, и поэтому крупнейшие ученые отзывались о его работах как о чрезвычайно свежих по мысли. Нетрадиционность и новизна исследовательских подходов Д. С. Лихачева к древнерусской литературе состояли в том, что их фундаментальной основой являлось представление ученого о культуре как целостном единстве, и он рассматривал древнерусскую литературу прежде всего как явление художественное, эстетическое, как органическую часть культуры в целом. Д. С. настойчиво искал пути для новых обобщений в области литературной медиевистики, привлекая к изучению литературных памятников данные истории и археологии, архитектуры и живописи, фольклора и этнографии. Появилась серия его монографий: «Культура Руси эпохи образования русского национального государства» (1946); «Культура русского народа X–XVII вв.» (1961); «Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого» (1962).

Едва ли можно найти в мире другого такого русиста-медиевиста, который за свою жизнь выдвинул и разработал бы больше новых идей, чем Д. С. Лихачев. Поражаешься их неисчерпаемости и богатству его творческого мира. Ученый всегда изучал ключевые проблемы развития древнерусской литературы: ее возникновение, жанровая структура, место среди других славянских литератур, связь с литературой Византии.

Творчеству Д. С. Лихачева всегда была свойственна целостность, оно никогда не выглядело как некая сумма разнохарактерных новаций. Представление об исторической изменчивости всех явлений литерату-

ры, пронизывающее труды ученого, напрямую соединяет их с идеями исторической поэтики. Он легко перемещался по всему пространству семивековой истории древнерусской культуры, свободно оперируя материалом литературы в многообразии ее жанров и стилей.

Три капитальных труда Д. С. Лихачева: «Человек в литературе Древней Руси» (1958; 2-изд. 1970), «Текстология. На материале русской литературы X–XVII вв.» (1962; 2-е изд. 1983), «Поэтика древнерусской литературы» (1967; 2-е изд. 1971; и др. изд.), — вышедшие в пределах одного десятилетия, тесно между собой связаны, являя своего рода историко-культурный триптих. Работа над одной книгой стимулировала творческую мысль, охватывавшую все новые и новые темы и проблемы, из которых вырастали дальнейшие замыслы. Так, в письме от 16 марта 1955 г. Д. С. развивал идею первого труда: «Надо к совещанию приготовить доклад — „Изображение людей в житийной литературе конца XIV–XV вв.“ Статья на эту тему связала бы в единую цепь мои статьи о людях в VIII т. ТрОДРЛ¹⁰ и в X т. ТрОДРЛ¹¹ <...>. Мне представляются вопросы, затронутые в них, важными. Художественная форма — это не только те вопросы, которыми литературоведы обычно и без особого успеха занимаются, — стиль и пр., но и структура человеческого образа. Ведь человек — центр литературы, а понимают человека (характер и пр.) в различные эпохи по-разному. Нам, „древникам“, это виднее, так как у нас шире материал и мы на него можем смотреть с большей высоты». А менее чем через две недели, 28 марта, Д. С. сообщает: «Пишу сейчас доклад для Белграда. Точное заглавие еще не придумал, но смысл такой: „Новое в текстологических исследованиях последних лет“. Это новое представляется мне так: текстология из вспомогательной дисциплины (для издания текстов) становится самостоятельной наукой, задача которой — выяснение истории текста памятника. Она сближается с историей литературы. Издание памятников — только один из предлагаемых выводов. Для научного издания сейчас требуется восстановление истории текста. Сперва изучить историю текста — потом этот текст издать. И т. д.». Если первый доклад являлся уже обобщающим этапом в задуманном труде, то второй стал программной заявкой, в которой формулировались основные принципы будущего фундаментального исследования. Как видим, Д. С. предполагал первоначально выдвинуть вопрос о значении текстологии в качестве перспективной темы для Международного совещания славяноведов в Белграде, предшествовавшего возобновлению проведения Международных съездов славистов. В итоге для Международного совещания славяноведов в Белграде был подготовлен другой доклад, посвященный исследованиям древнерусской литературы в СССР в послевоенное десятилетие¹². Через месяц оба доклада были готовы, и Д. С. произнес их 23 и 25 апреля 1955 г. на Втором

всесоюзном совещании по вопросам изучения древнерусской литературы¹³, что свидетельствует и о том, с какой стремительностью и творческой интенсивностью он работал.

Насколько занимали Д.С. Лихачева в тот период вопросы, связанные с изучением истории текста в широком смысле, свидетельствуют изложенные им в частном письме взгляды на задачи журнала «Известия ОЛЯ», который «должен посвящать серьезные статьи состоянию изучения того или иного вопроса, дисциплины (напр., состояние палеографических исследований в СССР, изучение филиграней, изучение книгопечатания в Западной Европе и в России <...>, изучение метрики, текстологических вопросов, изучение переводной русской литературы XI–XVII вв. и пр.)» (6 августа 1957 г.).

Уже в разгар работы над «Текстологией» у Д.С. возник замысел следующей работы: «Недавно „открыл“ новую тему по стилю. Тема меня настолько занимает, что ни о чем не могу думать другом. Боюсь, что текстология меня перестала интересовать, а новая тема для книги всего захватила» (24 мая 1958 г.). Спустя месяц он вновь пишет: «Мучает меня замысел книжки по древнерусской стилистике. Хочется поскорей вернуться, чтобы начать работу» (26 июня 1958 г.). Еще через месяц сетует: «Стилистической темой не занимаюсь. А жаль!» (29 июля 1958 г.). Он методично работает над «Текстологией».

Внимание к человеку, его деятельности и изображению в литературе и искусстве органически свойственно научным интересам Д.С. Лихачева. Его монография «Человек в литературе Древней Руси» представляет собой совершенно новый тип исследования. В ней впервые изучено художественное видение человека в древнерусской литературе, а также описаны художественные методы и стили изображения, изменявшиеся в зависимости от исторической эпохи и жанра. В книге анализируются стиль монументального историзма XI–XIII вв., стиль экспрессивно-эмоциональный XIV–XV вв., «идеализирующий автобиографизм» как официальный стиль XVI в., стиль барокко XVII в. и пр. Характерная черта теоретических построений Д.С. Лихачева — созданные им теории никогда не возносятся над знанием, не являются наложением на изучаемый предмет неких отвлеченных схем, но вытекают из знания, опирающегося на анализ источников: «Нельзя быть хорошим „древником“, не работая над рукописями» (10 марта 1950 г.). Выросшая из изучения конкретного историко-литературного материала концепция стилей древнерусской литературы служит теоретическим основанием для установления внутри эпохи Средневековья определенных литературных периодов, не имевших ранее литературоведческих определений.

Д.С. Лихачев сделал важное научное открытие: он обнаружил, что перелом в изображении человека наступил вместе с кризисом средневе-

кового способа описания человека, наступившего в начале XVII в. Литература впервые открывала для себя образ и тему «маленького человека»: «Человеческая личность эмансипировалась в России не только в одеждах конкистадоров и богатых авантюристов, не в пышных признаниях артистического дара художников эпохи Возрождения, а в „гуньке кабацкой“, на последней ступени падения, в поисках смерти как освобождения от всех страданий. И это было великим предвозвестием гуманистического характера русской литературы XIX в. с ее темой ценности маленького человека, с ее сочувствием каждому, кто страдает и кто не нашел своего настоящего места в жизни»¹⁴.

Благодаря таким открытиям, после таких исследований становится ясно, что изучение общих закономерностей развития всей русской литературы Нового времени невозможно без основательного изучения литературы древней.

Одна из ведущих тем научного творчества Д. С. — текстология. Ученый посвятил ей серию статей и книг, в создании которых огромную роль сыграл его собственный опыт: «Книгу о методах обращения с рукописями трудно писать на чужом материале, особенно если этот чужой материал обработан не единомышленником» (24 февраля 1963 г.). В целостном и систематизированном виде результаты многолетних текстологических изысканий Д. С. Лихачева нашли отражение в его капитальном труде «Текстология» (1962). В переработанном и дополненном виде она вышла в свет в 1983 г. вторым изданием.

Это новаторское исследование вызвало большой резонанс в научном мире, получило высокую оценку и международное признание. Но если книга «Человек в литературе Древней Руси» посвящена человеку как объекту литературного творчества, то в «Текстологии» человек выступает уже как субъект — творец литературного процесса.

Восхождение от текста к человеку, стоящему за ним, — так Д. С. Лихачев определяет направление текстологической работы: «Человек — его интересы, психология, образование, склонности, идеология, а за человеком — общество должны и в данном случае стоять в центре интересов текстолога»¹⁵. Д. С. Лихачев призывает видеть в приемах работы книжников проявление их целенаправленной деятельности и отдавать поэтому предпочтение сознательным изменениям текста (идеологическим, художественным, психологическим, стилистическим и др.) перед показаниями механическими — бессознательными случайными ошибками писцов.

Д. С. Лихачев впервые высказал мысль о самостоятельном значении текстологии как науки, и его фундаментальный труд ознаменовал новую эпоху в ее развитии. Традиционному взгляду на текстологию как на сугубо практическую дисциплину, ставящую себе чисто эдиционные за-

дачи, Д. С. противопоставил новое понимание предмета. Через всю книгу строго и последовательно проведена основная мысль: текстология — отнюдь не «вспомогательная», «узкоподсобная», «прикладная» дисциплина, это наука, имеющая свой объект исследования, метод анализа и специфический круг проблем.

Определяя место текстологии в системе гуманитарных наук, Д. С. Лихачев соотносит ее с литературоведением, с историей общественной мысли и культуры, с историей языка, с палеографией и археографией. Ученый расценивает текстологию как фундамент подлинно научного литературоведения и исторического источниковедения. Изучение истории текста отдельного произведения дает необходимый первичный материал для истории литературы, вот почему текстология — «основа истории литературы»¹⁶. Кроме того, она «открывает широчайшие возможности изучить литературные школы, направления, идейные движения, изменения в стиле, динамику творческого процесса...»¹⁷.

На принципиальную высоту в книге поднято понятие «история текста». Главная цель текстологии — «изучить историю текста памятника на всех этапах его существования в руках у автора и в руках его переписчиков, редакторов, компиляторов, т. е. на протяжении того времени, пока изменялся текст памятника»¹⁸.

«Текстология» Д. С. Лихачева обобщает богатый опыт русской и мировой науки. Прочными узами книга связана с лучшими текстологическими традициями русской академической науки. Сам Д. С. писал: «Многое я вывожу из Шахматова и Истрина, как продолжение принципов, намеченных уже в старой русской науке» (28 марта 1955 г.). Теоретическое осмысление достижений А. А. Шахматова, В. М. Истрина, а также В. Н. Перетца, М. Д. Приселкова, А. Н. Насонова, В. П. Адриановой-Перетц, Б. В. Томашевского, наконец, текстологические разыскания самого Д. С. Лихачева и сотрудников Сектора древнерусской литературы Пушкинского Дома способствовали формированию современной теории текстологии.

Еще только начали поступать первые рецензии на вышедший труд, как Д. С. уже заканчивал свой очередной проект: «...увлекся новой Текстологией — краткой, на все случаи. Хоть в ней и будет 5 листов, но кое-что новое включу (она ведь и по новой литературе)» (июнь 1963 г.). В конце следующего месяца труд был уже завершен. В письме от 27 июля Д. С. не только сообщал об этом, но и особо остановился на новой и главной проблеме, особенно его занимавшей: «Закончил свою краткую Текстологию — 4 авторских листа. Намеренно решил написать сжато. Воюю против „последней авторской воли“ как понятия юридического, но не филологического. Начинаю с тезиса: вся работа текстолога — нарушение авторской воли, вскрытие скрываемого, чтение историческое и активное вместо требуемого писателем пассивного».

Д. С. и далее продолжал работать над понятием «авторской воли», раздел о которой стал принципиальным добавлением во втором издании «Текстологии». Древнерусская литература не знала, по словам Д. С., «фокусировки» авторской воли, в ней почти невозможно разделить работу автора и работу редактора. Поэтому в тех редких случаях, когда до нас дошли автографы писателей XVI–XVII вв., особое значение приобретает изучение и издание памятника по авторскому тексту.

Значение книги Д. С. Лихачева выходит далеко за пределы текстологии средневековья. «Авторская воля» — коренная проблема в текстологии и литературы Нового времени. Обсуждая вопрос об авторской воле как основе выбора и выработки текста для издания, Д. С. Лихачев говорит о необходимости различать «творческую волю» автора и «нетворческую», осложненную разными побочными соображениями и обстоятельствами. Ученый показывает относительность «авторской воли» для литературной судьбы художественных произведений, считая, что воля автора не может быть механически принята без научного изучения всей истории текста, ибо она — явление динамичное: «Воля автора и других творцов текста также имеет свою историю»¹⁹. Д. С. затрагивает сложнейшие текстологические проблемы, связанные с изучением и изданием классиков русской литературы: А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. Блока, Н. Заболоцкого, В. С. Иванова, Л. Леонова и др.

Методические принципы, выработанные в результате текстологической практики, Д. С. Лихачев переносит на вопросы реставрации памятников искусства, архитектуры, садов и парков. Ученый считает необходимым подходить к каждому памятнику как к исторически изучаемому явлению, все этапы жизни которого в равной мере ценны.

Из всех своих специальных работ Д. С. особо выделял исследования по текстологии, считая их наиболее важными для науки. Результаты теоретической и практической деятельности ученого в области текстологии столь весомы, что уместно говорить о текстологической школе Д. С. Лихачева. Его «Текстология» стала настольной книгой и программой действий для многих исследователей литературы, истории и культуры не только Средневековья, но и Нового времени.

«Текстология» Д. С. Лихачева дала мощный толчок практической работе по изучению истории текста многих литературных памятников русского Средневековья и их научной публикации. Правилom стало объединение в одном исследовании текста памятника, его текстологического анализа и литературоведческой интерпретации. Такое соединение характерно для серии монографических исследований-изданий памятников древнерусской литературы. Достигнуты значительные результаты в освоении все новых и новых малоизученных произведений и жанров, таких, например, как жития и хронографы.

Под руководством Д. С. Лихачева была завершена начатая еще В. П. Адриановой-Перетц разработка тщательно продуманной методики и правил издания средневековых текстов, принятая теперь и в серии «Литературные памятники». Многосторонние исследования и научные издания произведений древнерусской литературы легли в основу двенадцатитомного собрания «Памятников литературы Древней Руси» (1978–1994).

Принципы и приемы текстологического анализа нашли применение в языкознании, где сложилось лингвотекстологическое направление. Полученные с помощью текстологической методики данные позволяют обнаружить в тексте разновременные напластования языковых явлений, они служат надежным источником для исторической фонетики и грамматики, способствуют решению сложнейших проблем формирования древнерусского литературного языка. Основывающийся на концепции Д. С. Лихачева лингвотекстологический анализ имеет также значение для исторической лексикологии и лексикографии, изучения славяно-русских словарей Средневековья разных типов. Текстологическая методика позволяет успешно работать над труднейшими вопросами развития славянских языков и их взаимодействия. Она используется при изучении, например, такого сложного вопроса, как «второе южнославянское влияние» в истории русского литературного языка. Представление о действительных масштабах этого влияния дают правленные редакции многих богослужебных книг и книг Священного Писания, которые принесли с собой на Русь новые черты, характерные для болгарской и сербской письменности позднего Средневековья.

Сфера применения методики текстологического исследования не ограничивается теперь литературоведением, источниковедением, языкознанием. Ее используют также фольклористы. В последние десятилетия происходит становление и музыкальной текстологии — на материале певческих рукописей Древней Руси. Развитие ее имеет перспективное значение для изучения-истории древнерусской музыкальной культуры. Текстологические наблюдения позволяют судить о жизни распева во времени, классифицировать варианты распева на один и тот же текст, разбираться в авторских и местных распевах-вариантах подобно тому, как поступают литературоведы, изучая историю текста памятника, его редакции и виды.

Сформулированные Д. С. Лихачевым принципиальные положения текстологических исследований могут быть применены при изучении истории текста и издания памятников античности, восточных и новых западноевропейских литератур. Его «Текстология» может послужить фундаментом для построения общей теории текстологии.

Как мы видели, уже во время работы над «Текстологией» Д. С. увлекла идея нового теоретического труда «по древнерусской стилистике», выросшая в создание «Поэтики древнерусской литературы».

Блещущая новыми идеями монография посвящена проблемам художественности и способам изображения в древней русской литературе. В заключении к книге «Человек в литературе Древней Руси» Д. С. назвал своих предшественников, много сделавших для изучения художественной сущности русской литературы XI–XVII вв., — таких как Ф. И. Буслаев, А. С. Орлов, В. П. Адрианова-Перетц, Н. К. Гудзий, И. П. Еремин и др. Но только Дмитрию Сергеевичу удалось обобщить ценные наблюдения и создать целостную и убедительную научную концепцию, опирающуюся на его трактовку древнерусской литературы как особой эстетической системы. Д. С. выступает в этой книге и как историк культуры. «У меня в „Поэтике“, — писал ученый, — задачи для исследователей. Я старался создавать аспекты изучения, находить новые темы и новые подходы, бросать разные мысли. Это очень важно для развития науки, и это больше всего мне удается» (27 января 1970 г.).

Впервые после знаменитой «Исторической поэтики» академика А. Н. Веселовского Д. С. Лихачев построил теоретическую «Поэтику древнерусской литературы» на основе исследования эстетических принципов и особенностей мирозерцания средневекового человека. Собственно говоря, работа Д. С. могла бы быть рассмотрена как продолжение исследований А. Н. Веселовского, хотя она построена на ином материале и других методологических основаниях.

В «Поэтике» он показал, что многие признаки средневековой поэтики как явления традиционно устойчивого стиля литературы Древней Руси выражаются в виде особого «литературного этикета», который порождается этикетом социальным и средневековым мировоззрением, идеализирующим представления о мире и обществе. В центре его исследования находятся творчески разработанные в разных аспектах категории времени и пространства, они описаны на материале фольклора, литературы древней и новой, изобразительного искусства.

Знание русской культуры во всей протяженности ее 1000-летнего развития дает ученому такую точку зрения, с высоты которой становятся видны преемственные связи между древней русской литературой и литературой Нового времени. Д. С. обнаруживает художественные достоинства, сближающие между собой литературу Средневековья и произведения Гончарова, Достоевского, Гоголя, Салтыкова-Щедрина.

Новаторство Д. С. Лихачева блестяще проявилось во многих его оригинальных предположениях. Ученый указывал в своих трудах, что ряд выдвинутых им гипотез требует дальнейшей разработки: «Ни один из вопросов, поднятых в этой книге, — писал он в завершающем „Поэтику“ абзаце, — не может считаться решенным окончательно. Задача данной книги — наметить пути изучения, а не закрыть их для движения ученой мысли. Чем больше споров вызовет эта книга, тем лучше. А о том,

что спорить нужно, — дискутировать нет оснований, как нет оснований сомневаться и в том, что изучение древности должно вестись в интересах современности»²⁰.

О своем предназначении в науке Д. С. писал и неоднократно говорил нам, еще аспирантам: «Как ученый — я изобретатель подходов. В этом мое значение в науке... я верю в то, что пишу, и жажду, чтобы мои подходы привились, продолжались» (27 января 1970 г.).

«Поэтика древнерусской литературы», открывшая новые горизонты исследований, давшая в руки ученых новый понятийный аппарат и инструментарий, оказала стимулирующее влияние на развитие отечественного литературоведения в целом и породила множество последователей и подражателей. К слову сказать, после этой книги началось стремительное возрождение полузабытого в науке о литературе, начиная с конца 1920-х гг., ключевого понятия «поэтика».

Тремя книгами — «Человек в литературе Древней Руси», «Текстология», «Поэтика древнерусской литературы» — Д. С. Лихачев создал единый научный текст — о литературной культуре, ее постижении, основанном на знании источников и критике текста, и о человеке как центральном объекте художественного творчества.

В заключении ко второму изданию книги «Человек в литературе Древней Руси» Д. С. рассказывает о том, как он подошел к осознанию необходимости создать особого типа синтетическую работу, «посвященную развитию древней русской литературы в целом», которая задумывалась как продолжение книги «Возникновение русской литературы», вышедшей еще в 1952 г. Такую целостную модель русской средневековой литературы Д. С. представил в монографии «Развитие русской литературы X–XVII веков. Эпохи и стили» (1973), заложившей основы нового типа исследований, который он определил как «теоретическая история русской литературы». От привычной нам истории литературы теоретическая отличается более крупным и обобщенным подходом к литературе, отдельным ее эпохам, периодам, направлениям как «макрообъектным», если воспользоваться понятием, примененным самим ученым. По словам автора, «исследуется лишь характер процесса, его движущие силы, причины возникновения тех или иных явлений, особенности историко-литературного движения данной страны сравнительно с движением других литератур»²¹. Такой тип теоретико-исторического изучения русской литературы лишь формируется в нашем литературоведении в последние десятилетия.

Однако Д. С. Лихачев, теоретик литературы и культуры, выступал и в защиту частных исследований, полагая, что точность истолкования достигается культурой специальных исследований, которые развивают филологическую культуру и «необходимы еще, чтобы не утратилась

традиция конкретных истолкований и наблюдений». Методика «конкретного литературоведения» приучает к углубленному пониманию произведения и стиля, стремится к доказательности своих выводов, — такими размышлениями Д. С. предварил свою книгу, посвященную русской литературе XIX–XX вв. «Литература — реальность — литература»²².

Сделавший множество научных открытий Д. С. Лихачев считал, что ученый должен уметь обозначить свою новацию соответствующим термином; им разработаны, например, такие понятия, как теоретическая история литературы, стиль «психологической умиротворенности», контрапункт стилей, трансплантация культуры, литературная трансплантация, литературный конвой, литература-посредница, культура-посредница, ансамблевое строение литературы, ансамблевый характер древнерусских произведений, анфиладный принцип соединения произведений, жанры-ансамбли, церемониальность изображения, художественный стереотип, жанровый образ автора, стиль первичный, стиль вторичный, абстрагирование, абстрактный психологизм, открытие ценности человеческой личности в литературе, эмансипация вымысла, «петровица» (о гражданском шрифте, введенном Петром Великим) и ряд других понятий. Поэтому особое значение ученый придавал научному аппарату своих книг, и прежде всего предметно-тематическим указателям, которые, как он считал, наглядно демонстрируют научный инструментарий исследователя. Одному из авторов этих строк довелось готовить всю систему указателей ко второму изданию книги «Человек в литературе Древней Руси» и особенно детальный предметно-тематический указатель к монографии «Развитие русской литературы X–XVII веков», отражающий ее богато насыщенный понятийный аппарат.

Именно Д. С. Лихачев дал мощный толчок изучению «Слова о полку Игореве». В 1950 г. он писал: «Мне кажется, надо работать над „Словом о полку Игореве“. Ведь о нем есть только популярные статьи и нет <...> монографии. Я сам собираюсь работать над ним, но „Слово“ заслуживает не одной монографии. Эта тема останется всегда нужной. <...> У нас никто не пишет диссертации о „Слове“. Почему? Ведь там **все** неизучено!» Имея в виду скептический взгляд французского слависта А. Мазона на «Слово», Д. С. заметил: «В Мазоне виновата сама наша наука — это мы его породили отсутствием работ о „Слове“».

Тогда же Д. С. наметил темы и проблемы, которые были реализованы им в ближайшие десятилетия. Его перу принадлежит серия принципиально важных монографических исследований, многочисленных статей и научно-популярных изданий, посвященных «Слову о полку Игореве», в которых ученый раскрыл ранее неизвестные особенности великого памятника, наиболее полно и глубоко рассмотрел вопрос о связи «Слова» с культурой его времени. Острое и тонкое чувство слова и сти-

ля сделали Дмитрия Сергеевича одним из лучших переводчиков «Слова». Он осуществил несколько научных переводов произведения (объяснительный, прозаический, ритмический), обладающих поэтическими достоинствами, как если бы их выполнил поэт.

Когда весной 1963 г. А. А. Зиминым была высказана скептическая точка зрения на подлинность и древность «Слова», Д. С. Лихачев, являясь принципиальным противником такого взгляда, считал, что для ведения серьезной дискуссии «его работу надо непременно напечатать, так как иначе будут говорить, что мы „зажимаем“, „давим“ и пр.». 27 июня того же года он писал, что от редактора журнала «Русская литература» «В. В. Тимофеевой получил выговор: „Полгода прошло, а Вы еще не разгромили Зимины“. Я ответил: „И не можем, так как Зимины не печатают“. Что же громить? Конечно, я буду корректен и не буду его ни в чем обвинять. Стыль ответа — тот же, что и в нашем красном сборнике²³. На совещании в Президиуме (если оно будет) буду настаивать на необходимости опубликовать всю работу Зимины». Спустя полмесяца Д. С. вновь обращался к этой острой проблеме: «Мы написали отчет о Заседании с Зиминым, собрались печатать этот отчет к съезду в номере 3 „Русской литературы“, но вчера меня известили, чтобы я позвонил Е. М. Жукову*. Жуков сообщил мне о запрещении по АН СССР печатать какие бы то ни было отчеты и сведения о докладе Зимины до выработки АН „официальной точки зрения“ и сослался на ВВВ (В. В. Виноградов. — М. Р., Л. С.), что есть, мол, разные точки зрения, — надо выработать одну. Я сказал, что у меня иной точки зрения не будет, каковы бы ни были официальные точки зрения. Он сказал, что он тоже „склонен“ считать „Слово“ подлинным памятником (Господи!). Если по настоянию ВВВ будет выработана компромиссная точка зрения, то я на съезд не поеду. Впрочем, думаю, что ВВВ не будет настаивать, а на обсуждение работы Зимины меня пригласят (Жуков сказал, что работу размножат в 12 экз., снабдят номерами и разошлют таинственным участникам тайного обсуждения). Что бояться? Я был раздражен и сказал, что напрасно так бояться слабой работы Зимины и что ее следует напечатать полным тиражом, но не отдельно, а в составе сборника статей о Слове, где будут ответы Зимину В. П. Адриановой-Перетц и пр. Он стал соглашаться и попросил меня позвонить Федосееву*. Я не стал Федосееву звонить, но написал ему большое и спокойное письмо, где изложил точку зрения свою и попросил разрешения печатать отчет. Зимины не бранил, разумеется, но указал, что работа его (судя по докладу) явно слабая и неопасная» (13 июля 1963 г.). В другом, недатированном письме

* Е. М. Жуков — академик-секретарь Отделения исторических наук АН СССР.

** П. Н. Федосеев — академик, вице-президент АН СССР, член ЦК КПСС.

Д. С. Лихачев заметил: «Зимин силен только своей позицией (соблазнительной для всех любящих оппозиции)...»

Политика умолчания, санкционированная властями, приводила только к обратному результату. 17 августа 1965 г. Лихачев сетовал: «Мазон издал в Париже статью о Иоиле (Быковском. — *М. Р., Л. С.*). Там он пишет о Зимине: „его работа может сделать честь любой Академии мира“ и пр. Здорово? Вот Вам наша глупая политика — не печатать».

Идеологические инстанции к советам Лихачева и его ближайших коллег так и не прислушались, публикацию исследования Зимина запретили. Такие действия властей ставили ученого в весьма затруднительное положение, ибо для дискуссии с Зиминим, в особенности на международном форуме, требовалось его обязательное присутствие. Так, размышляя в письме от 29 сентября 1970 г. над программой готовившегося VII Международного съезда славистов, Д. С. писал: «Когда я обдумал ситуацию, которая может сложиться в связи с обсуждением „за круглым столом“ проблемы подлинности Слова, я встревожился. Ведь Зимина могут не послать, и тогда будет скандал. Не присутствовать, приехав в Варшаву, я не смогу (иначе сочтут за трусость), а, явившись, нам надо будет признать, что отсутствие Зимина недопустимо. Тут подумаешь еще — ехать или не ехать». Д. С. всегда был сторонником открытого обсуждения научных проблем любой степени сложности.

Ученый стал инициатором и участником такого замечательного во многих отношениях проекта, как пятитомная «Энциклопедия „Слова о полку Игореве“» (1995), где, кстати, непредвзято освещена и история скептического взгляда на «Слово о полку Игореве».

Не только собственно научный, но и культурно-просветительный интерес имеет монография Д. С. Лихачева «Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси» (1975). Книгой «„Смеховой мир“ Древней Руси» (1976), написанной в соавторстве с А. М. Панченко, Д. С. ввел новую тему в область исследования древнерусской литературы.

Принципиальная черта научного облика Д. С. Лихачева — современность его работ в самом широком смысле, благодаря которой миф о «неактуальности» медиевистики оказался развеянным. Он один из тех немногих ученых, которые спасли престижность изучения древнерусской литературы и культуры Древней Руси. Его труды показали, как древний предмет академических штудий не только анализируется в свете современной научной теории, но становится близким, полезным и понятным для нашего общества.

Д. С. всегда интересовался историей русского искусства, вопросами охраны и реставрации памятников культуры (одно время он как член Ученого совета принимал участие в работе Русского музея). Ярким выражением научной и общественной позиции стала его статья «Аллеи

древних лип», напечатанная в газете «Ленинградская правда» (18 апреля 1972 г.) по поводу принятого тогда властями плана реконструкции Екатерининского парка в г. Пушкине, которым предполагалось восстановление регулярного парка в том виде, как он существовал в середине XVIII в. Д. С. вслед за И. Э. Грабарем полагал, что реставрация «на определенный момент в жизни памятника» его губит, на реставрацию он смотрел как на способ продлить жизнь памятника и сохранить в нем все самое ценное. Его идея состояла в том, чтобы бездумно не «реставрировать», т. е. не вырубать старый парк, связанный с именами Пушкина, Анненского, Ахматовой, а продлить его жизнь. Вполне возможно, что в размышлениях над судьбой Царскосельского парка зародились идеи его будущей книги «Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей» (1982), впоследствии неоднократно переиздававшейся. История садово-парковых стилей, включаемая Д. С. в понятие «культура», рассматривается как проявление художественного сознания той или иной эпохи, а сад — как своеобразная форма синтеза разных искусств, развивающаяся параллельно с философией, поэзией, эстетическими формами быта.

Культурология, разрабатываемая Лихачевым в историческом и теоретических аспектах, основана на видении им русской литературы и культуры в тысячелетней истории, в которой он жил вместе с богатым наследием русского прошлого. Судьбу России он воспринимает с момента принятия ею христианства как часть истории Европы. Интегрированность русской культуры в европейскую обусловлена самим историческим выбором. Понятие Евразия — искусственный миф Нового времени. Для России значим культурный контекст, названный ученым Скандо-Византией. Из Византии, с юга Русь получила христианство и духовную культуру, с севера, из Скандинавии — государственность. Этот выбор определил обращение Древней Руси к Европе.

Дмитрий Сергеевич любил повторять: «Для меня важна связь времен», «Мы должны поставить памятники культуры прошлого на службу будущего». Он неоднократно заявлял о том, что нам необходимо сохранить памятники архитектуры, музейные ценности, библиотечные фонды, архивные и археологические сокровища, потому что понять современную эпоху и ее значение можно только на огромном историческом фоне. Если же мы будем смотреть на современность с расстояния десяти, двадцати, сорока или даже пятидесяти лет, мы увидим немного. Современность можно оценить по-настоящему только в свете тысячелетий.

Жизнь и творчество Дмитрия Сергеевича Лихачева — целая эпоха в истории нашей науки, многие десятилетия он был ее лидером и патриархом. Ученый, известный филологам всего мира, труды которого имеются во всех научных библиотеках, Д. С. Лихачев являлся иностранным членом многих академий: Академий наук Австрии, Болгарии, Британской

Королевской академии, Венгрии, Гёттингена (Германия), Итальянской, Сербской Академии наук и искусств, США, Матицы Сербской; почетным доктором университетов Софии, Оксфорда и Эдинбурга, Будапешта, Сиены, Торуни, Бордо, Карлова университета в Праге, Цюриха и др.

Блестящие достижения в науке, широкая международная известность, признание научных заслуг академиями и университетами многих стран мира — все это может создать представление о легкой и безоблачной судьбе ученого, о том, что жизненный и научный путь, пройденный им с момента поступления в Отдел древнерусской литературы в 1938 г. от младшего научного сотрудника до академика, был исключительно благополучным, беспрепятственным восхождением к вершинам научного Олимпа.

Однако путь этот был совсем не прост и не легок, о чем свидетельствуют мемуары Д. С. Лихачева, в которых одна из глав названа «Проработки» — словом, передающим идеологическую атмосферу советского времени. Мы уже отмечали, что Д. С. в письме, связанном с подготовкой статьи о нем для КЛЭ, с иронией описывал события своей молодости, период заключения на Соловках и первый научный опыт. Так, для энциклопедического раздела, в котором указывается литература с оценками его работ, Д. С. не без сарказма предлагал: «Описания моих трудов и деятельности следующие: статья „Пепел дубов“ („Ленинградская правда“, 1928 г., авторы — братья Тур, думаю их привлечь за клевету), статья (пасквиль) М. Шахновича в „Ленинградской правде“ о моей статье о воровском аргю в 1934 г. ... Отдельные рецензии не в счет! Были и другие статьи — например, статья 58 пункт 11 (участие в антисоветских организациях), но последняя статья обо мне отменена» (29 ноября 1962 г.). И в том же письме, но уже совершенно серьезно, вспоминал: «А посмотрите, сколько у меня было неприятностей <...> устроили мне проработку (с участием инструкторши из обкома) по поводу того, что не цитируется Сталин в Посланиях Грозного, и это через неделю после получения мною Сталинской премии».

Тревожным событиям того времени Д. С. уделил, естественно, немалое место в воспоминаниях. Но еще раньше он сообщал о них в письмах, написанных по горячим следам событий, позволяющих поэтому не только уточнить время двух «проработок» начала 1950-х гг. (первая состоялась 27 и 28 ноября 1951 г.²⁴ в ленинградском Доме писателя, а вторая — в Пушкинском Доме 24 марта 1952 г.²⁵), но и содержащих подробности, существенно дополняющие воспоминания. Объектом погромной кампании стала прежде всего фигура самого Д. С. Лихачева и подготовленное им совместно с Я. С. Лурье издание «Послания Ивана Грозного», но удар наносился и по руководителю Сектора древнерусской литературы В. П. Адриановой-Перетц, и по самому Сектору.

Многостраничные письма Д. С. Лихачева, посвященные этим заседаниям, — своеобразный отчет о них. Он стремился тщательно доку-

ментировать «аргументы» своих противников: «...я несколько не преувеличиваю — читал стенограмму и оттуда выписал». «Аргументы» же соответствовали стилю эпохи. У В. П. Адриановой-Перетц была обнаружена «неприкрытая Веселовщина», заявили, «что она пользуется материалами и методом „супруга“, что ее книги настолько ужасны, что они „находятся по ту сторону добра и зла“»; следовали призывы «разгромить гнездо „лженауки“». Одним из опаснейших методологических обвинений для ученого в советскую эпоху было обвинение в «объективизме». Оно последовало и на происходившем обсуждении. Было отмечено, «что во всей серии „Литературных памятников“ <...> витает такой академический объективизм, который „смыкается с космополитизмом“», в издании «„оболгали великого патриота Грозного“, изменника Курбского поставили на одну доску с патриотом Грозным». О Д. С. говорилось, что он — «последователь кадета Шахматова (который не лучше Веселовского) и сам „буржуазный либерал“». Д. С. Лихачев и В. П. Адрианова-Перетц обвинялись в том, что «„пригтели разоблаченного космополита“ Лурье». Некоторые обвинения выглядели совершенно абсурдно, наподобие того, что «Литературные памятники» сравнивались «с задачами Би Би Си».

Д. С. Лихачев не принадлежал к числу людей, легко сдававшихся под напором обстоятельств, он считал, что «надо бороться». И «28 ноября, в день своего рождения, — писал он, — я встал с постели (я болен) и в 7 часов вечера пошел в Дом Писателя». Как писал Д. С., ему удалось отвергнуть «заушательскую» критику и отстоять свои позиции. Но на этом дело не закончилось: «Теперь будет создана комиссия по рассмотрению печатной продукции нашего Отдела: Би Би Си мы или не Бибиси!» — весьма эмоционально восклицал Д. С.

Письмо свидетельствует о том, что у Д. С. появились очень серьезные опасения относительно судьбы Сектора в Пушкинском Доме: «Наш Сектор так или иначе на краю гибели» (30 ноября 1951 г.). С началом 1952 г. обстановка не улучшилась, и у Д. С. даже возникает мысль о необходимости уехать из Ленинграда. «Как бы хотелось переехать в Москву», — писал он 3 февраля 1952 г.

Новое проработочное заседание состоялось уже в стенах Института русской литературы. Оно происходило в атмосфере, когда в Ленинградском университете упорно распространялись слухи о том, что Лихачев «антипатриот, космополит, маррист (новость!) и что обо всем этом прекрасно знают в Институте литературы» (весна 1952 г.). Вновь Д. С. «был обвинен в немарксистском понимании классовой борьбы», в том, что у него «во всех работах крупные ошибки методологического характера», что «Шахматов равен Веселовскому», а сам ученый — «последовательный объективист» и сочувствует «изменнику родины Курбскому». Ад-

министративное и партийное руководство Института всеми силами старалось поддержать обвинения Д. С. в «объективизме» * и даже пыталось уговорить В. П. Адрианову-Перетц признать «у Лихачева хоть немного объективизма!» Д. С. решительно отверг все обвинения, при этом он «ни разу не попытался прикрыться премией, и ни разу на нее не сослался». Но в результате заседания он «остался с обвинениями в извращениях идеологического характера, с политическими обвинениями», а В. П. Адрианова-Перетц решила подать заявление об уходе. «Следовательно, — заключал Д. С., — Сектора не будет». И Д. С. вновь возвращается к мысли о том, что Сектор мог бы «быть в Москве под руководством Николая Каллиниковича (Гудзия. — *М. Р., Л. С.*)» (27 марта 1952 г.).

В течение всего 1952 г. мысль о переводе Сектора в Москву не оставляла Д. С. 7 марта 1952 г. он писал: «...только так: либо Сектор должен существовать в Москве, либо мы в нем работать не сможем. Атмосфера накалена докрасна». Проработки серьезно повлияли на Д. С. «Работоспособность Варвары Павловны (Адриановой-Перетц. — *Л. С., М. Р.*) и моя, — писал он 12 марта, — надолго надломлена, увлечения работой нет и следов». «Это письмо, — продолжал он далее, — почти моё Вам завещание, — завещание „древника“, которому лично многое стало уже безразлично, которого в личном плане многое уже не интересует, а волнует только судьба науки. Итак, не бросайте занятие древней русской литературой и принимайте эстафету». И вновь ученый возвращался к мыслям о судьбе Сектора: «...в душе я считаю дело проигранным и Сектор переставшим существовать. Нашего Сектора нет, и не будет. Если он „перейдет“ в Москву, то это уже будет другой Сектор, может быть, лучше прежнего, но новый». В самом конце года, 8 декабря Д. С. уже думал о конкретных шагах, связанных с реализацией задуманного плана: «Надо, надо, чтобы Сектор переехал в Москву. Что можно сделать в этом направлении?»

Но столь радикального события, которое могло изменить судьбу не только самого Д. С., но и всего изучения древнерусской литературы, не произошло. Возможно, этому способствовало и избрание его в 1953 г. членом-корреспондентом Академии наук. Сам Д. С. и возглавлявшийся им с 1954 г. Сектор развернули широкую исследовательскую работу, за публикацию результатов которой ученому приходилось все время активно бороться, что вызывало неудовольствие институтского начальства, равно как и научная проблематика Сектора. Начались конфликты, на партийных собраниях зазвучал лозунг: «...довольно нам неприкосновенности Лихачева» (29 ноября 1962 г.). Все это заставило Д. С. вспом-

* Как известно, термин «объективизм» при необходимости получал непренное уточнение — «буржуазный».

нить о старом плане: «Господи! Какие джунгли! Если так будет продолжаться <...>, я буду проситься о переводе в Отделение истории. Может быть, передадут в Институт славяноведения и наш Сектор, сделав его Сектором древнеславянских литератур. Хоть гирише, да инше!» (18 мая 1962 г.). Однако стремительно возраставший в 1960-е гг. международный научный авторитет Д. С. заставил недоброжелателей с ним считаться. В те же годы начался расцвет Сектора древнерусской литературы.

Наконец, избрание Д. С. Лихачева в 1970 г. академиком окончательно упрочило его положение в Пушкинском Доме, но именно с этого времени недовольство его активной общественной позицией стало выражать уже высокое партийное начальство Ленинграда. Так, тогдашние власти проявили неудовольствие уже упоминавшейся статьей ученого «Аллеи древних лип», что имело неприятные последствия для ученого.

Сорок пять лет — с 1954 г. до конца своей жизни — Д. С. Лихачев возглавлял Отдел древнерусской литературы. Вместе с В. П. Адриановой-Перетц они подобрали основной состав тех видных ученых (таких как Л. А. Дмитриев, Я. С. Лурье, А. М. Панченко, О. В. Творогов), который определял вместе с ними самими лицо Сектора древнерусской литературы. Впоследствии Д. С. отметил: «Мне повезло с помощниками — Дмитриев и Творогов *» (20 мая 1983 г.).

Можно сказать, что Д. С. Лихачев, создавая свою — в широком смысле — научную школу, продолжил в определенной форме традиции, идущие от знаменитого филологического семинария академика В. Н. Перетца, живым хранителем которых в Секторе была предшественница Дмитрия Сергеевича на посту заведующего В. П. Адрианова-Перетц. Он был также активным сторонником создания секторов древнерусской литературы в Москве и Новосибирске.

Ученый был инициатором, вдохновителем, организатором многих крупных научных и издательских проектов, как ориентированных на специалистов, так и на гораздо более широкий круг читателей. «Наш Сектор, — писал Д. С. еще в июне 1957 г., — претендует защищать всю древнерусскую культуру, пропагандировать ее и пр. Мы считаем, что Сектор наш должен иметь не только научное лицо, но и общественное». Накануне IV Международного съезда славистов в Москве Д. С. старался претворить в жизнь также некоторые свои организационные идеи. Так, 27 июля 1958 г. он писал: «Хочу выступить в ОЛЯ с предложением создать Комиссию по истории русской культуры (для координации исследований историков, литературоведов и лингвистов по рукописям и пр., а также для составления фундаментальных, обобщающих трудов по истории русской культуры — для продолжения истории культуры древней

* Л. А. Дмитриев (1921–1993), О. В. Творогов.

Руси и пр.)). Через два дня, 29 июля, он вновь обратился к той же идее: «Написал статью в Вестник АН, где доказываю необходимость создания координационной Комиссии по истории русской культуры (ядро будущего Института истории русской культуры)». Не всем задуманным Д. С. проектам суждено было осуществиться, но даже само их обсуждение продвигало вперед изучение и популяризацию русской культуры.

Лучшие специалисты были привлечены для выполнения задуманных проектов, среди которых — многотомный «Словарь книжников и книжности Древней Руси». Исключительно в своем роде и двенадцатитомное издание «Памятников литературы Древней Руси», представившее в рамках единой серии наиболее значительные произведения древнерусской литературы во всем многообразии ее жанров.

Если древнерусская литература, находившаяся три четверти века назад на периферии нашего литературоведения, рассматривается теперь как составная часть всей национальной культуры, если ее произведения вошли в обиходный круг чтения, то в этом заслуга прежде всего Д. С. Лихачева.

Он ценил и любил не только науку, но и человека в науке, ему было дорого чувство коллегиальности. Замечательно, что предисловие в «Поэтике» он заключил словами посвящения книги «своим товарищам — специалистам по древнерусской литературе».

В течение многих десятилетий Д. С. Лихачев стоял во главе изучения древнерусской литературы, пользуясь искренней любовью не только ближайших коллег, но и филологов вообще. Все, кому приходилось встречаться с Д. С. Лихачевым, испытывали на себе обаяние его личности. Он был глубоко порядочным человеком, неизменно доброжелательным и отзывчивым. Он заботился о том, чтобы память об умерших ученых не канула в Лету и заслуги их не были забыты. Так, описывая прощание с Б. М. Эйхенбаумом, проходившее в Доме писателей, Д. С. отмечал, что «народищу на похоронах была пропасть», ибо «слава ученого не определяется чинами и званиями!! Вот о чем следует помнить всем нам!» (29 октября 1959 г.).

Немногом ранее на тему об академических делах Д. С. Лихачев высказывался так: «Академические выборы меня совершенно не волнуют. Было бы чудо, если бы я прошел, да мне и рано. Есть ученые более достойные, чем я. „Болезнь“ надо бы за них. Мне, например, очень жалко Виктора Максимовича (Жирмунского. — М. Р., Л. С.)» (26 июня 1958 г.). К высоким оценкам своих достижений сам он относился с нескрываемой самоиронией. Д. С. писал, что в статье о нем для КЛЭ «материал подобран так, что я (не будь на ногах растяжения вен) стал бы ходить на цыпочках, чтобы сохранить для Отечества эдакую драгоценность в лице собственной персоны» (10 декабря 1962 г.). Также не без иронии Д. С. подбадривал коллегу: «Не огорчайтесь мелкими трудностями. Помните

нашу поговорку: „А лагерь, ком а лагерь“!» (29 ноября 1962 г.). В воспоминаниях Д. С. называет автором этой поговорки расстрелянного в Соловецком лагере Г. М. Осоргина²⁶.

Характерная особенность «Текстологии» Д. С. Лихачева — внимание к вопросам научной этики. Привлекая консультантов и «превращая тем самым свое исследование в коллективное», ученый обязан строго соблюдать этические нормы²⁷. Сам Д. С., собираясь приводить в качестве иллюстрации примеры ошибок в публикациях коллег, отмечал: «Само собой разумеется, что я скажу об этих ошибках деликатно, без всякой оценки издания в целом» (11 июня 1961 г.), и «постараюсь написать все так, чтобы никого не обидеть» (лето 1961 г.).

Д. С. стремился делиться новыми идеями и наблюдениями, как своими, так и коллег-древников, с другими учеными. Он рекомендовал, например, послать один из докладов, подготовленных к очередному Международному съезду славистов, «Юрию Михайловичу Лотману (доцент Тартуского университета). Он один из самых способных наших литературоведов (специалист по XVIII — нач. XIX в.). Все новое в литературоведении его очень интересует» (27 июля 1963 г.).

Дмитрий Сергеевич всегда был готов использовать свое высокое положение академика в благих целях. С возрастом многое становилось делать все труднее. «Жизнь совершенно меня закрутила, — сетовал ученый. — Такое количество разных обязанностей и „возглавлений“». Тем не менее он считал своим долгом действовать, чтобы служить развитию науки и помогать нуждающимся в поддержке и заступничестве, ибо «для проталкивания разных предложений мой титул иногда нужен. Он (титул) меня закабаляет, но он же и облегчает» (9 мая 1988 г.).

Те, кто получал в подарок от Д. С. книги, знают, какие замечательные надписи он оставлял на них. Д. С. не просто писал их, но превращал дарственный текст в рисунок, выделяя заглавные буквы цветом и написанием. Каждая надпись — зрелищная композиция, всякий раз особенная, неповторимая. Это искусство, в котором также выразилась удивительная личность Д. С. Подобно средневековому книжнику он наделял буквы смыслом: «Букву „д“ легко писать домиком, яхтой, телевизионной вышкой, петропавловской иглой с ангелом, парусом и пр. — все со значением. Вам написал домиком — с пожеланием всех семейных благополучий, домашнего устройства и здоровья» (6 июля 1971 г.). В фигурно-символических надписях Д. С. можно заметить связь с традицией рисованных инициалов древнерусских рукописей. Усвоенное из палеографической и археографической практики знание переносилось в научный быт. Рисунки встречаются и в письмах Д. С. Он был талантлив во всем.

Д. С. часто употреблял букву ять в частных письмах коллегам, не только в рукописных, но и напечатанных на пишущей машинке. Привя-

занность к этой букве сохранилась у Д. С. еще с юношеской поры, когда в Космической Академии Наук — студенческом кружке, провозгласившем принцип «веселой науки», он прочитал ироничный и шуточный доклад о преимуществах старой орфографии. В озорной форме выражалось сожаление об отмене при реформе правописания ятя, ижицы, и десятеричного. Буква ять его в письмах — продолжение этой легкой игры.

Очень многое в обширной научной и общественной деятельности Д. С. Лихачева определялось его убеждением в высоком предназначении той науки, которой он посвятил жизнь: «Филология сближает человечество — современное нам и прошлое. Она сближает человечество не путем стирания различий в культуре, а путем научного осознания этих различий, — не путем уничтожения индивидуальности культур, а на основе уважения и терпимости к их индивидуальности. Она воскрешает людей для людей же. Для нее нет могил, — она открывает жизнь и воскрешает. Это наука глубоко личная и глубоко национальная, нужная для отдельной личности и нужная для всех народов. Она оправдывает свое название, так как в основе своей основана на любви ко всем людям и полной терпимости»²⁸. Как член редколлегии серии «Литературные памятники» (с 1952 г.), а с 1971 г., ее председатель, он во многом определял и направлял издательскую политику серии, исходя из представления о непреходящем значении для всякой национальной культуры культуры мировой: «Серия „Литературные памятники“, — писал он, — идеологически противостояла всякого рода идеям национальной исключительности. Она должна была охватить памятники всего мира, всех народов и всех эпох. Она должна была напомнить о мирном культурном единстве земного шара, о единстве культурного развития человечества и о ценностях, созданных на всех континентах и во всех странах. Ее задача была в известной мере интернационалистской и, я бы сказал, „человекоуважительной“»²⁹.

Д. С. Лихачев — страстный ревнитель охраны памятников русской, и не только русской, культуры. При посещении разных стран в центре его внимания неизменно находился вопрос об их отношении к собственному культурному наследию. Так, в письме от 26 июня 1958 г. он писал о поездке в Чехословакию: «Одно из сильнейших здешних впечатлений: поездка в старинный город Хеб на границе с Федеративной Германией. Там целые кварталы и улицы домов XIV–XVI вв. Есть дома XII в., а один дом даже X века. В городе замок Фридриха Барбароссы 1167 года с церковью романского стиля. Весь город — настоящая сказка. Перед этим мы ездили в другой старинный город — Локет с замком XIV в. Карла IV. Замок на скале очень живописен, но Хеб ни с чем не сравним». Спустя четыре года Д. С. вновь писал о полюбившемся ему городе: «Снова побывали в Хебе. Там грандиозные реставрационные работы. Восстанавливают в средневековых формах целый город. На это

отпущены огромные средства. Площади, улицы необыкновенно красивы. Целый квартал XIV века (11 домов!). Крайне интересен и замок Фридриха Барбароссы XII в. Молодцы чехи!» (12 апреля 1962 г.).

В своих зарубежных командировках Д. С. Лихачев стремился ознакомиться не только с предметами своего профессионального интереса, но шире — с жизнью и бытом народа посещаемой страны. Ярким свидетельством того является его описание поездки в 1964 г. в Югославию: «Я был почти по всей Югославии: Белград, Загреб, Любляна, Риека, Задар, Дубровник, Корчула, Сплит, Котор, Будва, Сен-Стефано, Цетинье, Титогорад, Печ, Дечаны, Приштина, Грачаница, Охрид, Кралево, Жича, Манассия (Ресава), Лазаревица, Тронша и др. Ездил я в основном один (мне были выданы деньги, и я затем путешествовал сам, раздобывая билеты и гостиницы). Занимался рукописями и смотрел фрески. Перезнакомился с множеством различных людей из разных слоев общества и наблюдал жизнь. Снял фильм, сделал диапозитивы и фотографии. Из всех моих поездок — эта была самая интересная. Меня принимали в монастырях, университетах, музеях с необыкновенным гостеприимством (особенно гостеприимны были черногорцы). После моей поездки мне стыдно — как принимаем мы...!»

Больше всего мне понравилась Корчула и Дубровник, еще Охрид. Это города и местности поразительной красоты. Когда-нибудь я Вам расскажу и покажу. А Словения — просто рай земной. Правда, живут и там трудно, а в Черногории трудно с продуктами (сельское хозяйство и у них не на высоте; масло и сыр дорожает, а в Цетинье я с трудом достал хлеб; мяса, сыра, масла не бывает вовсе; фрукты чрезвычайно дешевы).

Ну, да всего не расскажешь. Очень дорожат они памятниками своей старины, прекрасно их содержат. Перед моим отъездом была прав[ительственная] речь о значении гуманитарных наук. Очень любопытно» (14 ноября 1964 г.).

Особые чувства Д. С. питал всегда к Болгарии: «За две-три поездки изучу Болгарию хорошо. Очень мне здесь нравится, а принимают тут, как родных» (16 апреля 1960 г.).

Общеизвестно, что польское искусство обладало гораздо большей степенью свободы, чем то, что было возможно в условиях советской действительности. Поэтому неудивительно, что внимание Д. С. Лихачева привлек необычный репертуар польского театра, он настоятельно рекомендует: «В Москву должен приехать польский театр с „Хвалебной историей воскресения Христа“. Примите все меры, чтобы попасть. Это мистерия XVI в. с подлинными напевами XVI в. И на другие постановки этого театра тоже возьмите» (16 ноября 1962).

Кстати, следует отметить, что Д. С. внимательно следил за новыми и яркими театральными постановками ленинградских театров. Письма

передают, в частности, его живые впечатления от актерской игры молодого И. Смоктуновского: «Мы с З[инаидой] А[лександровной] и с дочками второй раз ходили смотреть „Идиота“ в Большом драматическом театре (первый раз были 15-го, второй раз 19-го, а З. А. с Верой были и на премьере еще). Это что-то совершенно необыкновенное. Публика ломится в театр, и достать билеты очень трудно (в драку). Постановка хорошая (режиссёр хороший), инсценировка новая — тоже хорошая, игра всех артистов также неплоха, хотя Надежда Филипповна могла бы быть и получше. Потрясает же всех Идиот — молодой актер Смоктуновский, играющий почти без грима с гениальной проникновенностью. Мы захватили бинокли и смотрели только на его лицо и руки, не отрываясь. Когда он тихим и медленным голосом говорит, весь театр замирает. Эта мистерия начинается на ½ часа раньше и оканчивается в половине первого» (19 февраля 1958 г.). Сильнейшее впечатление не покидало, и спустя пять дней, Д.С. пишет: «Вам всем надо посмотреть в Л[енингра]де Смоктуновского в „Идиоте“. Получили ли мое письмо с восторгам по поводу его игры» (24 февраля 1958 г.). В опубликованных заметках Д.С. признается в своей любви к балету: «Люблю веселое искусство — в том числе праздничный балет, классический, „мариинский“...»³⁰.

В продолжение сказанного следуют строки, передающие его разносторонне богатое, поэтическое восприятие мира: «Люблю веселое искусство природы: цветы, бабочек, тропические растения, водопады, фонтаны и бури (воду во всех ее шумных проявлениях). И еще люблю большие корабли, особенно парусные, „мирные“ пушечные выстрелы в 12 часов с Петропавловской крепости»³¹. Со времени пребывания на Соловках Д.С. сохранил воспоминания о красоте Русского Севера и писал о ней, как поэт: «Белое море очень красиво: особенно закаты и восходы. Белые ночи мистичны, поэтичны, завораживающи. Никто этой поэзии у нас по-настоящему в литературе не отразил» (22 июля 1961 г.).

Книги и статьи Дмитрия Сергеевича нашли путь к широкому читателю, ему были доступны не только научные жанры, в последние годы он написал несколько книг в форме бесед, заметок, наблюдений, воспоминаний, писем, размышлений: «Письма о добром и прекрасном», «Заметки и наблюдения. Из записных книжек разных лет», «Раздумья», «Книга беспокойств. Воспоминания. Статьи. Беседы».

Д.С. Лихачев счастливо сочетал качества выдающегося ученого и общественного деятеля. Будучи лидером движения в защиту культуры, он возглавил Советский (затем Российский) Фонд культуры. О культуре как явлении, определяющем жизнеспособность общества, Д.С. писал в статьях, говорил в многочисленных выступлениях и интервью («Россия», «Экология культуры», «Культура: программа на сто лет», «Культура — наше общее прошлое», «Память истории священна», «Искусство

памяти и память искусства», «О воспитании патриотизма, о преемственности в освоении культуры» и др.).

Д. С. Лихачев — сторонник широкого подхода к самому пониманию того, что такое культура: в это понятие им включались не только духовная культура, но прежде всего просвещение и образование, что невозможно без прекрасных библиотек и музеев, а цель культуры — повышение нравственности общества.

С одной техникой, экономикой гармоничное общество построить нельзя. Иначе это будет только воспитание технически образованных варваров. Всестороннее развитие общества невозможно без гуманитарных наук — философия, литература, история, искусства питают духовную жизнь человека, являются вкладом в общее состояние духовной жизни народа, делают общество морально зрелым, морально здоровым. Без нравственной основы не действуют законы экономики и государства, невозможно прекратить коррупцию, взяточничество. Во всех сферах жизни народа культура упорядочивает жизнь, она снижает процессы, ведущие к хаосу, поднимает уровень как духовной, так и экономической жизни, ведет к тому, что жизнь народа становится самоорганизованной.

В одном из выступлений Д. С. Лихачев подчеркнул, что международный престиж государства зависит как раз от нравственной культуры, а, к сожалению, состояние нашей нравственной культуры сейчас печально. Такое состояние культуры очень тревожило Д. С. Недаром одна из последних его книг называлась «Книга беспокойств» — слово, которое точно характеризует его отношение к тому, что происходит в обществе. С тревогой он писал о том, что у нас есть планы выхода из экономического кризиса, но даже не возникло мысли создать план выхода из культурного кризиса, из той культурной отсталости, в которой очутилась наша страна. В первые послеоктябрьские десятилетия советской власти наступила эпоха войны с культурой, с интеллигенцией, и страна надолго оказалась в плену у догматического террора. Культура как бы остановилась, а в движении культуры не должно быть остановок, остановка — всегда упадок, и упадок, к сожалению, грозит стране, которая обладала одной из самых великих культур мира, нравственным одичанием.

Д. С. предлагал создать долгосрочную программу по развитию культуры. Ему принадлежит и идея о том, что вся история развития человеческой культуры есть история не только создания новых, но и обнаружения старых культурных ценностей, что развитие понимания других культур в известной мере сливается с историей гуманизма. Он подчеркивал, что не может быть никакого национального самосознания, если человек не знает, какова была культура его предков. В целом сохранение культурной среды — задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Именно культура — цель развития человечества.

Мысли Д. С. Лихачева, крупнейшего ученого и достойного гражданина XX в., устремлены в будущее. От того, в какой мере будет услышан его голос и восприняты завещанные им идеи, зависит состояние культурной и духовно-нравственной жизни России.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Лихачев Д. С. Раздумья. М., 1991. С. 68.
- 2 Лихачев Д. С. Воспоминания. СПб., 1995. С. 216.
- 3 Лихачев Д. С. Картежные игры уголовников (Из работ Криминологического кабинета) // Соловецкие острова. 1930. № 1.
- 4 Толковый словарь уголовных жаргонов. М., 1991. С. 106.
- 5 Мильяненко Л. А. По ту сторону закона. Энциклопедия преступного мира. СПб., 1992. С. 166.
- 6 Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и географический портрет советской тюрьмы). М., 1992. С. 139.
- 7 Толковый словарь... С. 204.
- 8 Мильяненко Л. А. По ту сторону закона... С. 284.
- 9 Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона... С. 293–294.
- 10 Лихачев Д. С. Проблема характера в исторических произведениях начала XVII в. // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1951. Т. 8.
- 11 Лихачев Д. С. Изображение людей в летописи XII–XIII веков // ТОДРЛ. М.; Л., 1954. Т. 10.
- 12 Изучение древней русской литературы в СССР за последние десять лет (Доклады советской делегации на Международном совещании славяноведов в Белграде). М., 1955.
- 13 II Всесоюзное совещание по вопросам изучения древнерусской литературы в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) Академии Наук СССР (23–26 апреля 1955 года) // ТОДРЛ. М.; Л., 1956. Т. 12. С. 648, 649.
- 14 Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 138–139.
- 15 Лихачев Д. С. Текстология. На материале русской литературы X–XVII вв. Изд. 2-е, переработанное и дополненное / Отв. ред. акад. Г. В. Степанов. Л., 1983. С. 95.
- 16 Там же. С. 33.
- 17 Там же. С. 30.
- 18 Там же. С. 27.
- 19 Там же. С. 588.
- 20 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 370.
- 21 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков: Эпохи и стили. Л., 1973. С. 4.
- 22 Лихачев Д. С. Литература — реальность — литература. Л., 1981. С. 3–11.
- 23 Слово о полку Игореве — памятник XII века. М.; Л., 1962.
- 24 В воспоминаниях: «В сентябре или октябре 1950 г.» (Лихачев Д. С. Воспоминания. С. 367).

- 25 В воспоминаниях: «Весной 1952-го или 1953-го» (*Лихачев Д. С.* Воспоминания. С. 366).
- 26 *Лихачев Д. С.* Воспоминания. С. 262.
- 27 *Лихачев Д. С.* Текстология... С. 568.
- 28 *Lichačev D.S.* De Philologia // *Ricerche slavistiche*. 1970–1972. Vol. XVII–XIX. P. 334–335.
- 29 *Лихачев Д. С.* Прошлое — будущему. Статьи и очерки. Л., 1985. С. 338.
- 30 *Лихачев Д. С.* Раздумья. М., 1991. С. 59.
- 31 Там же. С. 59–60.

Л. Н. Будагова
(Москва)

Полувековой юбилей «Шрамковой Сobotки». Впечатления, воспоминания

В конце июня 2006 г. площадь и улицы одного из старинных городков северо-восточной Чехии, прозванной за живописность «Чешским раем», в пятидесятый раз украсили афиши, возвещавшие о проведении ежегодного фестиваля чешского языка и литературы «Шрамкова Сobotка». Напомним, что Сobotка — название местечка, где с 1957 г. проходит фестиваль. Шрамкова — притяжательное прилагательное, образованное от имени знаменитого уроженца Сobotки, известного чешского поэта Франи Шрамека (1877–1952). Представитель «поколения бунтарей», а по его личному признанию — «резервист и красный анархист», участник Первой мировой и свидетель Второй мировой войны, — он воплотил свой богатый жизненный опыт в стихах, пьесах, рассказах, романах. Но в национальное сознание Франия Шрамок вошел прежде всего как поэт природы, родного края, как лирический певец «серебряного ветра» юности, молодости, любви.

Мы гостей к себе не звали,
И никто к нам не спешил,
Лишь один июнь был с нами,
За здоровье наше пил,

— написал он в одном из стихотворений о своей необычной свадьбе, скрепленной не обрядами и документами, а глубокими чувствами к невенчанной жене, с которой проживет всю жизнь.

Фестиваль, организованный усилиями его вдовы Милки Грдличковой-Шрамковой (1886–1958), друзей и земляков, сначала посвящался творчеству Шрамека. Концентрируя в себе многие проблемы и особенности чешской литературы XX в., оно давало богатейший материал для главной, научно-просветительской миссии фестиваля, день которого начинался с лекций специалистов, продолжался беседами с писателями, деятелями культуры, сотрудниками пражских издательств, прерывался «поэтическими пополуднями» — чтением стихов школьниками и студентами (прямо на природе или в уютных закоулках Сobotки), завершался же вечерами поэзии, выступлениями любительских и профессиональных театров и студий. Но постепенно круг обсуждаемой на «Шрамковых Сobotках» тематики расширялся, в центре внимания оказывались

вопросы, связанные с разными аспектами чешской культуры. Мне уже приходилось писать об этом¹. Поэтому упомяну лишь темы последнего пятилетия. «Шрамкова Сobotка 46» (2002) в связи со 140-летием со дня кончины Болены Немцовой (1820–1862) была посвящена проблеме «Женщина и литература. Как женщина творит слово, а слово творит ее». «Шрамкова Сobotка 47» (2003), нацеленная на анализ текстов, называлась «Поиски утраченного смысла». Программу «Шрамковой Сobotки 48» (2004) определил перифраз строки национального гимна («Где родина моя?») — «Где же их родина?» с подзаголовком «Чехия — культурный перекресток Европы»², «Шрамкова Сobotка 49» (2005), выясняя вопрос «Какими возможностями обладает язык», приглашала к «прогулкам по дебрям лингвистики».

Условия, в которых зарождался и жил фестиваль, накладывали на него свою печать. «Шрамковые Сobotки» расцветали вместе с Пражской весной, страдали от идеологических заморозков 1970–1980-х гг., расправляли крылья после «бархатной революции» 1989 г., боролись за выживание в переходный период. Но неизменными оставались их цели — изучать, защищать, популяризировать сокровища чешского языка и литературы, приобщая к этому молодежь и ее наставников. Неизменными оставалась аудитория фестиваля, задуманного для учителей-словесников и студентов философских и педагогических факультетов, сроки его проведения — начало летних каникул, царящая на нем дружеская атмосфера, а еще — букет полевых цветов и бюст Франи Шрамека в актовом зале городской сберкассы (Spořitelny), где проходили лекции и семинары.

Пятидесятая «Сobotка» посвятила себя культуре разговорной речи (Znějící řeč. Kultura mluveného projevu, — так это звучит в оригинале). Может показаться, что круглая дата заслуживала бы обсуждения более общих вопросов, связанных, к примеру, с итогами и перспективами сботецкого фестиваля. Но в этом случае он отклонился бы от своего прямого дела — повышать квалификацию преподавательского цеха и культурный уровень студенчества. От него было бы меньше практической пользы.

Юбилейность «Шрамковой Сobotки 50» ощущалась, но не выплывалась. Она лишь добавила свои ноты и краски в ее культурную программу.

Открытие праздника — субботним вечером 1 июля 2006 г. — обошлось без фанфар и торжественных речей. Вместо юбилейной патетики царила радостная атмосфера долгожданных встреч участников. Съезжавшиеся каждый год в Сobotку из разных концов республики, многие успели подружиться друг с другом, приобщить к фестивалю своих учеников и даже детей и внуков. Зрительный зал «соколовны» (здания местной ячейки физкультурно-патриотического движения, существовавшего — с

приостановкой в ЧССР — с 1860-х гг.) был превращен в большую площадку, где полукругом разместились зрители. Их тепло и с юмором приветствовали Петр Гейн, староста города, и Драгомира Флодрманова, председатель оргкомитета фестиваля и руководитель Культурного центра Сobotки. Потом читали стихи Шрамека и награждали его графическими портретами, созданными художницей Аленой Лауфровой, наиболее верных и активных «шрамковцев». Гвоздем программы стал спектакль Городского театра из Младой Болеслави «Романс для корнета», поставленный Йозефом Кернером по автобиографической поэме Франтишека Грубина (с опорой на фильм О. Вавры). В роли рассказчика, прототипом которого был сам Грубин, выступил известный актер (он же директор театра и автор инсценировки) Франтишек Скршипек. Того же персонажа в юности, в пору его влюбленности в девочку-циркачку Терину (актриса Дагмар Тейхманова), сыграл Петр Прокеш. Его соперника Виктора (обоих примирит тоска и память о Терине, рано покинувшей мир) — Мартин Грубый. В театре не нашлось актера на роль умирающего дедушки, о котором трогательно заботился юный герой, разрываясь между ним и Териной, между горечью и радостью жизни. Пригласили любителя, который выручил труппу.

Замечу, что грубиновский «Романс...» в пражском Национальном театре оставил меня равнодушной. Младоболеславский спектакль произвел огромное впечатление.

Мне посчастливилось видеть и другие постановки театра. В июле 2004 г. прямо в подворье расположенного близ Сobotки замка Кост, под звездным небом и в окружении крепостных стен он при полном аншлаге играл легендарную пьесу В. Незвала «Манон Леско». А в декабре 2006 г. я побывала и в Младе Болеслави на спектакле «Мариус и Фанни», по произведению Марселя Паньоля (1899–1974), что сделало меня настоящей фанаткой этого театра. Мне показалось, что там не любят «чернухи» и режиссерской «отсебятины», а в противовес экспериментальной экстравагантности стремятся сохранить (возродить!) вдохновенный романтизм театрального искусства. Мне показалось, что постановщики там бережно относятся к авторскому замыслу и тексту, не стремясь ради самолюбивого утверждения собственного «Я» исказить их до неузнаваемости, принуждая принцев датских играть на саксофоне, а персонажей из «Чайки» рядиться в одежду эскулапов. Может быть, играет свою позитивную роль местопребывание в провинции (хотя и в двух шагах от Праги), ориентация на зрителей, не испорченных столичным снобизмом, необходимость поставить спектакль так, чтобы он не угнетал, а согревал душу, имел массовый успех. Это не значит — идти на поводу у публики. Это значит — сохранять лучшие традиции публичного театрального искусства. Без них оно теряет контакт с людьми.

Однако вернемся на «Шрамкову Сobotку». Воскресный день 2 июля был посвящен воспоминаниям. Оживить довоенное время, когда в Сobotку, к матери, приезжал каждое лето Франя Шрамак, прикоснуться к прошедшим фестивалям помогали старые любительские фильмы, показанные в старинном соляном складе, ныне крошечном театре. Их отобрал и прокомментировал заведующий Литературным архивом Ф. Шрамека, научный сотрудник Института Масарика АН Чешской республики Ян Билек. Этот молодой историк, известный и специалистам нашего Института как издатель научной публикации переписки Т. Г. Масарика с Э. Бенешем (2004) и Т. Г. Масарика с К. Крамаржем (2005) — личность примечательная.

Внук одного из первых организаторов фестиваля Драгомиры Билковой-Кизеватовой (1909–1990), сын известного чешского архивариуса Карола Билека и преподавательницы местной школы (чешский язык и литература, немецкий и русский языки) Марии Билковой-Секеровой, которая давно возглавляет экскурсионно-просветительский фонд для учительства и входит в оргкомитет фестиваля, — Я. Билек — истинное детище «Шрамковых Сobotек». Он умудрился родиться в разгар одной из них — 6 июля 1972 г., и его дни рождения с тех пор скромно отмечаются в учительском кругу съезжающихся на летнее мероприятие гостей. Он рос в атмосфере подготовок к фестивалям, которыми его родные занимались практически весь год, унаследовав от них привязанность к «Шрамковым Сobotкам» и всему, с ними связанному, — к творчеству Ф. Шрамека, к чешской литературе и истории, к достопримечательностям родного края, по которому не раз водил экскурсии. Его можно назвать олицетворением преемственности, духовной связи поколений, гарантирующих сохранность и развитие культурного фонда нации.

После «поэтического пополудня» (спектакль «Ясельки» театрального коллектива из Градца Кралове, режиссер Ема Замечникова) и концерта духовной музыки в храме Св. Марии Магдалины состоялось вечернее представление литературно-художественной композиции «Там, в этом доме на площади», посвященной супругам Гейновым, Вацлаву (1898–1974) и Марии (1905–1987). Высокообразованные педагоги, потомственные интеллигенты, они в молодости принадлежали к кругу близких друзей Ф. Шрамека, позже сыграв огромную роль в организации и проведении «Шрамковых Сobotек» как их мозговой центр. Отрывки из разного рода документов, статей, мемуаров, писем подобрал и мастерски смонтировал давний участник фестиваля, хорошо знавший супругов Гейновых, известный радиорежиссер и педагог Иржи Граше. Он же и осуществил постановку, где пятеро артистов читали тексты от имени Марии Гейновой (Марта Граховинова), Вацлава Гейна (Ярослав Хрпа), рассказчика (Альфред Стрейчек), делали комментарии (Алеш Врзак) и

ремарки (Иржи Граше). Композицию все, и стар и млад, выслушали за- таив дыхание. Одним она открыла неведомое, другим помогла оживить прошлое, вновь подарить радость общения с людьми харизматически- ми, привлекавшими, как мне кажется, к участию в «Шрамковых Сobotках» просто силою своего обаяния.

В мою жизнь sobотецкие фестивали вошли благодаря Марии Гейно- вой. Вацлава Гейна уже не было на свете. Как-то осенью 1975 г., когда я была гостем Института чешской и мировой литературы в Праге, опе- кавшая меня Добрава Молданова (ныне крупный литературовед) пред- ложила в одно из воскресений посетить Стару Болеслав, где был убит князь Вацлав, и Младу Болеслав, где родился поэт-сатирик Франтишек Гельнер (1881–1915) и производились автомобили (кажется, «шкоды»). Когда программа была выполнена, она спросила, не хотела бы я заодно доехать и до Сobotки, родины Франи Шрамека, благо она совсем рядом. Разумеется хотела бы!

О приближении к цели возвестил высокий холм, увенчанный бело- каменным Гумпрехтом со шпилем в виде полумесяца. Этот охотничий замок в стиле барокко был построен в XVII в. графом Яном Гумпрехтом Чернином из Худениц. Расположенную у подножья холма Сobotку час- то называют «городком под Гумпрехтом». Помню, как мы вошли в ка- менный дом на площади, пахнувший стариной, миновали коридор, под- нялись по высоким скрипучим ступеням на верхний этаж и оказались в маленькой кухоньке, где изящная седовласая женщина в брюках и чер- ной водолазке что-то готовила на маленькой чугунной плите, похожей на «буржуйку». Это и была пани Мария Гейнова, обитательница и хра- нительница дома, который купила и завещала Сobotке вдова Шрамека. Этажом ниже размещались архив и точно воссозданная обстановка пражской квартиры поэта. Именно это здание называют Домом Шраме- ка, хотя тот родился в доме по-соседству.

Пани Мария приветливо встретила нежданных гостей, усадила за стол, накормила. В то время она возглавляла оргкомитет фестиваля, за- ведовала архивом и музеем Шрамека, водила по нему экскурсии. Ис- следователи творчества поэта могли жить и работать в этом доме. Там находили приют и приезжавшие из Праги лингвисты, литературоведы, актеры — организаторы и члены жюри всевозможных конкурсов, про- ходивших в рамках фестиваля.

В конце июня 1977 г. в этом доме поселилась и я, получившая при- глашение на «Шрамкову Сobotку 21». Она была посвящена столетию Шрамека и проходила под лозунгом «В голубой дали — красный цве- ток» (строка из его стихотворения).

Встретили меня настороженно. У всех в памяти было 21 августа 1968 г. и советские танки на улицах Праги. Совсем неподалеку, в Ичи-

не, где когда-то жил сам Богуслав Бальбин (1621–1688), защитник чешского языка, и где разворачивались события «Малой вальдштейнской трилогии» Ярослава Дуриха (1886–1962), стояла наша воинская часть, разместившаяся в старом монастыре. Кто-то из «шрамковцев» успел лишиться в результате всевозможных партийных «проверок» прежних должностей, права работать по специальности, превратившись, к примеру, из учителя или директора гимназии в истопника. Кто-то из лекторов был изгнан с университетских кафедр. Однако путь на «Шрамкову Сobotку», благодаря ее организаторам (их душевным качествам и дипломатическим способностям), был открыт всем — и «чистым» и «нечистым». Истопники могли отдохнуть душой в привычной для себя учительской среде, а уволенные профессора — читать лекции. Но осадок все равно оставался.

Пани Мария говорила мне, что ее спрашивали, на каком языке я буду выступать, неужели на русском? Далеко не все понимали его, к тому же он воспринимался как язык «оккупантов», который не хотели слушать даже русисты. Она отмалчивалась, мол, сами увидите, надеясь, что мое выступление на чешском станет приятным сюрпризом и изменит настроение аудитории в мою пользу. И действительно, как только «московская гостья» обратилась к собравшимся ее послушать со словами «Vážení přátelé!», холодок в зале растаял, люди заулыбались, захолопали.

Должна признаться, что, приняв приглашение на «Шрамкову Сobotку», я понятия не имела, что это такое, думала — обычная конференция. Узнав уже на месте, что должна прочитать целую лекцию, пришла в уныние. К счастью, материала у меня было с избытком, минут сорок-пятьдесят вполне могла продержаться. А чтобы уж совсем себя обезопасить, заранее решила сказать, что считаю безжалостным в прекрасное солнечное утро утомлять слушателей длинной лекцией. Когда накануне своего дебюта придумывала это вступление, погода действительно стояла замечательная. Но как назло день лекции выдался пасмурным и дождливым. С тоской взглянув на окна с водяными струйками, я после слов «vážení přátelé» все же бодро произнесла свою заготовку, упрямо назвав хмурое утро «солнечным». К счастью, несоответствия не заметили. Мое «Слово о Шрамке» понравилось, попало на страницы местного «Вестника Шрамковой Сobotки» и сборника статей, изданного в Градце Кралове (1979).

Только со временем я поняла, что встреча с пани Гейновой в 1975 г. была не случайной, а заранее продуманной, спланированной. В период «нормализации» организаторам фестиваля, чтобы продемонстрировать его благонадежность, было важно заполучить лектора из Москвы. Только позже я поняла, что призвана была стать для «Шрамковой Сobotки» чем-то вроде охранный грамоты, вроде «красного флага над сельсоветом».

Окончательно убедилась в этом, когда прочла статью Шарки Штемберговой-Кратохвиловой, опубликованную в сборнике «Чудо нового сообщества», посвященном 40-летию фестиваля. Талантливая актриса и театральная педагог, она в годы «нормализации» была уволена со всех прежних мест, не могла найти работу в Праге. Ее (как и многих других) приютила Сobotка. Многие годы Шарка руководила детской театральной студией при Доме Шрамека. Выступления ее питомцев были украшениями фестивалей, а Шарка Штембергова — душой и заводилой любой компании. Вспоминая 1970-е гг., она написала: «В период „нормализации“ организаторы фестиваля открыли для него политический талисман — Людмилу Будагову из СССР. (Здесь следует лестная аттестация моих профессиональных качеств, которую опускаю. — Л. Б.) Когда она впервые появилась на Сobotке, мы встретили ее русской поговоркой (Что поделаешь, гость есть гость). Но каково же было наше удивление, когда она бегло заговорила по-чешски, а к тому же выдала на языке оригинала шрамковский „Вереск“. С тех пор она стала частью фестиваля, и ее звали снова и снова. Присутствие советского гостя не было безразлично нашим политическим бонзам, к тому же Люся была нашей»³. До нынешнего круглого юбилея фестиваля эта женщина, которую считают «легендой» Шрамковых Сobotок, к сожалению, не дожила. (Замечу в скобках, что меня много раз приглашали в Сobotку и после «бархатной революции», когда нужда в «политических талисманах» отпала. Причем по просьбе чешской стороны приходилось выступать с лекциями и о современной русской культуре (1995, 1997, 2004), чтобы компенсировать недостаток информации о ней в Чехии.)

После дня ностальгических воспоминаний (многим было о чем вспомнить!) начался недельный курс лекций на лингвистические темы. Их стоит перечислить: «Сколько чешских языков ты знаешь?» (Светла Чмейркова, доктор филологических наук, сотрудница Института чешского языка), «Речевые образцы современного разговорного чешского языка» (профессор Здена Палкова, зав. кафедрой фонетики философского факультета Карлова университета), «Языковые табу» (профессор Радослав Вечерка, доктор филологических наук), «Фонетика в контексте знакомых и незнакомых языков» (магистр Томаш Дубьеда, сотрудник кафедры фонетики философского факультета). Во многих затрагивались вопросы, актуальные и для ситуации в современном русском языке. Прочитанные людьми, владевшими аудиторией, сочетавшими глубину и тонкость наблюдений с доступностью стиля, эти лекции лишней раз убедили меня в высоком уровне современной чешской лингвистики. Завершила цикл лекция доцента Иваны Ченьковой «Чешский язык с точки зрения переводчика в Брюсселе», раскрывшей секреты службы переводчиков-синхронистов в международных организациях.

Попытавшись соединить проблемы устной речи с пятидесятилетием фестиваля, т.е. аналитический аспект с ностальгическим, я выступила на тему «Телефонный разговор Л.Брежнева с А.Дубчеком 13 августа 1968 г. и его последствия, в том числе для „Шрамковой Сobotки“». Материалом послужила сокращенная стенограмма этого разговора, опубликованная в переводе Бруно Соларжика (с его же предисловием и комментариями) в пражском журнале «Аналогон» (2002. № 34/35). Стенограмма эта, рассекреченная в апреле 1994 г., была передана из архива президента Российской Федерации Вацлаву Гавелу по случаю международной конференции о 1968 г., проходившей в Праге. В этом разговоре Брежнев настаивал на скорейшем выполнении А.Дубчеком требований руководителей стран Варшавского пакта, от чего зависело мирное или силовое решение проблемы Пражской весны. Я стремилась раскрыть психологические и языковые особенности этого диалога, в котором отразилась драма реформаторского движения в ЧССР, столкновение разных позиций (наступательной и оборонительной), разных идеологий и культур. Кроме того, была прослежена эволюция фестиваля в связи с изменениями общественно-политического климата в стране и те усилия, которые прикладывали его организаторы (во главе с М.Гейновой), чтобы не политизировать фестиваль, сохранить его просветительскую функцию и широкий культурный кругозор даже в условиях «нормализации».

Из мероприятий, сопутствующих основной программе, которые даже трудно перечислить, хотелось бы выделить демонстрацию редких кино- и радиоматериалов, связанных с политическим процессом над Миладой Гораковой и ее «сообщниками». М.Горакова — яркий общественный деятель, участница антифашистского сопротивления, а после войны — депутат парламента от народно-социалистической партии, отказавшаяся от своего мандата, была приговорена в 1950 г. к смертной казни. В трагических страницах современной истории страны, обращение к которым внесло скорбную ноту в атмосферу фестиваля, проступила неожиданная связь и с его проблематикой, «культурой разговорной речи». «Можно было прочувствовать во всей ее неприкрытой наготе так называемую „культуру“ тех, кто представлял на процессе тоталитарный режим, а в противовес этому убедиться, что были люди, чью культуру не могли уронить ни унижения, ни мучения, ни реальная угроза смерти», — так прокомментировал эти материалы Ян Смолка в заметке «Репортаж, заснятый с петлей на шее».

Она была опубликована в ежедневном мини-журнале фестиваля «СПЛАВ!»⁴. Его с недавних пор издают студенты и выпускники философского факультета Карлова университета. Имя журнала имеет двоякий смысл. «Splav» («Плотина»), но без восклицательного знака! — название лирического сборника Шрамека, изданного в 1916 г., но постоянно пе-

реиздававшегося с добавлением новых стихов. Кроме того, SPLAV! — это остроумная аббревиатура журнального подзаголовка: *Sobotecký Pravidelný Lehce Avantgardní Věstník* (Соболецкий Регулярный Слегка Авангардный Вестник). Представляю, как веселилась и радовалась редколлегия, когда придумала это! Только зачем в названии восклицательный знак?

Журнал пользуется успехом, ежедневные номера быстро раскупаются. Оперативные статьи, репортажи, заметки, как правило, хорошо написаны. Требующие напряженной работы, они предваряют, а затем оценивают программу каждого дня, порой весьма нелицеприятно и критично. Благодушной вежливости авторы предпочитают открытость и остроту суждений. (Думаю, что умиротворяющее начало вносит на страницы, где порой бушуют страсти, коротенькая публикация меню школьной столовой.) С журналом активно сотрудничает Алена Новакова, которая «отвечает» за программу лекций и семинаров, приглашает и представляет лекторов, заботится о них, берет и публикует интервью. Несмотря на отдельные фактические неточности «СПЛАВ!» содействует эффективности фестивалей, помогает воспринимать материал и удержать в памяти каждую из «Шрамковых Соботек». Совокупность всех ежегодных и ежедневных номеров журнала фактически составляет их хронику.

Традицией фестивалей, на которых мне удалось в последнее время побывать, стало выступление кратковременных театральных студий (*dílen*), где участвуют приехавшие в Соботку учителя. Программа под руководством режиссера Ганы Кофранковой готовится ускоренными темпами, за несколько дней. В 2004 г. была показана остроумнейшая композиция по произведениям Даниила Хармса, где звучала чешская и русская речь. В 2006 г. актеры-любители обратились к творчеству Карела Гавличека Боровского (1821–1856). Сыграли свою роль и памятная дата биографии писателя, и созвучность его сатиры нашей современности. «После этой программы можно вспомнить старые, но верные слова: *Времена меняются, а люди остаются прежними*», — написал Ян Хромы в последнем номере журнала «СПЛАВ!»⁵. В заключение — о симптомах возрождающегося чешского русофильства, весьма заметного в истинно демократической, народной среде участников «Шрамковых Соботек».

Уже никто не пугается русской речи, напротив, русисты просят разговаривать с ними по-русски. Среди молодежи появляются энтузиасты русского языка, готовые изучать его самостоятельно или брать частные уроки.

Многие хотели бы посетить нашу страну, хотя тех возможностей, которые были в прежние годы, уже нет. Йозеф Кернер и Франтишек Скршипек прямо-таки мечтают приехать со своим театром на гастроли в Москву. Они с восторгом рассказывали, как были там много лет назад, как подружились с Олегом Табаковым, который возил их на могилу Б. Пастернака, говорили, с каким успехом идет в Младе Болеслави «Ис-

тория лошади», толстовский «Холстомер», которому путь на сцену проложил Г. Товстоногов, просили порекомендовать им что-нибудь из репертуара московских театров. Вспоминая (во время нашей зимней встречи в 2006 г. в Младе Болеслави), как после подавления Пражской весны люди предупреждали, что станут бойкотировать театр, если там пойдут русские пьесы, теперь оба подчеркивали, как желанны они сейчас. Й. Кернер сказал, что все время испытывает потребность прикоснуться к русской литературе, с которой не может сравниться ни одна другая.

На «Соботках» очень любят (точнее, опять полюбили!) русские песни. Особенно часто они звучат в избе Шольца (Šolcův státek), в старом длинном срубе с соломенной крышей. Там когда-то родился и жил чешский поэт-романтик Вацлав Шольц (1838–1871). Теперь дом принадлежит его земляку и знатоку чешской истории и природы, ученому-энтомологу Карелу Самшиняку, чья успешная научная карьера была сломана «нормализацией». В этой избе вечерами горит очаг и за большим деревянным столом во время «Шрамковых Соботек» собирается давно сложившееся «общество шольцарны». В него входят не только гуманитарии, но и представители других наук — друзья К. Самшиняка. Среди них — математик Вера Марванова, прекрасно говорящая по-русски и знающая уйму русских песен — и слова, и мелодию! Она рассказывала, как еще маленькой девочкой, во время войны, ей каким-то образом (каким, я точно не помню) удалось выучить русский язык. Кажется, его учила мать, а она просто слушала и запоминала. В результате, когда пришла Советская армия и кому-то из командиров потребовался переводчик, эта роль выпала ей.

Воспоминаниями об окончании Второй мировой поделилась и журналистка Дагмар Шафаржикова, которая регулярно публикует репортажи о фестивалях. (В августе 2006 г. она отметила свое 85-летие. Но ее живые глаза, острый ум и прекрасная память, юношеская увлеченность Йозефом Сватоплуком Махаром, о жизни которого она знает массу неизвестных подробностей, показывают, что пани Дагмар молода душой.) Она рассказывала, как весной 1945 г. познакомилась с одним советским офицером, Петорм Крыловым как они понравились друг другу, как много вместе гуляли и как однажды он вдруг толкнул свою спутницу на землю и упал на нее. Та, едва успев возмутиться такой формой ухаживания, услышала, как просвистела пуля немецкого снайпера, которого учуял ее друг. Всю жизнь Дагмар вспоминает этого русского как своего спасителя.

...Когда отшумела Шрамкова Сobotка и опустели ее площадь и улицы, на заборах и стенах домов еще оставались висеть фестивальные афиши. Одну из них — на заборе Шольцова статку — сфотографировала семья Г. П. Мельникова⁶, посетившая городок уже после окончания праздника. Приятно, что местные жители не спешат расставаться с вос-

поминаниями о бурных и ярких днях, которые каждый год переживает тихое провинциальное местечко.

Очередная, пятьдесят первая «Шрамкова Сobotка» состоится в 2007 г., юбилейном для Франи Шрамека, и будет посвящена прозе поэта.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ *Будагова Л. Н.* Бурная жизнь тихой чешской провинции. «Шрамкова Сobotка». Ее люди, история и современность // Славянский альманах 2001. М., 2002. С. 444–456.
- ² См. о ней: Материалы «круглого стола» Центра истории литератур западных и южных славян «Новое в культурной жизни зарубежных славянских стран. По следам командировок, конференций, публикаций» // Славяноведение. 2006. № 6.
Štembergová-Kratochvílová Š. Jak nazvat Sobotecké vzpomínky? // Zázrak nového společenství (Vzpomínky a úvahy). Sobotka, 1996. S. 19.
Smolka J. Reportáž točená na oprátce // SPLAV! 2.VII.2006. № 2. S. 10.
Chromý J. Jindy a nyní, nyní a jindy // SPLAV! 8.VII.2006. № 8. S. 6.

Георгий Павлович Мельников старший научный сотрудник Института славяноведения, декан факультета культурологии Государственной академии славянской культуры в июле вместе с женой и сыном Данилой побывал в «Чешском раю» и не мог обойти Сobotку.

О. В. Хаванова
(Москва)

Адальберт Барич: От студента в Вене до профессора в Загребе *

Британский историк Роберт Эванс удачно сравнил патриотизм, характерный для монархии Габсбургов до наступления эры лингвистических национализмов, с амфибией, когда его носителям «одинаково свободно дышалось» и в большой Австрийской монархии, и в ее составных частях, например Венгерском королевстве¹. Эта метафора очень точно описывает многоуровневые идентичности и сложноподчиненные лояльности, свойственные для так называемых *Hungari* — подданных венгерского короля вне зависимости от родного языка и этнического происхождения. В XIX в. молодые национализмы предъявляют на них свои партикуляристские претензии, абсолютизируют лишь одну, выгодную для творимого национального нарратива этническую идентичность. Однако для убедительного объяснения, почему именно *Hungari* — свободно владевшие несколькими языками, подолгу жившие и учившиеся в разных частях монархии, вынужденные в силу незнатного происхождения рассчитывать только на собственные знания и способности — добивались успеха на административных должностях, в науке или преподавательской деятельности, историкам необходимо «вернуть» их в ту полиэтничную, культурно разнообразную среду, в которой они сформировались как личности.

Юрист, экономист, пионер статистической науки в Венгрии Адам Адальберт Барич (1742–1813) был типичный *Hungarus* эпохи Просвещения. Он происходил из мелкого дворянского рода, проживавшего на юге Венгрии, в Нови-Саде (на территории современной Сербии). Барич обучался в Вене; затем преподавал в Вараждине, Загребе, Дьере, Пеште. Вершиной его успешной карьеры стал пост ректора Пештского университета (1786–1804). Он в равной мере составляет славу Хорватии и Венгрии, и каждая новая подробность жизни Барича дополняет картину сложившегося к середине XVIII в. симбиотического единства отдельных частей Габсбургской монархии и многообразных взаимодействий населявших ее народов. В настоящее время в Хорватии ведется актив-

* Публикация подготовлена в рамках проекта «Власть и общество в Центральной и Восточной Европе XVIII–XX веков: от сословного к гражданскому обществу, от „старого порядка“ к правовому государству» при поддержке Программы фундаментальных исследований историко-филологического отделения РАН «Власть и общественные институты в историческом процессе».

ная работа по изучению жизни и творчества Адальберта Барича, публикации его (в том числе ранее не издававшихся) трудов². Приводимые ниже источники дополняют новыми подробностями биографию этого ученого, педагога, просветителя.

Историкам доподлинно известно, что в 1764 г. Барич изучал право в Венском университете³, затем служил секретарем в Буде в Септемвиральном суде — одной из высших судебных инстанций Венгерского королевства. Гораздо реже упоминается, что в 1767 г. Барич вернулся в Вену, чтобы снова сесть на студенческую скамью. На сей раз, чтобы изучать новую для монархии Габсбургов дисциплину — политико-камеральные науки у профессора Йозефа Зонненфельса (1732–1817)⁴. Этот компилятивный курс в доступной форме излагал совокупность знаний, необходимых для управления государственными имуществами, давал начала экономических знаний по ведению сельского хозяйства, горного дела, торговли и основы управления. В помощь тем, кто не был в состоянии позволить себе учебу в имперской столице, в 1766 г. двор создал специальные стипендии: восемь для выходцев из Венгрии и четыре — из Трансильвании⁵. К соискателям предъявлялись повышенные требования: неуспевающих отчисляли, усидчивым и смышленным — платили повышенные стипендии и охотно брали на государственную службу.

Адальберт Барич изучал политико-камеральные науки в имперской столице с 1767 по 1769 г., притом оказался в числе венгерских стипендиатов, чью учебу оплачивала имперская казна⁶. Можно предположить, что за годы службы в Септемвиральном суде он обзавелся влиятельным покровителем, который помог ему попасть в Вену. Преподавание курса задумывалось таким образом, что лучшие выпускники по рекомендации Зонненфельса направлялись в учебные центры в разных уголках монархии, с тем чтобы на месте организовать преподавание только что усвоенной науки. Весной 1769 г. Адальберт Барич (возможно, потому что владел югославянскими диалектами) получил назначение в хорватский Вараждин (см. Док. № 1 Приложения). Там недавно был создан политико-экономический коллегиум⁷ по образцу того, что в 1763 г. открылся в венгерском Сенеце (Сенец в современной Словакии)⁸. Однокурсник Барича, тоже *Hungarus* (будайский немец) Антон Вайсенгрубер был назначен в Трнавский университет в Венгрии, но упал с лошади и получил серьезную травму, поэтому кафедру в конце концов возглавил другой ученик Зонненфельса из Венгрии — Каспар Эренфельс⁹.

Обращает на себя внимание важное положение королевского декрета: в целях скорейшей подготовки максимально большего числа грамотных чиновников власти, придерживаясь принципа строжайшей экономии, увеличивали число казенных стипендиатов за счет перевода стипендий из дорогой Вены в провинциальные учебные центры. Так, на сумму трех сти-

пендий в Вене (600 гульденов) предписывалось создать девять стипендиальных мест в Вараждине (одна стипендия размером в 100 гульденов, одна — 80 и семь — по 60 гульденов). Та же схема в 1770 г. была с успехом применена в Трнаве: три стипендии (600 гульденов) разделили между восемью стипендиатами (две стипендии по 100 гульденов, две — по 80 и четыре по 60 гульденов)¹⁰.

О деятельности Барича в Вараждине и затем Загребе хорватскими историками написано немало¹¹. Однако в Австрийском государственном архиве в Вене хранятся документы, добавляющие новые штрихи к биографии ученого и педагога. Так, выплата казенной стипендии и для Барича, и для Вайсенгрубера прекратилась в мае 1769 г., жалование же по месту назначения полагалось им только с осени, и Адальберт Барич на несколько месяцев оказался без средств к существованию. Тогда он подал прошение на высочайшее имя, чтобы ему, как и его товарищу Вайсенгруберу, выплатили небольшую сумму на текущие расходы (см. Док. № 2 Приложения). Просьба была изложена простым и изысканным стилем, которому Барич, несомненно, научился у Зонненфельса — реформатора языка делопроизводства австрийской бюрократии¹². Один довод логично вытекал из другого. В то же время письмо не оставляло потенциального читателя равнодушным: трудно было не посочувствовать молодому профессору, у которого нет денег даже на то, чтобы отправиться в чужую по сути страну, где он никогда не был, никого не знает. Власти поспешили исправить оплошность, и по распоряжению императрицы Баричу было выделено вспомоществование в размере 300 гульденов¹³.

Преподавательская деятельность в Вараждине не приносила большого удовлетворения Баричу. Предполагалось, что курс политико-камеральных наук по всей монархии читался на немецком языке в строгом соответствии с учебником Зонненфельса. Однако мало кто из учеников Барича мог похвастаться достаточным знанием немецкого, и тому пришлось сделать перевод зонненфельсова пособия на латынь (рукопись не сохранилась)¹⁴. Кстати, с той же проблемой примерно в то же время столкнулся другой ученик Зонненфельса, выходец из Трансильвании Антал Добокай, тоже суммировавший своим ученикам наиболее важные положения учебника на латинском языке¹⁵. В конце 1772 г. Барич, отчаявшись добиться толка от своих плохо подготовленных учеников, обратился к властям с просьбой перевести его в Загреб или Терезианский коллегиум в венгерском Ваце, и уже на следующий год получил возможность читать свой курс в королевской академии наук в Загребе. Впрочем, трудностей хватало и там: в 1774 г. профессор жаловался, что стипендию его ученикам выплачивают нерегулярно, что при их крайней стесненности в средствах ставит под вопрос саму возможность продолжать учебу¹⁶.

Поскольку преподавание политико-камеральных наук повсюду в монархии Габсбургов находилось под строгим контролем властей, в фондах Венгерской королевской канцелярии сохранились (к сожалению, не во всей полноте) отчеты об экзаменах по этой дисциплине в Трнаве и Вараждине (с 1773 г. — в Загребе). Отчеты касаются исключительно королевских стипендиатов, потому что власти декларировали прямую зависимость объема стипендии от успеваемости и мнение профессора в этом вопросе было решающим. Большинство сохранившихся отчетов — это не более чем списки слушателей с проставленной напротив фамилии каждого суммой стипендии¹⁷. Однако за 1776 г. сохранился более подробный отчет, составленный чиновником Хорватского королевского совета Каспаром Хайналом, лично присутствовавшим на экзамене в Королевской академии. В отчете приводятся краткие характеристики знаний и способностей девяти стипендиатов, записанные Хайналом по представлению Барича (Док. № 3 Приложения).

Обращает на себя внимание, что ученики Барича были родом не только собственно из Загреба или соседнего Вараждина, но и из таких далеких краев, как Далмация и Македония. Характерно, что, как и повсюду, политико-правовые науки бок о бок изучали мелкие дворяне и разночинцы. Знаменательно наличие в рядах студентов одного конвертита, т. е. перешедшего в католичество (скорее всего, из православия), поскольку эта категория соискателей пользовалась преимуществом при зачислении в учебные заведения монархии¹⁸. Таким образом, королевская академия в Загребе оказывалась локальным «плавильным котлом», в котором постепенно теряли свою силу географические и социальные границы.

Факт крайней бедности слушателей курса политико-камеральных наук заслуживает отдельного упоминания. С одной стороны, венский двор и венгерские власти были едины во мнении, что, в отличие от общеобразовательных учреждений, где бедность могла служить официальным обоснованием зачисления в стипендиаты, основой предоставления стипендии для изучения политико-камеральных наук должна быть только отличная успеваемость. «Нет особой необходимости принимать во внимание большую или меньшую степень нужды», — полагали чиновники венгерского Наместнического совета. И добавляли: «Ведь субсидии для тех, кто императорско-королевской резолюцией зачислен в слушатели оногo курса, назначаются без учета материального благосостояния, но полагаются всем, отлично зарекомендовавшим себя в учебе, а посему вперед других заслужившим поощрение»¹⁹. С другой стороны, принимая во внимание, что большинство студентов едва сводили концы с концами, власти вынужденно корректировали меритократические нормы надления стипендией исключительно за успеваемость филантропической поддержкой нуждающихся студентов. Посему, несмотря на то что уровень подготовки слушателей в Загребе, судя по приводимому

ниже отчету, оставлял желать лучшего, Барич самоотверженно учил их наукам, которые позволили бы юношам в дальнейшем выбраться из крайней нищеты и рассчитывать на чиновничью должность.

Вскоре после этого экзамена Барич покинет Хорватию, отправится сначала во вновь созданную Королевскую академию в венгерском Дьере, а в 1777 г., когда университет из Трнавы переедет в древнюю столицу Венгрии, — переведется в Будапештский университет. В 1786 г., когда университет (вновь сменивший местопребывание) уже второй год находился в соседнем Пеште, Барич, как говорилось выше, занял пост ректора. Несомненно, знания, опыт, личные связи, накопленные им в годы странствий в качестве студента и профессора, помогли в течение 18 лет руководить главным университетом королевства.

ПРИЛОЖЕНИЯ¹

№ 1

Записка императрицы Марии Терезии относительно жалования вновь назначенных профессоров камеральных наук Адальберта Барича и Антона Вайсенгрубера, а также создания трех стипендий для изучающих камеральные науки в Хорватии

Ad Nro 103 ex Julio 1769

Ich habe den Adalbert Barits zum Lehrer der Polizei- und Cameral-Wissenschaften in Croatien mit einem jährlichen Gehalt von acht hundert Gulden und dem Genus des auch andere derlei Professoren auf Bücher verwilligten jährlichen adjuti benennet, anbei auch zugleich beschlossen, dass von denjenigen acht Stipendien von jährlichen zwei hundert Gulden, die Ich anderweit für die hungarische Lehrlinge dieser Wissenschaften hier verwilliget habe, drei nach Croatien übertragen, und hievon demjenigen, der sich unter dasigen Zuhörern am meisten hervortut, jährliche ein hundert, jenem aber, der in der Anwendung am nächsten kommet, achtzig und den sieben folgenden jeden jährlich sechzig Gulden ausgeworfen werden sollen. Außer dem will dem Anton Weißengruber den Ich zum Lehrer dieser Wissenschaften in Hungarn benennet, und der bereits das jährliche Stipendium mit 200 fl. genießet, zu solchen noch anderweite zwei hundert Gulden zulegen, so dass er indessen, bis er seine Lehre eroefnet, vier hundert Gulden zu genießen haben wird. Welch ein so anderes der Kammer zu ihrer Nachachtung ohnverhalten.

Maria Theresia

An Graf Schlik den 15ten Julii 1769

Финансовый архив Австрийского государственного архива. Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungs-, Finanz- und Hofkammerarchiv. Ungari-

¹ Текст документов публикуется в максимально приближенной к оригинальной орфографии форме.

shes Camerale. Fasc. r. Nr. 607. Subd. 2. Remunerations, Gnaden, Gaben, Abfertigungen und Almosen. № 103 ex Jul. 1769. Fol. 413r.

Перевод О. В. Хавановой

К № 103 от июля 1769 года

Я назначила Адальберта Барича профессором политико-камеральных наук в Хорватии с годовым жалованием в восемьсот гульденов и правом на ежегодную прибавку для приобретения книг, подобно прочим тамошним профессорам, вдобавок следует немедленно распорядиться, чтобы из тех восьми стипендий по двести гульденов каждая, которые я учредила в Вене для венгерских слушателей этой науки, три передали в Хорватию, и отныне тому, кто из обучающихся там достигнет наилучших результатов, платили сто гульденов в год, тому же, кто покажет следующий за ним результат, — восемьдесят гульденов и семи остальным должно выделить по шестьдесят гульденов в год. Помимо этого, Антону Вайсенгруберу, которого я назначила профессором сей науки в Венгрии и каковой уже получает стипендию размером 200 гульденов, прибавить еще двести гульденов, чтобы он тем временем, что ожидает вступления в должность, располагал бы четырьмястами гульденами. И о том, и о другом позаботиться Казенной палате.

Мария Терезия

Графу Шлику, 15 июля 1769 г.

№ 2

*Котия прошения на высочайшее имя Адальберта Барича
с просьбой о выделении материального вспомоществования
на период между окончанием учебы в Вене
и началом преподавательской деятельности в Вараждине*

Allerdurchlauchtigste etc

Euer Kaiserliche Königliche Apostolische Majestät haben aus Landes-Mütterlicher Obsorge für dero Königreich Hungarn und annectirte Provinzien bereits vor einigen Jahren mich, und einige andere mit einer jährlichen Pension per 200 fl. zu dem Ende zu begnädigen geruhet, damit wir uns zu Erlernung der Cameral-Wissenschaften anwenden, und uns hernachmahls diese Wissenschaften als Professores zu lehren fähig machen sollten. Da nun ich nach vorläufigen Examine zu einem der gleichen Lehr-Amte tauglich befunden worden, und mit den 1ten May dieses laufenden Jahrs diese Pension in Ansehung meiner aufgehöret, haben Euer Kaiserlichen Königlichen Apostolischen Majestät mich zu dero öffentlichen Lehrermelter Cameral-Wissenschaften in dero Königreich Croatien sub 17. Julii des nämlichen Jahrs allermildest zu resolviren geruhet, für welche allerhöchste Gnade ich jederzeit in der größten Dankbarkeit leben, und sterben werde.

Diese allerhöchste gegen mich geäußerte Gnaden-Bezeugung veranlasset mich Euer Kaiserlichen Königlichen Apostolischen Majestät folgende Umstände alleruntertänigst, und fußfällig vorzustellen, und zwar:

1-mo finde ich mich von allen Mitteln dergestalt entlasset, dass ich bloß von jener am 1-ten Maji a. c. aufgehörten Pension meinen eigenen, und zwar genauen Unterhalt herzohe mithin 2-do weder Gelegenheit während des Genuss dieser Pension hatte etwas auf die Seite zu legen, noch auch nach Aufhörng derselben mich um ein ebenes Verdienst bewerben konnte, indeme mir oblage mich zu dem anzutretenden Lehr-Amt vorzubereiten, und allbereits in dieser zwischen Zeit den Mangel zu empfinden anfinge.

3-tio bei dieser Umstände (da es mir nehlich an allen unumgänglichen Leibes Notdürften dergestalt ermangelt, dass ich nicht einmal die Reisekosten ausfindig machen kann, und derentwillen meine Reise anzutreten nicht im Stande bin) sehe ich mich zu Antretung meiner Professur gemussiget mich in ein gänzlich mir fremdes, und unbekanntes Land zu verfügen alwo [ich] gar keine Freunde, oder Bekannte habe, von denen ich bis zur Zeit der Erhebung meines Salarii hülfreiche Hand, oder Vorschuss gewärtigen könnte.

4-to: verursachen diese meine dürftigen Umstände auch mir Hindernuß² in dem allerhöchsten Dienst, indeme ich aus Abgang deren Mittel, die zur vollkommenen Ausübung meines Lehramts unumgänglich erforderlichen Bücher nur nicht anzukaufen vermag, welche über dieses in Croatien nicht zu bekommen seiend, sondern allhier in Wien angeschafft werden müssen.

Da ich also diese Puncten Euer Majestät zu allergnädigster Beherzigung zu Füßen lege, so unterfange mich in alleruntertänigster Zuversicht auf dero Landesmütterliche Milde allerthemüthigst³ zu bitten: Allerhöchst dieselben geruhen in Erwägung obgemeldter Motiven mir das gnädigstzugesandte Salarium Professoratus von Iten Maji oder aufs wenigste vom 17. Julji anni currentis als den Tag dero allergnädigsten Resolution anzurechnen, allergnädigst zu bewilligen und dieserwegen an die Behörde die allergnädigste Verordnung ergehen zu lassen um so mehr, da wegen darzwischen eingefallener Vaccanz Zeit, mir die Mora wegen nicht also gleich angetretenen Professorat keineswegs beizumessen ist, und nichts desto weniger das zu erhalten habende Salarium vor dem Tag der angetretenden Professur gerechnet werden will. Dieser allerhöchsten Gnade getraue mir um so gewisser zu vertrösten indeme auch dem in Hungarn anzustellenden Professori Scientiae Cameralis daß bis zu seiner würcklichen Exmission allergnädigst ausgeworfene interimal Salarium von 1-ma Maji anni currentis allermildest resolviret worden, und ich mit ihme in eadem causa zu sein mit untertänigsten Versprechen darf. In Erwartung dieser allerhöchsten Gnade in tiefer Unterwerfung ersterbe.

Euer Majestät

alleruntertänigster etc Adalbertus Barics

Финансовый архив Австрийского государственного архива. Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungs-, Finanz- und Hofkammerarchiv. Ungarischen Camerale. r. Nr. 607. Subd. 2, Remuneraciones, Gnaden, Gaben, Abfertigungen und Almosen. № 20 ex Nov. 1769. Fol. 529–530r.

² То есть: *Hindernis*.

³ То есть: *alldemüthigst*.

Перевод

Августейшая и пр.!

Ваше императорско-королевское апостолическое величество, выказывая материнскую монаршую заботу о Венгерском королевстве и присоединенных к нему частях, вот уже несколько лет как соблагволили облагодетельствовать меня в числе некоторых других годовым пенсионом в размере 200 флоринов, с тем чтобы мы могли постичь камеральные науки и впоследствии были в состоянии науки сии в качестве профессоров преподавать. Поелику я, выдержав экзамен, был признан пригодным к занятию одной из подобных должностей, что повлекло за собой прекращение с 1-го мая сего года выплаты мне пенсиона, ваше императорско-королевское апостолическое величество всемилостивейшее изволило назначить меня с 17 июля того же года на должность преподавателя означенных камеральных наук в королевстве Хорватия, за каковую высочайшую милость я отныне с величайшей благодарностью готов жить и умереть.

Каковой выказанный мне знак высочайшего благоволения вдохновляет меня верноподданнически и коленопреклоненно поведать вашему императорско-королевскому апостолическому величеству следующие обстоятельства:

Во-первых, таким образом я лишен каких бы то ни было средств, поскольку отмененный с 1 мая с. г. пенсion был моим единственным источником дохода, притом, во-вторых, пока мне выплачивался пенсion, у меня не было никакой возможности откладывать на черный день, теперь же, когда выплата прекратилась, я не могу посвятить себя поиску временного дохода, потому что считаю себя обязанным готовиться заступить на преподавательскую должность, и, следовательно, в этот промежуток времени наверняка буду испытывать нужду.

В-третьих, в подобных обстоятельствах (мне недостает буквально самого жизненно необходимого, так что даже не из чего покрыть дорожные расходы, и в настоящее время я не в состоянии отправиться в путь) мне представляется, что я вынужден отправиться в совершенно мне чужую и незнакомую страну, где у меня нет не то что друзей, даже знакомых, у которых я до дня получения первого жалования мог бы рассчитывать на руку помощи или аванс.

В-четвертых, эти мои стесненные обстоятельства создают препятствие моей государевой службе, поскольку, истратив последнее, я не могу для лучшего исполнения учительских обязанностей купить крайне необходимые книги, которых в Хорватии не найти, поэтому придется приобретать их здесь, в Вене.

Посему я слагаю к стопам вашего величества эти пункты для всемилостивейшего рассмотрения и с самой верноподданной надеждой на материнскую монаршую милость смиреннейше прошу, да соблагволит ваше величество, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, милостивейше исчислить мне великодушно назначенное жалование профессора с 1 мая или по крайней мере с 17 июля сего года, дня милостивейшей резолюции, и издать для [казенного] ведомства всемилостивейшее распоряжение, тем более что из-за приходящейся на это время вакансии мне никакой отсрочки из-за более

позднего вступления в профессорскую должность никоим образом не предусмотрено и никакого жалования до дня назначения на профессорскую должность исчислено не будет. Я осмеливаюсь тем вернее чаять сию высочайшую милость, что назначенному в Венгрию профессору камеральных наук с 1 мая anni currentis⁴ и до фактического вступления в должность официально исчислено временное жалование, и я смею с ним in eadem causa⁵ находиться. В ожидании этой высочайшей милости и глубочайшей покорности пока жив

Вашего величества

всепокорнейший и пр. Адальберт Барич

№ 3

*Отчет об успеваемости слушателей курса
политико-камеральных наук в Загребской королевской академии наук,
составленный по представлению профессора Адальберта Барича
чиновником Хорватского королевского наместнического совета
Каспаром Хайналом*

Excelsum Consilium Regium!

Ad praescriptum Benigni Suae Majestatis Sacratissimae de dato 17mae Julii, anni 1769ni emanati mandati dignabatur Sua Excellentia Banalis et Regii istius Consilii Praeses gratiose disponere, quod terminatis studii politico-cameralis annis praelectionibus consveto ad testanda habilitatis, et applicationis specimina, promerendaque de singulari clementia regia elargita stipendia politico-cameralis studii auditorum examini intersim, et tam de comperto profectu, quam etiam eo, quibusnam praememorata stipendia conferenda existimarem demissam meam Excelso Consilio faciam relationem.

In cujus proinde mihi delatae provinciae consequentiam die examinis pro 24 currentis praefixo, nomina et qualitates studii politici auditorum sine illa, quam justo exacti coram me periculi calculo mereri censebam, Excelso Consilio humillime refero, ac una requisitum etiam professoris testimonium advolvo.

Thomas Kemeňovich Nobilis Croata ex Comitatu Crisiensi, licet quidem praeter nativam et latinam nullius linguae gnarus, in scientia tamen hac politica adeo eximium edidit specimen, ut omnibus reliquis merito praeferri mereatur.

Ioannes Czvitkovich Dalmata Corbaviensis ex regione Licano, praeter nativam, et Latinam aequae nullam linguam callet, a probis moribus, multum commendatus bonum studii hujus politici fructum hausisse secundus comprobavit.

Mathias Csavrak ex Comitatu Zagradiensi a moribus compositis, et diligenti praelectionum frequentatione admodum laudatus sat commode profecit.

Franciscus Riszto ex Macedonia Urbe Thessalonica oriundus, ad praesens incola Regni Croatiae convertita philosophus secundi anni ad propositos sibi quaestiones multum apposite respondit.

⁴ сего года (лат.).

⁵ в сходном положении (лат.).

His proxime accesserunt Antonius Inczinger, et Josephus Perczaich, quorum primus civis Zagrabiensis, alter autem nobilis ex Comitatu Varasdinensi prior quidem lingua germanica, posterior vero praeter latinam, et nativam, nullius gnarus ea diligentiae dederunt argumenta, ut non sine fructu studium hocce frequentasse dici possint.

Porro Joannes Salecz ex Comitatu Zagrabiensi, calens germanicam, Joannes Hadrovich nobilis, ex Comitatu Crisiensi, et Antonium Mihály civis Poseganus a diligenti quidem praelectionum frequentatione laudati, minus tamen reliquis perceperunt, nihilominus tamen tam hos, quam et reliquos adeo tenuium facultatum deprehendi, qui nec aliunde, quam ex conditionibus victitant, adeoque pro obtinendis ex clementissima resolutione regia praemiis merito commendari posse videantur.

Casparus Hajnal manu propria

Infrascriptus praesentibus testor: scientiarum politico-camerarium isthic nominates auditores meos, per decursum anni scholastici proxime evoluti, publicas Earundem⁶ scientiarum praelectiones meas ea cum applicatione, et conatu excepisse, ut ad primam classem

Thomas Kemenovich,

Mathias Csavrak

Joannes Czvitkovich

Josephus Perczaich,

ad secundam vero

Franciscus Riszto

Antonius Inczinger

Joannes Salecz

Joannes Hadrovich, et

Antonius Mihaly

referri omnino mereantur. In cujus rei fidem praesentes litteras, testimoniales dedi Zagrabiae die 25. mensis Augusti anno 1776.

Adalbertus Barits professor publicus.

Венгерский национальный архив. Magyar Országos Levéltár. Magyar Kancelláriai Levéltár. Magyar Királyi Kancellária regisztratúrája. A 39. Acta generalia. № 4788/1776.

Перевод

Высокий королевский совет!

Во исполнение милостивой резолюции ее священнойшего величества от 17 июля 1769 года его превосходительство хорватский бан и председатель королевского совета Хорватии великодушно повелел, чтобы по окончании годовичного курса политико-камеральных наук я присутствовал на традиционном экзамене слушателей сего предмета для проверки образцов способ-

⁶ То есть: *Earundem*.

ностей и прилежания и определения достойных получения стипендий, выделяемых по беспримерной королевской милости, и предоставил Высокому совету свой смиренный отчет как о достоверной успеваемости, так и о том, кого я считаю возможным поощрить вышеназванными стипендиями.

По получении сего распоряжения во вверенной мне провинции день экзамена был назначен на 24 число текущего месяца, и я покорно довожу до сведения Высокого Совета имена и качества слушателей политических наук, не считая себя в праве влиять на оценки, выставленные в ведомости, и прилагаю соответствующий отчет преподавателя.

Томас Кеменович, хорватский дворянин из комитата Кёрёш, помимо родного языка и латыни ни на каком ином языке не говорит, но в изучении политических наук сделал столь заметные успехи, что заслуженно может быть поставлен вперед остальных на первое место.

Иоанн Цвиткович, далматинец из Крбавы, что в области Лика, как и Кеменович, не владеет никакими другими языками, кроме родного и латинского, за добрый нрав свой снискал немало похвал, усвоил изучаемый предмет так, что по праву занял в списке второе место.

Матиас Чаврак из комитата Загреб характеризуется цельностью натуры, прилежно посещал занятия, в результате чего добился немалых успехов.

Франциск Ристо из македонского города Фессалоники, в настоящее время проживает в королевстве Хорватия, конвертит, [слушатель-]философ второго года обучения, на заданные вопросы отвечал весьма обстоятельно.

За ним следуют Антон Инцингер и Йозеф Перцайх, первый — горожанин из Загреба, второй — дворянин из комитата Вараждин; первый владеет немецким, второй помимо латинского и родного не знает никаких языков, но проявили такое усердие, что, можно сказать, не без пользы посещали занятия.

Наконец, Иоанн Салец из комитата Загреб, владеющий немецким, дворянин Иоанн Гадрович из комитата Кёрёш и Антои Михай — горожанин из Пожеги, которые с похвальным усердием посещали занятия, но меньше, чем другие, преуспели, но, несмотря на это, и они, и остальные настолько стеснены в средствах, что стипендия остается для них единственным средством к существованию, посему по справедливости их всех можно рекомендовать на присуждение вспомоществования, выплачиваемого в соответствии со всемиловитвейшей королевской резолюцией.

Каспар Хайнал (собственноручно).

Я, нижеподписавшийся, настоящим подтверждаю, что перечисленных ниже моих слушателей политико-камеральных наук по недавнем истечении учебного года я проэкзаменовал, и считаю справедливым отнести к первому стипендиальному классу:

Томаса Кеменовича,
Матиаса Чаврака,
Иоанна Цвитковича,
Йозефа Перцайха;

ко второму же:

Франциска Ристо,
Антон Инцингера,
Иоанна Салеца,
Иоанна Гадровича и
Антон Михая,

в чем даю настоящее официальное заключение, подписанное в Загребе 25 августа 1776 г.

Профессор Адальберт Барич.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ *Evans R. J. W.* Austria, Hungary and the Habsburgs. Central Europe c. 1683–1867. Oxford, 2006. P. 34–35.
- ² См., например: *Barić A. A.* Statistica Europae. Zagreb, 2002. Vol. I–II.
- ³ *Kiss J. M.* Magyarországi diákok a bécsi egyetemen, 1715–1789. Budapest, 2000. 62. old.
- ⁴ *Klingenstein G.* Akademikerüberschuß als soziales Problem im aufgeklärten Absolutismus, Bemerkungen über eine Rede Joseph von Sonnenfels' aus dem Jahre 1771 // Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit. Bd. 5. Bildung, Politik und Gesellschaft / Hrsg. von G. Klingenstein, H. Lutz, G. Stourzh. Wien, 1978. S. 165–204.
- ⁵ Magyar Országos Levéltár (далее — MOL). Helytartótanácsi Levéltár. A Magyar Királyi Helytartótanács regisztraturája. C 39. Acta fundationalia. Lad. C. Fasc. 19; Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungs-, Finanz- und Hofkammerarchiv. Ungarisches Camerale (далее — ФНКА. UC). Fasc. r. Nr. 606. Subd. 2. Remuneraciones, Gnaden, Gaben, Abfertigungen und Almosen. № 105 ex Aug. 1767. Fol. 257r.
- ⁶ ФНКА. UC. Fasc. r. Nr. 607. Subd. 2. № 128 ex Nov. 1768. Fol. 164r.
- ⁷ *Bayer V.* Političko-kameralni studij u Hrvatskoj u XVIII stoljeć (1769–1776) // Zbornik pravnog fakulteta. Zagreb, 1967. XVII. Br. 2.
- ⁸ *Хаванова О. В.* Заслуги отцов и таланты сыновей: венгерские дворяне в учебных заведениях монархии Габсбургов, 1746–1784. СПб., 2006. С. 191–198.
- ⁹ *Szentpétery I.* A bölcsészettudományi kar története, 1635–1935. Budapest, 1935. 42–43. old.
- ¹⁰ ФНКА. UC. Fasc. r. Nr. 608. Subd. 2. № 95 ex Sept. 1770. Fol. 99r.
- ¹¹ *Vrančić I.* Dr. Adalbert Barić i političko-kameralni studij u Varaždinu i Zagrebu 1769–1776 // *Barić A. A.* Statistica Europae. Vol. II. S. 345–358; *Pejić L. R.* Dr. Adalbert Barić, prvi profesor ekonomskih i kameralnih nauka kod jugoslaenskih naroda // *Ibid.* S. 359–371.
- ¹² *Sonnenfels J., von.* Über den Geschäftsstil. Die ersten Grundlinien für angehende österreichische Kanzleybeamten. Wien, 1784. См. также: *Bodi L.* Sprachregelung als Kulturgeschichte Sonnenfels: Über den Geschäftsstil (1784) und die Ausbildung der österreichischen Mentalität // Literatur, Politik, Identität — Literature, Politics, Cultural Identity. St. Ingbert, 2002. S. 339–361.

- 13 FHKA. UC. Fasc. r. Nr. 607. Subd. 2. № 20 ex Nov. 1769. Fol. 525r.
- 14 *Vrančić I.* Dr. Adalbert Barić... P. 354.
- 15 MOL. Erdélyi Kancelláriai Levéltár. Erdélyi Kancellária regisztratúrája. B 2. Acta generalia B 2. 655/1775.
- 16 Ibid. Magyar Kancelláriai Levéltár. Magyar Királyi Kancellária regisztratúrája. A 39. Acta generalia. 212/1774.
- 17 Ср.: Ibid. 5070/1774; 4671/1775.
- 18 *Хаванова О. В.* Заслуги отцов и таланты сыновей... С. 203–207.
- 19 MOL. A 39. 690/1775.

Ю. Р. Берковский
(Москва)

Фотохроника ТАСС в начале 1950-х гг.: Из воспоминаний художника

С Юлием Романовичем Берковским я познакомился полвека назад в двухэтажном старинном домике, совершенно незаметном рядом со знаменитым «Домом на набережной». Он с женой Еленой Николаевной (Лилей) занимал в этом двухэтажном старинном особняке небольшую комнату. Меня привела туда супруга, которая вместе с Лилей работала на ул. Разина (Варварке) в Библиотеке иностранной литературы. Юлий Романович часто бывал в библиотеке, где работала его жена, и его там знали очень многие.

О себе Ю. Р. Берковский говорил мало, мы знали только, что он прошел войну, окончил институт, стал художником и работал в Фотохронике ТАСС.

Некоторые подробности содержит краткая автобиография Юлия Романовича, написанная по моей просьбе в связи с подготовкой настоящей публикации. Из нее следует, что прапрадедами Ю. Р. Берковского по отцовской линии (это нужно иметь в виду для понимания некоторых нюансов данной публикации!) были польский шляхтич Богдан Берковский, повешенный в 1831 г. за активное участие в польском восстании, художник Александр Сергеевич Ястребилов и крепостной князя Багратиона Андрей Моисеевич Ягодин. По материнской линии его предками являлись французы и немцы.

Юлий Романович родился в Москве 29 июля 1922 г. в семье архитектора и художника Романа Александровича и учительницы немецкого языка Софьи Антоновны Берковских. В 1940 г., сразу после окончания средней школы, юноша был призван на военную службу и попал на Балтийский флот. Он служил в морской пехоте, всю войну прошел рядовым, был ранен, сражался на Ленинградском и других фронтах, закончил службу на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись в ноябре 1946 г., выбрал, после некоторых колебаний и раздумий, профессию художника и получил высшее художественное образование в Московском полиграфическом институте.

С 1950 г. в течение тридцати семи лет Юлий Романович трудился в Фотохронике ТАСС. Эта работа отнимала много сил и времени, но художник умел совмещать ее с активной творческой деятельностью. Ю. Р. Берковский участвовал более чем в 50 художест-

венных выставках, в 1969 г. в Москве и в 1987 г. в Казани состоялись персональные выставки его работ, в 1975 г. он был принят в Союз художников. Гравюры Юлия Романовича имеются в Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, других музеях страны. Его работы посвящены, главным образом, исторической тематике, портрету и пейзажу.

Человек большого мужества, Юлий Романович Берковский сумел сохранить себя как творческую личность, когда на него надвинулась тяжкая болезнь, сделавшая художника незрячим. Он выучился печатать на машинке вслепую и, как пишет в автобиографии, «стал писать о своей жизни, об искусстве и вообще о передуманном». Уже вышли из печати отрывки из воспоминаний Ю. Р. Берковского о пережитом на войне, статья о европейской гравюре, книга о древнейшей системе символов...

Ныне вниманию читателей предлагается отрывок из воспоминаний Юлия Романовича Берковского о его работе в Фотохронике ТАСС.

А. Н. Горяинов (Москва)

Работа художником-археологом у Бориса Александровича Рыбакова давала мне крайне скудный заработок. Мы с женой настолько обнищали, что иногда просто нечего было есть. Кроме того, в Полиграфическом заочном институте, в котором я учился, все настойчивее требовали работы по специальности, что предусматривалось условиями заочного обучения на старших курсах. Все это заставило меня искать подходящую работу. В то время у моей матери в классе учился мальчик, сын работавшей в Фотохронике ТАСС Веры Владимировны Седовой. Узнав о моих поисках работы, мать поговорила с ней обо мне. Седова рекомендовала меня начальству Фотохроники, и я был принят штатным художником.

Произошло это так. Как раз в то время руководство Фотохроники хотело как-то ограничить монопольное положение работавшего единственным художником В. К. Данилова, приобретшего, благодаря своей незаменимости, некоторую независимость, позволявшую ему диктовать условия оплаты своего труда, выбирать работу по вкусу и не делать ту, которая его мало устраивала. Начальству нужен был второй художник для создания некоторой конкуренции в оплачиваемой сдельно работе. Я, конечно, всей этой подоплеки не знал.

В середине ноября 1950 г. мать сообщила мне о своем разговоре с Седовой и дала ее телефон. Я договорился, что приду со своими работами для разговора с начальством, и в назначенный день был представлен начальнику Фотохроники Н. В. Кузовкину.

К Кузовкину меня повел непосредственный начальник Седовой Александр Николаевич Пастухов. Предварительно он с важным видом посмотрел мои работы и расспросил меня, кто я и что я. Мы пришли в кабинет начальника, довольно обширную комнату с огромным письменным столом стиля модерн и с грандиозным письменным прибором того же стиля. Весь стол был завален фотоснимками, бумагами и папками. За столом сидел сухой, не очень большого роста человек с серьезным, волевым, немного хмурым лицом. Это и был начальник Фотохроники Николай Васильевич Кузовкин. Он вышел из-за стола, поздоровался со мной за руку (обычай всех партийных деятелей номенклатурного ранга) и стал смотреть работы. Посмотрев, сказал: «Ну что ж, Вы нам подходите». Очевидно, с ним уже говорили, и общие сведения обо мне были известны.

Оформлял мое поступление уполномоченный по кадрам Иван Алексеевич Красильников. Предложив сесть, он выдержал паузу, во время которой пристально меня рассматривал. Это был человек маленького роста, с круглой, исполненной многозначительности физиономией, по которой иногда пробегала хитроватая полуулыбка. Мне опять пришлось отвечать на разные вопросы, потом я заполнил анкету и написал заявление.

Далее в курс дела меня вводил заведующий производством Михаил Семенович Дубнов. Держался он очень скромно, но в его тоне чувствовались сила и власть. Дубнов сказал, что работать я буду в одной комнате с другим художником, но не должен себя чувствовать зависимым от него, и со всеми вопросами и возникающими проблемами мне следует обращаться к нему, Дубнову. Дубнов очень недвусмысленно намекнул, что, по всей вероятности, я буду принят враждебно, как нежелательный конкурент. Поэтому, если будет трудно, он найдет мне отдельное место для работы. В общем я понял, что мне предстоит быть орудием давления на прежнего художника, а возможно, на меня рассчитывали, как на «своего» человека при начальстве. Все это меня беспокоило и насторожило. Кроме того, я понял, что о работе, которую мне предстоит делать, я не имею ни малейшего представления. Я сказал об этом Дубнову, но он ободрил меня, уверил, что я быстро научусь, что сложного в этой работе ничего нет, ретушь почти не потребуется. Главное же, нужно освоить «правительственный фотомонтаж». Что это за штука такая, я тогда не имел ни малейшего представления. Вскоре я убедился, что Дубнов не разбирался в том, что в нашей работе просто, а что сложно. Он был только опытный начальник того времени и умел лишь организовывать людей, требовать и выжимать из них максимальный труд при минимальной оплате.

Когда наш разговор окончился, Дубнов отвел меня в помещение, где предстояло работать, и представил моему напарнику, художнику Вла-

димиру Константиновичу Данилову. Дубнов сказал, что я буду работать вторым художником, и попросил Данилова ввести меня в курс дела.

Когда Дубнов ушел, я огляделся. В комнате стояло три стола. За одним сидел Данилов, за другим предстояло работать мне. У двери стоял маленький письменный стол, за которым сидел некто Вескер.

Встречен я был довольно неприветливо. Данилов что-то спросил меня, указал мое место и стал продолжать прерванный разговор с Вескером, не обращая на меня ни малейшего внимания. Посидев немного, я ушел. На работу мне требовалось выходить со следующего дня.

Не могу сказать, что меня порадовала перспектива дальнейшего, но делать было нечего. Необходимо было где-то работать, а лучшего места мне никто не предлагал.

Когда я пришел на следующий день, Вескер стал о чем-то меня спрашивать, и какой-то разговор вскоре возник. Однако Данилов меня по-прежнему почти не замечал. Сказал он только, что здесь привыкли к свежему воздуху, и в комнате всегда открыта форточка. Из этого, очевидно, следовало, что если меня сквозняк не устраивает, то я могу искать себе другое место (форточка находилась надо мной, и дуло из нее прежде всего на меня). К счастью, я тогда совершенно не мерз, и все это меня абсолютно не волновало. В дальнейшем какое-то общение у нас волей-неволей все же возникло. Данилов уверял, что работа наша очень сложна и без предварительной учебы и практики мне работать будет невозможно. Собственно говоря, так оно и было, но я, глядя на то, как и что делает Данилов, все же понял, что смогу освоить эту премудрость.

Я понял также, что учиться мне придется только у Данилова, а для этого нужно превозмочь его неприязнь и как-то приспособиться. Прежде всего, нужно было, чтобы Данилов понял: я не собираюсь под него подкапываться и ни в коем случае не собираюсь якшаться с начальством. Я понимал, однако, что напарник не будет со мной делиться секретами своего ремесла, по крайней мере вначале, и решил учиться у Данилова, наблюдая, как он работает и рассматривая его уже законченную работу, когда представлялась такая возможность. Так шло время, а с ним таял лед недоверия Данилова, я же приобретал все больше навыков в новой для себя работе.

Мне помогало освоить дело то, что я все-таки был студентом четвертого курса Полиграфического института и мне были уже знакомы принципы оформления книги и выклеивания текстов. Кроме того, у меня были хорошие руки и довольно точный глазомер. Мне нравилось работать руками, как я говорил тогда, резать и клеить фотографии.

Как раз в то время, когда я поступал на работу, в Фотохронике были организованы курсы повышения квалификации по фотографии. Там тогда собралось довольно много молодых или пришедших из других, не

фотографических учреждений редакторов, вот начальство и решило познакомиться их с процессами фотографии. Я с интересом стал заниматься на курсах. Это способствовало моей специализации в новой области. Так или иначе, к весне я более или менее освоил фотомонтаж и мало-мальски ретушь.

Так я постепенно входил в работу, преодолевая неприязнь и саботаж, иного слова я не могу подобрать, Данилова и некоторых других людей, восстановленных им против меня.

Я был зачислен штатным художником Фотохроники с «полностью отработываемым фиксом в размере 700 рублей». Когда я спросил, кажется, Вeskера, что означает слово «фикс», то он сказал: «А вот что», и сложил комбинацию из трех пальцев. Действительно, термин «отработываемый фикс» (фиксированный заработок) только прикрывал мое штатное положение, без этого я считался бы не имеющим постоянного места службы, т. е. тунеядцем. Но, давая мне общественное положение работающего, Фотохроника не брала на себя обязательств в оплате простоев. Оплачивалась только выполненная мною работа, коль таковая была. А если работы не хватало, то я ничего и не зарабатывал. Так оно вскоре и получилось.

На первый месяц Дубнов обеспечил меня работой, а потом пустил все на самотек. Данилов же забирал всю работу, пользуясь и своим авторитетом, и своими связями. Поэтому если я в первый месяц заработал 1200 руб., что было вполне приличным, то потом мой заработок колебался от 300 до 500 руб. Но я решил перетерпеть, аккуратно приходил на работу и сидел без дела, наблюдая, как работает Данилов, вникая в фотохрониковские дела и как-то вообще осваиваясь.

Положение у меня тогда было сложное. Работы не было. Главная причина состояла в том, что Данилов, по возможности, всех «работодателей», в том числе, очевидно, и Дубнова, убедил в моей непрофессиональности (по сути, это было правдой). Кроме того, он, по возможности, чернил меня в глазах работников. В ход шла и моя якобы еврейская фамилия: антисемитам Данилов говорил, что я еврей, а евреям — будто бы скрываю свое еврейство, что у них, естественно, вызывало антипатию.

В результате меня не принимали и бойкотировали редактор иностранной информации Петр Семенович Клячко, мастер цеха Нефедова, репродукционеры. Уполномоченная отдела выпуска продукции Дора Григорьевна Каждан всем доверительно шептала: «Я совершенно точно знаю, что он еврей». Но было и много людей, несмотря на все это принявших меня. Это В. В. Седова и другие работники отдела выпуска, заведующий московской редакцией Яков Маркович Нюренберг, редактор фототекста Геляровская, редактор союзной редакции Турова и многие другие. Меня старались ободрить, но, что имело, наверное, решающее

значение, ко мне благоволил сам начальник Фотохроники Кузовкин. При встречах он каждый раз расспрашивал, как идут мои дела. Узнав как-то, что сижу без работы, обещал поговорить с Дубновым. Тот вызвал, и, расспросив о трудностях, сказал, что позаботится, чтобы у меня была работа. Дубнов опять предложил отсадить меня от Данилова, но я отказался, убедив его, что в этом нет необходимости. Вскоре Дубнов распорядился, чтобы я окантовывал, т. е. обводил краской все пробельные места на негативах для контактной печати. Это раньше делал Данилов, но он всячески отлынивал от такой работы, а мне ее не отдавал.

На первых порах я оскандалился: моя краска не держалась на эмульсии и легко соскабливалась при неосторожном прикосновении. А дело было в том, что Данилов сказал мне неправильный рецепт краски. Он «навел тень на ясный день», рассказывая, что нужно гуашь разводить яичным желтком, что пропорция достигается опытным путем и что-то еще в том же невразумительном роде. Я последовал этим наставлениям, и у меня ничего не получилось. У самого Данилова была какая-то краска в чашечке, но что это за краска, я не знал. Как-то раз, когда мы были одни с Векером и разговорились о моих неудачах, он мне сказал: «Да он Вам лапшу на уши вешает, а пользуется он черной краской для ретуши. Краску эту Данилов выписывает на нашем складе». И добавил, что мне следует пойти на склад и выписать себе эту краску. Я так и сделал, и все наладилось. Вскоре мне дали делать подборку к 250-летию Большого театра. Редактором назначили Седову, автором же был заведующий музеем Большого театра. Эта работа тянулась очень долго, если не ошибаюсь, месяца три. Поскольку ни Седова, ни тем более я с такой работой были незнакомы, а автор стремился втиснуть как можно больше материала на каждый лист, то все время уходило на безрезультатные переговоры и перекладывание материала с места на место. И нужно сказать, что с этой работой мы не справились. Фотомонтажи, которые мы с Седовой в конце концов слепили, были перегружены текстами и снимками и не могли быть воспроизведены в размере нашего стандарта 18×24 см. Однако работа была оплачена, а сами фотомонтажи куплены музеем.

Настало время рассказать о Фотохронике и о том, что там и вообще в ТАСС делалось. Телеграфное Агентство Советского Союза имело структуру и положение министерства. Центральному агентству подчинялись аналогичные агентства в республиках и сеть корреспондентских пунктов по всему Союзу. Агентство, по образцу министерств, делилось на управления, одним из которых и была Фотохроника. По структуре Фотохроника являлась как бы маленьким ТАССом фотоинформации. В ней существовали союзная, московская, иностранная редакции, цех фотопечати и отдел выпуска продукции, который официально назывался просто «Выпуск». Наш Издательский отдел как бы был и как бы не был, потому что

все его сотрудники являлись штатными, не было и заведующего. Отдел находился в подчинении, с одной стороны, завпроизводством Дубнова, а с другой — в непосредственном ведении начальника Фотохроники Кузовкина. Хотя нас как бы и не было, мы давали основной доход не только Фотохронике, но и, в большой степени, всему ТАССу. При этом главным в нашей с Даниловым работе было выполнение ответственных и даже секретных работ по «правительственным фотомонтажам». Таких работ тоже как бы и не должно было быть, но немногие посвященные знали о том, что фотографии, когда это требовалось, исправлялись и изменялись. Они, однако, делали вид, что этого как бы и нет, потому что не может и не должно быть, ведь фотография объективна и реально передает действительность. Мы называли такое изменение фотоснимков «соцреализмом в фотографии». Этот вид работы включал в себя прежде всего фотомонтаж правительственных фотосъемок. Фотография, как правило, целиком монтировалась, при этом убирались ненужные люди, если человек моргнул, ему открывали глаза, из большого числа кадров отбирались официальные позы, делалось так, чтобы нужные участники события были видны и не заслонялись друг другом, и т. д. и т. п. При этом требовалось, чтобы склейки и вмешательства ретушью были при репродуцировании не видны. И если аналогичная работа в газете могла быть довольно грубой, так как растровая печать делала незаметными все погрешности, то нам необходимо было делать все особенно искусство, чтобы получать якобы честные фотографии.

Кроме фотомонтажей такого рода были работы и попроще, так называемые подретушны. Подретушны большей частью представляли собой вмешательства идеологического характера. Например, при обычной уличной съемке через портрет Сталина, висящий на каком-то доме, на негативе проходила царапина, которую можно было расценить как «зачеркивание» портрета. Для устранения этого «страшного» дефекта нужно было делать подретушный, т. е. отпечатывать фотографию, на ней убирать крамольную царапину, а затем с этого, уже отретушированного и исправленного фото делать фоторепродукцию, т. е. попросту пересъемку, и с полученного негатива уже печатать тираж. Были, конечно, и более сложные работы: убрать ненужного человека или тень от нужного человека, вынуть палец из носа, если кто ковырял пальцем в носу, надеть пиджак, галстук, застегнуть пуговицу, прицепить недостающий орден и т. д. и т. п. Доходило дело до курьезов. Так, заведующий союзной редакцией, хотя сам и был порядочным бабником, очень следил за общественной нравственностью, и поэтому каждый раз, когда ему казалось, что у какой-либо спортсменки грудь неприлично велика, заставлял ее уменьшать.

Непревзойденным мастером вмешательств такого рода был Данилов. Насколько мне известно, он являлся единственным специалистом

по «правительственному фотомонтажу», прочим исправлениям и даже по фальсификации фотографий. Я в каком-то смысле горжусь тем, что прошел у него эту науку и был потом тоже неплохим мастером этого ремесла (кстати, мне такое умение очень пригодилось в дальнейшем при реставрации графики).

Данилову принадлежат такие известные в свое время работы, как «Ленин в детстве» (опирающийся на стопку книг) или знаменитая и важная фотография «Ленин и Сталин в Горках» (важная потому, что это была единственная фотография, на которой оба вождя запечатлены вместе). Первая фотография — с маленьким Лениным — сделана из снимка, на котором Володя Ульянов был сфотографирован вместе с сестрой Марией Ильиничной. Сестра сидела в кресле, а Володя стоял рядом, положив руку на ее плечо. Мария Ильинична (ее Сталин недолюбливал) была заменена стопкой книг. Был и другой вариант этого фото — без книг, просто стоящего Володи Ульянова.

На втором снимке, сработанном из групповой фотографии, сняты сидящие рядом Ленин и Сталин. В Горки к Ленину приехала группа «товарищей». На подлинном снимке в центре сидел Ленин, а вокруг него сидели и стояли разные люди, рядом с ним был, кажется, Троцкий. Сталин же сидел на парапете с края группы справа. Из этой фотографии все были выброшены, а Сталин посажен рядом с Лениным. Получился «исторический фотодокумент» о тесном общении двух великих вождей. Данилов показывал мне фрагменты этих двух фотофальсификаций и рассказывал, как он их мастерил.

Расцвет таких работ приходился, конечно, на сталинское время, но и после иногда приходилось кое-что делать. Мне вспоминаются две такие работы. Уж очень они курьезны.

Первая была сделана по личной просьбе Хрущева во время визита в СССР главы Югославии Тито. При Сталине Тито называли «кровоавой собакой империализма», он изображался на карикатурах бульдогом с костью в зубах. После смерти «отца человечества» все изменилось, и Тито, как лучший друг, был приглашен в Союз. Когда были закончены соответствующие переговоры, банкеты, подписания и прочее, Хрущев пригласил Тито поохотиться. После удачной охоты (а могла ли она быть неудачной?!) они сфотографировались, каждый со своим трофеем, поставив ноги на убитых лосей. При этом Хрущеву попался однорогий лось. И вот, смеха ради, Никита Сергеевич позвонил нашему начальству с просьбой «переменить» животных, чтобы у Хрущева был лось с двумя рогами, а у Тито однорогий. «Я знаю, вы такое умеете делать», — сказал он. Мы, действительно, «такое» умели делать. Нас с Даниловым вечером вызвали в Фотохронику, и за ночь мы сделали все требуемое. Утром Хрущев подарил Тито комплект фотографий о его пребывании в Союзе,

и там были эти исправленные фото. Думаю, что Тито и Хрущев много смеялись над этой фотошуткой.

Второй запомнившийся мне случай был при Брежневев. Я уже работал один, Данилов к тому времени умер. Тогда выдвинулся К. У. Черненко, он то ли был введен в состав Политбюро, то ли получил какое-то иное повышение. Наше начальство решило с целью подхалимажа подарить Черненко фото, на котором он был бы снят вдвоем с Брежневым, но такой фотографии не существовало. Помню, было уже довольно поздно, когда за мной вдруг прислали машину. Шофер сказал, что меня срочно вызывает главный редактор Фотохроники, тогда им был Лев Михайлович Портер. Приезжаю. Портер меня спрашивает, могу ли я сделать фото Брежнева вместе с Черненко. Я ответил, что могу, конечно. К утру все было готово, и Черненко получил фотографию, свидетельствующую о близости его с «первым лицом» СССР.

Правительственные фотомонтажи, в зависимости от вида съемок, были разных типов. Пожалуй, самым простым являлся монтаж трибуны заседания в Кремлевском дворце. Нужно было выбрать и соединить три кадра: центр, правая и левая стороны трибуны. Съемка производилась с верхней точки, поэтому видны были стоящий у входа офицер охраны и стол, за которым сидел секретарь Сталина Поскребышев. И Поскребышев со своим столом, и охрана должны были быть убраны. Вот и все, что требовалось от нас в этом случае.

Простым был и монтаж фотоснимков, сделанных во время подписания каких-либо соглашений. В этом случае нужно было особое внимание обращать на стоящих у стола, чтобы они не попали дважды в кадр, так как панорама собиралась из двух или больше кусков, и люди могли во время съемки перейти с одного места на другое и быть засняты дважды. Если это имело место, следовало «двойника» убрать.

Момент рукопожатия при вручении верительных грамот требовал, чтобы там отсутствовал переводчик. Поэтому переводчика убирали. Это была довольно сложная операция.

Переговоры снимались с торца стола, но с этой точки участники за-слоняли друг друга, оставляя порой для зрителя один только нос той или иной персоны. Поэтому делалась съемка с двух точек — с правого и левого угла стола, так, чтобы были видны все сидящие. Мы же монтировали правую и левую стороны. При этом возникали трудности со стыковкой кадров. Особенно сложно было со столом, на котором стояли бутылки с минеральной водой и стаканы, лежали документы. Все эти предметы сняты были с двух точек, приходилось что-то убирать, что-то заклеивать.

Самой трудной и ответственной работой такого рода был монтаж трибуны на Мавзолее. С этим делом по сложности мог сравниться только монтаж трибуны в Тушино на праздновании Дня авиации, хотя даже

он был все-таки проще ввиду меньшего количества персон на трибуне. Были и другие, аналогичные по своему выполнению, но менее сложные монтажи трибун, например трибуны торжественных заседаний в Большом театре.

Трибуна на Мавзолее делалась два раза в году, 7 ноября и 1 мая. Съемку делал обычно наш правительственный корреспондент Владимир Иванович Савостьянов. Другим правительственным корреспондентом, в случае необходимости подменявшим Савостьянова, был Василий Васильевич Егоров. Оба они были высокими, что иногда очень помогало при необходимости фотографировать через головы других репортеров. Однако при съемке трибуны Мавзолея рост не имел значения, поскольку каждый корреспондент снимал в точно определенном месте или в двух местах. Свободно разгуливать и выискивать себе более выгодную точку съемки не полагалось. Нужно было заранее обговорить место с начальником правительственной охраны генерал-лейтенантом Власиком.

Обычно Савостьянов предварительно снимал Мавзолей на широкую пленку и приносил нам. Это называлось фотографировать фон. Данилов выбирал нужный негатив фона, и с него, большей частью заранее, печатались три фотографии размером 50×60 см. На этом приготовления и заканчивались. В день самого события Савостьянов фотографировал телевиком на узкую пленку всех стоящих на трибуне так, чтобы в кадре помещалось от четырех до пяти человек. Вся трибуна, таким образом, охватывалась семью–восемью кадрами. Так снимались пленки четыре. После этого Савостьянов возвращался в Фотохронику и проявлял отснятые пленки. Позднее это делали проявщики, а в 1950-е гг. каждый фотокорреспондент проявлял пленки сам в персональной кабине, в подвале нашего помещения на Никольской улице (тогда улица 25-го Октября). Мы в это время с нетерпением ждали негативов.

Но вот пленки на столе у Данилова. Данилов в шести- и десятикратную лупу выбирает нужные негативы. Это крайне ответственный момент. Каждый персонаж отбирается отдельно в результате просмотра всех имеющихся 150 негативов. Конечно, Данилов стремился к тому, чтобы в каждом кадре было несколько пригодных фигур, но часто приходилось брать кадр и из-за кого-нибудь одного. Особенно много хлопот доставлял Берия. Он умел как-то так нахлобучить шляпу на свою круглую, как блин, физиономию, что получался чудовищный вид. При этом его очки почему-то всегда очень бликовали.

Особенно тщательно подходили к Сталину, к «Отцу», как было принято говорить в ТАССе. Помню, как один раз в цехе фотопечати Савостьянов кричал печатнице: «Отца-то потяни, побольше потяни-то». Тогда меня это выражение поразило своей домашностью обращения. Вообще, нужно сказать, в то время произносить слово «Сталин» было

как-то не принято, из суеверия какого-то. Кто говорил «Усатый», кто «Джузеппе», кто «Друг народов», и только в официальных выступлениях говорили «товарищ Сталин». Но я отвлекся.

Отобрав первые негативы, Данилов отдавал их мне, и я бежал печатать, он же оставался досматривать негативы. Работать нужно было максимально быстро, ведь информация должна была быть оперативной, да и начальство все время стояло над тобой, спрашивая ежеминутно: «Когда?», «Сколько еще вам нужно времени?»

Так вот, я буквально бегу по двору в цех. В цеху мне дается лучший печатник, большей частью это была Фаина Константиновна Олимпиева. Для печати используется лучшая фотобумага, заранее специально припасенная мастером цеха. При печати у нас с Фаиной за спиной толчется Дубнов. Это вносит некоторую нервозность в работу печатницы, но зато любое ее требование тут же выполняется. Я смотрю, чтобы лица персон были напечатаны мягко, с проработкой всех деталей. Фаина колдует под увеличителем руками, прикрывая одно, давая больше света на другое. Потом колдовство продолжается при проявке то в свежем, то в разбавленном проявителе, то под струей чистой воды. Приходит Данилов с добавочными негативами. Он придирчиво смотрит купающиеся в фиксаже снимки. Но вот они готовы, и Фаина выбрасывает снимки в лоток, ведущий в отделение промывки и наката с криком «Молния, на горячую!». Мы с Даниловым, толкаясь и путаясь в занавеси двери, выбегаем на свет, в мойку, и смотрим, как накатчицы промывают и накатывают фотографии на блестящие пластины печек для наката фотоснимков. Забирая готовые фото, мы торопимся к себе. У нас уже готовы два экземпляра (на всякий случай) фона. На этот фон теперь нужно наклеить всех стоящих на трибуне, а потом сверху наклеить отрезанный нами раньше низ трибуны, прикрыв все «хвосты» стоящих на Мавзолее фигур, которые печатались крупнее, чем в действительности. Осуществлялось это так. Все персоны вырезались из напечатанных фото по контуру и наклеивались на фон. Чтобы склейки были не видны, предварительно с обратной стороны вырезанных изображений срезались по толщине края, которые в результате сходили на нет. Делалось это ножичком, заточенным как стамеска. По сторонам снимка фигуры наклеивались теснее, чем в натуре. За счет этого их размер можно было увеличить. Уплотнение было тем больше, чем меньшего ранга была персона. Так что по краям они буквально стояли как сельди в бочке, а приближаясь к центру, где стоял Сталин, располагались посвободнее. Сам же Сталин стоял один, и к нему никто не прикасался. Нужно заметить, что Сталин был маленького роста, но не полагалось, чтобы на трибуне был кто-либо выше него ростом. Поэтому все персоны опускались немного ниже. Когда все были наклеены, то сверху на «хвосты» всех, стоящих на трибу-

не, наклеивался низ Мавзолея, так что все персоны оказывались стоящими за парапетом трибуны. После обрезки лишних краев монтажа мы приступали к ретуши. Делали мы это одновременно с двух концов. Потом Данилов придирчиво проглядывал всю работу, кое-где подправлял кисточкой и бросался к Кузовкину. Я бежал за ним. Мы выслушивали замечания или нам давалось «добро». После этого наше изделие подписывалась Савостьяновым, это была очень важная процедура. Затем трибуна укладывалась в прессшпановый папку-конверт, на которой были наклеены два ярлыка — в верхнем левом углу ярлык с надписью «вручить немедленно», в правом нижнем — «Фотохроника ТАСС». Папка отдавалась курьеру, и тот на машине вез наше изделие в ТАСС, к генеральному директору Пальгунову, а после его одобрения — в Кремль, к самому Сталину.

Фотохроника замирала в ожидании звонка Поскребышева Пальгунову. Обычно по поводу нашей трибуны было распоряжение от Сталина «не давать центральным газетам, давать только местным». Все вздыхали с облегчением.

Перед отправкой трибуны с нее делалась репродукция, ведь с негативов должен был печататься тираж для местных газет. Центральным же газетам, как правило, давалась трибуна правдинского фотокорреспондента Кислова, любимца Сталина. Он был знаменит тем, что как-то раз прикуривал от трубки Сталина, это запечатлел на снимке один из коллег Кислова. После работы нас на машине развозили по домам. Возвращался я в таких случаях к себе на Берсеневскую набережную часа в четыре утра. За силуэтом Кремля сияло желто-голубое небо рассвета.

Работы такого рода были небезопасны. Каждая съемка со Сталиным непременно посылалась к нему на визу, и это накладывало на всех нас чрезвычайную ответственность. В этой связи вспоминается случай, который произошел незадолго до моего прихода на работу. Если не подводит память, то весной 1950 г. проходили выборы в Верховный Совет СССР. По установившемуся порядку в газетах после этого события — «всенародного праздника», как тогда говорилось, должна была быть обязательно помещена фотография голосующего Сталина. Фото это было канонично. На нем изображался Сталин, опускающий бюллетень в урну. Так все было и на этот раз, но при голосовании «гений человечества» подошел к урне, опустив голову, и проголосовал, не поднимая ее. Все допущенные к съемке фотокорреспонденты фотографировали голосующего Сталина с опущенной головой, и вместо лица на снимках был только его лоб. Положение создалось критическое. Снимок должен был быть в газетах, но Сталин без лица не мог быть показан. Редакторы в таких случаях брали фото у нас, так как в Фотохронике ТАСС вся фотоинформация обязательно, хоть кровь из носа, но должна была быть.

И вот Данилову сказали: «выручай». И он, конечно, «выручил». У Данилова хранились на всякий случай самые разные негативы, и он использовал какую-то предыдущую съемку. Надо сказать, что в столе у Владимира Константиновича чего только не было. А чтоб ничего не случилось и в его стол случайно никто ненароком не заглянул, в дверце левой тумбы, кроме замка, был странный запор, простой, как все гениальное. В укромном месте была просверлена дырочка, в которую вставлялся гвоздик, проходивший через стенку тумбы в ящик. Но я отвлекся.

Итак, Данилов взял голову Сталина из предыдущей съемки и приклеил ее голосующему Сталину. Все бы получилось как нельзя лучше — начальство одобрило, фотокорреспондент Шаров, который тогда был правительственным фотокорреспондентом, подписал. От сталинского секретариата пришло «добро». Но произошло непредвиденное. В комнату, где работал Данилов, заглянул и поинтересовался работой главный «стукач» в Фотохронике Красильников. Тогда на это обстоятельство не обратили внимания. Данилов, правда, после мне рассказывал, что у него возникло недоброе предчувствие, но делать было нечего.

Газеты полученный снимок сразу расхватили, и утром он появился в центральной прессе. А в середине дня позвонил какой-то «рабочий» и спросил: «Что это у вас у товарища Сталина голова приклеена?», точно он мог увидеть это на газетном листе. Вскоре раздалось еще два звонка от «трудящихся», которые возмущались фальсификацией. Дело кончилось тем, что к Фотохронике подъехал ЗИЛ, из него вышли «товарищи», забрали начальника управления Кузовкина, завпроизводством Дубнова, фотокорреспондента Шарова, художника Данилова (впрочем, последнего, кажется, взяли дома) и привезли всех на Лубянку, благо везти было недалеко.

Дубнов сразу открестился: он, мол, производственник, ничего не знает, его дело следить только, чтобы качество печати было в порядке, и его быстро отпустили. Остальные были задержаны. Дело оказалось настолько серьезным, что разбирательством его занялся сам министр МГБ Абакумов. Только это и спасло Кузовкина и Данилова. Шарова же посадили, должен же был кто-то ответить, «сигнал» же был. А Шаров подписал монтаж как автор, значит, он и виноват по пословице «Полотенце-то чье? Васьки. Значит, Васька и тать, значит Ваське и дать таску».

С Кузовкина и Данилова взяли подписку о невыезде. Помню, я все удивлялся, почему Данилов в отпуск не уходит. Приказ об отпуске на доске висит, а он никуда не уезжает. Говорит, что он не любит ездить в отпуск. Только после смерти Сталина он мне все рассказал. Данилов поведал, что их тогда продержали сутки, все время вызывая на допросы. Причем каждого содержали изолированно от других. Данилова тогда поразила неосведомленность гебистов в делах фотомонтажа, они не знали, что при правительственных съемках иначе поступать нет воз-

возможности. С Даниловым соглашались, но признать возможным отрезать «самому» голову никак не могли. В этом виделось что-то вроде инволюции в магии, что-то от средневековых представлений о том, что можно приносить вред человеку, нанося повреждения его изображению.

С Даниловым у нас скоро установились хорошие, товарищеские взаимоотношения. Он понял, что я не собираюсь под него копать и его вытеснять, но у него еще многие годы сохранялось ко мне некоторое ревнивое и опасливое отношение — теперь Данилов опасался, что я сделаю работу лучше. В основе лежал комплекс «неудавшегося художника» — Данилов чувствовал, что плохо рисует. Это сказывалось на его работе, и ему неприятно было видеть, что я не испытываю таких затруднений. С ревнивой неприязнью слушал он о моих художественных успехах, казалось даже, что мои слова травмируют его психику. Я потом, жалея Данилова, просто не сообщал ему о своих выставках и работах в книге. Я не обижался, понимая, что Владимиру Константиновичу всю жизнь приходилось биться за свое существование в мире волков, в мире, где нельзя упасть, так как тебя сейчас же растопчут и растерзают. И он бился и огрызался, защищая себя и свою семью. А у него была неработающая жена и двое детей, и он был примерным семьянином, считавшим своим долгом обеспечить родным людям приличное существование.

Данилов прожил сложную, богатую разными перипетиями жизнь. Он много мне рассказывал о себе, но всегда что-то оставалось недосказанным, всегда чувствовалась какая-то тайна. Родился Владимир Константинович в Петербурге, кажется, в 1910 г. Отец его был крупным финансовым деятелем и как-то был связан с золотым запасом России. Еще мне брезжит в памяти, что он происходил из кавалергардов. Вместе с семьей он сопровождал эшелон с золотым запасом России. Данилов рассказывал, как их семья моталась по Сибири в годы Гражданской войны. Эшелон переходил то в руки красных, то белых, то каких-то партизан. Однажды вся семья сидела в избе. Вдруг в дверь ввалились какие-то люди в полушубках и с винтовками, наставили оружие на отца и спрашивают: «Ты за кого, за какую власть?» Отец показал рукой на сидящих за столом детей и говорит: «Вот моя власть». И выставил бутыл с самогоном. Пришедшие выпили самогон и ушли. Так Даниловы и не узнали, кто приходил к ним в гости — красные, или белые, или просто бандиты. От моих вопросов, куда делся эшелон и как они выбрались из Сибири, Данилов уходил. Получалось, что золотой запас был возвращен Советской России, а отец стал работать в Госбанке СССР. Однако как кончил отец Данилова, я не знаю. То ли он умер своей смертью, то ли его посадили. Данилов ушел от ответа и на этот вопрос.

В конце 20-х гг. Данилов работал заведующим типографией. Одновременно по общественной линии он являлся членом Комиссии рабоче-

го контроля, которой руководила Р.С.Землячка. Данилов рассказывал, как она учила членов комиссии, что законное решение менее важно, чем классовый подход, и если выходило, что кто-то был виновен по существу закону, нужно было смотреть, кто он. Сомнительных в классовом отношении можно было обвинять, а «своих» по классу следовало судить не так строго и, по возможности, оправдывать.

В эти годы Владимир Константинович сблизился с каким-то чекистом, судя по всему довольно высокого ранга. Кажется, их дружба началась в Сибири. Это был ужасный человек и палач в полном смысле слова. В прошлом он был матросом и участвовал в революции. У чекиста был сын, которого Данилов усыновил, так как отцу недосуг было им заниматься. Мальчик этот прожил у Данилова лет до двенадцати. Закончилась его жизнь трагически, он утонул в реке при купании. Очевидно, Данилов был к мальчику привязан, так как часто вспоминал о нем. Друг же его, чекист, спился, и как он закончил свое существование, я не знаю.

Приближалась страшная середина тридцатых годов, когда были разгромлены многие учреждения и общественные организации. Я сейчас уже не помню, каким образом Данилову стала ясна нависшая над ним опасность. Кажется, прекратить общественную деятельность ему посоветовал отец. Может быть, что-то стало ему известно благодаря связям с чекистами. Данилов поступил исключительно мудро. Он сразу ушел отовсюду: с заведования типографией, из рабочего контроля и из партии, членом которой в то время был (что он был в партии, Данилов признался мне только в конце жизни). Владимир Константинович «лег на дно», позже стал работать штатным фотографом в издательствах, какое-то время занимался тем, что делал миниатюры на слоновой кости и резал из нее камни. Для этого он покупал костяные бильярдные шары и распиливал их на кружки. Затем Данилов начал работать штатным художником в «Интуристе», делая рекламные фотомонтажи и ретушь. Из «Интуриста» он перешел на работу в «Союзфото», преобразованное потом в Фотохронику ТАСС. Здесь тоже, конечно, он не был в штате. Так Данилову удалось избежать катка репрессий середины 30-х годов, прокатившегося по стране. Я думаю, что эти годы наложили на него определенный отпечаток, выразившийся в подозрительности и недоверчивости.

Женат был Владимир Константинович на женщине из «бывших». В 1937 г. пришли арестовывать мать жены, но она тяжело болела, была парализована, и ее не взяли, оставив дома умирать, что она вскоре после этого и сделала.

В войну, году в сорок втором, Данилов был призван. Он служил в фоторазведке штаба Дальневосточной группы войск в звании лейтенанта. Вместе с Даниловым служил фотокорреспондент Пушкин, который был старше по званию, кажется, на одну звездочку, но из рассказов Да-

нилова получалось, будто бы главную роль в дальневосточной фоторазведке играл Данилов. Фотографию Данилов знал исключительно хорошо, но в фотокорреспонденты он не годился. После войны Владимир Константинович вернулся в Фотохронику, где и проработал до конца дней. В начале 1970-х гг. он перешел на газетную ретушь для отдела местной сети и фотомонтажом больше не занимался.

У Данилова было двое детей, дочь и сын. Когда он пришел работать в Фотохронику, сыну было что-то около семи лет, а дочь была старше года на четыре. Данилов очень любил своих детей и много рассказывал о них. Сын его учился игре на фортепиано и окончил Консерваторию. Учился он вместе с сыном нашего спортивного корреспондента Доренского. Данилов довольно ревниво относился к успехам Доренского. Сын Данилова увлекался «древностями» и создавал домашний музей. Для этого музея я тогда дал какие-то вещи, главным образом керамику, привезенную из археологических экспедиций.

Дочь Владимира Константиновича училась в каком-то художественном учебном заведении, сейчас уже не помню, в каком именно. По окончании она стала художницей, но как сложилась ее дальнейшая судьба, не знаю. Помню только, что она занималась какое-то время офортом, и как-то раз Данилов мне показывал ее офорт небольшого размера, принятый в комбинате Худфонда.

Первые два-три года я сидел в Фотохронике почти весь день. Обычно утром выходил из дому вместе с женой Лилей. Она шла в свою библиотеку на Варварку, а я, проводив ее, шагал по Ветошному переулку на Никольскую в Фотохронику. Большой частью днем я ходил в библиотеку обедать с Лилей в их буфете. Вечером же обычно Лиля заходила за мной, и мы вместе по Александровскому саду шли домой.

Почти всю работу я делал в Фотохронике, дома же работал только тогда, когда не успевал что-либо сделать до вечера. Несмотря на то, что у меня было много простоев, я все равно старался находиться в Фотохронике, чтобы больше укорениться там. В свободное время я занимался своими делами: монтировал репродукции на паспарту (мы с Лилей тогда увлекались собиранием репродукций), резал гравюры, читал (правда, читать было трудно из-за трепя, постоянно происходившего в нашей комнате, и поскольку треп этот большей частью был мне интересен, то лучше было делать что-нибудь руками и участвовать в разговоре).

Почти сразу после моего поступления в Фотохронику нас переместили в закуток большой комнаты, отгороженный шкафами. За шкафами сидели корректоры, а дальше размещалась фототека. При совместном существовании приходилось как-то приспособливаться, например абстрагироваться от посторонних шумов. Но вход в наш закуток был отдельным, так что мы чувствовали себя вполне изолированными.

В нашем помещении находились три стола. Стол Данилова стоял у окна на свету. Я сидел спиной к окну. За третьим столом одно время работал кто-то из редакторов выпуска, а затем поместился заведующий выпуском А. Н. Пастухов, которому надоело сидеть в своем отделе у всех на виду.

В тот период существования Фотохроники Пастухов был фигурой влиятельной и авторитетной. Держался он очень самоуверенно, говорил, что на него работает вся Фотохроника. Вообще Пастухов считал себя выдающейся личностью, не имея на то никаких оснований. Он был типом занятым и характерным для своего времени.

Александр Николаевич вышел из крестьян и представлял собой одного из тех деревенских активистов, которых захватила мутная волна революционных преобразований в деревне конца 20 — начала 30-х гг. Он был лет на десять старше меня, в 1930 г. ему исполнилось лет 18. В деревне в это время началась коллективизация и борьба с церковью. Пастухов активно участвовал в этих «мероприятиях». Он с упоением рассказывал, как руководил такими же молодыми активистами из деревенской голытьбы, как они громили в своем селе церковь, как сбрасывали колокола.

Возможно, по комсомольской линии или, может быть, после службы в армии Пастухов перебрался в Москву. Я не знаю, каким образом он попал на работу в Фотохронику, но произошло это еще до Отечественной войны. Тогда же он женился на «богатой» портнихе, которая была лет на 15 старше. У нее была дача и деньги, и Александр Николаевич, в котором всегда чувствовалась крестьянская практичность, сделал свой выбор.

В войну он служил в армии и воевал, затем продолжил работу в Фотохронике. Образования Пастухов не имел, кажется, никакого, но партийность и служебное рвение помогли ему сделать карьеру, хотя выше заведующего выпуском он не продвинулся.

В 1950-е гг. Пастухов пользовался доверием у Кузовкина. Когда я был принят на работу, он повел меня в ближайшую «забегаловку» и потребовал, чтобы я его «угостил». Мы выпили по сто пятьдесят, закусив бутербродами с колбасой. Пастухов считал, что это он меня взял в Фотохронику и что я должен его отблагодарить. Ко мне он относился с нескрываемым презрением за мою интеллигентность и называл «оно».

К нам часто кто-нибудь заходил покурить, просто потрепаться или в связи с какой-нибудь надобностью. Многие просили сделать из маленькой фотографии большой портрет. Часто приходил Клячко с испачканной чернилами фотографией (он был очень неаккуратен) и просил вывести чернила (у Данилова была «волшебная» жидкость, снимавшая чернильные пятна). Регулярно приходил Борис Тетерин, ему требовалось закрасить потершийся воротник под цвет меха, чтобы потертости

не бросались в глаза. Заходили к нам фотокорреспонденты и редакторы, просившие что-либо подправить или заретушировать по мелочам без выписывания наряда на работу: убрать царапину, открыть глаза и т. д. Фотокорреспонденты рассказывали о своих делах, о том, что слышали в разных местах, где им по роду деятельности приходилось бывать. От них мы узнавали разные неофициальные новости. Нам с Даниловым доверяли, и, когда не было в комнате Пастухова (а он большую часть времени отсутствовал), откровенничали.

Приходили к нам и посторонние посетители, и знакомые Данилова, по делу или просто так, повидаться. Это были газетчики, художники, фотографы. Часто они просили фотографии. Помню, приходил один плакатист. Помню также Оцупа, снимавшего еще Ленина, единственного фотографа, имевшего авторское право. Забегал к нам также правительственный фотограф-портретист Вайль, обычно просивший что-нибудь отретушировать. Заходил мастер-кистовяз, маленький скрюченный старичок. Он предлагал всевозможные кисти очень хорошего качества. Тогда в магазинах совершенно не было, например, колонковых кистей, а мы только ими и работали. Принимал кистовяз и заказы, мне он сделал, например, флейц. Приходил мастер акварельных красок, его красками я долго пользовался. Все эти посетители разнообразили нашу жизнь, внося в нее еще один, кроме тассовского, «поток информации».

Почти каждый день я обегал букинистические магазины, находящиеся в центре, и в первую очередь заходил в магазин под гостиницей «Метрополь», где продавались гравюры и репродукции. Нередко я возвращался с «уловом». Как-то мне удалось купить альбом фототипий с фресок Нередицы. В это время заглянул к нам Красильников. Увидев у меня альбом, он спросил: «Что это у Вас божественное?» Я показал. Тогда Иван Алексеевич попросил посмотреть, взял к себе в кабинет. Через некоторое время он позвал меня к себе и стал расспрашивать, откуда у меня такая книга и зачем она у меня. Я сказал, что только что купил ее в букинистическом магазине. Однако Красильников не знал, что это за магазин и почему там торгуют старыми, дореволюционными книгами. Он не верил мне, что дореволюционную книгу можно купить в советском магазине. Тогда я показал ему штамп магазина с указанием цены и штамп Главлита (все книги у букинистов перед тем, как они поступали в продажу, в то время проверялись цензурой). Иван Алексеевич, все еще немного сомневаясь, не обманываю ли я его, отпустил наконец меня с книгой. Я совершенно уверен, что он сообщил об этом случае «куда следует».

Красильникова у нас не любили почти все, особенно же начальник Фотохроники Кузовкин. С ним общалось лишь несколько человек, которые неизменно поддерживали кандидатуру Красильникова на пост секретаря парторганизации, но каждый раз его «прокатывали». Один

раз, правда (кажется, это было в 1950 г.), он прошел в партбюро, но позже его уже ни разу не выбирали.

Управлением фотохроники руководил Николай Васильевич Кузовкин, начальник из номенклатуры сталинского времени. Многие его не любили, почти все боялись, но уважали. Приезжал он в Фотохронику часа в два и уезжал в полночь, таков был тогда стиль работы руководства государственных учреждений.

Поскольку Кузовкин нес полную ответственность за фотоинформацию и все должен был держать в своих руках, ему приходилось просматривать и визировать каждый материал, выпускаемый Фотохроникой. Это требовало очень большого профессионализма, и Кузовкин обладал им. Я удивлялся, как он молниеносно находил ошибки, как держал в голове массу сведений, необходимых, чтобы не пропустить каких-то, с нашей современной точки зрения, мелочей, могущих в то время стоить головы. Вспоминается, например, что как-то, делая материал к одному из юбилеев Болгарии, я поместил на заглавном листе карту страны. Когда я показал работу, Кузовкин, подняв на лоб очки, быстрым взглядом близоруких глаз сразу обнаружил на этой карте город, который уже был переименован, а ранее назывался в честь какого-то «врага народа». Однажды машинистка в слове «Ленинград» пропустила букву «р», и получилось так, что название города приобрело крамольный смысл. Случилась обычная «глазная» ошибка. Ее пропустили и редактор, и корректор, и только Кузовкин ее увидел. Ошибка каким-то образом стала широко известна, и тогда разразился страшный скандал. Машинистка и корректор были уволены, а редактор получил строгий выговор.

У Кузовкина не было заместителя. Он, очевидно, никому не доверял, и заместителя взял только при Хрущеве.

Николай Васильевич в Гражданскую войну был партийным деятелем в Сибири и потом каким-то образом стал работать в печати. В мое время он был уже не очень здоров, у него была язва желудка, и когда она обострялась, то Кузовкин делался придиричивым и нервным. В такое время ему с какой-нибудь погрешностью лучше было не попадаться на глаза. Его раз- носов боялись, но мне их не пришлось испытать. Почему-то со мной он в таких случаях был сдержан и мрачен, но голоса ни разу не повышал.

Кузовкин имел, очевидно, какие-то связи в верхах, обеспечивавшие ему прочное положение в ТАССе, хотя его не любил генеральный директор ТАСС Н.Г. Пальгунов. Думаю, что эти связи были у Кузовкина в МГБ и что возникли они еще во время его деятельности в Сибири в годы Гражданской войны. Возможно, что и сама эта деятельность была связана с ВЧК. Однако оговарюсь, что основаны мои предположения на каких-то мелких фактах, намеках и недомолвках, которые теперь из памяти ушли.

От плохого отношения Пальгунова к Николаю Васильевичу часто страдала вся Фотохроника. Сам Пальгунов хоть и был из той же сталинской номенклатуры, что и Кузовкин, но он принадлежал не к ее «чекистской» части, а к дипломатам и международникам, близким к М. М. Литвинову. Это были люди, несомненно, более интеллигентные, часто из «бывших».

Непосредственно с Пальгуновым мне, конечно, не приходилось общаться. Впрочем, несколько раз мы с Даниловым удостоились его рукопожатия, когда Кузовкин прихватывал нас к Пальгунову как исполнителей какого-либо его личного задания; да как-то руководитель ТАССа приехал посмотреть фотовыставку, которую мы оформляли и развешивали. Мне в основном приходилось видеть Пальгунова на тассовских партсобраниях. Он обычно сидел за столом президиума с правого края и всегда просматривал материалы, выпускаемые ТАССом. Любопытно было наблюдать, как Пальгунов брал лист с напечатанным на машинке текстом и, приблизив его к лицу (он был очень близорук), пробегал по тексту глазами. Казалось, что Николай Григорьевич лишь бросает один взгляд по диагонали листа и после этого ставит внизу свою визу. Было полное впечатление, что он не читает текста, но нет, это было не так. На самом деле Пальгунов внимательно прочитывал текст, и свидетельством тому было то, что время от времени он делал в нем какие-то исправления. Через Николая Григорьевича проходил огромный материал, тогда ведь все выпускалось под его личную ответственность. Иногда к Пальгунову кто-то подходил, и он отдавал вполголоса какие-то распоряжения или просматривал тут же особо срочный материал. В конце прений он обычно брал слово, и из его выступления можно было понять, что во время работы Пальгунов слышал все, о чем говорилось на собрании. Эта его поразительная работоспособность вызывала и удивление, и восхищение.

Основными работниками в Фотохронике, как и во всякой журналистской организации, были корреспонденты, в данном случае фотокорреспонденты. Эта непростая профессия требует, кроме умения фотографировать, большой сноровки, находчивости, некоторых художественных наклонностей и хотя бы небольших литературных способностей, чтобы как-то подать сюжет фотоснимка и рассказать о событии, которое сфотографировано. Часто приходилось слышать, что профессия журналиста сродни профессии проститутки. Возможно, в этом и есть доля истины, но, во-первых, всякая работа на продажу может иметь определенное сходство с проституцией, а, во-вторых, всякая творческая работа, выполненная в коммерческих целях, может быть сделана честно и порядочно, и совсем не обязательно изощряться при ее подготовке во лжи и бесчестии. Я уж не говорю, что в то далекое время большинство людей было в той или иной степени искренне убеждено в правильности происходящего. Кроме того, при всех обстоятельствах сама фотография могла

представлять собой произведение фотоискусства, и это давало возможность фотокорреспондентам делать творческую работу вне зависимости от содержания и конъюнктуры.

За почти сорокалетнее пребывание в Фотохронике передо мной прошло много разных фотокорреспондентов, но в памяти остались, конечно, не все. Основным правительственным корреспондентом являлся Владимир Иванович Савостьянов. Это был высокий, с длинным лицом мужчина, лысый, с остатками белобрыхых волос, хотя возраст его превышал мой всего лет на десять. Нервный и даже несколько истеричный после правительственных съемок, он обладал довольно высоким и несколько захлебывающимся от постоянной взволнованности голосом. Савостьянов, или, как он заочно назывался нами, Савоська, прошел очень хорошую школу фотографии у опытного фотографа в Историческом музее, где начинал свою карьеру фотолaborантом, и являлся специалистом высокого класса. К своей работе он относился с большой ответственностью и творческим рвением. На съемках был чрезвычайно собран и четок, не было случая, чтобы он чего-нибудь не учел или что-либо забыл сделать. Когда у Савостьянова получалась удачная, с его точки зрения, фотография, он приходил к нам ее показать и, захлебываясь от волнения, говорил: «Правда, здорово, а? Ведь хорошо получилось, а? Ведь это прямо гравюра, а? Володя, посмотри-ка, а?» И действительно, у него почти всегда получалось все очень хорошо.

Был Савостьянов и хорошим портретистом. Когда требовалось сделать портрет не в ателье, а, так сказать, «на производстве», то посылали Савоську. Помню, когда появилось сообщение о присвоении Пастернаку Нобелевской премии, он сразу же поехал к Борису Леонидовичу и сделал его портрет. Портрет успели выпустить до того, как в связи с этим началась травля Пастернака, но сразу же изъяли и отправили в специальное хранение. Однако я успел схватить на выпуске негатив и напечатал себе этот портрет. Мне кажется, что это самый лучший официальный портрет Бориса Леонидовича, но он, по причине изъятия, остался совершенно никому не известным.

Владимир Иванович мечтал сделать портрет Сталина, но все его попытки не увенчались успехом. Вождь был стар и не пропускал портреты, на которых уже проступали черты дряхлости, его удовлетворяли сделанные раньше и канонизированные портреты.

За Савостьяновым числился грешок некоторой жадности, в чем я как-то раз и убедился. Было это, когда Савоська готовил свои фото к какой-то выставке, а я еще совсем немного работал. Савостьянов просил меня подретушировать его фотографии, обещав хорошо заплатить. Я, конечно, и без платы ему помог бы, но не стал отказываться. После того, как я часов до одиннадцати вечера ретушировал его большие, разме-

ром 50×60 см фотографии, он мне дал три рубля. На следующий день все надо мной смеялись: оказывается, с Савостьяновым, зная его жадность, никто не соглашался работать.

Как-то я делал новогоднюю стенгазету. В ней были нарисованы дружеские шаржи, в том числе и на Савоську. Во время работы над газетой ко мне подошел корреспондент Велигжанин, как я узнал позже, недолголюбивавший Савостьянова. Он попросил нарисовать в кармане у Савоськи петуха. Я, ничего не подозревая, нарисовал. Оказалось, что «петухом» называли пять тысяч рублей, верхний предел заработка корреспондентов. Потом все смеялись, но шутка оказалась не в бровь, а в глаз. Савостьянов на меня обиделся.

В старости Владимир Иванович стал замкнутым и немного странным. Поздними вечерами он открывал сейф с личным архивом и, разговаривая сам с собой, рылся в когда-то снятых негативах. Как-то я проходил мимо, и Савостьянов сказал: «Вот, Юлий, сколько я за свою жизнь наснимал. Куда же все это девать теперь? А ведь это история». Умер он в 1980-х гг., в возрасте немного за семьдесят лет.

Другим правительственным корреспондентом в те годы был Василий Васильевич Егоров. Тоже высокий, с широким, добродушным лицом, он, казалось бы, не отличался красотой, но женщины в него влюблялись безотказно. Однако Егоров был строг и неприступен. Никогда я не видел, чтобы он кокетничал или флиртовал с какой-либо дамой. Он тоже считался одним из лучших профессионалов. В отличие от Савостьянова, характер у него был спокойный, он всегда был сдержан, нетороплив, мало говорил, только по делу. Его все уважали. Никогда я не слышал, чтобы кто-нибудь над ним подсмеивался. Егорову было уже за восемьдесят лет, но он еще работал.

Старейшим фотографом в Фотохронике был Иван Кузьмич Иванов-Аллилуев. Он занимался только портретными съемками в нашем ателье, располагавшемся в подвале. Туда приглашались разные передовики производства, лауреаты, депутаты и т. п. для получения их официальных портретов. Иванов-Аллилуев был мастером высокого ранга в своей области, но совершенно не мог работать как репортер. Это был в полном смысле слова фотохудожник. Кроме портретов он снимал замечательные пейзажи, очень тонко передававшие все состояния природы. Внешний вид у Ивана Кузьмича был артистический. Чем-то он напоминал Станиславского, только лицо его было тоньше и на голове росли густые, совершенно белые от седины волосы. Однажды его привлекло мое лицо, и он меня фотографировал. Негативы эти Иванов-Аллилуев мне потом подарил, но я так и не напечатал их, все как-то недосуг было.

Хочу помянуть добрым словом фотокорреспондента по культуре Эммануила Ноевича Евзирихина, мужчину маленького роста, но абсо-

лютно без комплексов по этому поводу. Лицо его с всегда улыбающимися глазами напоминало голову птицы. Несмотря на трудную личную жизнь (его сын был психически болен), он всегда был приветлив, всегда улыбался, всегда готов был помочь или сделать что-нибудь приятное. Никогда он ни о ком не говорил дурного или обидного. В те годы, когда я начинал свою деятельность в Фотохронике, Эммануил Ноевич обычно работал в паре с Киреевым (забыл, как его звали). Он тоже был небольшого роста и запомнился тем, что собирал книги, вернее, создавал свою домашнюю библиотеку. В начале 1950-х гг., книг издавали недостаточно, а после войны был большой спрос на книгу, особенно на классику. Киреев, хотя и был молодым, но болел гипертонией, болезнью тогда еще новой и недостаточно изученной. От гипертонии он умер очень рано.

В начале пятидесятых годов работали и другие фотокорреспонденты, из которых теперь уже никого не осталось. Вспоминается немного чопорный и серьезный спортивный корреспондент Доренский. У него была кинокамера, и он снимал на нее мастеров спорта в моменты выполнения ими спортивных достижений. Мы же с Даниловым потом монтировали эти кадры на планшете, делая таким образом кинограммы для подписчиков спортивного абонемента.

Работал тогда и Велигжанин-старший, весельчак и сердцеед. Вспоминаются и совсем молодые тогда начинающие фотокорреспонденты Валентин Соболев и Мастюков. Прошло сорок лет, и в 1995 г. на банкете в честь пятидесятилетия Победы Валя Соболев сидел рядом, подливая в мою рюмку водку. Я заметил тогда, что сам он больше чокается, чем пьет. А через два месяца я узнал, что он умер. Так проходит время, так приходят и уходят люди. И в старости, как когда-то на фронте, встает все тот же вопрос: «А когда же моя очередь?»

А. С. Стыкалин
(Москва)

«Польский Октябрь» глазами российского историка

Библиография работ по истории советско-польских отношений пополнилась новым фундаментальным исследованием, основанном на глубокой проработке широкого комплекса документов из российских и польских архивов. Его автор А. М. Орехов, отдавший более 40 лет изучению истории Польши и российско-польских связей в XIX–XX вв., в 1990-е гг. опубликовал ряд заметных исследований политических кризисов 1956 и 1980–1981 гг. в «народной Польше»¹ и явился первым публикатором и комментатором материалов Президиума ЦК КПСС 1954–1964 гг., посвященных польским проблемам, и в том числе записей зав. отделом ЦК КПСС В. Н. Малина, дающих представление о ходе обсуждения этих проблем на заседаниях высшего партийного органа². В новой работе «Советский Союз и Польша в годы „оттепели“: из истории советско-польских отношений» (М., «Индрик», 2005), обобщающей результаты многолетних архивных изысканий и изучения существующей весьма богатой польской историографии темы, развитие многосторонних советско-польских отношений показано на фоне углубления системного кризиса сталинской модели социализма, его временного преодоления в октябре–ноябре 1956 г. на основе установления более равноправных отношений с СССР, более либеральной культурной и церковной политики, а также на основе некоторой демократизации избирательных механизмов, что, впрочем, сменилось во второй половине 1957 г. попятными движениями, когда польская коммунистическая элита во главе с вышедшим из опалы В. Гомулкой постепенно вернулась к более привычным для нее административно-бюрократическим методам управления.

Уже с конца 1940-х гг., по мере обострения конфликта между правящей партией (ПОРП) и польским обществом, неравноправные взаимоотношения с Советским Союзом выходили на передний план как одна из наиболее болезненных составляющих нараставшего кризиса, включавшего в себя и идеологический компонент — острое отторжение большинством граждан насаждавшейся по всем пропагандистским каналам коммунистической идеологии (тем более в ее сталинской интерпретации). Как справедливо отмечает автор, антирусские настроения и антисоветизм как неотъемлемые составные части идеологического кризиса были проявлениями, с одной стороны, давних, исторически сложившихся стереотипов, а с другой — новых, сформировавшихся в последние полтора десятилетия и отражавших кроме всего прочего стихийное непри-

ятие нередко бесцеремонной политики советских лидеров в отношениях с союзниками (с. 161). «Участие Советского Союза в расчленении польской государственной территории в сентябре 1939 г., массовые депортации польского населения в отдаленные районы СССР, злодеяния НКВД в Катыни, навязывание сталинской модели социализма в послевоенное время и т. п. не могли не обострить национального сознания и патриотизма поляков, усугубляли неприятие нажима на Польшу со стороны советского политического руководства и, как естественное следствие, неизбежно порождали антисоветизм и антирусские настроения» (с. 9–10). Что же касается польского (как и венгерского) политического кризиса осени 1956 г., то он явился в первую очередь следствием внешнеполитической стратегии СССР в Центральноевропейском регионе, сформированной при Сталине и лишь в некоторой мере модифицированной после его смерти. Суть этой стратегии заключалась именно в советизации стран сферы влияния СССР. В Польше в силу определенных внутривнутриполитических условий курсу на советизацию противостояла концепция «польского пути к социализму», создатель которой В. Гомулка при Сталине оплатил поиск национально-специфического пути несколькими годами тюрьмы. Триумф этой идеи в конце 1956 г. со временем обернулся и ее кризисом — правда, значительно позже, в 1968–1970 гг.

В первой главе речь идет об экономических, политических, идейных предпосылках начавшегося уже в 1954–1955 гг. фактического распада установившегося в Польше к 1949 г. тоталитарного коммунистического режима сталинского образца. Важно заметить, что именно в Польше эксперименты по перенесению на национальную почву сталинской модели социализма с самого начала терпели наиболее очевидную неудачу. Упорное сопротивление значительной части населения коммунистической альтернативе и советскому влиянию, балансирование общества на грани гражданской войны в течение первых послевоенных лет предопределили более компромиссный, нежели в других странах Восточной Европы, характер коммунистической диктатуры в Польше, где так и не удалось провести в сколько-нибудь полном объеме коллективизацию земельной собственности, поколебать позиции церкви в идеологической сфере, установить монополию марксизма в школьной системе, в том числе в университетах. Даже совсем незначительное ослабление советского диктата и внутреннего административного прессы после смерти Сталина вызвало в этой стране быструю регенерацию придавленных, но не заглушенных элементов плюрализма.

Вступив вместе с СССР и под давлением СССР в условиях апогея «холодной войны» в изнурительную гонку вооружений, Польша переживала к 1953 г. серьезные экономические трудности. В обществе зрело глухое недовольство экономическим положением и уровнем жизни, и даже те социальные слои, которые в конце 1940-х гг. составляли базу левых сил, все более явно демонстрировали разочарованность в полити-

ке ПОРП. Смерть Сталина и смена руководства СССР сделали возможной некоторую корректировку прежней губительной политики форсированной индустриализации, однако, в отличие от И. Надя в Венгрии, у польской коммунистической элиты не было решимости инициировать хотя бы ограниченные реформы.

А. М. Орехов доказывает, что, как и в случае с И. Надем в Венгрии, именно руководство КПСС, опасаясь повторения в Польше июньских 1953 г. событий в ГДР, подтолкнуло польских лидеров к перемене курса. В конце декабря 1953 г. Б. Беруту, приехавшему в Москву, пришлось выслушать довольно резкие критические замечания за провалы в экономике, низкий уровень жизни рабочих и служащих, неудовлетворительное положение с обеспечением населения продовольствием. Критику вызвали и «перегибы» при осуществлении коллективизации в Польше — жесткое администрирование и насилие в отношении крестьянства, чреватое возможностью народных бунтов. В Москве всерьез боялись также утраты польскими коммунистами поддержки в среде рабочего класса и предостерегали от выведения из высшего руководства ПОРП бывших деятелей социалистической партии (ПСС), прежде всего Ю. Циранкевича. Импульсы из Москвы, а в не меньшей мере также и непосредственные интересы польской коммунистической элиты, уставшей жить в атмосфере страха и желавшей оградить себя на будущее от произвола спецслужб, сыграли свою роль в принятии мер, направленных на установление партийного контроля над органами безопасности. Как и в СССР, в Польше с конца 1954 г. разворачивается процесс реабилитации невинно осужденных. В декабре выходит из заключения В. Гомулка, бывший лидер компартии (ППР), обвиненный в 1948 г. в «правонационалистическом уклонизме».

Страх перед государством стал ослабевать. В 1954–1955 гг. активизируется общественная и интеллектуальная жизнь, некоторые неформальные объединения и независимые инициативы, возникшие в среде интеллигенции и студенческой молодежи (дискуссионный Клуб Кривого круга и др.), привлекают все большее внимание в обществе; в их деятельности с самого начала спонтанно проявляется социальный и политический критицизм. Как на публичных форумах, так и в печатной периодике в условиях некоторого ослабления цензурного пресса звучит все более острая критика не только высокопоставленных функционеров, несших ответственность за провалы в экономической политике и нарушения законности, но и некоторых системных пороков. Событием литературной и общественной жизни становится «Поэма для взрослых» А. Важики, показавшая разительное несоответствие идеологии ПОРП реальному положению польского рабочего класса. Симптомы приближавшейся «оттепели» проявились и в усилении западных влияний в культуре.

Отмечая роль прессы в пробуждении польского общественного мнения, А. М. Орехов выделяет молодежный еженедельник «По просту».

Он отмечает вместе с тем, что новые веяния затронули и важнейшие идеологические структуры ПОРП — Институт общественных наук при ЦК ПОРП во главе с А. Шаффом воспринимался советским посольством как «осиное гнездо» ревизионизма, сторонники реформ задавали тон и в редакции газеты «Трибуна люду». На ряде общественно-научных форумов и в печатных изданиях обсуждаются актуальные экономические и социальные проблемы, предлагаются проекты реформирования существующей системы. В ряде статей высказывается еретический с точки зрения коммунистической ортодоксии тезис о том, что развитие общественных наук может быть продуктивным лишь при условии идеологического многообразия.

В неуклюжих попытках приспособить к изменившимся условиям сложившуюся при Сталине систему застаёт польскую коммунистическую элиту XX съезд КПСС (отклику на него в Польше, влиянию импульсов, исходивших из Москвы весной 1956 г., на внутривосточную ситуацию в этой стране посвящена вторая глава монографии).

Осудив на XX съезде КПСС Сталина и провозгласив тезис о многообразии путей продвижения к социализму, «коллективное руководство» КПСС поставило в непростое положение служивших «верой и правдой» официальной Москве лидеров зарубежных коммунистических партий, сразу же ставших объектами резкой критики в своих странах как за апологетику бесчеловечной сталинской политики, так и за не всегда оправданное следование советским образцам и моделям в предшествующие годы. Это коснулось в первую очередь партийно-государственных руководителей стран советского блока, в которых все более отчетливо обнажались кризисные явления в экономике, свидетельствуя о несбыточности провозглашенных программ форсированного построения социализма и настоятельно требуя корректировки курса.

При всей непоследовательности в выявлении сущности сталинизма решения XX съезда КПСС дали мощный импульс реформаторским силам в странах советского лагеря, ведь критика тех или иных сторон системы, за которую прежде представители оппозиционно настроенной интеллигенции подвергались нещадным гонениям, вдруг получила неожиданную поддержку из самой Москвы. Исходившие от реформаторов призывы к переменам, оказавшись в известном созвучии с официально провозглашенной линией КПСС, обрели значительно больший вес в общественном мнении, стали в некоторых странах (прежде всего в Венгрии и Польше) реальным фактором внутривосточной жизни, с которым властям теперь уже приходилось считаться. Следует иметь в виду также польскую специфику, на которую обращает внимание А. М. Орехов: за пределами СССР только в Польше текст закрытого доклада Н. С. Хрущева о культе личности был широко распространен в обществе — в Польше он был отпечатан тиражом в 20 тыс. экземпляров и зачитывался на партсобра-

ниях по всей стране (руководство партии резонно просчитало, что все равно не удастся скрыть от общества прозвучавшей в выступлении Хрущева правды, пусть далеко не полной, о Сталине и режиме, и любая попытка сокрытия этого документа вызовет еще более негативную реакцию, нежели обнародование содержащихся в нем фактов).

При всем вышесказанном XX съезд, решения которого означали разрыв с наиболее грубыми и одиозными проявлениями сталинизма, вызвал в Польше неоднозначную реакцию общества. Согласие с необходимостью разоблачения сталинских преступлений часто соседствовало с недоверием к новым советским лидерам, долгие годы работавшим со Сталиным, а теперь пытавшимся переложить на умершего вождя всю ответственность за происходившее в стране. Доклад о культе личности 25 февраля воспринимался как своего рода политический трюк, при помощи которого Хрущев пытается завоевать для себя авторитет. Существовали также сомнения: не является ли критика Сталина всего лишь тактическим ходом, данью сиюминутной политической конъюнктуре (после Хрущева «придет другой и объявит все это неправдой»).

В ходе ознакомления рядовых членов ПОРП (а иногда и более широкой аудитории) с текстом секретного доклада Хрущева поднимался вопрос о необходимости коренной переоценки политики Сталина в отношении Польши, затрагивались темы крайне болезненные с точки зрения истории польско-советских взаимоотношений (сентябрь 1939 г., Катынь, Варшавское восстание). На ряде партсобраний прямо ставился вопрос: не являются ли Катынское дело и отказ оказать поддержку Варшавскому восстанию результатом сознательной политики, направленной на ослабление польской государственности? Высказывалось предположение, что Сталин целенаправленно задержал наступление на Варшаву, выжидая, чтобы больше поляков было выбито. Стремление преодолеть завесу молчания проявилось и в прессе — в том числе в переоценке исторической роли Армии Крайовой, подчинявшейся лондонскому эмигрантскому правительству (как раз весной 1956 г. вследствие амнистии вышло на свободу около 30 тыс. человек, преимущественно политзаключенных, в том числе бойцы Армии Крайовой).

Провозглашенный в отчетном докладе на XX съезде тезис о многообразии путей к социализму дал повод для обсуждения проблемы суверенитета Польши, его гарантий. Участники некоторых дискуссий задавались вопросом: «Как понимать суверенитет ПНР при наличии Красной Армии на территории Польши?» Звучали призывы к пересмотру характера отношений с Москвой. «Десять лет, которые Польша находится под протекторатом Советского Союза, являются для страны потерянными годами», — говорил в ходе обсуждения в краковской Горной Академии материалов XX съезда один из профессоров. Спонтанно возникает вопрос о пересмотре отношения к «правонационалистическому уклону»

в ПОРП. В отличие от своего давнего оппонента Б. Берута, скончавшегося 12 марта, Гомулка был популярен в довольно широких кругах польского общества. Вопреки усилиям партийного руководства, пытавшегося воспрепятствовать его политической активизации, в массовом сознании, как отмечает А. М. Орехов, определилась явная тенденция моральной поддержки человека, символизировавшего собой «польский путь к социализму». Своего рода идейной подготовкой пересмотра отношения к Гомулке явилась публикация в партийной прессе статей, акцентирующих внимание на специфических особенностях построения социализма в Польше.

Процессы дифференциации в среде правящей партии сопровождались критикой снизу руководства ПОРП за бюрократизм и авторитарные методы, а также запаздывание с постановкой и решением назревших проблем. В Кракове на заседании воеводского партактива депутат сейма профессор Дробнер заявлял, что лидеры ПОРП себя скомпрометировали, потребовал созыва внеочередного съезда партии для переизбрания ее высших органов. Звучат также призывы к созданию фракций внутри ПОРП.

Уже в апреле дискуссия о дальнейших путях развития страны выходит за пределы правящей партии. Возникают новые формы молодежного движения, стремившегося к освобождению от идеологического контроля правящей партии (и в частности, автономное студенческое движение). Как и в Венгрии, в Польше весной — в начале лета 1956 г. главным выразителем оппозиционных настроений стало независимое движение творческой интеллигенции, выступавшей с требованием идеологического и политического плюрализма. Фрондирующий Союз польских писателей превращается в арену столкновения радикально настроенных литераторов и представителей партийных властей. Если поначалу доминировали требования невмешательства в искусство со стороны партийных органов и критика социалистического реализма как метода мифологизации действительности в соответствии с определенным политическим заказом, то позже вопросы художественной культуры отходят на второй план. Председатель Союза польских писателей А. Слонимский говорил в апреле на сессии Совета культуры и искусства ПНР: «Дело вовсе не в Сталине, а в социалистическом строе, который неизбежно рождает Сталиных». В ходе дискуссии по проблемам функционирования политической системы и демократизации ее механизмов ставится вопрос о необходимости оппозиционных фракций в польском Сейме. Активизируются малые партии, прежде служившие всего лишь приводными ремнями ПОРП. В деятельности части актива объединенной крестьянской партии отчетливо проявилось стремление к преобразованию ОКП в самостоятельную партию, реально отстаивающую интересы польского крестьянства. Выработка ее программы действий была неотделима от критики аграрной политики в Польше с конца 1940-х гг. На собраниях в организациях демократической партии звучали даже призывы к ее превраще-

нию в оппозиционную партию. Подобные настроения, однако, находили проявление только на периферии общественной жизни, в которой доминировали члены ПОРП, выдвигавшие в качестве общественного идеала отнюдь не западные демократии, а нечто вроде «социализма с человеческим лицом», тем более что попытки идти дальше дозволенного, создавать какие-либо формы политической оппозиции, агитировать за реальную многопартийность и свободные выборы пресекались властями.

Как справедливо отмечает А. М. Орехов, весной 1956 г. руководство ПОРП оказалось совершенно неспособно предложить обществу продуманную реформаторскую программу, кризис продолжал углубляться. В третьей главе монографии дается одна из лучших в мировой исторической литературе реконструкций познаньских событий 28 июня 1956 г.

В основе конфликта лежали экономические требования, а сами массовые волнения рабочих в Познани носили спонтанный характер (версия о целенаправленном руководстве участниками движения со стороны некоего подпольного штаба была быстро отброшена руководством ПОРП как несерьезная, причины событий стали искать во внутренних факторах, в запущенности социальных проблем). При всем при этом бунт отчаявшихся познаньских рабочих сопровождался и выдвижением политических лозунгов, в том числе требования свободных выборов под контролем ООН. Как и несколькими месяцами позже в Будапеште, в Познани происходило противоборство в среде демонстрантов радикальных и умеренных тенденций. Общность с венгерскими событиями проявилась и в той большой роли, которую сыграли в познаньских волнениях массивная дезинформация, слухи (например, о всеобщем восстании в стране), вносившие в происходящее элементы хаоса. Как и в Венгрии, в Польше власти не были готовы к возможности открытых протестов и массовых демонстраций, способных выйти из-под контроля, не имели отработанных механизмов нейтрализации стихийных всплесков недовольства рабочего класса. Это объясняется в первую очередь, тем, что волнения в Познани (как позже в Будапеште, а в 1962 г. в Новочеркасске) не соответствовали доктринальным представлениям коммунистического руководства о способах разрешения социальных и экономических проблем. Осмысление уроков познаньских событий наводит А. М. Орехова на далекоидущие размышления относительно непримиримого противоречия между декларациями и реальной сущностью коммунистической власти в СССР и странах Восточной Европы. Поскольку власть провозглашала себя «народной», а общество называлось социально справедливым, возможные массовые выступления рабочего класса в защиту своих экономических интересов рассматривались коммунистической элитой как не укладывающиеся ни в какие рамки аномалии. Тем более это касалось открытых проявлений социального протеста, подобных познаньским, — в них виделся результат вражеской деятельности, тяжкое пре-

ступление перед «народной властью». «Забастовка в народном государстве и в условиях социалистического строительства не может быть средством борьбы рабочего класса», — заявлял в общем не чуждый реформаторским устремлениям Э. Охав, временно вставший в марте 1956 г. во главе ПОРП.

Таким образом, как справедливо отмечает А. М. Орехов, никакого сколько-нибудь эффективного механизма урегулирования конфликтов, возникавших на социальной и экономической основе, у властей не было. Разрешение такого рода конфликтов отдавалось на откуп профсоюзам, но они давно погрязли в формализме и бюрократизме, жестко контролировались партийными органами и не могли реально противостоять злоупотреблениям дирекции предприятий. Фактически рабочие были лишены легальной возможности отстаивать свои требования и действенной организационной структуры, которая бы представляла их законные интересы.

Познаньские события, неожиданные как для польских, так и для советских лидеров, заметно повлияли на дальнейшую динамику общеполитической ситуации в Польше, стали не только индикатором политической нестабильности, но и катализатором перемен. В целях снятия напряженности в обществе и обеспечения безопасного для партийной верхушки хода реформ руководство ПОРП должно было срочно пойти на восстановление Гомулки в партии и отказаться от создания искусственных препятствий на пути этого харизматичного политика во власть. Причем каждая из противоборствовавших партийных группировок стремилась разыграть эту карту в своих интересах. Своевременное возвращение популярного в довольно широких кругах Гомулки из политического небытия сыграло свою роль в преодолении кризиса коммунистической власти в Польше без кровавых эксцессов. В Венгрии, где стояла аналогичная проблема И. Надя, лидеры правящей партии в отличие от польских коллег Э. Охаба и Ю. Циранкевича не проявили должной решимости в сближении с опальным политиком, что привело к формированию мощной внутривнутрипартийной оппозиции, а фактически к двоевластию в стране. К моменту начала восстания 23 октября руководство Венгерской партии трудящихся уже почти не контролировало положение в Будапеште.

Как доказывает А. М. Орехов, в Москве уже в конце лета осознавали проблему Гомулки, знали, что она вскоре может выдвинуться на первый план. Вынашивались даже планы своего рода «приручения» этого строптивного политика. Так, в сентябре Хрушев выступил с предложением пригласить его на лечение в Крым, что не нашло в то время поддержки Охаба, боявшегося, что преждевременное усиление (да еще при помощи Москвы) позиций Гомулки может повлечь за собой углубление раскола в партийном руководстве. Ожидая, что в ближайшем будущем встанет вопрос о привлечении Гомулки к работе на одном из ключевых партийно-государственных постов, в Кремле вместе с тем полагали, что поляки

предварительно проконсультируются с ЦК КПСС. Хрушев был сильно уязвлен, когда лидеры ПОРП не поставили его в известность о решении ввести Гомулку в Политбюро. За дежурными фразами о недопустимости прихода к руководству ПОРП сил, якобы выступающих под антисоветским знаменем, скрывалось именно ущемленное самолюбие советского лидера, сыгравшее роль в обострении к середине октября советско-польских, в том числе межпартийных, отношений, вылившемся в открытый конфликт во время неожиданного приезда (без приглашения) делегации КПСС на VIII пленум ПОРП, открывавшийся 19 октября.

В Москве в течение нескольких месяцев с беспокойством наблюдали за развитием событий в Польше. Как отмечалось в документе Комитета информации при МИД СССР, который лег на стол Н.С. Хрущева в начале сентября, развернувшееся после XX съезда КПСС публичное «обсуждение важнейших вопросов политического и экономического положения в стране в целом приняло нездоровый характер и по существу вылилось во враждебную народно-демократическому строю кампанию» (с. 148). Лидеры ПОРП подвергались критике за либеральное отношение к «различного рода вылазкам враждебных элементов» в прессе и дискуссионных клубах. Тем не менее в Москве с пониманием подошли к решению ряда проблем, создававших дополнительный груз в польско-советских отношениях. Советское правительство, в частности, выразило готовность обсудить претензии польской стороны в связи с заниженной, по ее мнению, ценой поставок в СССР польского угля. Советская сторона проявила также стремление пойти навстречу Варшаве в вопросе о советниках по линии КГБ: Политбюро ЦК ПОРП в сентябре пришло к выводу о том, что «институт советских советников в польских органах общественной безопасности как в центре, так и в воеводствах в данный момент не вызывается необходимостью» (с. 151). В первой половине октября усиление антисоветских проявлений в стране было одной из главных тем обсуждения на заседаниях Политбюро, на которые стал приглашаться и набиравший влияние Гомулка. Польская партийная элита справедливо полагала, что нейтрализовать такие настроения можно только при условии устранения причин, их породивших; на заседаниях высшего партийного органа откровенно говорилось о факторах, способствовавших антисоветизму: некритическом следовании советским образцам, неравноправии экономических взаимоотношений, вмешательстве советского посла во внутренние дела страны, об ущемляющем национальные чувства присутствии в польской армии на командных должностях советских граждан, иногда даже не знающих польского языка.

Ключевым, поворотным моментом в развитии кризиса 1956 г. в Польше стали переговоры лидеров ПОРП с делегацией КПСС в Бельведере 19 октября (А.М. Орехову принадлежит заслуга тщательной реконструкции этого кульминационного события в истории советско-польских

отношений послевоенного времени). Известно, что советская сторона, пытаясь сорвать казавшиеся ей нежелательными изменения в руководстве ПОРП, и в первую очередь удаление из Политбюро маршала К. Рокоссовского, решила прибегнуть к силовому шантажу: танковые части вышли из района постоянной дислокации и предприняли марш в направлении Варшавы. Именно на этом фоне и звучали угрозы Хрущева в адрес лидеров ПОРП. Позже, в продиктованных в конце жизни мемуарах, Хрущев признал, что тактика демонстрации силы и вообще приезд делегации в Варшаву были ошибкой: «Лучше всего, конечно, нам было бы не появляться там». Расчеты на то, что командование Войска Польского во главе со ставленником Москвы министром обороны К. Рокоссовским окажется в большей мере лояльным советскому, нежели польскому руководству, не были оправданы. Польский генералитет оказался в состоянии раскола. Согласно некоторым мемуарам, командующий Варшавским военным округом Ф. Андриевский (офицер Советской армии, откомандированный в Войско Польское) собрал совещание командиров частей гарнизона и округа, чтобы обсудить план нейтрализации руководства ПОРП. С другой стороны, группа высших офицеров приняла меры противодействия продвижению советских танков в направлении столицы, был создан штаб, на который возложили задачу следить за передвижением советских войск и своевременно информировать Политбюро об оперативной обстановке. Внутренние и пограничные войска, где ставленников СССР было мало, привели в боевую готовность, соединения внутренних войск подтянули к столице. Согласно источникам, патристически настроенные генералы заявляли в офицерских кругах о том, что они не допустят, чтобы «Советы задушили революцию в Польше». В случае необходимости предусматривался даже арест делегации КПСС. Подогреваемые бесцеремонностью советских руководителей, польские лидеры, как отмечает А. М. Орехов, избрали способ действий, диктовавшийся обстановкой. Наряду с военным был образован и гражданский штаб во главе с секретарем столичной парторганизации С. Сташевским, в его задачи входило обеспечение необходимой помощи военным со стороны гражданского населения. В Варшаве нарастало напряженное ожидание развязки, на ряде заводов рабочие готовились к обороне.

Правда, месяцем позже Гомулка высказал мнение о том, что 19 октября фактически имела место излишняя драматизация событий, речь шла всего лишь о блефе Москвы, пусть угрожавшем осложнениями. Эту версию несколько корректирует беседа В. Гомулки с Г. К. Жуковым в декабре 1956 г. на приеме в Бельведерском дворце по случаю подписания договора об условиях пребывания в Польше советских войск. Согласно версии Р. Замбровского, ссылавшегося на рассказ Гомулки, «Жуков хвалился, что если бы во время визита Хрущева и его товарищей не дошло до выяснения ситуации, то ему [Жукову] потребовалось бы только три

дня, чтобы занять Польшу». Опешивший от неожиданности Гомулка смог только спросить, кому принесло бы пользу неизбежное пролитие крови (с. 263). В том, что ситуация не вышла из-под контроля, наряду с твердостью и последовательностью польского руководства сыграл свою роль и возобладавший наконец в Н. С. Хрущеве здравый смысл. А. М. Орехов прав, замечая, что импульсивный, несдержанный глава делегации КПСС продемонстрировал в кульминационный момент реалистический подход. Продвижение танковой колонны на Варшаву было остановлено. Поляки, вспоминая впоследствии Хрущев, «поняли, что можно договориться».

Позже Хрущев осознал, какой серьезной угрозы удалось избежать: «Думаю, что ввод наших войск в Варшаву действительно мог стать непоправимым явлением и породил бы такие сложности, что трудно даже представить себе, куда мы могли пойти. Считаю, что положение спас Гомулка, когда столь убедительно высказал свои соображения. Остальное оказалось второстепенным делом» (с. 192). Как бы там ни было, можно согласиться с А. М. Ореховым: танковый демарш советских войск в момент приезда делегации КПСС в Варшаву в октябре 1956 г. надолго осложнил советско-польский диалог по актуальным проблемам двусторонних отношений.

В ходе переговоров, состоявшихся 19 октября, польские лидеры настойчиво и последовательно стремились к тому, чтобы советская сторона относилась к Польше как к равноправному партнеру, суверенному субъекту международных отношений. И они сумели добиться серьезных уступок, в частности отзыва на родину служивших в польских силовых структурах советских генералов и офицеров (начиная с маршала Рокоссовского), а также и советников. Пленум состоялся в заранее объявленные сроки и принял ожидаемые решения, в том числе об избрании Гомулки первым секретарем ЦК ПОРП, что явилось победой польской стороны. Москве пришлось принять к сведению, что отныне ЦК ПОРП свои ключевые внутренние (в том числе кадровые) вопросы может решать без консультаций с ЦК КПСС, и это стало примером для других партий. Как пишет А. М. Орехов, «лобовое столкновение 19 октября в Бельведере показало — время безропотной уступчивости партнеров по Варшавскому пакту своему „старшему брату“ отходило в прошлое пусть постепенно, но с фатальной неизбежностью» (с. 202).

В ходе ожесточенных споров в Бельведере обсуждались вопросы, имевшие наиболее принципиальное значение для дальнейшего развития двусторонних советско-польских отношений в политической, экономической и военной сферах. Некоторые уже тогда предварительно согласованные решения были закреплены в документах, принятых по итогам официальных межгосударственных переговоров в ноябре 1956 г. Трудно, однако, согласиться с А. М. Ореховым в том, что в Бельведерском дворце 19 октября было достигнуто согласие по базовым вопросам межгосударственных отношений. Если бы это было так, то на повестке дня

не стоял бы и дальше вопрос о возможном военном вмешательстве. Хотя Гомулка отверг как совершенно необоснованные обвинения в том, что польская сторона угрожает своими действиями интересам СССР, и заверил делегацию КПСС, что смена руководства ПОРП совсем не ставит под сомнение дружественные отношения с СССР, доверия к нему не было. Хрущев явно лукавил, когда позже, в мемуарах, утверждал, что в ходе первой же встречи проникся доверием к Гомулке. Напротив, по приезду в Москву на заседании Президиума ЦК КПСС 20 октября он отдавал предпочтение силовому решению проблемы («Выход один — покончить с тем, что есть в Польше»). По свидетельству С. Микояна, его отец А. И. Микоян на склоне лет вспоминал, как поздно вечером 20 октября в беседе с Хрущевым убеждал его воздержаться от применения силы в Польше, ибо это чревато серьезным военным конфликтом. 21 октября идея вмешательства также рассматривалась как один из возможных сценариев действий, хотя теперь, очевидно, речь шла уже не столько о военном вмешательстве, сколько об определенном политическом давлении на польское руководство. Хотя, судя по ходу обсуждения, Гомулке продолжали не доверять, советское руководство удержалось на почве реальности; было принято принципиальное решение, сформулированное Хрущевым: «...учитывая обстановку, следует отказаться от вооруженного вмешательства. Проявить терпимость».

Хотя автор затрагивает в своей работе позицию КНР, вопрос этот, пожалуй, нуждается в более детальном освещении, с учетом ряда работ, опубликованных в последнее десятилетие. Исследователям китайской политики в условиях польского и венгерского кризисов 1956 г. известно, что Мао Цзедун, узнав из телеграммы, посланной советскими лидерами, о планах силового вмешательства в Польше, выразил послу СССР П. Ф. Юдину решительный протест. В связи с венгерскими событиями китайская сторона также в течение нескольких дней предостерегала советское руководство от применения силы и кардинально изменила свою позицию, только убедившись в реальной перспективе утраты коммунистами власти. Непоследовательность линии КПК в отношении венгерских событий отразила противоречие между естественным стремлением второй коммунистической державы мира использовать трудности, переживаемые Советским Союзом в восточноевропейской сфере своего влияния, в целях усиления китайских позиций в мировом коммунистическом движении, и с другой стороны, опасениями фронтального отступления мирового социализма в непрекращавшемся противоборстве двух систем. Польские же события не дали китайцам никаких оснований беспокоиться за судьбы социализма в этой стране, и они последовательно выступали за невмешательство. В мае 1957 г. в беседе с польским послом Хрущев признал, что именно после встречи с китайской делегацией 23 октября он окончательно отказался от идеи военного решения польского вопроса.

В конечном отказе от силового решения сыграло роль и разочарование в надежности командного состава Войска Польского — несмотря на то, что многие ключевые посты пока еще занимали офицеры, откомандированные из Советской армии. Из поступавших донесений Хрущев, очевидно, осознал, что в случае военного столкновения приказы маршала Рокоссовского просто не будут выполняться его польскими подчиненными. Важно также заметить, что отношение американской администрации к возможному применению Советским Союзом военной силы в Польше было более жестким, нежели в случае с Венгрией — об этом можно судить хотя бы по тональности радиостанции «Свободная Европа».

Хотя у историков нет в распоряжении стенограммы бельведерской встречи, по известным источникам (прежде всего мемуарным) можно составить впечатление о слабом знании делегацией КПСС реального положения в стране и особенно настроений в польском обществе. Чего стоит привычная для советских лидеров демагогическая апелляция к рабочему классу. Когда Хрущев заявил, что польские рабочие не согласятся с новой линией руководителей ПОРП, Гомулка вполне резонно заметил, что готов немедленно пойти вместе с Хрущевым на любое предприятие и самому убедиться в том, кого в сложившейся ситуации поддержат рабочие. Действительно, как в среде пролетариата, так и в обществе в целом в те дни доминировало мнение о том, что на окрик советской стороны Гомулка сумел дать достойный ответ.

Решительно выступив тогда за равноправие польско-советских отношений, настояв на удалении большой группы иностранных советников и ставленников из силовых структур ПНР, Гомулка сумел значительно разрядить обстановку, нейтрализовать грозившие обернуться мощным взрывом не только антисоветские, но и антикоммунистические настроения в Польше. «В первый раз со времени своего возникновения польский коммунизм освободился от обвинений в том, что является российской марионеткой, обреченной на вечный и непримиримый конфликт с польскими национальными устремлениями... В первый раз за свою долгую, переменчивую и трагическую карьеру польский коммунизм взял на себя роль выразителя национальных устремлений к независимости и свободе», — писал в те дни на страницах журнала «Scotsman» уроженец Польши, выдающийся британский левый политолог Исаак Дойчер. Избрание Гомулки первым секретарем ЦК ПОРП было с воодушевлением воспринято широким общественным мнением Польши как серьезная моральная победа над Москвой и как событие, отвечающее насущным потребностям переживаемого нацией момента. Осенью 1956 г. именно национал-коммунизм (идея суверенитета «народной Польши» и постановка отношений с Советским Союзом на новую, более справедливую основу), а не либеральные или католические идеи в наиболее полной мере соответствовали общественным ожиданиям. Даже люди, явно не разделявшие коммуни-

стических убеждений, в том числе католики, поддержали Гомулку — они не только увидели в нем фигуру, способную объединить нацию, но связывали с его возвращением в большую политику надежды на углубление процессов демократизации в стране, совершенствование политической системы, улучшение экономического положения. Можно вспомнить в этой связи о позиции кардинала С. Вышиньского в ходе выборов в Сейм. Популярность Гомулки подтверждают и митинги второй половины октября — в отличие от Венгрии не с требованием отставки, а прежде всего в защиту действовавшего руководства (хотя и в Польше достаточно широко звучали антисоветские лозунги). В разного рода прокламациях, исходивших снизу, от спонтанно возникшего массового движения, социалистические основы экономики (огосударствленная собственность), как правило, не подвергались сомнению, получили распространение идеи рабочего самоуправления, существовал большой интерес к югославской модели, часто идеализировавшейся.

«В Польше того времени, — пишет А. М. Орехов, — доминировало стремление не разрушать основы социализма, а усовершенствовать, реформировать и как бы „облагородить“ его. И потому значительное большинство населения с воодушевлением приняло возвращение В. Гомулки в большую политику, поддержало его политическую линию, направленную, как тогда многим казалось, на практическую реализацию сформулированной опальным коммунистическим лидером еще в 1940-е гг. концепции „польского пути к социализму“, учитывающей исторические и национальные особенности страны» (с. 267). Можно согласиться и с утверждением автора о том, что партийно-государственная номенклатура «народной Польши» тогда удержалась у власти лишь потому, что значительная часть общества еще сохраняла, пусть с оговорками, веру в возможность построения гуманного социализма. Идеология «польского пути к социализму», вновь обретшая в 1956 г. право на жизнь, базировалась на критическом осмыслении сталинской практики и — шире — всего советского опыта строительства социализма; решающее значение приобретал вопрос о соответствии этого опыта историческим, социальным и культурным реалиям Польши. В последующие полтора десятилетия, по мере разочарования польского общества в Гомулке и проводимой им политике, идея социализма как общества социальной справедливости была уже полностью скомпрометирована и потеряла привлекательность для большинства поляков.

В Москве выработывали политику в польском вопросе исходя из большого стратегического значения Польши для СССР и всего советского лагеря (утрата Польши как союзника автоматически вела бы за собой потерю контроля над Восточной Германией). Гомулка не только хорошо это понимал, но был уверен в общности стратегических интересов СССР и Польши, особенно там, где дело касалось германской про-

блемы. Он всерьез опасался германского реваншизма и связывал настоящие национальные интересы Польши с нейтрализацией этой опасности. Для этого были в 1956 г. реальные причины: политика ФРГ на восточном направлении вплоть до конца 1960-х гг. исходила из непризнания ГДР, а также границ по Одере и Нейсе между Германией и Польшей. И ялтинско-потсдамские установления 1945 г., и подписанный в Варшаве в мае 1955 г. договор об образовании нового военного блока, и даже пребывание на территории Польши советских войск (разумеется, без их вмешательства в польские внутренние дела) воспринимались Гомулкой, отнюдь не безосновательно, как гаранты безопасности западных границ Польши и — шире — гаранты сохранения незыблемости той системы международных отношений, которая смогла обеспечить для польской нации максимально благоприятное в новейшее время геополитическое пространство. К этому можно добавить, что Гомулка всегда умело разыгрывал карту действительной или мнимой германской угрозы Польше в интересах консолидации своего режима. Как бы то ни было, свою безусловную верность союзническим обязательствам Польши он подтвердил в начале ноября 1956 г., хотя и публично выразил несогласие с планами советского военного вмешательства в Венгрии, а через две недели и на переговорах в Москве.

Можно сказать даже больше. Гомулка, что, впрочем, не удивительно для польского политика, в своих опасениях германского реваншизма всегда бежал впереди Москвы. Заместитель министра иностранных дел СССР В. С. Семенов, долгие годы работавший на германском направлении и последовательнее многих других в 1950-е — начале 1960-х гг. отстаивавший концепцию жизнеспособности ГДР, 22 марта 1966 г. после возвращения из Варшавы, где встречался с Гомулкой, сделал запись в дневнике о том, что у польского лидера есть склонность к «некоторой драматизации положения» в отношении ФРГ³. Важно сказать, однако, и о другом. Не в пример некоторым польским политикам предшествующих поколений (в том числе деятелям межвоенного периода), Гомулка обладал достаточным политическим реализмом, чтобы адекватно оценивать место Польши в «концерте» европейских государств. Подчеркивая, что союз с СССР «не может мешать сохранению суверенности каждой из союзных стран, а также самостоятельности выбора путей к социализму», Гомулка в то же время был, очевидно, искренен, заявляя, что Польше не следует «отдаляться от СССР и вставать на почву мегаломании, недооценивая значимости нашего союза с Советским Союзом». Не менее искренне, как нам представляется, он говорил Хрущеву о том, что «Польша больше нуждается в дружбе с русскими, чем русские в дружбе с поляками». Можно вспомнить в этой связи и о том, что польский лидер довольно жестко реагировал на звучавшие кое-где в ходе выборов в Сейм в январе 1957 г. требования пересмотра советско-поль-

ской границы и возвращения Польше Вильны и Львова. Кроме того, Гомулка (кстати, бухгалтер по своему первоначальному образованию, умевший работать с цифрами и всегда с удовольствием занимавшийся именно хозяйственными проблемами) не склонен был преувеличивать интерес Запада к Польше как к экономическому партнеру и больше ожидал от выгодного сотрудничества со странами — членами СЭВ. Что же касается вопроса о пребывании советских войск, то наряду с опасениями германского реваншизма на позицию польского лидера, очевидно, повлияло и другое. Он резонно полагал, что при всей поддержке снизу (как позже выяснилось, временной) коммунисты в случае ухода советских войск едва ли сумеют сохранить однопартийную власть.

Следуя обновительной фразеологии XX съезда, Президиум ЦК КПСС счел необходимым воздержаться от решения польских проблем без консультации с союзниками по Варшавскому договору, а также Китаем. К моменту созыва 24 октября в Москве совещания лидеров ряда соцстран Хрущев уже был информирован о том, что на VIII пленуме ЦК ПОРП «большинство ораторов выступало за дружбу с Советским Союзом и странами народной демократии», речь Гомулки на пленуме была воспринята им как обнадеживающая в том отношении, что Польша «взяла курс на исправление сложившейся нежелательной ситуации». Был сделан вывод: «У ЦК КПСС сложилось мнение, что в отношениях с Польшей следует избегать нервозности и торопливости». При том, что за Гомулкой в глазах Москвы закрепилась стойкая репутация «право-националистического уклониста», Н. С. Хрущев и его команда сумели осознать (или, по крайней мере, почувствовать), что из всей коммунистической элиты Польши только он и его сторонники из таких же «национал-уклонистов» смогут облечь идею социализма в упаковку хоть сколько-нибудь привлекательную для миллионов поляков.

Сделав выбор в пользу мирного способа разрешения польского кризиса, советские лидеры очень скоро смогли убедиться в оптимальности этого выбора. Ситуация в Польше в 20-х числах октября быстро стабилизируется на основе сохранения политической монополии ПОРП. Удача мирного варианта развития в Польше в течение нескольких дней служила для советских лидеров самым серьезным аргументом в пользу возможности политического урегулирования венгерского кризиса. От политического решения венгерского вопроса окончательно отказались лишь 31 октября, в условиях, когда налицо были полный распад прежних партийно-государственных структур, реальная перспектива утраты коммунистами власти в Венгрии. Вообще, наблюдая за драматическими венгерскими событиями, Хрущев мог убедиться, каких чудовищных последствий удалось избежать, отказавшись от силового решения проблем более крупного государства. Причем негативный венгерский опыт не перечеркнул в глазах советских лидеров значения польского примера:

опыт разрешения польского кризиса 1956 г. расценивался в Москве как позитивная модель разрешения спорных вопросов — так, в 1961 г., в момент обострения отношений с Албанией, Хрущев неоднократно противопоставлял конфронтационной линии албанского руководства политику польского руководства в 1956 г., направленную на достижение компромисса с СССР.

Начиная с 23 октября, когда вспыхнуло мощное восстание в Будапеште, в центре внимания советского руководства находились уже не польские, а заслонившие их собой венгерские события. Взаимосвязь польского и венгерского кризисов осени 1956 г. достойна стать предметом специального рассмотрения, наибольший вклад в ее изучение внес венгерский полонист Я. Тышлер. Касается этого круга проблем и А. М. Орехов, не давая, однако, сколько-нибудь полной картины.

В. Гомулка надеялся, что в Венгрии, как и в Польше, победу одержит то крыло в коммунистическом движении, которое выступает за расширение национально-государственного суверенитета. В правительстве И. Надя он увидел своего потенциального союзника в борьбе за установление более равноправных отношений с Москвой, хотя со временем и разочаровался в самом И. Наде. Уже в конце октября он с явной обеспокоенностью следил за процессом распада в Венгрии структур правящей партии, активизацией экстремистских элементов. В обращении к венгерской нации от 28 октября ЦК ПОРП не только выразил солидарность с правительством И. Надя и его программой (в том числе прозвучавшим уже предложением о выводе советских войск из Венгрии), но и предостерегал от насилия, братоубийственной войны, а также от любых попыток свернуть Венгрию с «социалистического пути».

Во время встречи 1 ноября с советскими лидерами в Бресте польские лидеры В. Гомулка, Ю. Циранкевич и Э. Охав с самого начала отстаивали собственное видение венгерской ситуации. Признав наличие в Венгрии «контрреволюционной опасности», они в то же время однозначно высказались против готовившейся советской военной акции по свержению правительства И. Надя. Более того, в опубликованном 2 ноября в центральной прессе Обращении ЦК ПОРП «К рабочему классу, к польскому народу» они выразили публичное несогласие с советской политикой. Вопросы защиты и удержания «народной власти» и завоеваний социализма в Венгрии должны были, по мнению польского руководства, решать внутренние силы, а не вмешательство извне. Трудно согласиться с тем, что позиция поляков, занятая в Бресте, могла сколько-нибудь значительно повлиять на проведение решающей военной акции в Венгрии (развязать руки руководству СССР или, напротив, удержать его от этого шага). Принципиальное решение было принято, и особое мнение польской стороны, на наш взгляд, мало что изменило бы. К сожалению, отсутствие стенограммы беседы в Бресте не позволяет ответить на вопрос,

обещали ли поляки воздержаться от публичного выражения несогласия с советскими планами в отношении Венгрии и не явилась ли в этом случае публикация 2 ноября вышеупомянутого обращения нарушением достигнутых договоренностей. Можно согласиться с тем, что Обращение ЦК ПОРП было тонко рассчитанным внутривнутриполитическим ходом: если бы Гомулка не отмежевался от советской политики в Венгрии, это нанесло бы непоправимый ущерб его авторитету внутри страны (общество помнило, что 19 октября Польша сама подверглась силовому давлению). В своих закрытых выступлениях первой половины ноября перед партактивом Гомулка более жестко отзывался об И. Наде, выражал больше опасений в связи с активизацией в Венгрии «контрреволюции». Будучи однозначно против полного ухода советских войск из Польши, он в то же время не исключал возможности их выхода из Венгрии. Вместе с тем, как и советские лидеры, Гомулка явно не хотел подрыва военно-стратегического единства советского блока и выхода Венгрии из сферы влияния СССР, опасаясь, что это приведет к диспропорциям в ялтинско-потсдамской конструкции и усилит германскую угрозу для Польши. К тому же он боялся, что при слишком резком сдвиге Венгрии вправо Польша потеряет своего потенциального союзника в непростых взаимоотношениях с Москвой. И, вероятно, понимал, что в случае падения власти коммунистов в Венгрии возникнет цепная реакция, и Польша наверняка окажется следующей страной. Решение о выходе Венгрии из Организации Варшавского договора Гомулка расценил резко негативно как безответственный шаг, провоцирующий советское вмешательство. В ряде выступлений начала ноября (в частности, перед партактивом) он отмежевался от И. Нады, назвал Венгрию страной, где коммунисты уже фактически утратили власть, и призвал к политическому реализму, не позволяющему жертвовать долгосрочными интересами ради решения сиюминутных, по большей части тактических задач.

Тем не менее в начале ноября польская сторона в целях предотвращения нежелательного для себя падения правительства И. Нады, пришедшего к власти, как и Гомулка, на волне общественного подъема, предприняла попытку посредничества в нормализации отношений И. Нады с Москвой (эту тему автор фактически обходит стороной). Польское правительство согласилось с тем, чтобы именно в Варшаве прошли переговоры правительственных делегаций СССР и Венгрии по урегулированию двусторонних отношений, и в том числе по вопросу о дальнейшем пребывании Венгрии в Организации Варшавского договора. Последняя встреча И. Нады с польским послом А. Вильманом состоялась во второй половине дня 3 ноября, за считанные часы до решающего наступления Советской армии. Среди прочего Надь просил, чтобы кардинал С. Вышиньский (беспрецедентным в истории польской церкви образом проявивший в тех конкретных условиях готовность к компромиссу с ком-

мунистом Гомулкой) повлиял на куда менее гибкого кардинала Й. Миндсенти в интересах урегулирования ситуации в Венгрии. Неделий позже польская сторона проявила (впрочем, безуспешно) посредническую инициативу в налаживании контактов между новым правительством во главе с Я. Кадаром и группой И. Надя, укрывшейся в югославском посольстве в Будапеште. Кадар заявил, что не нуждается в иностранных посредниках при установлении контактов с членами собственной партии.

В дальнейшем отношение Гомулки к венгерской революции претерпело изменения. В резолюцию по итогам советско-польских переговоров 15–18 ноября 1956 г. была по настоянию Польши внесена компромиссная формулировка. Но уже тогда же, в ноябре, польский представитель в ООН выступил против резолюции, осуждающей советскую интервенцию, и это вызвало недовольство в польском обществе, обвинения Гомулки в измене прежним идеалам борьбы за национальный суверенитет. В последующих заявлениях польского правительства и выступлениях Гомулки правомерность советского вмешательства в Венгрии уже не оспаривалась, при всех сожалениях по поводу «издержек» оно называлось неизбежным злом, на которое пришлось пойти, чтобы воспрепятствовать приходу реакции к власти в Венгрии.

В своей политике по урегулированию внутривосточного кризиса в Польше Гомулка с самого начала стремился избежать развития событий по венгерскому варианту, т. е. утраты контроля ПОРП над массовыми общественными движениями. При этом важно заметить, что венгерские события замедлили консолидацию в Польше, поскольку действия Советской армии в Венгрии вызвали в Польше новый всплеск антисоветских эмоций; настроения солидарности с «революционной Венгрией» были в Польше сильны с самого начала: на массовых митингах принимались резолюции в поддержку «свободной Венгрии», выражался протест против участия советских войск в подавлении венгерского восстания, повсеместно собирались пожертвования для венгерских повстанцев. В отличие от венгерских лидеров (как Э. Гере, так и И. Надя) Гомулка овладел ситуацией в своей стране, сумел удержать ее под контролем. Его своевременный поворот к отстаиванию в диалоге с Москвой национальных приоритетов и адекватное реагирование на все дальнейшие внутри- и внешнеполитические вызовы позволили не только разрешить конфликт в элите власти, но и в значительной степени снять напряжение между властью и обществом (чрезвычайно чувствительном к неравноправию в польско-советских отношениях), а в конечном итоге предотвратить кровопролитие и, кроме того (для Гомулки это было не менее, если не более, важно), сохранить в стране власть коммунистов.

Независимо от ракурса рассмотрения проблемы любое сравнение двух политиков, В. Гомулки и И. Надя, оказывалось в пользу польского деятеля. «В Польше оказался человек, сочетавший большой престиж с

не меньшей волей. Ему удалось удержать народное волнение, обеспечить права Польши и закрепить ее верность социалистическому лагерю. Имре Надь не обладал ни авторитетом Гомулки, ни его волей. Он то призывал советские войска, то требовал их вывода, не мог остановить самосуды... и, наконец, объявил о выходе Венгрии из Варшавского блока, а это означало бы коренное изменение сил в центре Европы», — писал в 1960-е гг. в мемуарах приверженный идеям «социализма с человеческим лицом» Илья Эренбург⁴. Но не симпатизировавшие социализму ни в каком виде американские политики, наблюдая за восточноевропейскими событиями, также отдавали явное предпочтение более сильному и последовательному польскому лидеру, способному контролировать ситуацию в своей стране. В отличие от менее предсказуемого И. Надя Гомулка на практике подтверждал верность провозглашенной госсекретарем Дж. Ф. Даллесом установки на поддержку Соединенными Штатами в Восточной Европе «титовских», национал-коммунистических режимов как наиболее реальной в тех условиях альтернативы сталинизму.

Венгерскую революцию Гомулка умело использовал в интересах консолидации своей власти. Призывая поляков к спокойствию, благодарности и более тесному сплочению вокруг нового руководства ПОРП, в своих речах он охотно обращался к примеру Венгрии, ее трагической судьбе, предостерегал от забвения негативного венгерского опыта, а то и попросту пугал обывателя развитием событий по венгерскому сценарию. «Венгерская карта» была успешно разыграна Гомулкой и на переговорах с советскими лидерами, апелляция к истокам венгерской трагедии позволила ему выторговать более равноправные отношения, закрепленные договором, подписанным в Москве в ноябре. Польская делегация стремилась к тому, чтобы это были переговоры равных партнеров (видя в качестве образца для себя характер отношений между СССР и титовской Югославией), и была довольна исходом переговоров, тем, что все поставленные вопросы (в первую очередь экономические) были решены «позитивно и с пользой» для польской стороны. Согласие на присутствие советских войск, пусть на строго регламентированных специальным договором условиях, вызвало некоторое разочарование в польском обществе. Однако в целом итоги переговоров и подписанная декларация были встречены общественным мнением одобрительно.

Подписанный в декабре договор об условиях пребывания советских войск в Польше Гомулка использовал в канун выборов в Сейм в пропагандистских целях как доказательство достигнутого суверенитета Польши. В сложившейся общественно-политической ситуации он не мог сразу пойти на термидоризацию «польского Октября», согласившись на проведение беспрецедентных с конца 1940-х гг. для страны советского лагеря парламентских выборов. Более того, резонно опасаясь, что завоеванный в октябре политический капитал будет постепенно растрачиваться, Го-

мулка рассчитывал извлечь из избирательной кампании политическую выгоду для себя. Некоторая альтернативность на выборах в Сейм проявилась в выдвижении нескольких кандидатур на одно депутатское место (в том числе и католиков, образовавших в Сейме свою фракцию). Правда, сразу же были обозначены границы терпимости. Так, из кандидатов в депутаты был выведен премьер-министр в 1944–1947 гг. Э. Осубка-Моравский, публично заявлявший, что «будет драться за восстановление ППС, опираясь на помощь Запада». Хотя в реальности никаких условий для серьезного успеха на выборах некоммунистических сил не было, общественное мнение расценило выборы как шаг вперед в демократизации Польши.

На фоне венгерских событий Хрущев в целом с удовлетворением воспринял результаты достигнутого в отношениях с Польшей компромисса. Причем, согласно его логике, твердость, проявленная в Венгрии, заставила и польских коммунистов «образумиться» (иными словами, пойти на компромисс). В этом смысле показательно его выступление на декабрьском пленуме ЦК КПСС 1956 г.: «...товарищи, посмотрите, как идут дела в Польше... В результате совершенно правильных и разумных наших действий, которые мы совершили в Венгрии... уже рабочие и коммунисты Польши начинают брать за ум... Если бы в Венгрии не прочистили мозги контрреволюции, другая была бы обстановка. А сейчас Гомулка, выступая на конференции, заявил, что полностью поддерживает Советское государство по венгерскому вопросу, разделяет оценку, которая дается венгерским событиям. Об этом он раньше полным голосом не говорил»⁵. При всем при этом идея альтернативных выборов была совершенно неприемлема для официальной Москвы, что нашло отражение в документах, подготовленных МИД для высшего руководства. В посольских донесениях, относящихся к январю 1957 г., речь шла о слабости руководства в условиях новой активизации деятельности враждебных элементов, агитирующих за изменение существующего строя. Несмотря на все рукопожатия, совершенные в Кремле в середине ноября, Гомулке, как и премьер-министру бывшему деятелю ППС Ю. Циранкевичу, в Москве явно не доверяли. Поляки так и не были приглашены на встречу лидеров ряда соцстран, состоявшуюся в Будапеште в первые дни января.

Вызвавшие недовольство в Кремле выборы в Сейм в январе 1957 г., ставшие заключительным аккордом «польского Октября», вместе с тем привлекли внимание реформаторски настроенной советской интеллигенции. Источники фиксируют отклики: Гомулка в Польше «установил действительные выборы, тогда как у нас существует механическое голосование».

Полученный кредит доверия со стороны общества способствовал благополучному для команды Гомулки исходу выборов, что укрепило позиции правящей верхушки, позволило ей сосредоточиться на даль-

нейшей работе по консолидации режима. Позже кредит доверия был растрочен, все больше признаков свидетельствовало об общественном разочаровании. С одной стороны, Гомулка не предпринимал попыток восстановить распущенные кооперативы, легализовал клубы католической интеллигенции, долгое время сохранялось либеральное отношение к прессе. С другой стороны, уже в ноябрьских выступлениях проявилась его нетерпимость к альтернативным мнениям: претензия некоторых сил (в частности, малых партий) на то, чтобы подвергнуть сомнению монополию ПОРП на принятие всех принципиальных политических решений, была решительно отвергнута с самого начала. Все это, как отмечает А. М. Орехов, предвещало неизбежную полосу борьбы с инакомыслием в партии.

Относительный успех национально ориентированных, реформаторских сил в Польше в октябре 1956 г. не был закреплен сколько-нибудь глубоким преобразованием институциональной системы, и в течение считанных лет произошел откат к хотя и не слишком тиранической, но все же весьма неэффективной административно-бюрократической модели социализма. Гомулке действительно удалось стабилизировать положение в стране более чем на 10 лет, но только на основе признания монополии ПОРП и вытеснения из политической и отчасти из идеологической жизни всех оппозиционных течений. Причем стремление поставить под контроль процессы общественной активности сопровождалось все более частым применением силовых методов. Пленум ЦК ПОРП в мае 1957 г. был посвящен главным образом критике «ревизионизма». Наносится удар по партийным «либералам», воспринявшим идеи XX съезда КПСС как призыв к глубинному реформированию существующей системы на основе подлинной демократизации. Предпринятое в последующие месяцы наступление на прессу, ущемление свободы печати положили начало затяжному конфликту с творческой интеллигенцией. Все это происходило на фоне недовольства рабочих своим материальным положением. За первые девять месяцев 1957 г. в стране имело место свыше 70 забастовок. Историками принято считать, что конец польской «оттепели» положил разгон студенческих манифестаций на улицах Варшавы в октябре 1957 г. Так «оттепель» окончательно трансформировалась в «заморозки».

Внешняя политика переключалась с внутренней. Продолжала эволюционировать позиция Гомулки в венгерском вопросе. Выразив еще в ноябре 1956 г. в ходе московских переговоров готовность пойти на сближение с правительством Кадара и в целом одобрительно высказываясь по поводу проводимой Кадаром в 1957 г. внутренней политики, Гомулка вместе с тем долгое время дистанцировался от Кадара, опасаясь негативного отклика польского общественного мнения. В январе 1957 г. на встрече в Варшаве с делегацией КПК, в обмен на обещание китайцев выступить

в роли посредников в деле полного налаживания советско-польских отношений, Гомулка дал понять, что в принципе не возражает против Кадра. Тем не менее вплоть до мая 1958 г. он уклонялся от непосредственных контактов с венгерским лидером. В мае 1957 г. на встрече с Хрущевым Гомулка выразил решительное несогласие с начавшейся подготовкой судебного процесса по делу И. Надя, увидев в этом знак возвращения сталинских политических методов в неприкрытом виде.

Однако через год, в июне 1958 г., Гомулка достаточно спокойно воспринял факт казни И. Надя. Выступая 28 июня в Гданьске, он заявил, что приговор по делу И. Надя — это в сущности внутреннее венгерское дело. Поляки явно не хотели идти на конфликт с СССР и странами советского блока, что проявилось и в их подключении весной–летом 1958 г. к инициированной СССР кампании критики югославского «ревизионизма». На III съезде ПОРП (1958) именно ревизионизм был назван главной опасностью. Стремясь к установлению доверия Москвы, в Варшаве в общем своего добились.

К середине 1960-х гг. «народная» Польша все более соответствует стандартам, присущим рядовому члену «социалистического содружества», и сохранявшийся видимый флер некоторого «либерализма» и открытости в культурной политике испарился, как только обозначилась реальная угроза позициям партократии — достаточно вспомнить о том, что в 1968 г. страну вынуждены были покинуть многие видные интеллектуалы еврейского происхождения. За кризисом 1956 г. последовали другие (1968, 1970, 1976, 1980–1981), причем все они были формами открытого неприятия существовавшей политической системы. Расстрел рабочих выступлений в Гданьске в конце 1970 г. ознаменовал собой бесславную концовку режима Гомулки. За два года до этого польский лидер сыграл весьма нелицеприятную роль в событиях вокруг «Пражской весны», будучи в числе вдохновителей военной акции в Чехословакии 21 августа 1968 г.

К сожалению, в своей монографии А.М.Орехов мало касается влияния «польского Октября» на культуру, а ведь именно здесь, а не в политической сфере следует искать наиболее значительные позитивные плоды оттепели середины 1950-х гг. Даже временное ослабление административного диктата в Польше в 1956 г. благотворно сказалось на художественном творчестве — в конце 1950-х — начале 1960-х гг. переживает расцвет польское кино, появлением множества интересных явлений сопровождалось развитие других видов искусства. Все это вызвало в СССР интерес к современной культуре Польши — даже в том весьма усеченном виде, в каком эта культура была доступна советской публике. Для части российской интеллигенции Польша становится (хотя бы в некоторой мере) олицетворением свободомыслия. Иосиф Бродский неоднократно замечал, что Польша стала не просто темой поэзии, но в некотором смысле «поэтикой» его поколения, что именно через восприятие Польши, а иногда и через

польский язык в сознании этого поколения прорубалось окно в Европу. Романтизированный образ Польши становился для поколения Бродского одной из форм выражения собственного расширяющегося психологического и гражданского опыта; полонофильство и полономания 1960-х гг. замыкали замкнутое пространство советской официальной культуры и готовые значения ее языка, служили тем самым, по выражению И. Адельгейм, «расширению речи» целой творческой генерации⁶.

Учитывая немалое влияние польской оттепели на целые пласты общественного сознания в СССР, кажется удивительным и даже абсурдным тираж первой в отечественной науке и весьма достойной монографии о «польском Октябре» 1956 г. — всего 300 экземпляров.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Общественно-политический кризис 1956 года в Польше (генезис и развитие событий) // Политические кризисы и конфликты 50–60-х годов в Восточной Европе / Отв. ред. Ю. С. Новопашин. М., 1993; Декада семидесятых годов; Экономический и политический кризис 80-х годов // Краткая история Польши с древнейших времен до наших дней. М., 1993; События 1956 года в Польше и кризис польско-советских отношений // Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985). Новое прочтение / Отв. ред. Л. Н. Нежинский. М., 1995; К истории польско-советских переговоров 19 октября 1956 г. в Бельведере (по новым материалам) // Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран / Отв. ред. Ю. С. Новопашин. М., 1997.
- ² СССР и Польша: октябрь 1956-го. Постановления и рабочие записи заседаний Президиума ЦК КПСС. Предисловие А. М. Орехова. Публикацию подготовили Е. Д. Орехова и В. Т. Серeda // Исторический архив. 1996. № 5–6; Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. Т. 1. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы / Глав. ред. академик А. А. Фурсенко. Отв. составитель В. Ю. Афиани. Составители З. К. Водопьянова, А. М. Орехов, А. Л. Панина, М. Ю. Прозуменщиков, А. С. Стыкалин. М., 2003.
- ³ Новая и новейшая история. 2004. № 3. С. 124.
- ⁴ Огонек. 1987. № 23. С. 25–26.
- ⁵ РГАНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 198. Л. 107–110.
- ⁶ Поляки и русские в глазах друг друга / Отв. редактор В. А. Хорев. М., 2000. С. 144–145.

Содержание

От редколлегии.....	3
---------------------	---

Пленарное заседание

<i>Т. И. Вендина</i> (Москва). В начале было Слово	4
<i>В. Я. Петрухин</i> (Москва). Югра: начало взаимодействия славянского и финно-угорского миров	36

История

<i>Л. Клима</i> (Будапешт). Финно-угорские народы в России в Средние века, 859–1118 гг.: финно-угры и самоеды на страницах Повести временных лет	43
<i>В. В. Бурега</i> (Сергиев Посад). Дискуссия о возможном месте погребения святого равноапостольного Мефодия	61
<i>Б. Н. Флоря</i> (Москва). Тема выбора правителя в хронике Винченца Кадлубки	70
<i>В. А. Нилова, Ю. И. Штакельберг</i> (С.-Петербург). «Извлечения из показаний политического преступника, бывшего инженер-поручика Владислава Рудницкого относительно участия в польском восстании 1863 и 1864 годов Юго-Западных губерний и Галиции» (О несохранившейся книге)	81
<i>А. Л. Шемякин</i> (Москва). Никола Пашич в Румынии (1885–1889)	94
<i>М. Ю. Досталь</i> (Москва). Славистика между пролетарским интернационализмом и славянской идеей (1917–1941).....	114
<i>А. Ф. Носкова</i> (Москва). Греко-католическая церковь в Восточной Европе. К вопросу о взаимосвязи национального и конфессионального факторов в политике (40–50-е годы XX века).....	141
<i>С. А. Романенко</i> (Москва). «Перестройка» и/или «самоуправленческий социализм»? М. С. Горбачев и судьба Югославии	171
<i>Е. П. Серапионова</i> (Москва). Современное состояние богемистики в России и за рубежом	210
<i>А. В. Венков</i> (Ростов-на-Дону). О военных традициях славян	218

История культуры

<i>О. В. Белова</i> (Москва). Библейские легенды в фольклоре славянских и финно-угорских народов	229
<i>И. И. Лециловская</i> (Москва). Культура хорватского народа XVII в.	242
<i>М. В. Лескинен</i> (Москва). Понятие «нрав народа» в российских этнографических концепциях XIX века	281

<i>Л. П. Лаптева</i> (Москва). Ф. И. Тютчев и его отношение к западным славянам	312
<i>В. И. Косик</i> (Москва). Досуг и быт в Белграде	323
<i>Н. В. Шведова</i> (Москва). «Взойди на небе грустных вместо радуги...» (современный взгляд на поэзию Мирослава Валека)	373
<i>Е. С. Узенева</i> (Москва). Новейшие полевые исследования Северо-восточной Болгарии (с. Осмар, обл. Шумена)	385
<i>М. А. Робинсон, Л. И. Сазонова</i> (Москва). Дмитрий Сергеевич Лихачев: жизненный путь и научная судьба. К 100-летию со дня рождения	394
<i>Л. Н. Будагова</i> (Москва). Полувековой юбилей «Шрамковой Сobotки». Впечатления, воспоминания	423

Публикации

<i>О. Хаванова</i> (Москва). Адальберт Барич: от студента в Вене до профессора в Загребе	434
<i>Ю. Р. Берковский</i> (Москва). Фотохроника ТАСС в начале 1950-х годов: Из воспоминаний художника (Вступительное слово <i>А. Н. Горяинова</i> (Москва))	447

Рецензии

<i>А. С. Стыкалин</i> (Москва). Польский Октябрь глазами российского историка	470
---	-----

Научное издание

СЛАВЯНСКИЙ АЛЬМАНАХ
2006

Корректор *М. В. Архиреев*

Издательство «Индрик»

INDRIK Publishers has the exceptional right to sell this book outside Russia and CIS countries. This book as well as other **INDRIK** publications may be ordered by

e-mail: **nina_dom@mtu-net.ru**

or by tel./fax: **+7 095 959-21-03**

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции (ОКП) — 95 3800 5

ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.

Формат 60×90 ¹/₁₆. Гарнитура «Times». Печать офсетная.
31,0 п.л. Тираж 500 экз. Заказ № 753.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в ППП «Типография «Наука» 121099, Москва, Шубинский пер., 6

